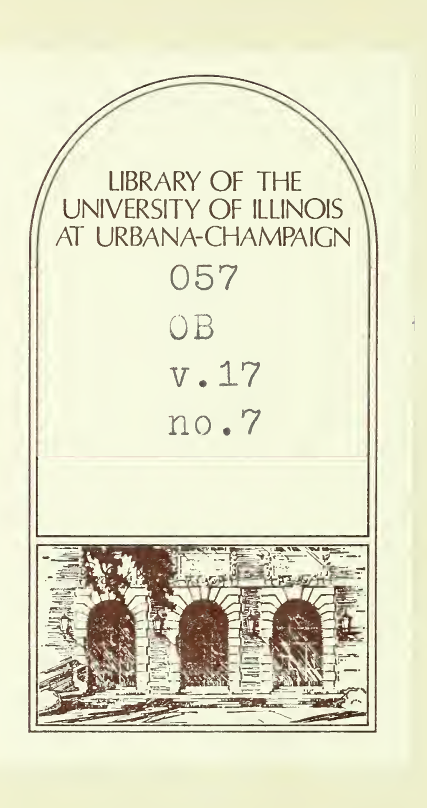
ОБРАЗОВАНIЕ

IЮЛЬ.

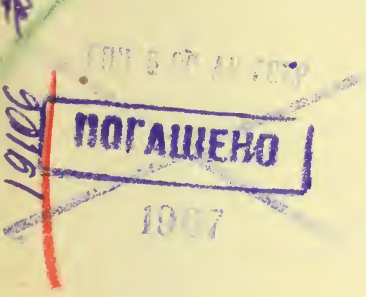


XVII. 1908

ОБРАЗОВАНІЕ

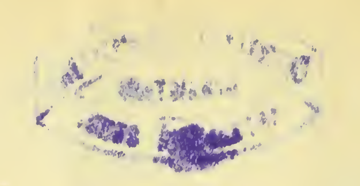
ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.



№ 7.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-литографія Б. М. Вольфа, Невскій, 126.
1908.



31-го Іюля

СОДЕРЖАНІЕ № 7.

ПОПРАВКА.

На стр. 48 въ стих. А. Блока „Анархистъ" *четвертую* строку слѣд. читать такъ:

И страсти таинства свершая,
И поднимаясь надъ землей,
Я видѣлъ, какъ идетъ другая,
На ложе страсти роковой.

Отъ редакціи.

I.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія г.г. подписчиковъ, что, по разнымъ причинамъ, о которыхъ я надѣюсь въ ближайшемъ будущемъ разсказать подробно, я вынужденъ отказаться отъ дальнѣйшаго изданія и редактированія журнала „Образованіе“.

Право на изданіе журнала я передалъ И. М. Василевскому, который принялъ на себя обязательство удовлетворить всѣхъ подписчиковъ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

А. Острогорскій.

II.

Принимая на себя матеріальныя обязательства предъ подписчиками журнала „Образованіе“,—новая Редакція принимаетъ и моральную отвѣтственность за общій характеръ изданія.

Надѣясь на цѣнное участіе въ журналѣ сотрудниковъ прежняго состава, Редакція, кромѣ того, получила согласіе на постоянное сотрудничество отъ слѣдующихъ лицъ: Леонида Андреева, Ѳедора Сологуба, Д. С. Мережковскаго, З. Н. Гиппіусъ, Н. П. Ашешова, Д. В. Философова, К. И. Чуковскаго, А. Мовича, Владиміра Беренштама, Вл. Жаботинскаго, А. А. Измайлова, А. В. Амфитеатрова и мн. др. Подробный списокъ сотрудниковъ будетъ объявленъ особо.

Объявляя журналъ внѣпартійнымъ, Редакція тѣмъ не менѣе считаетъ себя обязанной сохранить прочную связь съ лучшими традиціями журнала, существующаго второе десятилѣтіе.

И. М. Василевскій.

ОПЕЧАЛЕННАЯ НЕВѢСТА.

Разсказъ **Ѳедора Сологуба.**

Когда же и быть странностямъ, какъ не въ наши дни? Свирѣпые и печальные дни, когда неистощимымъ кажется многообразіе воплощаемыхъ въ жизни возможностей.

Нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ въ наши дни составили кружокъ, доступъ въ который былъ довольно труденъ и цѣль дѣятельности могла бы, конечно, быть названа странною.

Когда умиралъ въ городѣ молодой человѣкъ, у котораго еще не было невѣсты, одна изъ участницъ кружка надѣвала глубокій трауръ и приходила на похороны, какъ невѣста.

Родные удивлялись очень, знакомые меньше, но и тѣ и другіе вѣрили, что около свѣжей могилы есть красивая и печальная тайна.

Въ кружкѣ участвовала и Нина Алексѣевна Безсонова, молодая скучающая почему-то дѣвушка, не очень красивая, но достаточно миловидная. Въ нее то и влюблялись даже,— что же и дѣлать подростающимъ гимназистамъ!—а ей все скучно было.

И вотъ, послѣ одной изъ подругъ, наступила и для Нины очередь проводить въ могилу невѣдомаго жениха.

— Слѣдующій—вашъ,—сказали ей.

Завидовали тѣ, на кого еще не падалъ жребій. Съ сочувствующею печалью смотрѣли на Нину тѣ подруги, которыя уже исполнили свое печальное и красивое назначеніе.

Въ этотъ день Нина вернулась домой, странно взволнованная.

И потянулись для нея длинные и томные дни бездѣйственно-тоскующей печали.

Тягостныя предчувствія томили ее, и на каждомъ шагу подстерегали примѣты, вѣщающія утрату, слезы, гибель близкаго сердцу.

Какъ тягостно знать, что исполняются невѣдомые сроки, и умретъ нѣкто, еще незнакомый, но уже милый и дорогой! И съ нимъ погибнетъ возможность счастья.

И кто онъ будетъ? И почему суждено ему не встрѣтиться съ нею ближе гробового предѣла? Быть можетъ, спасла бы, уберегла бы, вымолила бы отъ жестокой судьбы часы и дни сладкаго забвенія печалей.

Не знаю, кто онъ будетъ, но какъ его жалко! Какая тоска.

Такой молодой,—и неумолимая уже слѣдитъ за нимъ, подстерегаетъ,—и нанесетъ ужасный ударъ, отъ котораго ничѣмъ не спасти, никакъ не уберечь!

Иногда Нина почти завидовала тѣмъ своимъ подругамъ по этому кружку, которыя уже успѣли совершить сладостно-печальный обрядъ, и теперь только донашивали свой легкій и красивый трауръ. Трауръ, такъ идущій къ ихъ милымъ лицамъ, что прохожіе на улицахъ останавливались посмотрѣть.

Нельзя было знать заранѣе, скоро-ли случится это событіе. Надо быть готовой итти по первому зову, не опоздать. Поэтому Нина заказала для себя весь траурный нарядъ. Потихоньку отъ родныхъ. Хотя и досадно было, что приходилось отъ нихъ прятаться и таиться.

О деньгахъ за траурное платье Нинѣ заботиться не надо было: это былъ расходъ, падавшій на средства кружка. Кружокъ имѣлъ довольно стройную организацію; собирались въ его кассу ежемѣсячные членскіе взносы; были, какъ бываютъ и въ другихъ обществахъ, и разные случайные доходы.

Но хоть и не надо было заботиться о томъ, чтобы сразу достать много денегъ на трауръ, хоть и можно было сшитое уже и купленное прятать гдѣ-нибудь дома, а все же придется когда-нибудь трауръ надѣть. И, конечно, лучше было бы сказать это заблаговременно. Но Нина почему-то стѣснялась говорить объ этомъ со своею матерью.

Да и какъ сказать! Надо объяснять, что и почему, а правила кружка не позволяли говорить о его цѣляхъ и дѣлахъ никому, кто не входилъ въ его составъ. Пришлось бы придумывать и лгать, и это было противно для Нины. И она откладывала со дня на день, а потомъ рѣшила предоставить все случаю. Какъ-нибудь обойдется,—думала она.

Платье принесли,—Нина выбрала часъ, когда матери не было дома,—и спрятала его въ своей комнатѣ.

По вечерамъ она раскладывала на постели и на стульяхъ траурные наряды. Въ комнатѣ ея все было бѣло и розово, прозрачныя колыхались легкія занавѣсочки на окнахъ, нѣжно и ласково пахли полевые цвѣты въ красивыхъ вазахъ и за окномъ надъ далекимъ, стально голубѣющимъ моремъ полыхалъ дѣвичьемъ румянцемъ догорающій закатъ. И отъ этого всего дѣвственно-чистаго и свѣтлаго черныя одежды казались особенно страшными, и пугали сердце, и быстрые исторгали изъ тоскующихъ глазъ потоки слезъ.

Глядѣла на черный цвѣтъ, и плакала. Плакала долго.

Иногда примѣряла трауръ, и смотрѣлась въ зеркало. Черный цвѣтъ, и скромный покрой платья, и строгій фасонъ шляпы,—все это было ей такъ къ лицу,—и отъ этого еще печальнѣе становилось на сердцѣ, и еще неудержимѣе хотѣлось плакать.

И по утрамъ, просыпаясь, открывала глаза съ тайнымъ страхомъ,—не пришло-ли уже оно, жданое горе. Солнце было уже высоко, садъ пламенѣлъ, залитый расплавленнымъ великолѣпіемъ драконовой лютой злости, и сквозь легкія, розоватыя, сквозныя пленки нарядныхъ занавѣсокъ метался въ глаза неистовый день. И навстрѣчу дню и буйству стремительной жизни бросала Нина злое слово, ядъ тоскующаго предчувствія:

— А онъ, мой милый, скоро умретъ!

И выходила въ столовую смутная, туманная, смятеніемъ милаго лица странно противорѣча легкому и свѣтлому наряду дачной барышни.

Мать смотрѣла на нее съ недоумѣніемъ, и спрашивала:

— Да что ты скучаешь, Ниночка? о чемъ волнуешься? Что съ тобою?

Нина отмалчивалась, загадочно и печально улыбаясь, и садилась на свое мѣсто за столомъ, тихая, кроткая, красивая, къ лицу одѣтая, къ лицу причесанная, и совсѣмъ похожая на героиню романа, завязка котораго не обѣщаетъ счастливаго конца.

И мать не могла добиться правды, что съ Ниною.

Но вотъ однажды, въ минуту внезапной откровенности, разнѣженная печалью и завороженною тишиною сѣверной бѣлой ночи, взволнованная красивыми взлетами недалекихъ фейерверковъ на чьихъ-то незнакомыхъ именинахъ прямо противъ веранды ихъ дачи, гдѣ сидѣли онѣ тогда вдвоемъ послѣ вечерняго чая,—Нина довѣрчиво прижалась къ матери, вдругъ заплакала, и сказала очень тихо, нѣжная и сумеречно-бѣлая, на темно-сѣромъ платьѣ матери выдѣляясь успокоенно-красивымъ пятномъ:

— Такъ тяжело на сердцѣ. У меня предчувствіе, что что-то будетъ... что то страшное... горе какое то.

Мать обезпокоилась. Обняла Нину. Приговаривала ласково, какъ малаго ребенка уговаривала:

— Что ты, Ниночка, Богъ съ тобою, чему быть? Что будетъ? Ты, дитя мое, въ предчувствія не вѣрь, ты же не старушка. Да и кто въ наши дни вѣритъ въ это?

Нина вытерла слезы, и притворно спокойнымъ голосомъ сказала, притворно улыбаясь:

— Правда, мама, я и сама знаю, что это очень глупо, а только все мнѣ кажется, что ему грозитъ несчастіе.

— Кому, Нина?—спросила мать.

Слегка отодвинулась, — взглянуть на дочь, щуря сѣрые, немного близорукіе глаза. Нина говорила, и чуть не плакала:

— Моему милому, жениху моему.

— Что ты, Ниночка! — съ удивленіемъ говорила мать.— Какому милому? Развѣ у тебя есть женихъ!

— Нѣтъ жениха, — тоскливо говорила Нина,—нѣтъ, но что же изъ того? А вотъ, предчувствіе такое у меня, что вотъ я влюблюсь въ него, и онъ будетъ мнѣ свѣта милѣе и жизни дороже,—и вдругъ онъ умретъ.

И Нина опять заплакала неутѣшно,—и мать съ удивленіемъ ласкала и уговаривала ее. Поила какими-то каплями. Нина всмотрѣлась въ ея испуганное и смѣшно-озабоченное лицо, и засмѣялась.

Въ этотъ вечеръ не любовалась траурными одеждами, и заснула спокойно. А на утро, едва открыла глаза, едва разслышала веселые птичьи смѣхи и голоса Минки и Тинки, споривших о чемъ-то, опять приступила тоска.

Два гимназистика, ея маленькіе братья, Минка и Тинка, смѣялись надъ ея таинственною печалью. Дразнили ее.

И было ей такъ грустно, что даже не сердилась она на мальчишекъ, надоѣдливыхъ, шумныхъ, и глупыхъ,—несмышленышей.

День клонился къ вечеру, но было еще жарко и ярко на празднично лѣтней землѣ, и торжественною казалась ширина и тишина высокаго купола. Нина стояла на широкомъ пляжѣ, и всматривалась въ просторы воды и небесъ.

Проносились какія-то птицы, маленькія и быстрыя, суетливо-озабоченныя, и въ воздухѣ надъ Ниною шныряли ихъ длинные и тонкіе писки.

Плотный и мелкій, укатанный волнами песокъ сообщалъ ея стопамъ свою теплую хрупкость и влажность. Слегка щекоталъ кожу нѣжныхъ ногъ, еще не загрубѣвшую отъ частыхъ прикосновеній къ милому песку земныхъ взморій.

Волны плескались, набѣгая, — безвѣтренныя, широкія волны близкаго, милаго моря,—гдѣ люди тонутъ, какъ и въ далекомъ,—плескались волны, набѣгая, лобзая стройныя, уже загорѣлыя ноги. И весело, и свободно подъ легкою одеждою дышала грудь, вздымая двѣ смуглыя волны.

Стояла, смотрѣла въ синюю даль, мечтала томительно, сладко и печально.

Кто же будетъ онъ, мой милый, кого провожу въ мо-

гилу, надъ кѣмъ заплачу? И глаза, которые на меня никогда не глянутъ, и губы, которыя мнѣ никогда не улыбнутся.

Не молвитъ слова, не обниметъ, не скажетъ:

„Милая, люблю! милая, дороже ты для меня жизни!"

Темнымъ предчувствіемъ печали томилось сердце, и хотѣлось плакать,—да еще не о чемъ было плакать.

А какъ отрадно было бы упасть на песокъ, и рыдать въ безмѣрномъ отчаяніи, вѣтрамъ и волнамъ повѣряя печаль омраченной души!

Вспомнила вчерашній разговоръ съ одною изъ подругъ о предстоящей дуэли князя Ордынъ-Улусова съ мужемъ женщины, которая его любила. Какъ жаль, что нельзя идти за гробомъ юнаго красавца Улусова!—вѣдь онъ любитъ другую, и всѣмъ уже извѣстна въ городѣ исторія этой любви, красивой, трогательной и безумной;—любовь, если въ ней правда, воистину презираетъ всѣ условія жизни и дерзаетъ даже до смерти.

Да, можетъ быть, еще и не убьетъ ни одинъ изъ соперниковъ другого, и все окончится на этотъ разъ благополучно. И пусть живетъ, ей то что!

Нетерпѣніе предчувствій возрастало, томило нестерпимо.

Пламенѣющее небо заката пылало, яркою страстью отравляя тихую печаль души, надъ міромъ распростирая багрянсе отчаяніе въ потокахъ многоцвѣтно-горящей крови подъ изнемогающею пустынею холоднаго зенита.

Нина пошла домой. Сырымъ и непріятнымъ казался песокъ. И досадно стало, зачѣмъ оставила дома башмаки, и идетъ босая.

Да нѣтъ, не на это досадно,—такъ безпредметное томленіе, неясная тоска. Бремя, которое надо нести.

Близъ своей дачи Нина увидѣла знакомую фигуру. Всмотрѣлась, - Наташа Лещинская.

И обрадовалась Нина, и словно испугалась. Не приходитъ ли она съ ужасною, жданою вѣстью?

Идетъ, какъ судьба, измучить печалью, изранить тоскующее сердце.

Уже издали было видно, по торопливости и неловкости движеній, что Наташа взволнована чѣмъ-то. И что, конечно, несетъ съ собою какое то значительное извѣстіе.

У Нины отъ волненія задрожали руки и похолодѣли колѣни. Хотѣла бѣжать къ подругѣ, но вдругъ сердце такъ забилось, что Нина должна была остановиться.

Покраснѣла. Стояла, улыбаясь и держа скрещенныя руки на груди, въ неловкой и странной позѣ. Такая смущенная и невѣрная была улыбка.

— Наташечка, это ты?—сказала какъ-то неловко.—Какъ я рада!

И замолчала, сбитая невѣрностью своихъ интонацій.

— Ну, Ниночка,—сказала Наташа, подходя и слегка запыхавшись отъ быстрой ходьбы.

И у нея было озабоченное лицо, а разбившіеся подвитые на шпилькахъ черные волосы, выбившіеся изъ-подъ желтой, соломенной съ желтымъ страусовымъ перомъ шляпки придавали ея смуглому лицу какой то мальчишески-задорный и излишне самоувѣренный видъ.

— Да? умеръ? мой?—безсвязно, испуганно спрашивала Нина.

Наташа оживленно говорила:

— Умеръ. И, можешь представить, застрѣлился! Правда, интересно? Тебѣ счастье.

Нина заплакала. Казалась такою жалкою, растерявшеюся и милою среди этого пронизаннаго розовымъ и голубымъ свѣтомъ простора, въ своемъ простомъ синемъ съ бѣлыми полосками обшивки костюмѣ, съ загорѣлою стройностью тонкихъ тихихъ ногъ, передъ этою нарядною въ многотонно-желтомъ, тяжело дышащею отъ скорой ходьбы по песку на высокихъ каблукахъ, румяно-смуглою и бойкою гостьею.

Плача, тихо спросила Нина:

— Кто?

Звукъ ея голоса былъ тонкій и робкій, какъ у плачущаго ребенка.

Наташа ласково пожала ея руку.

— Правда, очень жаль,—сказала она.—Молодой очень. Студентъ Иконниковъ.

— Одинъ?—спросила Нина.

— Да, онъ былъ одинъ, когда застрѣлился. Семья жила на дачѣ. Онъ пріѣхалъ днемъ въ пустую квартиру, писалъ письма, самъ опустилъ въ почтовый ящикъ, одинъ переночевалъ. Утромъ застрѣлился. Никто и не зналъ въ домѣ, пока родители не пріѣхали,—онъ и имъ послалъ письмо на дачу. Они, кажется, въ Павловскѣ жили.

Нина молчала. Уже въ саду своей дачи она вопросительно взглянула на Наташу. Отвѣчая на этотъ взглядъ, Наташа сказала:

— Послѣзавтра хоронятъ. Въ Петербургѣ.

Пришли домой.

— О чемъ ты плачешь, Нина?—спросила мать.

— Онъ умеръ,—коротко отвѣтила Нина, сухимъ, словно враждебнымъ тономъ.

— Кто умеръ?

Какъ почти всегда у старѣющихъ женщинъ внезапное

упоминаніе о смерти чьей-то обдало Нинину мать холодомъ страха, — точно сказалъ кто то внятнымъ и темнымъ голосомъ:

— Умрешь и ты!

— Ахъ, мама,—съ непривычною досадливостью отвѣтила Нина,—ты, все равно, не знаешь его.

„Я и сама не знаю“,—подумала Нина.

И оттого, что эта мысль вплелась смѣшною ниткою въ печальную ткань переживаемаго, стало еще больнѣе. И казалось, что безпощадными бичами смѣха взмахнулъ жестокій надъ нѣжною спиною.

Мать обратилась къ гостьѣ:

— Скажите хоть вы, Наташа, кто умеръ.

Наташа, снимая шляпу передъ зеркаломъ, говорила неторопливо, стараясь быть спокойною, но сама почему-то волнуясь:

— Застрѣлился студентъ, нашъ знакомый, Иконниковъ. Въ городѣ. Неизвѣстно, отчего. Такой молодой. Знаете, такъ много самоубійствъ въ наши дни, и такъ жалко. Молодой такой, и никто не знаетъ причины. Рана въ вискѣ,—маленькое синее пятно, точно расшиблено. И лицо совсѣмъ спокойное.

— Я поѣду на панихиду,—рѣшительно сказала Нина.

— Нина!

Мать сѣла на кресло, смотрѣла на дочь, и не знала, что сказать.

— Непремѣнно! Ради Бога, не удерживайте!—восклицала Нина.

Наташа сѣла рядомъ съ Александрою Павловною, и говорила тихо:

— Пожалуйста, не безпокойтесь. Я съ нею поѣду, и буду все время вмѣстѣ.

Нина ушла къ себѣ.

— Что съ нею? вы не знаете, Наташа?—спрашивала Александра Павловна.—Она такъ хандрила всѣ эти дни. Что это? Кто этотъ Иконниковъ?

— Она такая впечатлительная, — говорила Наташа.— Иконникова я мало знаю. Не знаю, право. Въ наши дни такъ много всего, что угнетаетъ. Какія у нихъ были отношенія, правда, я не знаю.

Нина вышла скоро, вся въ трауръ, и уже въ перчаткахъ и шляпѣ съ опущенною вуалью,—и опять съ недоумѣніемъ смотрѣла на нее мать.

— Нина, да откуда у тебя трауръ?

— Ахъ, мама!

— Нина, это не отвѣтъ. Я хочу знать. Ты должна.

— Мама, не истязай меня. И такъ трудно. Я говорила тебѣ, что предчувствовала бѣду. Мой женихъ умеръ. Я сейчасъ ѣду.

И говорила уже почти спокойно.

— Подожди, хоть чаю выпейте. Все равно, на какой-же теперь поѣздъ,—съ недоумѣніемъ, страхомъ и досадою говорила мать.

И медлительно влачился скучный часъ ожиданія. Ненужное питье, противная пища, свѣтъ лампы, смѣшанный съ багрянымъ умираніемъ израненой зари заставляющее вздрагивать звяканье ложекъ, и смѣшки Минки и Тинки, и недоумѣвающіе допросы матери,—и что то надо говорить!

Нина была очень печальна. Нѣсколько разъ принималась плакать. Наташа озабоченно шептала:

— Ты слишкомъ рано начинаешь. Ты устанешь. У тебя не хватитъ настроенія въ рѣшительные моменты.

— Оставь, Наташа. Ты ничего не понимаешь,—досадливымъ шопотомъ отвѣчала Нина.

Но вотъ и въ вагонѣ, съ Наташею.

Вагонъ наполовину пустъ. Два-три случайные попутчика съ сочувственнымъ любованіемъ смотрѣли на Нину.

Наташа спросила:

— Нина, да ты его не встрѣчала?

— Конечно, нѣтъ.

— Такъ что же ты плачешь?

— А развѣ легко хоронить жениха?

И вдругъ Нина разсмѣялась.

— Я и не плачу. Я смѣюсь.

— Со слезами?

— До слезъ смѣшно.

Плакала.

Наташа старалась обратить ея мысли на веселое, пріятное, смѣшное. Не удавалось.

— Ну, какая ты плакса,—говорила Наташа.—Пожалуйста, возьми себя въ руки. Еще до истерики дойдешь,—что я съ тобою въ вагонѣ стану дѣлать?

Было уже темно, когда ѣхали по улицамъ лѣтняго города, и все вокругъ для Нины было, какъ бредъ кошмара, становящагося къ осуществленію.

Между двумя тучами сіялъ блѣдный мѣсяцъ,—и въ водѣ канала струилось его зыбкое отраженіе. И горькая была отрава въ мерцаніи безмѣрно-тихомъ надъ грубыми грохотами злыхъ и грязныхъ улицъ.

Увеселительный садъ сверкалъ разноцвѣтностью гирляндъ

изъ красныхъ, желтыхъ и синихъ фонариковъ надъ бѣлою скукою забора и наглостью пестрыхъ на сѣрой стѣнѣ афишъ.

Подъѣзжали и подходили пестро наряженныя и грубо-размалеванныя, и чей-то невидимый, но всѣмъ давно знакомый указательный палецъ упирался въ откровенно-жалкое слово „дешевый развратъ“.

Было веселье въ толпѣ, идущей веселиться, бѣдное, старательное веселье во что бы то ни стало.

Оскорбительное веселье,—когда на душѣ такая печаль. Жестокіе люди! Какъ они могутъ веселиться, когда онъ, молодой и прекрасный, лежитъ съ простреленною головою!

Нина переночевала у Наташи. Тамъ легче было, чѣмъ дома. Наташа сказала тихо.

— У нея женихъ умеръ.

И никто не докучалъ. Нѣжно и любуясь жалѣли. Снились ласковые и печальные, и немного страшные,—скорѣе жуткіе,—сны.

Солнце, равнодушное къ земной печали, яркое и злое, тихо, точно крадучись, метнуло въ окно свое расплавленное трепетаніе, животворящій къ смерти огонь,—и все шире и ярче изъ-за темнаго занавѣса разливалось по зеленому ковру его знойно-жидкое золото.

Было утро дня, сулящее печали и труды, и безнадежныя молитвы

И на чужой постели, надъ залитымъ злымъ золотомъ зеленымъ ковромъ проснулась Нина,—и слезы въ глазахъ, и слабость въ тѣлѣ и слышитъ внятное слово:

— Умеръ.

Никѣмъ не сказанное,—и связанное печалью, дрогнуло и упало сердце.

И слезы...

Думала:

„И уже теперь всю жизнь, просыпаясь, буду вспоминать, что онъ, милый мой, умеръ“.

Одѣваясь, замѣтила, что трауръ ей къ лицу. Радостно улыбнулась. Торопила Наташу,—вмѣстѣ доѣхать до того дома, гдѣ жилъ онъ, ея милый. Но тщательно положила надъ загорѣлою блѣдностью милаго лица складки черной вуали...

Цвѣты и ковры на лѣстницѣ у его квартиры,—оранжевые и зеленые листья изъ стеколъ въ мѣдныхъ оковкахъ на окнахъ,—бронза перилъ и мраморъ колоннъ,—такъ, до конца печаль останется красивою, и не оскорбитъ ее пахнущая кошками неопрятная лѣстница со двора.

На площадкѣ третьяго этажа у дверей квартиры бѣлая гробовая доска.. И каменныя качнулись стѣны... Подъ локтемъ Наташина рука. Ея тихій голосъ:

— Здѣсь. Нина, милая! .

Нина вошла, закрытая длинною черною вуалью, молчаливая, подавленная горемъ. Не видя никого, прошла прямо въ залъ, гдѣ на высокомъ черномъ катафалкѣ, въ бѣломъ гробу, лежалъ ея милый.

Кто-то ходилъ, раздавая свѣчи для панихиды, и изъ боковой двери вился дымокъ разжигаемаго кадила. Въ залѣ было немного людей,—и появленіе Нины было замѣчено очень. Не зналъ ее никто, и всѣ дивились глубокому трауру и слезамъ неизвѣстно откуда пришедшей дѣвушки.

Нина подошла близко, постояла у гроба, и тихо поднялась по ступенямъ катафалка. Покровъ, цвѣты, желтое лицо. Всмотрѣлась, наклоняясь, въ тихую улыбку покойника.

Какъ страшно, какъ холодно улыбаются мертвыя губы! Какія холодныя тоскующимъ губамъ невѣсты его мертвыя губы! Не дрогнутъ жаркимъ поцѣлуемъ цѣлуемыя жарко могильно холодныя мертвыя губы!

Ужаленная холодомъ мертвыхъ губъ, слабо вскрикнула Нина Кто то взялъ подъ руку и помогъ спуститься съ катафалка на строгій желтый лоскъ паркета. И точно поставилъ плачущую на колѣни, когда началась въ синемъ дымѣ ладана панихида.

Было перешептываніе родныхъ:

— Кто?

— Вотъ эта?

— Вы не знаете?

— Никто, кажется, не знаетъ.

Наташа стояла у двери.

Кто то спросилъ ее:

— Не знаете-ли, кто эта барышня въ трауръ, которая такъ плачетъ?

Такъ же тихо отвѣтила Наташа:

— Это—невѣста покойнаго.

— Но никто изъ родныхъ ее не знаетъ,—съ удивленіемъ шепталъ спрашивающій.

— Да. Это печальная исторія.

Стали передавать одинъ другому:

— Это—невѣста покойнаго.

Родные были въ недоумѣніи. Но всѣ повѣрили. И какъ было не вѣрить!

Для всѣхъ этихъ, родныхъ и чужихъ, различно настроенныхъ людей, печальныхъ и равнодушныхъ, Нина, никому не знакомая, плачущая, милая и жалкая въ ея траурномъ

нарядѣ, была воистину невѣстою этого неизвѣстно почему застрѣлившагося студента, тихаго и красиваго въ своемъ бѣломъ и красивомъ гробу. Никто не зналъ какая тайна связываетъ этотъ гробъ и эту плачущую дѣвушку,—и не она ли была причиною его смерти,—но всѣмъ было трогательно смотрѣть на нее. Рядомъ съ отчаяніемъ сѣдой старухи матери и тупымъ горемъ старика отца, выражавшимися такъ сильно и такъ внѣшне некрасиво, съ покраснѣлостью глазъ, со слезливымъ насморкомъ, съ растрепанною прическою сѣдыхъ волосъ, нѣмая скорбь этой молящейся на колѣняхъ дѣвушки въ траурѣ казалась возвышенною и прекрасною. И хотя всѣ знали родителей, а ее никто не зналъ, всѣмъ было гораздо болѣе жаль ее милую, жалкую, трогательно склонившую колѣни, такую изысканно-очаровательную подъ складками ея полупрозрачной креповой вуали. И даже бывшая у иныхъ мысль о томъ, что опечаленная и плачущая невѣста могла быть причиною смерти этого прекраснаго молодого человѣка, осыпаннаго въ гробу благоухающими ненужнымъ ему ароматомъ цвѣтами,—даже и эта жестокая и суровая мысль не побѣждала сожалѣнія къ ней, рожденнаго въ тихихъ потокахъ ея свѣтлыхъ слезъ. И ея глубокая опечаленность, и склоненное къ холоднымъ паркетамъ ея орошенное слезами лицо, и вся ея скорбная фигура,—о, если въ этомъ горѣ есть неумолимое дуновеніе злыхъ раскаяній, что же, развѣ отъ этого еще не болѣе жалко ее? Мало ли изъ за чего ссорятся и временно расходятся любящіе люди,—а вѣдь она, очевидно, любила его,—по нелюбимымъ такъ не плачутъ и траура не надѣваютъ,—мало ли что бываетъ между милыми, а онъ, жестокій, убилъ себя, не стерпѣлъ легкой печали, навѣкъ погрузилъ ея сердце въ ужасъ и тоску страшнаго воспоминанья?

А она, плачущая и молящаяся невѣста невѣдомаго жениха, она, отдавшаяся покорно порывамъ своей творимой печали,—что чувствовала она?

Какъ ни была она рада отдать свое сердце томленіямъ печали, какъ ни приготовлена была она къ этому тоскою сознанныхъ предчувствій,—все же представшее ей превзошло ея ожиданія.

Очарованіе этого молодого и такого смертельно спокойнаго лица, къ которому припала она для поцѣлуя притворной скорби, въ одинъ краткій мигъ овладѣло ею, — и чувствовала она, что довѣка не свергнуть ей этого сладкаго и жгучаго очарованія. Что-то болѣе прекрасное, чѣмъ красота, и болѣе властное, чѣмъ власть любви, презирающей могильный холодъ и мракъ погребальнаго склепа, нѣчто неизъяснимое и невыражаемое никакими человѣческими сло-

вами, обаяніе, вѣдомое одной только смерти, приникло къ ней,—и уже знала она, что лежащій въ бѣломъ гробѣ, осыпанный алыми розами, обвѣянный взмахами пламенѣющаго кадила, окруженный зыбкими волнами синяго ароматнаго дыма, гдѣ растворенъ темный ладанъ, что онъ воистину желанный, возлюбленный ея женихъ.

И когда спускалась она со ступеней чернаго катафалка и глазами, полными тоски, окинула просторъ холоднаго покоя, отыскивая, гдѣ бы ей укрыть свои слезы, уже нестерпимою мукою было пронизано ея сердце. Она сдѣлала два три шага, и почувствовала, что голова ея кружится. Она повернулась лицомъ къ гробу; возрастающая слабость была въ ея дрожащихъ колѣняхъ. Уже не выбирала она мѣста и, гдѣ пришлось, опустилась, почти упала близъ гроба. Рядомъ съ нею плакала сѣдая мать, тихо, слезливо всхлипывая. Черная ряса священника медленно двигалась близко отъ ея лица. Она заплакала, приникла лицомъ къ рукамъ, брошеннымъ на полъ, и надъ нею звякнули тихимъ звяканьемъ колечки кадильной цѣпи, пронесся низкій и увѣренный голосъ діакона, и грустно, красиво и звонко полилось панихидное пѣніе,—слова трогательныя, значительныя, болѣе вѣскія, чѣмъ бѣдная вѣра людская, такія мудрыя, такія утѣшающія,—и такъ неутѣшительныя. Закрывъ лицо руками, едва слыша слова и пѣніе, едва вдыхая ладанъ грусти, она ясно видѣла передъ собою лицо покойнаго, внезапно ей милое. Видѣла его живымъ,—смѣялись глаза, и уста, полуприкрытыя черными усами, двигались, и слова были мудрыя и правдивыя, и слова были о томъ, что неизмѣнно близко и дорого сердцу. Всматривалась,—и черты лица, въ короткую минуту цѣлованія схваченныя цѣпкою памятью внезапно влюбленнной, оживали теперь передъ нею, и все яснѣе представалъ милый обликъ. И каждая черта этого лица неложно говорила о чемъ-то, безконечно-миломъ и близкомъ.

Кончилась панихида. Уходили. Около родителей покойнаго были близкіе Утѣшали, шептали что-то.

Нина стояла одна. Ей казалось, что она окружена чужою и враждебною атмосферою.

Совсѣмъ одна...

Неужели уходить? Оставить милаго?

Заплакала. Пошла изъ комнаты, тихая, грустная, милая жалкая, провожаемая влажными взглядами родныхъ и знакомыхъ.

На лѣстницѣ, на площадкѣ нижняго этажа остановилась, плача. И вдругъ послышались бѣгущіе сверху легкіе шаги. Нина посмотрѣла вверхъ по лѣстницѣ, — какое-то неясное предчувствіе сказало ей, что это за нею.

Дѣвушка въ траурномъ ситцевомъ платьѣ, съ креповымъ чепчикомъ на головѣ, русоволосая и веснусчатая, съ сѣрыми и покраснѣвшими отъ слезъ глазами,—горничныя такъ плачутъ по добрымъ господамъ,—быстро сбѣгала по лѣстницѣ. Остановилась передъ Ниною.

— Барышня, — тихонько заговорила она, слегка запинаясь, точно конфузясь,—наша барыня, ихъ мамаша, просятъ васъ пожаловать къ нимъ на минуточку.

— Зачѣмъ?—робко спросила Нина.

— Не могу знать, барышня, — отвѣтила горничная, но видно было по ея тону, что знаетъ и хочетъ сказать.— Только очень просятъ,—продолжала она.—Кажется, у нихъ письмо. Да не знаю ужъ что. Только очень просятъ.

Нина поднималась по лѣстницѣ. и смутная боязнь томила ее, навѣвая ей какія то внѣшнія опасенія, такія мелкія сравнительно съ глубиною ея печали. Думала:

„Неужели попросятъ не приходить болѣе? Но за что же? Или станутъ обвинять въ смерти моего милаго“?

И ручьемъ хлынули слезы. Пошатнулась. Горничная поддержала ее подъ локоть, участливо заглядывая въ лицо.

„Пусть обвиняютъ,—думала Нина.—я не буду спорить. Пусть я виновата. И почемъ я знаю? И что я знаю“?

Горничная провела ее въ гостиную.

Видно было, что вся семья живетъ на дачѣ, и пріѣхали сюда только для похоронъ. Мебель была въ чехлахъ и поставлена какъ-то кое-какъ, не совсѣмъ по зимнему. Зеркало въ простѣнкѣ было наскоро и неровно прикрыто чѣмъ то бѣлымъ,—это потому, что въ домѣ былъ покойникъ

Нина отвела креповую вуаль отъ лица, поблѣднѣвшаго подъ лѣтнимъ загаромъ и даже словно похудѣвшаго отъ печали, — и смотрѣла печальными и робкими глазами на сѣдую худощавую женщину, довольно высокаго роста, поднявшуюся ей навстрѣчу съ дивана.

„Мать“, подумала Нина.

Какъ-то механически отмѣчала:

„Сѣдая. Тонкая. Глаза голубые, свѣтлые. Похожа на сына“.

Казалось почему-то, что еще на дняхъ эта женщина съ заплаканными глазами и отчаяннымъ лицомъ не была сѣдою,—тщательно зачесывала волосы, и даже, можетъ быть, подкрашивала ихъ. а теперь вдругъ разомъ опустилась и уже забыла о своей внѣшности, и о растрепавшихся на головѣ сѣдыхъ космахъ.

Пригласила сѣсть. Въ этой же комнатѣ, у окна, стоялъ отецъ, высокій, прямой старикъ. Стоялъ въ полуоборотъ къ окну, точно и хотѣлъ смотрѣть на гостью, и хотѣлъ скрыть отъ нея выраженіе печали на гордомъ старческомъ лицѣ.

— Вотъ,—сказала старуха,—смотрю я на васъ, вы одна здѣсь намъ незнакомая. Вотъ я и думаю, что это вамъ должно быть письмо отъ Сереженьки. Вамъ?

— Не знаю,—сказала Нина.—Какъ я могу знать?

Старалась не плакать, а слезы опять хлынули изъ глазъ. Заплакала и мать.

— Такъ это для насъ неожиданно,—говорила она.— Ждемъ Сереженьку къ обѣду,—онъ на день въ городъ уѣхалъ,—и вдругъ... Да, о письмѣ-то я начала. Видите...

Старуха вынула изъ альбома, лежащаго на столѣ, письмо въ узкомъ сѣро-зеленомъ конвертѣ, и сказала:

— О комъ Сереженька пишетъ, мы никакъ не могли догадаться. Но это письмо,—ко мнѣ онъ письмо оставилъ, и вотъ это письмо вложено,—проситъ передать его молодой барышнѣ, которая у насъ не бывала, передать, если она придетъ на панихиду или на выносъ. А узнаете, пишетъ, по тому, что она въ трaурѣ будетъ и, можетъ быть, поплачетъ немножко. Ей, пишетъ, и отдайте. Если же она не придетъ, сожгите, пишетъ, не читая. Вотъ я и думаю, не вамъ-ли письмо.

И не колеблясь ни минуты, Нина сказала:

— Да, это мнѣ.

Поблѣднѣла. Протянула руку за письмомъ, вся полная страха. Тяжелые-ли упреки броситъ ей изъ за таинственной грани ея милый? Слова-ли нѣжной любви и утѣшенія?

Подумала:

„А если придетъ она, другая?"

Шуршалъ конвертъ въ дрожащихъ пальцахъ. И уже нетерпѣливою рукою разорванъ край конверта. Быстрыя мысли чередовались, пока вытаскивала письмо изъ темницы конверта:

„Придетъ—отдамъ. Да не придетъ. Злая, оставила, забыла въ страшные предсмертные его часы не томилась тоскою предчувствій. Какъ я. Это—мое. Но если придетъ, и трауръ надѣнетъ, и заплачетъ,—отдамъ".

И отецъ и мать стояли передъ нею и смотрѣли на ея лицо, когда она читала. Точно по лицу хотѣлось узнать имъ страшную тайну.

Читала:

„Милая, дорогая, пишу тебѣ въ странной, можетъ быть, несбыточной надеждѣ, что ты все-таки придешь къ моему гробу, заплачешь надъ моею могилою, хоть короткое время поносишь по мнѣ трауръ. Зачѣмъ мнѣ это? Знаю, что это— ужасная ерунда, а все-таки утѣшенъ мечтою о томъ, что ты придешь. И если придешь, тебѣ отдадутъ это письмо... А не придешь—сожгутъ. Такъ я просилъ маму, а она у меня

славная и не обманетъ, сдѣлаетъ, какъ я прошу. Ты, я вѣрю, не огорчишь ее ни однимъ ненужнымъ словомъ. Я, видишь-ли, умираю. Все одно къ одному подошло. Не вини себя, милая. Въ нашей разлукѣ я самъ виноватъ, я одинъ. И мнѣ пенять не на кого, а только это было такъ, словно изъ ткани моей жизни кто-то выдернулъ какую-то связующую нить, и все стало разсыпаться. По внѣшности я остался такимъ же, и шелъ заодно съ товарищами, вообще не вѣшалъ носа. Даже взялся за дѣло, которое раньше, можетъ быть, сдѣлалъ бы съ размаха. А теперь оно меня окончательно раздавило. Убить всегда трудно,—но вѣдь я знаю, что... Да что говорить! Взялся, и не могу. Предпочитаю убить самого себя. Не потому, чтобы старыя прописи изъ морали, ну, тамъ святость человѣческой жизни,—да нѣтъ, можетъ быть, и это. Такъ, страшно и темно. Весь изнемогъ. Я—человѣкъ конченный (впрочемъ, эту фразу я слизнулъ у кого-то, ну да сойдетъ). Тебѣ хотѣлъ бы сказать что-нибудь очень свѣтлое и спокойное. Ты, можетъ быть, улыбнешься сквозь слезы, но пусть,—я все-таки тебя, Киска, очень люблю. Будь счастлива, обо мнѣ вспоминай не часто и безъ досады. А если бы ты вернулась,—но, впрочемъ, что вамъ, живущимъ, завѣты изъ-за гроба? Чепуха, не правда-ли? И все-таки, мой другъ, моя милая, тотъ, кто увидѣлъ свѣтъ и отвернулся отъ него, порядочная дрянь.

Прощай. Твой Сергѣй".

Нина вложила письмо въ конвертъ. Хотѣлось уйти, остаться одной, перечитывать, думать и плакать. И уже хотѣла уходить. Но чьи-то просящіе взоры удержали ее.

— Что вамъ пишетъ Сережа?—спросила мать.

Нина молчала. Не знала, что сказать. И старая продолжала.

— Поймите ужасъ нашего положенія,—вѣдь мы совершенно не знаемъ, изъ-за чего Сережа, изъ-за чего,—вѣдь это ужасно! Хоть бы что-нибудь знать, хоть бы что-нибудь!

Нина думала:

„Что же я могу сказать? А если она придетъ? и придется ей отдать письмо? Лучше пусть она скажетъ".

Улыбалась и плакала. Сказала рѣшительно:

— Простите, я очень понимаю, но сейчасъ я должна молчать. Я не могу вамъ сказать, ничего не могу.

— Сударыня, — началъ молчавшій до этого времени отецъ, и звукъ его голоса былъ странно-рѣзокъ и скрипучъ,—вѣдь мы могли бы и не отдавать вамъ письма. Въ такомъ положеніи... Мы имѣли бы право сами его распечатать. А вы скрываете...

Не кончилъ. Странно всхлипнулъ. Отвернулся.

Нина потупилась, и тихо сказала:

— Да, вы имѣли возможность прочитать это письмо,— но вы этого не сдѣлали

— Нѣтъ, конечно,—говорила мать.—кто же говоритъ! Конечно, мы бы не стали читать чужого письма. Но наше... наше горе... умоляю васъ, пожалѣйте старую женщину.

— Ради Бога, — вскрикнула Нина, — подождите, подождите до завтра. Клянусь вамъ, теперь я не могу. Я скажу вамъ завтра. Завтра, когда его... когда Сережу... ради Бога.

Плакали обѣ, обнимая одна другую. И вдругъ мать оттолкнула Нину.

— Не дастъ вамъ Богъ счастія, если онъ изъ-за васъ!— плачущимъ воплемъ слабо вскрикнула она, и бросилась рыдая изъ комнаты.

Отецъ быстро ушелъ за нею. Нина осталась одна.

День проходилъ тупо и вяло, въ смятеніи мыслей и мечтаній. Перечитывала письмо милаго. Думала боязливо:

„А если придетъ та, другая, злая?“

Горько было думать, что придется отдать ей милыя странички, исписанныя мелкимъ, торопливымъ четкимъ почеркомъ. И утѣшая себя, опять думала:

„Да нѣтъ, не придетъ“.

Нетерпѣливо ждала вечера,—итти опять на панихиду, въ гробъ милому положить бѣлую розу, у гроба его оставить бѣлый вѣнокъ опечаленной невѣсты. И узнать, пришла-ли злая разлучница.

Докучныя, лишнія, пламенныя влачились минуты змѣино-солнечнаго дня.

Послѣ обѣда Нина сказала Наташѣ:

— Послѣдняя отрада—получить письмо отъ милаго. Я его получила.

Наташа съ удивленіемъ смотрѣла на узкій зеленый конвертъ. Нина въ первый разъ замѣтила на конвертѣ надпись. Прочла:

„Опечаленной невѣстѣ“.

Та, другая, не приходила. Ее не было ни на вечерней панихидѣ, гдѣ бѣлый легъ вѣнокъ на ступени чернаго катафалка, и у черныхъ волосъ милаго упала бѣлая роза, подарокъ невѣсты. Ее не было и на выносѣ, и на отпѣваніи. И красота невѣстиной печали ничѣмъ не была нарушена.

По знойнымъ утреннимъ улицамъ равнодушно-шумнаго города, за гробомъ, по пыльной мостовой шла Нина съ родителями своего жениха Кто-то изъ его родныхъ, элегантно-одѣ-

тый и красивый господинъ съ сѣдѣющими усами и прямымъ станомъ отставного офицера, велъ Нину подъ руку.

Красота ея печали влеклась по безобразію пыльныхъ, знойныхъ улицъ, подъ неистовымъ пыланіемъ древняго Змія, среди минутно тронутыхъ и крестящихся прохожихъ,—роковая красота печали влеклась на сѣромъ и зломъ безучастіи Айсы.

Устала, но не хотѣла сѣсть въ карету. И смертельно устала. Усталость вѣнчала красоту ея печали, и милая томность ея лица была еще болѣе трогательна этимъ, чужимъ ей людямъ.

Скорбный долгъ былъ обрядъ,—потому что не жалѣли денегъ, и въ красивой церкви хорошо пѣлъ отличный хоръ пѣвчихъ. Обрядъ, утѣшающій слабыхъ,—но какое утѣшеніе могъ дать Нинѣ, бѣдной невѣстѣ жениха, только изъ-за гроба сказавшаго ей слова любви, но и слова укора. И думала она:

„Куда же я должна вернуться, чтобы утѣшить его? Чтобы не остаться, по его откровенно-милому слову, порядочною дрянью, малодушно отвернувшейся отъ свѣта?“.

И казалось ей, что она знаетъ, куда пойдетъ, и чѣмъ его утѣшитъ.

Могила. Брошены послѣднія горстки земли...

Рыдали мать и невѣста,—некрасивая, старая, родная ему, съ покраснѣвшимъ носомъ, сгибалась, сбивая на бокъ, шляпу,—и молодая, блѣдная, заплаканная дѣвушка, чужая ему при жизни и теперь единственно близкая ему.

И онѣ остались однѣ надъ свѣжею могилою,—одна не берегла сына, и сердце его было ей темно, и помыслы не понятны и чужды,—и другая; на нее ни разу не глянули его милыя очи, но ей открылось его сердце,—слабое, изнемогшее отъ непосильнаго бремени земное сердце человѣка, который хотѣлъ великаго подвига и не могъ его совершить.

„Милый,—шептала она,—я знаю путь, которымъ надо итти, чтобы съ тобою быть, чтобы тебя утѣшить. Ты не могъ, ты ослабѣлъ отъ печали, тебѣ темно и холодно въ могилѣ, но ничего, не бойся, я сдѣлаю все, что было твоимъ дѣломъ. И если на твоемъ пути есть страданія, они будутъ моими“.

Смотрѣли одна на другую. Нина думала:

„Что скажу ей? Чѣмъ ее утѣшу?“.

Сказала ей тихо:

— Вы сказали вчера, что Богъ не дастъ мнѣ счастія, если онъ умеръ изъ-за меня. Видитъ Богъ, что я въ этомъ

нисколько невиновата. Но на что же мнѣ счастіе, если онъ, милый мой, въ могилѣ? Я не умѣла быть съ нимъ вмѣстѣ, когда онъ былъ живъ, но повѣрьте, что я всегда буду вѣрна его памяти. И то, что онъ мнѣ завѣщалъ, исполню,—и его любовь будетъ моею любовью, его друзья моими друьями, его ненависть моею ненавистью, и то, отчего погибъ онъ, понесу я.

Ѳедоръ Сологубъ.

ЛЮДИ.

Повѣсть **Анатолія Каменскаго**.

Глава первая.

Всю дорогу изъ клуба профессоръ хваталъ Виноградова за руки, задыхался, обиженно сопѣлъ и говорилъ:

— Нѣтъ, вы не увертывайтесь, а скажите честно и откровенно,—талантливый я человѣкъ или нѣтъ? Вы эти золоченыя пилюли оставьте. Это-то, батенька, я и безъ васъ великолѣпно знаю, что я извѣстенъ, широко образованъ и что у меня есть темпераментъ. Нѣтъ, господа, довольно. Къ дьяволу-съ. Категорически спрашиваю: талантливъ я или нѣтъ?

Виноградовъ, вмѣстѣ съ другими считавшій профессора Тона не умнымъ и не талантливымъ человѣкомъ, боялся новаго, затяжного, еще болѣе безтолковаго разговора и попрежнему уклончиво отвѣчалъ:

— Сегодня вы, дорогой Аркадій Александровичъ, не образованный и не талантливый, а просто-на-просто пьяный человѣкъ.

— Хорошо-съ, прекрасно-съ,—горячился Тонъ,—а вчера, а вообще... Вѣдь вы же меня, славу Богу, не въ первый разъ видите. Извольте отвѣчать. Я требую.

И такъ какъ трудно было понять, сердится ли профессоръ или разыгрываетъ обычную пьяную буффонаду, то получилось само собой, что Виноградовъ доѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ до самаго дома и потомъ поднялся по лѣстницѣ въ третій этажъ.

— Какого чорта я собственно за вами иду?—спрашивалъ Виноградовъ, машинально проходя въ квартиру и снимая въ передней пальто.

Шарообразный маленькій Тонъ съ жирными кирпично-красными щеками задыхался отъ приступа неудержимой веселости, какъ-то кругло, по рыбьему открывалъ ротъ и торопливо стрѣлялъ словами:

— Сказано: требую, и не разсуждать. У меня чтобы этого не было-съ. Замолчать-съ. Вопросъ поставленъ ребромъ—да-съ, или нѣтъ-съ. А въ награду—кофе и коньякъ.

До этой ночи Виноградовъ не бывалъ у Тона, стѣсняясь его слишкомъ фешенебельной квартиры, о которой хорошо зналъ по наслышкѣ. Профессоръ жилъ вмѣстѣ со своимъ отцомъ, бывшимъ министромъ, заслуженнымъ генераломъ, и девятнадцатилѣтней дочерью-курсисткой, жилъ роскошно, въ 15 комнатахъ, и, хотя имѣлъ совершенно обособленный уголокъ, однако избѣгалъ приглашать къ себѣ случайныхъ пріятелей изъ „богемы".

Щелкая выключателями и зажигая тамъ и здѣсь неожиданные розовые огни, прошли черезъ залъ съ бѣлымъ рояллемъ и большой хрустальной люстрой, потомъ черезъ нѣсколько гостиныхъ и мрачную столовую съ рѣзнымъ дубовымъ потолкомъ, и наконецъ попали въ библіотеку. Профессоръ забѣгалъ изъ угла въ уголъ, для чего-то передвинулъ нѣсколько креселъ, зажегъ штукъ пять электрическихъ лампъ и устремился вонъ за коньякомъ.

Машинально, отъ нечего дѣлать, Виноградовъ сталъ переходить изъ комнаты въ комнату. Увидалъ скорѣе адвокатскій, чѣмъ профессорскій рабочій кабинетъ, а по сосѣдству—небольшой кокетливый салончикъ съ золоченой мебелью, миніатюрнымъ рояллемъ и множествомъ рисунковъ, акварелей и фотографій въ банально-декадентскихъ рамахъ по стѣнамъ. Увидалъ спальню бѣлаго клена—тоже скорѣе адвокатскую, чѣмъ профессорскую. И вдругъ очутился въ довольно большой пустынной комнатѣ неизвѣстнаго назначенія съ высокими, наглухо запертыми шкафами и большимъ турецкимъ диваномъ. Неожиданная мысль какъ-будто осѣнила Виноградова, и онъ съ особымъ вниманіемъ оглядѣлся по сторонамъ. Потомъ вернулся въ библіотеку и сталъ серьезно думать, для чего-то отсчитывая на пальцахъ:

— Надоѣдливый и не умный „молодой" Тонъ. Когда-то извѣстный, но нынѣ сданный въ архивъ финансистъ и желѣзнодорожникъ „старый" Тонъ. Девятнадцатилѣтняя дѣвушка курсистка. Гм... Каковы могутъ быть отношенія между этими совершенно различными людьми въ 15 комнатахъ на троихъ? Встрѣчаются разъ на дню за обѣдомъ О чемъ говорятъ и въ какой мѣрѣ гнетутъ другъ друга? Матеріалъ для „воздѣйствія" не изъ богатыхъ, но зато атмосфера совершенно новая, и кое что можетъ оказаться интереснымъ само по себѣ. А комната со шкафами и диваномъ великолѣпная и, повидимому, никому не нужна. Очень удобный ходъ въ коридоръ. Пожалуй, до лучшаго случая, можно здѣсь и обоснозаться. Тѣмъ болѣе, что отношенія съ той семьей, въ которой приходилось жить и „проповѣдывать" до послѣдняго дня, испортились въ конецъ. Уѣзжать необходимо: всѣ уже ненавидятъ и его и другъ друга. И

главная цѣль давно достигнута: искренность и правда водворены...

— Подъ Кульмъ, подъ Кульмъ, подъ Ау-стер-лицъ!— напѣвалъ какой то нелѣпый маршъ профессоръ, возвращаясь въ библіотеку съ коньякомъ.

Виноградову уже не хотѣлось пить. и, какъ всегда послѣ безсонныхъ ночей—по утрамъ, вмѣстѣ съ какою-то наивной инерціею въ мысляхъ, имъ овладѣло странное любопытство къ линіямъ и формамъ, къ неподмѣчаемымъ контрастамъ и полутонамъ. У профессора красное, точно изо всѣхъ силъ надутое лицо и маленькіе самодовольно-веселые глазки. Вся окружающая обстановка безконечно враждебна этому пузатому человѣку съ математически круглымъ ртомъ. При чемъ же тутъ изображенія великихъ поэтовъ по стѣнамъ и что собственно ему, Виноградову, нужно отъ этого веселаго помѣщика, жуира и карьериста?

— Если хотите знать,—сухо сказалъ Виноградовъ,—то я давно рѣшилъ, что вы, профессоръ, не только не талантливый, но и не умный человѣкъ. И для меня всегда было загадкой, отчего вы, напримѣръ, не сдѣлались губернаторомъ или предводителемъ дворянства? Впрочемъ не печальтесь. Это вѣдь мое личное мнѣніе, не могущее повредить вашей карьерѣ, и то, что я говорю, нисколько не мѣшаетъ вамъ быть очень хорошимъ человѣкомъ.

Профессоръ еще круглѣе открылъ свой ротъ и точно замеръ въ необыкновенно пухломъ и глубокомъ сафьянномъ креслѣ. И лицо его вдругъ сдѣлалось покорнымъ и жалкимъ.

— Плюньте на это дѣло,—сказалъ Виноградовъ, смягчаясь,—выпейте лучше коньяку.

Чортъ съ вами,—уже весело произнесъ Тонъ,—ваше мнѣніе дѣйствительно въ счетъ не идетъ: вы извѣстный грубіянъ. А все таки я васъ очень люблю. Бросимъ это, разскажите-ка, что вы такое понатворили съ Янишевскими? Жена, говорятъ, открыто стала развратничать, а мужъ изъ благонамѣреннаго кадетскаго публициста превратился въ пьяницу и бреттера?

— Ничего, это не бѣда,—отвѣчалъ Виноградовъ,—все хорошо: наладилось и покатилось, какъ по рельсамъ. Вотъ только благодарности никакой—оба смотрятъ на меня волками и, кажется, жить съ ними я уже не буду.

—Хо-хо хо!—громко засмѣялся профессоръ,—опять куда-нибудь на гастроли?

— Нравится мнѣ комнатка въ одномъ почтенномъ семействѣ. Думаю сегодня же перебраться.

— Куда это?—съ любопытствомъ спросилъ Тонъ.

— Да къ вамъ, дорогой другъ,—спокойно отвѣчалъ Виноградовъ.

— Хо-хо-хо!—уже совсѣмъ хохоталъ Тонъ,—на гастроли къ намъ? Полно чепуху болтать. Что же вамъ у насъ интереснаго? Кого вы будете обращать въ свою вѣру—не меня ли и не его ли превосходительство?

— Поживемъ, увидимъ. Дочка у васъ есть. Курсистка. Матеріалъ для пропаганды благодарный. Широко распространить идею. Кстати, какъ ее зовутъ—Надеждой?

Виноградовъ ходилъ по комнатѣ, равнодушно поглядывалъ на Тона, и видѣлъ, какъ зародившіеся въ его глазахъ удивленіе, потомъ испугъ постепенно перешли въ настоящій ужасъ.

— Полно чепуху болтать, Виноградовъ, вѣдь вы же сами знаете, что это совершенная чепуха.

— Ничего подобнаго, профессоръ. Вотъ я хожу и думаю, почему бы мнѣ не отдохнуть у васъ. Порядокъ тутъ вѣроятно, какъ заведенный, обѣдъ—слава тебѣ, Господи, воздуху и простору сколько угодно. Старичокъ, говорятъ, довольно забавный. А что касается дочки, то съ какой стороны это васъ можетъ безпокоить? Матримоніальныхъ намѣреній у меня нѣтъ, а если что-нибудь другое, то отъ этого она не застрахована и на улицѣ. Я-то ужъ по крайней мѣрѣ поставилъ бы васъ въ извѣстность.

— Нѣтъ, это чортъ знаетъ что,—кричалъ профессоръ, снова бѣгая по комнатѣ въ припадкѣ неудержимой веселости,—дернула же меня нелегкая завезти сюда подобное сокровище! Это что же значитъ: съ мѣста въ карьеръ подъ опеку къ какому-то дьяволу. Ни минуты покоя. Ни гостей позвать, ни самому расположиться въ простотѣ.

— Да, положеніе ваше хуже губернаторскаго,—говорилъ Виноградовъ спокойнымъ, поддразнивающимъ тономъ,—выпейте еще немножко коньяку.

— А вы?—весело спрашивалъ круглый, малиново-красный ротъ.

— И я выпью пожалуй.

— А все-таки я васъ люблю, Виноградовъ,—быстрымъ задыхающимся хохоткомъ смѣялся ротъ.

— А я васъ, профессоръ!

— Хо-хо-хо, паки и паки люблю васъ, Виноградовъ!

— Ваши гости, профессоръ!

— Милости просимъ, Виноградовъ!

— Сегодня вечеромъ, профессоръ!

Черезъ нѣсколько минутъ Тонъ уже храпѣлъ въ своемъ любимомъ пухломъ креслѣ, кокетливо сложивъ руки на животѣ, а Виноградовъ, все въ томъ же полусознательномъ и сонномъ туманѣ подошелъ къ окну, поднялъ штору и

впустилъ въ комнату только что народившееся синее ноябрское утро. Рукописи на столѣ, стекла въ шкафахъ, бѣлый гипсъ статуэтокъ и бѣлыя поля гравюръ и фотографій вдругъ проснулись и наполнили библіотеку трезвымъ разсудительнымъ холодкомъ. Въ какомъ-то испугѣ Виноградовъ потушилъ электричество и почти выбѣжалъ въ коридоръ, въ которомъ еще стояла теплая, уютная ночь. И тутъ же вспомнилъ о дочери профессора и съ непонятной увѣренностью почувствовалъ ея присутствіе гдѣ-то здѣсь, вблизи, въ двухъ шагахъ отъ себя. За тѣми, или за этими дверями? Прямо противъ него или поодаль?..

Неожиданно распахнулась дверь.

— Ахъ,—сказала Надежда Тонъ,—кто это?

На ней было лиловое платье съ длиннымъ шлейфомъ, четырехугольнымъ открытымъ воротомъ и короткими рукавами, и ея голыя, розоватыя, только что освѣженныя водой шея и руки казались странно-холодными и твердыми, какъ розовый мраморъ. И вся она, въ синемъ четерехугольникѣ двери казалось рѣзко вычерченной и необыкновенно стройной.

Онъ овладѣлъ собой отъ неожиданности и отвѣчалъ:

— Это не кто иной, какъ Виноградовъ, тотъ самый, о которомъ вы, конечно, слышали. А вы—дочь Аркадія Александровича?

Она еще стояла, держась за ручку двери, но когда Виноградовъ назвалъ себя, медленно ступила въ коридоръ. Въ ночномъ, спокойномъ свѣтѣ электричества онъ увидѣлъ вдругъ потеплѣвшій мраморъ шеи и рукъ и юные, ласковые, вопрошающіе глаза.

Услышалъ:

— Вы пріѣхали вмѣстѣ съ папой изъ клуба? Да?

— Вмѣстѣ съ папой изъ клуба, да,—медленно и какъ бы машинально повторилъ Виноградовъ, пристально вглядываясь въ нее.

Она не знала, что сказать. Молчалъ сонный корридоръ.

— Вы красивая,—произнесъ Виноградовъ спокойно,—это мнѣ нравится и не нравится.

Надежда провела рукой по лицу, и въ ея глазахъ зажглось удивленіе и любопытство.

— Почему? — спросила она, — какъ странно... — и остановилась.

— Нравится потому, что я собираюсь жить у васъ и не нравится потому, что женская красота—очень трудная, непонятная и всегда опасная вещь, распространяющая вокругъ себя безпокойство.

— Ужасно смѣшно все это,—нерѣшительно смѣясь сказала Надежда,—и я право не знаю...

Виноградовъ докончилъ за нее:

— Вы не знаете, что сейчасъ дѣлать. Вы шли куда-то... Идите.

— А вы?

— А я разыщу кого-нибудь изъ прислуги и попрошу, чтобы мнѣ сдѣлали постель. Хотя, по правдѣ сказать, мнѣ хотѣлось бы еще немного поговорить съ вами. Вы не хотите?

Надежда засмѣялась другимъ какимъ-то новымъ, четкимъ и свободнымъ смѣхомъ и сказала такъ же четко:

— Хочу. Пойдемте.

Она пошла впереди его навстрѣчу дымчато-розовому отсвѣту въ концѣ корридора, и Виноградовъ увидѣлъ второй четырехугольный вырѣзъ ея платья около плечъ и копну золотыхъ пушистыхъ волосъ. Качающіяся движенія бедеръ словно подчеркивали немного утлую, неувѣренную поступь ногъ, а когда она оборачивала къ нему на минутку лицо, то можно было замѣтить ямочку такой же неувѣренности около губъ и сдержанную, прячущуюся улыбку въ глазахъ.

„Добрая, правдивая, но скрытная",—почему-то подумалъ Виноградовъ, медленно проходя за Надеждой, сначала черезъ красную гостиную, потомъ черезъ столовую мрачнаго, почти чернаго дуба, потомъ снова черезъ гостиную въ нѣжныхъ золотисто-коричневыхъ тонахъ.

Спросилъ:

— Куда вы меня ведете?

— Я хочу предложить вамъ кусочекъ моей любимой утренней прогулки. По залу. Тамъ такой чудесный бѣлый свѣтъ, и всегда немножко холодно. Очень хорошо думается.

Мебель, гобелены и вазы открывались навстрѣчу взору, строгіе и неподвижные, въ изысканныхъ сочетаніяхъ круговъ, изгибовъ и прямыхъ линій, и въ синемъ свѣтѣ, лившемся сквозь сплошной невидимый хрусталь огромныхъ оконъ казались проснувшимися и точно смотрѣли отовсюду умытыми утренними глазами Виноградовъ шелъ позади лиловаго повелительнаго шлейфа и свѣтящагося золота волосъ и думалъ: „такъ начинается новая апостольская глава моей жизни. Какое странное, неожиданное начало".

Въ бѣломъ залѣ все было бѣлое, кромѣ прозрачно-желтаго паркета, въ которомъ змѣились бѣлыя отраженія рояля и стульевъ и висѣла опрокинутая хрустальная люстра съ кокетливымъ хороводомъ свѣчъ. И послѣ сплошного ковра послѣдней гостиной неожиданно громко застучали шаги. Было чуть-чуть скользко, и Надежда сама взяла Виноградова какъ-то по-дѣтски за руку—за самые кончики пальцевъ.

— Теперь давайте разговаривать, — сказала она. — Конечно я о васъ слышала отъ папы и отъ многихъ. Но вы мнѣ представлялись другимъ.

— Верхомъ на лошади и въ чалмѣ? — шутливо спросилъ Виноградовъ.

— Что такое, почему въ чалмѣ? — серьезно переспросила Надежда и продолжала: — нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ какъ то странно было представлять васъ самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ. Говорятъ, вы много причиняете страданій людямъ и притомъ считаете это своей священной миссіей. Вѣрно это? Вы поселяетесь въ чужихъ домахъ, какъ недобрый геній?

— Зачѣмъ такія громкія слова? Правда, я не имѣю собственнаго, такъ называемаго, пристанища и поочередно живу въ чужихъ квартирахъ. Иногда плачу за это трудомъ или деньгами, а если есть лишняя, никому не нужная комната, то живу даромъ. Вотъ профессору, напримѣръ, платить ничего не буду. Очень трудно ходить по вашему паркету, и вы мнѣ больше помогаете, чѣмъ я вамъ, — сказалъ онъ, цѣпляясь за ея пальцы.

Черезъ залъ быстрой и увѣренной походкой пробѣжалъ бритый лакей, съ напускнымъ равнодушіемъ скользнувшій взглядомъ по незнакомой фигурѣ Виноградова.

— Сейчасъ выйдетъ дѣдушка пить кофе, — сказала Надежда, — вы мнѣ все таки до сихъ поръ не объяснили, почему вы хотите поселиться у насъ? Развѣ вамъ надоѣло у Янишевскихъ?

— Мнѣ больше нечего тамъ дѣлать. Стало скучно: можно пересчитать по пальцамъ, что случится дальше.

— Что же случится?

— Самъ Янишевскій еще съ полгода будетъ пить, а его жена кататься на тройкахъ и мѣнять любовниковъ. Потомъ они разойдутся совсѣмъ, и она перестанетъ мѣшать ему работать. Лгать они уже давно перестали другъ другу и угнетать другъ друга также.

— И все это сдѣлали вы? — съ легкой ироніей спросила Надежда.

— Все это сдѣлали они сами, но толкнулъ ихъ на это, конечно, я. И я вообще думаю, что если въ организмѣ назрѣлъ нарывъ, то нужно поскорѣе помочь ему прорваться. Когда люди уже начали сознавать всю тяжесть окружающей ихъ, а главное внутренней лжи, то иногда достаточно самаго незначительнаго толчка, чтобы рухнула эта ложь и мгновенно выросли крылья. Вотъ тутъ то и нужно подтолкнуть. И это я дѣйствительно считаю своей священ-

ной миссіей. Нужно не думать, а дѣлать, а то умомъ мы всѣ уже давно дожили до великаго множества свободъ. Нужно только чтобы пришелъ кто-нибудь похрабрѣй и скомандовалъ. Тогда все будетъ хорошо, — увѣренно докончилъ онъ.

Надежда съ любопытствомъ обратила къ Виноградову лицо, и въ бѣломъ свѣтѣ окна онъ увидѣлъ, что глаза у нея необыкновенно ясные, свѣтлозеленаго оттѣнка, а брови пушистыя, пепельныя.

— Вы красивая, — точно съ неудовольствіемъ повторилъ онъ, — ужасно трудно ходить по вашему нелѣпому паркету.

— Примиритесь и съ тѣмъ и съ другимъ, — весело сказала дѣвушка, твердо охватывая рукой его пальцы, — и отвѣтьте еще на вопросъ: какимъ экспериментамъ намѣрены вы подвергнуть меня, дѣдушку и папу, разъ вы избрали нашу квартиру своимъ мѣстопребываніемъ?

„Барышня кусается, — подумалъ Виноградовъ, — ставитъ вопросъ ребромъ“, — и сказалъ разсердившись:

— Какихъ вы заслужите.

— Ха-ха-ха! — засмѣялась Надежда своимъ характерно отчетливымъ смѣхомъ, — это будетъ очень интересно, — если вдругъ дѣдушка начнетъ пить, папа поступитъ въ монахи, а я...

Она остановилась, и въ ея прозрачныхъ почти младенческихъ глазахъ вдругъ вспыхнулъ цѣлый сонмъ вызывающихъ, кощунственныхъ мыслей.

— Будьте же смѣлы, договаривайте, — сказалъ удивленный Виноградовъ.

— А я... пойду широкой дорогой самоопредѣленія, — договорила Надежда и снова разсмѣялась звонко и продолжительно на весь залъ.

И Виноградовъ снова подумалъ: „она хорошая, искренняя, но сидятъ въ ней два большихъ и упрямыхъ человѣка“.

— Смотрите, — она сжала ему руку, — вонъ дѣдушка идетъ кофе пить.

Въ противоположномъ концѣ зала обрисовалась высокая, прямая фигура старика съ длинными сѣдыми баками, длиннымъ носомъ и пергаментнымъ худымъ лицомъ, который медленно шелъ прямо на Виноградова и Надежду.

Дѣвушка остановила Виноградова рукой и ждала, устремивъ старику навстрѣчу ласковые радостные глаза. Старикъ спокойно, глядя и въ то же время какъ будто не глядя, шелъ впередъ, и почти миновавъ ихъ, вдругъ остановился, протянулъ Надеждѣ руку, наклонилъ голову и поцѣловалъ дѣвушку въ лобъ.

Надежда лѣниво подняла руки, ласково и интимно оперлась локтями старику на грудь и поправила ему черный

атласный галстукъ. И на мгновеніе рядомъ съ голыми розовыми руками рѣдкіе сѣдые бакенбарды сверкнули мертвымъ серебромъ.

— Прочиталъ твою хваленую повѣсть,—произнесъ старикъ неожиданно высокимъ и молодымъ голосомъ, немного въ носъ,—талантливо, но невѣрно. И авторъ, видимо, самъ чувствуетъ, что вретъ.

— На васъ не угодишь, дѣдушка,—сказала Надежда.

— То-то не угодишь,—неопредѣленно сказалъ старикъ, проходя вплотную мимо Виноградова и пристально глядя ему въ лицо страшно холодными и злыми глазами.

Виноградовъ, не смутившись, выдержалъ взглядъ, но все-таки невольно сдѣлалъ шагъ впередъ и произнесъ съ поклономъ:

— Позвольте представиться: бывшій студентъ Виноградовъ.

Старикъ медленно отвелъ глаза и сказалъ еще болѣе въ носъ:

— А мнѣ какое до этого дѣло?

И тою же прямою равнодушной походкой двинулся дальше.

Надежда стояла, смотрѣла то ему вслѣдъ, то въ удивленное, слегка растерянное лицо Виноградова, неслышно хлопала въ ладоши и смѣялась.

— Умный старикъ,—быстро успокаиваясь, сказалъ Виноградовъ—куда умнѣе вашего ученаго батюшки.

Стало совсѣмъ свѣтло, и бѣлый залъ вдругъ утратилъ очаровательную, вкрадчивую и подробную чистоту линій и сдѣлался обыкновеннымъ оффиціальнымъ заломъ заурядныхъ дворянскихъ домовъ. Виноградовъ оглядѣлся кругомъ, почувствовалъ утомленіе во всемъ тѣлѣ, вспомнилъ, что не спалъ цѣлую ночь и что за это время измѣнчивое колесо его жизни повернулось еще на одинъ оборотъ, открывая новый, трудный, неизвѣданный путь. Радостно забилось сердце, и онъ вызывающе повелъ плечами, посмотрѣлъ въ глаза Надеждѣ Тонъ добрымъ, дружескимъ взглядомъ и сказалъ:

— Я поѣду домой спать. Если это нужно, то передайте вашей прислугѣ, что я буду жить у васъ въ крайней комнатѣ—съ турецкимъ диваномъ и со шкафами.

Глава вторая.

Виноградовъ переѣхалъ къ Тонамъ въ субботу, а въ понедѣльникъ, по случаю дня рожденія Надежды, собралось человѣкъ сорокъ гостей. Часовъ съ семи Виноградовъ ходилъ по ярко освѣщенной квартирѣ отъ запертыхъ дверей

въ кабинетъ старика Тона до другихъ дверей, за которыми одѣвалась Надежда, и думалъ, слегка поддразнивая самого себя:

— Что бы ты дѣлалъ, если бы эта дѣвушка была горбатая, рябая или съ какимъ нибудь утинымъ носомъ? Вѣдь, пожалуй, для однихъ гобеленовъ ты бы въ этой квартирѣ не поселился. Вотъ тебѣ и апостольство, и красота идеи... Можешь ли ты ручаться, что черезъ недѣлю ты не будешь прислушиваться у себя на порогѣ, не стукнетъ ли ея дверь...

Ну, что же изъ этого,—спорилъ онъ съ самимъ собою,—и пусть, и великолѣпно. Одно другому не мѣшаетъ. Не работать же непремѣнно среди уродовъ. Прежде всего надо спасать здоровыхъ, красивыхъ и сильныхъ. Если спасутся сильные, то кое что перепадетъ и на долю слабыхъ. Главное—искренность, искренность, искренность. Пока люди будутъ говорить заученныя фразы и продѣлывать заученные жесты, не можетъ быть счастья на землѣ... А все-таки я знаю, чего ты сейчасъ хочешь,—мысленно обрывалъ онъ себя,—ты хочешь войти въ кабинетъ къ старику Тону, сѣсть у него съ ногами на диванъ и спросить, что онъ чувствовалъ, когда былъ министромъ и ѣздилъ съ докладомъ во дворецъ, и что чувствуетъ теперь, всѣми позабытый и никому не нужный. Хочется взять и просто на просто потрепать человѣка по плечу. И это у тебя называется искренностью и свободой. И еще ты хочешь также просто, не постучавшись, войти въ спальню къ Надеждѣ и застать ее полураздѣтой и спрашивать ее разными домашними словами о томъ, что она знаетъ и чего не знаетъ, и о чемъ думаетъ ночью, и еще, конечно, ты хочешь прикасаться къ ея тѣлу. Вотъ тебѣ и апостольство... Самое обыкновенное голодное любопытство и эгоизмъ. Нѣтъ, нѣтъ!—чуть не закричалъ онъ вслухъ—вѣдь я хочу не только для себя, но и для нихъ. Не можетъ быть, чтобы старика не тяготила его напыщенность и отчужденность, и чтобы Надеждѣ не хотѣлось того-же, чего и мнѣ. Ну, и надо толкнуть ихъ, а тамъ увидимъ, что будетъ".

И Виноградовъ по привычкѣ вызывающе расправилъ плечи, какъ бы въ ожиданіи веселой шуточной борьбы. Вотъ придутъ сюда чопорно подтянутые люди, въ застегнутыхъ сюртукахъ, съ однообразно опущенными носами и руками, и будутъ вовремя улыбаться, вовремя кашлять, стараясь скрыть другъ отъ друга и даже отъ самихъ себя свои настоящія желанія и мысли. И одинъ Виноградовъ будетъ чувствовать себя запросто среди нихъ, какъ хозяинъ музея въ толпѣ заводныхъ фигуръ.

— Хотите коньяку?—вдругъ раздалось у него надъ самымъ ухомъ.

Онъ обернулся и увидалъ Тона, благоухающаго, приглаженнаго, въ какой-то необыкновенной, коричневой бархатной тужуркѣ съ множествомъ кармановъ, складокъ и перехватовъ и бѣлымъ шелковымъ галстукомъ, выпущеннымъ изъ-за воротника. Румяныя, оттопыренныя щеки профессора лоснились, и малиново красный ротъ хохоталъ обычнымъ неудержимо-веселымъ хохоткомъ.

— Неправда ли я красивъ? Хо-хо-хо!—спрашивалъ Тонъ, обнимая Виноградова за талію и чуть не танцуя около него,—ужъ этого то вы отрицать не осмѣлитесь. Хо-хо-хо. Нѣтъ, вы понимаете, я ужасно радъ, что вы къ намъ переѣхали. Съ вами, ей-Богу, весело. Ну, пойдемъ, хватимъ пока что коньяку.

— Послушайте, Виноградовъ, — говорилъ онъ немного погодя въ столовой,—вы намъ сегодня скандальчика не устроите? Хо хо-хо. Нѣтъ, кромѣ шутокъ... Знаете, все-таки неловко. Ужъ не подведите. Будутъ между прочимъ ваши Янишевскіе, будетъ беллетристъ Береза. Генералы придутъ.

— Ладно, ладно, не волнуйтесь, останутся цѣлы ваши генералы,—успокаивалъ его Виноградовъ,—вотъ развѣ Березу эту самую немножко пообстругать. Не наливайте, я больше не хочу коньяку,—говорилъ онъ, прислушиваясь къ знакомому неувѣренному стуку женскихъ каблуковъ по коридору, вдругъ замолкнувшему въ пушистой мягкости ковра.

— Почему не хотите?—огорченно спрашивалъ профессоръ.

— Ни почему,—разсѣянно отвѣчалъ Виноградовъ.

На порогѣ столовой, въ бѣломъ платьѣ любимаго узкаго покроя, съ короткими рукавами и четырехугольнымъ вырѣзомъ около плечъ, появилась Надежда. Безъ золота, безъ камней, безъ малѣйшихъ украшеній, даже безъ цвѣтка въ волосахъ, въ тѣсномъ плѣну бѣлоснѣжной ткани, рѣзко отграничивающей теплую розовую наготу шеи и рукъ, Надежда шла черезъ столовую своей неувѣренной качающейся походкой и улыбалась Ласково, довѣрчиво и вопросительно посмотрѣли на Виноградова ея глаза.

— Хотите вмѣстѣ встрѣчать гостей?—не останавливаясь, спрашивала она.

— Конечно, хочу,—отвѣчалъ Виноградовъ.

— Тогда пойдемте въ залъ.

— А меня съ собой не берете?— притворно плачущимъ голосомъ воскликнулъ Тонъ.

— Ну, разумѣется, нѣтъ,—весело отвѣчалъ ему уже изъ другой комнаты Виноградовъ.

Въ красныхъ, желтыхъ и лиловыхъ сумеркахъ отъ абажуровъ сіяла полированная живопись стѣнныхъ тарелокъ и

вазъ, и тѣлесной теплотой отсвѣчивали изгибы бронзовыхъ статуй, а пушистые ковры, бѣлѣющія и чернѣющія звѣриныя шкуры, потолки, обтянутые шелкомъ, казалось, окутывали мозгъ сонной пеленой.

— Отъ васъ пахнетъ духами „astris“, — говорилъ Виноградовъ, идя за Надеждой, — въ своихъ скитаніяхъ по чужимъ квартирамъ, по театрамъ и по кабакамъ, я не могъ не запомнить этихъ страшныхъ духовъ. Знаете, какимъ свойствомъ они обладаютъ? Они подчеркиваютъ, доводятъ до каррикатурныхъ размѣровъ какую-нибудь отрицательную особенность человѣка, который вздумаетъ ими надушиться. Вульгарность становится необычайно яркой, продажность— бьющей въ носъ, развращенность — циничной, хищность — безпощадной... Но посмотрите, что вы сдѣлали съ этими поистинѣ разбойничьими духами. Они чувствуютъ не только васъ, съ вашей простой душой, но даже вашу нелюбовь къ украшеньямъ, ваши ясные глаза, ваше бѣлое платье. Они совсѣмъ притихли, и ихъ благоуханіе напоминаетъ весенній солнечный запахъ изъ распахнутаго окошка въ садъ. Ваше тѣло поглотило всю ихъ демоническую сложность, сдѣлало ихъ примитивными, и теперь не вы пахнете ими, а они вами.

Виноградову стало стыдно, что онъ такъ долго распространяется о духахъ и онъ самъ прервалъ себя:

— Богъ знаетъ, что я говорю.

Они стояли у дверей въ сіяющій огнями бѣлый залъ, Виноградовъ—немного смущенный, Надежда—съ загорѣвшимся любопытствомъ въ глазахъ.

— Вы меня очень интересно описали,—сказала она,— почему-то всегда бываетъ стыдно, когда тебя разсматриваютъ въ упоръ, а у васъ это выходитъ какъ-то легко. Помните, при нашей первой встрѣчѣ вы мнѣ сказали, что я красивая, и, представьте себѣ, это меня нисколько не смутило. Даже больше, я настолько повѣрила вамъ, что вотъ уже два дня при всякомъ удобномъ случаѣ разсматриваю себя въ зеркало. И я дѣйствительно красивая... Видите, какъ я съ вами откровенна.

И засмѣявшись своимъ отчетливымъ, прозрачнымъ смѣхомъ, она побѣжала отъ него черезъ залъ.

Быстро, одинъ за другимъ собрались гости—генералы, приватъ-доценты, литераторы и молодежь. Пришли Янишевскіе, у которыхъ раньше жилъ Виноградовъ, и привели съ собой знаменитаго беллетриста Березу. Входили, маленькими размѣренными шагами, щурили глаза отъ яркаго свѣта, кланялись, говорили о томъ, что на улицѣ страшный холодъ, поздравляли Надежду съ „высокоторжественнымъ“ днемъ рожденія, а ея отца и дѣда „съ дорогой новорожденной“,

потомъ сконфуженно отходили въ сторону и, протирая очки, начинали вполголоса разговоръ вдвоемъ, втроемъ. Хотѣвшіе пить чай, отказывались, не хотѣвшіе — пили. Приватъ-доценты, которые жаждали порисоваться передъ курсистками въ комнатахъ Надежды, попали на половину профессора Тона и нехотя смаковали и похваливали коньякъ. Генералы, мечтавшіе о дамскомъ обществѣ, сидѣли въ кабинетѣ у старика Тона за карточнымъ столомъ и мертвыми, разочарованными голосами объявляли игру.

„Вотъ они, люди, люди,—съ волненіемъ думалъ Виноградовъ, переходя изъ комнаты въ комнату, и по привычкѣ обращаясь къ самому себѣ — вотъ излюбленный тобою, ходящій, сидящій, говорящій и корчащій всевозможныя гримасы матеріалъ. Радуйся же, купайся въ немъ, объѣдайся имъ, смотри и слушай. Вотъ опять у тебя въ рукахъ всѣ средства обратить на себя взоры этой разношерстной толпы, сдѣлать ее сразу одинаковой, привести ее въ смущеніе, замѣшательство, ужасъ, заставить ее кричать, перешептываться, звать на помощь. Стоитъ тебѣ произнести коротенькую рѣчь или, еще проще, громко крикнуть какое-нибудь непринятое въ обществѣ слово, или даже ничего не крикнуть, а быстро пройтись по всѣмъ комнатамъ босикомъ,—какъ эти люди, не боящіеся лицемѣрія, лжи и скуки засуетятся и побѣгутъ въ разныя стороны. Но ты не доставишь себѣ этого зрѣлища, оно у тебя всегда впереди. Лучше—раздѣляй и властвуй. Ну, начинай же, подойди и послушай, что, напримѣръ, проповѣдуетъ знаменитый человѣкъ“.

Въ рабочей комнатѣ Надежды, съ миніатюрной кожаной мебелью и пестрымъ турецкимъ фонаремъ, окруженный студентами и молодыми дѣвушками стоялъ беллетристъ Береза въ черной суконной блузѣ и равномѣрно дирижируя рукой, говорилъ гудящимъ басомъ:

— И оттого, что люди живутъ, не думая о жизни, только потому, что такъ жили до нихъ и будутъ жить послѣ нихъ, и оттого, что, умирая, они не думаютъ о смерти, отъ всего этого люди живутъ и умираютъ во лжи. И ужасъ не въ томъ, что живя и умирая во лжи, люди не желаютъ объ этомъ думать, и не въ томъ, что это было раньше и будетъ всегда, а въ томъ, что этого нельзя поправить. А нельзя этого поправить, во-первыхъ, потому, что люди сами не хотятъ этого, ибо жить во лжи легче и удобнѣе, чѣмъ жить въ правдѣ, и во вторыхъ, потому, что никто не знаетъ, гдѣ правда... И оттого, что никто этого не знаетъ...

— Фу, какая ерунда! — громко сказалъ Виноградовъ и тѣснящаяся вокругъ беллетриста группа молодежи тотчасъ же обернулась къ нему тѣми же жадно устремленными глазами.

— Господа!—продолжалъ онъ, весело глядя въ разгнѣванное лицо оратора,—если кто-нибудь возьметъ на себя трудъ повторить нѣсколько послѣднихъ фразъ уважаемаго господина Березы, то я берусь доказать, что это самая подлинная сказка про бѣлаго бычка, даже хуже — самая монотонная шарманка. А если никто изъ васъ до сихъ поръ не разсердился или не расхохотался, то это оттого, что портреты г-на оратора печатаются на открыткахъ и еще оттого, что онъ говоритъ неопровержимымъ тономъ, и, еще разъ, оттого, что каждому изъ васъ по скромности казалось, что только онъ одинъ ничего не понимаетъ. Впрочемъ, господа, если я помѣшалъ, то извините..

— Нѣтъ, позволите, какъ же это такъ!—разсерженно говорилъ Береза, закидывая за ухо черный шнурокъ пенснэ.

— Да, да, въ самомъ дѣлѣ! — шумѣли, обступая Виноградова, студенты, и онъ не зналъ кому отвѣчать.

— Господа! да вѣдь это Виноградовъ — слышалъ онъ шопотъ позади себя,—конечно, онъ правъ, ха-ха-ха! Это похоже на андерсеновскую сказку о королѣ... Положимъ вышутить можно что угодно... Ха-ха-ха!—громко смѣялась Надежда и съ нею двѣ другихъ дѣвушки съ гладкими прическами и странно-пытливыми, дѣтскими, безстыдными глазами.

„Пусть поговорятъ между собою, съ меня довольно“— шепнулъ Виноградовъ Надеждѣ, и, дѣлая видъ, что исполняетъ какое-то ея порученіе, быстро удалился.

Янишевская, высокая, худая, съ блѣднымъ точенымъ лицомъ и лихорадочно-горящимъ взглядомъ подошла къ Виноградову въ гостиной и сказала:

— Дмитрій Дмитріевичъ! можете вы поговорить со мной?

— Охотно,—отвѣчалъ онъ и взялъ ее подъ руку.

— Что вы со мною дѣлаете, почему вы уѣхали отъ насъ, не простившись?

— Я сдѣлалъ все что могъ и пересталъ быть вамъ нуженъ.

— Зачѣмъ вы уѣхали?—повторила она съ особой, упрямой и горькой укоризной, придвигаясь къ нему плечомъ.

— Ахъ, Боже мой, если вы такъ настаиваете, извольте: мнѣ стало скучно у васъ.

— А я?

— Вы?

— Я думала... странно уѣзжать, когда...

— Я помогу вамъ договорить: когда вы были готовы присоединить къ моей безплатной комнатѣ и столу еще одно безплатное удобство...

— Боже!—почти простонала она и отдѣлила свою руку отъ его,—какая жестокость, какой ужасъ.

— Ни жестокости, ни ужаса,—холодно говорилъ Виноградовъ,—вы знаете, что моя проповѣдь была безкорыстна. Вы знаете, что я помогалъ вамъ найти васъ, съ вашимъ инстинктомъ кокотки, жаждущей уличнаго блеска и мишуры, и въ лучшемъ случаѣ съ вашимъ любопытствомъ къ мужчинѣ... О большемъ вѣдь вы и не мечтали... Чего же вы отъ меня хотите?.. Ощущеній?

— Какъ вы грубы... Хорошо: я хочу ощущеній.

— Прекрасно,—сказалъ онъ, останавливаясь и окидывая внимательнымъ взглядомъ ея стройное тѣло въ зеленоватомъ платьѣ, почти безъ таліи, изъ цѣльнаго фланелеваго куска, какъ бы обернутое въ чудовищный болотный листъ,—вы довольно соблазнительны сегодня... Хотите, пойдемъ ко мнѣ въ комнату сейчасъ.

Стоя у самыхъ дверей въ коридоръ, Янишевская кусала губы, помахивала закрытымъ вѣеромъ, какъ хлыстомъ, и не смотрѣла Виноградову въ глаза.

— Вы очень долго думаете,—почти равнодушно произнесъ онъ

— Идемъ!—жестко сказала она и подобрала платье, какъ бы собираясь ступить на ледъ.

Изъ раскрытыхъ дверей въ комнаты Надежды слышались громкіе аплодисменты и покрывающій ихъ знакомый прозрачный смѣхъ.

Виноградовъ замедлилъ шаги и, дотронувшись до руки Янишевской, сказалъ:

— Я раздумалъ. Когда-нибудь въ другой разъ.

Она пошатнулась и едва нашла въ себѣ силы прошептать:

— Какъ бы мнѣ хотѣлось убить васъ.

— Я васъ вполнѣ понимаю,—сочувственно проговорилъ Виноградовъ, и отошелъ.

Мужъ Янишевской, въ застегнутомъ на одну нижнюю пуговицу сюртукѣ, съ развязавшимся галстукомъ и повисшими мокрыми усами, загородилъ ему дорогу и сказалъ:

— А я уже пьянъ. Каналья Тонъ выставилъ коньяку десять тоннъ. А? Каламбуръ? Понялъ? Подожди. Ты—свинья. Я на тебя золъ. Удралъ, ничего не объяснивъ толкомъ. Впрочемъ, извини, ты, братъ, все-таки—единственный порядочный человѣкъ. Уѣхалъ — значитъ надо... Подожди, успѣешь, — говорилъ онъ, притискивая Виноградова къ стѣнѣ,—скажи, по старинѣ, какую-нибудь жестокую правду...

— Жестокую? — засмѣялся Виноградовъ, — съ удовольствіемъ: твоя жена только что хотѣла отдаться мнѣ. Но я раздумалъ, и теперь не знаю, когда это будетъ.

— У-у,—какъ-то странно промычалъ Янишевскій и махнулъ рукой,—ну, еще что-нибудь.

— Изволь: уѣзжая, я укралъ у тебя книгу: „Народы Россіи“ и продалъ ее букинисту за 50 рублей. Книга до, вольно глупая и тебѣ совершенно не нужна, но вѣситъ по крайней мѣрѣ пудъ. Если ты будешь издыхать съ голоду, ужъ такъ и быть, достану 50 рублей и отдамъ.

— Еще!

— А еще: мнѣ съ тобой скучно, иди—пей.

Въ комнатахъ профессора, въ столовой, и даже у Надежды, на узкихъ столахъ весь вечеръ стояли закуски, вина и фрукты, и незамѣтно смѣнялись горячія блюда въ закрытыхъ серебряныхъ судкахъ. Общіе ужины, ради оригинальности, были давно выведены изъ обычая молодымъ Тономъ, а старикъ, равнодушный, или притворяющійся равнодушнымъ, не протестовалъ Его гости — отставные министры, бывшіе губернаторы, почетные опекуны, оберегали свои ветхіе желудки и пили за картами одинъ чай. И Виноградову было досадно, что общество разбрелось по разнымъ угламъ, и что нѣтъ никакой возможности видѣть и слышать одновременно всѣхъ. Уже наступалъ тотъ особенный, жгучій и блаженный для Виноградова предѣлъ, когда съ его мозга спадала послѣдняя трусливая, разсудительная пелена, и жизнь становилась похожей на обманчивый, минутный сонъ. И съ затемненными, какъ во снѣ, глазами онъ блуждалъ по комнатамъ, какъ по невѣдомому лабиринту, весь въ предчувствіи чего то возможнаго сію минуту, сейчасъ. И плыла навстрѣчу его взору двойная, параллельная жизнь внѣшней придуманной лжи и тайной, всѣми чувствуемой правды, могущей въ одно мгновеніе захватить кучку собравшихся людей и бросить ее въ припадкѣ безумной радости на полъ.

Виноградовъ разыскалъ въ одной изъ гостиныхъ Надежду, наклонился къ ея уху и сказалъ:

— Я вамъ хочу показать много интересныхъ вещей. Давайте походимъ вмѣстѣ, только сдѣлайте видъ, что у насъ съ вами очень важный, дѣловой разговоръ. Тогда намъ не помѣшаютъ. Хорошо?

Она вскинула на него свои ясные, довѣрчивые и любопытные глаза, улыбнулась и спросила:

— А это не очень страшно?

— Конечно, страшно, иначе бы я не позвалъ васъ.

Анатолій Каменскій.

Главы III, IV и V—въ августовской книжкѣ.

ОДНАЖДЫ...

Разсказъ **А. Даманской.**

Такъ бываетъ. Когда очень свѣтло и радостно на душѣ, вдругъ, откуда-то, тихо, крадучись, подходитъ ужасъ. Это тайна. Бороться нельзя, потому что неодолимо. И человѣкъ не идетъ уже, а что-то, кто-то гонитъ его въ пространство, гдѣ все туманно и все опьяняетъ. И это прекрасно и уродливо, трагично и пошло, радостно и скорбно. И когда очнется человѣкъ, онъ понимаетъ, что свершилось тяжкое и непоправимое. И отдалъ-бы жизнь, чтобы этого не было. Но живетъ.

Думается, все кончено. Все поругано. И живетъ. И вспоминаетъ.

Такъ устроенъ человѣкъ.

Такъ оно бываетъ.

Однажды—осенью это было—я поѣхалъ въ Финляндскій дачный городокъ, къ одному человѣку, въ домѣ котораго никогда не былъ.

Я радостно исполнялъ порученіе. Хорошая одна женщина изъ ссылки просила меня побывать у этого человѣка, и передать благодарный привѣтъ. Это былъ извѣстный адвокатъ и писатель. Съ красивой хрупкой внѣшностью, почти болѣзненной и влекущей. Хорошій человѣкъ, и скромный, деликатный. Какъ милая дѣвушка. Когда къ нему подходили, или говорили о немъ, то понижали немного голосъ, и каждое лицо дѣлалось лучше. Выражало мягкое недоумѣніе: бываютъ-же такіе...

Словно, вѣрилось и не вѣрилось, что такіе могутъ быть...

Мою знакомую онъ безвозмездно защищалъ, и пока она сидѣла въ заключеніи, заботился о ней, какъ родной.

И въ письмѣ ко мнѣ она писала: „Если бы вы знали, что это за человѣкъ! Познакомьтесь съ нимъ ближе. Вамъ будетъ казаться, что душу вашу взяли и вымыли".

Я ѣхалъ къ нему съ радостнымъ волненіемъ. Такой удобный случай встрѣтиться съ извѣстнымъ интереснымъ человѣкомъ. И хотѣлось, чтобы и онъ меня узналъ, потому что я и себя считалъ интереснымъ и хорошимъ. И вдругъ,

мечталъ я, оцѣнитъ, сблизится со мной и у меня—только что окончившаго кандидата правъ, будетъ такой цѣнный завидный другъ.

Незадолго до того, я сдалъ государственный экзаменъ, и полонъ былъ всякихъ плановъ и мечтаній. Я приступилъ къ большой работѣ, объ интересномъ и мало еще разработанномъ вопросѣ по философіи права, и такъ какъ сдѣлалъ еще очень мало, и работа еще не взяла у меня ни силъ, ни труда, то мнѣ казалось еще, что она всеобъемлюща и оригинальна и произведетъ переворотъ въ наукѣ.

Въ вагонѣ я думалъ о томъ, какъ я буду посвящать адвоката въ планъ моей работы, какъ онъ заинтересуется и будетъ сочувственно смотрѣть на меня своими лучистыми глазами.

Я представлялъ себѣ обстановку дома. Милыя, чистыя комнаты, пахнетъ цвѣтами и много книгъ, отъ которыхъ такъ уютно бываетъ и тепло.

Вѣроятно, оставятъ пить чай. Надъ столомъ бронзовая темная лампа, въ красивыхъ декадентскихъ линіяхъ и, когда я буду брать изъ рукъ хозяйки стаканъ чаю, ужъ я, навѣрно, не скажу вмѣсто „благодарю“ — „досвиданья“, какъ сказалъ однажды у своего патрона, гдѣ всегда чувствовалъ себя дуракомъ и смущался, какъ семинаристъ.

Я зналъ, что онъ женатъ и что у него дѣти. И зналъ, хотя мнѣ никто этого не говорилъ, что жена у него бѣлокурая тоже, и тихая, какъ онъ, и здоровыя, воспитанныя дѣти дополняли въ моемъ воображеніи картину стройной семьи.

Былъ конецъ сентября, но адвокатъ еще жилъ на дачѣ. На берегу красиваго свѣтлаго озера. Отъ вокзала вела къ дачѣ шоссейная дорога съ сосновымъ лѣсомъ по одну сторону. и лиственными садами по другую.

Днемъ шелъ дождь, а къ вечеру пересталъ. Небо просвѣтлѣло, заголубѣло. Выглядывало солнце, и тогда разливался тонкій, цѣломудренно золотистый свѣтъ. Какой бываетъ только на сѣверѣ, въ осенніе дни, когда все такъ сдержанно-красиво и значительно.

Пахло сочно и крѣпко, хвойнымъ лѣсомъ, влагой, гніющими листьями.

Я въ этой мѣстности былъ впервые и не зналъ, на что больше глядѣть. Такъ хороши были мокрые, разцвѣченные сады, и серебряныя пятна озера въ ажурѣ пурпурно-золотистыхъ деревьевъ, что я благодарилъ судьбу, и ссылку, и адвоката, за то, что они существуютъ, и всѣ вмѣстѣ дали мнѣ этотъ радостный день.

По другой сторонѣ дороги, на скалистомъ откосѣ, беззвучно ждали чего-то темно-красныя сосны. Такія достойныя, надежныя.

Я шелъ по влажному шоссе и наслаждался. Жадно дышалъ, вертѣлъ головой, оглядывался назадъ по сторонамъ, смотрѣлъ въ небо, и шелъ бодрыми твердыми шагами.

Такія хорошія мысли у меня были. О далекихъ друзьяхъ, о милыхъ людяхъ, къ которымъ я шелъ. О томъ, что зима близка, и я буду много работать и къ веснѣ окончу книгу.

И я чувствовалъ себя моложе, чѣмъ былъ, даровитѣе, и лучше.

И отъ чувства, что я молодъ, интересенъ, красивъ, я самъ себѣ улыбался, останавливался, разрывалъ носкомъ сапога кучи желтокрасныхъ листьевъ, и думалъ съ щемящей радостью, что вѣдь самое лучшее, самое яркое и прекрасное еще только впереди... Мнѣ было всего двадцать четыре года.

Искать дачу мнѣ не пришлось. Я зналъ, что она послѣдняя по шоссе и за нею пустырь.

Калитка была открыта. Садъ стоялъ на косогорѣ, и я шелъ по узкой дорожкѣ межъ двумя живыми, фантастически-красочными стѣнами. И такъ это красиво, такъ волшебно было, что, помню, подумалось—съ грустью подумалось: если-бы я былъ поэтъ, художникъ, какъ это было-бы хорошо. Я прислонился бы къ дереву и сочинилъ-бы прекрасные стихи. Или перенесъ-бы на полотно эти улыбки, кровь, эту золотую красоту.

Но о томъ, что я не художникъ и не поэтъ, я очень скорбѣть не могъ. Мнѣ и такъ было хорошо.

Домъ стоялъ внизу. Небольшой, сѣрый, съ мезониномъ. Окна были черны и имѣли видъ, будто годы не открывались. Точно покинутая, старая усадьба.

Въ этомъ была нѣжная грусть и поэзія. И я подумалъ, что вотъ изящные люди, они вездѣ умѣютъ красиво и поэтично обставлять свою жизнь. И я уже любилъ ихъ, за то, что они милые и изящные, и жизнь ихъ красивая и поэтичная.

Когда я подходилъ къ крыльцу, въ одномъ окнѣ внезапно вспыхнулъ огонекъ.

Чиркнули спичкой или зажгли свѣчу и стала видна комната. Показалось мнѣ, что большая, слишкомъ большая. По стѣнамъ проползла несуразная тѣнь.

Я невольно отвелъ глаза и сталъ искать звонка. Его не оказалось. Толкнулъ дверь въ полутемный деревянный коридорчикъ, и оттуда вошелъ въ длинную большую комнату. Въ первое мгновеніе она показалась мнѣ безконечной. Горѣла одна свѣча на столикѣ, у голой сѣроватой стѣны. И нелѣпыя тѣни отъ мебели отодвигали стѣны куда-то далеко, далеко... До странности далеко.

Было какъ-то удивительно и не такъ, какъ я ждалъ. И

я съ острымъ любопытствомъ оглядывалъ комнату, и уже чувствовалось мнѣ, уже я былъ почти увѣренъ, что все будетъ не такъ, какъ я себѣ рисовалъ, и ждалъ чего-то, уже по новому, уже любопытнѣе и тревожнѣе... Я еще спросилъ себя—можетъ быть, не туда попалъ? И не повѣрилъ себѣ. Я зналъ, что не ошибся.

Казалось, что потолокъ очень низокъ. Онъ былъ сильно закопченъ по срединѣ, и въ трещинахъ. Свѣча мигала и тѣни на потолкѣ шевелились, какъ крылья исполинскихъ нетопырей. Мебель грузная, старая, сборная, стояла такъ, будто не успѣли еще разставить ее, или уже собрались уѣхать, и сдвинули, чтобы не мѣшала. Но открытый рояль, деревянная лошадь безъ хвоста, остывшій самоваръ на длинномъ столѣ покрытомъ клеенкой, разлитое молоко, крошки хлѣба—говорили, что здѣсь живутъ еще... Живутъ прочно, семейно, и безпорядочно.

И все еще было непонятно, и никакая догадка не рождалась.

Въ углу одномъ что то скрипнуло, зашуршало, по стѣнамъ и потолку опять задвигалась широкая глупая тѣнь, и изъ другого конца комнаты выплыла человѣческая фигура.

Ко мнѣ подходила женщина.

Когда она приблизилась, я увидѣлъ, что она высока и стройна, что на ней длинное, темно-красное платье, что лицо у нея блѣдное и узкое, съ очень яркими губами и большими раскрытыми глазами, и волосы лежатъ какъ-то необычно, крупными черными кольцами.

У меня мгновенно и отчетливо всплыла въ памяти картина Штука „Грѣхъ“. Эта блѣдная, нагая женщина съ чернымъ удавомъ. И въ тотъ же мигъ вонзилась въ меня мысль, что это лицо неотразимо и что разъ увидѣвъ его, забыть его никогда невозможно.

Она еще не успѣла спросить, что мнѣ нужно, и я не успѣлъ еще назвать себя, но я чувствовалъ уже, что она меня разглядѣла, быть можетъ разглядывала давно, и теперь смотрѣла не въ лицо мнѣ, и не въ глаза, а глубже, дальше глазъ... И не ко мнѣ обращалась, а искала отвѣта на свою тайную мысль. И я вздрогнулъ отъ мужской гордости и обдавшей меня радости, потому что мысль ея уже сообщалась мнѣ, перебѣгала въ меня, смутная, темная и горячая... И это было мѣтко и остро, какъ касанія электрической иглы...

Я не сказалъ еще ни слова, но между нами уже было что-то, и когда я назвалъ себя, сказалъ, зачѣмъ пришелъ, мой голосъ уже не звучалъ свободно и правдиво.

...Мужа нѣтъ дома, а про эту даму она знаетъ. Благодаритъ...

У нея низкій голосъ, съ тягучими нотами, какъ темныя бархатныя ленты, и кажется, что онѣ пристаютъ къ тѣлу, къ сердцу, и обвиваютъ, и по мѣрѣ того, какъ длиннѣе развертывается темно-бархатная полоса ея голоса, уже кажется, что лента затягиваетъ и не оторвать ее отъ себя.

На непокрытомъ кривоногомъ столикѣ тупо мигаетъ свѣча, на стѣнахъ и потолкѣ разрастаются безобразныя тѣни. Огромная комната непривѣтна до жути, и я начинаю глухо раздражаться. Я хочу уйти и не ухожу. И у меня ощущеніе физическое такое, что я рвусь, а меня не пускаютъ.

Тогда я обзываю себя мысленно слизнемъ и болваномъ, деревянно протягиваю руку и прощаюсь, но въ тотъ-же мигъ съ брызгами смѣха, съ веселымъ плескомъ голосовъ, распахнулась дверь, и влетѣло нѣсколько маленькихъ существъ. Въ бѣломъ, розовомъ, въ голубомъ. Цѣлый пукъ махровыхъ астръ. Съ запахомъ мокрой земли и осенняго воздуха. За ними тоненькая бѣлокурая дѣвушка въ черномъ съ худощавымъ милымъ лицомъ.

Дѣти бросились къ матери. Зазвенѣли, залепетали. И она быстро и порывисто обнимала ихъ и смѣялась измѣнившимся теплымъ голосомъ. Называла: Леша, Вова, Диночка, Тася... И говорила что-то женское, любовно-хвастливое, дѣлавшее ее проще, понятнѣе и старше.

И была славная мать. Славныхъ ребятишекъ.

Моя напряженность растаяла. Я любилъ дѣтей, и въ женщинѣ меня всегда трогала мать.

Но растаяло и что-то другое, освѣщавшее эту странную комнату, и это знакомство такимъ томительнымъ влекущимъ интересомъ. Стало просто и обыденно. И немного скучно. Я могъ уже уйти, могъ остаться. Все равно. Впереди была ночь и сонъ, а завтра обычный рабочій день.

Дѣвушка въ черномъ молча стала убирать столъ. У нея были худыя блѣдныя руки и нѣжное блѣдное тоже, печальное лицо.

Мелькнула мысль, что ей невесело должно быть въ этомъ домѣ.

Мать взглянула на меня, чего-то ожидая, и я сказалъ не то, что говорятъ въ такихъ случаяхъ, а что-то искреннее и теплое сказалъ ей, потому что дѣти были прелестны и было наслажденіемъ на нихъ смотрѣть. Но все-таки поклонился и повторилъ, уже непринужденно и даже рѣшительно, что ухожу

Женщина вдругъ быстро, мнѣ показалось, грубовато отстранила отъ себя дѣвочку въ бѣломъ, близко подошла ко мнѣ и громко и возбужденно заговорила:

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ... Вы не уйдете... Что-же это?... Да я и присѣсть васъ не пригласила. Нѣтъ, ни за что безъ чаю васъ не отпущу. Пойдемте... Лидія Павловна, вы пошлете намъ чаю наверхъ...

Я уловилъ, какъ дѣвушка сдвинула брови, и выслушала, опустивъ глаза, и, приподнявъ немного плечи, какъ слушаютъ, когда едва сдерживаютъ негодованіе. И мнѣ хотѣлось, чтобы она подняла на меня свои печальные глаза и я могъ сказать ей, что не пойду я куда то наверхъ пить чай, и ухожу, ухожу сейчасъ-же. Но взглянула на меня не она, а хозяйка дома, поднявъ высоко голову, почти запрокинувъ ее, отчего стала еще больше, выше. Сказала: „Пойдемте". И я пошелъ за нею.

Я чувствовалъ, что дѣвушка смотритъ мнѣ вслѣдъ и угадывалъ выраженіе ея лица, и отъ смущенія сутулился и шелъ, фатовато покачиваясь, какъ волостной писарь на свиданье.

Черезъ какой-то узкій корридорчикъ она повела меня, молча, беззвучно, словно не дышала даже. Лѣстница была узенькая, посѣрѣвшая отъ ветхости и крутая.

Изъ круглаго окна сверху шелъ сумеречный блѣдный свѣтъ и я видѣлъ отчетливо шедшую впереди меня женщину, ея ноги въ черныхъ чулкахъ и щегольскихъ туфелькахъ и вся ея богатая крѣпкая фигура четко обозначалась подъ свободнымъ темно-краснымъ платьемъ. У меня было такое чувство, будто я не иду, а влекусь за ея длиннымъ темно-краснымъ платьемъ, и куда бы она ни пошла, вотъ такъ, молча, и не оглядываясь, я не остановлюсь и буду тянуться за нею.

Наконецъ, площадка и раскрытая дверь. Она входитъ первая и говоритъ:

— Ну вотъ... усаживайтесь... здѣсь мужъ работаетъ, когда дома, а когда его нѣтъ, я тутъ располагаюсь... Садитесь...

Я сѣлъ на стулъ у скромнаго письменнаго стола, но она жестомъ указала мнѣ на кресло, подлѣ потрескавшейся клеенчатой кушетки, и я покорно пересѣлъ.

Здѣсь было свѣтлѣе, чѣмъ внизу. Изъ большого итальянскаго окна видно было почти все озеро, бѣлое, ртутное, въ темной сосновой оградѣ.

Надъ соснами лежала длинная, багрово-красная полоса зари и вокругъ нея груды тяжелыхъ синихъ тучъ.

Я стѣсненно и молча оглядывалъ комнату съ портретами шлиссельбуржцевъ на стѣнахъ, а женщина плыла мимо меня своимъ темно-краснымъ платьемъ, переставляла какія-то рамки, зачѣмъ то перекладывала книги съ одного столика на другой, и говорила пустымъ раздражающимъ голосомъ:

— Будемъ чай пить...

И не могла, и не считала нужнымъ скрывать, что вовсе не думаетъ о чаѣ.

Я не зналъ, о чемъ заговорить. И оттого чувствовалъ себя еще тягостнѣе и смѣшнѣе. Произнести имя ея мужа не повернулся бы языкъ. А какъ уйти, я тоже не зналъ, если бы даже внезапно нашелъ въ себѣ силу для этого. Вдругъ теперь, когда я уже остался пить чай, встать и уйти. Обидится. Конечно обидится. И быть можетъ она вовсе и не подозрѣваетъ моихъ мыслей. И все это мое вооображеніе, а она просто хочетъ ласково принять человѣка... Но мнѣ стыдно стало, и я со злостью сказалъ себѣ: „Не лицемѣрь, только не лицемѣрь!"...

Она подошла, сѣла на кушетку, глянула мнѣ въ лицо, словно угадала мои мысли и этимъ взглядомъ, внимательнымъ и влекущимъ хотѣла погасить ихъ во мнѣ.

— Скажите вы... Какъ ваше имя-отчество?

Я сказалъ.

— А я Зинаида Васильевна... Вотъ мы съ вами и понастоящему теперь знакомы. Такъ... Дмитрій Павловичъ, значитъ? Я васъ никогда, кажется, не встрѣчала, а лицо ваше мнѣ знакомо. Вы у мужа въ городѣ не бывали?

— Нѣтъ.

— Я хорошо запоминаю лица. Гдѣ то я все таки встрѣчала васъ. Навѣрно...

Она говорила быстро, торопливо, словно затѣмъ, чтобы не надо было говорить мнѣ, и я могъ сбросить съ себя смущеніе и напряженность.

И пока она говорила о томъ, какъ хороша ихъ дача, и какъ хороши мѣста вокругъ озера, въ моемъ сознаніи оно претворялось такъ: вовсе незачѣмъ мнѣ лицемѣрить. Мнѣ интересно, странно и тревожно съ этой женщиной... И не хочу я вовсе, чтобы было иначе...

И моя напряженность спадала съ меня, какъ промокшая одежда. Я согрѣлся, выпрямился, смотрѣлъ на женщину и отвѣчалъ и не чувствовалъ больше ни раскаянія, ни желанія уходить.

На небѣ догорала багровая заря. И когда она совсѣмъ и внезапно утонула въ черныхъ соснахъ, въ комнатѣ сразу потемнѣло. Зинаида Васильевна стала искать спичекъ, я протянулъ ей свои.

На мгновенье пальцы наши соприкоснулись, и когда по мнѣ пробѣжалъ острый быстрый токъ отъ ея пальцевъ, для меня ясно стало, какъ день, зачѣмъ я здѣсь. И сразу освѣтилось, что и пришелъ я сюда, и все сложилось такъ, чтобы я попалъ сюда, только для того, чтобы я увидѣлъ эту жен-

щину, сидѣлъ и волновался подлѣ нея. Потому что изъ всѣхъ переживанiй этого дня, это было самое полное, самое радостное и захватывающее, то, что давалъ мнѣ ея голосъ, ея шаги, движенiя и шорохъ ея одежды.

Отъ зажженной лампы стало желтовато, тепло,—и повѣрилось вдругъ, что мы знакомы давно, что мы близки другъ другу давно-давно, и теперь мы оба одни, гдѣ-то далеко, и для того, чтобы уютнѣе намъ было и теплѣй, надо закрыть окна, двери, чтобы никто не видѣлъ насъ, и не слышалъ того, что мы хотѣли другъ другу сказать...

Зинаида Васильевна подошла къ окну, стала сдвигать занавѣски, и въ то-же время горничная, неряшливая, съ хитрыми внимательными глазами, принесла на подносѣ чай. Она, исподлобья и скверно кривя губами, взглянула на меня, на хозяйку...

И стало отъ этого взгляда, въ одинъ быстрый мигъ, холодно, стыдно и досадно. Опять, захотѣлось бѣжать, или заскрежетать зубами, или крикнуть что-то обидное, и швырнуть въ уголъ подносъ съ чаемъ.

Но я ни того, ни другого, ни третьяго не сдѣлалъ.

Горничная — я старался не видѣть ея—тотчасъ ушла,—а Зинаида Васильевна сѣла на кушетку, подлѣ меня, и я почувствовалъ ея круглое мягкое колѣно, подлѣ своей ноги. И опять я сознавалъ только одно... Что эта женщина хороша и желанна, что отъ нея идетъ тепло и жизнь, и никто, никогда не понималъ такъ чутко, такъ остро моихъ далекихъ тайныхъ переживанiй, какъ она, эта прекрасная женщина съ смѣлыми красными губами, которую я зналъ всего полчаса.

— Сливокъ налить?—спросила она своимъ густымъ тягучимъ голосомъ. И глаза добавили: теперь ты не уйдешь.

Я никогда не пью чаю со сливками, но, не отрываясь отъ ея глазъ, отвѣтилъ:

— Налить.

Если-бы она спросила:

— Петлю затянуть?

Я-бы отвѣтилъ:

— Затянуть.

Потому что, все равно, это значило:

— Хорошо вамъ со мной?

И мой отвѣтъ: Безумно...

У насъ оказались общiе знакомые. Она спрашивала объ одномъ, о другомъ, и я отвѣчалъ ей. Это были простыя обыденныя слова, которыми мы говорили, но у нея онѣ шли съ устъ, какъ свѣжiе влажные цвѣты, и я взялъ ея руки въ свои и жалъ ихъ, потому что такъ ближе казались

мнѣ ея слова. И когда я говорилъ, говорилъ самыя обычныя, будничныя слова, она смотрѣла на мои губы и дышала такъ, какъ будто вдыхала крѣпкій волнующій запахъ, и мои собственныя слова уже казались мнѣ иными, уже казались мнѣ прекрасными, необычайными и душистыми.

Она вдругъ прервала меня на полусловѣ:

— Слушайте... съ вами бываетъ иногда... Такъ...

Она заговорила, сильно понизивъ голосъ, и, глядя мимо меня, и я внезапно похолодѣлъ отъ этихъ новыхъ возбужденныхъ звуковъ ея голоса... Потому что ея волненіе втягивало меня, какъ теченіе, и я не могъ, и даже не пытался бороться съ нимъ. И только отвелъ глаза, чтобы не видѣть ея откинутой немного назадъ прелестной головы. Потому что было мучительно.

— ... Такъ... Въ какой-нибудь день, вы ходите, волнуетесь... И не можете найти себѣ мѣста... Это день, солнечный или дождливый, но все въ немъ складывается такъ, что вы запоминаете его на годы. Если солнце, то все имъ пронизано, оно въ васъ, и кругомъ... въ камняхъ стѣнъ... Если дождь, то каждая капля блеститъ и поетъ... И вы носитесь, по комнатамъ, по саду, просто по улицамъ города... И не можете уловить своихъ мыслей, чувствъ... Но смутно видите — такое вотъ лицо... такіе волосы... такіе глаза... И потомъ, въ сумерки, въ какомъ-нибудь углу, у окна, вы обнимаете пустоту, и шепчете... И кто-то въ васъ, или за вами, кто-то говоритъ: милый, милый, милый...

Она остановилась на мгновенье, и быстро, уже громче, уже шутя и смѣясь, добавила:

— И вдругъ встрѣчаете это самое лицо...

Красивая, умная женщина, съ которою я былъ одинъ, въ какомъ-то волшебномъ саду, на какомъ-то незнакомомъ озерѣ, говорила мнѣ: — я бродила весь день и мечтала о тебѣ... И ты пришелъ...

Такъ перевело мое громко-колотившееся сердце ея слова, и, какъ въ туманѣ, почти не видя ее, я взялъ опять ея руки, жалъ ихъ, хотѣлъ и не смѣлъ цѣловать ихъ, и сказалъ:

— Какъ вы красиво говорите.

Потому что она красиво говорила, быть можетъ слишкомъ красиво, слишкомъ умѣло, но тогда я не это замѣчалъ.

Она разсмѣялась, легко, и мнѣ послышалось, разочарованно. И я понялъ, что она не такого отвѣта ждала, и я что-то упустилъ.

Она высвободила свои руки, подошла къ столу, и я за нею. Со стола она взяла книжку и повернулась ко мнѣ, задѣвая платьемъ, почти касаясь меня своимъ тѣломъ.

— Гамсунъ! Вы любите Гамсуна? Я нѣтъ... Я все читаю, и ненавижу книги... Даже Гамсуна... Въ книгахъ нѣтъ счастья... Всѣ писатели, даже когда вовсе не хотятъ этого, все-таки умудряются въ концѣ-концовъ сдѣлать изъ любви мученье... Тогда какъ любовь должна быть только радостью, только радостью...

Она бросила книжку на столъ и глянула въ меня широкими неподвижными глазами...

Помню — дрогнули стѣны, зашаталась мебель, и все закружилось въ темномъ горячемъ свѣтѣ. Я помню этотъ свѣтъ, густой, темно-красный свѣтъ, которымъ залила пространство зажженная кровь. Помню внезапный дѣтскій крикъ внизу, и дикую, испугавшую меня мысль, что кого-то мучаютъ, убиваютъ тамъ... Помню, какъ женщина, которую я сжималъ въ своихъ объятіяхъ, метнулась къ дверямъ, повернула ключъ, и какъ я съ ужасомъ и отвращеніемъ смотрѣлъ на ея торопливое, преступное, прячущее движеніе, и опять ее обнималъ... Помню стыдъ и острую боль, которую давала мнѣ ея безстыжая жажда. И мысль, какую-то воспаленную, испуганную мысль что я падаю въ бездну, и мнѣ безумно хорошо...

Она плакала и смѣялась, обнаженная и неистовая, и говорила:

— Отчего ты не такъ, какъ я... Я знаю... Мужъ... Мужъ... Но я же цѣню, мнѣ жаль его... Но онъ и я... Онъ и я... Если бы знали... Если бы только знали...

Помню ея бѣлое лицо и ея хищные страдающіе глаза... Потому что она страдала, и металась изступленно, и восторженно, и разнузданно искала и не находила утоленія тому, что мучило ее...

Потомъ было нѣсколько минутъ, когда я молча сидѣлъ подлѣ нея, утомленный и благодарный, и ни о чемъ у меня мыслей не было, только одно переливавшееся въ жилахъ здоровое ощущеніе успокоеннаго, напоеннаго радостью тѣла.

И вдругъ, отъ внезапныхъ, испугавшихъ меня звуковъ, межъ нами вмигъ пресѣклось что-то. И насъ откинуло другъ отъ друга.

Внизу заиграли на рояли. Какую-то красивую, печальную вещь...

Я взглянулъ на нее. Она сидѣла уже грузно и неловко. Чувствовала — это было видно — что помятое платье, развившаяся прическа не идутъ къ ней и старятъ... И отвѣтила недобрымъ, хрипловатымъ голосомъ:

— Это Лидія Павловна... Дальняя наша родственница. Это она играетъ...

И съ неискренней завистливой улыбкой кивнула по направленію къ дверямъ головой.

Я подошелъ зачѣмъ-то къ столу. Взялъ было книгу, и безотчетно, быстро отдернулъ руку. Это была та самая книга Гамсуна, которую держала раньше въ рукахъ Зинаида Васильевна. Я чувствовалъ, что она смотритъ, слѣдитъ за мной, и что ей тягостно видѣть меня. Какъ мнѣ оставаться. Надо было уходить. Но что-то еще надо было сказать. Что-то, чего я не зналъ, и для чего не было у меня словъ.

Красивая печальная музыка заполнила тишину, и то, что произошло висѣло надъ головой. Непонятное и уродливое. И мы оба были другъ другу чуждые и ненужные.

Одна широкая и нѣжная музыкальная фраза вдругъ словно прорѣзала отверстіе куда-то... И мнѣ представилось—эта худенькая, блѣдная дѣвушка, съ своими тонкими руками, дѣти, кроватки, какъ укладывала ихъ... И кто-то кричалъ... Кто-то изъ дѣтей кричалъ: мама!.. Это было тогда, когда мы съ ней тутъ...

И такъ, какъ я стоялъ у окна, съ прихлынувшей къ лицу кровью и опущенными глазами, я хотѣлъ выйти изъ комнаты, тихо спуститься по лѣстницѣ, и бѣжать.

Но я обернулся къ ней.

— Хорошо играетъ Лида, правда? — тихо спросила она.

И не ожидая отвѣта, встала и протянула мнѣ руку. Холодную, какую-то чужую руку. Глаза ея тоскливо ушли вглубь, и губы поблѣднѣли, стали тоньше. Было невыносимо отъ боли. И отъ жалости къ ней. И какъ раньше сообщалось мнѣ ея горячее темное возбужденіе, такъ хлынула на меня теперь отъ нея ледяная тоска.

И то, что я не такъ чувствую радость и любовь, какъ она, и не далъ ей того, чего она ждала отъ меня, и то, что я отдернулъ руку отъ книги, бывшей въ ея рукахъ... Все слилось въ обиду и стыдъ, и легло на сердце, какъ камень.

Я несмѣло пожалъ ей руку и вышелъ. Ничего не сказалъ. Нечего было сказать.

На лѣстницѣ я остановился. Мнѣ послышался плачъ за закрывшейся за мною дверью. Внизу все играли. Широко, печально... Было черно. Я ухватился, помню, обѣими руками за перила, и подумалъ, что единственное для меня избавительное — это, чтобы грохнулся на меня потолокъ и убилъ меня.

Или чтобы я сошелъ съ ума, и ничего не сознавалъ, и меня бы вязали, жалѣли, возились со мной...

Помню, какъ я, въ первый разъ за всю мою жизнь, гадко крался по чужой лѣстницѣ, обливаясь потомъ, съ замирающимъ сердцемъ. Ощупью искалъ въ корридорчикѣ

дверей. Нашелъ, и скверная радость, хлестнула меня стыдомъ.

Я выскочилъ въ садъ, и воровски метнулся въ кусты. Мнѣ показалась чья-то тѣнь на дорожкѣ, шедшей отъ калитки.

Свѣтилъ полный мѣсяцъ. Было тихо, свѣжо. Чистый, зеленовато-бѣлый свѣтъ обливалъ весь домъ и садъ... И все, вдали и вблизи, было четкое, покойное, будто обведенное тонкими штрихами. Я стоялъ за тѣсной купой уже опадавшихъ кустовъ барбариса, вытиралъ платкомъ потъ съ лица и смотрѣлъ. По тропинкѣ спускался къ дому адвокатъ. Лунный свѣтъ падалъ прямо на него. И онъ казался въ немъ выше и тоньше, и лицо очень блѣднымъ. Такимъ красивымъ, одухотвореннымъ и влекущимъ я никогда раньше его не видѣлъ. Въ домѣ перестали играть, и тотчасъ въ распахнувшейся половинкѣ окна показалась дѣтская фигурка Лидіи Павловны. Она смотрѣла на приближавшагося человѣка большими, нѣжными, трогательными глазами И у меня мелькнуло, что вотъ такъ цѣлый вѣкъ могутъ глядѣть такіе глаза, и что они говорятъ, никогда не рѣшится вымолвить этотъ тонкій милый ротъ.

Онъ подошелъ къ дому, остановился передъ раскрытымъ окномъ, и спросилъ, такимъ теплымъ сердечнымъ голосомъ спросилъ:

— Еще не спите, Лида?

Она отвѣтила не тотчасъ. Словно овладѣвала собою. Выдвинулась изъ окна и сказала:

— Какъ вы поздно сегодня.

И онъ тихо и утомленно отвѣтилъ:—Много было дѣла...

И было въ этихъ простыхъ словахъ, и въ томъ, какъ они говорили ихъ, симпатичное и свѣтлое что-то.. Въ чемъ угадывалась прочная духовная близость. Хорошія, чистыя отношенія, какія зналъ и я. Къ какимъ привыкъ...

И только въ этотъ мигъ я вспомнилъ ясно, какъ шелъ сюда днемъ, и какъ рисовалъ себѣ это знакомство, и разговоръ о моей книгѣ за чайнымъ столомъ.

Когда стукнула входная дверь я, горбясь и сутулясь, пробрался кустами къ калиткѣ и вышелъ изъ сада...

Я не сошелъ съ ума, къ чему, казалось мнѣ, былъ близокъ въ ту ночь. Я не повѣсился ни на одной изъ сосенъ. подлѣ которой останавливался съ этой мыслью. Въ поѣздѣ я курилъ, и отвѣчалъ, который часъ. Выходилъ на площадку и говорилъ себѣ: въ концѣ концовъ, что-же случилось? И зачѣмъ это отчаяніе? Я обладалъ красивою, страстной, оригинальной женщиной. Развѣ это несчастье?

Но тогда, чтобы не оставаться одинъ съ собой, потому

что было жутко своихъ мыслей, я вбѣгалъ опять въ вагонъ, опять курилъ, и говорилъ съ рыжимъ человѣкомъ въ очкахъ о неудобствахъ въ росписаніи поѣздовъ...

Дома, я, не раздѣваясь, свалился на кровать и уснулъ. Среди ночи проснулся отъ кошмара и сталъ думать, какъ я пойду къ адвокату и все ему разскажу. Потомъ, что еще лучше-бы напиться, опьянить себя до потери сознанія и до этого признанія не дошло-бы. Потомъ отодвинулось куда-то все гнетущее и мучительное. И повѣрилось, что ничего не было... Прозрачная лунная ночь, я стою въ зеленоватомъ саду, передъ раскрытымъ окномъ и разговариваю съ милой дѣвушкой. Что-то тихое и душевное она говоритъ мнѣ, и я отвѣчаю, и волнуюсь молодою радостною грустью...

А на слѣдующій день жизнь опять началась... Газета, улица, встрѣчи...

Пошли мѣсяцы и годы.

Я встрѣчаю иногда адвоката. Раскланиваемся и говоримъ нѣсколько словъ о дѣлахъ. Я ничего не могъ уловить въ его глазахъ. Они всегда немного печальны. Онъ ничего не знаетъ. Жену его я вижу изрѣдка на улицѣ и въ театрахъ. Она меня не узнаетъ. Слышалъ, что жившая у нихъ родственница была арестована, потомъ уѣхала заграницу. Разсказывали, что ждалъ ареста адвокатъ, но компрометирующія бумаги оказались въ комнатѣ дѣвушки. И когда я слушалъ это, опять вставала въ памяти эта ночь, и музыка, и ея трогательные нѣжные глаза...

Я вспоминаю. Оно́ приходитъ внезапно, нежданно. Среди большой радости, или яркаго возбужденія. Послѣ удачной защиты или встрѣчи съ милой женщиной, которая нравится мнѣ. И я говорю себѣ: Какъ прекрасна жизнь! Какъ я люблю, какъ я сильно люблю эту жизнь!..

Тогда оно приходитъ... И все покрываетъ тоскливымъ недоумѣніемъ и все обезцвѣчиваетъ.

Зачѣмъ это вошло въ мою хорошую здоровую молодость? Развѣ это нужно было? Но я говорю себѣ: сталъ я хуже въ ту ночь? И сдѣлалъ ли я зло кому-нибудь?

Потомъ я думаю о томъ, что значитъ грѣхъ, и что значитъ зло... Перебираю въ памяти, что слышалъ и читалъ интереснаго о любви, о правахъ пола, плоти, и нахожу разныя умныя объясняющія слова.

Но это слова... Это слова... Душу мою онѣ не озаряютъ пониманіемъ... И надолго уходитъ радость отъ меня...

А. Даманская.

Анархистъ.

И я любилъ. И я извѣдалъ
Безумный хмель любовныхъ мукъ,
И пораженье, и побѣды,
И имя: врагъ, и слово: другъ.

Ихъ было много. Что я знаю?
Воспоминанье, тѣни сна...
Я только странно повторяю
Ихъ золотыя имена...

Ихъ было много. Но одною
Чертой соединилъ ихъ я —
Одной безумной красотою,
Чье имя: Страсть и жизнь моя.

И страсти таинство свершаю,
И поднимаюсь надъ землей,
Я видѣлъ, какъ идетъ другая
На ложе страсти роковой...

И неизбѣжно — тѣ же рѣчи,
И повторенья тѣхъ же чаръ,
И примелькавшіяся плечи,
И застывающій пожаръ...

Я долго былъ тебѣ покорнымъ,
Тебя я страстью звалъ всю ночь!
Но взорамъ свѣтлымъ, взорамъ чернымъ
Я говорю отнынѣ: прочь!

Высокій храмъ свой обхожу я,
Огни очей ночныхъ гашу,
Зане грозу въ себѣ иную
И небывалую ношу.

Судьба! Взнеси еще безмѣрнѣй —
На самый недоступный кряжъ.
Чтобъ каждый лучъ зари вечерней
Мнѣ повторялъ: Ты — нашъ! Ты — нашъ!..

И дай смѣяться! Дай весельемъ
Наполнить грудь, и съ верхнихъ скалъ
Послать осколокъ тѣмъ ущельямъ,
Гдѣ я любилъ и цѣловалъ!

И слушать стоны и проклятья,
И видѣть кровь, и боль, и смерть, —
Чтобъ смѣлъ, жестокій, обладать я —
Тобой одной — Пустая Твердь!

Александръ Блокъ.

ПАРАДИЗЪ.

Разсказъ **Георгія Чулкова**.

I.

Въ тотъ, памятный для Наташи, вечеръ шла она отъ всенощной изъ церкви Успенія. И нельзя было понять, радость или печаль на сердцѣ. Хотѣлось тишины, мира и любви.

Въ сердцѣ еще пѣлъ хоръ: „Се бо Еммануилъ грѣхи наши на крестѣ пригвозди"... А потомъ слова какъ-то уплывали изъ памяти, звучалъ лишь напѣвъ, но на углу Большого проспекта опять вспомнилось: „И животъ даяй, смерть умертви, Адама воскресивый"...

— Смерть умертви!... Хорошо,—думала Наташа, чуть не плача.

— Премудрость, прости, — шептала Наташа съ умиленіемъ и даже не старалась понять, что это значитъ:—Пусть. Все равно.

Наташа твердо знаетъ, что когда дьяконъ скажетъ эти торжественныя слова, хоръ полетитъ точно на крыльяхъ ангельскихъ и прозрачные голоса запоютъ неземную пѣсню.

И въ тотъ вечеръ пѣлась эта пѣсня. Наташа стояла на колѣняхъ, забывъ обо всемъ: у нея кружилась голова отъ счастья.

Когда она пришла домой, матери и братишки не было, а за столомъ сидѣлъ вотчимъ; и потому, какъ онъ неловко уперся локтемъ на столъ, Наташа догадалась, что вотчимъ пьянъ.

— А здрасте, Клеопатра наша! — сказалъ вотчимъ: здрасте. Царица египетская... Важность — фу-ты, ну-ты. А позвольте спросить, откуда спѣсь. Я ли тебѣ не какъ отецъ родной.

Наташа ничего не отвѣтила и пошла къ себѣ за перегородку.

— Наташка! Чего ломаешься. Тебѣ говорятъ: поди сюда, — и, не дожидаясь отвѣта, вотчимъ самъ полѣзъ къ ней за перегородку.

— Прочь подите. Матушкѣ скажу,—бормотала Наташа,

отбиваясь отъ пьяныхъ и похотливыхъ рукъ, которыя валили ее на постель.

Отъ вотчима горько пахло пивомъ, и было противно и трудно бороться съ этимъ большимъ, пьянымъ, волосатымъ человѣкомъ.

Наконецъ, Наташа, неловко ударивъ вотчима по лицу локтемъ, вывернулась изъ-подъ него и безъ накидки, въ одномъ платьѣ, побѣжала къ теткѣ.

Весенняя бѣлая ночь пахнула на Наташу теплою влагой, и пока Наташа торопливо шла къ дому тетки, ей все казалось, что въ небѣ кто-то поетъ „Свѣте тихій" высокимъ ладомъ, какъ мальчики—пѣвчіе.

Въ домѣ тетки уже всѣ спали, только сама тетка стояла у комода, въ ночной кофтѣ, простоволосая, считала дневную выручку. Наташу разспрашивать не стала. Догадалась, въ чемъ дѣло. Молча указала на сундукъ и дала подушку.

Рано утромъ, передъ тѣмъ какъ итти въ табачную лавочку, тетка Серафима говорила Наташѣ нараспѣвъ:

— И тамъ, милая, люди счастье себѣ находятъ. Дарья Ивановна, слава Тебѣ Господи, живетъ теперь барыней, а была такой же дѣвченкой, какъ ты, бѣгала по лужамъ босоногая. Ужо̀ сведу тебя къ ней: небось, возьметъ: она мнѣ тѣмъ болѣе кума.

Наташа осунулась и поблѣднѣла за эту ночь; глаза у нея были печальные и строгіе, и жалко было смотрѣть на ея тоненькую фигурку въ нескладномъ черномъ платьицѣ. Наташа едва слушала тетку и тихо бормотала:

— Мнѣ все равно, тетушка. Все равно.

Когда послѣ обѣда пришли къ Дарьѣ Ивановнѣ, у нея сидѣлъ гость — молодой человѣкъ, бѣлокурый, завитой, въ модной парѣ.

— Значитъ мы на васъ надѣемся, — говорилъ онъ, покручивая усики: — заѣдемъ за Катюшей на автомобилѣ въ одиннадцать.

Молодой человѣкъ простился и ушелъ, и было слышно, какъ въ корридорѣ онъ стучитъ толстыми „американскими" подошвами.

— Познякова, заводчика, — сынокъ, — пояснила Дарья Ивановна.

— Я къ вамъ съ племянницей, — говорила тетка Серафима, подсаживаясь къ столу и принимая изъ рукъ Дарьи Ивановны рюмочку померанцевой.

Наташа осмотрѣлась.

По стѣнамъ висѣли бумажные вѣера и олеографіи съ голыми женщинами, на тумбѣ стоялъ гипсовый амуръ, пахло чѣмъ-то приторнымъ и сладкимъ.

— Она у васъ миленькая,— сказала Дарья Ивановна и притянула къ себѣ Наташу:—худа только, щупленькая. Мы ее, какъ индюшечку, откормимъ.

— А это трудно—пѣть?—спросила Наташа, съ недовѣріемъ посматривая на Дарью Ивановну.

— Пустяковина. Сегодня попробуемъ. Вы у меня ужъ и оставайтесь, пообѣдаемъ вмѣстѣ.

Къ обѣду пришла Катюша, совсѣмъ молоденькая, съ припухшими губами и утомленными влажными глазами.

— Какъ же она живетъ?—думала Наташа:—какъ?

— Это отъ симпатіи моей, — сказала Катюша и поставила на столъ букетикъ изъ ландышей.

— Ахъ, ужъ эти симпатіи,—сказала Дарья Ивановна,— одна канитель.

— Помалкивайте лучше,—огрызнулась Катя:— вамъ бы только запречь дѣвушку—и больше никакихъ.

— Ну, ну,— сказала Дарья Ивановна— кипятокъ-дѣвка. Вотъ въ одиннадцать Позняковъ на автомобилѣ заѣдетъ. Принарядись.

Когда пришли въ садъ, на сценѣ шла репетиція: горбунъ и горбунья пѣли шансонетку.

Въ оркестрѣ сидѣлъ одинъ піанистъ, рыжій человѣкъ съ равнодушными глазами.

— Вотъ, хозяинъ, новенькая,—сказала Дарья Ивановна, подвигая Наташу къ большому усатому господину въ цилиндрѣ.

На столахъ, безъ скатертей, торчали стулья ножками вверхъ; какая то баба въ пестрой юбкѣ протирала стекла на верандѣ.

За кулисами пахло сыростью, масляной краской и шипѣло электричество.

— Познакомьтесь,—сказала Дарья Ивановна и толкнула Наташу въ маленькую уборную. Тамъ сидѣли три дѣвицы.

— А я никогда не повѣрю, что мужчины отъ женщинъ заражаются,—говорила маленькая брюнетка, Аглая,—никогда не повѣрю: Другой налижется, какъ сукинъ сынъ, а потомъ—небось—женщина виновата.

— А если со мной случится что̀, я утоплюсь, — сказала Лидочка, тоненькая дѣвушка лѣтъ семнадцати, съ японскими глазами и движеніями звѣрька, попавшаго въ клѣтку.

На Наташу не обращали вниманія.

Аглая и Лидочка были одѣты мальчиками, а третья дѣвушка, Соня, была въ розовомъ короткомъ платьѣ, какое дѣлаютъ маленькимъ дѣтямъ, въ розовыхъ чулкахъ и туфляхъ, а въ рукахъ держала куклу. Отъ черныхъ полосъ подъ вѣками блестѣли глаза.

4*

Кто то крикнулъ:

— Пожалуйте, репетировать.

Дарья Ивановна поставила Наташу передъ рампою рядомъ съ Соней.

Рыжій піанистъ забарабанилъ по клавишамъ и Соня запѣла, поднимая розовое платье и неестественно пристукивая каблуками:

Однажды вечеркомъ
Мы вышли погулять,
Хотѣлось намъ тайкомъ
На волѣ поиграть.

Соня дѣлала глазки воображаемымъ зрителямъ, прижимала куклу къ обнаженной груди и пѣла:

Мы миленькія дѣтки,
Мы любимъ пирожки,
И всѣ мы однолѣтки
Подруги и дружки.

Дарья Ивановна заставила Наташу приподнять юбку.

И Соня опять запѣла:

И много ужъ секретовъ
Хранится отъ мамашъ,
Порой мы безъ корсетовъ
Играемъ въ ералашъ.

Наташѣ казалось, что это сонъ, что это не по настоящему, что вотъ сейчасъ кто нибудь засмѣется и скажетъ „довольно", и рыжій піанистъ, улыбаясь, перестанетъ барабанить по клавишамъ, и Соня сотретъ румяна и надѣнетъ скромное платье. Но сонъ продолжался.

Пили, стоя у буфета, чай. Потомъ пошли за кулисы. Пришелъ венгерецъ съ контробасомъ и что-то говорилъ Сонѣ на непонятномъ языкѣ и обнималъ ее. И контробасъ чуть-чуть загудѣлъ, когда венгерецъ неосторожно поставилъ его въ уголъ

Вчерашній день казался Наташѣ далекимъ прошлымъ. И темный тяжелый вотчимъ, и золотая всенощная съ ладономъ и съ таинственнымъ пѣніемъ, все отошло куда-то въ синеватую даль. И голоса оттуда едва долетали, какъ изъ другого міра.

II.

Жить стала Наташа, какъ во снѣ. Тяжело засыпала подъ утро. Часто просыпалась, вскакивала съ постели и, босая, бѣжала къ умывальнику, обливалась водой; пила воду жадными глотками прямо изъ графина и потомъ опять клала свою угарную голову на подушку, чтобы все забыть и уснуть.

Вставала часа въ три, лѣниво одѣвалась, прихлебывая кофе, который варила ей Акулина, и ѣхала съ Петербург-

ской стороны на Звенигородскую завтракать у Дарьи Ивановны.

Тамъ былъ и допросъ.

— Съ кѣмъ была и сколько выручила?

Теперь ужъ Дарья Ивановна говорила Наташѣ ты, и Наташа почему-то была въ долгу у Дарьи Ивановны. А считать не хотѣлось: махнула на все рукой.

Катюша приносила къ завтраку водку. Вливали ее въ графинчикъ съ апельсинными корками и выпивали.

Аглая приговаривала непонятное:

— Выпьешь по первой, будешь стервой, — выпьешь по второй, будешь съ головой,—выпьешь по третьей, будешь безъ смерти, выпьешь по четвертой, — будешь первосортной,—пятой—богатой...

— Нескладно что-то —говорила Наташа, сурово хмурясь.

— Для насъ и это ладно, отвѣчала Аглая, не смущаясь.

Дарья Ивановна отнимала графинчикъ, и всѣ опять укладывались спать кто куда. А въ семь часовъ ѣхали въ садъ.

Когда Наташа входила въ садъ въ своей черной шляпѣ съ большимъ страусовымъ перомъ, подбирая пышное черное платье и открывая ботинки на высокихъ каблукахъ, ей казалось, что она уже на сценѣ и всѣ вокругъ тоже актеры. Садъ съ электрическими фонариками, бутафорскими воротами, съ этой загримированной Аглаей и другими дамами— это все игра. И если бы не вѣрить, что все это только такъ, что все это *пока*, а потомъ начнется настоящая жизнь, если бы въ это не вѣрить—тогда смерть.

Вотъ идетъ Наташа между столиковъ и сама чувствуетъ, что походка ея здѣсь иная, не такая, какъ была раньше.

— Ха-ха-ха,—неестественно смѣется Наташа — здравствуйте, прекрасный мой кавалеръ. Ха-ха-ха. Не угостите ли меня, кавалеръ, мадерой?

Въ глаза теперь Наташа никому не смотритъ: она смотритъ всегда куда-то вверхъ, повыше гловы того, съ кѣмъ говоритъ. И кажется, что она что-то видитъ.

— Милочка, поди сюда, — говоритъ Наташа, подзывая продавщицу розъ,—вотъ я, господинъ офицеръ, розы очень люблю. Не купите ли вы мнѣ розу?

Наташѣ не нравится, когда оркестръ перестаетъ играть: тогда кажется, что и вино не пьянитъ и все похоже на трезвую правду и становится страшно. Нѣтъ, ужъ пусть играетъ музыка и на сценѣ пусть пляшутъ.

Теперь рѣдко вспоминаетъ Наташа о золотой всенощной и о сладостномъ напѣвѣ „Свѣте тихій“...

Одинъ разъ, когда она была съ Позняковымъ, сыномъ

заводчика, въ номерахъ на Караванной, ей показалось, что пахнетъ ладаномъ, и она вспомнила о своей недавней молодости и о своихъ предчувствіяхъ любви, которой не суждено было придти.

— Ну, чего лѣзешь? Подожди, — сказала она неожиданно грубо этому завитому бѣлокурому человѣку, совсѣмъ чужому, успѣвшему протрезвиться за время, пока ѣхали изъ сада въ номера.

— Вотъ такъ Клеопатра!—сказалъ молодой заводчикъ, ухмыляясь:—Царица египетская! Важность—фу ты, ну-ты. Что за немилость. Я ли тебя шампанскимъ не поилъ?

— Погоди. Погоди,—сказала Наташа, усмѣхаясь:—какъ ты сказалъ? Клеопатра? Будто ужъ кто то мнѣ говорилъ такъ. Ага! Помню.

— Все равно,—сказалъ Позняковъ: ты, хотя и блудница, но вродѣ царицы. Хочешь, я на тебѣ женюсь?

— Ступай ты къ лѣшему,—сказала Наташа равнодушно:—ты, дуракъ, лучше ботинки мнѣ разстегни. Видишь: я пьяна, мнѣ трудно.

И все было, какъ нелѣпый и тяжелый сонъ.

Одно любила Наташа—смотрѣть, какъ небо странно синѣетъ, когда сидишь на верандѣ въ электрическихъ огняхъ: такое небо можно увидѣть только изъ Парадиза: кажется, что здѣсь - сказка, а тамъ, въ небѣ—непонятная и великолѣпная жизнь.

Въ четвертомъ часу, когда публика разъѣзжается изъ сада и у отдѣльныхъ столиковъ остаются запоздавшіе посѣтители за рюмками ликера, Наташа, если была свободна, бродила по саду и по долгу стояла около журчащаго фонтана, прислушиваясь.

Какъ будто кто-то разсказывалъ сказку про прекрасную царицу. И царица эта—она, Наташа.

Если кто-нибудь случайно подходилъ къ ней, она отвѣчала высокомѣрно или совсѣмъ не отвѣчала, уходила молча.

И въ этой стройной и надменной проституткѣ въ черномъ платьѣ нельзя было узнать той Наташи, которая бѣгала когда то въ скромномъ платьицѣ въ школу и церковь.

Въ школѣ Наташа читала про царственную красавицу, у ногъ которой вожди слагали вѣнцы свои.

Наташѣ мерещится желтый Нилъ, сфинксы, не тѣ, что стоятъ на Невѣ, а иные, огромные, высѣченные изъ цѣльной скалы съ непонятными человѣческими лицами.

И мерещится Наташѣ пустыня и среди пустыни оазисъ: тамъ ея дворецъ.

Вотъ Цезарь.

— Это я—Цезарь,—говоритъ онъ, переступая порогъ, и почтительно цѣлуетъ сандаліи Наташи.—У меня много солдатъ, закованныхъ въ желѣзо, и большіе корабли плаваютъ у береговъ моей страны. Но я все это оставилъ и пришелъ къ тебѣ въ Парадизъ, моя прекраснѣйшая Наташа.

— Что мнѣ твои корабли и царство?—говоритъ сурово Наташа:—видишь: я правлю міромъ. Звѣзды поютъ въ честь меня и, когда встаетъ солнце, оно дѣлается краснымъ, какъ кровь, отъ любви ко мнѣ. Вонъ идетъ хозяйка звать меня въ отдѣльный кабинетъ. но я не пойду туда, и уже цѣлую недѣлю я не пою на сценѣ и больше не буду надѣвать это глупое розовое платье. Я не хочу пѣть среди другихъ. Я буду пѣть одна. Для меня построятъ высокую эстраду. И я буду пѣть одна. И пѣніе мое будетъ такъ прекрасно, что всѣ станутъ безгрѣшными, слушая меня.

Въ это время подходитъ къ Наташѣ инженеръ.

— Позвольте, мамзель, васъ ангажировать на сегодняшнее утро. И поѣдемте съ нами, мамзель, на острова.

— Только въ автомобиль шампанское захвати, слышишь?—говоритъ Наташа:—не расплескается. Я изъ бутылки пить буду.

Когда автомобиль мчится по Каменноостровскому проспекту, Наташѣ кажется, что всѣ встрѣчные кланяются ей, какъ царицѣ. И она отвѣчаетъ имъ на поклонъ и милостиво машетъ платочкомъ.

— Пусть эти пьяницы и рабочіе, и мастеровые знаютъ, что не всѣ царицы жестокосерды. Одна изъ нихъ, Наташа, великодушна и добра.

— Что же вы, дьяволы, молчите?—говоритъ Наташа инженеру и его товарищамъ:—пойте, что-нибудь. Сашку Познякова знаете? Сынъ заводчика. Онъ меня Клеопатрой Египетской зоветъ. Жениться на мнѣ хотѣлъ. Эй, инженеръ, угости шофера шампанскимъ. Пусть изъ моей бутылки. Я не побрезгую. Не брезгаю же я съ вами въ одной постели валандаться.

Миновали мосты.

Подымалось солнце надъ серебряной рѣкой. Какъ былъ прозраченъ воздухъ! И какой легкій вѣтеръ вѣялъ надъ безумнымъ городомъ! Тонкіе стволы березъ дѣвственно бѣлѣли, и острова были закутаны дымчатой вуалью.

Солнце пылало алымъ заревомъ. Какъ будто зажгли великолѣпный пиръ на утреннемъ небѣ. И безсонно томилось сердце о любви невозможной.

III.

Въ Парадизъ пріѣхали два писателя: Александръ Гертъ и Сергѣй Гребневъ. Они пріѣхали изъ ресторана послѣ затянувшагося обѣда и теперь—утомленные и уже нетрезвые—скучали за бутылкой кіанти.

На эстрадѣ негръ танцовалъ съ рыжей англичанкой матчишъ, и звуки сумасшедшей пляски тревожили сердце.

Александръ Гертъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати восьми, небезызвѣстный поэтъ, съ бритымъ лицомъ и вьющимися бѣлокурыми волосами, курилъ папиросу за папиросой, и блѣдными холодными глазами слѣдилъ за кольцами дыма.

— Мы съ вами погибли, Сергѣй Андреевичъ,—говорилъ онъ равнодушно и внятно, очевидно, на тему, не разъ обсуждавшуюся ими:—погибли. Наша судьба на днѣ стакана.

— Мы не первые и не послѣдніе,—отвѣчалъ Гребневъ съ насмѣшливой, непріятной улыбкой.

— Но все же, Сергѣй Андреевичъ, я лучше, чѣмъ вы думаете. Вамъ кажется, что у меня нѣтъ ничего за душой, что я *только* лирикъ. Но у меня есть что-то, увѣряю васъ. Вы вообще меня выдумали, и я, когда бываю съ вами, невольно говорю и даже поступаю въ ладъ съ вашей выдумкой. Но я не таковъ.

— Вы говорите: что то есть. Но тѣмъ хуже для васъ, Александръ Александровичъ. Если есть, тогда отвѣтственность.

— Можетъ быть. Но что съ насъ взять: мы, поэты—какъ проститутки: самое дорогое и самое тайное отдаемъ людямъ. Вотъ спросите у нея, и она вамъ тоже скажетъ.—и онъ взялъ за руку и привлекъ къ столу даму въ черномъ.

— Какъ васъ зовутъ, госпожа моя?—спросилъ Гребневъ, подвигая стулъ, и серьезно и вопросительно, уже безъ насмѣшливой улыбки, разсматривая даму.

— Клеопатра,—отвѣтила Наташа, окинувъ презрительнымъ взглядомъ обоихъ писателей.

— Вотъ и она презираетъ всѣхъ, какъ и мы,—процѣдилъ сквозь зубы Гертъ.

— Госпожа Клеопатра, разрѣшите нашъ споръ,—сказалъ Гребневъ, и налилъ ей стаканъ кіанти:—вотъ онъ увѣряетъ, что для него не все еще пропало, хотя мы и погибли. А по моему, или это противорѣчіе или нехорошій намекъ на мой счетъ: я, молъ, не погибъ, а тебѣ капутъ.

— Ахъ! Это все равно. Не знаю, о чемъ вы тамъ толкуете. Скучно все.

— А, вѣдь, она гордая,—сказалъ Гертъ:—какъ это хорошо. Какъ хорошо.

Подошла Аглая и увела куда то Наташу.

— И откуда эта гордость? Откуда?

— Да развѣ вы не видите, она—сумасшедшая,—сказалъ Гертъ серьезно:—сумасшедшая, какъ и мы. И всѣ, кто не спитъ въ эти бѣлыя ночи, сходятъ съ ума. Скажите вонъ тому лакею или вотъ этому генералу, что сейчасъ начнется свѣтопреставленіе, и они повѣрятъ въ это просто и охотно и—быть можетъ—не испугаются: сумасшедшіе боятся только обыкновеннаго, обыденнаго.

— Пожалуй, что такъ, согласился Гребневъ:—у этой проститутки есть какая то идея не нашего порядка.

— Какая проститутка? какая идея?—сказала актриса Герардова, подходя къ ихъ столику вмѣстѣ съ художникомъ Ломовымъ и его женой, пѣвицей изъ Маріинскаго театра.

— Вотъ съ нами сейчасъ сидѣла египетская царица Клеопатра,—сказалъ, улыбаясь, Гребневъ: — Гертъ въ нее влюбился.

— Ахъ! Какъ это хорошо,—сказала Герардова, всплескивая руками:—познакомьте меня съ ней: я никогда не разговаривала съ этими дамами. А мнѣ такъ хочется. Такъ...

— Пожалуй. А вы ничего не имѣете?—обратился Гребневъ къ женѣ Ломова, высокой полной блондинкѣ съ крупными мужскими чертами лица.

— Очень хочу. Мнѣ, впрочемъ, не въ первый разъ съ ними знакомиться. Недавно были мы съ нимъ въ „Буффѣ“,—сказала она, указывая на мужа:—такъ за нашъ столикъ нѣсколько дѣвицъ сѣло: все не вѣрили, что я мужняя жена.

Всѣ засмѣялись.

Потомъ пригласили Наташу и пошли въ отдѣльный кабинетъ пить шампанское.

Ломовъ ухаживалъ за Герардовой, Гребневъ—за Ломовой, а Гертъ сталъ на колѣни передъ Наташей и говорилъ:

— Вотъ на васъ строгое черное платье, и я схожу съ ума отъ счастья, потому что вы, божественная, позволяете мнѣ стоять на колѣняхъ около васъ и касаться вашей руки. Вы настоящая женщина, и каждое движеніе ваше царственно, и глаза ваши прекрасны и безумны. Что за вздоръ, что женщину можно купить. Женщину купить нельзя. И если бы я могъ усыпать золотомъ всю дорогу отъ Парадиза до твоего дома, божественная Клеопатра, то и тогда бы ты не подарила мнѣ своей любви.

— Вотъ это правда,—сказала Наташа:—но все таки ты мнѣ нравишься, кудрявенькій.

И она провела своей рукой по волосамъ Герта.

— Гертъ влюбился,—хлопала въ ладоши Герардова,— Гертъ влюбленъ!

Потомъ она наклонилась къ Ломову и шопотомъ спросила:

— А это не опасно, что мы такъ вмѣстѣ: у этой Клеопатры нѣтъ сифилиса?

— Тише, тише,—испугался Ломовъ:—замолчите Бога ради.

— Эй, барышня,—сказала Наташа:—выпьемъ за твое здоровье.

Герардова покраснѣла и протянула свой стаканъ, чтобы чокнуться.

— Иди сюда, ко мнѣ на диванъ,—сказала Наташа,—я тебя поцѣлую.

Герардова пересѣла на диванъ и они обнялись съ Наташей.

Наташѣ понравилась хрупкая барышня, и она цѣловала ее въ губы долгимъ поцѣлуемъ. И Герардова, повидимому, не думала уже о томъ, больна или не больна эта проститутка, и, прижавшись грудью къ ея груди, цѣловалась нѣжно и сладостно.

Всѣ были пьяны. И Ломовъ, блѣдный отъ вина, что-то серьезно разсказывалъ Гребневу о Чимабуэ и Дуччіо.

Ломова напѣвала вполголоса изъ „Садко“.

Уже ничто не казалось страннымъ Наташѣ: она твердо вѣрила, что все вокругъ такъ, какъ надо, что она сама прекрасна и кто-то вѣнчалъ ее когда то на царство. Кудрявенькій—это принцъ, ея женихъ, а всѣ другіе — ея придворные.

Говорила она повелительно и милостиво, какъ настоящая царица.

— Пусть еще шампанскаго принесутъ, а потомъ поѣдемъ куда нибудь: здѣсь душно, не могу я больше.

Ломовъ сталъ произносить тостъ въ честь дамъ, и хотя былъ пьянъ, говорилъ по привычкѣ складно и любезно, но никто уже не могъ понять, о чемъ онъ говоритъ. Тогда онъ снялъ съ ноги Герардовой башмачекъ и, поставивъ въ него бокалъ, выпилъ изъ него шампанское.

Гребневъ распахнулъ окно, и утренній ясный вѣтеръ обвѣялъ ему голову; и онъ неожиданно для себя протрезвился и сталъ злымъ, какимъ онъ всегда бывалъ, когда въ головѣ не шумѣло вино.

— Всѣ притворяются, — сказалъ онъ сердито:—и вы, Гертъ, больше всего. Сухой вы и безсердечный человѣкъ. Надо еще циклъ стиховъ написать, вотъ вы и выдумываете себѣ любовь. Одна изъ васъ говоритъ и чувствуетъ по настоящему, это—Клеопатра. Но, вѣдь, ей хорошо:—она— сумасшедшая.

— Молчите вы, несносный человѣкъ,—сказала Ломова съ отчаяніемъ въ голосѣ,—уймите этого резонера. Не могу я его слушать.

Гертъ притащилъ Гребнева къ Наташѣ и задыхающимся голосомъ просилъ ее:

— Накажите, божественная, этого человѣка. Накажите.

— Хорошо,—сказала Наташа и плеснула на него изъ бокала шампанскимъ.

— Ну, зачѣмъ это? зачѣмъ?—сказалъ Ломовъ, который всегда оставался корректнымъ.

Потомъ всѣ поѣхали въ „Ниццу".

Гертъ ѣхалъ вмѣстѣ съ Наташей, говорилъ ей, что влюбленъ въ нее, и они цѣловались всю дорогу.

Въ „Ниццѣ", въ отдѣльномъ номерѣ, гдѣ за перегородкой былъ альковъ и зеркало было изрѣзано именами пьяныхъ любовниковъ, всѣ окончательно потеряли голову, и даже Гребневъ сталъ разсказывать Герардовой по французски нескромный анекдотъ.

Гертъ стоялъ на колѣняхъ передъ Наташей и упрашивалъ ее раздѣться.

— Древняя царица не стыдилась своихъ рабовъ,—говорилъ Гертъ заплетающимся языкомъ,—а мы твои рабы.

— Я тебя, принцъ, люблю,—говорила Наташа и смотрѣла на Герта странными вѣрующими глазами:—я тебя люблю. Раздѣться, говоришь. Ну, хорошо. Мнѣ все равно.

IV.

Съ этой ночи не могла Наташа забыть своего кудряваго принца. Все ждала его возвращенья. Но онъ не пріѣзжалъ къ ней.

Это было очень странно, что онъ не пріѣзжалъ къ ней.

Она бродила среди столиковъ на верандѣ „Парадиза", искала его, но вокругъ все были чужія, равнодушныя, пьяныя лица, а его не было.

Дарья Ивановна, и Аглая, и Катюша, и даже усатый хозяинъ въ цилиндрѣ стали замѣчать, что съ Наташей творится что-то неладное.

Кто-то сказалъ:

— Клеопатра сошла съ ума.

И всѣ сразу повѣрили въ это, но никто не зналъ, что надо дѣлать теперь, да и думать объ этомъ никому не хотѣлось: въ „Парадизѣ" можно быть и сумасшедшей. Все равно.

Уже всѣ привыкли къ ея надменнымъ жестамъ и гордымъ глазамъ, и уже всѣ называли ее то „царицей", то „королевой".

— Пожалуйте за тотъ столикъ: васъ господинъ проситъ, сказалъ однажды лакей.

И Наташа уже хотѣла пройти мимо, не отвѣчая, какъ вдругъ замѣтила, что за столикомъ сидитъ Гребневъ: она узнала его.

— Гдѣ же мой принцъ?—спросила она серьезно, подходя къ Гребневу.

— Вашъ принцъ?—сказалъ Гребневъ:—Но зачѣмъ вамъ принцъ?

— Онъ мои ноги цѣловалъ,—сказала Наташа и нахмурила брови.

— Постой, постой,—сказалъ Гребневъ:—онъ сейчасъ въ меланхоліи и сидитъ дома. Поѣдемъ къ нему.

И они поѣхали.

Когда Гребневъ съ Наташей пріѣхали къ Герту, онъ не удивился, увидѣвъ ихъ.

— Что съ вами, принцъ?—сказала Наташа, нѣжно касаясь его руки.

— Благодарю покорно. Я здоровъ, — сказалъ Гертъ, разсѣянно улыбаясь.

— Вотъ вы подарили мнѣ кольцо,—сказала Наташа:— я хочу вамъ вернуть его.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ. Я ничего вамъ не дарилъ.

— Но вы позабыли, принцъ,—сказала Наташа, чуть не плача:—вы подарили мнѣ кольцо и сказали, что любите меня.

Гертъ засмѣялся и сказалъ:

— Да! вѣдь, ты гордая царица—Клеопатра.

— Принцъ...

— И красивая.

— Но такъ нельзя,—сказалъ Гребневъ, такъ нельзя.

— Это почему?—въ свою очередь разозлился Гертъ:— это что—дружескій совѣтъ?

— Дѣло не въ этомъ,—сказалъ Гребневъ, усмѣхаясь,— такъ нельзя, потому что это плагіатъ изъ „Гамлета".

— Ахъ, все равно. Я не виноватъ, что судьба бросаетъ меня въ объятья шекспировскихъ женщинъ.

— Но что вы хотите сказать, принцъ?—пробормотала Наташа, чувствуя, что голова у нея кружится и она сейчасъ упадетъ.

— Что я хочу сказать? Ха-ха-ха. Если ты честная и хорошенькая дѣвушка, такъ не заставляй красоты своей торговаться съ добродѣтелью"... Я любилъ тебя прежде.

— Я вѣрила, принцъ.

Гертъ странно смѣялся и глаза его сдѣлались влажными отъ слезъ.

— Напрасно,—сказалъ Гертъ, задыхаясь отъ смѣха:— напрасно, прошедшаго нѣтъ болѣе, я не люблю тебя.

Гребневъ окончательно разозлился.

— У васъ истерика. Пойдемте отсюда, Клеопатра. Это не свѣтлѣйшій принцъ, а бѣдный неврастеникъ.

— Уведите меня отсюда,—прошептала Наташа Гребневу, смутно понимая, что ее оскорбляетъ принцъ, въ котораго она вѣрила, какъ въ бога.

На другой день она уже не помнила ни улицы, ни дома, гдѣ жилъ ея принцъ, и имени его она не знала, и найти его она уже не могла.

О свиданіи этомъ она скоро забыла, и по прежнему стала мечтать о своемъ бѣлокуромъ принцѣ, который стоялъ передъ ней на колѣняхъ и говорилъ ей о своей любви.

И она искала его повсюду.

Она заходила въ рестораны и кофейни, бродила по Лѣтнему саду, но нигдѣ не могла его встрѣтить.

Часто Наташа сидѣла въ кофейной подъ пассажемъ и слѣдила жадными лихорадочными глазами за всѣми, кто проходилъ мимо ея столика. Однажды она ошиблась: ей показалось, что это онъ, ея возлюбленный, но это былъ какой-то актеръ.

Она въ ужасѣ отшатнулась отъ чужого лица.

— Милая моя, вы мнѣ нравитесь,—сказалъ актеръ. поѣзжайте со мной.

— Поди прочь. Ты—рабъ,—сказала Наташа гордо и отвернулась.

V.

Наступили осенніе дни, и городъ поплылъ въ золотомъ туманѣ Богъ знаетъ куда.

Въ золотомъ вихрѣ носились порой листья по островамъ, а когда вѣтеръ не вѣялъ, непонятная прелесть увяданія томилась надъ землей. И деревья шептали о любви предсмертной.

Однажды Наташа ѣхала изъ Крестовскаго сада домой— одна на извозчикѣ и повстрѣчала Познякова. Онъ мчался на автомобилѣ съ компаніей крикливыхъ купчиковъ.

Позняковъ заоралъ шофферу:

— Стой, назадъ!

И компанія догнала Наташу.

— Пожалуйте къ намъ, Клеопатра великолѣпная!—кричалъ Позняковъ пьянымъ голосомъ.

— А ты не знаешь, гдѣ мой принцъ?—сказала Наташа фразу, которую она произносила теперь машинально, едва понимая ея смыслъ.

— Я—твой принцъ!—говорилъ Позняковъ со смѣхомъ и билъ себя въ грудь:—я.

— Шутъ гороховый, — снисходительно улыбнулась Наташа: ты сверчокъ, знай свой шестокъ. Ну, ладно, поѣдемъ.

Шофферъ былъ пьянъ и гналъ автомобиль во всю мочь.

У Наташи затватило духъ. Она привстала, держась за чье-то плечо. Волосы у нея распустились и шляпа слетѣла. Не стали останавливать автомобиль изъ-за шляпы, мчались дальше, и кто-то прицѣпилъ къ волосамъ Наташи увядшія розы.

— Надо гонцовъ на автомобилѣ послать, чтобы они его отыскали,—кричала Наташа, обращаясь ко всѣмъ не то съ угрозой, не то съ просьбой: — пусть они его привезутъ ко мнѣ. Одинъ пусть въ Рязань поѣдетъ, другой—въ Москву, а третій—въ Парижъ.

— А ты, Сашка, — неожиданно обратилась Наташа къ Познякову, — отрубилъ голову вотчиму или нѣтъ? Ты ему, Сашка, отруби. Я тебѣ позволяю. Пусть онъ подлецомъ не будетъ: негодный онъ человѣкъ.

— Ладно, — кричалъ неистово Позняковъ: — ладно. Ты ужъ на меня надѣйся. Кому хошь отрублю.

— Се бо Эммануилъ грѣхи наши на крестѣ пригвозди,— запѣла Наташа, поднимая руки кверху.

Но нельзя было разобрать, что поетъ Наташа: такъ шумѣла пьяная компанія и гремѣлъ автомобиль.

— Я тебя на свадьбу мою позову, — кричала Наташа Познякову:—будемъ, Сашка, съ тобой пировать.

— Ну, ври еще. Какая тамъ свадьба: — сказалъ мрачно какой-то молодой человѣкъ съ пьяными и злыми глазами.

— А я тебя въ темницу велю бросить, — сказала Наташа:—ты лучше молчи: сказала „свадьба", значитъ свадьба.

Но молодой человѣкъ не унимался:

— Не ври. Не люблю. Не нравится мнѣ, когда дѣвки врутъ.

— Я дѣвка?—неистово закричала Наташа:—я! Ахъ, ты хамъ треклятый. Да я тебя. Да я тебя...

И Наташа съ размаху ударила молодого человѣка по щекѣ.

Молодой человѣкъ, покачнувшійся отъ удара, вскочилъ на ноги и схватилъ Наташу за волосы.

— Стой, — закричалъ онъ шофферу, — мы ее въ часть сейчасъ. Стой.

— Оставьте ее. Оставьте, —упрашивалъ Позняковъ, заступаясь за Наташу.

Но компанія была на сторонѣ молодого человѣка.

Кто-то пронзительно кричалъ:

— Господинъ городовой! Пожалуйте сюда. Не угодно ли вамъ препроводить блудницу сію въ участокъ.

Наташу пересадили на извозчика и повезли.

И тамъ, въ участкѣ, когда ее тяжело и мрачно били городовые, Наташа думала, что это самозванцы пришли отнимать у нея престолъ.

На другой день она уже называла себя Дѣвой Маріей, и ей казалось, что на ней струится голубая облачная одежда, какъ на Богоматери въ церкви Успенія.

...Вотъ она идетъ по кущамъ райскимъ, и золотыя птицы киваютъ ей, привѣтствуя.

И міръ ей подвластенъ — и звѣзды, и море.

— Цвѣты мои райскіе, — говоритъ Наташа, — цвѣты мои...

Георгій Чулковъ.

* * *

Въ красномъ фракѣ съ галунами
Надушенный всталъ маэстро.
Онъ разсыпалъ передъ нами
Звуки легкіе оркестра.

Звуки мчались и кричали,
Какъ видѣнья, какъ гиганты.
И метались въ гулкой залѣ,
И роняли брилліанты.

Къ золотымъ сбѣгали рыбкамъ,
Что плескались тамъ — въ бассейнѣ.
И по дѣвичьимъ улыбкамъ
Плыли тише и лилейнѣй.

Созидали башни храмамъ
Голубѣющаго рая.
И ласкали плечи дамамъ,
Улыбаясь и играя.

А потомъ съ веселой дрожью,
Закружившись вкругъ оркестра,
Тихо падали къ подножью
Надушеннаго маэстро.

Н. Гумилевъ.

ПОЧЕМУ?

Разсказъ **Н. Целдакскаго**.

I.

Леля Якимовичъ, гимназистъ шестого класса, долженъ быть въ девять часовъ у патера. Потому нельзя хандрить, нужно во что бы то ни стало вылѣзать изъ кровати—такой теплой теперь, что просто прелесть!

— Да, да, нужно—кто-то маленькій, надоѣдливый шепчетъ, а ноги и туловище ничего и знать не хотятъ. Они тяжелы, какъ бревна, потому что въ каждой складкѣ одѣяла сидитъ еще милый теплый сонъ, нѣжно ласкаетъ кожу и крѣпко затягиваетъ вѣки. И страшно, до боли, хочется еще подремать, или хоть просто такъ полежать, не двигаясь ни одной жилочкой...

...Вѣдь будетъ длинный скучный день, маленькій и надоѣдливый, а теперь его еще нѣтъ, еще не пришелъ.

— Чертъ бы побралъ этихъ всѣхъ патеровъ...

Но это ужъ не хорошо. Пора къ патеру. А послѣ завтра исповѣдь, а тамъ и Св. Причастіе, а онъ такъ...

И окончательно недовольный всѣмъ, Леля рѣшается, наконецъ, быстро сдернуть съ себя одѣяло.

Потомъ онъ спѣшно пьетъ стаканъ жидкаго чаю и, нахмуривъ брови, слушаетъ мать—въ бѣлой ночной кофточкѣ, заспанную, съ растрепанными волосами и потому теперь такую некрасивую; она стоитъ, опершись плечомъ о косякъ двери, скрестя руки, отчего непріятно вырисовываются вялыя линіи ея большой, мягкой груди и, сдерживая дремоту, говоритъ:

— Ты, Лелечка, веди себя хорошо у патера; а хорошо-ли ты выучилъ заданное? А потомъ, на обратномъ пути зайдешь во французскую колбасную и купишь дюжину сарделекъ, только скажи, чтобы свѣжихъ дали непремѣнно. Вотъ тебѣ деньги, я ихъ на зеркало положу, не забудь только—и она уходитъ, мягко шаркая туфлями:

— Шрк... шрк... шрк... шрк...

Въ темномъ углу маятникъ часовъ, старыхъ и сиплыхъ, точно кашляющая старушка шаркаетъ въ тактъ удаляющимся туфлямъ матери:

— Шрк... шрк... шрк...

И все кажется такимъ скучнымъ, вся жизнь похожа на что-то неуклюжее, сонное, въ большихъ мягкихъ туфляхъ... И непонятнымъ становится, для чего нужно куда-то ходить, что-то сдѣлать во время. Точно отъ этого иначе будетъ шаркать маятникъ тамъ въ темномъ углу, куда никогда не заглядываетъ дневной свѣтъ, такъ что приходится зажигать каждый разъ спичку, чтобы узнать который часъ...

— И зачѣмъ они тамъ повѣшены,—почему-то думаетъ Леля, точно замѣчая ихъ въ первый разъ.

Еще не вполнѣ отрезвившійся отъ предутренняго сна, онъ долго возится въ передней; потомъ засовываетъ въ карманъ катехизисъ и полтинникъ на колбасу и выходитъ на улицу.

А на улицѣ майское утро. Веселое, теплое. И ослѣпительный свѣтъ, искрящійся и смѣющійся, отскакивающій отъ яркихъ квадратовъ домовъ, дробящійся въ еще сырыхъ отъ росы камняхъ мостовой и улетающій въ далекое прозрачное небо...

Когда Леля идетъ по еще почти пустыннымъ улицамъ, мимо городского сквера, сонное настроеніе совсѣмъ его покидаетъ и на душѣ дѣлается легко и радостно. Хочется теперь разбѣжаться во весь духъ, или со всѣхъ силъ швырнуть камнемъ въ прозрачно-нѣжную синь неба, въ догонку шныряющимъ съ пронзительнымъ визгомъ ласточкамъ.

— Почему-бы и нѣтъ? Развѣ не пришла еще шаловливая весна?

Конечно пришла. Вотъ на деревьяхъ уже пробились лепестки, нѣжные и еще почти желтые, но зато какъ пахнутъ. А утреннее солнце, большое, милое, пронизываетъ молодую листву длинными золотыми иглами и на землѣ, въ сочно-зеленой и густой уже по лѣтнему травѣ—желтыя пятна, которыя, точно прыгаютъ и дрожатъ...

— Эхъ—думаетъ Леля—на дачу-бы теперь. На лодкѣ, въ тихихъ камышахъ. Рѣчка длинная и гладкая, какъ шелковая лента. А на заборѣ въ полѣ сидятъ нахохлившись рядышкомъ черныя вороны и спокойно ждутъ, когда, наконецъ, изъ лѣсу выйдетъ милое солнце и пригрѣетъ ихъ отсырѣвшія за ночь шубки. Сидятъ и терпѣливо ждутъ. Можно даже, пожалуй, подкрасться къ нимъ, только трудно. О, какъ трудно. Хитры, канальи. Развѣ на четверенкахъ, низкимъ ивнякомъ, по землѣ, усыпанной мелкимъ частымъ бисеромъ росы, тихо, тихо... и вдругъ:

— Ахъ, тахъ, тахъ...

И Леля не замѣчая, какъ уже дошелъ до костела, звонитъ у дверей патера Меѳодія.

Открываетъ самъ патеръ въ бѣломъ хитонѣ, съ сигарой въ зубахъ. У него широкое бритое лицо, крючкомъ загнутый носъ и широкій ротъ, который раздвигается, когда онъ говоритъ, почти до ушей. А говоритъ патеръ протяжно, растягивая слова, словно резинку и часто повторяетъ одно и то-же...

— Ну, пришелъ—улыбается онъ привѣтливо, какъ всегда.

У Лели опять равнодушное, скучающее лицо. Здѣсь ничто уже не напоминаетъ ни рѣчки, ни воронъ...

— Съ добрымъ утромъ, патеръ—говоритъ Леля и цѣлуетъ его жилистую съ рѣдкими рыжими волосками руку.

Занимаются въ маленькой гостинной. Леля отвѣчаетъ урокъ и поглядываетъ по сторонамъ. Уже вторую недѣлю занимается онъ у патера по утрамъ, готовится къ первому Причастію, а обстановка квартиры все еще производитъ на него какое-то странное впечатлѣніе. Точно здѣсь и не живутъ постоянно, а такъ только, наѣздами. Стѣны голыя, только въ углу виситъ гравюра Богородицы. Мебель, видно, не изъ дешевыхъ, съ позолотой, но разставлена какъ-то не по обыкновенному, диванъ даже почему-то отодвинутъ на полъ-шага отъ стѣны. Передъ диваномъ, на которомъ развалился патеръ, стоитъ совсѣмъ маленькій круглый столикъ, покрытый грубовышитой скатертью... А посреди скатерти, гдѣ узоръ сплетается въ черезчуръ правильный вѣнокъ—горшочекъ, обвернутый въ розовую бумажку, съ кустикомъ изъ зеленой бумаги, а на кустикѣ бумажные-же цвѣты, только синяго цвѣта. А въ другомъ окнѣ видна часть двора съ играющими въ лапту мальчишками. И отсюда, изъ этой тихой, полутемной, съ голыми стѣнами, комнаты странно видѣть уголъ залитого солнцемъ двора съ безшумно бѣгающими человѣческими фигурками.

— Это какъ когда сидишь на лодкѣ—размышляетъ Леля— въ тѣни гдѣ нибудь подъ ветлой и смотришь сверху на дно рѣки, гдѣ безшумно копошится мелкая рыбешка, блеститъ, возится и страннымъ кажется, что ничего не слышно... Впрочемъ, нѣтъ; тутъ скучно, пахнетъ кислой сигарой и непросохшими еще обоями, а на рѣчкѣ хорошо; ухъ, какъ хорошо—и у Лели внутри что-то начинаетъ сладко щемить.

— Ну что-же—вынимая изо рта сигару, недовольно тянетъ патеръ—сколько видовъ богослуженія?

Леля съ усиліемъ вспоминаетъ самое трудное мѣсто:

— Видовъ богослуженія два: внѣшній, обнаруживающій наши чувства вѣры, надежды и любви, которыя мы должны воздавать Богу, и внутренній, вмѣщающій въ себѣ эти чувства.

— А... для чего они?—успокоившись третъ себѣ патеръ задумчиво переносицу.

— Внѣшнее богослуженіе необходимо: во 1-хъ, потому что человѣкъ долженъ воздавать Богу благоговѣніе не только духомъ, но и тѣломъ, во 2-хъ, что человѣкъ имѣя внутреннее... внутреннюю.

Дальше Леля забылъ. Никакъ не вспомнить, хоть ты тресни!

— Ой-ой—снова ужасается патеръ и начинаетъ выговаривать также, какъ и въ предыдущіе уроки, въ тѣхъ-же даже выраженіяхъ... И это раздражаетъ.

Наконецъ, онъ стихаетъ и задаетъ на слѣдующій разъ. Объясняетъ долго и говоритъ, точно жуетъ тянушку, застрявшую у него въ зубахъ. Потомъ, чтобы придать своему лицу строгое выраженіе, выпяливаетъ глаза на лобъ и грозитъ пальцемъ:

— Только отъ слова до слова, сынъ мой...

И Леля свободенъ.

Быстро сбѣгаетъ по лѣстницѣ. Сейчасъ будетъ солнце, пріятно-рѣжущій глаза свѣтъ и улица, полная воздуха и двигающихся людей. Леля улыбается: сейчасъ на лѣстницѣ онъ встрѣтитъ дѣвушку, красивую дѣвушку, съ которой патеръ занимается послѣ него.

Да—такъ и есть, она уже подымается навстрѣчу, эта стройная дѣвушка въ коричневомъ платьѣ. Теперь ея очередь; потомъ придетъ другая, потомъ еще—и всѣ онѣ будутъ смирно сидѣть на кончикѣ стула и, отвѣчая зазубренныя фразы о видахъ богослуженія, поглядывать въ окно, гдѣ сквозь густую сѣтку занавѣси виденъ уголъ двора, залитый яркимъ солнечнымъ свѣтомъ...

Лелѣ, какъ будто, дѣлается жаль дѣвушку въ коричневомъ платьѣ. Она такая стройная, вся изгибающаяся, съ бѣлымъ, точно прозрачнымъ личикомъ и рѣзко вычерченными бровями. И оттого, что она сейчасъ должна идти къ скучному патеру на урокъ, но больше оттого, что она такая изящно-красивая, Лелѣ хочется заговорить съ ней, пожалуй сказать ей что-нибудь ласковое, дружественное.

Дѣвушка уже рядомъ, а Леля молчитъ. Остановился и напряженно молчитъ. И такое чувство, будто упускаетъ что-то страшно важное и все-таки молчитъ. Почему-то такая глупая неловкость.

— Кто это, какъ будто за спиной кто-то фыркнулъ въ рукавъ? Нѣтъ, это онъ самъ попробовалъ подсмѣяться надъ собой. Для храбрости. И ничего не вышло...

Все раздумываетъ, а коричневое платье, не подымая своихъ длинныхъ рѣсницъ, уже проходитъ мимо...

И теперь, когда оно мелькаетъ все выше и выше, и снизу вверхъ видна часто путающаяся въ складкахъ юбокъ ея маленькая крѣпкая нога и, когда, наконецъ, шаги совсѣмъ стихаютъ передъ дверью патера, Лелю охватываетъ какое-то странное ощущеніе.

— Опущенныя рѣсницы и крѣпкая ножка, точно выточенная изъ чернаго дерева...

И почему то жаль уже не только дѣвушку въ коричневомъ платьѣ, но и самого себя. И досадно до боли, что прошла мимо, даже не взглянувъ на него, промелькнула такою раздражающе-красивою.

Идя домой, Леля пробуетъ разобраться въ новыхъ ощущеніяхъ.

— Неужели втюрился? — пробуетъ онъ пошутить надъ собой и такимъ образомъ избавиться отъ чего-то новаго и тоскливаго, непонятно вдругъ наростающаго внутри.

Да, все непонятно среди майскаго солнца и бѣгающихъ теперь съ неожиданно громкимъ послѣ комнаты патера крикомъ дворовыхъ мальчишекъ...

Бываетъ иногда: на совсѣмъ гладкой садовой дорожкѣ вдругъ начинаетъ въ одномъ мѣстѣ странно наростать кучка земли. Наростаетъ, наростаетъ, и потомъ только догадываешься, что кротъ копается.

И тутъ было что-то такое наростающее, что-то копошащееся...

— Опущенныя рѣсницы... крѣпкая ножка... и внутри Лели что-то шевелится, манитъ какой-то цѣльностью совершенно новаго, сильнаго ощущенія. Оно тлѣетъ уже давно, съ того самого дня, когда Леля встрѣтилъ ее здѣсь на лѣстницѣ въ первый разъ. И сегодня только онъ чувствуетъ это. Чувствуетъ, какъ вспыхнуло смѣло, непримиримо...

И жутко хорошо вдругъ дѣлается Лелѣ, когда въ воображеніи мелькаетъ образъ этой дѣвушки—съ выпуклыми бедрами, упругими выступами молодой груди, съ темными глазами, широко раскрытыми, загорающимися загадочно-влекущими огоньками.

На минуту колкій стыдъ заставляетъ Лелю покраснѣть до ушей, но потомъ то смѣлое, новое продолжаетъ все расти, крѣпнуть и сразу дѣлается сильнымъ своей правдивостью.

Все то, что до сихъ поръ было, что создала жизнь въ кругу родныхъ и товарищей, что теперь топорщилось, какъ вспугнутый ёжъ и безсильно пыталось бороться съ народившимся, все было переплетено ложью, какъ болото тиной, топкой, грязной ложью.

А это новое было сильно и прадиво...

— Лелька, ч-чертъ, ты куда бѣжишь?—И въ ту-же минуту кто-то ударяетъ его по плечу.

— А это ты!—Передъ Лелей стоитъ товарищъ, Пышкевичъ, краснощекій гимназистъ, съ заносчиво вздернутымъ носикомъ и улыбающимися глазами. Во всей его плотной залихватской фигурѣ, нѣсколько отгибающейся назадъ, точно онъ сейчасъ повалится на спину, даже въ этой нелѣпо-маленькой фуражкѣ еле прицѣпившейся къ темени—столько весенняго добродушія и смѣшливой радости, что Леля на его черезчуръ дружественную затрещину можетъ отвѣтить только крѣпкимъ рукопожатіемъ. И, сразу заразившись его весельемъ, говоритъ:

— Дьяволъ, легче не можешь...

— Я тебя звалъ, звалъ, а ты точно побитый куда-то все урешь, да дерешь.—При этихъ словахъ Пышкевичъ приближается къ Лелѣ вплотную и дѣлаетъ заговорщицкое лицо.

— Пойдемъ-ка, братику, въ „портерную“, хватимъ малость. Такая жарища, а у меня ни гроша...

— Такъ вотъ чего ты старался — смѣется Леля. — Ну пойдемъ, только, братику, мнѣ домой скоро надо, такъ понимаешь...

— Понимаю—однимъ глазомъ подмигиваетъ Пышкевичъ, сразу принявъ свой прежній видъ. И они сворачиваютъ въ узенькій переулокъ.

Славный парень—этотъ Пышкевичъ. Какъ хорошо, что они встрѣтились. Его простодушная веселость, безшабашное подсмѣиваніе рѣшительно надъ всѣмъ, не исключая и самого себя, уже давно нравятся Лелѣ. То, чего ему самому недостаетъ. Онъ это чувствуетъ. И чувствуетъ, что у безшабашнаго товарища подъ личиной жесткой грубости таится какая-то сила, самобытная, жизненная.

— Ты что, къ „батькѣ“ ходилъ? — покровительственно спрашиваетъ Пышкевичъ, немного погодя.

— Къ „батькѣ“.

— Такъ... А я ужъ въ прошломъ году отбоярился.

А, дѣйствительно, жарко. Ослѣпительно блеститъ мостовая. У одного подъѣзда спитъ извозчикъ. Ужасно жарко... Пышкевичъ устало сопитъ. Разговоръ не клеится. За угломъ будетъ еще маленькій переулокъ. И въ концѣ знакомая портерная. Вотъ прелесть: холодное пиво. Въ низенькой, подвальной портерной прохладно... А коричневое платье теперь у патера. И опять передъ глазами шуршащія складки юбокъ, въ нихъ треплется ножка. И опять на душѣ странное ноющее чувство.

— Лелька, какую я бабенцію видѣлъ сейчасъ — закатываетъ бѣлки Пышкевичъ.

— Когда?..

— А вотъ передъ тѣмъ, какъ ты вышелъ отъ „батьки“.

— Ну и что же?—весь враждебно настораживается Леля.

— Да вотъ, думаю, хорошо бы устроить того—и онъ циничнымъ жестомъ поясняетъ свою мысль.

Леля отворачивается. Въ эту минуту ему кажется, что у Пышкевича отвратительная физіономія и, что, если онъ еще немного будетъ смотрѣть на эти пухлыя, красныя щеки съ жирными капельками пота, въ эти безстыжіе глаза, насмѣшливо бѣгающіе въ узкихъ щелкахъ, то не удержится и дастъ ему пощечину.

Какъ онъ теперь ненавидитъ его... Но, чтобы не выдать своихъ мыслей, сейчасъ же отвѣчаетъ шуткой:

— И рожу бы я тебѣ раскровянилъ!..

Послѣ этихъ словъ Лелѣ дѣлается стыдно, больно стыдно. Онъ его ненавидитъ и въ то же время шутитъ съ нимъ. Такъ трусливо шутитъ. Ненавидитъ за то, что тотъ посмѣлъ грубо посмѣяться надъ его чувствомъ и такъ трусливо поддакиваетъ пошлымъ словамъ, грязнымъ... мерзкимъ... Точно онъ просто испугался его, своего, быть можетъ, соперника... Соперника?.. Или... Да развѣ онъ хочетъ того же, чего и Пышкевичъ. А можетъ быть... Боже мой, неужели это правда, неужели онъ тоже...

— Чего ты остановился?—удивляется Пышкевичъ.

— Слушай, я совсѣмъ забылъ, у меня еще дѣло...

— Ну тебя къ черту, перли по солнцу такую даль и теперь отвиливать; нѣтъ братъ...

— Да я забылъ... мнѣ нужно сейчасъ же бѣжать... На тебѣ гривенникъ, довольно?.. — и Леля отворачиваясь, протягиваетъ ему деньги.

— Ну, тогда проваливай, сволочь, — уже за спиной слышитъ онъ успокоенный голосъ товарища.

— Неужели тоже? Вѣдь я ни разу даже не подумалъ... Неужели и я мерзавецъ... Или Пышкевичъ вовсе не такъ подлъ... Боже, отчего такая путаница... Вѣдь я эту дѣвушку... люблю...

II.

Тихо. Въ открытое настежъ окно грустно глядитъ своими прозрачными, загадочными глазами бѣлая майская ночь. Видны въ даль разсыпанныя неправильными рядами крыши домовъ, сливающіяся въ лилово-сѣрую массу, а надъ ними фіолетово-синій куполъ неба, обрызганный тысячью свѣтящихся капелекъ. Точно слезы, чистыя, далекія, едва видныя...

И воздухъ, еще не остывшій отъ дневного солнца, таитъ въ себѣ что-то. Онъ неподвиженъ и душенъ, но легокъ. Въ немъ незримо плывутъ, тихо рѣютъ грезы, грезы молодой пробужденной жизни...

— У-у-ухъ—вдругъ откуда-то кричитъ фабричный гудокъ и сразу обрываетъ, точно прислушиваясь, не отвѣтитъ ли кто съ другого конца. Но никто не отвѣчаетъ. Опять чуткая тишина съ широко раскрытыми, задумчивыми глазами...

Леля лежитъ животомъ на подоконникѣ и, обхвативъ шею руками, смотритъ въ лилово-сѣрую даль и думаетъ. Все думаетъ, уже второй день.

Точно что-то открылось передъ его глазами, краешекъ завѣсы, о существованіи которой онъ и не подозрѣвалъ до сихъ поръ.

Все думаетъ, второй день. Припоминаетъ всѣ мелочи своей жизни, роется, ищетъ въ нихъ хоть что-нибудь свѣтлое, красивое, сильное, хотя бы одинъ маленькій, самый незначительный случай, о которомъ теперь пріятно было бы вспомнить и противопоставить этимъ новымъ, дерзко-правдивымъ мыслямъ.

А кругомъ грустно глядитъ бѣлая ночь и точно шепчетъ:

— Ничего нѣтъ, все ложь, вся жизнь ложь, страшная ложь...

И ничего хорошаго, свѣтлаго, правдиваго за всѣ его 16 лѣтъ жизни...

Свѣтлое—онъ даже не знаетъ, какъ, въ сущности, оно должно выглядѣть. Не знаетъ, не знаетъ. Только ясно вотъ—ощутилъ теперь, что оно должно быть чѣмъ то инымъ, не похожимъ совсѣмъ на то, что составляетъ его жизнь...

Свѣтлое — онъ не знаетъ его потому, что оно, вѣроятно, проходило всегда мимо, какъ прошла та стройная дѣвушка въ коричневомъ платьѣ, прошла молча, не взглянувъ даже на него.

При этомъ воспоминаніи снова встаетъ настойчиво влекущій къ себѣ и волнующій кровь образъ. И опять хочется отдаться всецѣло мыслямъ о немъ и въ то же время что-то мѣшаетъ. Точно кто-то за спиной, въ черной, какъ пещера, комнатѣ, стоитъ и жестко говоритъ:

— Гадость... гадость...

— Это гадость?—мысленно съ лихорадочнымъ блескомъ въ глазахъ спрашиваетъ кого-то Леля. — Это гадость, а вся жизнь до сихъ поръ нѣтъ? Та жизнь его, которая состоитъ изъ нѣсколькихъ частей и каждая пріурочена къ чему-нибудь одному, и всѣ разныя.

Одна жизнь дома, другая въ гимназіи, третья у себя внутри — и всѣ разныя... Это его жизнь... И ее онъ старается теперь понять, объ ней думаетъ все, уже второй день. И чѣмъ больше онъ думаетъ, тѣмъ непонятнѣй она ему кажется, тѣмъ безсмысленнѣй...

А пустая улица спитъ. Въ сѣрыхъ прозрачныхъ сумер-

кахъ ея нѣтъ отвѣта. Виситъ въ нихъ безмолвіе, утаившее что-то важное. Ночь настойчиво молчитъ...

Дома вѣчное подчиненіе волѣ родителей. Хотя и добровольное, всегда безъ разсужденій, но все же ложное, потому что здѣсь гдѣ-то внутри всегда остается что-то свое, личное, никогда не согласное, но молча и въ безсиліи постоянно уступающее. Въ гимназіи тоже своя особая жизнь, не похожая на жизнь дома. Только одна общая черта: какъ здѣсь, такъ и тамъ эта жизнь создалась насильно, и въ гимназіи особенно грубо, жестоко. И какъ дома, такъ и въ гимназіи онъ совсѣмъ другой, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, чѣмъ тотъ Леля, который лежитъ теперь здѣсь на подоконникѣ и все думаетъ.

Въ гимназіи онъ слыветъ добрымъ малымъ, хорошимъ товарищемъ, но, главное, превосходнымъ разсказчикомъ похабныхъ анекдотовъ. Да, да, самыхъ похабныхъ,—такихъ, отъ которыхъ такъ и несетъ пьяной ночлежкой. И это Леля, невидавшій никогда голой женщины, умѣетъ такъ тонко-цинично разсказывать, такъ вычурно-детально рисовать похабныя каррикатуры...

— Вотъ она гадость-то — шепчетъ онъ, закрывая лицо руками и чувствуя, какъ горячо краснѣютъ подъ ними щеки.

— Ну пускай бы я дѣйствительно былъ такимъ пошлымъ, грязнымъ. А то вѣдь этого нѣтъ, вѣдь это ложь все, жалкая ложь—думаетъ Леля.

Онъ помнитъ съ чего это началось. Это было, кажется, еще въ четвертомъ классѣ. Леля разговаривалъ съ товарищемъ Левинымъ, вихрастымъ шелопаемъ, любившимъ всегда надъ кѣмъ-нибудь издѣваться, кого-нибудь мучить. Съ самымъ непринужденнымъ видомъ, почти дѣловито Левинъ спросилъ:

— Якимовичъ, ты сколько разъ въ мѣсяцъ ходишь къ дѣвочкѣ?—и когда Леля наивно переспросилъ:

— Къ какой дѣвочкѣ? — вокругъ раздался такой взрывъ дружнаго хохота, что онъ чуть не заплакалъ отъ стыда.

Послѣ этого онъ сдѣлался предметомъ общихъ насмѣшекъ, остротъ и анекдотовъ. Всѣ точно обрадовались, что нашелся, наконецъ, кто-нибудь, кѣмъ можно забавляться. И забавлялись зло, часто жестоко. И чѣмъ больше Леля пробовалъ протестовать, тѣмъ болѣе радовались товарищи, тѣмъ злѣе издѣвались, приставали. Но, въ концѣ концовъ, Леля сумѣлъ все-таки выйти изъ этого несноснаго положенія: онъ притворился такимъ же, какими были его товарищи. Разсказывалъ имъ же сочиненные анекдоты, рисовалъ циничныя каррикатуры, говорилъ, что бываетъ у такой-то и такой-то проститутки, какъ разъ заболѣлъ... И его оставили въ покоѣ. Даже пріобрѣлъ теперь популярность...

И тогда-то, къ своему удивленію, онъ увидѣлъ, что больше половины товарищей были такіе же лгуны, никогда не видавшіе голой женщины, но притворявшіеся страшными развратниками только изъ боязни быть осмѣянными...

И дома была ложь, притворство такое же какъ и здѣсь; не подчиняться было нельзя. Теперь Леля готовится къ причастію. Занимается у патера Меѳодія на дому и вчера исповѣдывался у того же патера, человѣка, котораго не уважалъ уже по тому одному, что дома отецъ съ матерью всегда смѣялись надъ нимъ, разсказывали, какой онъ пьяница и, навѣрное, развратный. Тѣмъ не менѣе находили нужнымъ посылать къ нему Лелю. А Леля повиновался, какъ всегда, безъ разсужденій. Ему было безразлично, хорошо ли онъ поступаетъ или скверно. Онъ точно уже разъ навсегда помирился съ мыслью о безполезности какихъ-либо протестовъ. Заботился только объ одномъ: чтобы какъ можно лучше подладиться подъ жизнь дома и жизнь въ гимназіи. Оттого-то и получилась такая безсмыслица, напримѣръ, что дома онъ зубрилъ усердно катехизисъ, а въ гимназіи вмѣстѣ съ товарищами надъ всѣмъ, что касалось религіи, цинично издѣвался. А издѣваться было нужно, оттого, что все это шло отъ учителей,—ненавидѣть, презирать или, по меньшей мѣрѣ, не вѣрить которымъ вмѣнялось каждому въ обязанность. Такъ ужъ принято было...

Такъ полагалось... Всюду обязанности и обязанности. Безконечной и безсмысленной вереницей. Онѣ наполняютъ жизнь, сцѣпляются вокругъ нея своими длинными, колючими руками, душатъ ее, безжалостно душатъ... И нѣтъ выхода изъ этого ужаснаго круга... Изъ этого безсмысленнаго круга. Ни одно желаніе, ни одно чувство, зародившееся въ здоровомъ тѣлѣ, не можетъ развиться. Какъ сѣмя подъ камнемъ, прорастаетъ уродливо. Безпомощное, съ страшными усиліями старается оно проползти подъ его тяжестью, выбраться къ свѣту и погибаетъ. Или выростаетъ съ уродливымъ хилымъ стеблемъ...

— А впереди что?—спрашиваетъ себя Леля.—Тоже самое. Вотъ завтра я пойду на причастіе...

— Ну, конечно, пойду — хочетъ онъ обрадоваться, но тотчасъ чувствуетъ, какъ что-то внутри больно сжимается.

А грустная майская ночь нѣжно склоняется надъ головой Лели, цѣлуетъ ее и тихо шепчетъ что-то на ухо, не то дразня, не то успокоивая.

— Завтра на причастіи въ послѣдній разъ онъ увидитъ милую дѣвушку въ коричневомъ платьѣ, а потомъ снова начнется старая жизнь: дома, въ гимназіи и совсѣмъ немножко—у себя. И опять будетъ прежняя ложь, топкая и крѣпкая...

Лелѣ 16 лѣтъ, въ гимназіи онъ слыветъ искуснымъ разсказчикомъ похабныхъ анекдотовъ, а теперь ему хочется плакать, какъ маленькому ребенку. Такъ, сѣсть, по-турецки поджавъ ноги и, закинувъ назадъ голову, протяжно кричать:

— А-а-а...

Дуетъ уже утреннимъ вѣтеркомъ и, начиная съ востока, постепенно блѣднѣетъ темно-фіолетовый куполъ, на которомъ причудливо—сказочно разбрызганы тысячи свѣтящихся капелекъ, слабо мигающихъ и уже едва, едва видныхъ...

III.

Съ утра, конечно, нельзя было ничего ѣсть. Патеръ строго-на-строго запретилъ, говоря:

— Постъ, смиряя страсти, возноситъ духъ нашъ къ молитвѣ, оживляетъ надежду на милосердіе Божіе—и еще что-то въ этомъ родѣ. Мать тоже не позволила Лелѣ и это было непріятно, такъ какъ, вообще говоря, Леля любилъ поѣсть.

Но теперь не до того. Скорѣе туда, въ костелъ, а то еще опоздаешь. Каждая минута—счастье, большое, неоцѣнимое!..

Въ костелѣ уже почти всѣ въ сборѣ, въ Sacristium'ѣ прибираются. Волнуются, говорятъ почему-то шопотомъ и часто подходятъ къ зеркалу. Мальчики всѣ въ новомъ, съ высокими воротничками, мѣшающими поворачивать голову. А дѣвушки... О, ихъ совсѣмъ и не узнать. Всѣ въ бѣлыхъ платьяхъ, прозрачныхъ, длинныхъ фатахъ, увѣнчанныя миртами—и все это дѣлаетъ ихъ похожими не то на невѣстъ въ брачныхъ одѣяніяхъ, не то на фарфоровыхъ куколокъ, бережно завернутыхъ отъ пыли въ марлю. И среди нихъ хорошо знакомое личико, улыбающееся безпечно, счастливо. Такое воздушное, изящное сквозь дымку фаты, какъ едва тронутая пастель на рыхлой, шершавой бумагѣ...

— Вотъ возьмите,—протягиваетъ Лелѣ длинную, толстую свѣчу, съ бѣлымъ бантомъ посрединѣ, церковный прислужникъ. Это желтый, какъ воскъ старикашка, съ сѣдымъ вихоркомъ на затылкѣ, вѣчно всѣмъ недовольный и потому ужасно потѣшный среди молодыхъ, жизненныхъ и веселыхъ.

Леля беретъ, улыбаясь, тяжелую свѣчу и разглядываетъ.

— Нельзя такъ держать, будетъ капать, понимаете, будетъ капать, надо такъ держать,—и старикашка сердито выдергиваетъ еще не зажженную свѣчу и показываетъ. Даже дѣлаетъ два шага. Выходитъ очень смѣшно.

Потомъ идетъ къ другому, опять показываетъ. И опять сердится: нельзя такъ держать...

— Вы поѣдете?—вдругъ раздается за спиной голосъ. И хотя не видно еще, кто говоритъ, но Леля сразу узнаетъ.

Отъ радостнаго волненія трудно отвѣтить. Но ничего, ничего... Нужно—какъ можно серьезнѣе, нужно руки засунуть въ карманы, посмотрѣть такъ равнодушно въ окно, тогда легко и просто будетъ отвѣчать.

— Куда поѣду?

— А развѣ вы не слышали, насъ всѣхъ пригласила мать Стоцкой къ себѣ на дачу. Знаете, какъ тамъ хорошо..

Теперь она стоитъ совсѣмъ близко, и Леля смотритъ ей прямо въ лицо, въ глаза, большіе и темные. Совсѣмъ такіе, какими онъ представлялъ ихъ себѣ раньше. Возбужденные, горячіе, смѣющіеся...

Кругомъ суматоха, толкотня, скоро надо выходить, а Леля ничего не замѣчаетъ. Передъ нимъ стоитъ любимая дѣвушка и онъ весь охваченъ обаяніемъ красоты ея молодого, все время нервно изгибающагося, тѣла.

— ...Да, ужасно хорошо, я тамъ не была, но мнѣ разсказывала одна подруга. Поля, большущій лѣсъ, а, главное, большое-пребольшое озеро, и не видать другого берега... Такъ поѣдете?

— Да... конечно.

Патеръ пришелъ. Уже одѣвается. Не могъ запоздать немножко!

— А вы будете? — спрашиваетъ, наконецъ, Леля, набравшись духу. И въ его голосѣ слышится что-то больное, надтреснутое. Почти испугъ, или затаенный крикъ надежды.

— Да, а что?

Еще спрашиваетъ. Неужели не понимаетъ.

— Ага, поняла. Опустила сразу глаза и, покраснѣвъ, отошла тихо въ свою пару И страшно до боли и мучительно хорошо теперь дѣлается Лелѣ...

Патеръ готовъ. Теперь въ парчевой ризѣ своей онъ напоминаетъ черепаху, ставшую на заднія лапы. Идетъ въ костелъ, тамъ строго-сумрачная тишина. Отъ высокихъ стѣнъ съ холодно-глянцевитыми колоннами и далекими сводами люди сразу дѣлаются маленькими и ничтожно-безпомощными.

За патеромъ идутъ парами дѣвушки, потомъ парами мальчики. У всѣхъ въ рукахъ горятъ свѣчи. Желтымъ, спокойнымъ пламенемъ. И вдругъ запѣли Леля зналъ, что нужно будетъ пѣть, но забылъ и оттого вздрогнулъ.

Процессія кривой вереницей уже врѣзалась въ толпу, темную и густую, но легко разступающуюся передъ патеромъ. Онъ важно идетъ впереди, за нимъ послушно дѣвушки въ бѣломъ, мальчики въ черномъ. У всѣхъ серьезное выраженіе, ожидающее чего-то особеннаго. И поютъ серьезно, сдвинувъ брови. Звуки маленькіе, серебристые растворяются гдѣ-то въ высокомъ куполѣ. Здѣсь внизу сумеречно, почти темно. И

на лицахъ въ толпѣ выраженіе особенное, ожидающее, только, при этомъ, странно грустное.

Вдругъ Леля замѣчаетъ два лица, хорошо знакомыхъ лица отца и матери. но совсѣмъ какихъ-то другихъ теперь, совсѣмъ новыхъ. И ближе подходя, Леля видитъ, что у матери въ глазахъ мокро тускнѣютъ слезы, а отецъ почему-то хмурится. Странно, онъ тоже пришелъ, а вѣдь лѣтъ тридцать какъ въ костелѣ не былъ. И теперь хмурится. И совсѣмъ не сердито...

Между тѣмъ процессія приближается къ алтарю. Патеръ уже вошелъ. Потомъ входятъ дѣвушки съ горящими свѣчами и идутъ налѣво, потомъ мальчики—направо. Алтарь превращенъ въ какой-то лѣсъ. Заставленъ весь зелеными лаврами въ деревянныхъ кадушкахъ. Между ними скамеечки, на которыхъ всѣ осторожно разсаживаются. А на полу горшки съ пряно-пахнущими гіацинтами. Много гіацинтовъ, бѣлыхъ, розовыхъ и синихъ. И какъ темно въ этомъ лѣсу, точно настоящемъ! Въ особенности, если посмотрѣть на ярко желтый солнечный лучъ тамъ вверху, далеко-далеко подъ сводомъ купола: яркій-яркій, а посмотришь внизъ и сразу темно и тихо-грустно. И игрушечный лѣсъ уже не кажется настоящимъ...

Желѣзная рѣшетка, отдѣляющая алтарь отъ толпы, захлопывается и патеръ начинаетъ мессу. И сейчасъ же откуда-то сверху начинаетъ гудѣть органъ и доносится пѣніе.

У Лели немного кружится голова: и ѣсть сильно вдругъ хочется и эти гіацинты...

Мало-по-малу ему начинаетъ казаться, что онъ погружается въ какой-то глубокій таинственный сонъ. Откуда-то изъ невидимой дали льется непрерывно-бархатная мелодія органа и доносятся грустные голоса поющихъ. Звуки переплетаются, разливаются всюду мягкими широкими волнами и пропитываются острымъ запахомъ гіацинтовъ. Свѣча въ рукѣ, сдѣлавшейся липкой отъ размякшаго воска, горитъ не мигая спокойно-задумчивымъ пламенемъ... А съ другой половины смотрятъ два большихъ темныхъ глаза. Два загадочно вопрошающихъ о чемъ-то глаза на блѣдно-матовомъ личикѣ, сквозь путаный узоръ лавровыхъ листьевъ.

И ни о чемъ теперь Леля не думаетъ — все забылъ. Забылъ густую толпу, слившуюся тамъ за рѣшеткой въ однородную сѣрую массу въ молчаливомъ ожиданіи чего-то особеннаго, не будничнаго. Забылъ заплаканную мать, хмураго отца, затерявшихся въ этой толпѣ; патера въ жесткой, несгибающейся ризѣ, мутно блестящей своей золотой вышивкой. Забылъ и о себѣ, о томъ гимназистѣ шестого класса, что отлично умѣетъ разсказывать похабные анекдоты...

IV.

Послѣ причастія, когда окончились поздравленія, пожеланія, поцѣлуи—рѣшили сейчасъ-же ѣхать на вокзалъ. Дача Стоцкихъ недалеко отъ города, такъ что черезъ какихъ-нибудь полъ-часа всѣ будутъ на мѣстѣ. Тамъ сейчасъ и обѣдать будутъ.

Выходятъ веселой гурьбой изъ костела, гдѣ только-что былъ красивый таинственный сонъ, отъ котораго теперь, почему-то, грустно уходитъ. Надо обернуться. Посмотрѣть еще въ послѣдній разъ. Такъ: вонъ на той скамейкѣ онъ сидѣлъ, а на той она. Онъ сидѣлъ... и не молился. Странно, теперь только вспомнилъ, что ни разу даже не подумалъ молиться. Такъ таки и не подумалъ!..

— А мама поздравляла, цѣловала со слезами—весело думаетъ Леля.—Первое причастіе: теперь ты—говорила—чистый, безгрѣшный совсѣмъ.

— Чистый. А я только и дѣлалъ, что на нее смотрѣлъ. Нѣтъ, я не чистый, не такой совсѣмъ, какимъ хочетъ меня видѣть мама. Я хочу быть теперь такимъ, какимъ мнѣ захочется—шумѣлъ въ Лелѣ проснувшійся молодой звѣренышъ, насмѣшливо и легко раскидывая встрѣчающіяся загородки.

Въ вагонѣ перваго класса всѣ размѣстились вокругъ патера. Опять онъ въ своемъ длинномъ фланелевомъ хитонѣ и съ сигарой во рту. На широкой физіономіи его расплылась довольная улыбка; что то разсказываетъ.

Но ея здѣсь нѣтъ. Она стоитъ у дальняго окошка.

— Вамъ хочется ѣсть? Мнѣ—страшно,—спрашиваетъ Леля, подходя къ ней.

Она внимательно разсматриваетъ въ окно, бѣгущія назадъ деревья, телеграфные столбы; и оттого, что не можетъ, почему-то, взглянуть на него, Леля дѣлается немножко храбрѣе. Онъ рѣшается подробнѣе разсмотрѣть ее. Видитъ, какія у ней тонкія, точно просвѣчивающія и нервно вздрагивающія ноздри, а за ухомъ такое розовое мѣсто, куда такъ-бы хотѣлось поцѣловать, осторожно и тихо...

— Какъ васъ зовутъ?—спрашиваетъ Леля, теперь также внимательно смотря въ окно.

— Меня зовутъ Идой.

Какъ она странно выговорила свое имя, или ему такъ показалось только.

— Милая Ида—повторяетъ про себя Леля,—если бы ты знала, какъ я тебя люблю, какъ люблю вотъ эти тонкіе, цѣпкіе пальцы, это розовое пятнышко за ухомъ.

— А васъ какъ?—едва слышно спрашиваетъ Ида.

— Лелей.

Станція. Вылѣзаютъ съ шумомъ, съ смѣхомъ. Патеръ впереди. На сходняхъ онъ застреваетъ, путаясь въ складкахъ своего балахона. Высоко поднялъ брови и съ сигарой въ зубахъ. Вотъ потѣшный: сейчасъ упадетъ подъ колеса, поѣздъ двинется и съ рельсъ скатится отрѣзанная его голова съ вылупленными глазами и непремѣнно съ дымящейся сигарой въ зубахъ.

Хохотъ, взвизгивающій, по-дѣтски. Патеръ обиженъ.

— Дѣти, дѣти мои—укоризненно качаетъ онъ головой.

Всѣ идутъ отъ платформы къ экипажамъ по залитому солнцемъ горячему, сыпучему песку, въ которомъ ноги вязнутъ по щиколотку. Еще въ ушахъ мягкая стукотня отъ вагонныхъ колесъ, потому такъ чутко слышится тишина окружающаго съ звонко прыгающими въ ней голосами веселой молодости.

Стоцкая, высокая и важная, жена директора какого-то банка, ведетъ патера къ своему соломенному шарабану подъруку. На козлахъ сидитъ странный кучеръ съ распростертыми въ даль руками. Еще есть коляски—двѣ большія и черныя, похожія на старыя барки, и одна поменьше—это все для родителей. Молодежь разсаживается въ тарантасахъ.

Опять суматоха, смѣхъ и трудно бѣжать по уходящему подъ ногами песку...

Леля спѣшитъ къ тарантасу, гдѣ уже усѣлась Ида.

— Можно съ вами?

Улыбается сверху прищуренными глазами. Общая веселость передалась и ей, и она не прочь подразнить Лелю, такого большого въ сравненіи съ ней. И съ такой забавно-безпомощной гримасой на лицѣ.

— Нѣ-е-е-тъ, нельзя—закидываетъ она кокетливо голову на бокъ.

Леля сначала пугается, потомъ весело лѣзетъ и садится рядомъ.

Экипажи трогаются по дорогѣ къ усадьбѣ. Вслѣдъ за ними и тарантасы съ шумной молодежью. А тяжелый, черный поѣздъ даетъ свистокъ, похожій на прощальный крикъ, грузно начинаетъ пыхтѣть и отодвигаться въ противоположную сторону. И кажется, будто вмѣстѣ съ этимъ поѣздомъ, пришедшимъ изъ города, гдѣ была скучная зима съ непонятно-лживой жизнью, уходитъ куда-то все это старое. И что отнынѣ должна начаться другая жизнь, полная солнца и правдивыхъ, сильныхъ ощущеній.. Оттого дѣлается даже немножко жутко, точно, когда входишь въ таинственный темный лѣсъ, гдѣ никогда еще не бывалъ...

Тарантасъ весело подпрыгиваетъ по ухабистой, еще не просохшей отъ весенней грязи, дорогѣ. И съ каждымъ прыж-

комъ Леля чувствуетъ мягкіе толчки въ бокъ, точно все время напоминающіе ему, что тутъ рядомъ съ нимъ молодое, возбужденное весной и его любовью, тѣло дѣвушки напряженно ждетъ чего-то.

Тарантасъ въѣзжаетъ въ березовую рощу. Солнца здѣсь мало. Оно раздробилось и разсыпалось вокругъ мелкими желтыми кружками. Кружки дрожатъ въ ярко-зеленой чащѣ деревьевъ и быстро, одинъ за другимъ, бѣгутъ съ качающейся головы лошади, черезъ фигуру возницы, на бѣлое платье Иды и сейчасъ-же за ея спиной неподвижно падаютъ на песокъ дороги.

— Милая Ида!—шепчетъ Леля, наклонивъ впередъ голову, точно разсматривая дно тарантаса—какъ я тебя люблю...—и незамѣтно цѣлуетъ ея тонкіе пальцы съ маленькими ногтями, точно изъ розоваго воска. Потомъ осторожно поворачиваетъ и цѣлуетъ въ раздражающе-мягкую ладонь.

А Ида молчитъ. Только по ея разгоряченнымъ щекамъ, по затуманеннымъ глазамъ и по тому, какъ она тихо прижимаетъ ладонь къ его губамъ, Леля узнаетъ въ ней то, чѣмъ самъ охваченъ...

Сразу на поворотѣ въѣздъ въ усадьбу. И это досадно.

— Такъ скоро—недовольнымъ голосомъ тянетъ Леля...

Усадьба изъ краснаго кирпича, двухъ-этажная, съ двумя башнями по бокамъ и однимъ подъѣздомъ посрединѣ. Въ передней снимаютъ платье два бритыхъ лакея въ красныхъ ливреяхъ. Потомъ нужно подыматься по широкой лѣстницѣ съ гипсовыми статуями по угламъ и громаднымъ, оскаленнымъ медвѣдемъ, держащимъ въ переднихъ лапахъ подносъ. Потомъ идутъ черезъ залу въ столовую, гдѣ уже три бритыхъ лакея въ бѣлыхъ чулкахъ разносятъ супъ.

Передъ началомъ обѣда патеръ произноситъ рѣчь. Обращается то къ хозяйкѣ, важно улыбающейся однимъ ртомъ, то къ молодежи, притихшей отъ незнакомо-богатой обстановки. Они, голодные, размѣстились на противоположномъ отъ хозяйки концѣ и съ нетерпѣніемъ ждутъ, когда кончитъ патеръ, чтобы начать ѣсть. А онъ, какъ нарочно, тянетъ невыносимо долго, точно смакуя каждое слово.

— У-у—противный!—шепчетъ Лелѣ рядомъ съ нимъ сидящая Ида и онъ сочувственно жметъ подъ столомъ ея маленькую, горячую ручку...

Обѣдъ тянется безконечно долго. У патера опять сигара во рту и онъ уже изрядно выпилъ, глаза его все время масляно улыбаются. Взрослые оживленно разговариваютъ. А молодежь поглядываетъ въ окна съ видомъ на большое озеро съ далекими очертаніями лиловатыхъ береговъ...

Наконецъ, поднялись, шумятъ, отодвигая стулья, благодарятъ...

— Да что вы, помилуйте, за что...

Потомъ идутъ въ садъ, старинный, съ пересѣкающимися туннелями изъ липъ. Выходятъ черезъ калитку въ лѣсъ и разсыпаются тамъ сразу съ громкимъ крикомъ во всѣ стороны, какъ вспугнутая стая воробьевъ.

Сквозь стволы мелькаютъ бѣлыя платья. Голоса все слабѣютъ: всѣ спѣшатъ уйти подальше, въ глубь лѣса. Тамъ озеро...

Леля и Ида свернули въ сторону. Едва замѣтная тропинка извивается между березами, елями.. Наконецъ то они одни. Одни въ шелестящей листвѣ, въ таинственныхъ тѣняхъ, разорванныхъ тамъ и сямъ солнечными пятнами...

Они чинно идутъ рядомъ.

— Какъ старики—думаетъ Ида и ей дѣлается весело, хочется смѣяться, шалить:

— А мы не заблудимся?

— Нѣтъ, я умѣю находить дорогу по солнцу. Вотъ если-бы оно зашло...—отвѣчаетъ серьезно Леля.

— А какъ это по солнцу?..

Леля объясняетъ серьезно и подробно.

Въ серединѣ его объясненій Ида съ визгомъ отбѣгаетъ въ сторону.

— Маргаритки... и какъ много!..

— Хотите, я погадаю—лукаво улыбается она снизу вверхъ, склонившись подъ маргаритками.

Леля радъ, что прекратился скучный разговоръ. Теперь можно шалить, шутить...

— Погадайте—усаживается онъ подлѣ нея—только о чемъ?..

— О чемъ?..—и опять смотритъ лукаво, загадочно.

Какіе у нея глаза... жгучіе...

— Ну хорошо — приближается она къ нему плечомъ въ плечо, раздражающе-ласкающимъ... Вотъ самая большая...

Отрываетъ лепестки, отогнувъ крючкомъ мизинецъ:

— Да... нѣтъ... да... нѣтъ...

Будто серьезнымъ дѣломъ занята. Даже нижнюю губку подтянула.

Вдругъ притворно ужаснулась:

— Нѣтъ!..

Сейчасъ разсмѣется, навѣрно разсмѣется...

— Что нѣтъ?—также притворно недоумѣваетъ Леля и думаетъ:

— Славная, славная...

А Ида разсердилась, встала и бросила общипанный цвѣтокъ Лелѣ въ лицо.

— Такъ вотъ же вамъ. Послѣ этого я съ вами не разговариваю.

Леля смирно идетъ позади.

— Простите—плачется онъ.

Молчитъ. Подразнить развѣ.

— А я знаю...

— Ничего вы не знаете.

— Нѣтъ, знаю. Маргаритка неправду сказала.

— Нѣтъ, правду.

— Нѣтъ, неправду: не нѣтъ, а да...

Сразу останавливается и съ веселыми глазами спрашиваетъ:

— Что—да...

— Сказать?—и Леля чувствуетъ, что еще минута, и онъ обниметъ ее и будетъ цѣловать, цѣловать безъ конца и эти искрящіеся глаза, и этотъ ротъ...

Ида смѣется. И вся насторожилась. Вдругъ, не отвѣчая, поворачивается и кричитъ:

— Догоняйте—и бѣжитъ во весь духъ въ глубь лѣса зигзагами, иногда гибко ныряя подъ чащу вѣтвей. Теперь передъ Лелей опять все ея стройное, молодое тѣло, быстро-мелькающія крѣпкія ноги въ бѣлыхъ, туго-натянутыхъ чулкахъ и двѣ черныя, прыгающія по спинѣ и плечамъ, косы, длинныя, какъ змѣи...

Въ нѣсколько прыжковъ онъ догоняетъ Иду. Неловкимъ обхватомъ останавливаетъ. Но то, что сейчасъ казалось простымъ и легкимъ, теперь вдругъ пугаетъ его. На минуту. Можно-ли?.. Но только на минуту. Потомъ сразу дѣлается понятнымъ, что можно: она позволяетъ. Понимаетъ его нерѣшительный вопросъ и отвѣчаетъ утвердительно. Тѣмъ, что ждетъ, не вырывается. И Леля цѣлуетъ. Сперва въ ротъ. Потомъ въ глаза, въ шею...

Но довольно, довольно...

— Пусти—съ раздражающимъ смѣхомъ начинаетъ отбиваться Ида.

— Не пущу, теперь ты моя—отвѣчаетъ Леля съ головой, закружившейся отъ ощущенія ея тѣла, напряженно-упругаго, запыхавшагося отъ быстраго бѣга. Ида отталкиваетъ его, упираясь въ него грудью, а онъ все цѣлуетъ и прижимаетъ ее къ себѣ. По всему тѣлу быстро бѣгаютъ мурашки. И вокругъ ничего не видно, всѣ предметы слились въ мутныя пятна, точно въ большой проливной дождь...

Но Идѣ все-таки удается изловчиться и выскользнуть изъ его рукъ. Съ веселымъ визгомъ отбѣгаетъ. Останавливается въ нѣсколькихъ шагахъ, не оборачивая головы. Говоритъ съ заглушеннымъ смѣхомъ.

— Ну, проси прощенія, а то убѣгу... совсѣмъ...

Сколько дерзкой силы!.. И она отлично знаетъ это. О, она хитрая и... милая, эта Ида—думаетъ Леля. Но, какъ бы обидѣвшись, отвѣчаетъ:

— И не подумаю... — И устало опускается на землю.

Ида медленно подходитъ.

— Ну, помиримся. — Садится рядомъ. Леля хочетъ опять ее обнять, но она не дается. О, какая она серьезная стала вдругъ. Даже немного грустная. Смотритъ на кончикъ туфли, сдвинула брови.

— Ну, посмотримъ, посмотримъ, — думаетъ Леля и въ то же время начинаетъ ее уже немножко бояться... И теперь онъ уже не рѣшится обнять ее.

Ида подымаетъ глаза. И прямо и серьезно смотритъ на Лелю. Большими, вопрошающими глазами. И серьезно... Точно выпытываетъ.

Почему-то неловко отъ этихъ глазъ, и отъ молчанья. Отчего она молчитъ...

— Ида, кто твой отецъ? — спрашиваетъ Леля. И ему кажется, будто онъ сейчасъ сказалъ какую-то непростительную глупость.

— Докторъ, а твой?—и все смотритъ.

— Учитель.

Она отворачивается. Ужъ не разсердилась ли? Боже, отчего я такой неловкій, —думаетъ Леля. Можетъ, ужъ все кончено! Она поняла, какой я глупый, безпомощный и сейчасъ уйдетъ...

Ида опять разглядываетъ кончикъ туфли съ серебристой вышивкой.

— Леля, отчего ты тамъ, у патера... на лѣстницѣ никогда со мной не говорилъ...

— А почему ты всегда такъ скоро пробѣгала мимо — съ болью говоритъ онъ, тоже разглядывая туфельку ея.

И опять молчаніе. И такая тишина, что кажется, будто весь лѣсъ замеръ и прислушивается. И отъ этого чувствуется, какой онъ большой и безконечно-далекій.

Но вотъ Леля украдкой взглянулъ на Иду. И какъ онъ обрадовался. Въ ея глазахъ одинъ радостный смѣхъ. И теперь она сама потянулась къ нему и, обвивъ шею горячими руками, прижалась всѣмъ гибкимъ тѣломъ къ его груди.

— Леля, любишь?...

— Люблю... Какъ я тебя люблю...

И лѣсъ успокоился. Тоже зашепталъ что-то ласковое, доброе. Набѣжалъ вѣтерокъ и посыпались въ зеленой листвѣ золотые кружки и засмѣялись березы. Радостно, какъ родныя. И столпились вокругъ. Стоятъ на стражѣ. Оберегаютъ святую тайну золотой весны. И смѣются, смѣются...

— Какъ я тебя люблю...

— Милый...

Поцѣлуи, жаркіе, долгіе. Смѣхъ листвы пьянитъ. Молодая, упругая грудь просится наружу. Тѣла зовутъ другъ

друга. Ида лежитъ въ рукахъ у Лели. Отгибается назадъ, и горячее тѣло ея ужъ такъ близко, зоветъ настойчиво, просто, понятно... Коса растрепалась, въ ней путаются непослушные дрожащіе пальцы. Ея щеки порозовѣли, на нихъ играетъ солнечное пятнышко. Глаза широко раскрыты, въ ихъ опьяненной глубинѣ скользятъ какіе-то колючіе, потухающіе и вновь вспыхивающіе огоньки. И что-то устало шепчутъ улыбающіяся и ссохшіяся губы. Почти неслышно...

— Не надо!—Или что-то другое? Не разобрать. Уже не отличить деревьевъ, стволовъ. Все сливается въ качающуюся, смѣющуюся зелено-пятнистую массу. Качающуюся и куда-то плавно опускающуюся...

V.

А потомъ все становится простымъ и яснымъ, какъ задумчиво шумящій лѣсъ, какъ клочья синяго неба вверху...

Сидятъ рядомъ, подъ шелестящей березой. Кажется, раньше сидѣли у другой березы... Голову Ида положила Лелѣ на плечо. Тонкая бѣлая шейка съ рѣдкими, разсыпавшимися по ней волосами.

А глаза остро блестятъ и смотрятъ въ даль, сквозь бѣлые стволы.

Сидятъ долго, не двигаясь. Прислушиваются къ лѣсному говору, то очень далекому, то надъ самой головой. И кажется, будто тонкимъ отзвукомъ дрожитъ что-то внутри, въ сладкой истомѣ

Леля первый отрезвляется. Тихое чувство вызываетъ теперь эта маленькая головка, устало лежащая на его плечѣ. Леля просто и осторожно, точно боясь ее разбудить, цѣлуетъ въ лобъ. Она вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ и закрываетъ лицо руками.

— Ида, что съ тобой. Ты плачешь?

Вдругъ увидѣлъ кровь. Два яркихъ кровяныхъ пятнышка, совсѣмъ маленькихъ, другъ около друга.

Неожиданно страшно дѣлается вдругъ въ этой лѣсной глуши. И береза надъ ними притихла. Насмѣшливо... Въ душу падаетъ ужасъ. Тупой и липкій, какъ комъ размятой глины.

— Ида, Идочка, дорогая, что съ тобой, тебѣ больно?—и Леля беретъ ее себѣ на колѣни и осторожно, точно желая убѣдиться, больно-ли ей, гладитъ по головѣ.

Конечно, не больно. Вотъ она улыбнулась. Такъ хорошо улыбнулась, такъ славно улыбнулась, милая Ида.

— Вѣдь я такъ тебя люблю—хочетъ сказать Леля, а вмѣсто этого спрашиваетъ:

— Отчего ты, Идочка, такъ странно смотришь. Отчего?

Нѣтъ, ты скажи, отчего ты такая странная. Почему ты молчишь.

Удивительно. Молчитъ все. Точно чѣмъ-то ошеломлена.

И вдругъ кто-то внутри хихикнулъ... И спрятался. Въ щелочкѣ блеститъ его остренькій глазокъ...

— Что, что?—пугливо прислушивается Леля. Не можетъ понять, не можетъ еще уловить мыслью, но уже страшно боится, предчувствуя недоброе и, похолодѣвъ, тихо спрашиваетъ:

— Ида, а что-же теперь...

Но Ида не слушаетъ. Все также смотритъ безмолвно куда-то въ даль. И не знаешь: не проснулась она еще, что-ли, или съ ней дѣйствительно что-то произошло. Вяло лежитъ у него въ рукахъ, легко поддается малѣйшему движенію, какъ кукла.

— Ида, да скажи-же ты хотя что-нибудь. Вѣдь нужно-же подумать—умоляюще проситъ Леля и близко склоняется надъ ея личикомъ, такимъ тонкимъ, испуганнымъ...

— Ида, что теперь, что теперь намъ дѣлать!—И все растетъ и растетъ слѣпой неумолимый ужасъ.

— Ну хорошо—суетливо старается Леля успокоить себя разсуждая вслухъ—ну хорошо, мы придемъ туда, къ нимъ. Хорошо. Они сразу не замѣтятъ. Навѣрно не замѣтятъ. Ну, а потомъ-то что будетъ—почти ужъ стонетъ Леля, зарываясь лицомъ въ складки Идинаго платья.

— Ну, что же—умоляюще смотритъ Леля ей въ глаза, сидя передъ ней на землѣ. Такой большой и безпомощный.

Что-то случится сейчасъ. Можетъ быть кто-нибудь ударитъ... Сзади, по головѣ... Нельзя шелохнуться. Она не видитъ, не видитъ, не видитъ... Этихъ проклятыхъ кровинокъ. Онѣ кричатъ, зовутъ, тонко, пронзительно, какъ звонкая стекляшка... Какъ больно кричатъ... Нельзя шелохнуться, надо молчать... молчать...

Увидѣла... Разсматриваетъ...

Испугалась... Кажется, сказала что-то.

— Леля, надо вымыть... Пойдемъ скорѣй. Гдѣ нибудь здѣсь озеро, большое...

— А—вымыть... Можно съ пескомъ, тогда лучше отойдетъ. Какъ просто—а я не догадался. Боже, такъ просто: вымыть и ничего не останется.

Пни мѣшаютъ бѣжать, точно нарочно подъ ноги лѣзутъ... проклятые...

Вымыть, вымыть... Только бы не заплакала, тогда все пропало. Не надо смотрѣть на нее...

— О-о, заплакала... все пропало...

VI.

Поѣздъ пришелъ ровно въ 10 часовъ, когда розовая полоска зари потухла надъ лѣсомъ и на небо, сразу потемнѣвшее, стала не спѣша подыматься луна.

Поѣздъ пришелъ изъ лѣсу, медленно-крадучись, подозрительно высматривая даль жесткимъ свѣтомъ своихъ трехъ глазъ. И казалось, будто изъ лѣсу вылѣзало какое-то сказочное чудовище, таившееся тамъ цѣлый день и вышедшее теперь на добычу...

На платфомѣ, залитой луннымъ свѣтомъ, стоитъ кучка людей. Усталая отъ дневныхъ впечатлѣній молодежь грустно поглядываетъ въ даль, въ лѣсъ съ большимъ озеромъ, кусочекъ котораго серебрится вдали—и молчитъ. Бѣлыя платьица дѣвочекъ въ лунномъ свѣтѣ выдѣляются странными, колеблющимися пятнами.

Въ сторонѣ, подъ крышей, гдѣ тѣнь косая и глубокая, два силуэта...

— Прощай, Леля — тихо говоритъ милый голосъ, такой близкій теперь, родной.

Боязливый поцѣлуй. И близко смотрятъ два глаза. А что они говорятъ, эти дорогіе глаза... Безъ слезъ, давно уже изсякнувшихъ. Въ нихъ и темное равнодушіе, безсиліе и теплая ласка и жажда такой же ласки...

Опускаетъ голову ему на грудь.

— Леля, скажи, почему... почему...

Леля молчитъ. Что онъ можетъ отвѣтить? Развѣ онъ знаетъ, почему минута счастья принесла съ собой этотъ безконечный ужасъ и почему теперь въ душѣ равнодушіе пустоты...

— Пусть будетъ, что будетъ—думаетъ онъ. — Да, пусть, что будетъ. Теперь ужъ все равно. Раньше былъ ужасъ, а теперь все равно...

Поѣздъ подошелъ. Нарушая грустную тишину, рѣзко ударилъ колоколъ и всѣ побѣжали садиться. И страннымъ казалось со стороны, какъ быстро карабкались темныя фигурки по ступенькамъ вагоновъ. Точно убѣгая отъ чего-то, отъ этой тихой майской ночи, залитой луннымъ свѣтомъ.

Пронзительно свистнулъ паровозъ. И было похоже, точно кто-то большой и сердитый чему-то очень обрадовался:

— Ох-хо-о!..

И поползъ, громко пыхтя, по направленію къ тому городу, откуда днемъ привезъ сюда кучку людей, уставшихъ отъ городской зимы и захотѣвшихъ солнца и зеленыхъ деревьевъ хоть на одинъ день, хоть на нѣсколько часовъ...

Но теперь всѣ ѣхали уже обратно и тащившее ихъ чудо-

вище, темное и сердитое, очевидно было чѣмъ-то довольно, такъ какъ все покрикивало, не то угрожая кому-то, не то побѣдно:—Ох-хоо! Ох-ххо-хо-о-о!

И, наконецъ, совсѣмъ скрылось въ темной дали.

VII.

А здѣсь осталась ночь. Загадочная майская ночь...

Въ сирени, тонко разливающей вокругъ свой сладкій запахъ, задумчиво чокаетъ соловей.

Сверху луна льетъ неподвижный таинственный свѣтъ.

Напряженно тихо...

И чудится въ этой тишинѣ усталая истома отъ переживаемыхъ восторговъ весенней любви и въ серебристой темнотѣ виситъ стонъ сладострастья. Тонкій и тянуще-раздражающій стонъ...

Н. Целдакскій.

Сынъ рыбака.

— Мама! Мнѣ не спится. Разскажи мнѣ сказку.
Нѣтъ, не сказку! Правду. Море глубоко?

— А не хочешь сказку? Птицу Синеглазку,
Что жила надъ моремъ, въ скалахъ высоко?

— Лучше правду, мама. За морями что же?
Долго будетъ папа плавать по морямъ?

— Онъ вернется скоро. Помоги намъ, Боже!
А за моремъ — море. Только море тамъ.

— У отца вѣдь лодка крѣпкая, большая?
Утонуть не можетъ онъ въ морскихъ волнахъ?

— Плачешь, милый? Смотришь, сердце сокрушая.
Полно! Это вечеръ нагоняетъ страхъ.

— По ночамъ мнѣ, мама, и страшнѣй бываетъ:
Снится дно морское и глаза звѣрей.

— Всякій сонъ, любимый, мимо пролетаетъ.
Положи головку, засыпай скорѣй!

— Мама, слышишь, мама: я ужъ засыпаю.
Только пусть не снится страшный этотъ сонъ.

— Тихо спи! На сердце Божье уповаю.
Боже, Боже, Боже! Пусть вернется онъ.

Сергѣй Городецкій.

СМЕРТЬ ХОЛОСТЯКА.

Новелла **Артура Шницлера.**

Переводъ В. Величкиной.

Въ дверь постучали очень тихо, но докторъ тотчасъ же проснулся, зажегъ огонь и всталъ съ постели. Онъ взглянулъ на спокойно спящую жену, надѣлъ халатъ и вышелъ въ пріемную. Тамъ стояла старуха въ сѣромъ платкѣ, которую онъ сразу не узналъ.

— Нашему барину вдругъ сдѣлалось очень плохо, — сказала она, — не будете ли вы добры, господинъ докторъ, сейчасъ же придти къ нему.

Докторъ, наконецъ, вспомнилъ ея голосъ. Это была экономка его друга, холостяка. Первой мыслью доктора было: моему другу пятьдесятъ пять лѣтъ, сердце у него уже два года плохо работаетъ, легко можетъ быть что-нибудь очень серьезное.

И онъ сказалъ старухѣ:

— Я сейчасъ ѣду, вы подождете меня?

— Извините, господинъ докторъ, мнѣ нужно скорѣе съѣздить еще къ двумъ другимъ господамъ.

И она назвала имена одного купца и одного писателя.

— Какое у васъ къ нимъ дѣло?

— Баринъ хочетъ еще разъ видѣть ихъ.

— Еще... разъ... видѣть?

— Да, господинъ докторъ.

— Онъ зоветъ своихъ друзей, — подумалъ докторъ, — значитъ, онъ чувствуетъ близость смерти...

И докторъ спросилъ:

— Есть кто нибудь при вашемъ баринѣ?

Старуха отвѣтила:

— Конечно, господинъ докторъ: Іоганнъ не отлучается отъ него. — И она ушла.

Докторъ вошелъ обратно въ спальню и, пока быстро и безшумно одѣвался, въ душѣ его поднималось какое-то горькое чувство. Это была не столько скорбь о томъ,

что онъ, можетъ быть, скоро потеряетъ добраго, стараго друга, сколько тяжелое ощущеніе, что они всѣ близки къ тому же,—всѣ, кто еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ были молоды.

Въ открытой коляскѣ, теплой, весенней ночью, пріѣхалъ докторъ въ ближайшее, загородное мѣстечко, гдѣ жилъ его другъ-холостякъ. Онъ взглянулъ на окно его спальни; оно было широко открыто, и изъ него лился слабый свѣтъ въ ночную темноту. Докторъ поднялся по лѣстницѣ; слуга отворилъ ему, почтительно поклонился и печально махнулъ рукой.

— Какъ?—спросилъ, задыхаясь, докторъ.—Развѣ я пріѣхалъ слишкомъ поздно?

— Да, господинъ докторъ,—отвѣчалъ слуга,—четверть часа тому назадъ баринъ скончался.

Докторъ тяжело вздохнулъ и вошелъ въ комнату. Тамъ лежалъ его мертвый другъ съ посинѣвшими, полуоткрытыми губами и сложенными на бѣлой простынѣ руками; его рѣдкая борода была въ безпорядкѣ, и на блѣдный и влажный лобъ спадало нѣсколько сѣдыхъ прядей волосъ. Отъ шелковаго абажура электрической лампочки, стоявшей на ночномъ столикѣ, падалъ на подушку красноватый отсвѣтъ. Докторъ внимательно посмотрѣлъ на умершаго.

— Когда онъ былъ послѣдній разъ у насъ въ домѣ?—подумалъ онъ.—Я помню, что тогда вечеромъ шелъ снѣгъ. Слѣдовательно, это было въ прошлую зиму. Послѣднее время мы очень рѣдко видались.

Съ улицы послышался шумъ лошадиныхъ копытъ. Докторъ отвернулся отъ умершаго и посмотрѣлъ въ окно; ночной вѣтеръ колебалъ тонкіе сучья деревьевъ.

Вошелъ слуга, и докторъ сталъ его разспрашивать, какъ все это произошло.

Слуга разсказалъ доктору хорошо знакомую исторію, какъ баринъ вдругъ почувствовалъ себя дурно, началъ задыхаться, вскочилъ съ постели, сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, быстро подошелъ къ письменному столу и затѣмъ снова легъ въ постель; какъ онъ стоналъ и просилъ пить, потомъ, въ послѣдній разъ, поднялся въ постели и, наконецъ, упалъ на подушку. Докторъ внимательно слушалъ, положивъ свою правую руку на блѣдный лобъ покойнаго. Подъѣхалъ экипажъ. Докторъ подошелъ къ окну. Изъ экипажа вышелъ купецъ и вопросительно посмотрѣлъ въ окно на доктора. Докторъ машинально махнулъ рукой, какъ это сдѣлалъ раньше встрѣтившій его слуга. Купецъ откинулъ назадъ голову, какъ-будто онъ не хотѣлъ этому вѣрить. Докторъ пожалъ плечами, отошелъ отъ окна и,

почувствовавъ внезапную усталость, сѣлъ въ кресло у ногъ покойнаго.

Купецъ вошелъ въ открытомъ, желтомъ пальто, положилъ шляпу на маленькій столикъ около двери и пожалъ руку доктору.

— Но, вѣдь, это ужасно,—сказалъ онъ,—какъ же это случилось?

И онъ устремилъ на умершаго недовѣрчивый взглядъ.

Докторъ сообщилъ ему, что зналъ, и затѣмъ прибавилъ:

— Если бы я пришелъ и во время, все равно, уже ничѣмъ нельзя было помочь.

— Подумайте только,—сказалъ купецъ,—сегодня ровно недѣля, какъ я въ послѣдній разъ говорилъ съ нимъ въ театрѣ. Я хотѣлъ послѣ ужинать съ нимъ, но у него опять было какое-то таинственное свиданіе.

— Развѣ они все еще бывали у него?—спросилъ докторъ съ печальной улыбкой.

У подъѣзда снова остановился экипажъ. Купецъ подошелъ къ окну. Увидѣвъ выходящаго изъ экипажа писателя, онъ отошелъ внутрь комнаты, чтобы не быть первымъ вѣстникомъ печальной новости. Докторъ вынулъ изъ своего портсигара папиросу и смущенно сталъ вертѣть ее въ рукахъ.

— Это у меня привычка со времени моей службы въ больницѣ,—замѣтилъ онъ, какъ бы извиняясь.—Когда я ночью выходилъ изъ комнаты больнаго, то,—дѣлалъ ли я тамъ простую инъекцію морфія или констатировалъ смерть,—первымъ моимъ движеніемъ за дверью было закурить папиросу.

— Знаете ли,—сказалъ купецъ,—сколько времени я не видѣлъ ни одного умершаго? Цѣлыхъ четырнадцать лѣтъ... съ тѣхъ поръ, какъ на столѣ лежалъ мой отецъ.

— А... ваша жена?

— Мою жену я видѣлъ, правда, въ послѣднія минуты, но... потомъ я уже больше не видалъ ее.

Вошелъ писатель, пожалъ руки присутствующимъ и устремилъ вопросительный взглядъ на постель. Затѣмъ, онъ рѣшительными шагами подошелъ ближе и молча сталъ смотрѣть на трупъ съ нѣсколько презрительнымъ выраженіемъ губъ.

— Итакъ, онъ первый,—пронеслось въ его мозгу.—Онъ такъ часто игралъ вопросомъ, кому изъ его ближайшихъ знакомыхъ предназначено пройти первому послѣдній путь.

Вошла экономка и со слезами на глазахъ опустилась на колѣни передъ кроватью, всхлипывая и ломая руки. Писатель ласково положилъ ей руку на плечо, стараясь ее успокоить.

Купецъ и докторъ стояли у окна, ночной весенній вѣтерокъ игралъ ихъ волосами.

— Странно въ сущности,—заговорилъ купецъ,—что онъ послалъ за всѣми нами. Хотѣлъ ли онъ просто собрать насъ вокругъ своего смертнаго ложа? Или, можетъ быть, ему нужно было сообщить намъ что нибудь важное?

— Что касается до меня,—сказалъ съ горькой улыбкой докторъ,—то въ этомъ еще нѣтъ ничего страннаго, такъ какъ я—врачъ А вы—обратился онъ къ купцу,—нерѣдко давали ему дѣловые совѣты. Можетъ быть, дѣло здѣсь шло о какихъ-нибудь послѣднихъ распоряженіяхъ, которыя онъ хотѣлъ довѣрить вамъ лично.

— Это, конечно, возможно,—сказалъ купецъ.

Экономка удалилась, и друзьямъ было слышно, какъ она разговаривала въ передней съ капельдинеромъ. Писатель все еще стоялъ у постели и велъ таинственный діалогъ съ мертвецомъ.

— Вотъ онъ,—сказалъ купецъ тихонько доктору,—онъ, кажется, въ послѣднее время чаще видался съ нимъ. Можетъ быть, онъ можетъ дать намъ какое-нибудь объясненіе.

Писатель не шевелился; онъ устремилъ свой взоръ на закрытые глаза умершаго. Руки его, въ которыхъ онъ держалъ широкополую сѣрую шляпу, были скрѣщены на спинѣ. Двое другихъ стали терять терпѣніе. Купецъ подошелъ къ нему и кашлянулъ.

— Три дня тому назадъ,—произнесъ писатель,—я два часа гулялъ съ нимъ по виноградникамъ. Интересно вамъ, о чемъ онъ говорилъ? О путешествіи въ Швецію, которое онъ предполагалъ сдѣлать лѣтомъ, о новой серіи картинъ Рембрандта, которая вышла въ Лондонѣ у Ватсона, и наконецъ, о Сантосъ Дюмонѣ. По поводу управляемаго летательнаго снаряда, онъ разсказывалъ о всевозможныхъ математическихъ и физическихъ изслѣдованіяхъ, которыхъ я, откровенно говоря, не вполнѣ понялъ. Во всякомъ случаѣ, онъ не думалъ о смерти. Конечно, бываетъ обыкновенно такъ, что въ извѣстномъ возрастѣ перестаютъ о ней думать.

Докторъ вышелъ въ сосѣднюю комнату. Здѣсь ему, конечно, можно было закурить папиросу.

— Зачѣмъ же, въ сущности, я все еще здѣсь,—подумалъ онъ, опускаясь въ кресло передъ письменнымъ столомъ.—Я больше всѣхъ имѣю право уйти, такъ какъ меня, очевидно, пригласили только какъ врача. Вѣдь, наша дружба совсѣмъ уже не была такъ велика. Въ мои годы,—продолжалъ онъ размышлять,—и для такого человѣка, какъ я, вообще, невозможно дружить съ тѣмъ, кто не имѣетъ никакой профессіи и никогда не имѣлъ ея. Что бы онъ сталъ

дѣлать, если бы не былъ богатъ? Вѣроятно, онъ занялся бы писательствомъ; вѣдь, онъ былъ очень даровитъ.—И докторъ вспомнилъ много мѣткихъ ироническихъ замѣчаній холостяка, въ особенности, по поводу произведеній ихъ общаго друга,—писателя.

Въ комнату вошли купецъ и писатель. Увидѣвъ доктора на только что осиротѣвшемъ креслѣ съ папиросой, которую, впрочемъ, тотъ не успѣлъ еще закурить, писатель придалъ оскорбленное выраженіе своему лицу и затворилъ за собой дверь. Теперь они были здѣсь, все-таки, въ нѣсколько иномъ мірѣ.

— Есть у васъ какое-нибудь предположеніе?—спросилъ купецъ.

— Насчетъ чего?—разсѣянно спросилъ писатель.

— Что могло побудить его послать за нами, именно за нами?

Писатель считалъ, однако, лишнимъ искать какой-либо особенной причины.

— Нашъ другъ,—объяснилъ онъ,—почувствовалъ приближеніе смерти и, хотя онъ и жилъ довольно одиноко, особенно въ послѣднее время,—но въ такой часъ, въ натурахъ, созданныхъ первоначально для общенія, просыпается, вѣроятно, потребность видѣть кругомъ себя людей, которые были имъ близки.

— У него, вѣдь, навѣрное, была возлюбленная,—замѣтилъ купецъ.

— Возлюбленная,—повторилъ писатель и презрительно поднялъ брови.

Тутъ докторъ замѣтилъ, что средній ящикъ письменнаго стола былъ полуоткрытъ.

— Не лежитъ ли здѣсь завѣщаніе,—сказалъ онъ.

— Что намъ за дѣло до этого,—отвѣтилъ купецъ,—по крайней мѣрѣ, въ данную минуту. Во всякомъ случаѣ, у него есть въ Лондонѣ замужная сестра.

Вошелъ слуга. Онъ обратился за совѣтами относительно погребенія и разсылки приглашеній. Насколько ему извѣстно, завѣщаніе лежитъ у нотаріуса барина, но онъ очень сомнѣвается, чтобы тамъ были какія-нибудь распоряженія на этотъ счетъ. Писателю показалось душно и жарко въ комнатѣ. Онъ отодвинулъ тяжелую, красную портьеру у одного окна и раскрылъ его настежь. Широкая волна ночного весенняго воздуха влилась въ комнату. Докторъ спросилъ слугу, не знаетъ ли онъ, съ какой цѣлью покойный послалъ за всѣми нами, такъ какъ, если память ему не измѣняетъ, онъ уже нѣсколько лѣтъ не былъ въ этомъ домѣ въ качествѣ врача. Слуга, повидимому, ждалъ этого вопроса.

Онъ тотчасъ же вытащилъ изъ кармана своего сюртука большой портфель, вынулъ изъ него листокъ бумаги и сообщилъ, что баринъ, уже семь лѣтъ тому назадъ написалъ имена тѣхъ друзей, которыхъ онъ желалъ бы видѣть около своего смертнаго одра. И когда баринъ уже потерялъ сознаніе, онъ позволилъ себѣ собственной властью распорядиться послать за господами.

Докторъ взялъ записку изъ рукъ слуги и прочелъ въ ней пять именъ: кромѣ именъ трехъ присутствующихъ, тамъ стояло еще имя одного друга, умершаго два года тому назадъ и еще одно—совершенно незнакомаго человѣка. Слуга объяснилъ, что этотъ послѣдній былъ фабрикантомъ, въ домѣ котораго покойный часто бывалъ девять или десять лѣтъ тому назадъ; адресъ его теперь затерялся. Присутствующіе смущенно и тревожно переглянулись.

— Какъ это объяснить?—спросилъ купецъ.—Не намѣревался ли онъ произнести какую-нибудь рѣчь въ послѣднія минуты своей жизни?

— Надгробное слово себѣ самому?—добавилъ писатель.

Докторъ посмотрѣлъ въ открытый ящикъ письменнаго стола и вдругъ замѣтилъ конвертъ, на которомъ большими римскими буквами было написано два слова: „Моимъ друзьямъ“.

— О,—воскликнулъ онъ, взялъ конвертъ, поднялъ его и показалъ другимъ.—Это—для насъ,—обратился онъ къ слугѣ и сдѣлалъ ему знакъ головой, что онъ здѣсь лишній. Слуга ушелъ.

— Для насъ? — проговорилъ писатель съ широко раскрытыми глазами.

— Не можетъ, вѣдь, быть никакого сомнѣнія, — сказалъ докторъ,—что мы имѣемъ право вскрыть это.

— Мы обязаны,—сказалъ купецъ и застегнулся на всѣ пуговицы.

Докторъ взялъ изъ стеклянной чашечки разрѣзной ножикъ, вскрылъ конвертъ, вынулъ изъ него письмо и надѣлъ пенснэ. Этой минутой воспользовался писатель, чтобы взять листокъ себѣ и развернуть его.

— Это для всѣхъ насъ,—тихо сказалъ онъ и облокотился на письменный столъ такъ, чтобы свѣтъ отъ висящей на потолкѣ люстры падалъ прямо на бумагу. Рядомъ съ нимъ сталъ купецъ. Докторъ остался сидѣть.

— Можетъ быть, вы прочтете вслухъ,—сказалъ купецъ.

Писатель началъ:

— „Моимъ друзьямъ“... Онъ перервалъ себя, улыбаясь:

— Да, господа, здѣсь это еще разъ написано.—И затѣмъ, съ невозмутительнымъ спокойствіемъ, продолжалъ:

„Около четверти часа тому назадъ, я испустилъ мой духъ. Вы собрались вокругъ моего смертнаго ложа и собираетесь прочесть вмѣстѣ это письмо... если оно еще существуетъ въ часъ моей смерти, прибавлю я; потому что, вѣдь, можетъ случиться, что на меня найдетъ лучшее настроеніе“...

— Что?—спросилъ докторъ.

— На меня найдетъ лучшее настроеніе, — повторилъ писатель и продолжалъ читать дальше:—„и я рѣшусь уничтожить это письмо, которое не принесетъ, вѣдь, мнѣ ни малѣйшей пользы, а вамъ доставитъ, по меньшей мѣрѣ, очень непріятную минуту, если окончательно не отравитъ жизни кому-нибудь изъ васъ“.

— Если не отравитъ жизни?—вопросительно повторилъ докторъ и протеръ стекла своего пенснэ.

— Скорѣе,—сказалъ купецъ сдавленнымъ голосомъ.

Писатель продолжалъ.

— „И я спрашиваю себя, что за странная фантазія влечетъ меня сегодня къ письменному столу и заставляетъ написать такія слова, впечатлѣнія отъ которыхъ я никогда не увижу на вашихъ лицахъ? И если бы я даже и могъ это сдѣлать, то удовольствіе было бы слишкомъ ничтожно для того, чтобы служить справданіемъ той баснословной низости, которую я сейчасъ сдѣлаю и притомъ съ чувствомъ самаго искренняго наслажденія“.

— О!—воскликнулъ докторъ и самъ не узналъ своего голоса. Писатель бросилъ на доктора торопливо злобный взглядъ и продолжалъ читатъ дальше, быстрѣе и тише, чѣмъ раньше:

— „Да, это ничто иное, какъ пустая фантазія, такъ какъ я, въ сущности, ничего не имѣю противъ васъ. Я васъ всѣхъ, по своему, даже очень люблю, какъ и вы меня,— по вашему. Я не считаю васъ ничтожными, и, если я и подшучивалъ иногда надъ вами, то никогда я все-таки надъ вами не издѣвался. Никогда; и меньше всего въ тѣ часы, о которыхъ у васъ сейчасъ создается самое тяжелое и самое живое представленіе. Итакъ, откуда же взялась эта фантазія? Можетъ быть, она родилась изъ искренняго и, въ сущности, благороднаго желанія не оставлять такъ много лжи въ мірѣ, уходя изъ него? Я могъ бы думать такъ, если бы я хотя разъ почувствовалъ малѣйшее ощущеніе того, что люди называютъ раскаяніемъ“.

— Прочтите же, наконецъ, заключеніе, — потребовалъ докторъ своимъ новымъ голосомъ. Купецъ же просто взялъ письмо изъ рукъ писателя, пальцы котораго разжались точно парализованные, быстро пробѣжалъ глазами листокъ

и прочелъ въ концѣ слѣдующія слова: „это былъ злой рокъ, мои дорогіе, и я ничего здѣсь не могу измѣнить. Всѣ ваши жены принадлежали мнѣ,—всѣ".

Купецъ вдругъ остановился и посмотрѣлъ начало письма.

— Что тамъ у васъ?—спросилъ докторъ.

— Письмо написано девятъ лѣтъ тому назадъ,—сказалъ купецъ.

— Дальше,—потребовалъ писатель.

Купецъ прочелъ: „это были, разумѣется, отношенія совершенно различнаго характера. Съ одной я жилъ почти, какъ въ бракѣ, много мѣсяцевъ. Съ другой—это было то, что обыкновенно называютъ сумасброднымъ приключеніемъ. Съ третьей дѣло дошло даже до того, что я собирался умереть вмѣстѣ съ нею. Четвертую, обманывавшую меня съ другимъ, я спустилъ съ лѣстницы. А одна изъ нихъ была моей возлюбленной только одинъ разъ. Теперь вздохните свободно, дорогіе мои. Это, вѣдь, не бѣда... Можетъ быть, это были самыя прекрасныя минуты моей... и вашей жизни. Такъ-то, друзья мои. Больше мнѣ вамъ нечего сказать. Теперь я складываю свое письмо, и пусть оно лежитъ въ моемъ письменномъ столѣ и ждетъ, пока я не уничтожу его въ другомъ настроеніи или пока оно не будетъ передано вамъ въ тотъ часъ, когда я буду лежать на своемъ смертномъ одрѣ. Прощайте"...

Докторъ взялъ письмо изъ рукъ купца и притворился, что внимательно прочелъ его отъ начала до конца. Потомъ онъ взглянулъ на купца, который стоялъ скрестивъ руки и, какъ будто, насмѣшливо смотрѣлъ на него.

— Если ваша жена и умерла въ прошломъ году,—сказалъ спокойно докторъ,—то, тѣмъ не менѣе, все это правда.

Писатель ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, встряхивалъ нѣсколько разъ головой и, наконецъ, прошипѣлъ сквозь зубы: „каналья" — взглянулъ вслѣдъ этому слову, какъ-будто какому-то предмету, который расплылся въ воздухѣ. Онъ попытался вызвать въ своемъ воспоминаніи образъ молодого существа, которое онъ когда то держалъ въ своихъ объятіяхъ, какъ супругу. Выплывали другіе женскіе образы, многіе изъ которыхъ онъ считалъ уже давно забытыми, но онъ никакъ не могъ вызвать того, что хотѣлъ, потому что тѣло его супруги уже увяло и не могло представлять больше прелести для него; и кромѣ того, она слишкомъ давно перестала быть его возлюбленной. Но теперь она сдѣлалась для него чѣмъ-то инымъ,—гораздо большимъ и болѣе благороднымъ: она сдѣлалась подругой, истинной спутницей жизни, гордой его успѣхами, раздѣляющей его

разочарованія и глубоко понимающей самую сущность его натуры. Ему казалось возможнымъ, что старый холостякъ, подъ вліяніемъ злобнаго чувства, просто попытался отнять у него, кому онъ втайнѣ завидовалъ, подругу; потому что какое, въ сущности, значеніе имѣютъ всѣ эти вещи? Ему вспомнились многія приключенія изъ прошлаго и ближайшаго времени, которыя нерѣдко встрѣчались въ его богатой впечатлѣніями жизни художника и по поводу которыхъ супруга его или улыбалась, или плакала. Куда дѣлось все это теперь? Также поблѣднѣло, какъ и тотъ далекій часъ, когда его супруга бросилась въ объятія ничтожнаго человѣка, безъ размышленія и, можетъ быть, даже безъ сознанія; все это почти такъ же погасло, какъ воспоминаніе объ этомъ же самомъ часѣ въ мертвой головѣ, лежащей тамъ, на сбившихся подушкахъ. Можетъ быть, это была даже ложь, что тамъ написано въ письмѣ... Послѣдней местью жалкаго, дюжиннаго человѣка, знавшаго, что онъ осужденъ на вѣчное забвеніе, человѣку избранному, надъ произведеніями котораго смерть не имѣетъ власти? Это очень вѣроятно. Но даже, если бы все было правдой,—то это все-таки остается мелкой местью и притомъ, во всякомъ случаѣ, очень неудачной.

Докторъ смотрѣлъ на лежавшій передъ нимъ листъ бумаги и думалъ о своей старѣющей, милой, кроткой женѣ, которая теперь спокойно спитъ дома. Онъ думалъ также о своихъ троихъ дѣтяхъ, — о старшемъ, который поступилъ нынѣшній годъ вольноопредѣляющимся въ полкъ, о взрослой дочери, помолвленной съ адвокатомъ, и о меньшой, которая была такъ мила и привлекательна, что недавно одинъ знаменитый художникъ попросилъ на балу позволенія написать ея портретъ. Онъ думалъ о своемъ уютномъ домѣ, и все, о чемъ говорило ему письмо покойнаго, казалось ему не столько невѣроятнымъ, сколько скорѣе загадочнымъ и неважнымъ. У него почти не было чувства, что онъ узналъ теперь что-то новое. Ему вспомнилась странная эпоха его существованія, лѣтъ четырнадцать или пятнадцать тому назадъ, когда въ его врачебной карьерѣ случились кое-какія непріятности, и разстроенный и дошедшій почти до сумасшествія, онъ составилъ уже планъ покинуть городъ, жену и дѣтей. Въ то же время онъ началъ тогда кутить, вести легкомысленный образъ жизни, въ которой играла видную роль одна странная, истеричная женщина; потомъ она покончила съ собой изъ-за другого любовника. Какъ затѣмъ его жизнь пошла постепенно прежнимъ путемъ, объ этомъ онъ совсѣмъ не могъ вспомнить. Но въ ту тяжелую эпоху, которая прошла такъ же, какъ и пришла, подобно болѣзни,—

тогда-то жена и обманула его. Да, конечно такъ дѣло и было, и ему совершенно ясно, что онъ, собственно, всегда это зналъ. Развѣ она не была близка къ тому, чтобы признаться ему во всемъ? Развѣ она не дѣлала намековъ? Тринадцать или четырнадцать лѣтъ тому назадъ... Когда же это только было?.. Не было ли это разъ лѣтомъ, во время каникулярнаго путешествія... поздно вечеромъ, на террасѣ отеля?..

Купецъ стоялъ у окна и всматривался въ теплую лѣтнюю ночь. Ему очень хотѣлось вспомнить свою умершую супругу. Но сколько онъ ни напрягалъ свою память, сначала онъ видѣлъ всегда только самого себя въ свѣтѣ сѣраго утра, какъ онъ стоялъ между косяками завѣшенной двери, въ черномъ платьѣ, получалъ сочувственныя рукопожатія, отвѣчалъ на нихъ и до его обонянія доносился тяжелый запахъ карболки и цвѣтовъ. Только постепенно удалось ему вызвать въ памяти образъ своей супруги. Но сначала это былъ лишь образъ образа, потому что ему вспоминался только большой, въ золотой рамѣ, портретъ, висѣвшій надъ роялью въ гостиной и изображавшій изящную даму, лѣтъ тридцати, въ бальномъ туалетѣ. И лишь потомъ онъ видѣлъ и ее самое молодой дѣвушкой, лѣтъ 25, блѣдной и робкой, принявшей его предложеніе. Затѣмъ, передъ нимъ выплыла фигура цвѣтущей женщины, сидѣвшей рядомъ съ нимъ въ театральной ложѣ, устремивъ взоръ на сцену, и внутренно далекой отъ него. Потомъ онъ вспомнилъ страстную жену, которая съ неожиданной пышностью встрѣтила его, когда онъ вернулся послѣ долгаго путешествія. Тотчасъ вслѣдъ за этимъ припомнилась ему нервная, слезливая особа, съ усталыми глазами, отравлявшая ему жизнь своимъ дурнымъ настроеніемъ. Потомъ снова она появилась, въ свѣтломъ, утреннемъ платьѣ, въ видѣ нѣжной, боязливой матери, бодрствующая у постели больного ребенка, который тоже долженъ былъ умереть. Наконецъ, онъ увидѣлъ блѣдное существо, лежащее неподвижно, съ болѣзненно опущенными углами рта и холодными каплями пота на лбу, въ пропитанной запахомъ эфира комнатѣ,—существо, наполнившее его душу мучительнымъ состраданіемъ. Онъ зналъ, что всѣ эти образы и еще сотни другихъ, съ непонятной быстротой проносившіеся передъ его умственнымъ взоромъ, представляли одно и то же существо, два года тому назадъ опущенное въ могилу. Онъ его оплакивалъ, а послѣ смерти почувствовалъ себя освобожденнымъ. У него было такое чувство, какъ-будто изъ всѣхъ этихъ образовъ онъ долженъ былъ выбрать одинъ, чтобы получить какое-нибудь опредѣленное чувство, потому что теперь позоръ и гнѣвъ без-

помощно носились въ пустотѣ. Онъ стоялъ въ нерѣшительности и разсматривалъ домики въ садахъ, отсвѣчивающіе при лунномъ свѣтѣ желтоватымъ и красноватымъ блескомъ и казавшіеся просто блѣдно-окрашенными стѣнами, за которыми былъ только воздухъ.

— Покойной ночи,—сказалъ докторъ и всталъ. Купецъ обернулся.

— Мнѣ тоже нечего здѣсь больше дѣлать.

Писатель взялъ письмо, положилъ его незамѣтно къ себѣ въ карманъ и затѣмъ отворилъ дверь въ сосѣднюю комнату. Медленно подошелъ онъ къ смертному одру, и другіе видѣли, какъ онъ молча смотрѣлъ на трупъ, скрестивъ руки на спинѣ. Потомъ они вышли.

Въ передней купецъ сказалъ слугѣ:

— Что касается до погребенія, то вѣдь все-таки весьма возможно, что въ завѣщаніи у нотаріуса имѣются какія-нибудь распоряженія.

— И не забудьте,—прибавилъ докторъ,—телеграфировать сестрѣ вашего барина въ Лондонъ.

— Разумѣется, не забуду, — отвѣтилъ слуга, отворяя дверь господамъ.

Еще на лѣстницѣ ихъ нагналъ писатель.

— Я могу подвезти васъ обоихъ,—сказалъ докторъ, котораго ожидалъ его экипажъ.

— Благодарю,—сказалъ купецъ,—я пойду пѣшкомъ.

Онъ пожалъ имъ обоимъ руки и сталъ спускаться внизъ по улицѣ, къ городу, наслаждаясь теплой, весенней ночью.

Писатель сѣлъ вмѣстѣ съ докторомъ въ экипажъ. Въ садахъ начали пѣть птицы. Экипажъ проѣхалъ мимо купца, и всѣ трое помахали шляпами, вѣжливо и иронически, всѣ— съ одинаковымъ выраженіемъ лица.

— Скоро мы увидимъ какую-нибудь вашу новую пьесу въ театрѣ? — спросилъ докторъ писателя своимъ старымъ тономъ. Тотъ разсказалъ о необыкновенныхъ трудностяхъ, встрѣтившихся при постановкѣ его новой драмы, которая, конечно,—онъ долженъ сознаться,—содержитъ неслыханныя нападки на все возможное, что считается священнымъ для человѣка. Докторъ кивалъ головой и не слушалъ. Не слушалъ себя и самъ писатель, такъ какъ часто повторяемыя фразы давно уже слетали съ его губъ, какъ заученныя наизусть.

Передъ домомъ доктора они оба вышли изъ экипажа, и карета уѣхала.

Докторъ позвонилъ. Оба стояли и молчали. Когда послышались шаги швейцара, писатель сказалъ:

— Покойной ночи, дорогой докторъ!—И затѣмъ вздрагивая ноздрями, онъ медленно произнесъ: —я ничего не разскажу своей.

Докторъ посмотрѣлъ мимо него и ласково улыбнулся. Дверь растворилась, они пожали другъ другу руки, докторъ исчезъ въ сѣняхъ, и дверь закрылась. Писатель пошелъ.

Онъ дотронулся до своего бокового кармана. Да, письмо было тамъ. Въ полной сохранности будетъ оно найдено въ запечатанномъ конвертѣ его супругой среди его наслѣдства. И съ рѣдкой силой воображенія, которая была ему иногда свойственна, онъ уже слышалъ, какъ она шепчетъ на его могилѣ:

— Ты благородный... великій...

Артуръ Шницлеръ.

Философское завѣщаніе.

Августа Стриндберга.

изъ „синей книги“.

Переводъ Р. Марковичъ.

Посвящается учителю и наставнику
Эм. Сведенборгу.

„Издавая эту книгу, синтезъ моей жизни, я чувствую себя такъ, словно исполнилъ свое назначеніе въ жизни. Все, что я имѣлъ сказать, я рѣшился высказать въ ней“.

А. Стриндбергъ.

Тринадцатая аксіома.

Двѣнадцатая аксіома Эвклида гласитъ, какъ извѣстно: если прямая линія пересѣкаетъ двѣ другихъ прямыхъ линіи такъ, что внутренніе углы составляютъ вмѣстѣ менѣе двухъ прямыхъ, то обѣ эти линіи, будучи продолжены до безконечности, пересѣкутся на той сторонѣ, на которой находятся углы, составляющіе вмѣстѣ менѣе двухъ d.

Если это—истина, сама собой понятная, которой доказывать невозможно и которая въ доказательствахъ не нуждается, то на сколько же яснѣе должна быть аксіома бытія Бога?

Кто пытается доказывать аксіому, тотъ впадаетъ въ абсурдъ; не будемъ же никогда пытаться доказывать бытіе Бога.

Кто не въ состояніи постичь само собой понятной истины, заключающейся въ аксіомѣ, тотъ принадлежитъ къ сынамъ человѣческимъ съ неповоротливой мыслью. Этихъ недалекихъ людей надо пожалѣть, а не наказывать.

Когда для Бога хотятъ дать опредѣленіе, говорятъ прежде всего: Онъ всемогущъ. Изъ этого слѣдуетъ, что онъ можетъ отмѣнять тѣ законы, которые далъ. Но такъ какъ мы не всѣ его законы знаемъ, то мы не знаемъ, не примѣняетъ ли онъ какой-нибудь неизвѣстный намъ законъ тогда, когда мы полагаемъ, что онъ отмѣняетъ какой-нибудь законъ, извѣстный намъ.

Слѣдовательно, то, что мы называемъ чудомъ, совершается, быть можетъ, по строгимъ законамъ, которыхъ мы не знаемъ; поэтому передъ событіями необычными и необъяснимыми мы должны остерегаться отъ неправильныхъ заключеній; они навлекаютъ на насъ усмѣшку и пренебреженіе близкихъ, которые понимаютъ легко.

Крестьянскій здравый смыслъ.

Мельникъ вертитъ свою мельницу и лодочникъ распускаетъ свои паруса, сообразно силѣ и направленію вѣтра. Они вѣтра не видятъ, но вѣрятъ въ его бытіе, потому что наблюдаютъ его дѣйствіе. Это люди умные, умѣющіе пользоваться своимъ разсудкомъ.

Разсудокъ (ratio) или крестьянскій здравый смыслъ— превосходная способность для пониманія чувственнаго, когда оно даже невидимо. Разумъ (интеллектъ)—способность болѣе высокая, съ помощью которой можно постичь и не-чувственное. Но когда раціоналисты пытаются постигать высшія идеи своимъ крестьянскимъ здравымъ смысломъ, — тогда свѣтъ представляется имъ тьмою, доброе—злымъ, вѣчное— временнымъ. Словомъ, они видятъ превратно, потому что смотрятъ естественно-просто.

Совершенно такъ же, какъ незамѣнимъ простой здравый смыслъ для покупокъ на рынкѣ, для торговли кофе и сахаромъ, или для выдачи долговыхъ расписокъ, — такъ же необходимъ разумъ тогда, когда надо подойти поближе къ сверхъестественному.

Вольтера и Гейне причисляютъ къ величайшимъ раціоналистамъ за то, что они судятъ о духовномъ съ помощью простого здраваго смысла. Оттого ихъ философскія построенія интересны, но цѣнности не представляютъ. И что всего интереснѣе, это то, что они уяснили себѣ свои заблужденія, объявили себя банкротами и обратились, въ концѣ концовъ, къ своему разуму. Но сюда простецы уже не могли послѣдовать за ними.

Простецы—классическое прозвище для филистеровъ, поклоняющихся Дагону, богу съ рыбьимъ хвостомъ и Вельзевулу.

Удодъ или необыкновенный случай.

Во время одного странствія Іоаннъ забрелъ въ лѣсъ. Въ дуплѣ одного стараго дерева онъ нашелъ птичье гнѣздо съ семью яйцами, похожими на яйца черной ласточки—касатки. Но черная касатка кладетъ только по три яйца,— слѣдова-

тельно, это гнѣздо не ея. Такъ какъ Іоаннъ былъ большимъ знатокомъ яицъ, то онъ тотчасъ разглядѣлъ, что это яица удода. И онъ сказалъ себѣ: удодъ долженъ быть здѣсь поблизости, хотя книги и утверждаютъ, что онъ здѣсь не водится.

Черезъ нѣкоторое время онъ отчетливо разслышалъ извѣстное уханье удода. Тогда онъ больше не сомнѣвался, что птица здѣсь. Онъ спрятался за камень и вскорѣ увидѣлъ пеструю въ крапинкахъ птицу съ ея желтымъ хохолкомъ.

Вернувшись черезъ три дня домой, Іоаннъ разсказалъ своему учителю, что онъ видѣлъ на островѣ удода. Учитель этому не повѣрилъ, а потребовалъ доказательства.

— Доказательства? Ты разумѣешь пару свидѣтелей?

— Да!

— Хорошо. У меня есть двѣ пары свидѣтелей и показанія ихъ согласны: оба мои уха слышали его и оба мои глаза видѣли его.

— Возможно. Но я-то его не видѣлъ, — отвѣтилъ учитель.

Іоаннъ заслужилъ прозвище лжеца за то, что не могъ доказать, что видѣлъ въ такомъ-то мѣстѣ удода. И все же это былъ фактъ, что удодъ появился тамъ, хотя это и былъ необыкновенный случай въ этой мѣстности.

Плохое пищеваренiе.

Долгъ каждаго складывающаго нѣсколько многозначныхъ чиселъ — усомниться въ правильности полученной суммы. Для провѣрки итога производятъ обыкновенно сложеніе вторично, но складываютъ уже снизу вверхъ. Это здоровое сомнѣніе.

Но бываетъ и нездоровое сомнѣніе. Оно состоитъ въ томъ, что отрицаютъ все, чего не видѣли собственными глазами и не слышали собственными ушами. Относиться къ своимъ ближнимъ, какъ къ лжецамъ, не гуманно и умаляетъ до подозрительности наше знаніе.

Бываетъ болѣзненное сомнѣніе, напоминающее нездоровый желудокъ; все проглатывается, но ничто не удерживается, все поглощается, но ничто не перерабатывается. Слѣдствіемъ этого являются исхуданіе, упадокъ силъ, чахотка и преждевременная смерть.

Іоаннъ Дамаскинъ нѣсколько лѣтъ испытывалъ здоровое сомнѣніе, систематическимъ отрицаніемъ провѣряя истины вѣры. Но когда онъ путемъ провѣрки, вплоть до мельчайшихъ квадратныхъ корней, убѣдился въ правильности результата, онъ увѣровалъ. И съ тѣхъ поръ ни страхъ передъ людьми, ни соображенія выгоды, ни презрѣніе, ни угрозы не могли побудить его отречься отъ дорого добытой вѣры.

И въ этомъ онъ былъ правъ.

Пѣснь пильщиковъ.

Во время странствованія Дамаскинъ очутился у пильной мельницы, у которой одно верхобойное колесо вертѣлось впустую. Но вдали на берегу маленькой рѣчки сидѣли два человѣка и пилили пилой стальной ободъ. Работа сопровождалась пѣніемъ въ два голоса въ прозѣ, похожимъ на полу-пьяную брань.

— О чемъ вы поете?—спросилъ Дамаскинъ.

— О вѣрѣ и знаніи,—отвѣтилъ одинъ.

И они снова затянули:

— Что я знаю, въ то я вѣрю; слѣдовательно, знаніе *ниже* вѣры, а вѣра выше его.

— Что же ты знаешь? То, что ты видѣлъ своимъ глазомъ!

— Мой глазъ самъ по себѣ ничего не видитъ; если ты его вынешь и положишь въ сторону, то онъ ничего не будетъ видѣть. Слѣдовательно, видитъ мое внутреннее око.

— Но могу ли я видѣть твое внутреннее око?

— Его нельзя видѣть! Но тѣмъ, чего нельзя видѣть, ты видишь. Слѣдовательно, ты обязанъ вѣрить въ невидимое!

— Да, конечно... да, конечно... но... но... но... Бога ты видѣлъ?

— Да, моимъ внутреннимъ окомъ! И потому я въ него вѣрю. Но для того, чтобы я въ него вѣрилъ, нѣтъ надобности, чтобы ты его видѣлъ!

— Все таки знаніе выше всего.

— Конечно, только вѣра наивыше всего.

— Знаешь ли ты то, во что вѣришь?

— Да, хотя ты этого и не знаешь.

— Докажи это!

— Двумя согласными между собой свидѣтелями? Я въ одномъ здѣшнемъ мѣстѣ соберу тебѣ ихъ два милліона. Для тебя это должно быть полнымъ доказательствомъ.

— Но... но... но...

И такъ далѣе.

Чудо луговыхъ дергачей.

Въ одинъ лѣтній вечеръ учитель проходилъ съ Іоанномъ по клеверным полямъ. Вдругъ они услышали звукъ, похожій на кряканье.

— Что это?—спросилъ учитель.

— Луговой дергачъ, конечно.

— Видѣлъ ты когда-нибудь дергачей?

— Нѣтъ.

— Знаешь ты какого нибудь человѣка, который ихъ видѣлъ?

— Нѣтъ.

— Почему же ты знаешь, что это дергачъ?

— Всѣ говорятъ!

— Вотъ видишь! А если я брошу камень, взлетитъ дергачъ вверхъ?

— Нѣтъ, потому что онъ летать не умѣетъ, или очень плохо летаетъ.

— А между тѣмъ онъ каждую осень улетаетъ въ Италію. Какъ же это происходитъ?

— Этого я не знаю.

— Что говорятъ зоологи?

— Ничего.

— Думаютъ ли они, что дергачи перелетаютъ черезъ Эрезундъ, перебѣгаютъ черезъ Германію или пробираются черезъ Альпы и С.-Готтардскій туннель?

— Они ничего объ этомъ не говорятъ.

— Брэмъ считаетъ пару лиственницъ на каждый моргъ полей и луговъ; если мы будемъ считать пару дергачей на каждый гектаръ, то въ нашей странѣ ихъ окажется — весною—пять милліоновъ. Итакъ, если самки будутъ класть за лѣто по 7—12 яицъ, то къ осени у насъ окажется 35 милліоновъ дергачей. Можно ли было бы не замѣтить ихъ, когда они стали бы перелетать черезъ Эрезундъ?

— Не могу этого объяснить!

— Плохо летающій не перелетитъ черезъ Эрезундъ. Но, быть можетъ, они обѣгаютъ вокругъ Ботническаго залива?

— Нѣтъ, — потому что тогда имъ пришлось бы переходить вбродъ нѣсколько рѣкъ, и вереницу нельзя было бы не замѣтить, какъ замѣчаютъ вереницу леммминговъ [1]). Наконецъ,—въ Англіи къ осени должно оказаться 70 милліоновъ дергачей, а изъ Англіи имъ не пробраться сухимъ путемъ.

— Слѣдовательно, тутъ чудо?

— Что такое чудо?

— То, чего невозможно объяснить, но отрицать нѣтъ права.

— Въ такомъ случаѣ, перелетъ дергачей—чудо, которое либо совершается по неизвѣстнымъ законамъ, либо сверхъестественно.

Учитель сказалъ:

— „Пчела—созданье малое, а приноситъ безмѣрно сладкій плодъ“. Дергачъ птица небольшая, а поучаетъ насъ

---

[1]) Леммингъ —норвежская полевая мышь.

тому, что и повседневнѣйшія явленія природы не всѣ могутъ быть объяснены извѣстными намъ законами природы и, слѣдовательно, должны еще считаться сверхъестественными и приниматься на вѣру.

Ты никогда не видѣлъ дергачей на поляхъ или лугахъ, но вѣришь, что онъ живетъ на нихъ. А приди теперь охотникъ, застрѣлившій птицу, ты твердо убѣдился бы, что птица эта водится въ этой странѣ. И даже тогда, если охотникъ лжецъ.

Но осенняго перелета дергачей это не объясняетъ,—того, что милліоны безкрылыхъ птицъ не могутъ ни перелетѣть черезъ широкія воды, ни пробраться черезъ альпійскіе глетчеры.

Такъ какъ это не можетъ быть объяснено естественнымъ путемъ, то оно сверхъестественно. А этимъ мы подтверждаемъ, что вѣримъ порою въ сверхъестественное или въ чудо.

Реализующіеся призраки.

— Можно ли видѣть призракъ?—спросилъ учитель.

— Что такое призракъ?

— Есть же въ оптикѣ реальныя или дѣйствительныя изображенія, которыя могутъ быть перенесены на экранъ. Изображеніе плоскаго зеркала не можетъ быть перенесено на экранъ и потому оно мнимое, — или призракъ. Можешь ли ты видѣть свое изображеніе въ плоскомъ зеркалѣ?

— Конечно!

— Значитъ, ты можешь видѣть призракъ, или изображеніе недѣйствительное. Слѣдовательно, глазъ — отличный инструментъ, превращающій нереальное въ реальное. А слѣдовательно, можетъ явиться искушеніе — повѣрить въ привидѣнія.

— Что такое привидѣнія?

— Это и есть призраки или недѣйствительныя изображенія, которыя глазъ можетъ схватить на извѣстномъ разстояніи. Люди великіе, достойные довѣрія, — какъ напр., Лютеръ, Сведенборгъ, Гете,—видѣли привидѣнія.

— Гете?

— Да, въ одиннадцатой книгѣ „Изъ моей жизни" онъ разсказываетъ, какъ однажды увидѣлъ самого себя идущимъ по большой дорогѣ себѣ навстрѣчу. „Видѣлъ я это не тѣлесными глазами, а духовными", прибавляетъ онъ. Считаешь ты Гете достойнымъ довѣрія?

— Конечно?

— Ну, подобныя вещи не каждый день увидишь, какъ

не каждый день увидишь удода. Но это еще не даетъ права подвергать это сомнѣнію.

— Какъ возникаетъ изображеніе въ плоскомъ зеркалѣ?

— Этого я не знаю! Книга проводитъ нѣсколько линій и говоритъ: а+в+с, но это не объясненіе. Развѣ для простецовъ, которымъ можно что угодно вбить въ голову.

„Кря-Кря!“

— Что такое случай?—спросилъ ученикъ.

— Это будто бы нѣчто случайное, неправильное, нелогичное въ разыгрывающемся событіи. Но этимъ словомъ такъ часто злоупотребляютъ тѣ, кто видятъ и не понимаютъ. Вѣдь если тебя послѣ дурного поступка регулярно преслѣдуетъ неудача,—это уже не случай. Во-первыхъ, потому, что неудача является регулярно, а случай нерегуляренъ. Во-вторыхъ, потому, что за дурнымъ поступкомъ наказаніе логически слѣдуетъ, а случай нелогиченъ. Слѣдовательно, это что-то другое.

— Да, это должно быть такъ! Но какъ же тогда, когда меня во всѣхъ моихъ предпріятіяхъ преслѣдуетъ несчастье? На улицахъ я встрѣчаю только враговъ; во всѣхъ лавкахъ меня обманываютъ; на рынкѣ я получаю наихудшую провизію; въ газетахъ читаю одни злодѣйства; пріятныя письма до меня не доходятъ, хотя на почту сдаются; на поѣзда опаздываю; подъ самымъ носомъ у меня перехватываютъ послѣдняго извозчика; въ гостиницѣ мнѣ достается единственный номеръ, въ которомъ совершено было самоубійство; не застаю дома того, кого спеціально поѣхалъ повидать, деньги у меня вырываютъ изъ самыхъ рукъ; застрѣваю въ чужомъ городѣ, изъ котораго выѣхали всѣ мои знакомые. Когда у меня, наконецъ, ѣсть нечего и я иду къ рѣкѣ топиться, я нахожу на улицѣ марковую монету. Это случаемъ не можетъ быть? Что же это такое?

— Это нѣчто другое, но какъ это происходитъ, мы знать не можемъ, когда мы такъ мало знаемъ о повседневнѣйшихъ явленіяхъ жизни...

— Ахъ, болтовня пустая!

— Кря кря!

— Это дергачъ?

— Да, это онъ!

Батарея и отводъ въ землю.

Ученикъ притворился незнающимъ и спросилъ:

— Что такое религія?

— Если ты этого не знаешь по опыту или по интуиціи, то я тебѣ этого объяснить не могу; тогда это въ твоихъ глазахъ глупость. Но если ты заранѣе это знаешь, то можешь воспринять мои объясненія, которыхъ цѣлый легіонъ. Религія—это соединеніе съ источникомъ тока или съ центральной станціей. Но чтобы возможно было вести разговоръ, нужно еще имѣть отводъ въ землю.

— Что это такое?

— Это отведеніе излишняго земного въ землю. Съ успѣхами техники научаются говорить и безъ проволоки,—но для этого необходимы сильный токъ, чистый матеріалъ и прозрачный воздухъ. Мѣстная батарея называется вѣрой она не только исполнитель но и пріемникъ, и возбудитель тока. Безъ вѣры въ возможность какого-нибудь предпріятія, ты ни за что не можешь взяться,—не получишь, слѣдовательно, энергіи. При наличности вѣры и доброй воли все становится возможнымъ

— Но вѣдь вѣра—благодать?

— Конечно, но если ты изъ высокомѣрія или упорства колеблешься принять ее, то никакой благодати изъ нея не; выйдетъ. Ясно?

Неумѣстные вопросы безъ отвѣта.

— Если Богъ единъ, то почему существуетъ нѣсколько религій?—спросилъ ученикъ.

— Такъ какъ Богъ есть аксіома, то ты долженъ былъ сказать: *такъ какъ* Богъ единъ, то почему существуетъ нѣсколько религій? Отвѣтъ: этого я не знаю! И—строго говоря—это меня и не касается нисколько. Въ главномъ всѣ вѣдь сходятся: что существуетъ единый Богъ и что душа безсмертна.

— Если душа безсмертна, то какъ же могутъ быть люди, которые чувствуютъ свою душу смертной и толкуютъ о своей единичной жизни?

— Быть можетъ, ихъ чувства превратны, какъ у того, который вообразилъ, что у него змѣя въ желудкѣ. Быть можетъ, они совершили психическое самоубійство. Можетъ быть, это съ ихъ стороны шутовство. А можетъ быть, душевный комплексъ ихъ дѣйствительно такъ элементаренъ, что онъ можетъ быть погребенъ и исчезнуть. Если это такъ, то съ ними вѣдь и спорить нельзя, потому что въ отношеніи себя они и правы. Либо это случай ненормальный, либо у нихъ извращенное воспріятіе; не могу рѣшить, что именно. Я желалъ бы отнести этотъ вопросъ къ неразрѣшимымъ, или къ неумѣстнымъ вопросамъ.

Сократъ и его пѣтухъ.

— Какая религія лучшая?—спросилъ ученикъ.

— Религія каждой страны лучшая для жителей этой страны. Не знаю, почему. Но для устойчивости государства большая выгода въ томъ, чтобы исповѣданіе было однородное. Даже самъ Сократъ приносилъ жертвы богамъ государства, хотя онъ придавалъ совершенно другое значеніе какъ богамъ, такъ и жертвамъ. Эту уступку онъ дѣлалъ всеобщему благу, которое онъ ставилъ выше собственнаго блага. Это называютъ гражданской доблестью.

— Вѣрилъ ли онъ, что пѣтухъ, котораго онъ приносилъ въ жертву Эскулапу, можетъ превратиться въ угодный богу ѳиміамъ?

— Онъ вѣрилъ, что принесенное въ жертву животное превратится въ даяніе благочестиваго. Смиреннымъ сердцемъ онъ позналъ, какъ безпомощно дитя человѣческое передъ лицомъ рока и какъ оно правильно поступаетъ, покоряясь.

— Сократъ былъ благочестивый мужъ; зачѣмъ же боги допустили его испить чашу яда?

— Дерзкій,—ты хочешь, чтобы я осмѣлился истолковывать волю боговъ? И все-таки: смерть была для него началомъ новой жизни! Онъ радостно разстался съ жизнью.

— За это онъ и прозванъ мудрѣйшимъ?

— Нѣтъ, а за то, что онъ понялъ, что онъ ничего не знаетъ и потому оставилъ безъ отвѣта самые назойливые и неумѣстные вопросы.

Черезъ вѣру къ знанію.

— Какъ узнать мнѣ, истинно ли я вѣрую?—спросилъ ученикъ.

— Этому я научу тебя. Противопоставь сомнѣніе прямолинейному отрицанію твоего простого здраваго смысла. Стань внѣ своей личности, если у тебя хватитъ для этого силы и стань на точку зрѣнія вѣрующаго. Поступай такъ, какъ если бы ты вѣрилъ и тогда испытывай вѣру, согласуется ли она съ твоимъ опытомъ. Если согласуется,—о, тогда ты обрѣлъ мудрость и ничто не можетъ поколебать твоей вѣры.

Когда въ рукахъ моихъ въ первый разъ очутились „Небесныя тайны“ Сведенборга и я перелистывалъ эти десять тысячъ страницъ,—мнѣ все тамъ показалось безсмыслицей. Все же меня это удивляло,—вѣдь это человѣкъ необычайной учености во всѣхъ естественныхъ наукахъ, въ математикѣ, въ философіи, политической экономіи. И было во всѣхъ

этихъ кажущихся глупостяхъ нѣсколько подробностей, врѣзавшихся мнѣ въ память.

Спустя нѣкоторое время, мнѣ встрѣтилось въ повседневной жизни кое что необъяснимое,—и получило оно надлежащее озареніе отъ одного событія, которое Сведенборъ относитъ къ такъ называемому имъ небу и такъ называемымъ ангеламъ. Тогда я началъ изслѣдовать и сравнивать, производить опыты и отыкивать рѣшенія. Я пришелъ къ тому заключенію, что Сведенборгъ переживалъ нѣчто такое, что походитъ на событія земной жизни, но не тождественно имъ. Это онъ излагаетъ въ своей теоріи согласованій. Теософы опредѣлили ее такъ: мы живемъ двойною жизнью,—астральной параллельно съ земной, — но только безсознательно.

Заколдованная комната.

Охваченный любопытствомъ, ученикъ спросилъ:

— Какъ открылись у тебя глаза на Сведенборга?

— Это очень трудно сказать, но я попытаюсь. Была въ моемъ одинокомъ жилищѣ одна комната, которую я считалъ самой прекрасной въ мірѣ. Съ самаго начала она не была особенно прекрасна, но въ ней совершилось великое, значительное. Ребенокъ родился въ ней, человѣкъ въ ней умеръ. Со-временемъ я обставилъ ее, обративъ въ храмъ воспоминаній и не показывалъ ее ни одному человѣку.

Но однажды мной овладѣлъ демонъ высокомѣрія и кичливости и я ввелъ въ нее своего гостя. Случайно это оказался „Черный человѣкъ", съ безнадежной, отчаявшейся душой, вѣрившій только въ кулакъ и въ злобу и называвшій себя самого кучей земли.

Когда я вводилъ его, я сказалъ: Ты увидишь сейчасъ самую прекрасную комнату въ странѣ.

Я зажегъ электрическій свѣтъ, лившій, бывало, съ потолка такіе яркіе солнечные лучи, что въ комнатѣ уголка не оставалось темнаго. Человѣкъ стоялъ посреди комнаты, оглядывался вокругъ, что-то бормоталъ и потомъ сказалъ:

— Этого я видѣть не могу!

И когда онъ это сказалъ, потемнѣло въ комнатѣ, сдвинулись стѣны, осѣлъ полъ. Неузнаваемъ сталъ мой свѣтлый храмъ у меня на глазахъ. Онъ показался мнѣ больничной палатой съ цвѣтистыми обоями, гардины въ красивыхъ цвѣтахъ приняли грязный видъ; на доскѣ бѣлаго маленькаго письменнаго стола выступили пятна; позолота почернѣла, мѣдныя дверцы изразцовой печи потускнѣли. Вся комната преобразилась, и мнѣ было стыдно.

Она была заколдована.

Греза юности въ семь кронъ цѣною.

Учитель сказалъ:

Есть люди, которые въ душѣ своей носятъ извѣстную мѣру вещей. Они требуютъ точности и порядка, ищутъ совершенства во всемъ. Ихъ называютъ требовательными, придирчивыми, педантами. Несправедливо бранить ихъ. Кто довольствуется посредственнымъ, тотъ получитъ, въ концѣ концовъ, худшее. Люди даютъ минимумъ того, что могутъ дать,—и все въ жизни несовершенно. Добросовѣстные люди не могутъ быть счастливы, потому что не могутъ понизить своихъ требованій; они кажутся наивными, неспособными понять, что все—не то, за что выдаетъ себя, что ничто на свѣтѣ не отвѣчаетъ представленію о немъ. Кажется, что эти люди родились съ воспоминаніями въ душѣ о такомъ мѣстѣ или такомъ состояніи, въ которомъ жило совершенство.

Учитель продолжалъ:

Когда мнѣ было семь лѣтъ, я часто останавливался, какъ прикованный у витрины музыкальнаго магазина и смотрѣлъ на вывѣшенный въ ней охотничій рогъ. Было что то невыразимо восхитительное въ изломѣ и рисункѣ этихъ линій, въ мѣдной трубѣ съ широкимъ раструбомъ, красиво утончавшейся кверху, заканчиваясь тонкимъ мундштукомъ. Я смотрѣлъ, и мнѣ казалось, я слышу среди темной улицы живые звуки лѣсовъ и полей. Я полюбилъ этотъ инструментъ.

Но когда я узналъ отъ одного мальчика, что онъ стоитъ тридцать кронъ, я спросилъ себя, исполнится ли когда-нибудь въ жизни мое желаніе; чтобы купить его теперь, мнѣ пришлось бы два съ половиной года отказывать себѣ въ завтракѣ. Исполнилось мнѣ, наконецъ, тридцать лѣтъ,—и у меня въ первый разъ въ жизни очутились деньги въ рукахъ. Я купилъ этотъ охотничій рожокъ; онъ стоилъ только семь кронъ—мальчуганъ солгалъ. Но изъ него можно было извлечь только три звука; когда они мнѣ надоѣли, великолѣпный инструментъ былъ отправленъ на чердакъ.

Все же это была осуществившаяся греза юности.

Никому не завидуй.

Учитель сказалъ:

Не завидуй никому! Ребенкомъ я жилъ въ деревнѣ, въ скудныхъ условіяхъ жизни. Жилъ почти въ хижинѣ, ѣлъ изъ глиняной миски, сидѣлъ на деревянной скамьѣ. Но неподалеку отъ насъ былъ замокъ, — настоящій замокъ, съ портретами королей въ вестибюлѣ; это были предки молодого графа. Въ одно прекрасное воскресенье насъ впустили

туда, —сначала во дворецъ, потомъ въ садъ. Это былъ рай. Намъ позволили купаться, рвать вишни — темно-красныя, какъ кровь, желтыя, какъ золото, ярко-красныя, какъ огонь. Графъ смотрѣлъ на насъ, но самъ не ѣлъ; сытъ былъ, вѣроятно. Потомъ мы ушли и рай снова намъ сталъ недоступенъ.

Учитель продолжалъ:

Пятьдесятъ лѣтъ спустя, я видѣлъ портретъ молодого графа и узналъ исторію его жизни. Видъ у него былъ глубоко несчастный, полный отчаянія, словно все ему надоѣло. Онъ испыталъ въ жизни много горькаго горя и даже временно бѣдность. Онъ обанкротился и вынужденъ былъ десять лѣтъ прожить въ одномъ пансіонѣ заграницей на счетъ своихъ кредиторовъ. И даже не одинъ, съ семьей,— съ женой, которая вышла замужъ въ рай, чтобы тотчасъ быть изгнанной изъ него.

Ничего изъ этого человѣка не вышло, ничего онъ не сдѣлалъ, и ни на что теперь не былъ способенъ, жилъ только отъ ѣды до ѣды. Онъ держалъ верховыхъ лошадей и охотничьихъ собакъ, игралъ и раздавалъ деньги, ѣлъ трюфели и пилъ красное вино, но въ сорокъ лѣтъ долженъ былъ бросить все это, такъ какъ пріобрѣлъ красный носъ и боли въ большомъ пальцѣ ноги. О семейныхъ драмахъ его я разсказывать не буду. Теперь онъ снова богатъ, сидитъ въ своемъ замкѣ, но одинокій. Воспитываетъ дѣтей своей домоправительницы, которыя и его дѣти, но имени его носить не могутъ. Ужинаетъ манной кашей и въ половинѣ десятаго укладывается спать. Пользоваться погребомъ онъ не рѣшается,—большой палецъ даетъ себя знать. Единственное его счастье,—вечерняя прогулка, если онъ въ состояніи совершить ее: тогда онъ можетъ ѣсть свою кашу и ночью спитъ. Не завидуй никому!

Сила слова.

Мысль есть дѣйствіе какого нибудь чувства, а слово— сгущенная мысль; потому то мы отвѣтственны и за мысли, и за слова. Высказанное слово можетъ подѣйствовать, какъ колдовскія чары, какъ заклинаніе. Бываютъ люди, до того чуткіе, что чувствуютъ на разстояніи, хорошо или дурно о нихъ говорятъ. Бываютъ люди, не отступающіе передъ преступленіемъ, но содрогающіеся при словѣ, которое его обозначаетъ. Слабые люди не переносятъ сильныхъ словъ, они отъ нихъ заболѣваютъ. Словомъ можно убить.

Если бы я былъ судьей, моимъ первымъ вопросомъ, съ которымъ я обратился бы къ убійцѣ, было бы: что онъ

сказалъ, за что вы его убили? А затѣмъ я нашелъ бы смягчающія обстоятельства или и совсѣмъ оправдалъ бы преступника, если бы оказалось, что смертельный ударъ, какъ рефлективное движеніе, былъ вызванъ убійственнымъ словомъ.

Если я пятьдесятъ лѣтъ хранилъ благоговѣйную память о своихъ родителяхъ, строилъ на своемъ происхожденіи семью, наслѣдство, честь — и вдругъ придетъ человѣкъ и скажетъ мнѣ, что я не сынъ моего отца, — то этотъ человѣкъ меня убилъ. Разрушилъ все зданіе, которое называется жизнью моей души. Убилъ мою энергію и готовность самопожертвованія. Навязалъ мнѣ неимовѣрный трудъ пересозданія моихъ представленій о жизни и людяхъ. Вытравилъ изъ меня жалость и любовь,—словомъ, убилъ наповалъ всю мою жизнь.

Если онъ солгалъ, то онъ просто злодѣй-убійца.

Антропоморфизмъ.

Человѣкъ склоненъ пересоздавать все по своему образу и подобію. Когда язычники дѣлали себѣ боговъ, эти боги всѣми своими недостатками и пороками походили на своихъ творцовъ. Это вѣдь и называютъ антропоморфизмомъ. Когда художникъ пишетъ портретъ, онъ всегда вноситъ въ рисунокъ что нибудь свое собственное.

Я знаю одного скульптора, который всегда заимствуетъ что-нибудь изъ своей коренастой фигуры на слишкомъ короткихъ ногахъ,—лѣпитъ ли онъ горцевъ, фавновъ, ученыхъ или королей. И чѣмъ болѣе самъ онъ становится съ годами похожъ на чурбанъ, тѣмъ болѣе приземисты оказываются его статуи.

Я знаю одного фотографа, который такъ ретушируетъ всѣ мужскіе портреты, что они становятся похожи на него. Должно быть, онъ поклоняется своей наружности, причисляетъ ее къ идеальному типу.

Такъ же поступаетъ критикъ, когда рисуетъ образъ поэта. Все, чѣмъ поэтъ похожъ на него, превращается въ заслугу, все—недостатки, въ чемъ онъ на него не похожъ. И если критикъ говоритъ: „Это лучшій поэтъ, какого я только знаю; читайте его!“—то это значитъ: у этого поэта мои взгляды и вкусы, вы должны ихъ раздѣлять, потому что мои взгляды и вкусы—лучшіе въ мірѣ.

Человѣкъ хотѣлъ бы перестроить міръ и людей по своему образу и подобію. Но если бы каждый могъ осуществить свою волю, какой видъ принялъ бы міръ?

Бѣлые невольники.

Учитель сказалъ:

Отъ самыхъ высшихъ классовъ черезъ всѣ средніе и до самыхъ низовъ—всюду практикуется одно и то же: когда мужчина женится, возростаетъ количество труда, который онъ вынужденъ нести и ни на кого возложить не можетъ, жена же, напротивъ, тотчасъ обзаводится прислугой, которая исполняетъ за нее ея работы. Рождается ребенокъ, она нанимаетъ еще и кормилицу. Сама же она сидитъ безъ всякаго дѣла и старается убивать время всякими ненужными пустяками. Отъ такого образа жизни она не можетъ ни обѣдать съ аппетитомъ, ни ночью уснуть.

Вечеромъ мужъ возвращается домой, ожидая наслажденій домашней семейной жизни, но жена рвется изъ дому, въ театръ, на вечера: вѣдь она ничѣмъ не утомлена, а соскучилась отъ бездѣлья и хочетъ развлеченій. Женщины, повидимому, не рождены для домашней жизни, а для театровъ, ресторановъ и для улицы; вотъ почему женщины вѣчно жалуются, что вынуждены дома сидѣть.

Хотя онѣ и сами держатъ рабынь, исполняющихъ ихъ работу, онѣ называютъ себя рабынями и созываютъ конгрессы, на которыхъ обсуждаютъ вопросы своей эмансипаціи, а не эмансипаціи своей прислуги. А ихъ мужья, обращенные въ рабочій скотъ, поддерживаютъ ихъ, не замѣчая, что рабы—они, ибо кто работаетъ на человѣка празднаго, тотъ рабъ.

Простофили.

Ученикъ спросилъ:

— Что такое женоненавистникъ?

Учитель отвѣтилъ:

— Этого я не знаю. Знаю только, что это выраженіе употребляютъ простофили, какъ бранное слово по адресу тѣхъ, кто высказываетъ вслухъ то, что всѣ думаютъ. Простофили—это тѣ мужчины, которые не могутъ подойти къ женщинѣ безъ того, чтобы не потерять голову и не совершить невѣрности. Они покупаютъ благосклонность женщины тѣмъ, что приподносятъ ей головы своихъ друзей на серебряныхъ блюдахъ. Они вбираютъ въ себя столько женственности, что начинаютъ смотрѣть глазами женщины, чувствовать ея чувствами.

Бываютъ вещи, которыя не каждый день говорятся, и *своей* женѣ не говорятъ того, что думаютъ о ея полѣ; но всякій имѣетъ право написать объ этомъ порой. Всего лучше

писалъ объ этомъ Шопенгауэръ; недурно писалъ и Ницше; но истинный мастеръ былъ Пеладанъ Теккерей написалъ „Mens Wives", но эту книгу замолчали. Бальзакъ разоблачилъ Каролину въ „Физіолоіи брака" и въ „Маленькихъ горестяхъ супружества". Вейнингеръ постигъ обманъ въ двадцатилѣтнемъ возрастѣ, но не сталъ дожидаться отмщенія и пошелъ своей дорогой.

Что дитя—маленькій преступникъ, не умѣющій самъ направить себя, это я говорилъ; но дѣтей я все же люблю. Что женщина есть то, что она есть, я тоже говорилъ, но я всегда любилъ женщину и имѣлъ съ нею дѣтей. Слѣдовательно, тотъ кто назоветъ меня женоненавистникомъ, будетъ глупцомъ, лжецомъ или простофилей. Или тѣмъ, другимъ и третьимъ вмѣстѣ.

Отупѣлые.

Учитель продолжалъ:

Одинъ простофиля написалъ на дняхъ, что женщина правитъ міромъ. Онъ заставилъ наборщиковъ и печатниковъ воспроизвести эту глупость, и редакторъ ничего не имѣлъ противъ этого. Если спросить ихъ: быть можетъ, государствами правятъ правители, министры, парламенты? быть можетъ, иностранная политика, войны, дипломатія, договоры, завоеванія?—что они отвѣтятъ на это?

— Да, разумѣется, но...

Что же именно „но"? Вы разумѣете домашнее хозяйство, кухню, политику спальни, тактику башмака, союзы сплетни? Вотъ къ какимъ вопросамъ мы приходимъ, когда допускаемъ женщину къ общественному дѣлу. Раздоры и лай вынуждены мы читать въ большихъ газетахъ; статьи о Гладстонѣ вмѣсто статей о норвежскомъ вопросѣ. Передовая, долженствовавшая дать критику министерства, начинаетъ съ Кавура, переходитъ къ „Привидѣніямъ" и заканчиваетъ госпожей Сталь. Критическая статья о послѣдней книгѣ Горькаго начинается съ Жоржъ-Зандъ, переходитъ къ „Перчаткѣ" Бьернсона, затрагиваетъ иностранную политику Гладстона и заканчивается „Обществомъ друзей ручного труда".

Все тупо, глупо, лживо. Падаетъ уровень и понижаются требованія.

Скучно жить.

Августъ Стриндбергъ.

Въ ломбардѣ.

Скучны, безрадостны стуки часовъ,
Каждый изъ нихъ—какъ несытая пьявка.
Старый оцѣнщикъ давно у прилавка
Молча слѣдитъ за движеньемъ вѣсовъ.

Прячетъ глубоко подъ вѣками смѣхъ,
Развѣ онъ сжалится, развѣ повѣритъ?
Сгорбленный, медленный—вѣситъ и мѣритъ,
Пальцами трогаетъ ласковый мѣхъ.

Думаетъ долго. Тоскливо, темно.
Полъ неопрятный, холодный и гадкій.
Лица отмѣчены сумрачной складкой,
Всѣ—какъ у труповъ, и всѣ—какъ одно.

Скользкая осень сквозь стекла глядитъ,
Маршъ похоронный дождемъ барабанитъ.
Старый оцѣнщикъ себя не обманетъ,
Взглядомъ, какъ жрецъ, за вѣсами слѣдитъ.

Плавенъ пробѣгъ—отъ черты до черты—
Чашъ необманныхъ, изъ мѣди отлитыхъ.
Въ той—безпримѣсное золото сытыхъ,
Въ этой—обиды и скорбь нищеты.

Золото ль сытыхъ, лохмотья ли тѣхъ—
Что полновѣснѣе, что перетянетъ?
Старый какъ будто работою занятъ,
Спряталъ глубоко подъ вѣками смѣхъ.

Будто не знаетъ, что скоро, сейчасъ
Скорбная чаша опустится низко.
Будто не вѣритъ. Но вечеръ ужъ близко.
Будетъ. До завтра. Довольно же съ васъ.

Гаснетъ стихающій гулъ голосовъ.
Старый усталъ на посту у прилавка.
Будетъ же, будетъ. Послѣдняя ставка—
Тихо склоняется чаша вѣсовъ.

Евг. Тарасовъ.

Taedium Vitae.

Повѣсть **Германа Гессе.**

Переводъ Н. Самойловой.

Первый вечеръ.

Теперь начало декабря. Зима медлитъ еще. Воетъ вьюга, и уже нѣсколь дней падаетъ мягкій торопливый дождь. Время отъ времени ему самому становится скучно. И онъ превращается на часокъ въ мокрый снѣгъ. Дороги непроходимыя, день короткій.

Мой домъ стоитъ одиноко посреди открытаго поля, окруженный завываніями восточнаго вѣтра, дождливыми сумерками, плескомъ воды, потемнѣвшимъ мокрымъ садомъ и залитыми непроходимыми сельскими дорогами. Никто не приходитъ, никто не уходитъ, міръ закатился гдѣ-то въ туманной дали. Все обстоитъ такъ, какъ я когда-то часто мечталъ: одиночество, совершеннѣйшая тишина, ни людей, ни звѣрей, я одинъ въ своемъ кабинетѣ, въ каминѣ котораго жалобно плачетъ вьюга, а въ стекла оконъ—хлещетъ дождь.

Вотъ какъ проходятъ дни: встаю я поздно, пью молоко, развожу огонь въ каминѣ. Затѣмъ я усаживаюсь въ кабинетѣ среди трехъ тысячъ книгъ, изъ которыхъ я по очереди читаю двѣ. Одна изъ нихъ наводящая ужасъ „Мистическая наука“ Блаватской. Вторая—романъ Бальзака. Иногда я подымаюсь, чтобы достать сигары изъ ящика, и два раза меня отрываетъ ѣда. „Мистическая наука“ становится все объемистѣе, я никогда не кончу ее и она сойдетъ со мной въ могилу. Бальзакъ становится все тоньше, уменьшается ежедневно, хотя я немного времени отдаю ему.

Когда у меня болятъ глаза, я сажусь въ кресло и смотрю какъ на стѣнкахъ, покрытыхъ книгами, медленно замираетъ скудный денный свѣтъ и наконецъ исчезаетъ совсѣмъ. Или же я становлюсь передъ стѣной и смотрю на корешки книгъ. Онѣ мои друзья, онѣ остались со мной и здѣсь пе-

реживутъ меня. И хотя мое чувство къ нимъ какъ будто исчезаетъ—я все же долженъ цѣнить ихъ, потому что у меня не осталось ничего иного. Я гляжу на нихъ, на этихъ нѣмыхъ друзей, насильно оставшихся вѣрными мнѣ, и вспоминаю ихъ судьбы.

Вотъ въ роскошномъ греческомъ переплетѣ какой-то философъ. Я не могу читать этой книги, я уже давно забылъ греческій языкъ. Я купилъ ее въ Венеціи, потому что она дешево продавалась и еще потому, что антикваръ былъ убѣжденъ, что я свободно читаю по-гречески. Купилъ я ее потому, что мнѣ было неловко и тащилъ ее съ собою по всему свѣту, въ ящикахъ и чемоданахъ, тщательно укладывалъ и вынималъ ее, пока наконецъ не привезъ сюда, гдѣ я теперь самъ прочно расположился, и гдѣ и она нашла наконецъ свое мѣсто.

Проходитъ день, проходитъ вечеръ при свѣтѣ лампы за книгами, сигарами, до десяти часовъ. Затѣмъ я ложусь въ холодной сосѣдней комнатѣ въ свою кровать, самъ не зная зачѣмъ, потому что сплю я очень мало. Предо мной расплывается въ блѣдномъ свѣтѣ ночи четырехугольникъ окна, бѣлый умывальникъ, бѣлая картина надъ кроватью, я слышу грохотъ вьюги подъ крышею и у оконъ, слышу стоны деревьевъ, плачъ усталаго дождя, собственное дыханіе и тихіе удары сердца. Я раскрываю глаза и снова закрываю ихъ; я силюсь думать о книгахъ, которыя я читаю, но мнѣ это не удается. Вмѣсто того я думаю о другихъ ночахъ, о десяткахъ минувшихъ ночей, когда, какъ и теперь, я лежалъ, и бѣлое окно мерцало, и тихіе удары моего сердца считали блѣдные бездушные часы. Такъ проходятъ мои ночи.

Въ нихъ также нѣтъ смысла, какъ нѣтъ смысла въ дняхъ, но онѣ все же проходятъ и въ этомъ ихъ назначеніе. Онѣ придутъ и уйдутъ, пока снова обрѣтутъ какой-нибудь смыслъ или пока онѣ найдутъ конецъ, и я не смогу болѣе считать ударовъ своего сердца. А затѣмъ гробъ, могила... Смерть, быть можетъ, наступитъ въ ясный глубокій сентябрскій день, быть можетъ во время вьюги, снѣга и вѣтра или же въ прекрасную пору, когда цвѣтетъ сирень.

И все же не всѣ мои часы таковы. Одинъ часъ, полчаса изъ ста все-таки иной. Тогда я вспоминаю внезапно то, о чемъ я въ сущности хочу всегда думать, и что книги, вѣтеръ, дождь и блѣдная ночь заслоняютъ и отнимаютъ у меня. Тогда я думаю: Почему это такъ? Почему Богъ оставилъ тебя? Отчего твоя молодость ушла отъ тебя? Отчего ты мертвъ?

Это мои лучшіе часы. Тогда исчезаетъ гнетущій туманъ, терпѣніе и равнодушіе уходятъ, я просыпаюсь и смотрю

въ отвратительную пустынность и снова могу чувствовать. Я чувствую вокругъ себя одиночество, какъ застывшее озеро, я чувствую позоръ и безуміе этой жизни, я чувствую злобную пламенность боли о потерянной юности.

Это—мука, но все же эта боль, этотъ стыдъ, эта обида,—все-таки жизнь, мысль, сознаніе.

Отчего Богъ оставилъ тебя?

Что стало съ юностью твоею? Я не знаю этого и никогда не додумаюсь. Но все же это—вопрошаніе, протестъ: уже не смерть.

И вмѣсто отвѣта, котораго я не дождусь никогда,—я нахожу новые вопросы, напримѣръ: какъ давно это было? Когда въ послѣдній разъ ты былъ молодъ?

Я начинаю думать и застывшее воспоминаніе медленно входитъ въ русло, движется, раскрываетъ неувѣренно глаза и неожиданно открываетъ свои ясные образы, дремавшіе нетронутыми подъ покровомъ смерти.

Сначала мнѣ кажется, будто эти картины чрезвычайно стары, что имъ по крайней мѣрѣ десять лѣтъ. Но онѣмѣвшее чувство времени явственно крѣпнетъ и растетъ, развертываетъ забытый масштабъ, мѣритъ и киваетъ головой. Я узнаю, что все лежитъ гораздо ближе и теперь заснувшее чувство самосознанія подымаетъ свои надменные глаза и утвердительно и дерзко киваетъ въ отвѣтъ на самыя невѣроятныя вещи. Оно идетъ отъ картины къ картины и говоритъ: „Да, это былъ я“,—и тогда каждая картина немедленно выдвигается изъ своей спокойной прохладной созерцательности и становится частью жизни, частью моей жизни. Само сознаніе волшебная вешь, весело ощущать его и все же жутко. Въ каждомъ живетъ оно, и все-таки можно обойтись безъ него и часто такъ поступаютъ люди, если не всегда. Оно прекрасно потому, что уничтожаетъ время, и оно дурно потому, что отрицаетъ движеніе.

Проснувшіяся мечты наростаютъ. Я помню, я ясно помню, что однажды вечеромъ я былъ полнымъ господиномъ своей юности, и что все это было лишь годъ тому назадъ. Это было слишкомъ незначительное происшествіе, слишкомъ маленькое, для того, чтобы создать ту тѣнь, въ которой я уже такъ долго живу безъ просвѣта. Но все же это было событіе, и такъ какъ недѣли—мѣсяца—я жилъ безъ всякихъ событій, оно кажется мнѣ чудеснымъ, оно кажется мнѣ маленькимъ раемъ и становится важнѣе, чѣмъ въ дѣйствительности. Но мнѣ мила эта значительность, и я чувствую въ душѣ безконечную благодарность.

Для меня наступилъ благодатный часъ. Ряды книгъ, комната, каминъ, дождь, спальня, одиночество—все распла-

вляется, таетъ и исчезаетъ. Я на часъ чувствую свободу всего существа своего—это произошло годъ тому назадъ, въ концѣ ноября. Погода стояла такая, какъ и сейчасъ, но было весело и во всемъ былъ смыслъ. Шелъ дождь, но онъ падалъ мелодично, прекрасно, и я слушалъ не за письменномъ столомъ. Я ходилъ въ пальто и мягкихъ башмакахъ по городу и любовался имъ. И такъ же, какъ и дождь, была моя поступь и мои движенія и мое дыханіе, не механическими, а прекрасными, свободными, полными смысла. И дни не проходили мертворожденными, они были ритмичны, съ повышеніями и пониженіями, и ночи были до смѣшного короткія и ободряющія,—маленькій отдыхъ между двумя днями,—и только часы считали ихъ срокъ. Прекрасно такъ проводить свои ночи, по доброй волѣ расточать третью часть своей жизни, вмѣсто того, чтобы лежать и считать минуты, лишенныя цѣнности и значенія.

Это было въ Мюнхенѣ. Я поѣхалъ туда по дѣлу, которое закончилъ потомъ письменно Тамъ я встрѣтилъ такую массу пріятелей и пережилъ такъ много прекраснаго, что забылъ о дѣлѣ Одинъ вечеръ я сидѣлъ въ чудесномъ, прекрасно освѣщенномъ залѣ и слушалъ какъ маленькій широкоплечій французъ, по имени Ламонъ, игралъ пьесы Бетховена. Свѣтъ заливалъ залу, прекрасныя платья дамъ радостно сверкали, большіе бѣлые ангелы летали по высокой залѣ, то говоря о страшномъ судѣ, то принося радостную вѣсть... Они изливали наслажденіе изъ рога изобилія и рыдали, рыдали, закрываясь прозрачными нѣжными руками.

Одно утро, послѣ шумной ночи, проведенной съ друзьями, я проѣхалъ по англійскому саду и отправился пить кофе къ Аумейстеръ. Одинъ день я былъ всецѣло окруженъ картинами, пейзажами лѣсовъ и полей, морскими берегами и многія изъ нихъ дышали горнымъ воздухомъ и раемъ, словно новое незапятнанное твореніе. По вечерамъ я видѣлъ блескъ витринъ, безконечно прекрасный и опасный для сельскаго жителя, видѣлъ выставленныя книги и гравюры, чаши, полныя чужестранныхъ цвѣтовъ, дорогія сигары, завернутыя въ серебряную бумагу, и дорогія кожаныя издѣлія смѣющагося изящества. Я видѣлъ, какъ зеркалились электрическія лампы на влажныхъ улицахъ и какъ исчезали шлемы старыхъ церковныхъ башенъ въ сумеркахъ тучъ. И время проходило быстро и легко, какъ пустѣетъ стаканъ, каждый глотокъ котораго даетъ удовольствіе. Былъ вечеръ, я сложилъ вещи и намѣревался завтра уѣхать и не жалѣлъ объ этомъ. Я уже радовался поѣздкѣ въ вагонѣ мимо селъ и лѣсовъ и засыпанныхъ снѣгомъ горъ, и самому возвращенію домой.

И въ этотъ вечеръ я былъ приглашенъ въ роскошный новый домъ на Швабинской ул., гдѣ время такъ быстро летѣло за веселой бесѣдой и тонкими явствами. Тамъ были также женщины, но въ общенiи съ ними я стыдливъ и несвободенъ и потому держусь ближе къ мужчинамъ.

Мы пили бѣлое вино изъ высокихъ узкихъ бокаловъ курили хорошiя сигары, и стряхивали золу въ серебряные, изнутри позолоченные сосуды. Мы говорили о городѣ, о деревнѣ, объ охотѣ, театрѣ и о культурѣ, которая, казалось, такой близкой къ намъ. Мы говорили громко и нѣжно, съ огнемъ и иронiей, съ глубиной и остроумiемъ и оживленно смотрѣли другъ другу въ глаза.

Совсѣмъ поздно уже, когда вечеръ почти окончился и разговоръ мужчинъ коснулся политики, которую я плохо знаю,—я взглянулъ на приглашенныхъ дамъ. Ихъ занимали нѣсколько художниковъ и скульпторовъ, скромно одѣтые, но отличавшiеся такимъ изяществомъ, что вмѣсто состраданья внушали уваженiе. Они также привѣтливо встрѣтили меня, ободривъ этимъ меня—сельскаго жителя, и я вскорѣ сбросилъ свою робость и почувствовалъ себя свободно и хорошо. Я сталъ бросать любопытные взгляды на молодыхъ дамъ.

Между ними я замѣтилъ одну совсѣмъ молоденькую. Ей было должно быть не болѣе девятнадцати лѣтъ, свѣтлорусые дѣтскiе волосы окаймляли голубоглазое, какъ будто сказочное лицо.

Она была въ свѣтломъ платьѣ съ голубыми оборками и сидѣла въ креслѣ довольная и внимательная. Какъ только я увидѣлъ ее,—меня осѣнила ея звѣзда и я сердцемъ понялъ ея нѣжный образъ и невинную задушевную красоту и услыхалъ мелодiю, которая какъ будто вѣяла надъ ней. Тихая радость и растроганность сдѣлали удары моего сердца свободными и быстрыми. Я съ удовольствiемъ заговорилъ бы съ ней, но я не зналъ, что сказать ей. Сама она говорила мало, только улыбалась, склоняла головку и отвѣчала пѣвучимъ легкимъ нѣжнымъ голосомъ. На кисть ея руки спадала кружевная манжетка и рука со своими нѣжными пальцами выглядѣла дѣтской и одухотворенной. Ножка въ высокомъ желтомъ башмакѣ по формѣ и величинѣ гармонировала, какъ и руки, со всей ея фигурой.

— Дитя, — подумалъ я и взглянулъ на нее,—рѣдкая птичка! Счастливъ я, что увидѣлъ тебя въ моментъ своей весны.

Тамъ были еще другiя женщины, болѣе блестящiя и соблазнительныя въ зрѣлой красѣ своей, умныя, съ проницательными глазами, но ни одна изъ нихъ не обладала такимъ ароматомъ, ни одну не обвѣивала такая нѣжная музыка. Онѣ

смѣялись, и говорили, и сражались взглядами теплыхъ и свѣтлыхъ глазъ. Онѣ благосклонно вовлекали и меня въ свою бесѣду, шутили и смѣялись со мной, но я отвѣчалъ какъ во снѣ и весь оставался близъ свѣтловолосой дѣвушки, чтобы воспріять въ сердцѣ своемъ ея образъ и не утратить аромата ея существа изъ своей души.

Я не замѣтилъ, какъ прошло время. Всѣ внезапно поднялись, заволновались, засуетились, стали прощаться. И я быстро поднялся и послѣдовалъ ихъ примѣру. Мы одѣли пальто и накидки и уже на улицѣ я услыхалъ, какъ одинъ изъ художниковъ сказалъ моей красавицѣ: „могу я васъ проводить"?—И она отвѣтила: „да, но это большой кругъ для васъ. Я могу поѣхать на извозчикѣ".

Тогда я быстро подошелъ къ ней и сказалъ:

— Позвольте мнѣ пойти съ вами, намъ по пути.

Она улыбнулась и сказала:

— Хорошо. Благодарю васъ.—Художникъ вѣжливо поклонился, съ удивленіемъ взглянулъ на меня и ушелъ.

Я шелъ возлѣ милой дѣвушки вдоль ночной улицы. На углу стоялъ запоздалый извозчикъ и фонари его устало глядѣли на насъ. Она сказала: „Не лучше ли мнѣ взять извозчика? Это вѣдь полчаса ходьбы отсюда". Но я упросилъ ее не дѣлать этого. Тогда она вдругъ спросила: „Откуда вы знаете, гдѣ я живу?".

— Не все ли равно,—возразилъ я.—Впрочемъ я совершенно не знаю, гдѣ вы живете.

— Но вѣдь вы сказали, что намъ по дорогѣ?

— Я все равно пошелъ бы погулять полчаса.

Мы взглянули на небо, оно прояснилось, множество звѣздъ сіяло на немъ, и по тихимъ, просторнымъ улицамъ проносился свѣжій вѣтеръ.

Сначала я очень смушался, потому что совсѣмъ не зналъ, о чемъ заговорить съ ней. Но она шла бодрая и спокойная, съ удовольствіемъ вдыхала свѣжій ночной воздухъ и только изрѣдка бросала какую нибудь фразу, предлагала вопросъ на который я немедленно отвѣчалъ. Тогда и я сталъ спокоенъ и пересталъ смущаться, и мы покойно бесѣдовали въ ритмъ нашихъ шаговъ, но я теперь не помню ничего изъ того, о чемъ мы говорили.

Но я помню, какъ звучалъ ея голосъ: звучалъ онъ чисто и легко, какъ пѣсня птицы и все же тепло; а смѣхъ—увѣренно и спокойно.

Ритмъ ея шаговъ передавался мнѣ и никогда не шелъ я такъ легко и весело, а сонный городъ со своими дворцами, арками, садами и памятниками скользилъ мимо насъ, точно тѣнь.

Намъ навстрѣчу шелъ неувѣренными шагами старый человѣкъ въ плохомъ платьѣ. Онъ хотѣлъ пропустить насъ, но мы не приняли его любезности, посторонились и дали ему дорогу. Онъ медленно обернулся и поглядѣлъ намъ вслѣдъ.

— Да, смотри, смотри,—сказалъ я и свѣтловолосая дѣвушка весело засмѣялась.

Съ высокихъ башенъ раздавались удары часовъ.

Въ свѣжемъ зимнемъ воздухѣ они весело и ликующе взлетали надъ городомъ, и далеко въ воздухѣ смѣшивались въ замирающій гулъ.

Экипажъ проѣхалъ черезъ площадь, удары копытъ стучали, по мостовой шума колесъ не было слышно, они были обиты резиновыми шинами.

Возлѣ меня шла бодро и весело молодая прекрасная дѣвушка, музыка ея существа охватила меня, мое сердце стучало въ ритмѣ ея сердца, мои глаза видѣли то, что видѣла она. Она не знала меня и я не зналъ ея имени, но мы оба были молоды и беззаботны, мы два товарища, какъ двѣ звѣзды, какъ два облака, плывущія однимъ путемъ, дышащіе тѣмъ же воздухомъ, чувствующія себя довольными безъ словъ и безъ желаній. Сердцу моему стало снова девятнадцать лѣтъ и нетронуто было оно.

Мнѣ казалось, что мы оба должны безъ устали и безъ цѣли продолжать свое путешествіе. Мнѣ казалось, что мы уже безгранично долго ходимъ другъ возлѣ друга и что никогда не долженъ наступить конецъ. Время потухло, хотя и раздавался бой часовъ.

Вдругъ она неожиданно остановилась, улыбнулась, протянула мнѣ руку и исчезла въ воротахъ.

Второй вечеръ.

Я читалъ полдня и глаза мои болятъ, хотя я не знаю даже—зачѣмъ я такъ напрягалъ ихъ. Но долженъ же я какимъ-нибудь образомъ убить время. Теперь наступилъ вечеръ и, когда я перечитываю то, что я писалъ вчера—предо мной снова встаетъ минувшее время, блѣдное и далекое, но я узнаю его. Я вижу дни и недѣли, происшествія и желанья, мечты и переживанья, красиво сгруппированныя въ стройной послѣдовательности настоящей жизни, содержательной и ритмичной, съ интересами и цѣлями, и съ чудеснымъ правомъ на существованіе—на естественную здоровую жизнь,—все то, что ушло отъ меня съ тѣхъ поръ.

Итакъ я на другой день, послѣ прекрасной вечерней прогулки съ незнакомой дѣвушкой, уѣхалъ къ себѣ домой.

Я былъ почти единственнымъ пассажиромъ въ вагонѣ. Меня веселила быстрая ѣзда курьерскаго поѣзда, далекія Альпы, которые виднѣлись отчетливо нѣкоторое время. Въ Кемптенѣ я закусилъ у буфета, бесѣдовалъ съ кондукторомъ, купилъ ему сигару. Затѣмъ небо нахмурилось, и Боденское озеро простиралось сѣрое и широкое, точно море, въ туманѣ и легкихъ снѣжинкахъ.

Дома, въ той же комнатѣ, въ которой я сейчасъ сижу, я затопилъ каминъ и усердно взялся за работу.

Письма и книги, которыя я получалъ, давали мнѣ работу; разъ въ недѣлю я ѣздилъ въ сосѣдній городъ, дѣлалъ нѣсколько покупокъ, выпивалъ стаканъ вина и успѣвалъ сыграть партію на билліардѣ...

Но постепенно я сталъ замѣчать, что веселость и жизнерадостность, еще такъ недавно наполнявшія меня, были на исходѣ и хотѣли уйти отъ меня, благодаря какой то маленькой глупой трещинѣ и что я постепенно впадалъ въ чуждое мнѣ настроеніе, менѣе мечтательное и ясное. Сначала я думалъ, что я простудился и поѣхалъ въ городъ принять паровую ванну, которая однако не помогла мнѣ. Я вскорѣ понялъ, что эта необычная болѣзнь. Я сталъ теперь противъ своей воли или вѣрнѣе безсознательно думать о Мюнхенѣ, словно я потерялъ что то важное въ этомъ миломъ городѣ. И постепенно эта мысль стала облекаться въ образъ, въ стройный и нѣжный образъ моей свѣтлорусой красавицы. Я почувствовалъ, что ея образъ и радостныя вечернія проводы жили не только однимъ пріятнымъ воспоминаніемъ въ моей душѣ, но что все это стало частью моего я, частью моего больного и страдающаго существа.

Уже тихонько подходила весна, когда мое чувство назрѣло, больно жгло, и я не могъ болѣе не замѣчать его. Я понялъ, что мнѣ нужно повидаться съ милой дѣвушкой прежде, чѣмъ подумать о чемъ-нибудь другомъ, и если все удастся,—мнѣ придется бросить свою тихую жизнь и направить свой челнъ въ волны водоворота. И хотя до этого времени я намѣревался идти одинъ своей дорогой, какъ непричастный жизни зритель, теперь я вдругъ почувствовалъ серьезную потребность измѣниться.

И тогда, добросовѣстно обдумавъ все, я пришелъ къ заключенію, что я имѣю полное право сдѣлать предложеніе этой дѣвушкѣ. Я былъ немного старше тридцати лѣтъ, здоровъ, у меня добрый характеръ и я обладалъ достаточными средствами, чтобы женщина не очень избалованная могла быть со мной вполнѣ спокойной.

Въ концѣ марта я снова поѣхалъ въ Мюнхенъ и на этотъ разъ я многое обдумалъ во время моего путешествія

въ вагонѣ. Прежде всего я намѣревался ближе познакомиться съ этой дѣвушкой и допускалъ возможность, что тогда, быть можетъ, моя потребность окажется менѣе сильной и мнѣ удастся побѣдить себя. Быть можетъ, думалъ я, при свиданіи утихнетъ моя тоска и душевное равновѣсіе само собой возстановится во мнѣ.

Разумѣется, это были безумныя мечтанія неопытнаго человѣка. Я вспоминаю теперь, съ какимъ удовольствіемъ и съ какой хитростью я развивалъ эти мысли во время дороги, въ то время, какъ сердце мое радовалось, что я снова въ Мюнхенѣ и вблизи моей русой красавицы.

Какъ только я вступилъ на знакомую мостовую, ко мнѣ вернулось то отрадное чувство, котораго мнѣ такъ долго не доставало. Въ немъ было мука желаній и скрытое волненіе и все-таки мнѣ давно не было такъ хорошо.

Снова все свѣтило особеннымъ блескомъ, снова радовало меня все, что я видѣлъ: знакомыя улицы, башни, люди въ трамваяхъ со своимъ мѣстнымъ нарѣчіемъ, большія зданія и тихіе памятники. Каждому кондуктору давалъ я на чай; соблазненный роскошной витриной, я купилъ изящный зонтикъ, позволилъ себѣ пріобрѣсти дорогія сигары, не соотвѣтствующія моему положенію, и чувствовалъ въ душѣ своей необычайную предпріимчивость. За два дня и узналъ кое что о моей милой, приблизительно то, что я зналъ и раньше. Она была сирота, изъ хорошаго дома. Она была бѣдна. Училась въ художественномъ училищѣ. и находилась въ далекомъ родствѣ съ моими знакомыми, у которыхъ я впервые встрѣтилъ ее.

И у нихъ я увидѣлъ ее снова.

Вечеромъ собрались гости, почти всѣ прежнія лица. Они узнали меня и привѣтливо здоровались со мной. Но я былъ очень смущенъ и взволнованъ, пока наконецъ не пришла она, вмѣстѣ съ другими гостями, и тогда мнѣ стало покойно, а когда она узнала меня и улыбнулась и сейчасъ же напомнила мнѣ о томъ вечерѣ зимой, я снова почувствовалъ въ себѣ вѣру въ жизнь и сталъ такъ говорить съ ней и такъ смотрѣть въ ея глаза, будто съ тѣхъ поръ время не двигалось и насъ все еще обвѣваетъ вѣтеръ зимней ночи. Однако у насъ не нашлось о чемъ бесѣдовать, она только спросила меня, какъ я поживаю, все ли время прожилъ я въ деревнѣ. Затѣмъ она помолчала нѣсколько мгновеній, съ улыбкой посмотрѣла на меня и подошла къ своимъ друзьямъ и я могъ теперь въ нѣкоторомъ отдаленіи любоваться ею. Мнѣ показалась, что она немного измѣнилась, но я не зналъ—въ чемъ и только послѣ уже, когда она отошла и я сравнилъ оба образа ея,—

я нашелъ, что она иначе причесана и что ея щеки немного пополнѣли. Я безмолвно смотрѣлъ на нее и испытывалъ прежнее чувство радости и изумленія, что существуетъ въ мірѣ столь прекрасное и чудесно юное существо и что мнѣ дозволено встрѣтить эту весну и глядѣть въ ея глаза.

За ужиномъ и потомъ за бокаломъ вина меня втянули въ разговоры мужчинъ и, хотя рѣчь касалась другихъ предметовъ, чѣмъ въ прошлое мое пребываніе, мнѣ все же разговоръ показался чѣмъ-то въ родѣ продолженія прежней бесѣды и я замѣтилъ съ нѣкоторымъ удовлетвореніемъ, что у этихъ избалованныхъ и оживленныхъ людей имѣется также свой кругъ, въ которомъ движется ихъ жизнь и ихъ души, и что, несмотря на разнообразіе и перемѣны, кругъ этотъ и здѣсь неумолимъ и сравнительно тѣсенъ. И хотя мнѣ было пріятно въ ихъ обществѣ, я все же почувствовалъ, что въ сущности ничего не потерялъ за время моего долгаго отсутствія и не могъ удержаться отъ представленія, что всѣ эти господа сидятъ еще все съ того вечера здѣсь и продолжаетъ тотъ же разговоръ. Конечно, эта мысль была несправедлива и возникала лишь потому, что теперь мое вниманіе и сочувствіе на этотъ разъ часто уклонялись отъ бесѣды.

Какъ только мнѣ представился удобный моментъ, я зашелъ въ сосѣднюю комнату, гдѣ сидѣли дамы и молодые люди. Я замѣтилъ, что на молодыхъ художниковъ большое вліяніе оказываетъ красота молодой дѣвушки и что они относятся къ ней по товарищески, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ какимъ-то поклоненіемъ Только одинъ изъ художниковъ, портретистъ Цюндль, держался вдалекѣ отъ нея, въ обществѣ болѣе пожилыхъ женщинъ, и смотрѣлъ на насъ, молодыхъ воздыхателей, съ нѣкоторымъ добродушнымъ презрѣніемъ. Онъ небрежно бесѣдовалъ съ красивой черноокой женщиной, о которой мнѣ говорили, какъ о легкомысленной и опасной особѣ.

Но все это я воспринималъ лишь на половину. Меня всецѣло приковывала моя дѣвушка, и я не вмѣшивался въ общую бесѣду. Я чувствовалъ, какъ она жила и двигалась, охваченная очаровательной музыкой, и нѣжная прелесть ея существа, словно ароматъ цвѣтка, обдавала меня сильнымъ, густымъ и сладкимъ благоуханіемъ. И какъ я ни наслаждался, я все же чувствовалъ явственно, что созерцаніе ея не можетъ утолить моей тоски и что теперь въ разлукѣ съ ней мои страданья будутъ еще болѣе мучительными. Мнѣ казалось, что въ образѣ ея граціознаго существа мое собственное счастье, весна моей жизни смотритъ на меня, и что я долженъ взять ихъ потому, что больше они никогда

не придутъ. Это не была жажда поцѣлуевъ и любовныхъ ласкъ, жажда крови, которую не разъ и не одна красивая женщина возбуждала во мнѣ, терзая и волнуя. Это было скорѣе радостная вѣра, что въ этомъ миломъ образѣ я встрѣтилъ свое счастье, что душа ея мнѣ родственна и близка и что мое счастье и ея совпадаютъ. И поэтому я рѣшилъ держаться вблизи отъ нея и въ подходящій моментъ сказать ей о своемъ чувствѣ.

Третій вечеръ.

Хорошее время наступило для меня въ Мюнхенѣ. Я жилъ не далеко отъ англійскаго сада и каждое утро бывалъ въ немъ. Я посѣщалъ часто картинныя галлереи и каждый разъ, когда я встрѣчалъ нѣчто исключительно прекрасное—это было всегда какъ бы сліяніе внѣшнаго міра съ тѣмъ чудеснымъ образомъ, который я хранилъ въ моей душѣ.

Однажды вечеромъ я зашелъ къ букинисту, чтобы отыскать для себя книгъ. Я рылся на пыльныхъ полкахъ и нашелъ роскошное изданіе Геродота въ изящномъ переплетѣ. Покупая книгу, я вступилъ въ бесѣду съ продавцемъ. Это былъ удивительно привѣтливый, тихій и вѣжливый, мужчина, со скромнымъ, но странно просвѣтленнымъ лицомъ. Во всемъ его существѣ чувствовалась мирная, покойная доброжелательность, она свѣтилась въ чертахъ его лица и во всѣхъ его движеніяхъ. Онъ былъ довольно начитанъ и такъ какъ онъ мнѣ очень понравился, я приходилъ еще нѣсколько разъ, чтобы купить у него еще книгъ и побѣсѣдовать съ нимъ. Онъ производилъ на меня, хотя онъ никогда не говорилъ объ этомъ—впечатлѣніе человѣка, забывшаго или побѣдившаго мракъ и бури жизни, человѣка, который живетъ теперь мирной и хорошей жизнью.

Послѣ тѣхъ часовъ, какіе я проводилъ въ городѣ со своими друзьями или въ музеяхъ, я вечеромъ, передъ сномъ, сидѣлъ еще часъ въ своей комнатѣ, и закутавшись въ пледъ, читалъ Геродота или давалъ волю своимъ мечтамъ о прекрасной дѣвушкѣ, которую звали Марія.

При слѣдующемъ свиданіи съ ней мнѣ удалось нѣсколько лучше занять ее; мы разговорились, и я узналъ кое что изъ ея жизни. Она разрѣшила мнѣ проводить ее домой, и мнѣ казалось сновидѣніемъ, что я снова иду съ ней этой же дорогой по тихимъ улицамъ. Я сказалъ ей, что часто думалъ объ этой дорогѣ и мечталъ еще разъ пройти ее. Она весело засмѣялась и предложила мнѣ нѣсколько вопросовъ. И наконецъ, такъ какъ я уже сдѣлалъ нѣкоторое признаніе,

я сказалъ: „Я только ради васъ пріѣхалъ въ Мюнхенъ, фрейлейнъ Марія.

Я сейчасъ же испугался своей смѣлости и смутился. Но она ничего не отвѣтила и только спокойно и съ нѣкоторымъ любопытствомъ посмотрѣла на меня. Немного погодя, она сказала:

— Въ четвергъ одинъ изъ моихъ товарищей устраиваетъ вечеръ въ своемъ ателье. Хотите придти?.. Тогда ждите меня здѣсь въ восемь часовъ.

Мы стояли у ея воротъ. Я поблагодарилъ ее и попрощался.

И такъ Марія пригласила меня на вечеръ.

Меня охватило радостное чувство. Само празднество не обѣщало мнѣ большого удовольствія, но мысль о томъ, что она сама пригласила меня и что я буду своимъ присутствіемъ обязанъ ей—казалось мнѣ чудесной и сладостной. Я подумалъ о томъ, какъ мнѣ поблагодарить ее и рѣшилъ принести ей въ четвергъ букетъ розъ

За три дня, которые я долженъ былъ еще ждать,—я не могъ найти того веселаго, довольнаго настроенія, въ которомъ я жилъ въ послѣднее время. Съ тѣхъ поръ, какъ я сказалъ ей, что я пріѣхалъ сюда изъ-за нея, я потерялъ покой и свободу. Это вѣдь было почти что признаніе въ любви и теперь я все думалъ о томъ, что она знаетъ о моемъ чувствѣ, и, быть можетъ, задумывается надъ тѣмъ, что отвѣтить мнѣ. Всѣ эти дни я проводилъ большей частью въ экскурсіяхъ за городомъ.

Когда наступилъ четвергъ и подошелъ вечеръ, я одѣлся, купилъ въ магазинѣ большой букетъ красныхъ розъ и поѣхалъ къ Маріи. Она сейчасъ же вышла, я помогъ ей сѣсть въ экипажъ и отдалъ ей цвѣты, но она была взволнована и смущена и, несмотря на мое собственное смущеніе, я сейчасъ же замѣтилъ это. Мнѣ нравилось, что она по-дѣвичьи волновалась передъ вечеромъ и я не безпокоилъ ее разспросами. Во время нашей ѣзды въ открытомъ экипажѣ меня охватило вдругъ радостное чувство: мнѣ показалось, что между мной и Маріей существуетъ нѣчто, вродѣ дружбы и согласія, и чувствовать ее весь вечеръ подъ своимъ покровительствомъ—казалось мнѣ волнующимъ и почетнымъ.

Экипажъ остановился передъ большимъ непривѣтливымъ домомъ. Мы прошли черезъ дворъ и долго поднимались по безконечнымъ лѣстницамъ. Наконецъ, въ самомъ верхнемъ этажѣ мы вошли въ сѣни, услышали множество голосовъ и увидѣли массу свѣта. Мы раздѣлись въ маленькой комнатѣ, гдѣ стояла желѣзная кровать и нѣсколько сундуковъ, уже покрытыхъ шляпами и верхними вещами, и затѣмъ вошли въ ярко освѣщенное ателье.

Здѣсь уже собралось много гостей. Съ нѣсколькими изъ нихъ я былъ знакомъ, но остальныхъ, какъ и самого хозяина дома, я не зналъ.

Марія представила меня ему и сказала: „это мой пріятель. Вѣдь я имѣла право пригласить его?“

Ея слова немного испугали меня, такъ какъ я думалъ, что она уже предупредила о моемъ приходѣ. Но художникъ протянулъ мнѣ руку и равнодушно сказалъ: „Ладно“.

Въ ателье было весело. Царила свобода. Каждый садился тамъ, гдѣ находилъ мѣсто; многіе сидѣли рядомъ, совершенно не зная другъ друга. Каждый по своему желанію бралъ разныя холодныя блюда и напитки, разставленныя повсюду, и въ то время, какъ одни пріѣзжали, другіе ужинали, а иные уже закуривали сигары, и дымъ безслѣдно исчезалъ въ высокомъ помѣщеніи.

Такъ какъ никто не обращалъ на насъ вниманія, я позаботился о блюдахъ для Маріи и себя, и мы усѣлись за низенькій рисовальный столикъ, за которымъ уже сидѣлъ какой-то веселый краснобородый мужчина, и, хотя мы его незнали, весело и дружески улыбался намъ. Иногда кто-либо изъ опоздавшихъ доставалъ черезъ наши головы бутерброды, а когда запасы истощились—многіе жаловались еще на голодъ и двое изъ гостей отправились купить кой чего поѣсть, при чемъ одинъ изъ нихъ собралъ у товарищей денегъ на покупку.

Самъ хозяинъ смотрѣлъ равнодушно на это веселое и шумное собраніе, стоя ѣлъ бутерброды и обходилъ гостей съ бокаломъ вина въ рукахъ. Мнѣ понравилась эта шумная компанія, но въ душѣ я жалѣлъ, что Марія чувствуетъ себя здѣсь хорошо и свободно. Хотя я и зналъ, что многіе изъ нихъ очень почтенные люди и, кромѣ того, ея товарищи, но я чувствовалъ легкую боль и почти маленькое разочарованіе, видя, что она вполнѣ мирится съ этимъ, нѣсколько грубымъ обществомъ. Вскорѣ я остался одинъ, потому что она встала и подошла къ своимъ пріятелямъ. Она представила меня первымъ двумъ и хотѣла увлечь меня въ общую бесѣду, но я отошелъ. Она подходила то къ однимъ, то къ другимъ, и повидимому не скучала безъ меня. Я забрался въ уголъ, прислонился къ стѣнѣ и спокойно присматривался къ этому шумному обществу. Я и не ожидалъ, что Марія проведетъ весь вечеръ возлѣ меня и былъ вполнѣ доволенъ, что вижу ее, изрѣдка переговариваюсь съ ней и что потомъ я провожу ее домой. Но все же меня постепенно охватило непріятное чувство и, чѣмъ веселѣе становились другіе, тѣмъ болѣе лишнимъ и чужимъ казался себѣ.

Между гостями я замѣтилъ также портретиста Цюндля и

ту прекрасную женщину съ черными глазами, которую мнѣ назвали опасной и легкомысленной. Она казалась хорошо знакомой всѣмъ въ этомъ кругу и съ ней обращались нѣсколько свободно, но все же съ нѣкоторымъ поклоненіемъ передъ ея красотой. Цюндль былъ красивый мужчина, сильный и рослый, съ темными быстрыми глазами, съ увѣренными и гордыми манерами избалованнаго и привыкшаго къ поклоненію человѣка. Я внимательно смотрѣлъ на него, такъ какъ всегда чувствовалъ къ этому типу мужчинъ странную смѣсь насмѣшки и легкой зависти. Онъ пытался подтрунить надъ скуднымъ угощеніемъ хозяина.

— У тебя даже нѣтъ достаточнаго количества стульевъ, сказалъ онъ презрительно.—Но хозяинъ ни чуть не смутился. Онъ пожалъ плечами и возразилъ: когда я спущусь до уровня портретиста, тогда у меня будетъ тоже пошикарнѣе. Затѣмъ Цюндль сталъ насмѣхаться надъ стаканами:

— Изъ этихъ ведеръ не мыслимо пить вино! развѣ ты не слыхалъ, что для вина нужны изящные бокалы!

Но хозяинъ отвѣтилъ равнодушно:

— Быть можетъ ты знаешь толкъ въ бокалахъ, но въ винѣ ты ничего не понимаешь. Мнѣ важнѣе тонкое вино, чѣмъ тонкій стаканъ.

Прекрасная женщина, улыбаясь, слушала его и лицо ея выражало особенное счастіе и довольство. Казалось, что причиной этому были эти остроты.

Потомъ уже я замѣтилъ подъ столомъ, что она глубоко спрятала руку въ рукавъ художника, и что его нога небрежно играетъ ея ногой. Но въ немъ говорила скорѣе галантность, чѣмъ нѣжность, а она смотрѣла на него съ нескрываемой страстностью и видъ ея становился мнѣ невыносимымъ.

Впрочемъ, Цюндль освободился потомъ отъ нея и всталъ. Въ ателье стоялъ теперь густой дымъ, женщины и дѣвушки также курили, слышался звонъ стакановъ, смѣхъ и говоръ, всѣ суетились, садились куда попало—на стулья, на сундуки, на полъ. Кто-то заигралъ на флейтѣ и среди этого гама слегка опьянѣлый юноша декламировалъ какое-то мрачное стихотвореніе.

Я наблюдалъ за Цюндлемъ. Онъ былъ трезвъ и спокоенъ, и равнодушно бродилъ по комнатѣ. Время отъ времени я поглядывалъ на Марію, которая сидѣла на диванѣ съ другими дѣвушками. Передъ ними стояли нѣсколько молодыхъ людей съ бокалами вина въ рукахъ и весело бесѣдовали. По мѣрѣ того, какъ длилось и разгоралось веселье, мнѣ становилось все тягостнѣе и печальнѣе на душѣ. Мнѣ вдругъ показалось, что я со своей сказочной прин-

цессой попалъ въ нехорошее мѣсто и я началъ ждать, что она сдѣлаетъ мнѣ знакъ проводить ее домой.

Художникъ Цюндль стоялъ теперь въ сторонѣ и зажигалъ сигару. Онъ разглядывалъ лица и внимательно посмотрѣлъ на Марію. И я увидѣлъ, какъ она подняла глаза и взглянула на него. Онъ улыбнулся, но она смотрѣла на него твердо и выжидательно. Потомъ я замѣтилъ, какъ онъ прищурилъ одинъ глазъ, а она тихонько кивнула головой. Тогда мнѣ стало душно, и мрачно на сердцѣ. Я вѣдь не зналъ ничего, это могла быть шутка, случайность, непроизвольный жестъ. Но я не могъ утѣшиться этой мыслью. Я видѣлъ своими глазами, что между ними существуетъ какая-то тайна, хотя они весь вечеръ не обмѣнились ни единымъ словомъ и почти что избѣгали другъ друга.

И въ это мгновеніе рухнуло мое счастье и мои ребяческія надежды. И ничего, ничего не осталось отъ нихъ. Не осталось даже чистой, душевной печали, которую я охотно бы затаилъ въ своемъ сердцѣ. Я чувствовалъ лишь стыдъ и разочарованіе и отвратительную брезгливость. Если бы я увидѣлъ Марію съ радостнымъ женихомъ или любовникомъ— я бы завидовалъ ему, но все же я былъ бы радъ за нее. Но это былъ обольститель и юбочникъ, и не прошло еще получаса, какъ онъ любезничалъ съ той черномазой женщиной.

Но я собрался съ силами. Быть можетъ все это ошибка, думалъ я, и я долженъ дать возможность Маріи опровергнуть мое гадкое подозрѣніе.

Я подошелъ къ ней и съ грустью взглянулъ на ея милое веселое лицо. И я спросилъ ее:

— Поздно уже, фрейлейнъ Марія, не проводить ли васъ домой?

Ахъ, тогда я въ первый разъ увидѣлъ ее смущенной и неестественной. Лицо ея потеряло божественный свѣтъ и голосъ ее сталъ звучать фальшиво. Она засмѣялась и громко сказала:

— Прощайте, я совсѣмъ забыла, что за мной придутъ. Вы уже уходите?

— Да,—сказалъ я, — я ухожу. Прощайте, фрейлейнъ Марія.

Больше я ни съ кѣмъ не прощался и никто не удерживалъ меня. Я медленно спустился по лѣстницамъ, прошелъ черезъ дворъ на улицу. Но потомъ я рѣшилъ вернуться снова, зашелъ на дворъ и спрятался за пустой телѣгой. Я долго ждалъ тамъ, почти цѣлый часъ. Затѣмъ пришелъ Цюндль, бросилъ окурокъ сигары, прошелъ черезъ дворъ, потомъ снова вернулся и сталъ у воротъ. Прошло пять или

десять минутъ. И все время я былъ охваченъ желаніемъ подойти къ нему, назвать его подлецомъ, схватить его за горло. Но я не сдѣлалъ этого и тихо ждалъ въ своемъ углу.

Вскорѣ я снова услышалъ шаги, дверь распахнулась и на порогѣ появилась Марія. Она оглянулась, подошла къ воротамъ, молча положила свою руку въ руку художника и они вышли быстрымъ шагомъ. Я посмотрѣлъ имъ вслѣдъ и пошелъ домой.

Дома я легъ въ постель, но я не могъ найти покоя, снова всталъ и пошелъ въ Англійскій садъ. Полночи проходилъ я тамъ, затѣмъ пришелъ домой и легъ спать и долго проспалъ.

Еще ночью рѣшилъ я уѣхать, уѣхать сейчасъ же утромъ. Но я слишкомъ поздно проснулся для этой поѣздки, такъ что мнѣ пришлось ждать слѣдующаго дня. Я сложилъ свои вещи, заплатилъ по счету, письменно распростился со своими друзьями, отправился въ городъ и расположился въ кафэ. Время тянулось медленно и я сталъ обдумывать, какъ провести остатокъ дня.

Я началъ чувствовать свое несчастіе.

Давно мнѣ уже не приходилось быть въ такомъ недостойномъ и отвратительномъ состояніи, чтобы бояться часовъ и не знать, какъ ихъ убить. Гуляніе, картинныя галлереи, музыка, билліардъ, чтеніе — ничто не манило болѣе, все вдругъ стало тупымъ, глупымъ, безсмысленнымъ. И когда я оглядывалъ улицу — дома, деревья, лошадь, собаки и экипажи — все казалось мнѣ безконечно скучнымъ, тусклымъ и безразличнымъ. Ничто не трогало, ничто не радовало меня, не возбуждало ни интереса, ни любопытства.

И въ то время, когда я сидѣлъ за чашкой кофе, чтобы какъ-нибудь обмануть часы, исполняя нѣчто въ родѣ дѣла — я спокойно подумалъ, что мнѣ надо бы покончить съ собою. Я обрадовался, что нашелъ наконецъ рѣшеніе и дѣловито отдался мыслямъ о необходимыхъ приготовленіяхъ.

Но мысли мои были непостоянны и неудержимы, и я не могъ остановить ихъ хотя-бы на нѣсколько минутъ. Разсѣянно зажегъ я сигару, бросилъ ее, потребовалъ вторую или третью чашку кофе, перелисталъ какой-то журналъ и наконецъ вышелъ. Я опять вспомнилъ, что я долженъ уѣхать и рѣшилъ это сдѣлать завтра. Вдругъ мысль о родинѣ согрѣла меня и на мгновеніе я почувствовалъ вмѣсто гадливаго отвращенія настоящую чистую печаль. Я вспомнилъ, какъ мягко выступаютъ зеленыя и синія горы изъ-за озера, какъ вѣтеръ гудитъ въ тополяхъ и чайки летаютъ смѣло и капризно. И мнѣ показалось, что стоитъ только покинуть этотъ проклятый городъ и вернуться домой, какъ исчезнутъ

злыя чары и я снова увижу весь міръ въ прежнемъ блескѣ, буду любить и понимать его.

Я бродилъ по улицамъ города, погруженный въ размышленія, и вдругъ неожиданно очутился передъ магазиномъ моего букиниста. Въ окнѣ висѣла гравюра, портретъ ученаго семнадцатаго столѣтія, а вокругъ нея были разставлены разныя старыя книги въ разнообразныхъ переплетахъ. Эта витрина пробудила въ моей усталой головѣ цѣлый рядъ бѣглыхъ представленій, въ которыхъ я усердно искалъ утѣшенія и забвенія. Красивыя, какія-то лѣнивыя картины навѣвали представленія о монашеской жизни за книгами, о покойномъ тихомъ счастьѣ въ укромномъ углу за лампой при запахѣ книгъ. Чтобы хотя на короткое время удержать это жалкое утѣшеніе, я зашелъ въ магазинъ. Меня встрѣтилъ мой знакомый продавецъ

Онъ повелъ меня по узкой витой лѣстницѣ въ верхній этажъ, гдѣ большія комнаты были заполнены книгами. Мудрецы и поэты многихъ столѣтій печально смотрѣли на меня слѣпыми глазами своихъ книгъ, а молчаливый букинистъ стоялъ въ ожиданіи и скромно глядѣлъ на меня.

Тогда мнѣ пришло въ голову попросить утѣшенія у этого тихаго человѣка. Я взглянулъ въ его хорошее открытое лицо и сказалъ:

— Пожалуйста, скажите, что мнѣ почитать. Вы навѣрное знаете что-нибудь утѣшительное и цѣлебное, вы кажетесь добрымъ и нашедшимъ утѣшеніе.

— Вы больны?—тихо спросилъ онъ.

— Да, немного,—отвѣтилъ я.

— Вамъ очень тяжело?

— Не знаю. Это taedium vitae.

Его простое лицо приняло выраженіе глубокой скорби. Онъ сказалъ тихо и внушительно:

— Я знаю для васъ хорошій путь.

И, прочитавъ въ глазахъ моихъ вопросъ, онъ заговорилъ о теософическомъ кружкѣ, къ которому принадлежалъ. Многаго изъ того, что онъ говорилъ, я не зналъ, но я не былъ въ состояніи слушать его съ настоящимъ вниманіемъ. Я слышалъ только мягкія сердечныя, искреннія слова, слова о кармѣ, возрожденіи—и когда онъ остановился и почти смущено замолкъ, я не зналъ, что сказать ему. Наконецъ я спросилъ, не можетъ ли онъ мнѣ назвать книги, по которымъ я могъ бы изучить эти взгляды. Онъ сейчасъ же принесъ маленькій каталогъ теософскихъ книгъ.

— Какую изъ этихъ книгъ вы совѣтуете прочесть мнѣ?—спросилъ я неувѣренно.

— Основная книга этой науки произведенiе мадамъ Блавацкой—сказалъ онъ съ увѣренностью.

— Дайте мнѣ эту книгу.

Онъ снова смутился.

— У насъ ея нѣтъ, но я могу ее выписать для васъ. Это—объемистый трудъ и онъ требуетъ терпѣнiя при чтенiи. И къ сожалѣнiю, книга эта очень дорога, она стоитъ болѣе пятидесяти марокъ. Можетъ быть мнѣ попытаться достать ее для васъ на прочтенiе?

— Нѣтъ, спасибо, закажите мнѣ ее.

Я записалъ свой адресъ, попросилъ выслать мнѣ книгу наложеннымъ платежемъ, распрощался съ нимъ и вышелъ.

Я и тогда уже зналъ, что книга и мистическая наука не поможетъ мнѣ. Мнѣ только хотѣлось сдѣлать букинисту маленькое удовольствiе. И почему бы мнѣ не посидѣть нѣсколько мѣсяцевъ надъ книгой госпожи Блавацкой?

Я почувствовалъ также, что и другiя мои надежды окажутся не болѣе стойкими. Я предчувствовалъ, что и на родинѣ моей все будетъ сѣро и тускло, и что такъ будетъ повсюду, куда бы я не пошелъ. И это предчувствiе не обмануло меня. Что-то ушло, что было раньше въ мiрѣ, какой-то невинный ароматъ и очарованiе, и я не знаю, вернутся ли они?

Германъ Гессе.

„Политическіе“ прежде и теперь.

(Къ характеристикѣ тюремныхъ настроеній).

Статья **Л. Клейнборта**.

Восемь лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я въ первый разъ попалъ въ эти нѣмыя стѣны. Сколько видѣли онѣ за это время человѣческихъ мукъ... Я за эти годы успѣлъ еще разъ навѣстить „Кресты“, познакомиться со Спасской частью и съ Нарвской, и съ пересыльной тюрьмой, и въ петербургскомъ домѣ предварительнаго заключенія провести цѣлый годъ, и пошататься на станціяхъ финляндской желѣзной дороги въ ожиданіи той камеры, какую занимаю въ „Крестахъ“... уже въ третій разъ...

Объ рѣшетку моего окна бьются звуки далекой жизни, а своя тикаетъ, какъ часы—уныло, правильно и спокойно, и перебираешь въ умѣ здѣшнія встрѣчи, впечатлѣнія. Вѣдь здѣсь тоже своего рода жизнь, мечущаяся изъ стороны въ сторону—какъ ни сжата она желѣзными тисками,—отражающая въ себѣ, какъ капля воды, все, что дѣлается „на волѣ“. Я сидѣлъ въ разное время—въ 1899 г. послѣ того, какъ прокатилась по странѣ крупная волна студенческихъ волненій; въ 1901 г.—годъ демонстраціи 4-го марта и выстрѣла П. В. Карповича: въ 1903 г., когда судьбами Россіи распоряжался В. К. Плеве; наконецъ, въ 1907 году и сейчасъ, когда общественныя силы такъ же быстро отхлынули, какъ нахлынули, и блеснувшіе было лучи какъ будто готовы потухнуть. И если на тѣхъ наблюденіяхъ, которыя доступны „политику“ въ нашемъ тюремномъ быту, можно что-либо строить, то впечатлѣніе мое таково, что едва ли даже можно указать другой слой, такъ чутко отражающій въ себѣ измѣненія общественной атмосферы.

Говорю, конечно, не о тюремномъ обывателѣ вообще, а лишь объ одной его категоріи, именующейся политической. Это цѣлый міръ со своими обычаями и нравами, освященными временемъ, со своей психологіей. Ей въ послѣдніе годы было посвящено значительно меньше вниманія, чѣмъ этого можно было ожидать.

Вниманіе было направлено въ сторону внѣшнихъ условій, въ которыхъ гибли тысячи мучениковъ, разбитыхъ физически и истерзанныхъ нравственно,—тѣхъ страшныхъ кровавыхъ трагедій, о которыхъ до „дней свободы" нельзя было и заикнуться. Но самъ по себѣ, какъ психологическій типъ, имѣющій, при всѣхъ своихъ различіяхъ, немало обобществляющихъ моментовъ,—„политикъ" не нашелъ еще своего бытописателя, если не считать нѣсколькихъ беллетристическихъ очерковъ. Между тѣмъ, это уже „массовикъ"...

Безспорно, писать правду о немъ не легко. Трудно говорить о всякой средѣ, изобилующей индивидуальностями, тѣми особенностями духа, которыя консервируютъ человѣка такимъ, каковъ онъ есть въ отличіе отъ ему подобныхъ. Но тѣмъ труднѣе, когда эта борьба за сохраненіе своей индивидуальности соединяется съ закланіемъ этого „я" на алтарѣ общественнаго движенія. Это—тысячи нитей, переплетенныхъ самымъ причудливымъ образомъ, это такая масса острыхъ угловъ, какую только здѣсь и встрѣтишь... По этой причинѣ сами „политики", вообще очень охотно пополняя ряды пишущей братіи, не пишутъ о себѣ.—Щекотливо говорить не-революціонеру о революціонерѣ. Тѣмъ болѣе революціонеру о самомъ себѣ...

Однако, вопросъ такъ преисполненъ интереса, послѣдніе годы такъ радикально отозвались на физіономіи политическихъ,—что я не могу не подѣлиться хотя бы отрывочными наблюденіями, какія вынесъ изъ своего невольнаго опыта. Положительно бросается въ глаза эта перемѣна въ средѣ политическихъ. Не довѣряя личному опыту послѣднихъ мѣсяцевъ, я обращался къ сосѣдямъ съ своимъ вопросомъ и еще болѣе утверждался, что это такъ.

— Не то, что въ наше время,—услышалъ я отъ человѣка, состарѣвшагося въ тюрьмахъ.—Бывало, я испытывалъ радость, когда меня брали. Живешь въ тревогѣ и страхѣ за себя и за другихъ—наконецъ, берутъ, и все кончено: сиди и отдыхай... Но сейчасъ я не могу этого сказать. Я не чувствую себя въ родной семьѣ...

Еще рѣзче отзывъ „молодого", сохранившаго былую складку:

— Среди двадцати-трехъ человѣкъ, съ которыми я вмѣстѣ на прогулкахъ—разсказывалъ мнѣ осужденный по дѣлу кронштадтской боевой организаціи къ двумъ годамъ крѣпости,—будь я самый ярый изъ оптимистовъ, не нашелъ бы пяти дѣйствительныхъ революціонеровъ. Есть, конечно, люди, преданные дѣлу, сознательно вышедшіе на этотъ тернистый путь, но они теряются въ инертной массѣ посаженныхъ сюда „по недоразумѣнію". Попались подъ горячую руку пирующей теперь реакціи,—ну, и здѣсь... „Только бы выйти поскорѣе",—мечтаетъ такой „революціонеръ". „Да я за три версты тюрьму-то обѣгу!" „Ну, васъ съ вашими убѣжденіями!" — услышите отъ другого. „Господи! Кабы амнистія поскорѣе!"—вопіетъ третій.

Согласитесь, въ восьмидесятые годы, когда кучка героевъ вступала въ единоборство съ порядкомъ вещей, не сознавая, что она только кучка, или въ девяностые, о которыхъ говорили; „мужикъ пошелъ“,—такихъ восклицаній въ тюрьмахъ не раздавалось. Люди рвались изъ нихъ не для того, чтобы не попадать обратно; мѣняли мнѣнія—но не отказывались отъ нихъ. И тогда была дифференціація въ революціонной средѣ, но это была все же одна семья, а теперь этого сказать нельзя...

Взгляните вотъ на эту вереницу тянущуюся вокругъ трехъ-четырехъ тощихъ березокъ и елокъ, на этихъ людей, шествующихъ въ перемежку съ уголовными. Это „гуляютъ“ политики, которымъ уже врученъ обвинительный актъ. Умный открытый лобъ, на который красиво спускаются каштановые волосы; глубокіе черные глаза, смотрящіе черезъ очки какъ-то грустно, но вызывающе; какая-то напряженная мягкость и строгая ласковость въ каждомъ движеніи—все это черты добраго стараго политика. Но узнаете-ли вы этого съ бритымъ по-департаментски подбородкомъ? а того съ полинялыми волосами, кажущагося старикомъ? Я перебрасываюсь съ ними отдѣльными фразами—благо „гуляю“ съ ними три раза каждый день,—впечатлѣніе подтверждается...

Поворотъ въ средѣ политическихъ — совершившійся фактъ. Произошелъ онъ не сразу, какъ это кажется, а намѣчался еще до октябрьской волны. И вотъ вопросъ: что же произошло, что измѣнилось? Попытаюсь, какъ умѣю и насколько мнѣ позволяютъ мои наблюденія, намѣтить нѣкоторыя черты.

* * *

Уже внѣшняя сторона свидѣтельствуетъ о перемѣнахъ, происшедшихъ въ средѣ политическихъ. Прежде всего—просто численность, возросшая до крайнихъ предѣловъ. Восемь лѣтъ тому назадъ въ „Кресты“, тюрьму, предназначенную лишь для отбывающихъ наказаніе, подслѣдственные политическіе помѣщались только въ исключительныхъ случаяхъ. Теперь не только полтюрьмы занято ими, но съ каждымъ днемъ ихъ прибываетъ и прибываетъ. Всѣ петербургскія части переполнены политиками. Прежде же—то есть, нѣсколько лѣтъ назадъ—онѣ наполнялись лишь послѣ демонстрацій, студенческихъ безпорядковъ и пр. и то на нѣсколько дней, пока публика будетъ отдѣлена отъ „подстрекателей“, и одни высланы изъ предѣловъ губерніи или освобождены, а другіе—переведены въ укромныя могилы дома предварительнаго заключенія, куда и сажали въ то время политиковъ.

Кому теперь не знакома фигура редактора, благодушно уговаривающаго прокурора приготовить ему камеру въ тюрьмѣ, а затѣмъ являющагося къ нему въ кабинетъ съ чемоданчикомъ: не выду, молъ, изъ него до тѣхъ поръ, пока мнѣ не устроятъ особаго „кабинета“? Министръ юстиціи во время преній по вопросу о

досрочномъ освобожденiи указывалъ на то, что наши мѣста заключенiя по числу мѣстъ для арестантовъ разсчитаны на 100—110 тысячъ человѣкъ, между тѣмъ въ настоящее время въ нихъ болѣе полутораста тысячъ заключенныхъ [1]). Главный процентъ этого колоссальнаго увеличенiя и приходится на политическихъ и уголовно-политическихъ (особый типъ заключеннаго, появившiйся на тюремномъ горизонтѣ съ момента массовыхъ стачекъ начала 1905 года). Министръ заявлялъ: „намъ скоро некуда будетъ помѣщать лицъ, заслуживающихъ наказанiя".

Превращенiе десятковъ и сотенъ „политиковъ" въ *массу*, въ преобладающую часть тюремнаго населенiя—прежде всего, конечно, есть результатъ той оргiи политическихъ процессовъ, которая не знаетъ удержу въ стремленiи ликвидировать прiобрѣтенiя дней свободы. Обвиняемымъ по всѣмъ этимъ процессамъ является весь пролетарiатъ, все крестьянство, вся буржуазная демократiя, т. е., слѣдовало бы запереть въ тюрьму за освободительное дѣло всѣхъ, чьи руки кормятъ и поятъ соцiальные верхи. Но это невозможно уже потому, что тогда бы сами верхи оказались въ положенiи „безработныхъ", „голодающихъ". И бюрократiя, по старому шаблону, хватаетъ „агитаторовъ", „главарей" и пр. Бѣда только въ томъ, что нѣтъ прежняго критерiя. Бывало, взглянешь на окончанiе фамилiй—штейны, берги, анцы, янцы,—или справишься у подручнаго, давно ли студентъ не стрижетъ своей шевелюры или курсистка, наоборотъ, сняла свою косу,—и „сообщество", поставившее себѣ завѣдомой цѣлью и пр., готово. Тамъ разберутъ...

Теперь же, если основываться даже не на „штейнахъ" и шевелюрахъ, а на прямыхъ признакахъ злоумышленiя (вплоть до взрывчатыхъ веществъ), выходитъ все-таки типъ массовой. И идутъ въ плѣнъ маленькiе воины изъ большой разбитой армiи, и наполняетъ ими Немезида, карающая слѣпо, и безъ милосердiя, душныя, тѣсныя каморки съ ихъ каторжнымъ режимомъ...

Но ростъ политическихъ зависитъ не отъ одной оргiи процессовъ. Создался цѣлый рядъ новыхъ преступленiй, квалифицирующихся, какъ политическiя. Таковы, напр., стачечники. Всѣмъ памятна та борьба, какая велась съ 1905 г. въ тюрьмахъ за то, чтобы стачечники-рабочiе были переведены на положенiе политическихъ. Затѣмъ—экспропрiаторы и не только „идейные". Ни для кого не тайна временное тяготѣнiе т. н. отверженцевъ общества къ новой жизни,—это и создало сказку объ ихъ солидарности съ революцiонерами послѣ 9 января, хотя очень скоро

[1]) По даннымъ министерства внутреннихъ дѣлъ—167.830 чел. Въ кiевской тюрьмѣ, разсчитанной на 690 мѣстъ, содержится 2,207 заключенныхъ, въ одесской при 804 мѣстахъ—1,610, въ екатеринославской при 324 м.—942 чел. и т. д. Приходится спать не только на полу, подъ нарами, но даже въ тюремныхъ коррилорахъ. Скученность заключенныхъ уже болѣе, чѣмъ въ 65 тюрьмахъ вызывала эпидемическiя болѣзни.

выяснилось, съ какими именно революціонерами,—съ анархистами Такъ, Кузнечиковъ, 16 сентября прошлаго года приговоренный московскимъ военно-окружнымъ судомъ къ смертной казни черезъ повѣшеніе, разсказывалъ г. Матюшенскому о цѣломъ рядѣ воровскихъ организацій „по мѣстамъ“, въ которыхъ не только читаются лекціи объ анархизмѣ, наряду съ лекціями о томъ, какъ отперетъ несгораемый шкафъ, но въ которыхъ анархистамъ— „первое мѣсто“ [1]). Быть можетъ, поскольку воры подвигаются къ анархизму и, наоборотъ, анархисты спускаются на линію простого грабительства, сохраняя въ то же время извѣстный политическій идеализмъ,—объяснимо, что правительство путаетъ эти дѣла.

Такихъ „экспропріацій“ значительный процентъ, и, что характерно, обвиняются, большей частью, безработные. Достаточно переброситься съ ними парой словъ, чтобы убѣдиться, что они мало общаго съ политикой имѣютъ, да едва ли и имѣли. Но сердце сжимается отъ боли и ужаса, когда въ качествѣ носителя освободительныхъ тенденцій фигурируетъ ворвавшійся съ цѣлью грабежа въ мелочную лавочку или частную квартиру.

Затѣмъ—дѣла печати. Редакторы, сотрудники, издатели, sitz-редакторы (особый типъ, созданный виттевскими правилами о печати, за 30—50 р. мѣсячнаго вознагражденія „отсиживающій“ то, что приходится на долю дѣйствительнаго редактора)—прежде такихъ политиковъ въ тюрьмахъ не могло быть. Писатели привлекались за тѣ же „дѣла“, что и остальные граждане, но въ области своей дѣятельности тюрьмы не ждали. Совсѣмъ иное теперь — это группа „политиковъ“, не менѣе замѣтная по величинѣ, чѣмъ группа экспропріаторовъ. Опросите отбывающихъ наказаніе въ пересыльной или одиночной тюрьмѣ — буквально черезъ каждые два-три человѣка вы наталкиваетесь на жертву 129-й статьи.

Затѣмъ еще одно обстоятельство, которое слѣдуетъ имѣть въ виду. Прежде правительство въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ обращалось къ тюрьмѣ для укрощенія крамольника. Отсидѣвъ годъ, полтора въ домѣ предварительнаго заключенія (съ 1904 года даже и этотъ срокъ былъ сокращенъ), онъ отправлялся въ сѣверныя губерніи, Сибирь, а то и куда-нибудь поближе. Еще Плеве былъ убѣжденъ, что тому режиму, которому онъ служитъ, общеніе населенія съ ссыльными не опасно... Съ недавняго же времени этотъ взглядъ радикально измѣнился. Теперь отбывающіе въ тюрьмахъ,— главнымъ образомъ крѣпостные—составляютъ такой процентъ, что не только пересыльная тюрьма ими переполнена, но и въ „Крестахъ“ число ихъ съ января по іюнь увеличилось въ четыре раза. Даже въ домѣ предварительнаго заключенія сидятъ крѣпостные. Сплошь и

---

[1]) А. И. Матюшенскій „Отъ воровства къ анархизму“.

рядомъ, за недостаткомъ мѣстъ, отправляютъ въ провинціальныя тюрьмы.

„Политикъ“ сталъ человѣкомъ массы — вотъ фактъ, прежде всего бросающійся въ глаза. Если и въ началѣ десятилѣтія о нихъ можно было говорить, какъ о группѣ, имѣющей уже прочность исторической традиціи, то сейчасъ передъ нами уже сама масса. Если вѣрно говорилъ въ Думѣ 15 февраля г. Маклаковъ, что съ того момента, когда не будетъ крамолы, не будетъ и охранныхъ отдѣленій, что они ею живутъ, и изъ чувства самосохраненія имъ необходимо, чтобы она не прекращалась, то гг. охранники могутъ быть „спокойны“.

Внѣшняя перемѣна касается не только размѣровъ группы, родовъ преступленій, въ которыхъ обвиняются политическіе и категорій, на которыя они дѣлились раньше и дѣлятся теперь,—но и вообще, обликъ политическихъ измѣнился.

Припомните, напр., составъ ихъ пять-шесть лѣтъ назадъ, не захожу уже дальше. Преобладала тогда интеллигенція — именно учащіеся, студенты, курсистки. Рабочихъ было мало, если же и были, то наиболѣе крупныхъ, наилучше поставленныхъ въ техническомъ отношеніи заводовъ. О крестьянствѣ и говорить нечего — аграрные безпорядки носили тогда чисто стихійный характеръ. Типъ „аграрника“ еще не появился.

Въ 1903 г., судя по анкетѣ, предпринятой, если не ошибаюсь, „Искрой“, въ московской таганской тюрьмѣ изъ 133 чел.—и эта уже цифра характерна для тогдашней большой тюрьмы!—интеллигенція на треть превышала рабочихъ. $^2/_3$ приходилось на низшія сословія—33,9$^0/_0$ крестьянъ и 32,1$^0/_0$ мѣщанъ, дворяне попадались рѣдко, но $^1/_2$ окончила среднюю школу, причемъ часть окончившихъ и университетъ, часть—бывшихъ студентовъ (34 ч.). Все—молодежь. По крайней мѣрѣ, $^2/_3$ до 25 лѣтъ и $^9/_{10}$ до 30 лѣтъ [1]). Такую же картину, пожалуй, даютъ біографіи политическихъ, приложенныя къ книгѣ В. В. Беренштама „Около политическихъ“, въ которой онъ изложилъ свои впечатлѣнія отъ поѣздки въ „гиблыя мѣста“—Якутскую область въ 1904 году; онѣ только ярче намѣчаютъ новую на тогдашнемъ политическомъ горизонтѣ фигуру потянувшагося къ освободительному движенію еще недавно туго подававшагося, запуганнаго полуинтеллигента. Совсѣмъ иное—сейчасъ. И теперь интеллигенція очень многочисленна, хотя это и кажется—отчасти благодаря тому, что она задаетъ тонъ въ тюрьмѣ. На самомъ же дѣлѣ, едва ли она составляетъ главное ядро сейчасъ, да и значительная часть ея тотъ же пролетаріатъ, хотя и интеллигентный. Замѣтно увеличился элементъ маленькихъ культурныхъ работниковъ—статистиковъ, фельдшеровъ, желѣзно-

---

[1]) Данныя опубликованы въ 12 № „Былого“ за 1905 г.

дорожныхъ служащихъ, народныхъ учителей, затѣмъ чисто-буржуазный слой, который до сихъ поръ отъ тюрьмы такъ же категорически отказывался, какъ отъ сумы.

Я говорю не на основаніи точныхъ данныхъ. Въ „Крестахъ" была попытка произвести такую анкету, но попытка эта не удалась.

Политикъ не носитъ уже характеръ чисто-городской. То и дѣло знакомясь слышишь: крестьянинъ, арестованъ за распространеніе эс-эровской литературы, по дѣлу объ убійствѣ стражника, о поджогѣ помѣщичьихъ строеній и пр. Тѣмъ выше долженъ быть этотъ элементъ въ провинціальныхъ тюрьмахъ. Въ Таганской тюрьмѣ въ 1903 г. почти всѣ рабочіе—ихъ было изъ 133—49 человѣкъ—работали на механическихъ заводахъ, т. е. рабочее движеніе коснулось еще только высшихъ формъ производства. Преобладаютъ, конечно, и сейчасъ механическіе, и типографскіе рабочіе (я это наблюдалъ и въ нарвской части), но вмѣстѣ съ ними, сплошь и рядомъ, попадается то извозчикъ, разбрасывавшій прокламаціи, то портной, то шлиссельбургскій токарь. Разница между верхами и низами рабочими въ этомъ отношеніи сгладилась. Рядомъ съ рабочимъ, котораго невозможно отличить отъ интеллигента, вы встрѣчаете самаго сѣраго человѣчка, для чего-то провозившаго изъ Финляндіи револьверъ и т. п.

Если передъ вами уже не мелкіе ручейки, а большая рѣка, не отдѣльный кружокъ, а масса, то въ этой массѣ даже чисто внѣшняя разнородность. Прежде шли въ тюрьму рабочіе, молодежь — съ тѣхъ же поръ, какъ движеніе стало общенаціональнымъ, это, въ буквальномъ смыслѣ, „смѣсь племенъ, нарѣчій, состояній". Прежде инородецъ-крамольникъ былъ евреемъ; теперь съ нимъ конкуррируетъ полякъ, армянинъ, латышъ. Прежде интеллигенція состояла изъ студентовъ. Теперь молодежь составляетъ лишь небольшой процентъ. Врачъ, членъ думы, коммерціи совѣтникъ, телеграфистъ, редакторъ, присяжный повѣренный, бывшій офицеръ—это публика, столь же разнообразная, сколь и почтенная по возрасту.

Прежде у большинства привлекавшихся, ничего или почти ничего не отбиралось. Я, какъ сейчасъ, помню появленіе предо мной въ 1903 г. товарища прокурора, занимающаго сейчасъ достаточно высокій постъ:

— У васъ ничего не найдешь при обыскѣ... Но скажите, у кого въ настоящее время не оказывается завалявшагося листка Значитъ, вы ждали насъ...

Данныя таганской переписи показываютъ, что у 30% ничего не было найдено, у 53%—листки, у 13% принадлежности для печатанія (главнымъ образомъ, гектографы, у одного — револьверъ. То же, приблизительно, видно изъ біографій ссыль-

ныхъ, приложенныхъ къ книгѣ В. В. Беренштама. Не то уже сейчасъ. Одни, конечно, еще менѣе чѣмъ прежде, понимаютъ, за что ихъ держатъ подъ стражей, другіе попали въ государственные преступники за „распространеніе ложныхъ слуховъ", возбужденіе къ классовой розни, словомъ ниспроверженіе основъ. Но рядомъ, то и дѣло, фигурируютъ бомбы, оружіе, типографскій станокъ, орудія экспропріацій, убійствъ. Вы, то и дѣло, слышите: дѣло летучаго отряда боевой организаціи партіи с.-р., дѣло партіи анархистовъ-коммунистовъ, боевой организаціи петербургскаго комитета с.-д., дѣло ограбленія Обуховской станціи и т. п. Въ 1903 г. даже соціалистовъ-революціонеровъ почти не было, — въ данныхъ таганской тюрьмы соц.-дем. въ три раза превосходятъ ихъ,—не то, что анархистовъ-коммунистовъ. Дифференціація была такъ низка, что сплошь и рядомъ литература, которую находили при обыскахъ, была смѣшанная. Теперь эта дифференціація такъ рѣзка, что лѣвое крыло, образуя особое русло отъ праваго, въ свою очередь течетъ разными ручейками.

* * *

Тюрьма ярко и пестро отразила то, что произошло за ея оградой— на „вольномъ просторѣ", въ самыхъ нѣдрахъ народной жизни. Революціонеръ-герой умеръ—уступилъ мѣсто народу, которымъ одинаково является и революціонный пролетарій, и революціонный буржуа, и революціонный интеллигентъ, и революціонный обыватель.

Когда я пишу эти строки, мое окно, выходящее въ прогулочный дворъ, открыто, и группа крѣпостныхъ кружится около елокъ и березокъ, именующихся на арестантскомъ языкѣ садомъ. Кромѣ уголовныхъ изъ общихъ камеръ подвала, только они пользуются правомъ общенія и такъ какъ моя камера расположена во второмъ ярусѣ, ихъ разговоры, то и дѣло, доносятся ко мнѣ. Такъ, каждый день проходятъ группа за группой утромъ и подъ вечеръ. Я смотрю и слушаю.

Нѣтъ, это не прежняя семья даже по внѣшнему впечатлѣнію! Только одна группа собирается въ тѣсный кружокъ у какого-нибудь дерева съ пробивающейся около него молодой травой, дѣлится впечатлѣніями своего подневольнаго существованія, своими чаяніями и надеждами. Но это самая однородная по своему соціальному составу. Остальныхъ я вижу за общимъ разговоромъ развѣ въ виду какой-либо особой новости, случайно. Обыкновенно же „гуляющіе" разбиваются на кружки. Вотъ—129 ст.,— я бы могъ это сказать, судя по разговорамъ, если бы не зналъ нѣкоторыхъ въ лицо: вотъ—с.-р. и одинъ-два аграрника; вотъ рабочіе, вотъ просто нѣсколько обывательскихъ душъ. Вотъ рабочій, пытающійся „слиться" съ кружкомъ демократовъ, но

тщетно. И наоборотъ, вотъ литераторъ, осаждающій партійнаго пролетарія, вѣроятно, въ качествѣ объекта для своихъ наблюденій... Нельзя не улыбнуться...

— Поднять какой-нибудь вопросъ общественно-политическаго характера, не касающійся специфически тюремнаго быта,—комментируетъ мнѣ эту картину с.-д. „крѣпостникъ“,—устроить тотъ обмѣнъ мыслями, какой всегда возникаетъ, когда соберется нѣсколько интересующихся, здѣсь невозможно. Это будетъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Насажали этакихъ революціонеровъ, бродятъ они, мечтая объ „амнистіи“, а для развлеченія разсказываютъ другъ другу анекдоты каждый въ своемъ кругу...

Когда въ „Кресты“ перевели нѣсколько человѣкъ изъ пересыльной тюрьмы, которую мнѣ съ 1899 года не пришлось понаблюдать, я спросилъ одного изъ нихъ, — партійнаго работника с.-д., брата недавно повѣшеннаго юноши, покушавшагося на покойнаго Трепова, тѣ же ли факты бросаются въ глаза тамъ?

— Вотъ общая камера въ Пересылкѣ въ 1908 году, — отвѣчаетъ онъ.— Въ укромномъ уголку группа играетъ въ карты. Выраженіе лицъ—напряженно-осмотрительное. Какъ бы не сдѣлать ошибки въ игрѣ и не прозѣвать надзирателя, который увидитъ, отниметъ карты, такъ удивительно легко коротающія тюремный день. У стола сидитъ чрезвычайно изящный молодой человѣкъ въ формѣ какого-то вѣдомства и аккуратно переписываетъ въ толстую тетрадь особенно „чувствительные“ стихи изъ какого-то сборника стихотвореній. Это у него вродѣ маніи. „А кто въ трикъ-тракъ, кто проиграетъ мнѣ десятокъ папиросъ—лѣнь набивать... Кто въ трикъ-тракъ?“, звучно выкрикиваетъ эксъ-редакторъ какого-то органа, симпатичный и добродушный человѣкъ, по его отзыву „до крайности“ уважающій рысистые бѣга. Нѣсколько бывшихъ студентовъ и сознательныхъ пролетаріевъ ведутъ споръ объ анархизмѣ, но въ сторонкѣ, изолированно и для самихъ себя—ихъ никто больше не слушаетъ. Да и они почти не въ силахъ противостоять обывательщинѣ,—крикъ не даетъ уйти въ книги, непрекращающійся гомонъ мѣшаетъ заниматься, и все рѣже становятся серьезные разговоры, и все больше говорятъ о своихъ маленькихъ личныхъ дѣлахъ, а то и слушаютъ анекдоты, основной тонъ которыхъ сводится къ фразѣ „какъ она его ущипнетъ“ и отвѣту „за ка-а-кое мѣсто“, произносимыхъ съ достаточной экспрессіей.

Я живо помню библіотеку тѣхъ же „Крестовъ“ 1903 г. или библіотеку дома предварительнаго заключенія 1901—2 гг.—какъ и теперь, поля страницъ, конечно, были исписаны десятками почерковъ. Лучше ли, хуже ли тогда думалось въ этихъ укромныхъ могилахъ, больше ли дополняли автора, раскрывая его намеки и недомолвки, чѣмъ полемизировали съ нимъ и другъ съ другомъ,— во всякомъ случаѣ слѣдовъ обывательщины не помню. Развѣ

было возможно въ то время вырываніе нежелательныхъ съ той или иной точки зрѣнія страницъ.

А теперь это—фактъ. Изъ беллетристовъ вырываются любовныя сцены. Изъ партійной литературы—критика анархіи, экономическаго террора и пр. Что обывательскія отмѣтки относятся къ послѣднимъ мѣсяцамъ, ясно, конечно, изъ того, что администрація время отъ времени тщательно выводитъ ихъ, не говоря уже о томъ, что сами пишущіе отмѣчаютъ время своего пребыванія.

Если судить по этой литературѣ,—сплошь и рядомъ, трудно сказать, книжки ли это политической тюрьмы или одной изъ тѣхъ библіотекъ, назначеніе которыхъ—обслуживать сытое мѣщанство. Не угодно ли теперь такое отношеніе къ автору:

— Однако, и кузины же у тебя. батенька мой: Сонечка, Манечка, Надечка—и еще, пожалуй, есть?

Политиковъ этого сорта не менѣе интригуетъ фабула, чѣмъ Сонечку или Манечку. По поводу лучшихъ психологичекихъ этюдовъ вы находите реплики:

— Ну, изъ-за этого не стоило и писать столько... Занятно, откуда и какъ. О существованіи факта узнать—много ли интереснаго.—Чортъ его знаетъ, авторъ совершенно не кончилъ разсказа.

Вѣроятно, желая пополнить этотъ дефектъ, Сонечки и Манечки политическихъ одиночекъ исписываютъ поля страницъ своими анекдотами, вродѣ тѣхъ, которые приводились выше.

— У меня былъ одинъ знакомый,—вдругъ читаете вы на поляхъ,—придетъ, скажешь ему обычное: садись, Кошкинъ. Сядетъ; ему говоришь, онъ, слушая уснетъ, не закрывая глазъ. Я, ничего не подозрѣвая, ему говорю, а онъ спитъ...—Что же ты молчишь?—спросишь у него. Онъ проснется:—уснулъ, братъ, извини.—Развѣ ты, открывши глаза, спишь?—Да, открывши и по-заячьи...—Вотъ и не обращай вниманія. Ты думаешь, что онъ слушаетъ, а онъ спитъ. Фактъ.

Можно было бы подумать, что это уголовный „интеллигентъ“ развлекается. Но таковыхъ здѣсь почти нѣтъ. Уголовные фактически не пользуются библіотекой. А главное—черезъ нѣсколько страницъ тѣ же почерки ведутъ политическую перепалку, сообщаютъ, когда арестованъ, по какому дѣлу, что найдено. и пр. Но это еще относительно скромно. Посмотрите еще жаргонъ этихъ новыхъ пришлецовъ—за этой заборной литературой вы чувствуете и заборныя понятія.

— Любовникъ Анны Австрійской, жены Людовика XIV.—Ну, братъ, это ты ошибаешься,—имъ, барынямъ, не только такіе Альфонсы какъ разъ, но онѣ не прочь бы и съ... жеребцами лакомиться. См. у Гейне: есть скульптуры образецъ, гдѣ ласкаетъ даму съ жаромъ по-содомски жеребецъ.

Это пишется безъ всякой нужды, какъ сотни словъ, которыя

услышите развѣ на Невскомъ. И этотъ жаргонъ носитъ оттѣнокъ „высшаго радикализма“. Что это за радикализмъ, явствуетъ хотя бы изъ замѣтокъ къ роману Пшибышевскаго „Homo Sapiens“.

Пишетъ не соціалъ-демократъ. Подчеркивая слова одного изъ героевъ романа, анархиста Черскаго: „есть ли такой соціалъ-демократъ, который ради своей идеи, ни минуты не задумываясь, не разсуждая, обрекъ бы себя на гибель?“,—онъ замѣчаетъ: „вотъ совершенно вѣрное опредѣленіе с.-д.“. Фалькъ—Homo Sapiens—характеризуется „свиньей“. Когда Фалькъ вспоминаетъ, какъ его гимназическое начальство въ ранней юности сѣкло, слѣдуетъ одобрительный возгласъ: „вотъ бы его такъ почаще, б....а“.—Иза пишетъ Миколѣ, ревнующему ее: „Въ концѣ концовъ ты захочешь меня запереть?“ Читатель приписываетъ: „Надо бы!“ Это чистое существо, точно сплетенное изъ тончайшихъ нитей ума и сердца, кажется ему развратной „тварью“ за то, что она не можетъ любить своего жениха послѣ встрѣчи съ его другомъ.

Этотъ „радикализмъ“ достигаетъ такой высоты, что превращается даже въ свою противоположность, какъ сказалъ бы старый Гегель—въ солидарность съ г. Тихомировымъ,—не членомъ исполнительнаго комитета, конечно, а нынѣшнимъ, о которомъ говорятъ: „се Левъ, а не собака“. Здѣсь имѣется книга Л. Тихомірова „Демократія либеральная и соціальная“. И вотъ посмотрите:

— Черносотенецъ Тихоміровъ ярый, а правды говоритъ порядочно.

— Крайнее идіотство или наглая ложь—не поймешь,—возмущается другой.

— Ни то, ни другое, парень дѣло говоритъ,—вступается третій.

Вы, конечно, думаете, что хоть на этотъ разъ „политики“ не при чемъ. Но тѣ же почерки выводятъ, правда, довольно малограмотно: „Въ Лондонѣ демократы исполняютъ обязанности полиціи“, вообще „демократы пресмыкаются въ парламентахъ“. Слѣдуетъ и неизмѣнная дата—арестованъ тогда-то, сижу столько-то...

Обыватель вѣренъ себѣ въ тюрьмѣ, какъ на волѣ. Онъ въ клубѣ игралъ въ винтъ—пробуетъ внести его и въ тюрьму, попадая въ общую камеру. На волѣ разсказывалъ анекдоты—пробуетъ отвести ими душу и здѣсь. На волѣ искалъ въ книгѣ пикантной фабулы—ищетъ эту фабулу и въ тюремной библіотекѣ. Тамъ привыкъ къ сальнымъ остротамъ и словечкамъ—прививаетъ эту привычку и здѣсь.

* * *

Это—продуктъ революціи, движенія общенаціональнаго: до „дней свободы“ повторяю, этого элемента, этихъ настроеній не могло быть въ тюрьмѣ, не говоря о тѣхъ исключеніяхъ, которыя подтверждаютъ лишь общее правило. Но если даже не считаться

съ героями переходнаго момента, какъ будто не они задаютъ, такъ или иначе, тонъ въ тюрьмѣ, а обратиться къ крылу, которое считаетъ себя справедливо хранителемъ революцiонныхъ традицiй боевого, никогда не сдававшагося товарищества, сплоченнаго общимъ сознанiемъ родства,—то и здѣсь, повидимому, внѣшнее впечатлѣнiе не совсѣмъ обманчиво. Много холода, обиднаго равнодушiя сравнительно съ теплотой, еще недавно такъ неудержимо привлекавшей къ себѣ... Чувствуется, что и въ эти души проникла зловѣщая трещина, и между этимъ полюсомъ движенiя и другимъ—часто не меньшее разстоянiе, чѣмъ между „политикомъ"-профессiоналомъ и политикомъ-обывателемъ.

Присмотритесь къ типу максималиста, который—не знаю, какъ въ другихъ тюрьмахъ —но здѣсь, судя по отвѣтамъ, какiе мнѣ удалось получить во время прогулокъ, свилъ себѣ обширное гнѣздо. Поля книгъ то и дѣло изобилуютъ такими спорами:

— Теперь баррикады безсмыслица. При дальнобойныхъ орудiяхъ возможна единственно партизанская война,—начинаетъ застрѣльщикъ.

— Но вѣдь для того и баррикады, чтобы не дать передвигаться врагу безнаказанно.

— Да, но не защищать ихъ до „послѣдней капли крови", а только чтобы онѣ мѣшали ему передвигаться...

— Ерунда! Такъ какъ ядро летитъ черезъ извѣстный промежутокъ, то приспособиться можно славно.

— Только дуракъ или провокаторъ можетъ совѣтовать при современной военной техникѣ баррикады!

— Тише, тише, вы! Не отрицая партизанскiй способъ войны, все-таки и баррикады и т. д.

Или:—Товарищи-рабочiе! Не требуйте повышенiя заработной платы, а то не сдѣлаетесь соцiалистами.—Соцiалисты до тѣхъ поръ революцiонеры, пока не попадутъ въ парламентъ.

Можно a priori представить себѣ струю, какую должны вносить въ прежнюю тюремную атмосферу гг. экспропрiаторы. Вѣдь идейный экспропрiаторъ уже почти отошелъ въ область прошлаго. Его смѣнилъ экспропрiаторъ профессiональный, въ значительной степени, а очень часто и всецѣло пользующiйся экспропрiацiей, какъ средствомъ личнаго существованiя. Въ лучшемъ случаѣ, остался у него еще отпечатокъ героизма, блестящая оболочка въ видѣ набора страшныхъ словъ. Разница, повторяю, стирается и прокуратурой, не отличающей „партiйныхъ экспропрiаторовъ" отъ непартiйныхъ, но болѣе или менѣе разсуждающихъ. Вотъ послушайте-ка ихъ здѣсь, посмотрите надписи на книгахъ:

— Болваны соцiалъ-демократы, что шпики,—пишетъ „Крестьянинъ",—кризисомъ считаютъ, когда хлѣбъ дешевъ, вотъ значитъ въ деревнѣ не были. Берутъ только изъ книгъ, не испытавши на практикѣ, сидятъ въ институтахъ, ни черта не знаютъ. Не-

бось, Плехановъ хочетъ продать свою фабрику въ Женевѣ, изъ-за кризиса у него товаръ никто не беретъ. А вырабатывалъ по-чертовски, по-эс-дековски!

— Эхъ, дядя,—пытается его урезонить с.-д.,—вотъ ты въ деревнѣ былъ, а городишь ругань, а не доказательства. Значитъ, можно писать и говорить о томъ лишь, гдѣ самъ былъ! Вотъ бы хорошо: с.-р-ы перестали бы говорить о томъ, чего не знаютъ и не видѣли...

— Вѣрно, да здравствуетъ Р. С.-Д. Р. П., да здравствуетъ хромая республика, да здравствуетъ соціализмъ объ одномъ глазу, ура с.-д. буржуйчикамъ-кадетушкамъ!

Можетъ быть, это еще относительно прилично? Такъ не угодно ли еще послушать:

— П. Масловъ назвалъ одного рабочаго, арестованнаго за экспропріацію на мѣстѣ, уголовнымъ преступникомъ,—сообщаетъ кто-то,—и отказался отъ протеста, когда его посадили въ карцеръ (въ іюнѣ 1907 г.).

— Не затрагивая совершенно поведенія Маслова, о которомъ намъ здѣсь совершенно ничего неизвѣстно,—слѣдуетъ отвѣтъ,—любопытно было бы все-таки узнать, чѣмъ отличается ограбленіе максималистами какой-нибудь лавчонки отъ другого уголовнаго грабежа?

— Я прошу васъ, г. соц.-дем., привести примѣръ. Хорошо всякой гадинѣ такъ разсуждать, когда она боится свою шкуру подъ пули подставлять...

Дѣло въ томъ, видите ли, что соц.-д. „оправдываютъ казни“ и „можно ожидать, что скоро и сами будутъ въ этомъ помогать правительству“.

— Да, „дисциплинированные рабочіе“, члены Р. С.-Д. Р. П., призываются къ борьбѣ съ экспропріаторами этой с... Плехановымъ. Лондонская резолюція гласитъ, что „членамъ партіи воспрещается оказывать какое-либо содѣйствіе экспропріаторамъ“, т. е. надо помогать полиціи ловить ихъ.

— Вниманіе, отечественные марксисты, русскіе соц.-демократы! Идемте въ 14-ую Думу. Необходимо использовать всѣ уступки правительства. Будемъ говорить рррѣчи, чортъ дери... будемъ призывать „дисциплинированныхъ рабочихъ“ къ борьбѣ съ экспропріаторами-разбойниками!.. „Мы въ принципѣ не признаемъ насилія“... „давно уже вычеркнули его изъ своей программы“—это сказалъ еще „товарищъ“ Рамишвили на судѣ... Но вѣдь это только о правительствѣ сказано, а экспропріаторовъ ловите, бейте, помогая правительственной полиціи!!!

Мы распустимъ дружины повсюду,
Чтобъ народъ развращаться не могъ
И прикажемъ рабочимъ повсюду
Цѣловать полицейскій сапогъ...
Вставай, подымайся, эс-декъ патріотъ и т. д.

Согласитесь, это не выраженія идейныхъ людей, не идейная борьба за свое дѣло. Пробѣгая сотни аналогичныхъ угрозъ, лишній разъ убѣждаешься, какъ, въ самомъ дѣлѣ, мало осталось отъ прежняго идейнаго противника.

Обращаясь отъ этой волны дезорганизаціи, съ одной стороны, вульгарной обывательщины съ другой—къ традиціонной фигурѣ „политика" прямо отдыхаешь душой. Чувствуется все же былой пульсъ, который такъ или иначе подтверждаетъ, что скорѣе ножъ, рубящій освободительныя вѣтви притупится, чѣмъ истощатся тѣ внутренніе соки, которые ихъ питаютъ.

Однако, было бы ошибочно думать, что метаморфоза, наблюдаемая среди политиковъ, касается только новыхъ ея членовъ—недаромъ тюрьма отражаетъ настроенія воли какъ вширь, такъ и вглубь. Развитіе движенія вглубь давно остановилось — въ этой области пулеметы и прочія „мѣры" успокоенія приносили и приносятъ свои плоды, въ этой области лѣвая психика не дѣлала и не могла дѣлать успѣховъ въ моменты тѣхъ отступленій какія слѣдовали за подъемами. И „литература" теченій, по праву считающихъ себя хранителями революціоннаго наслѣдства, подтверждаетъ это довольно наглядно. Не прежняя это требовательность къ себѣ, не прежнія муки исканія—чувствуется вмѣстѣ съ тѣмъ пригнетеніе безпокойной мысли, разжиженіе атмосферы умственнаго труда, ходячая монета готовой формулы, обезцвѣчивающей зачатки идей. Я говорю, конечно, о средней индивидуальности: возвышающійся надъ среднимъ уровнемъ, склоненъ больше думать про себя, чѣмъ на поляхъ страницъ. Но вѣдь эта середина и характерна.

Вотъ образчики отзывовъ о книгахъ: *Плехановъ.* „Замѣчателенъ ложью, кувырканьемъ, паясничаньемъ. А жаль старика! Не случись съ нимъ бѣды, такъ толкъ бы изъ него былъ. Былъ ядовитъ блаженной памяти старичокъ, а теперь зубы выпали и... какъ будто... умомъ рехнувшись. Впалъ въ дѣтство и съ кадетами въ конституцію играетъ, а весной 1906 года хотѣлъ изъ кадетовъ составить учредительное собраніе, которое должно водворить въ Россіи благія начинанія". Или: „судя по тому, какъ Плехановъ излагаетъ философію Гегеля, можно заключить, что онъ самъ въ ней разбирается, какъ свинья въ апельсинахъ.—Ахъ, Георгій „Побѣдоносецъ", да вѣдь если человѣчество познало уже преимущество позитивнаго мышленія, такъ, значитъ, оно уже доросло до него! *Луначарскій* констатируетъ, что „буржуа долженъ быть вѣчно занятъ „дѣломъ", нужно непоколебимое тупое убѣжденіе, что это есть „дѣло", а все прочее бездѣлье"; читатель отмѣчаетъ: „Луначарскій не понимаетъ, что такое дѣло. И, вообще говоря, марксистъ такъ не разсуждаетъ". *Каблуковъ.* „Съ одной стороны, вѣрно: содрано у Каутскаго. Молодецъ Каблуковъ—блестящій отвѣтъ тѣмъ „критикамъ", которые, не понимая, спраши-

ваютъ. Съ другой—буржуй ссылается на буржуя—Каблуковъ на Зомбарта“. Или: „г. Каблуковъ эс-эр-ствующій, на него постоянно ссылаются въ спорахъ съ марксистами мелкіе буржуи. И вдругъ его обвинили въ соціалъ-демократизмѣ. Караулъ! Своя своихъ не познаша!!“ Большей частью, впрочемъ, отзывы бываютъ коротки: „надо читать с.-р-амъ, авось поумнѣютъ“; „т. е., такой подлой души, какъ Левитскій, клянусь, я не встрѣчалъ“, „Струве потому сдѣлался кадетомъ, что кадеты и соціалъ-демократы—одно и то же“, „не ожидалъ, что у Пѣшехонова такой взглядъ на честныхъ людей“ и т. п.

Таковы отзывы. А вотъ образчики бесѣдъ на партійныя темы. Послѣ чтенія Бельтова:

— Спрашивается, что осталось отъ гг. Михайловскаго, Кривенко и пр. слабоголовыхъ людей?

— Осталась „цѣлокупная личность“, которую ни перстомъ, ни пестомъ не проймешь.

— Отъ самого г. Бреханова осталась одна „отрыжка“ послѣ того, какъ онъ „набрехалъ“ весь свой вздоръ.

— Въ искаженіи Бреханова дѣйствительно и слѣда не осталось. Опровергайте-ка...

— А вы, кажись, помѣшались на „брехоманіи“ до того, что не стыдитесь искажать фамилію руганью. Чтожъ, пусть! Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало. Разъ по существу дѣло не идетъ, остается только... ругань. Валяйте, удовлетворяйте наболѣвшую за время чтенія „вздора“ душу.

— Это, кажись, у всѣхъ солагерниковъ Михайловскаго и К⁰ такъ: товарищъ одинъ дуетъ во всю „Брехановъ“, а публицистъ Энгельгардтъ прямо такъ и вторитъ: у него Туганъ-Барановскій тугая голова съ бараньими мозгами или баранья голова съ тугими мозгами и т. д. Однимъ слбвомъ, манера ругаться, „брехать“, когда иначе бѣдѣ не поможешь.

Или:—Идіотская статья, проще сказать, эс-эр-овская, этимъ уже ясно, что она идіотская.

— Это обычный способъ с.-д. полемизировать или отдѣльныя выходки отдѣльныхъ идіотовъ?

— Вѣдь и марксизмъ—революціонная теорія постольку, поскольку революціонны кадеты...

— Сколько, товарищи, пользы, что вы другъ друга изругали, лучше ужъ ничего не писать, чѣмъ ругаться.

— Позвольте усомниться.

Такими діалогами испещрены книги; иныя изъ нихъ являются какъ бы собственными территоріями той или иной группы, напр., „Реформизмъ и синдикализмъ“ Лабріола—у анархистовъ, „Объ условіяхъ развитія крестьянскаго хозяйства“ Каблукова—соціалъ-демократовъ, Бельтовъ, какъ это ни странно,—соціалистовъ-революціонеровъ и пр. Я привожу эти замѣтки не потому, чтобы не

было болѣе серьезныхъ. Чего серьезнѣе, напр., такихъ помѣтокъ рядомъ:

— М. Никоновъ. И. Мироновъ. Приговорены къ смертной казни. 29 апрѣля 1908 года.

— К. Ликумсъ. И. Епифановъ. Приговорены къ смертной казни. Того же числа...

Встрѣчается не одно лирическое изліяніе, не одно научное разсужденіе. Но *преобладаетъ* именно матеріалъ, какой я привожу, показывающій, насколько общая атмосфера современной тюрьмы отражается на ея лучшихъ элементахъ. Какъ будто они устали, и мысль стала изжевана, измята. Чѣмъ отличаются отъ обывательскихъ анекдотовъ или максималистскихъ крѣпкихъ словъ, напр., такія выходки:

— Что это значитъ въ 1906 году еще цензура? (Н. Максимовъ. Къ критикѣ марксизма).

— Да вѣдь книга издана соціалистами-революціонерами. Испугались и полѣзли въ цензуру. Фразеры...

— Ну, и шутъ же ты, паря! С.-д. разобьетъ горшокъ буржуа, дабы показать свою храбрость. О с.-р. не приходится говорить, ибо террористы не бываютъ трусами.

Или—по поводу письма К. Маркса въ „Отечественныя Записки":

— Вниманіе, товарищи! Далъ К. Марксъ въ физію эс-декамъ...

— Н-да! Далъ! Это фактъ... Но кому? Немножко вашего вниманія, г. критикъ, и даже ваши эс-эровскіе мозги поймутъ, что не с.-д. далъ въ физію К. Марксъ, а кому-то другому. Напрасно только К. Марксъ стѣснялся Михайловскаго и не выражался покрѣпче...

— Хотѣлъ бы пустить по м....ѣ, но, говорятъ, дѣвичій стыдъ мѣшаетъ....

Я не поклонникъ расшаркиваній другъ передъ другомъ, которые пытались одно время ввести въ нашей литературѣ. При живомъ обмѣнѣ мнѣній прилизанность просто невозможна. Наоборотъ, полемика и расчистила поле русской общественности отъ всего, что такъ держалось у насъ съ прочностью предразсудковъ. Но все же, согласитесь, такъ прежде не полемизировали даже... на страницахъ тюремныхъ книгъ. Это говоритъ не только о томъ, что не революціонеръ задаетъ тонъ въ нынѣшней тюрьмѣ, но что, растворяясь въ нигилистически-обывательской массѣ, онъ нерѣдко начинаетъ усваивать ея привычки...

Это тѣмъ знаменательнѣе, что среди авторовъ максималистскихъ пробъ пера, какъ они сами сознаются, немало соціалъ-демократовъ, именно рабочихъ. Въ этомъ я убѣдился изъ личныхъ опросовъ. Это уже не тотъ пролетарій, который говорилъ и говоритъ устами горьковскаго Павла: „намъ, рабочимъ надо учиться"

или „люди плохи, да... но когда я узналъ, что на свѣтѣ есть правда, люди стали лучше“. Я помню своихъ сосѣдей по камерѣ— рядомъ и вверху—въ домѣ предварительнаго заключенія въ 1902 году. Бывало—стукъ-стукъ-стукъ: это рабочій семянниковскаго завода, рядомъ.

— Что дѣлаете, Миловановъ?—Онъ сидитъ уже девять мѣсяцевъ по дѣлу спб. „Союза“.

— Да все то же. Читаю. Здѣсь только читать и можно...

— Все Дарвина своего?

— Да, „Происхожденіе видовъ“... Замѣчательная книга...

И такъ мѣсяцъ за мѣсяцемъ... Рабочій, сидѣвшій надо мною, привезенный изъ Вильны, изучалъ даже... тригонометрію. „Не вамъ однимъ все знать—пора и намъ за умъ взяться“, выстукивалъ онъ въ долгіе зимніе вечера... И я представлялъ себѣ его симпатичную, добрую улыбку.

Тогда—да и долго потомъ—другого типа рабочаго-интеллигента не было. Теперь, послѣ двухъ лѣтъ отчаянной борьбы,—не то. Положеніе рабочаго ужасно. Вѣдь движеніе истощалось не однимъ кровопусканіемъ—его брали и голодомъ. Составился заговоръ съ капиталомъ, послѣ котораго сперва на казенныхъ, затѣмъ на частныхъ заводахъ и фабрикахъ расчитывались тысячи сознательныхъ рабочихъ, которые буквально остались на улицѣ. Гдѣ тѣ условія, которыя бы не дали опуститься этимъ людямъ на торную линію примитивной стадіи борьбы? Ударъ за ударомъ сыплется, отступаетъ возможность прежней дѣятельности, мысли и чувства становятся хаотичнѣе—такъ пролетарій-партизанъ готовъ по чувству, по страсти... Разумѣется, лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ. Пролетаріатъ, какъ таковой, не можетъ имѣть ничего общаго съ психологіей максимализма. Но для тюрьмы этихъ случаевъ достаточно...

* * *

Что же такое тѣ вольные и невольные демократы, которые стали задавать тонъ въ политической тюрьмѣ теперь? Для психологіи „политика“ характеренъ слѣдующій фактъ, косвенно иллюстрирующій ее. Это отношеніе его къ „начальству“. Еще недавно шла ожесточеннѣйшая борьба въ тюрьмахъ. Теперь это напряженіе все болѣе ослабѣваетъ, и—къ худу ли, къ добру—вмѣсто человѣка, по цѣлымъ недѣлямъ отказывавшагося принимать пищу, проводившаго сутки за сутками въ темныхъ карцерахъ, вы видите часто джентльмена, котораго и самъ тюремный унтеръ „уважаетъ“.

— Какъ же можно... Образованные люди—сами должны понимать, что безпорядокъ...

Взгляните на этого маленькаго артиста или помощника присяжнаго повѣреннаго, плюющаго, по его собственному выраженію,

на соціализмъ „съ высокаго дерева“, или издателя конфискованной брошюры въ бесѣдѣ съ этимъ унтеромъ,—и сравните съ отношеніями недавняго прошлаго. Послушайте.

— Мнѣ помнится 1904 годъ въ Екатеринославской тюрьмѣ. Послѣ машиннаго бунта на громадномъ заводѣ въ селѣ Каменскомъ и грандіознѣйшей стачки рабочихъ знаменитаго Брянскаго завода, разлившейся на всѣ крупныя предпріятія города, въ тюрьму привели шестьдесятъ или восемьдесятъ человѣкъ стачечниковъ. Размѣстили всѣхъ ихъ въ двухъ камерахъ внизу, въ такъ называемыхъ „секреткахъ“. Самъ я тамъ не бывалъ, но по отзыву надзирателя нашего этажа, стараго тюремнаго воробья, туда и „собаку-то бросить жалко“. Этотъ взглядъ, вѣроятно, раздѣлялъ даже далеко не сентиментальный „Драконъ“, самая кличка котораго достаточно характеризуетъ качества, наиболѣе замѣтныя арестантамъ въ начальникѣ тюрьмы, и въ секретки „опасныхъ“ сажалъ въ рѣдкихъ случаяхъ. Трудно представить себѣ, что дѣлалось въ этихъ секреткахъ. Въ испорченной атмосферѣ, среди сырости и гнили, въ теченіе трехъ уже мѣсяцевъ сидѣли „политически уголовные“ почти безъ одежи, а послѣдніе два мѣсяца—безъ передачи и свиданій на одной казенной баландѣ. Конечно, другъ другу они надоѣли нисколько не меньше. чѣмъ сидящіе сейчасъ въ пересыльной редакторы и не меньше ихъ жаждали зависѣвшаго отъ начальства перевода въ одиночку. Только они не толпились при входѣ начальника въ камеру, благовоспитаннымъ тономъ не намекали на неудобства заключенія, а прямо протестовали, когда ихъ пытались одѣть въ арестантское платье, называть на „ты“ и, вообще, третировать, какъ подчиненныхъ—протестовали упорно, горячо. Между тѣмъ и здѣсь были сѣряки, почитавшіе „ваше благородіе“. Но здѣсь была пролетарская солидарность, направляющая всю силу концентрированнаго негодованія противъ униженія, требующая солидарность, а не просящая жалоба...

Это разсказываетъ человѣкъ, который въ тюрьму въ тѣ годы пріѣзжалъ, какъ добрый семьянинъ съ дачи на зимнюю квартиру—каждый годъ.

— 1904-й годъ, видите ли, съ его стачечнымъ движеніемъ создалъ новую тюремную категорію „политически-уголовныхъ“. Это—представители уже широко развившагося массового движенія пролетаріата, это серединные рабочіе стачечники, съ сильно развитымъ революціоннымъ инстинктомъ. Новички въ движеніи, едва сознавшіе свое человѣческое достоинство, они горячо протестуютъ противъ всякаго покушенія на ихъ личность. Еще вчера въ тюрьмахъ учились и учили. Учились быть борцами—и не одинъ десятокъ рабочихъ получалъ тамъ свое образованіе. Лекціи и рефераты, книга и газета, живые обстоятельные споры о тактикѣ, въ процессѣ которыхъ кристаллизуются партійныя мнѣнія и

партійная группировка—рабочій, чуть не наизусть знающій Маркса и нелегальный до такой степени, что даже свою настоящую фамилію забылъ, дружески пожимаетъ руку бывшему студенту, затѣвая вмѣстѣ съ нимъ рефераты, изданіе газетъ. Затѣмъ теоретическіе разговоры смолкаютъ и вспыхиваетъ жестокая тюремная борьба. Обструкціи смѣняются обструкціями, голодовки голодовками...

Первая половина 1905 г. вся полна аналогичныхъ выступленій...

— Въ тѣ времена тюрьма воспитывала борцовъ... Пролетаріатъ тогда, главнымъ образомъ, посылалъ своихъ представителей въ тюрьмы, и здѣсь, во мракѣ карцеровъ, подъ ярмомъ больного самодурства, воспитывались мужественные, отважные люди, предпочитавшіе лучше терпѣть всѣ лишенія, чѣмъ покупать облегченіе положенія цѣной оскорбительнаго компромисса. Суровый инстинктъ рабочаго былъ той благодарной почвой, гдѣ быстро расли сѣмена самоуваженія, достоинства личности. Того, кто сказалъ бы „ваше благородіе", единодушно бойкотировала бы вся тюрьма. А теперь не бойкотируютъ. Значитъ, тюремная среда не та, и нѣтъ у нея, этой среды, стремленія планомѣрно воздѣйствовать на неокрѣпшую личность. Среда сама измѣнилась, и измѣнились ея отношенія въ тюрьмѣ. Она измѣнилась на волѣ, и всѣ перемѣны отразила тюрьма.

— Въ движеніе не вносится вытекающій у пролетаріата изъ его классового положенія широкій идеализмъ, заставляющій его требовать такихъ реформъ, которыя бы давали возможность дальнѣйшаго движенія. Здѣсь, наоборотъ, всякое улучшеніе цѣнится per se, какъ нѣчто безотносительно хорошее, и потому не все ли равно, какъ его добиться—просьбой, требованіемъ ли, лишь бы добиться. И невѣрный, но неизбѣжный при такой психологіи принципъ переносится съ крупныхъ политическихъ вопросовъ на самыя мелкія уступки. А затѣмъ съ воли въ тюрьму—черты до крайности оппортунистической приспособляемости. И нѣтъ ничего удивительнаго, что вчерашній или завтрашній аграрникъ въ потенціи, вчерашній прогрессивный выборщикъ сегодня проситъ „его благородіе" снизойти до него...

Говорю словами человѣка, 1904 и 1905 годы просидѣвшаго въ тюрьмѣ, такъ какъ самому мнѣ не довелось пережить ни тогдашнихъ вѣяній, ни тогдашней борьбы. Не могу только не отмѣтить нѣкоторой идеализаціи въ нихъ пріемовъ тюремной борьбы. Напримѣръ, голодовки стали ослабѣвать отнюдь не потому только, что среда измѣнилась. Въ нарвской части, гдѣ вопросъ о ней дебатировался при мнѣ по болѣе чѣмъ насущному поводу—смотритель отказался заключенныхъ выводить на прогулку, кажется, послѣ обнаруженія готовившагося побѣга,—мнѣ довелось о голодовкахъ бесѣдовать съ двумя сознательными, бодро настроенными рабочими. Они, какъ и большинство тюремнаго населенія, высказывались противъ голодовки отнюдь не изъ трусости.

— Уморить себя голодомъ могутъ только герои,—сказалъ мнѣ одинъ.—Начальство это поняло, и постольку голодовка пойдетъ лишь имъ на пользу, деморализуя публику...

Но психологически параллель, отмѣченная выше, совершенно вѣрна.

Чѣмъ ближе къ „текущему моменту", чѣмъ больше въ тюрьмѣ людей, у которыхъ нѣтъ выдержки старыхъ революціонеровъ, тѣмъ обструкціи становятся менѣе удачными, голодовки рѣже удаются. Пролетаріи при самыхъ невѣроятныхъ условіяхъ уже не осуществляютъ своего права, не чувствуя связи съ движеніемъ на волѣ,—съ упадкомъ стачечной волны она становится все меньше. Появляется рѣдкая для тюрьмы фигура—сельскій священникъ, а затѣмъ въ теченіе всего 1906 года—аграрники. Оказывается, сравнительно все меньше профессіональныхъ революціонеровъ. Когда-то дружная и солидарная организація внутри тюрьмы исчезаетъ, прежніе непримиримые революціонеры растворяются въ массѣ обывателей...

Движеніе изъ почти исключительно пролетарскаго превратилось въ общее... На арену борьбы вышли разнообразные слои, принесли свои методы мышленія и чувствованія, симпатіи и антипатіи, свои старыя привычки и навыки, и представители пролетаріата оказались не въ большинствѣ.

***

Поворотъ въ типѣ „политика"—совершившійся фактъ. Не могу однако, заразиться тѣмъ пессимизмомъ, который звучитъ у „стариковъ".

Несмотря на пессимистическія ноты, въ самой ихъ бодрости чувствуется протестъ противъ этой безнадежности, тотъ живой духъ, который въ каждомъ здоровомъ организмѣ не перестаетъ свѣтить въ душѣ, какъ солнце, какъ бы окружающая обстановка ни казалась непривычной, чуждой, сумеречной... Развѣ послѣ того, что нами пережито за послѣдніе два года, тюрьма можетъ быть иной? Эта обывательщина, этотъ профессіональный нигилизмъ есть такое слѣдствіе соотношенія освободительныхъ силъ, какъ и тѣ теченія, которыя, все-таки бодрствуютъ со свѣточами въ рукахъ, не давая имъ потухнуть...

Противъ этого, конечно, сами пессимисты не станутъ спорить. Но въ такомъ случаѣ остается привести свой послѣдній аргументъ, а именно, что эта пестрота „племенъ, нарѣчій, состояній", эта потребность размежеваться, раздѣлиться между чуждыми теченіями недавно еще однородной среды, даже это „ваше благородіе", втиснутое въ этотъ пестрый аггрегатъ—во всѣхъ своихъ частяхъ, не только не есть признакъ пораженія, а наоборотъ, наглядный показатель побѣды тѣхъ идей, за которыя борется та или иная оппозиціонная разновидность.

Профессіоналъ-революціонеръ отходитъ въ область прошлаго, теперешній обитатель камеры это—человѣкъ массы, все равно къ какой бы онъ партіи ни принадлежалъ—онъ является творцомъ тюремныхъ настроеній. Допустимъ. Но развѣ это—унылый сумеречный типъ восьмидесятыхъ годовъ! Развѣ было бы возможно самое существованіе массовика, если бы моменты эти были аналогичны?

Выводъ изъ нашихъ наблюденій, очевидно, таковъ: революціонеръ, столь неотразимо дѣйствовавшій на широкіе слои на волѣ, каждый поступокъ оцѣнивающій исключительно сквозь призму того дѣла, которому онъ служитъ, непреклонный въ своихъ рѣшеніяхъ, для котораго не существовало ни преградъ, ни опасностей, попадая въ тюремную среду новой формаціи—наполовину обывательской и псевдореволюціонной,—начинаетъ растворяться въ ней, таять, расплываться, усваивая себѣ навыки этого пестраго коллектива. Въ важнѣйшихъ своихъ проявленіяхъ онъ остается тѣмъ же, но психологическій складъ нерѣдко все-таки нарушается, блѣднѣетъ въ атмосферѣ этого тренія. Не прежняя это цѣльность, невредимость—чувствуется потрепанность, слѣды новаго однообразія, равненія подъ обезцвѣчивающій шаблонъ...

Грустно смотрѣть на засасываніе пестрой массой какой-нибудь свѣтлой, яркой индивидуальности—на это надо указывать, надо бороться съ этимъ внѣ тюрьмы и въ тюрьмѣ. Но... едва ли это сколько-нибудь глубоко. Старыя раны опять заживутъ, общественныя силы, сдавленныя тупымъ сопротивленіемъ, пойдутъ своими дорогами—и живая жизнь со всей ея строгостью и цѣльностью дастъ себя знать и въ тюремной средѣ. Идеализація т. н. профессіонала-революціонера есть идеализація той же „критически-мыслящей личности", то же киваніе въ сторону героя-народовольца, къ которому соціалисты-революціонеры пріучаютъ свои кадры вмѣсто того, чтобы надѣяться на самихъ себя. Не въ томъ дѣло. Дѣло въ томъ, что прежнее потеряло кредитъ въ глазахъ многихъ, новые пути еще вырабатываются въ горнилѣ жизни, а трудно указать организмъ, который бы такъ отражалъ внѣшнія настроенія, какъ тюрьма. Въ этомъ—грустная сторона дѣла, но въ этомъ же и неисчерпаемый источникъ оптимизма.

Л. Клейнбортъ.

ВЪ ОГНѢ ЗАЩИТЫ.

(Изъ впечатлѣній политическаго защитника).

Очерки **Вл. Бернштама.**

СЕРІЯ I-АЯ.

Снова берусь за перо.—Начинаю записки адвоката...

Въ 1901-мъ году, 4 марта, на Казанской площади произошло извѣстное избіеніе молодежи. Въ числѣ многихъ другихъ я подписалъ заявленіе о необходимости привлечь къ отвѣту виновныхъ. И меня выслали изъ Петербурга. Пятилѣтній трудъ адвоката рабочихъ неожиданно оборвался.

Настало вынужденное бездѣліе. Желая заполнить время, я попробовалъ записать впечатлѣнія защитника трудящагося люда. Подъ заглавіемъ „За право!" они были помѣщены въ „Русскомъ Богатствѣ", а затѣмъ въ моей книжкѣ того же названія [1])...

Настоящія записки являются продолженіемъ первыхъ. Но они совсѣмъ иного рода...

Проживая въ Полтавской губерніи, какъ административно ссыльный, я все же имѣлъ возможность принять участіе въ защитѣ по грандіозному политическому дѣлу о крестьянскихъ безпорядкахъ въ Полтавской же губерніи. Мѣсяцъ работы, 1015 подсудимыхъ, разбитыхъ на группы, бесѣды, наблюденія, отчаяніе и надежды уже рѣшили поворотъ моей дѣятельности. Вернувшись въ Петербургъ (черезъ 1½ года отсутствія), я попалъ сюда какъ разъ въ то время, когда, по почину Плеве, только что начали передавать въ суды политическія дѣла. Поѣхалъ на защиту въ Якутскъ. Возвращаясь, попалъ на Красноярскій процессъ. Нелегальная типографія, печатающая самыя рѣзкія прокламаціи, организованная агентомъ охраннаго отдѣленія Бойцовымъ... Все это потрясающе раскрылось на судѣ... Даже прокуроръ палаты былъ подавленъ... Едва занявшись политическими дѣлами, я увидѣлъ, что эта работа мнѣ болѣе всего по душѣ... И я сдѣлался исключительно политическимъ защитникомъ... По моему почину въ Петербургѣ возникла первая окраинная консультація для рабочихъ.. Затѣмъ появились другія. Это дѣло было въ вѣрныхъ, хорошихъ рукахъ товарищей, и я спокойно ушелъ отъ спеціально рабочей практики на болѣе широкую дорогу... Снова прошло пять лѣтъ захватывающей работы. Какъ глубоко измѣнилось все содержаніе

---

[1]) Владимиръ Бернштамъ „За право!" Изданіе 3-е. О. Н. Поповой.

ея! Чего только мнѣ не пришлось увидѣть и услышать, чего только не пришлось пережить.. Иногда, въ отчаяніи, я желалъ бросить адвокатуру. Но не могъ. Уже черезчуръ неразрывно, всѣми нитями существованія, былъ прикрѣпленъ къ ней. Писать записки?—Мнѣ было не до нихъ...

20 октября 1907 года общее собраніе департаментовъ Спб. Судебной Палаты запретило мнѣ на 6 мѣсяцевъ практику... По Двинскому дѣлу Маньковскаго! По самому дорогому мнѣ дѣлу...

Онъ былъ осужденъ на смертную казнь. Невиннаго человѣка хотѣли повѣсить. А между тѣмъ его судилъ и осудилъ, предсѣдательствуя, оказавшійся больнымъ генералъ К.—непосредственно послѣ суда помѣщенный въ психіатрическую лечебницу! Тамъ онъ находится и по настоящее время. При разборѣ дѣла была допущена масса кассаціонныхъ нарушеній. Мы, защитники, боялись, что кассаціонной жалобѣ, по 1401 ст. военно-суд. уст., не будетъ дано хода, а приговоръ немедля приведутъ въ исполненіе... И я поѣхалъ къ *потерпѣвшему* полицеймейстеру Булыгину (на него покушались) просить ходатайствовать передъ командующимъ войсками не задерживать жалобу и сохранить жизнь Маньковскаго. Говорили. У полицеймейстера на столѣ лежалъ револьверъ. Онъ жаловался на свою судьбу, на душевную тяжесть. И я, уговаривая его подать прошеніе, вспоминая Оболенскаго и Качуру, между прочимъ сказалъ: „подача такого справедливаго ходатайства примирила бы съ вами самые крайніе круги, и вамъ не пришлось бы держать при себѣ револьверъ"...

Полицемейстеръ былъ любезенъ, обѣщалъ посовѣтоваться съ сослуживцами и отвѣтить мнѣ по телефону. Отвѣтилъ отказомъ... Кромѣ того утромъ, послѣ осужденія Маньковскаго ко мнѣ пришелъ рабочій, сообщившій, что Маньковскій не виновенъ, что стрѣлялъ онъ. Рабочій совѣтовался, какъ быть, что ему предпринять... Я не задержалъ его и не донесъ, но сообщилъ объ этомъ суду при вторичномъ разборѣ кассированнаго дѣла Маньковскаго, когда выступилъ въ качествѣ свидѣтеля. Маньковскаго оправдали. Меня привлекли къ дисциплинарному производству. Прокуроръ обвинялъ въ томъ, что я обезпечивалъ благопріятное показаніе *свидѣтеля* Булыгина, угрожая револьверомъ. Совѣтъ единогласно оправдалъ меня. Товарищи выразили сочувствіе. Прокуроръ палаты Камышанскій обжаловалъ дѣло въ общее собраніе Департаментовъ. Здѣсь онъ сталъ обвинять меня въ недонесеніи. Какъ я могъ не донести на рабочаго, пришедшаго ко мнѣ—адвокату, посовѣтоваться! И общее собраніе палаты вынесло свой приговоръ... Лишь 20 апрѣля смогу я снова взяться за покинутую работу. А пока?!—Въ огнѣ защиты потеряешь ты право свое!..

И снова я очутился передъ вынужденнымъ бездѣльемъ.. Жить въ Питерѣ со связанными руками, ничего не дѣлая, я не могъ. Уѣхалъ заграницу... Сижу на горахъ Швейцаріи...

Мысленно пробѣгаю ворохъ впечатлѣній, воспоминаній... Знаю, что о многомъ не пришла пора писать, но вѣдь и то, о чемъ можно расказать, вѣроятно будетъ интересно... Буду писать отрывками. Безъ всякой хронологической связи. Удобнѣе во многихъ отношеніяхъ [1])... Итакъ, за дѣло!...

Швейпарія. Davos-Platz.
Январь 1908 года.

Помогите!

— Я предатель!—сказалъ онъ, выпрямляясь во весь ростъ. И отошелъ въ дальній уголъ комнаты свиданія съ защитникомъ и точно ждалъ, что я ударю его...

Мы долго молчали...

— Я поэтому и позвалъ васъ... Мнѣ нужна ваша помощь... Я хочу взять оговоръ обратно. Но этого мало... Я долженъ сдѣлать все для спасенія товарищей! И я возьму все, рѣшительно все на себя... Всѣ убійства... Ихъ было кажется три... Такъ въ обвинительномъ актѣ?.. Одно въ лѣсу—провокатора и два около магазина. Потомъ нужно, чтобъ кто нибудь былъ организаторомъ экспропріацій... Нуженъ отвѣтственный редакторъ... Скажите же, какъ говорится въ дѣлѣ объ убійствахъ, какія у нихъ данныя... Какъ начались наши экспропріаціи? Если я не буду знать детально, они не повѣрятъ моему разсказу...

— Васъ будетъ судить военный судъ. Васъ ждетъ тогда смертная казнь!..

— Я это знаю! Мое рѣшеніе безповоротно. Они повѣсятъ меня! Я казнилъ бы себя три мѣсяца назадъ собственноручно, но не хватило воли...

Онъ помолчалъ. И задумчиво прибавилъ:

— Вѣдь я подлѣе Іуды. Тотъ былъ сильнѣе... Онъ самъ повѣсился!.. А я... жалкій, слабый трусъ... Хочу жить, боюсь „того свѣта"... Пусть же другіе... Когда было убійство въ лѣсу: днемъ или вечеромъ?..

— Нѣтъ, такъ защищать я не согласенъ. Я не стану подготовлять висѣлицу...

---

[1]) Какъ присяжный повѣренный, я не имѣю права разглашать подробности дѣлъ, заслушанныхъ при закрытыхъ дверяхъ. А между тѣмъ вся или почти вся, моя политическая практика прошла въ судебныхъ залахъ, охраняемыхъ стражей, съ наглухо заколоченными входами... Оттого записки либо вовсе безымянны, либо съ вымышленными именами...

Еще одно замѣчаніе во избѣжаніе совершенно ненужной и „легкомысленной" возможности привлечь меня къ новой дисциплинарной или иной отвѣтственности. (Хорошенькаго по немножку!)

— Замѣтки эти,—хотя и ведутся отъ моего лица,—(и являются отраженіемъ жизни!), все-же иногда суть плодъ „досужей фантазіи", а иногда передаютъ факты, сообщенные мнѣ товарищами. Какими?—Тайна сія велика!..

— Но вѣдь я рѣшилъ и умоляю васъ помочь...

— Повѣситься?

— Да, и повѣситься, и спасти товарищей...

— Мы сдѣлаемъ все возможное, чтобы спасти товарищей, но я не могу быть вашимъ палачемъ!. Скажите, какъ это случилось съ вами?!

— Я и самъ не знаю, и самъ пе понимаю! Когда схватили и привезли въ тюрьму, я вдругъ почувствовалъ усталость. Палъ духомъ. Я не думалъ, что одиночная камера можетъ такъ дѣйствовать... А между тѣмъ я раскисъ. Явилось какое-то безволіе.. Сомнѣніе въ себѣ. Пересталъ вѣрить въ наше дѣло... Экспропріаціи, экспропріаціи... Духъ умеръ... Меня привезли на допросъ. Сидѣлъ прокуроръ, его товарищъ, два жандармскихъ полковника. Я видѣлъ, что дѣло стоитъ скверно. Черезчуръ парадно обставляли мой допросъ... Послѣ первыхъ же словъ сказали, что отъ меня зависитъ передадутъ ли дѣло военно-полевому суду... Если я назову всѣхъ участниковъ, то предадутъ обыкновенному—будетъ много народу, нельзя же всѣхъ вѣшать... Мнѣ дали три минуты на размышленіе и показали заготовленную бумагу къ военному прокурору... Я страшно мучился. Подошелъ къ окну, оперся головой о косякъ... И въ головѣ была какая-то кошмарная пустота...

— У васъ остается одна минута на размышленіе—сказалъ полковникъ.—Если черезъ минуту вы не начнете давать показанія, васъ черезъ два дня уже повѣсятъ... Подумайте...

Я былъ точно пьянъ, въ какомъ-то туманѣ... Въ это время у стола поднялся товарищъ прокурора и началъ ходить по комнатѣ взадъ и впередъ, насвистывая или напѣвая, или иначе,—не помню,—„запрягу я тройку борзыхъ темно-карихъ лошадей и помчусь я въ ночь морозну прямо къ Любушкѣ своей...“ Пройдясь подъ мурлыканье раза четыре, онъ подошелъ къ окну и сталъ барабанить пальцами по стеклу, точно продолжая напѣвать. Вдругъ я услышалъ, что онъ поетъ подъ тотъ же мотивъ:— „Гавровъ, Гавровъ, валите все на мертвыхъ, мертвые сраму не имутъ“... И продолжая пѣть—„запрягу я тройку“,—онъ пошелъ обратно... И даже пальцами щелкалъ... Точно молоткомъ ударило мнѣ въ голову...—Валите все на мертвыхъ! Но кто же умеръ?! Я напрягалъ память... Ничего не выходило!..

— Пожалуйте къ столу. Срокъ уже окончился...—произнесъ холодный, какъ смерть, голосъ.

— Дайте мнѣ еще хотя двѣ минуты!..

Они согласились...

— Хорошо, мы подождемъ...

И я снова ломалъ голову! Боже мой, я не могъ вспомнить ни одного мертвеца! . Потомъ, въ послѣднее мгновеніе какъ-то неожиданно я вспомнилъ, что прокуроръ въ началѣ допроса спросилъ меня, зналъ ли я *покойнаго* Z.? Значитъ онъ умеръ,—

обрадованно рѣшилъ я. Онъ былъ раненъ, когда мы бѣжали съ мѣста экспропріаціи... Въ насъ такъ много стрѣляли... Онъ спасетъ насъ всѣхъ..

И я началъ показывать на него... Я цѣплялся за него, какъ за якорь спасенія..

И когда я кончилъ, они потребовали, чтобы я собственноручно записалъ... Продиктовали сами начало:—желая дать чистосердечное показаніе...

Я подписалъ... Тогда прокуроръ сказалъ:—теперь вы въ нашихъ рукахъ... Если черезъ три дня вы не назовете остальныхъ, мы покажемъ ваше показаніе Z... Я не выдержалъ. И закричалъ: развѣ онъ живъ?!—Да, конечно, вотъ его карточка, снятая у насъ.. Я понялъ, что погибъ...

Вернулся въ камеру. Все прыгало... Я не могъ сосредоточиться. Минутами мнѣ казалось, что я сошелъ съ ума... А можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ моя слабая голова не выдержала... Я хотѣлъ разбить свой черепъ о стѣну... И вдругъ я услышалъ стукъ... Тихій, назойливый стукъ въ стѣну. Я не хотѣлъ его слушать Я хотѣлъ бѣжать отъ людей, но вѣдь я не могъ бѣжать отъ стука! Азбуку я зналъ, точно телеграфистъ, потому что сидѣлъ два раза. Я не хотѣлъ слушать, что говорятъ, но слышалъ... Слышалъ, слышалъ!.. А можетъ быть то слышалъ мой помутившійся разсудокъ!.. Незнакомый сосѣдъ доброжелательно совѣтовалъ мнѣ спасти товарищей отъ висѣлицы, сдѣлать все, чтобъ ихъ не предали военному суду... Потомъ онъ говорилъ объ экспропріаціяхъ, объ ихъ вредѣ для народа, о развращеніи его, о гибели свободы... И я все слабѣлъ, слабѣлъ... О, какъ теперь мнѣ хочется мстить! Неужели вы не чувствуете, не понимаете, что сейчасъ я безповоротно готовъ разбить своимъ черепомъ эти стѣны, крошить его о нихъ, вырваться хотя на мгновенье туда, на свободу, къ людямъ, закричать имъ крикомъ погибающаго, послѣднимъ крикомъ умирающаго: . . . . Но это невозможно... Конечно, я имъ лгалъ... И они солгали мнѣ.. Обманули, обманули!.. Военный судъ!..

Онъ пріостановился и съ горькой улыбкой, перекосившей все его лицо, тихо, точно открывая самое завѣтное, промолвилъ:

— Я былъ глупѣе Іуды. Онъ получилъ настоящіе серебренники, а я продалъ товарищей за *фальшивые*...

— Но помогите мнѣ! Я долженъ знать всѣ мелочи. Я смогу имъ разсказать! Въ жизни я не умѣлъ лгать... Въ дѣтствѣ меня звали хрустальной коробочкой. Всѣ видѣли меня насквозь... Въ особенности мать и старшія сестры... Я никогда не могъ обмануть. Какъ бы ни хотѣлъ... И такъ было всю жизнь. Но тутъ—я сумѣю. Это будетъ большой душевный подъемъ, и я буду артистомъ, настоящимъ артистомъ! И я имъ разскажу, какъ убивалъ, какъ руководилъ всѣмъ... Помогите же мнѣ!..

Я снова повторилъ, что не могу помочь въ этомъ...

— Но вѣдь защиты мнѣ и не надо... Меня защищать?! Нѣтъ. Я уже самъ осудилъ себя. Сегодня утромъ я послалъ въ военный судъ заявленіе, что отказываюсь отъ защиты. Я зналъ, что оно идетъ три дня, и вы успѣете побывать у меня...

Онъ сидѣлъ, уронивъ голову...

— Помогите мнѣ, помогите!..

Эта мольба была ужаснымъ стономъ... Я едва держалъ себя въ рукахъ.

— Нѣтъ, въ этомъ помочь я не могу..

— Ну что-жъ,—вдругъ бодро сказалъ онъ, поднимаясь.—У меня явилась надежда, что я справлюсь самъ. Когда мнѣ предъявили слѣдствіе, я даже не взглянулъ на него, но я хорошо изучу обвинительный актъ. Я не буду останавливаться на мелочахъ .. Я *не смогу* говорить о нихъ. И они повѣрятъ, что я не въ состояніи... Это идея!

Мы попрощались... Крѣпко пожали руки...

Я отправился къ товарищу—опытному адвокату, который долженъ былъ защищать въ этомъ дѣлѣ другихъ подсудимыхъ, и попросилъ его незамѣтно для Гаврова защищать его, сдѣлать все, чтобъ спасти отъ висѣлицы...

Самъ я уѣхалъ. Скоро прочелъ въ газетѣ коротенькую замѣтку, что состоялся судъ надъ такими-то экспропріаторами. Среди нихъ былъ Гавровъ А затѣмъ, спустя нѣсколько дней: студентъ Гавровъ казненъ. И больше ничего...

Когда я вернулся, встрѣтилъ товарища, невидимо защищавшаго Гаврова.

— Что съ вами?—спросилъ я его,—вы совершенно посѣдѣли!

— Я защищалъ Гаврова,—коротко отвѣтилъ онъ.—Военное правосудіе свершилось...

* * *

Мнѣ пришлось уже однажды въ „Образованіи“ [1]) дать нѣсколько портретовъ „экспропріаторовъ“. Этотъ дополняетъ серію прежнихъ...

У всѣхъ экспропріаторовъ, съ которыми я сталкивался, меня поразила одна особенность: глубокое разочарованіе въ своей дѣятельности... Не въ идеяхъ анархизма или максимализма, нѣтъ, а въ путяхъ осуществленія ихъ. . Въ „*частныхъ*“ экспропріаціяхъ...—Глубокое, безысходное разочарованіе... Что тутъ дѣйствовало—неудача, тюремныя стѣны, одиночество, „атавизмъ привычекъ“, или просто стыдъ—не знаю... Но никогда ранѣе не было въ практикѣ политическаго защитника такого количества дѣлъ съ предательствомъ, оговоромъ товарищей, не приходилось видѣть такого количества прошеній о помилованіи .. На Высо-

---

[1]) Журналъ „Образованіе“ отъ 1907 г., за октябрь мѣсяцъ.

чайшее имя... Можетъ быть тутъ имѣла значеніе и случайность, разношерстность состава экспропріаторовъ... Не знаю.

Такъ или иначе, но часто, уходя изъ тюрьмы отъ подзащитныхъ экспропріаторовъ, я думалъ: напрасно и правительство и буржуазные круги общества такъ боятся этого движенія... Въ маховомъ колесѣ есть мертвая точка. Въ этомъ же движеніи все само по себѣ вымираетъ, и оно скоро будетъ самоубійственно мертво... Все мертво, а не отдѣльныя его точки...

И потому сейчасъ, оглядываясь на эту полосу встрѣчъ, я часто думаю:—Напрасно и правительство считаетъ, будто оно остановило потокъ экспропріацій, будто ему принадлежитъ „успѣхъ" подавленія ихъ... Нѣтъ, потокъ этотъ былъ горнымъ весеннимъ потокомъ, который затихъ безъ мороза и льда, только потому, что въ немъ самомъ не оказалось болѣе живительной влаги, не было болѣе жизни... Люди же съ безумной смѣлостью экспропріаторовъ остались, ихъ еще много, очень много и они страшнѣе самихъ экспропріацій...

Допросили.

Мы допрашивали свидѣтеля—пристава Патроса. Въ началѣ этого „пріятнаго разговора" онъ чувствовалъ себя героемъ дня. Держался напыщенно-важно, выпячивалъ грудь, увѣшанную восточными бляхами, небрежно бросалъ намъ отвѣты, непрерывно ссылался на служебную тайну, но оказывался элегантно-корректнымъ, когда къ нему обращался предсѣдатель палаты или особенно прокуроръ...

Дѣло было несложное даже для того далекаго времени.

Приставъ рѣшилъ арестовать нѣсколькихъ рабочихъ, побившихъ на улицѣ сыщика, переодѣтаго мастеровымъ. Для этого ночью окружилъ фабричную казарму семейныхъ рабочихъ громаднымъ отрядомъ полицейскихъ. Рабочіе во время замѣтили готовящуюся осаду и, заперевъ входныя двери, отчаянно свистѣли во всѣ форточки всѣхъ оконъ пятиэтажной казармы... Приставъ выломалъ двери. Рабочіе съ площадокъ лѣстницы встрѣтили полицію полѣньями, водой и обломками мебели. Прикрываясь дверьми, снятыми съ петель, полицейскіе ворвались наверхъ. Арестовывали потныхъ и лежащихъ одѣтыми... А рабочіе часто спятъ одѣтыми...

Изъ разсказовъ обвиняемыхъ мы хорошо знали, что произошло затѣмъ. Арестовавъ рабочихъ, полицейскіе нещадно избили ихъ. По приказанію Патроса, хватая, пропускали сквозь строй нагаекъ спѣшившихся конныхъ городовыхъ. Избіеніе уже арестованныхъ, беззащитныхъ продолжалось и въ участкѣ. Оно превратилось въ какой-то угаръ истязанія, опьянило полицію. И было настолько ужасно, что многихъ изъ доставленныхъ въ тюрьму сразу же

помѣстили въ больницу... Двое рабочихъ сошло съ ума, у нѣкоторыхъ выступила грыжа, одному высѣкли глазъ...

Объ этихъ „мелочахъ“ расправы Патросъ конечно молчалъ и всячески уклонялся говорить.

Онъ гордо повѣствовалъ...

— Я шелъ впереди авангарда. Враги обстрѣливали насъ полѣньями и всякой дрянью. Снявъ съ петель двери и прикрываясь ими, а также чѣмъ попало, точно древніе римляне подъ щитомъ черепахи—testitudo, мы медленно подвигались впередъ. Въ это время я былъ контуженъ полѣномъ въ лѣвую руку. Мнѣ оцарапало мизинецъ. Изъ строя выбылъ городовой, получившій ударъ другимъ полѣномъ по ногѣ. Онъ свалился съ лѣстницы. Я ни на минуту не терялъ присутствія духа и лично руководилъ людьми... И какъ только мы взбирались на слѣдующій этажъ, враги обращались въ бѣгство... Но мы живо отыскивали ихъ... Здѣсь главные виновники...

Защита была возбуждена. И старые адвокаты горѣли желаніемъ „привести къ одному знаменателю“ важнаго пристава... Шли на все... Даже на мелкіе уколы его самолюбія, на обычно недопустимое „остроуміе“... Лишь бы уязвить неуязвимаго...

— Скажите пожалуйста, господинъ Патронатъ,—вѣжливо обратился къ нему К—ій...

— Не Патронатъ, а Патросъ,—поправилъ приставъ...

— Да, да, господинъ Патронатъ, вотъ вы такъ живописно и воинственно разсказали о томъ, какъ храбро шли, точно римлянинъ, на врага впереди своего авангарда... Несмотря на жаркій огонь полѣньевъ, вы взбирались на лѣстницу съ помойнымъ ведромъ на головѣ вмѣсто шлема...

— Я—Патросъ... Ведра летѣли въ насъ, но мы прикрывались дверями,—надменно и холодно поправилъ приставъ.

— Господинъ защитникъ,—замѣтилъ предсѣдатель,—свидѣтель не говорилъ, что у него было помойное ведро, вмѣсто шапки... Онъ сказалъ лишь, что они вообще прикрывались чѣмъпопало...

— Мнѣ показалось, что именно у господина пристава было на головѣ помойное ведро. Виноватъ, значитъ я ошибся... Но позвольте, господинъ Патронатъ, узнать еще одну подробность... Когда вы такъ рѣшительно взобрались въ комнаты рабочихъ, били-ли вы ихъ?!

Приставъ презрительно улыбался.

— Ничего подобнаго! Впрочемъ, то, что было послѣ взятія нами казармы, къ дѣлу не относится, такъ какъ этотъ моментъ не инкриминируется подсудимымъ...

— Да, да,—подтвердилъ предсѣдатель,—я запрещаю касаться этихъ вопросовъ.

— Господинъ предсѣдатель! во всѣхъ элементарныхъ толкователяхъ устава уголовнаго судопроизводства подъ статьей 14-ой

говорится, что понесенное подсудимымъ въ административномъ порядкѣ наказаніе можетъ быть зачтено судомъ... Я напомню вамъ рѣшеніе Правительствующаго Сената отъ 1895 года № 36...

— А я запрещаю этого касаться!

Повторялось то, что бываетъ въ такихъ случаяхъ... Горячее усердіе предсѣдателя покрыть дѣйствія чиновъ, протесты защиты, протоколъ...

Всѣ мы—защитники насѣли на пристава... И стали щипать его мелочными, сбивающими вопросами, теребя изъ стороны въ сторону... Три или четыре часа продолжался допросъ. Приставъ ослабѣлъ. Съ него валилъ потъ. Онъ переминался съ ноги на ногу. Воинственная выправка давно исчезла, онъ болѣе не пятилъ груди... Мы брали его измором... Но чувство досады не проходило. Пусть хоть здѣсь онъ получитъ свое.........

Нашелся, какъ всегда, всезнающій Г.—Мы еще будемъ передопрашивать г-на Патроса, просимъ не освобождать его... Согласно цѣлому ряду рѣшеній Правительствующаго Сената (мнѣ ли напоминать ихъ Судебной Палатѣ!), когда присутствіе допрошеннаго уже свидѣтеля-начальника можетъ такъ или иначе вліять на недопрошенныхъ еще свидѣтелей-подчиненныхъ,— слѣдуетъ, не оставляя начальника въ залѣ засѣданія, удалить его въ особое помѣщеніе и приставить къ дверямъ таковаго судебную стражу, дабы благодаря и случайности допрошенное лицо не могло сноситься съ недопрошенными еше свидѣтелями. Вотъ рѣшеніе отъ 1869 года № 412!.. Защита подсудимыхъ, опасаясь вліянія хотя бы одного присутствія Патроса на свидѣтелей-городовыхъ, ходатайствуетъ объ удаленіи его въ уединенное помѣщеніе..

— Палата обсудитъ ваше ходатайство...

Ушли, обсудили, вернулись, и предсѣдатель приказалъ судебному приставу распорядиться приготовить Патросу отдѣльную комнату...

— Помѣщеніе готово!—провозгласилъ судебный приставъ.

Когда Патроса уводили, онъ бросилъ въ сторону защиты негодующій взглядъ...

Дѣло должно было продлиться не менѣе трехъ дней. И мы рѣшили выдерживать великолѣпнаго пристава въ одиночномъ заключеніи до послѣдней возможной минуты...

Уже черезъ три-четыре часа во время перерыва, судебный приставъ сообщилъ намъ, что Патросъ внѣ себя отъ возмущенія. Черезъ два часа отсидки онъ поднялъ отчаянный стукъ въ дверь и попросилъ дать газету или что-нибудь другое почитать. Но когда только что судебный приставъ зашелъ къ нему, вызванный новымъ отчаяннымъ стукомъ, Патросъ чуть не выбросилъ газету (книги въ судѣ не нашлось!), заявивъ, что онъ не привыкъ заниматься чтеніемъ. У него секретарь дѣлаетъ вырѣзки, чтобъ онъ не читалъ ненужнаго вздора. Ему теперь надо ѣхать въ

участокъ. Патросъ потребовалъ доложить предсѣдателю, что проситъ вызвать въ залъ засѣданія.

Вызвали.

— Ваше превосходительство,—взмолился Патросъ,—отпустите меня! У меня дѣла, громадный участокъ на рукахъ. Все прійдетъ въ замѣшательство... Освободите!

— Хорошо, намъ вы собственно не нужны. Спросимъ стороны... Господинъ прокуроръ, ваше заключеніе?!

— Мнѣ свидѣтель больше не нуженъ, и я полагаю, что его безъ всякаго ущерба для дѣла можно отпустить, тѣмъ болѣе, что во имя служебныхъ обязанностей...

— Господа защитники?!

— Мы находимъ чрезвычайно важнымъ присутствіе свидѣтеля Патроса, такъ какъ онъ устанавливаетъ виновность отдѣльныхъ подсудимыхъ. Намъ придется провѣрять его показаніе допросомъ другихъ и можетъ быть потребуется дать ему очную ставку съ ними. Мы просимъ удалить г-на Патроса въ отдѣльную комнату.

— Господинъ Патросъ, вамъ придется удалиться въ особое помѣщеніе—промолвилъ предсѣдатель, сочувственно разставляя руки.

Патросъ окинулъ насъ свирѣпымъ взглядомъ и торжественно вышелъ...

Увлеченные дальнѣйшимъ ходомъ дѣла, мы на время забыли о существованіи Патроса. Подъ вечеръ о немъ напомнилъ судебный приставъ.

— Очень безпокойны, не могу съ ними совладать... Что я, кричитъ, арестантъ, что-ли? Чего они меня здѣсь держатъ?!

Мы рѣшили развлечь Патроса и вызвать его въ залъ.

Онъ подходилъ къ судейскому столу съ довольной физіономіей, очевидно будучи увѣренъ, что его хотятъ отпустить.

— Единственный только вопросъ, господинъ свидѣтель,—обратился одинъ изъ насъ,—во время усмиренія рабочихъ вы были въ томъ же мундирѣ, что и сейчасъ, или другомъ?

— Очевидно, что этотъ парадный, былъ въ другомъ...

— Я больше не имѣю вопросовъ!

— Господа защитники?

— Мы тоже пока не имѣемъ вопросовъ...

— Я могу уйти?

— Надо спросить защиту... Можно освободить г-на пристава?..

Мы привели цѣлый рядъ доводовъ въ подтвержденіе того, что приставъ намъ необходимъ...

— Въ такомъ случаѣ, снова удалите свидѣтеля въ отдѣльное помѣщеніе...

Патросъ буквально позеленѣлъ. Выходя изъ залы, онъ кинулъ намъ бѣшеный взглядъ.

На завтра повторилось то-же самое. Но на третій день Патросъ не явился и прислалъ медицинское свидѣтельство о болѣзни...

Нашихъ подзащитныхъ осудили, освободивъ всѣхъ на поруки. На другой же день утромъ Патросъ экстренно вызвалъ ихъ въ участокъ. Заставилъ долго ждать. Наконецъ вышелъ какой-то изступленный и, топая ногами, закричалъ:—Гдѣ вы достали себѣ этихъ проклятыхъ адвокатишекъ?! Ступайте прочь! Онъ сжималъ кулаки, но больше ничего не промолвилъ. Рабочіе разошлись въ полномъ недоумѣніи, для чего онъ вызывалъ ихъ...

Послѣднее слово...

Я уже собирался уйти изъ его камеры, когда онъ пріостановилъ меня...

— Подождите... Мнѣ очень хочется попросить васъ о большой услугѣ... Шесть лѣтъ назадъ я написалъ одной знакомой письмо. Въ немъ рѣзко осуждалъ ее. Я много думалъ объ этомъ и убѣдился, что былъ неправъ... Сдѣлайте все, чтобъ розыскать ее. Она вышла замужъ. Я знаю только ея дѣвичью фамилію... Съ тѣхъ поръ потерялъ ее изъ виду... Скажите ей, что я жалѣю о письмѣ, что я хорошо отношусь къ ней ..

Онъ былъ осужденъ на смертную казнь за крупный террористическій актъ. И хотя мы подали кассаціонную жалобу, оба заранѣе знали, что ее оставятъ безъ послѣдствій. О пощадѣ не могло быть и рѣчи. Черезъ нѣсколько дней его должны были повѣсить. Онъ твердо зналъ это. И упорно говорилъ, что никогда не принялъ бы помилованія...

Я сдѣлалъ все, что могъ. И нашелъ ее.

Она жила въ богатой барской квартирѣ. Спокойно и плавно вышла ко мнѣ въ свѣтломъ платьѣ, съ безпечно улыбающимся лицомъ... И въ то время, когда она приглашала сѣсть, совершенно неожиданно, гдѣ-то въ глубинѣ ея честныхъ глазъ я прочелъ затаенную тоску жизни... Я началъ разсказывать, что пришелъ по его порученію... И не успѣлъ договорить. Она вдругъ горько зарыдала. И, свалившись съ кресла, забилась на полу въ судорожно-конвульсивныхъ рыданіяхъ... Я не зналъ, что дѣлать. Въ чужой квартирѣ, самъ чужой... И я ждалъ. Она пришла въ себя и заговорила.

— Зачѣмъ, зачѣмъ онъ не сказалъ этого раньше?! Зачѣмъ!!. Онъ всегда былъ для меня самымъ лучшимъ человѣкомъ... Для меня не было выше и чище его... Я знала, что онъ погибаетъ за другихъ, хотя не понимала его... Онъ молчалъ... И когда я шла замужъ, то сказала Санѣ, что люблю его, что онъ такъ высокъ для меня... Вы увидите его! Вы пойдете еще къ нему?! Ска-

жите же ему, что душою я вся, вся съ нимъ... Его руки у меня въ рукахъ, и я цѣлую ихъ... Эти чистыя руки...

Когда я пришелъ къ нему, онъ трепетно метнулся ко мнѣ.

— Ну что?! Видѣли ее? Розыскали?!

— Да...

Я не рѣшился сказать ему всю правду. Чувствовалъ, что это невозможно...

— Она была счастлива. Она тоже очень, очень хорошо относится къ вамъ...

— Въ такомъ случаѣ еще одна послѣдняя услуга... Пойдите къ ней, скажите, что если я достоинъ ея поцѣлуя, то передаю ей мой послѣдній прощальный поцѣлуй...

Я не рѣшился пойти къ ней... И до сихъ поръ, когда я вспоминаю объ этомъ, меня жжетъ вопросъ...

— Былъ ли я правъ?!.

Спасла!

Военный судъ. Дѣло идетъ къ концу... Всѣ четверо подсудимыхъ молчатъ. Кругомъ ихъ стража. Приведены изъ тюрьмы. Ихъ обвиняютъ въ принадлежности къ группѣ партіи соціалистовъ-революціонеровъ-максималистовъ. Въ деревнѣ, гдѣ они „свили гнѣздо“, нашли складъ бомбъ, динамита. Она—молоденькая сельская учительница. Дочь предсѣдателя земской управы. Славное дѣтское личико. Мягкіе голубые глаза. Двое—студенты—пріѣхали къ ней. Гостили. Они и на судѣ въ черныхъ рубахахъ съ бѣлыми пуговками. Четвертый—мѣстный крестьянинъ. У помѣщика-кулака, ночью, замаскированными людьми была произведена экспропріація. По голосу онъ узналъ этого крестьянина. Остальные вели съ крестьяниномъ знакомство... Во дворѣ школы сдѣлали обыскъ. Дровяной сарай всегда стоялъ открытымъ. Подъ мусоромъ, щепками и какимъ-то хламомъ была зарыта та страшная корзиночка, которая лежитъ на столѣ вещественныхъ доказательствъ... Около нея разряженныя чугунныя оболочки... Пусто. Одинъ дежурный офицеръ сидитъ въ мѣстахъ для публики... Часовые. Мы двое защитниковъ, и никого больше... Въ залѣ замѣтно темнѣетъ... Прокуроръ обвиняетъ, длинно, тягуче говоритъ о томъ, какъ ужасны эти подсудимые.—Ничего святого не осталось у нихъ. Онъ требуетъ смертной казни. И въ залѣ становится еще тоскливѣе... Поднимается товарищъ — мѣстный адвокатъ—старый защитникъ и произноситъ „убѣдительную“ рѣчь.

— Кого обвиняетъ прокуроръ?! Самыхъ мирныхъ, безобидныхъ людей. Гдѣ доказательства того, что они члены какой бы то ни было партіи!—Складъ бомбъ? Но вѣдь это—дворъ школы. Двери дома, не только сарая, были открыты. Всякій могъ занести... И все это онъ аргументируетъ, доказываетъ. Начинаетъ казаться, что ихъ оправдаютъ...

— За вами послѣднее слово,—обратился предсѣдатель къ первому изъ нихъ Поднялся точно въ лихорадкѣ грузинъ. Повидимому, это былъ совершенно необузданный человѣкъ. Онъ сразу же забылъ о соглашеніи съ защитой—молчать.

— Нашъ защитникъ сказалъ, будто мы не принадлежимъ ни къ какой организаціи, — крикнулъ онъ, сверкая глазами. — Неправда! Мы не животныя. Даже вы— . . . . по вечерамъ образуете партіи картежниковъ! Мы—анархисты! Мы ненавидимъ вашъ строй насилія и съ восторгомъ будемъ привѣтствовать вашу. . . . . .

Предсѣдатель не далъ ему говорить. И дежурный офицеръ съ солдатами выволокли грузина изъ залы. Онъ отбивался кулаками. Былъ объявленъ перерывъ.

Судъ долго не выходилъ. Наконецъ появился дежурный офицеръ. Въ рукахъ онъ держалъ зажженную свѣчу. Съ нимъ шли два солдата. Точно торжественный выходъ въ католической церкви. Офицеръ обошелъ всѣ подоконники, осторожно пробуя ихъ, заглянулъ подъ всѣ занавѣсы. Солдаты стали на четверенки и полѣзли подъ длинный судейскій столъ. Офицеръ, поднимая свѣшивающуюся до пола скатерть, свѣтилъ имъ.

— Ничего нѣтъ!—сказалъ солдатъ.

— Гляди получше!—приказалъ офицеръ,—не подложено-ли?!.

Офицеръ и солдаты удалились...

— Судъ идетъ!—черезъ минуту крикнулъ офицеръ. И генералъ вышелъ сопровожаемый гуськомъ полковниковъ...

— За вами послѣднее слово!

И снова повторилась та-же исторія.

Второй студентъ заразился у грузина возбужденіемъ. Онъ безсвязно выкрикивалъ на судейскія головы проклятія даже въ то время, когда его тащили черезъ залу. И казалось, что проклятіе дѣйствительно повисло въ воздухѣ...

Сверхъ всякаго ожиданія заговорилъ и крестьянинъ. По настоящему, по-россійски—самой отборной руганью, очевидно забывъ, что его слушаетъ и учительница.

Увели. Снова перерывъ.

На скамьѣ подсудимыхъ теперь сидѣла она одна. Въ рукахъ у нея былъ черный ридикюль, — небольшой кожаный мѣшечекъ на стальной цѣпочкѣ.

Дежурный офицеръ уже сообщилъ, что—судъ идетъ! И судьи показались изъ своей комнаты. Вдругъ генералъ взглянулъ на подсудимую и въ смятеньи попятился обратно. Судьи, озираясь, потянулись за нимъ.

Дежурный офицеръ побѣжалъ слѣдомъ, но скоро вышелъ и приблизился къ ней.

— Будьте добры, барышня, позвольте вашъ ридикюль.

— Зачѣмъ?

— Такъ... приказано...

— Ни за что!

— Это затягиваетъ дѣло!

— Мнѣ все равно!

— Въ такомъ случаѣ хотя покажите...

— Вотъ еще! Ни за что!

— Вашъ отказъ очень раздражитъ судъ, это весьма вредно отразится на вашей судьбѣ. Даю вамъ добрый совѣтъ... Барышня, вы такъ молоды...

— Я сказала, мнѣ все равно!

Офицеръ ушелъ. Вернулся смущенный и позвалъ товарища по защитѣ. Они скоро пришли обратно. Товарищъ попросилъ ее дать ридикюль *ему*.—Иначе судъ не желаетъ выходить. А вѣдь вы сами требуете слушать поскорѣе дѣло...

Она охотно согласилась и передала товарищу редикюль. Когда судьи наконецъ сѣли на свои мѣста, товарищъ, очевидно желая окончательно успокоить правосудіе, повернулъ къ нимъ редикюль и демонстративно раскрылъ... Въ немъ виднѣлся только носовой платокъ... Вдругъ, она быстро сорвалась съ мѣста и, перегнувшись черезъ рѣшетку барьера, вцѣпилась въ ридикюль.

— Я не виновата, — отчаянно крикнулъ молодой взволнованный голосъ, — я не могла достать въ тюрьмѣ чистаго платка, я не виновата, что у меня такой грязный!..

Всѣ добродушно улыбнулись. А такая улыбка въ военномъ судѣ много значитъ. Ея крикъ отчаянія спасъ ихъ всѣхъ... Ихъ не могли больше повѣсить. Мы знали по опыту, что теперь судьи постановятъ ходатайствовать о смягченіи собственнаго же приговора.

И хотя она тоже начала говорить о своей ненависти, ее не слушали... Судьи попрежнему добродушно улыбались...

И они хитрятъ.

Мы возбудили ходатайство о выѣздѣ суда на мѣсто происшествія. Въ дѣлѣ большомъ, трагическомъ дѣлѣ не было ни слѣдовательскаго протокола обыска, ни протокола осмотра того дома, гдѣ разыгралось это ужасное событіе. Мы съ И—вымъ самостоятельно осмотрѣли его и теперь защита имѣла всѣ основанія просить, ибо была увѣрена, что осмотромъ докажетъ ложность свидѣтелей обвиненія. Они утверждали, что видѣли подсудимыхъ оттуда, откуда видѣть фактически не могли!

Выѣзды судовъ изъ залы засѣданія вообще очень рѣдки, но бывали. И практика знала ихъ... По дѣлу Скитскихъ съ засѣданіемъ на открытомъ воздухѣ, по Якутскому дѣлу!.. По послѣднему, слушавшемуся при закрытыхъ дверяхъ, практика нашла даже выходъ, какъ устроить и закрытыя двери на главной, самой людной улицѣ и площади города. Среди бѣла дня судъ шелъ

толпою къ дому съ покинутыми барикадами, и весь составъ его, въ томъ числѣ и защитники, были окружены цѣпью солдатъ, не подпускавшихъ къ „закрытымъ дверямъ“ постороннихъ! Внутри этой движущейся цѣпи солдатъ находились также подсудимые, но, такъ какъ они состояли подъ стражей, то ихъ кромѣ того окружалъ специальный конвой...

На этотъ разъ дѣло слушалось при закрытыхъ дверяхъ, и, не желая создавать излишнихъ затрудненій, мы и соглашались итти на допускаемый закономъ компромиссъ.—Просили палату произвести осмотръ либо въ отсутствіи подсудимыхъ, либо черезъ одного изъ членовъ присутствія...

Товарищъ прокурора Б.—горячій, юркій человѣкъ, рѣзко и категорически настаивалъ на отказѣ въ нашемъ ходатайствѣ.

Пользуясь, какъ всегда, послѣднимъ словомъ, мы настойчиво протестовали...

Палата, не удаляясь, начала тутъ же совѣщаться. Б. вдругъ перегнулся на своемъ мѣстѣ и потихоньку подозвалъ члена палаты П. Тотъ въ свою очередь перегнулся. И они начали шептаться. Б., сильно жестикулируя, явно убѣждалъ П. Въ чемъ?—Мы не сомнѣвались... Поднялся одинъ изъ защитниковъ—А.

— Г-нъ предсѣдатель, я хочу сдѣлать заявленіе...

— Подождите, палата обсудитъ...

— Нѣтъ, прошу именно теперь!..

— Какое?

— Я прошу занести въ протоколъ, что въ то время, какъ палата обсуждала возбужденное защитой ходатайство, въ ея совѣщаніи принялъ участіе и товарищъ прокурора палаты...

— Вовсе нѣтъ,—вскричалъ П.,—мы говорили о совершенно постороннихъ вещахъ!

— Въ такомъ случаѣ прошу занести въ протоколъ, что въ то время, когда мною было сдѣлано указанное заявленіе, членъ палаты П. заявилъ, что во время совѣщанія палаты онъ разговаривалъ съ товарищемъ прокурора о совершенно постороннихъ пустякахъ!..

Предсѣдатель растерянно глянулъ на П. и только развелъ руками.

Самъ П. былъ ошеломленъ...

Мы ликовали. Въ нашихъ рукахъ былъ важный кассаціонный поводъ.

— Палата удалится для совѣщанія,—крикнулъ предсѣдатель.

Удалились. Прошелъ часъ, другой—палата не выходила.

Мы были внѣ себя отъ нетерпѣнія...—Да что они тамъ дѣлаютъ?!

Наконецъ рѣшили вызвать предсѣдателя.

Онъ вышелъ и, подойдя къ намъ, развелъ руками.

— Да-а, господа! Случилось нѣчто неожиданное! Съ членомъ палаты Р. произошелъ сильнѣйшій желудочный припадокъ. Онъ и ранѣе страдалъ ими.. Сейчасъ почти безъ сознанія. Прійдется поневолѣ отложить дѣло... А жаль, уже допрошены почти всѣ свидѣтели... Вотъ пойду, посмотрю...

Предсѣдатель говорилъ и въ глазахъ его свѣтился весело-хитрый огонекъ:—выкрутились!..

Мы немедленно устроили совѣщаніе. Подсудимые буквально умоляли сдѣлать все, чтобы дѣло слушалось. Большую половину должны были оправдать, остальные истомились ожиданіемъ приговора. Было ясно, что палата „срываетъ" дѣло. Этотъ разъ въ палатѣ предсѣдательствовалъ предсѣдатель департамента—очень милый человѣкъ, честный судья. Мы отлично понимали, что за протоколъ о „стороннихъ разговорахъ" во время засѣданія „влетитъ" отъ сената не только члену палаты П. и товарищу прокурора Б., но и предсѣдателю, допустившему этотъ милый разговоръ „о пустякахъ". А сдѣлать ему непріятность мы не хотѣли. И потому, въ виду просьбы подсудимыхъ, рѣшили итти на всяческія уступки, просить не заносить въ протоколъ происшедшаго, либо вычеркнуть и всѣмъ обо всемъ забыть...

Палата вышла. Р. не было. Предсѣдатель объявилъ, что дѣло снимается съ очереди, а на когда именно будетъ назначено слушаніемъ, пока неизвѣстно.

Мы бросились къ предсѣдателю. Скрывать было нечего. Подсудимые истомились, среди нихъ много невиновныхъ. Откладывать дѣло невозможно. Пусть членъ Палаты Р. вернется. Можно послать за нимъ, просить. „Ради его здоровья и спокойствія" мы „сдѣлаемъ все", чтобъ дѣло шло безъ треволненій, пусть поэтому не заносятъ въ протоколъ происшедшаго эпизода...

Предсѣдатель соглашался подождать, пока И—въ, лично знакомый Р. съѣздитъ за нимъ и уговоритъ, для подсудимыхъ „преодолѣть болѣзнь".

И—въ поѣхалъ. Мы ждали. Когда И—въ вернулся черезъ часъ, его обычно-мефистофельское лицо на этотъ разъ было полно ехидства.

— Я пріѣхалъ къ Р.,—разсказывалъ онъ,—и позвонилъ къ нему въ квартиру. Оказывается, еще и дома не былъ. Спустился съ лѣстницы, вышелъ на улицу, остановился около подъѣзда,—гляжу: Р. безпечно подходитъ и еще тросточкой помахиваетъ. Я къ нему: такъ и такъ, вернитесь и протокола не будетъ! Онъ сначала смутился, а потомъ вдругъ за животъ какъ схватится—ой, ой,—говоритъ,—у меня опять припадокъ начинается, не могу ѣхать въ судъ! Такъ и не поѣхалъ...

Дѣло отложили слушаніемъ...

И они умѣютъ хитрить...

Шишка.

— Я шелъ по улицѣ,—показывалъ помощникъ пристава,—вдругъ изъ-за штакета изгороди выбѣжалъ этотъ человѣкъ, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется. Онъ мелькнулъ у меня передъ глазами вполнѣ отчетливо. Раздался страшный взрывъ. Меня чуть не опрокинуло и точно обожгло. Земля дрожала. Вѣдь бомба вырыла глубокую воронку... Я старался отвернуться. Когда разсѣялся дымъ, я увидѣлъ, что этотъ человѣкъ бѣжитъ по улицѣ. Черезъ минуту я вполнѣ пришелъ въ себя и бросился за нимъ. Сзади бѣжалъ еще кто-то. Я не отставалъ. Догонялъ преступника. Онъ бѣжалъ въ смертельномъ страхѣ, очевидно ничего не помня и не соображая. Тупикъ улицы пересѣкался домомъ съ проходнымъ дворомъ. Этотъ человѣкъ подбѣжалъ къ деревяннымъ воротамъ. Калитка маленькая, низкая была открыта. Я почти настигалъ его. Въ рукахъ у меня была обнаженная шашка. На полномъ ходу изо всей силы преступникъ ударился лбомъ о ворота и, очевидно растерявшись, пріостановился. Въ это время, не знаю какъ, остановился и я, почему могъ внимательно осмотрѣть его одежду. Я утверждаю, что на немъ было такое же черное пальто! Но тутъ онъ вдругъ отвернулся и, согнувшись, снова бросился бѣжать. Я кинулся за нимъ, но такъ какъ очень высокъ ростомъ и осторожно переступалъ черезъ порогъ калитки, — на нѣсколько секундъ потерялъ его изъ виду... Онъ выскочилъ на улицу. Когда я выбѣжалъ за слѣдующія ворота, его не было тутъ,—онъ какъ ни въ чемъ не бывало и медленно шелъ по другой сторонѣ. Я кинулся къ нему и задержалъ. Онъ тяжело дышалъ. Мы съ дворникомъ повели его въ участокъ... Приставъ сразу же узналъ, кто онъ. Его два мѣсяца назадъ арестовали на недѣлю за участіе въ толпѣ. И выпустили. Это онъ сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ!..

Указывая на обвиняемаго, помощникъ пристава замѣтно взволновался и подъ конецъ разсказа тяжело дышалъ.

Я обратилъ вниманіе военнаго суда на то, что и помощникъ пристава такъ же тяжело дышетъ, хотя стоитъ на мѣстѣ.

— Я взволновался,—замѣтилъ онъ.

— Я и не сомнѣваюсь въ этомъ,—отвѣтилъ я,—и затѣмъ задалъ ему нѣсколько вопросовъ, чтобъ судьи крѣпче запомнили, что бѣжавшій ударился именно лбомъ о ворота.

Дѣло разсматривалось по законамъ военнаго времени и потому спустя лишь нѣсколько дней послѣ происшествія. Казалось, увѣренное показаніе помощника пристава рѣшило все для судей. И съ этимъ надо было считаться.

— Въ тѣ моменты, о которыхъ вы говорили, свидѣтель, что не отрываясь, слѣдили за бросившимъ бомбу, точно-ли вы замѣтили каждое его движеніе?

— Да...

— Разсказывая о томъ, что онъ ударился *лбомъ* о ворота, вы не ошибаетесь?

— Конечно нѣтъ, я прекрасно видѣлъ это...

Помощникъ пристава былъ отпущенъ.

Вышелъ самъ приставъ и разсказалъ о приводѣ обвиняемаго, о томъ, что онъ былъ дерзокъ.

— Когда его привели въ участокъ, прежде чѣмъ узнать, вы внимательно осмотрѣли лицо схваченнаго?

— Да, конечно. Я всегда смотрю внимательно...

— Не замѣтили ли вы на его лицѣ чего нибудь особеннаго?

-- Нѣтъ, ничего особеннаго не было!... Развѣ, такъ, развязность нѣкоторая...

— Не былъ-ли у него красный лобъ, не было ли у него на лбу шишки?

— Его никто не билъ!... У насъ въ участкѣ...

— Но шишка на лбу была?

— Никакой!

— Вы можете это утверждать?

— Самымъ положительнымъ образомъ!

— А краснота лица бросалась въ глаза?

— Не менѣе категорически я утверждаю, что лицо его было самое обыкновенное...

Третій свидѣтель дворникъ показалъ, что бѣжалъ сзади, почему не можетъ узнать подсудимаго...

Я напалъ на обвинительные доводы прокурора.—Это не онъ,— сказалъ я въ концѣ съ полнымъ убѣжденіемъ.—Помощникъ пристава категорически утверждаетъ, что бѣжавшій ударился лбомъ о ворота! Гдѣ хотя бы краснота лба, гдѣ шишка? Разъ онъ ударился на полномъ бѣгу, она должна была остаться на лбу, она не могла исчезнуть и по сегодняшній день! Это не онъ! Шишка, простая шишка, которыя мы съ ранняго дѣтства набивали себѣ на лбы, на этотъ разъ спасетъ его отъ висѣлицы лучше всякихъ доводовъ, лучше всякихъ соображеній. Очевидно, бѣжавшій скрылся или быть можетъ притаился въ проходномъ дворѣ...

Я перешелъ на психологію бѣгущаго и развивалъ мысль, что бѣгущему трудно итти тихимъ шагомъ, когда за нимъ гонится сама смерть, когда въ бѣгствѣ онъ ищетъ спасенія...

— Но обвиняемый будучи схваченъ, тяжело дышалъ?!—Да, онъ могъ итти быстро, могъ взволноваться. Полиція уже разъ понапрасну арестовала его. У него быть можетъ порокъ сердца. Вѣдь этого мы не знаемъ! А не зная этого, не можемъ и судить объ этомъ. Онъ просилъ вызвать свидѣтелей въ разъясненіе того, гдѣ былъ, откуда шелъ. Но военный судъ отказалъ послать имъ повѣстки, такъ какъ свидѣтели живутъ внѣ черты города... Что подѣлаешь, если улица уѣзда сливается съ улицей города, а законы

военнаго времени не предусматриваютъ возможности такого факта...

Юношу оправдали, а вечеромъ онъ пришелъ ко мнѣ поблададарить.

— Послушайте,—спросилъ я его,—скажите правду, вы-ли бросили эту бомбу?!

— Я... Этотъ помощникъ пристава вмѣстѣ съ городовыми тогда нещадно избилъ насъ въ участкѣ. Когда меня освободили, я и бросилъ...

— Какъ?!—воскликнулъ я.—Но вѣдь вы ударились лбомъ о ворота?!

— Да и ужасно! Я думалъ, что упаду, у меня изъ глазъ сыпались искры! Это было хуже взрыва бомбы!

— Но вѣдь шишка, гдѣ ваша шишка!?

— О, да, она есть! Я ударился не лбомъ, а серединой черепа, почти затылкомъ—она подъ волосами... Попробуйте, какая груша и сейчасъ...

Я попробовалъ и ахнулъ.

— Однако, васъ спасло то, что судили военнымъ, черезчуръ скорымъ, торопливымъ судомъ. Въ судебной палатѣ, пожалуй, дали бы осмотрѣть вашу голову доктору...

— Да, нѣтъ худа безъ добра,—засмѣялся онъ.

* * *

Два слова по поводу этого случая. Послѣ 17 октября, когда партія соціалистовъ - революціонеровъ, какъ извѣстно, рѣшила временно прекратить террористическіе акты, явилось много случайныхъ партійныхъ или даже совершенно безпартійныхъ террористовъ. . . . . . . Сама улица пошла на терроръ. Оттого было такъ много судебныхъ ошибокъ. Иногда осуждали невинныхъ, иногда оправдывали виновныхъ. У героевъ улицы не было политическаго прошлаго, самые акты были черезчуръ случайны, черезчуръ оторваны отъ архивовъ охранныхъ отдѣленій. И потому эти отдѣленія и жандармскія управленія часто ничего не могли дать военнымъ судамъ, кромѣ голаго факта съ его обычной неустановленностью.

Пригласилъ...

Это дѣло о фабричныхъ безпорядкахъ интересовало весь городъ, всѣхъ мыслящихъ и чуткихъ жителей его. И потому залъ былъ биткомъ набитъ. Пришли многіе знакомые защитниковъ: ихъ мы обѣщали ввести, хотя-бы судъ закрылъ двери. — Протекція... Въ Россіи даже законы такъ составлены, чтобъ съ протекціей ихъ можно было обойти... И куда только она не забирается и въ чемъ только не проявляется... За нами былъ законъ, что и при закрытыхъ дверяхъ каждый подсудимый имѣетъ право ввести трехъ лицъ своихъ родственниковъ или знакомыхъ...

Мы заранѣе догадывались, что безъ закрытыхъ дверей не обойдется. Но въ одномъ мы не сомнѣвались. Это въ томъ, что предсѣдатель въ этомъ дѣлѣ будетъ непрерывно обрывать защиту, будетъ принимать всѣ „мѣры“. Пусть голодные, замученные люди сходятъ за сытыхъ, недовольныхъ своимъ рабствомъ, своимъ превращеніемъ въ машины лишь по своей тупости! Вѣдь на скамьѣ подсудимыхъ сидѣли шестнадцать ободранныхъ рабочихъ...

Полицейскій... Но это—власть и надо сдѣлать все, чтобъ малѣйшее нарушеніе закона властью, во имя власти же, во имя уваженія къ ней осталось никому невѣдомымъ!

Я хорошо понималъ, что надо предпринять все возможное, чтобъ сдержать предсѣдателя. И я рѣшилъ пригласить въ залъ засѣданія его *совѣсть*, да, его совѣсть!

Вѣра Михайловна Z., жена тайнаго совѣтника и оберъ-прокурора сената, жила на одной лѣстничной площадкѣ съ предсѣдателемъ палаты. Ихъ семьи видѣлись каждый день, постоянно онѣ пили вмѣстѣ послѣобѣденный кофе. Предсѣдатель былъ друженъ съ самимъ Z., обо всемъ совѣтовался съ нимъ, а Вѣры Михайловны попросту боялся. Впрочемъ, ее боялся и мужъ, несмотря на весь свой всѣми признаваемый умъ.

Бывая иногда у Z., я встрѣчался съ нашимъ предсѣдателемъ палаты и видѣлъ, какъ онъ съёживается въ присутствіи Вѣры Михайловны. Правда, остро-злой, находчивый языкъ ея былъ хорошо извѣстенъ въ высшихъ чиновничьихъ кругахъ. Она никому не давала спуску, ея клички сразу же прилипали. А главное, она ни съ чѣмъ не считалась—ни съ положеніемъ, ни съ карьерными соображеніями мужа, ни съ собственной репутаціей „неукротимаго словаря“. Она не боялась рѣзать правду въ глаза.

— Хотите попасть на интересное бытовое дѣло о фабричныхъ безпорядкахъ?—спросилъ я ее.

— Хочу!

— Ну, такъ вы пройдете и при закрытыхъ дверяхъ, какъ знакомая подсудимаго рабочаго...

— Отлично, это очень занимательно...

На всякій случай я показалъ ихъ другъ другу.

Я заранѣе зналъ, что присутствіе Вѣры Михайловны смутитъ почтеннаго предсѣдателя палаты, но мнѣ никогда и въ голову не приходило, что оно смутитъ его до такой степени... Едва замѣтивъ Вѣру Михайловну въ публикѣ — предсѣдатель заёрзалъ и совершенно внятно промолвилъ:

— Ого, она здѣсь! Однако!

Вся скамья защиты слышала это. И, точно спохватившись, довольный произнесъ:

— По распоряженію господина министра юстиціи настоящее дѣло будетъ слушаться при закрытыхъ дверяхъ! Господинъ судебный приставъ, распорядитесь очистить залъ отъ публики.

Мой подзащитный Федоръ Косткинъ — исхудалый, невзрачный, нищенски одѣтый рабочій подтолкнулъ меня.

— Просите, поддержимъ!

Я поднялся.

— Господинъ предсѣдатель, согласно 622-й статьи устава уголовнаго судопроизводства, покорнѣйше прошу оставить въ залѣ судебнаго засѣданія трехъ знакомыхъ моего подзащитнаго Федора Косткина, ходатайствующаго объ этомъ, а именно: Вѣру Михайловну Z...

— Она что же, лично знакомая Косткина? — не безъ ехидства прервалъ меня предсѣдатель...

— Да...

— А кто она такая?..

— Дворянка...

— И чѣмъ занимается?

— Хозяйствомъ...

— А кто ея мужъ?

— Служитъ...

— Гдѣ?

— Въ сенатѣ...

— Чѣмъ?

— Оберъ-прокуроромъ...

— Гдѣ же она познакомилась съ господиномъ Косткинымъ?

— У меня. Я ихъ представилъ...

— Прошу оставить мою знакомую! — выскочилъ Федоръ Косткинъ...

— Кромѣ того, — началъ было я, — мнѣ необходимо заявить ходатайство объ оставленіи въ залѣ засѣданія еще...

Но я не успѣлъ докончить, какъ предсѣдатель крикнулъ:

— Палата удалится для совѣщанія и обсудитъ ваше ходатайство...

И палата, вопреки здравому смыслу закона, не оставила въ залѣ рѣшительно никого, даже родственниковъ подсудимыхъ...

Такъ „совѣсть“ и не попала въ судъ!..

Дѣло пошло и кончилось обычнымъ приговоромъ. Мы подали кассаціонную жалобу.

* * *

Въ сенатѣ, какъ всегда, дѣло слушалось при открытыхъ дверяхъ. Оно шло въ общемъ собраніи департамента. Въ залѣ собранія для публики отведено очень мало мѣста—десятокъ, другой не болѣе. Въ корридорѣ сената уже заранѣе толклась молодежь.

Въ качествѣ защитниковъ, поддерживающихъ кассаціонную жалобу, выступали три самыхъ крупныхъ адвоката П., К. и Г. Предсѣдательствовалъ въ общемъ собраніи сенаторъ Р—скій.

Мы,—тогда адвокатская молодежь,—пришли послушать дѣло, съ которымъ такъ много возились.

Вдругъ къ нашимъ адвокатамъ подбѣгаетъ судебный приставъ и зоветъ ихъ къ первоприсутствующему сегодня сенатору...

Идутъ, возвращаются.

— Ну, что?! Для чего позвалъ?!—набрасываемся мы...

— Это чертъ знаетъ что такое!—волнуется К...

— Да говорите, господа!..

— Позвалъ онъ насъ въ отдѣльную комнату и проповѣдуетъ.— „Въ сенатѣ дѣло идетъ при открытыхъ дверяхъ... Собралась молодежь. Студенты почти всѣ въ штатскомъ. Такихъ нельзя не пустить. Между тѣмъ дѣло такое, что о немъ неудобно говорить при открытыхъ дверяхъ. При томъ молодежь... Уйдите, господа, пожалуйста никакихъ рѣчей! Все равно приговоръ будетъ отмѣненъ“. Мы отвѣтили, что не можемъ уйти, такъ какъ дѣло рѣшаетъ общее собраніе и хотя приговоръ дѣйствительно долженъ быть отмѣненъ, но согласится ли общее собраніе съ Р—скимъ, неизвѣстно.—„Согласится, я знаю“,—категорически заявилъ Р—скій...

Они выступили, произнесли, какъ слѣдуетъ, горячія и прекрасныя рѣчи о гарантіяхъ правосудія—открытыхъ дверяхъ, необходимости осторожно стѣснять ихъ, о той бодрости духа, какую даетъ подсудимому присутствіе ихъ родственниковъ и добрыхъ знакомыхъ...

Общее собраніе, слава Богу, согласилось съ Р—скимъ, а многіе адвокаты хвалили старика, „несмотря на грубость“, за „честность“ и „независимость“ судьи...

Немного надо... Мы не избалованы...

Адвокаты.

I.

Небольшого роста. Невидный человѣкъ. Обыкновенно говоритъ, слегка задыхаясь. Страшно раздражительный, порывистый и тогда чрезвычайно прямолинейный. Никакихъ компромиссовъ и во время общихъ защитъ. Потому несговорчиво тяжелъ. Искренній честный, безкорыстно-скромный адвокатъ. Прежде чѣмъ попасть къ намъ, бросилъ въ видѣ протеста замѣтное мѣсто въ магистратурѣ. Поглядѣть—ничего особеннаго.

Но я видѣлъ и слышалъ его во время двухъ защитительныхъ рѣчей. Обѣ были сказаны при закрытыхъ дверяхъ. Одна въ далекомъ медвѣжьемъ углу, другая въ столицѣ...

Процессъ тянулся долго. Онъ все время молчалъ и даже почти не допрашивалъ свидѣтелей. Лишь изрѣдка подавалъ реплики прокурору или заявлялъ ходатайства суду... И чувствовалась сила мысли, яснаго ума. Я ждалъ съ нетерпѣніемъ его рѣчи. То была его первая политическая защита.

Онъ тихо поднялся и началъ тихо говорить. И совершенно неожиданно его обыкновенное лицо вдругъ преобразилось, вытя-

нулось и стало лицомъ страстнаго проповѣдника правды, глубокаго, пережитаго убѣжденія... И самъ онъ, точно поднялся вверхъ, на воздухъ, незамѣтно вытянулся и сталъ больше... Раньше я думалъ, что только пишутъ, будто люди могутъ измѣняться и даже преображаться... И все исчезло:—его старенькій, плохенькій фракъ, его незамѣтная фигура, его чрезмѣрно длинныя руки... И остались одни вдохновенные глаза... Дивные глаза пророка... И онъ говорилъ. И говорилъ онъ такъ три часа, а мы шестьдесятъ слушателей, начиная съ судей, сидѣли, боясь двинуться, боясь потерять хотя отзвукъ этой чудной красоты убѣжденнаго человѣческаго слова...

А когда кончилъ, полные глубины впечатлѣнія мы бросились къ нему. Онъ же сидѣлъ тяжело дыша, снова маленькій, точно сконфуженный и робкій. Прокуроръ рѣзко и цинично, стараясь показать, что эта рѣчь не произвела на него никакого впечатлѣнія, нападалъ на его доводы. Онъ понуро молчалъ и словно болѣе не находилъ въ себѣ силъ возражать...

Эта его рѣчь была лучшая, какую я когда-либо слышалъ въ жизни. Хотя мнѣ приходилось сидѣть въ дѣлахъ съ самыми блестящими политическими защитниками Россіи...

Потомъ я видѣлъ его въ цѣломъ рядѣ процессовъ. И всегда рѣчи его были вдумчивыя, умныя, иногда очень полезныя, иногда безполезныя, но часто ничѣмъ особеннымъ не выдѣлялись...

Шелъ большой серьезный процессъ. Захватили страшную типографію, призывавшую къ возстанію, захватили вожаковъ движенія. Онъ защищалъ молодую дѣвушку. Она сидѣла „крѣпче“ другихъ. И не могло быть никакой надежды на оправданіе. Казалось, для нея лучшимъ исходомъ явилось бы поселеніе съ лишеніемъ правъ состоянія... Такъ всѣ и глядѣли на нее, какъ на осужденную еще до суда. И она сама!..

У одной изъ ея знакомыхъ при обыскѣ нашли письмо, пересланное ею изъ тюрьмы. Мѣстами шутливое, мѣстами полное горячей тревоги за близкихъ, за товарищей по дѣлу... Хорошее письмо юности! Оно даже начиналось по своему: „Милыя вы мои, славныя вы мои, чертовки вы этакія“!..

Когда до него дошла очередь, онъ поднялся съ листкомъ бумаги. То была списанная копія перехваченнаго письма. Онъ началъ разбирать содержаніе этихъ шутливо-серьезныхъ строкъ, вскрывая изъ-за нихъ ея образъ—молодой, русской, чисто тургеневской героини дѣвушки. И чѣмъ далѣе онъ говорилъ, тѣмъ свѣжѣе и прекраснѣе, чище и лучше казался этотъ образъ, тѣмъ обаятельнѣе манилъ къ себѣ... И было хорошо, что мы въ одной съ нею комнатѣ, около нея и быть можетъ сейчасъ услышимъ ея трепетный голосъ...

А онъ говорилъ. И рисовалъ ее, и разсказомъ о ней подымалъ въ душѣ все молодое, забытое и такое родное, близкое...

Она же, до того спокойная, сидѣла на своей скамьѣ подсудимыхъ, уронивъ зардѣвшееся лицо на руки, точно не смѣя поднять голову... Ее сейчасъ судили! И по мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ концу письма, къ концу своей полной благоухающихъ розъ и поэзіи повѣсти, намъ становилось все яснѣе и яснѣе, что ее, такую хорошую болѣе *не могутъ* осудить, что это стало невозможно даже для самого суроваго суда...

И заканчивая свою рѣчь, онъ просто промолвилъ:—Да, у нея все это нашли, но такую дѣвушку вы не выбросите въ Сибирь...

И судьи вынесли ей оправдательный приговоръ...

Какъ хороши, какъ свѣжи были розы!..

II.

Громадный человѣкъ. Плечистый, сильный. Небольшая голова съ лицомъ мефистофеля. Вѣчно не то презрительная, не то насмѣшливая улыбка. Онъ пришелъ къ намъ въ адвокатуру совершенно неожиданно для самого себя. Окончивъ юридическій факультетъ, пробылъ нѣсколько трехлѣтій выборнымъ судьею. Совѣтъ зачелъ ему это въ стажъ. Мы знали его, какъ прекраснаго оратора въ одномъ ярко выраженномъ по своему направленію политическомъ обществѣ, носившемъ фирму научнаго. Знали, какъ честнаго, мужественнаго человѣка. И потому рѣшили позвать на этотъ политическій процессъ о фабричныхъ безпорядкахъ, попытать силы защитника. Дѣло насъ волновало. Выплыло много подробностей, о которыхъ конечно молчалъ обвинительный актъ... Тяжелы были условія труда на фабрикѣ. Расцѣнки ткачамъ стояли убійственно низкія. Рабочій день, благодаря сверхъурочнымъ работамъ растягивали до мучительной безконечности... Жить не хватало силъ... Всегда питались впроголодь... И лишь иногда говорили между собой о невозможности существованія...

И на фабрику подъ видомъ рабочихъ были подосланы два агента провокатора. Одинъ изъ нихъ открыто безобразничалъ, думая, что въ этомъ и заключается „оказательство пропаганды". Когда богомольный рабочій ходилъ по мастерскимъ, собирая среди фабричныхъ на постройку храма, онъ выхватилъ у него печатное воззваніе съ образомъ святого и началъ топтать ногами. Даже невѣрующіе рабочіе возмутились и просили фабричнаго инспектора, администрацію ткацкой,—убрать „агитатора". На нѣсколько дней уволили, но по настоянію охраннаго отдѣленія, [1]) директоръ фабрики тотчасъ-же принялъ обратно... Другой рабочій все звалъ къ забастовкѣ. Тоже агитировалъ. И когда она дѣйствительно началась, и рабочіе, замѣтивъ, что онъ остается у станка, стали упрекать его въ обманѣ, онъ выхватилъ кинжалъ и нанесъ имъ

[1]) Это относится къ очень давнимъ временамъ.

раны двумъ изъ подошедшихъ. Одному распоролъ животъ и выпустилъ кишки, другого изранилъ. Обоихъ снесли въ больницу. Оба, оправившись, подали жалобу прокурору, и жалобы обоихъ были оставлены безъ послѣдствій.

Рабочіе собрались громадной толпой противъ фабрики. Выжидали, что дальше... Пріѣхалъ фабричный инспекторъ и предложилъ выслать впередъ человѣкъ трехъ-четырехъ „толковыхъ“, для переговоровъ. Выслали. И въ это время раздались крики: Снимаютъ, снимаютъ, берегитесь! Въ окнѣ фабрики стоялъ большой фотографическій аппаратъ, около котораго возились штатскій и околоточный... Толпа разбѣжалась... Потомъ, во время ареста рабочихъ подвергли жесточайшему, нелѣпо-звѣрскому избіенію, передъ которымъ блѣднѣли всѣ другія подробности... Самые спокойные изъ насъ были возбуждены...

Всѣ мы говорили съ середины залы. Адвокатовъ было много и они по очереди выходили къ кафедрѣ. Вышелъ и онъ. Такой большой, всегда такой сильный. Но на этотъ разъ лицо его было мертвенно блѣдно, на лбу налилась синяя жила, острая улыбка исчезла...

— За вами слово...

Онъ открылъ ротъ, сдѣлалъ какое-то движеніе рукой и молчалъ.

Мы ждали.

— За вами слово,—спокойно повторилъ предсѣдатель.

Онъ опять открылъ ротъ, взмахнулъ руками, точно желая выпутаться изъ опутывающихъ, давящихъ сѣтей. И снова безпомощно опустилъ...

— Мы ждемъ, господинъ защитникъ!..

Изъ рта его вырвался какой-то непонятный, страшный вопль, стонъ отчаянія, и все лицо начали дергать судороги. Эти конвульсіи были такъ ужасны, что становилось больно, физически больно смотрѣть... Всѣ ждали... Многіе отвернулись...

А онъ по прежнему стоялъ передъ судомъ такой большой, съ такимъ страданьемъ на лицѣ, съ такой мукой въ глазахъ... Всего его продолжало дергать...

— Господинъ защитникъ, — вскрикнулъ вдругъ предсѣдатель,—такъ нельзя!—Не волнуйтесь, пожалуйста! Такъ нельзя волноваться!...

Съ мѣста сорвался одинъ изъ товарищей, налилъ воды въ стаканъ и подалъ ему.

Онъ тихо и медленно, небольшими глотками выпилъ. Постоялъ успокоенный двѣ-три секунды и, точно обнажая свое сердце, промолвилъ...

— Господинъ предсѣдатель! Вы можете мнѣ запретить говорить о томъ, или этомъ, можете запретить касаться тѣхъ или другихъ вопросовъ... На то за вами законъ... Но сказать мнѣ: „не волнуйтесь!“—вы не можете, не имѣете права!—Да, я вол-

нуюсь! Да, я хочу волноваться! Я хочу своимъ волненіемъ заразить васъ! Я хочу, чтобъ вы свой приговоръ произнесли съ тѣмъ же волненіемъ и трепетомъ, съ какимъ я говорю мою рѣчь!..

И когда онъ кончилъ эти нѣсколько неслышно рыдающихъ словъ, его вырванное, истерзанное сердце лежало передъ судьями. И всѣ это поняли и почувствовали...

Его снова колотила лихорадка судорогъ... Большой человѣкъ одинъ среди зала...

А въ залѣ стояла мертвая тишина. Никто не смѣлъ шевельнуться, не смѣлъ поднять головы. Всѣмъ было стыдно. И всѣхъ только сейчасъ ясно и отчетливо прожгло сознаніе, какъ стыдно даже слышать про то ужасное, что творится кругомъ...

Предсѣдатель долго молчалъ.

— За слѣдующимъ защитникомъ слово,—наконецъ промолвилъ онъ, съ трудомъ подымая голову...

III.

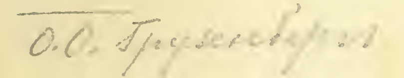
Иные не любятъ его, другіе завидуютъ ему. Но его славное имя извѣстно всей Россіи. Когда онъ участвуетъ въ дѣлѣ, уже только по одному этому—дѣло становится и громкимъ, и большимъ, и серьезнымъ. Онъ еврей. Многіе годы нелѣпыхъ гоненій на еврейскій народъ Г. числился помощникомъ присяжнаго повѣреннаго. Министръ юстиціи не пропускалъ его въ присяжные. И старые „патроны“ ходили къ „помощнику“ совѣтоваться. Уже тогда онъ былъ большимъ адвокатомъ.

Въ уголовномъ правѣ онъ знаетъ все. Нѣтъ сенатора, нѣтъ профессора, который зналъ бы практику суда лучше его. Онъ на лету ловитъ кассаціонные поводы.

Когда насъ нѣсколько товарищей, защищавшихъ по одному и тому-же дѣлу, берутся составить кассаціонную жалобу, мы находимъ два-три повода, онъ—двѣнадцать. И умѣетъ такъ обставить ихъ, сдѣлать такими серьезными, что мы только недоумѣваемъ, какъ могли не замѣтить такихъ юридическихъ слоновъ. По его бумагамъ прекращаютъ преслѣдованія, даже тогда, когда возбужденное дѣло уже нашумѣло и его такъ трудно прекратить... Онъ доказываетъ, что нѣтъ состава преступленія, дѣло не подсудно, и судъ поневолѣ соглашается съ тѣмъ, что теперь очевидно.

Онъ обидчиво-самолюбивъ и знаетъ себѣ цѣну. За это и не любятъ его. Но цѣну ему знаютъ и товарищи, враждебные ему.

Одного изъ такихъ, почему-то злобно ворчавшаго на Г., я, тутъ-же, прервавъ, спросилъ:—ну хорошо, а если-бы вамъ пришлось сѣсть на скамью подсудимыхъ, кого бы вы пригласили себѣ защитникомъ?—Брюзжащій товарищъ, ни минуты не колеблясь, отвѣтилъ:—Чортъ возьми, конечно его!..



Въ другой разъ мы узнали, что къ отвѣту привлеченъ міровой писатель. Защищать его было величайшимъ почетомъ. Я спросилъ нѣсколькихъ нелюбящихъ Г. товарищей.—Кого изъ адвокатовъ пригласить этому писателю? И иные колеблясь, другіе твердо, но всѣ одинаково отвѣтили: Нѣтъ никого, кромѣ Г.! И они были правы. Онъ заслужилъ эту защиту.

Когда власти выдвигали противъ Г. способнаго прокурора, онъ часто говорилъ:—„Таланту прокурора я противопоставлю добросовѣстное знаніе дѣла". Онъ дѣйствительно всегда хорошо и тонко зналъ всѣ мелочи дѣла. Но, затѣмъ въ блестящей рѣчи Г. противопоставлялъ прокурору и знаніе, и талантъ, настоящій талантъ, присущій только ему!

Я часто думалъ, въ чемъ главная сила, главный успѣхъ для меня всегда любимаго, добраго товарища О.... И потомъ я понялъ.

Однажды мы защищали съ нимъ въ Главномъ Военномъ Судѣ. Залъ былъ совершенно пустъ. Даже не было подсудимыхъ-рабочихъ. Они томились въ провинціальной тюрьмѣ. И ждали...

Генералы—главные военные судьи,—пожившіе старики съ суровыми лицами, помощникъ главнаго военнаго прокурора—такой же поживщій сухой чиновникъ военный генералъ, секретарь—надутый статскій совѣтникъ и мы двое... Больше никого. Только стѣны—холодныя, каменныя стѣны... Дѣло страшно волновало меня. Четыре человѣка были осуждены временнымъ военнымъ судомъ на смертную казнь. Отъ главнаго военнаго суда зависѣло оставить приговоръ въ силѣ и нѣсколькими черточками пера по бумагѣ безповоротно затянуть уже накинутую петлю. На разстояніи, точно электрической кнопкой...

На небольшой желѣзнодорожной станціи въ декабрьскіе дни, бурные дни возстанія, толпа народа узнала, что къ вокзалу прибылъ вагонъ съ оружіемъ. Она бросилась къ вагону и расхватала оружіе. Въ толпѣ замѣтили четырехъ. Быть можетъ потому, что они были выше другихъ ростомъ. По 279 статьѣ за грабежъ въ военное время ихъ осудили на смертную казнь...

Когда дѣло было сообщено докладчикомъ главному суду, мнѣ стало ясно, что то, что больше всего волнуетъ меня—жизнь или смерть четырехъ случайно выхваченныхъ людей, нисколько не волнуетъ судъ, что приговоръ они оставятъ въ силѣ. Послѣ моей рѣчи сказалъ помощникъ главнаго военнаго прокурора. Онъ былъ также равнодушно-спокоенъ ко всему...

— 279-я статья на лицо,—промолвилъ онъ,—приговоръ долженъ быть оставленъ въ силѣ...

И сѣлъ.

Началъ говорить Г.! Равнодушіе судей, равнодушіе прокурора глубоко возмутило его.

— Гдѣ здѣсь грабежъ?!—горячился онъ.—Возставшій народъ расхваталъ оружіе. Не для наживы, не для присвоенія! Нѣтъ,

онъ бралъ его, чтобъ обезоружить войска, не дать себя избивать. Ибо войска уже дѣлали это. И быть можетъ, отойдя въ лѣсъ, рабочіе съ ненавистью ломали ружья и выбрасывали ихъ, какъ орудіе истязанія. Для чего народъ расхваталъ оружіе—судъ даже не поставилъ себѣ вопроса! Это самое главное какъ разъ и не интересовало его. Грабежъ безъ похищенія, безъ всякой цѣли!.. Но вѣдь за возстаніе нѣтъ смертной казни, и любителямъ висѣлицы понадобился грабежъ! Пусть прокуроръ, это око закона дастъ намъ отвѣтъ:—гдѣ здѣсь законъ?! Вѣдь это юридическое невѣжество! Если нужно вѣшать, то нельзя же вѣшать безграмотно. Иначе для чего суды, а не простые застѣнки! Открывайте же скорѣе ихъ!

И точно разъяренный левъ—могучій и сильный въ своемъ великомъ негодованіи носился онъ по залѣ. Казалось, онъ забылъ гдѣ находится, точно онъ былъ строгій судья, а они—подсудимые. Его захватила волна протеста. И рѣчь становилась все сильнѣе и рѣзче. Всегда красивый онъ былъ прекрасенъ. И каждое слово его било судей молотомъ стыда. Онъ былъ великъ своей нравственной силой...

Предсѣдатель не рѣшался прервать его рѣзкія нападки, его упреки суду. Ибо напоръ его негодованія неожиданно свалился на судей, точно грозная лавина... Растерянные, они молчали... И то, что раньше казалось такимъ ужаснымъ,—убійство уже схваченныхъ и обезоруженныхъ, а потому безвредныхъ для правительства четырехъ человѣкъ,—стало казаться менѣе ужаснымъ, чѣмъ казнь ихъ, благодаря неправильному примѣненію закона, благодаря невѣжеству суда!..

Г. дѣлалъ чудо. Суровыя лица старыхъ судей блѣднѣли...

Когда они удалились, прокуроръ—старый служака генералъ подошелъ къ Г. и сконфуженный началъ оправдываться.—Онъ самъ понимаетъ все невѣжество приговора суда, но главный военный прокуроръ далъ заключеніе объ оставленіи кассаціонной жалобы безъ послѣдствій, и онъ долженъ поддерживать это заключеніе. Въ душѣ онъ будетъ счастливъ, если приговоръ отмѣнятъ...

Когда судьи вышли, одинъ изъ нихъ съ умнымъ и открытымъ лицомъ блѣдный и взволнованный радостно кивалъ намъ головой.

Приговоръ отмѣнили.

Владиміръ Бернштамъ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТГОЛОСКИ.

Восточныя марсельезы.

(Перевороты въ Персіи и въ Турціи).

Статья **Льва Мовича**.

I.

Музыка—душа жизни и „марсельеза"—душа революцій, тотъ огонь, который сжигаетъ сердца и въ бурномъ, безумномъ стремленіи гонитъ людей и событія все впередъ; то пламя, которое разлилось по Франціи, а изъ нея по всему міру. „Все впередъ! По колѣни въ крови и въ слезахъ—впередъ!" говорилъ нѣкогда Сенъ-Жюстъ. Руже-де-Лиль положилъ это на музыку.

Рожденный въ моментъ высшаго экстаза цѣлаго народа, „гимнъ марсельцевъ" таинственно соединяетъ въ себѣ весь ужасъ катастрофы съ восторгомъ обновленной жизни, звуки похороннаго марша съ упоенно-восторженнымъ гимномъ. Подъ громы и мелодіи этого гимна уходила сто лѣтъ тому назадъ въ бездну старая Франція и рождалась новая, иная.

Марсельеза лишена мысли и рефлексій, какъ лишенъ мысли стихійный инстинктъ жизни, которымъ проникнута вся природа. Жалость, состраданіе, тонкая духовная красота — все это чуждо марсельезѣ. Она знаетъ только творческую, мощную, почти слѣпую, но вѣчную жизнь, которая переживаетъ всѣ доктрины и вѣрованія.

Марсельеза жестока и стихійна, какъ весеннее половодье, она—послѣдняя борьба, въ которой одно должно побѣдить, а другое погибнуть. И оттого все, сливающее свою жизнь съ будущимъ, такъ полно экстаза, слушая марсельезу; и оттого все, имѣющее корни въ одномъ прошломъ, такъ ненавидитъ эти звуки.

И вотъ почему, когда идетъ борьба съ ожившимъ во имя нарождающагося,—всюду, во всемъ мірѣ поютъ марсельезу. Слова „гимна марсельцевъ“ мѣняются, ибо у разныхъ народовъ въ разныя времена различное осуждено на исчезновеніе, но вѣчная душа этого обновленія жизни—звуки марсельезы—остаются.

Греческія четы на островѣ Критѣ, филиппинскіе инсургенты, японскіе революціонеры, рабочіе — всѣ имѣютъ различныя марсельезы, различныя слова, какъ различны ихъ идеалы и цѣли. Но всѣ они имѣютъ одну душу—музыку первой марсельезы—душу борьбы во имя жизни и творчества, которую первая вынесла въ міръ прекрасная Франція.

И поэтому, когда въ какомъ-либо уголкѣ земного шара люди начинаютъ пѣть марсельезу, то всѣ понимаютъ, что пришла эпоха обновленія. И содрогаются робкія души, а сильное, полное творческой жизни такъ часто въ восторженномъ слѣпомъ самозабвеніи гибнетъ подъ звуки марсельезы, ибо мать-природа требуетъ жертвъ для творчества жизни.

Попирая смерть,—идетъ „марсельеза“ по старой землѣ:

Allons, enfants, de la patrie.
Le jour de gloire est arrivé . . . .
. . . .
. . . .

II.

На языкѣ Фирдусси, Низами, Гафиза звучитъ теперь „марсельеза“, на языкѣ тѣхъ самыхъ персовъ, которые „съ незапамятныхъ временъ занимаютъ юго-западную часть иранскаго плоскогорья“.

Не правда ли, при словѣ „Персія“ передъ глазами проходятъ мистическіе Ормуздъ и Ариманъ, таинственная Зендъ-Авеста, поклонники бога Митры, поклонники огня и безчисленное множество Ахеменидовъ, Сассанидовъ, Самманидовъ, Даріевъ, Ксерксовъ, Артаксерксовъ, безпрерывныхъ династическихъ войнъ, безсмысленныхъ дворцовыхъ бунтовъ, образы сѣрой, безличной, кишащей, какъ черви, народной массы, налитыхъ кровью сатраповъ, безумной роскоши немногихъ, тупого убожества всѣхъ... И все это залито вѣчно-творческимъ солнцемъ востока, знающимъ, какъ гибнутъ старыя культуры, чтобы дать мѣсто новымъ, — не признающимъ смерти, ибо изъ разложенія создается новая жизнь.

Теперь тамъ поютъ марсельезу.

Востокъ мистиченъ, онъ безсознательно много знаетъ, впитавъ въ себя всю культуру человѣчества. Онъ много понимаетъ, какъ ребенокъ и мудрецъ.

Бунты, смѣна династій, распаденіе царствъ и созданіе но-

выхъ—все это онъ видѣлъ, все это знаетъ. И жизнь течетъ попрежнему, попрежнему „у жемчужнаго фонтана дремлетъ Тегеранъ“, такъ какъ все это проходило мимо него, не задѣвая мистическихъ народныхъ глубинъ.

Но — „это не бунтъ, ваше величество,—это революція“, какъ извѣстили Людовика XVI-го при взятіи Бастиліи При дворцовыхъ и военныхъ возстаніяхъ, къ которымъ привыкъ востокъ, „марсельезы“ не поютъ, такъ какъ при нихъ нѣтъ воскресенія жизни, — при нихъ нѣтъ отдѣловъ народныхъ комитетовъ-энджуменовъ, при нихъ „безглагольна, недвижима мертвая страна“.

Востокъ—все видѣвшій, все знающій—„марсельезы“ до сихъ поръ не зналъ и слышитъ ее впервые; это великій моментъ въ исторіи человѣчества. Гёте приписываютъ фразу, которую онъ сказалъ послѣ того, какъ революціонное войско Конвента выиграло битву при Вальми: „Теперь начинается новая исторія человѣчества“.

Мы — современники перевода „марсельезы“ на восточные языки—имѣемъ право сказать: „Теперь начинается новая исторія всемірной демократіи“. И для того, о чемъ мы говоримъ, не имѣетъ никакого значенія шахъ Насръ-Эдинъ, подписавшій конституцію и умершій послѣ этого, его наслѣдникъ Махмедъ-Али, счастливо разрушающій артиллерійскимъ огнемъ—съ помощью полковника Ляхова—только что созданный меджилисъ, трагическія смерти юношей и дѣтей, разстрѣливаемыхъ на площадяхъ Тегерана.

„У жемчужнаго фонтана дремлетъ Тегеранъ“... Послѣ артиллерійскаго огня онъ проснется. Кто разъ началъ пѣть „марсельезу“, тотъ больше дремать не можетъ.

Новая исторія человѣчества начинается съ момента выступленія демократіи. Постепенно на далекомъ западѣ демократія начала выдвигаться на арену исторіи и подвигаясь „впередъ,—по колѣна въ крови и слезахъ“, она донесла, хотя и очень плохой, переводъ „марсельезы“ до востока.

На нашихъ глазахъ революція въ Персіи начала разгораться, вспыхнула яркимъ пламенемъ и теперь какъ-будто потухаетъ.

Мы въ то время были слишкомъ заняты своими дѣлами, чтобы интересоваться чужими. Еще въ 1906 году глухое движеніе шло въ странѣ, собирались митинги на площадяхъ, говорились рѣчи, шла страстная, предвыборная агитація въ „домъ справедливости“. По всей странѣ образовывались энджумены—отдѣлы народныхъ комитетовъ, цѣль которыхъ была проводить новыя правовыя понятія въ сознаніе народа, не допускать стараго административнаго произвола, всѣми мѣрами защищать новую жизнь. Только-что вступившій на престолъ Махмедъ-Али хотѣлъ свести роль „дома справедливости“ къ регистраціи входящихъ и исходящихъ бумагъ. Столкновеніе было неизбѣжно и Махмедъ-Али первый пошелъ на него.

Онъ выписываетъ изъ-заграницы атабека Амиль-усъ-Салтанэ, извѣстнаго въ Персіи реакціонера—„домъ справедливости“ чувствуетъ въ этомъ вызовъ, онъ единодушно возмущенъ, сознавая, что шахъ не думаетъ сохранить вѣрность конституціи. Народъ не даетъ даже атабеку высадиться, и первый министръ, призванный къ власти, можетъ въѣхать въ „дремлющій у жемчужнаго фонтана“ Тегеранъ только подъ охраной казаковъ.—А затѣмъ атабекъ убитъ—и шахъ, скрѣпя сердце, назначаетъ первымъ министромъ человѣка искренно преданнаго возрожденію страны на новыхъ началахъ—Насръ-Эль-Мулька, который приступилъ къ управленію въ полномъ согласіи съ „домомъ справедливости“, но вся сила и власть въ странѣ осталась въ рукахъ приверженцевъ стараго абсолютизма. Вся администрація и все войско принадлежало старому строю и имъ поручено вводить, укрѣплять и защищать новый. Это, конечно, было наивно.

Помните рѣчь, произнесенную въ августѣ 1792 года, наканунѣ дня паденія въ бездну трона Бурбоновъ—10-го августа? Она была произнесена въ Люксембургскомъ отдѣлѣ (энджуменѣ) въ Парижѣ и сжато, съ неумолимой ясностью аргументировала мысли всей Франціи.

„Французы, вы произвели революцію; противъ кого?—Противъ короля, двора, дворянъ и ихъ сообщниковъ. Совершивъ эту революцію, кому вы ввѣрили ея участь?—Королю, двору, дворянамъ и ихъ сообщникамъ. Съ кѣмъ вы ведете внѣшнюю войну?—Съ королемъ, съ дворомъ, съ дворянствомъ и ихъ сообщниками. Кого вы поставили во главѣ своихъ армій? Короля, дворянъ, дворъ и ихъ сообщниковъ. Ну, дѣлайте же изъ всего этого заключеніе: или король, дворяне и интриганы, которые поставлены во главѣ вашихъ дѣлъ и вашихъ армій,—всѣ они Бруты, жертвующіе отцами, братьями, дѣтьми благу отечества, или—они вамъ измѣняютъ“.

Французы сдѣлали отсюда только одинъ выводъ: „Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons“ и—разразилось 10-го августа. „Французы востока“—персы хотѣли сдѣлать тотъ же выводъ, и въ декабрѣ 1907 года они поняли, что „дому справедливости“ не мѣшаетъ защитить себя и опереться не только на справедливость, но и на оружіе. Партія абсолютистовъ поняла положеніе еще раньше, и войско заняло Артиллерійскую площадь. Вооруженный народъ и войско стояли другъ противъ друга нѣсколько дней и, наконецъ, войска были отозваны въ казармы.

На этотъ разъ столкновенія не вышло, но первый министръ—Насръ-Эль-Мулькъ, „предательски“-серьезно отнесшійся къ меджилису—„дому справедливости“, былъ все-же арестованъ. Карты были раскрыты и противники стояли другъ противъ друга, хорошо зная, чего можно ожидать другъ отъ друга. „Повелитель Ирана“ медленно, но неуклонно сталъ готовиться къ дружескому

„единенію“ съ народомъ: онъ окружилъ себя истинно-персидскими реакціонерами, между которыми крымскій караимъ Шапшалъ и русскій полковникъ Ляховъ — инструкторъ и начальникъ казачьихъ персидскихъ войскъ—занимаютъ не последнее мѣсто. Кромѣ того онъ тщательно собираетъ вокругъ себя наиболѣе преданную часть войскъ и начальникомъ ихъ назначаетъ Эмиръ Джанга.

Для друзей „дома справедливости“ и для всѣхъ энджуменовъ страны всѣ эти дѣйствія „не требуютъ комментаріевъ“. И вотъ въ маѣ текущаго года главный энджуменъ, составленный изъ высшихъ лицъ государства, преданныхъ дѣлу возрожденія народа и вѣрящихъ, что это возможно только на пути искреннихъ реформъ и полновластнаго народнаго представительства, предъявилъ отъ имени народа требованія „повелителю Ирана“. Главный энджуменъ требовалъ удаленія Эмиръ-Джанга, Шапшала и еще четырехъ реакціонеровъ, онъ требовалъ назначенія начальникомъ войскъ сторонника свободы, незадолго передъ тѣмъ сосланнаго шахомъ—Ала Доуле и министромъ двора—сына Зилли-Султана, родственника шаха и горячаго приверженца новыхъ реформъ — Джанъ Доуле. Кромѣ того, повелителю Ирана и его министрамъ былъ запрещенъ выѣздъ изъ Тегерана.

Западные персы—французы—когда-то сдѣлали то же самое, но... они не переводили „марсельезу“, а создавали ее, и когда Людовикъ XVI позорно бѣжалъ отъ своего народа, то онъ былъ схваченъ на пути въ Вареннѣ—и при грозномъ молчаніи парижскаго народа возвращенъ въ Тюльери. Въ этотъ день, 21-го іюня 1791 года, умирала монархическая власть во Франціи. Но „восточные французы“, персы переводятъ—и плохо переводятъ—„марсельезу“, а не сами создаютъ ее. Поэтому Махметъ-Али отдаетъ 21-го мая приказъ полковнику Ляхову быть съ бригадой на площади наготовѣ, а 22-го утромъ, пройдя тайнымъ ходомъ черезъ женское отдѣленіе, подъ охраной бригады выѣзжаетъ въ Багешахъ. Весело и хорошо, хотя еще и не „послѣдній“, смѣялся Махметъ-Али: „Отсюда я начну царствовать“.

„У жемчужнаго фонтана дремлетъ Тегеранъ“, вспоминаетъ Ахеменидовъ, Сассанидовъ, Ксерксовъ, Артаксерксовъ и пр., и пр. и фаталистически говоритъ: Махметъ-Али начнетъ „царствовать“. Тегеранъ знаетъ, что это значитъ.

Роли перемѣнились. Махметъ Али „хорошо смѣется“ и ставитъ свои требованія. Онъ требуетъ выдачи Джалалъ-Доуле, Ала-Дауле, Эмиръ Сардара и др. Онъ требуетъ введенія предварительной цензуры, уничтоженія энджуменовъ и парламентской милиціи и многое другое,—онъ требуетъ „конституціи“ для своего народа. „Домъ справедливости“ соглашается на все это, но повелитель не спокоенъ и приказываетъ войскамъ занять мечеть Сайехъ-саларъ, прилегающую къ меджилису. 10-го іюня рано утромъ занимаютъ мечеть, но мечеть, оказывается, соединена че-

резъ проломъ стѣны съ меджилисомъ и къ казакамъ выходитъ парламентскій вождь Сеидъ-Абдулъ и говоритъ имъ... о „справедливости",—онъ переводитъ на персидскій „марсельезу".

Казаки мирно уходятъ. А затѣмъ выступаетъ на сцену „случайность"—эта слѣпая богиня, идущая всегда на поводу коварства, предательства и грубой силы. Казаки очистили мечеть и собрались на площади. Съ ними горячо говорилъ Сеидъ Абдулъ, Сеидъ-Джамала и др. о „справедливости", о братствѣ и пр. И происходитъ мирный митингъ. Вдругъ случайно раздается выстрѣлъ по толпѣ... Кто его сдѣлалъ? Кому надо было мирную толпу провоцировать на насиліе?—Этого не знаетъ начальникъ отряда казаковъ,—не знаетъ этого и главный начальникъ, полковникъ Ляховъ. Толпа, видя, что въ нее стрѣляютъ, начинаетъ осыпать каменьями казаковъ, а на помощь толпѣ приходятъ волонтеры, засѣвшіе въ мечети, въ зданіяхъ тавризскаго энджумена, арзербейджанскаго и др. Вначалѣ казаки растеряны, бросаютъ орудія и отступаютъ, но потомъ къ нимъ на помощь приходитъ со свѣжими силами и орудіями полковникъ Ляховъ.

Пушки—прекрасный аргументъ. Переводчики „марсельезы" аргументируютъ ружьями, слѣпымъ самопожертвованіемъ и... „справедливостью". Хранители исконныхъ персидскихъ началъ—русскій полковникъ Ляховъ—главный начальникъ войскъ—аргументируетъ пушками. Онъ направляетъ огонь на „домъ справедливости", на мечеть, на зданія энджуменовъ, на толпу, покрывающую всѣ улицы. Онъ аргументируетъ пушками, онъ правъ—диспутъ выигранъ: къ часу дня переводчики „марсельезы" разбиты, тихо на площади и „у жемчужнаго фонтана дремлетъ Тегеранъ"... Когда повелитель Ирана присылаетъ свой отрядъ на помощь казакамъ и приказываетъ передать полковнику Ляхову, что онъ думаетъ вступить въ переговоры съ парламентомъ, то бравый полковникъ, выигравшій диспутъ, доноситъ „хорошо смѣющемуся" Махмету-Али, что „дома справедливости" уже нѣтъ,—что диспутъ обошелся въ 20 человѣкъ убитыхъ казаковъ и въ 500, а по нѣкоторымъ версіямъ въ 2000, убитыхъ „переводчиковъ марсельезы". А затѣмъ Тегеранъ на военномъ положеніи и поддержаніе порядка поручено полковнику Ляхову.

Но „переводчики марсельезы" еще продолжаютъ диспутировать. Горячіе диспуты происходятъ въ Тавризѣ. По телеграфнымъ свѣдѣніямъ они тамъ побѣждаютъ, и теперь въ Тавризъ отправленъ цѣлый полкъ изъ 3000 солдатъ съ 6 орудіями подъ начальствомъ Насръ-эс Салтанэ. Народъ яростно сражается. И все-же первый переводъ „марсельезы" на персидскій языкъ—сдѣланъ. Телеграммы изъ Тегерана отъ 14-го іюля передавали, что шахъ завѣрилъ русскаго посланника г. Гартвига въ своей преданности конституціи, что по успокоеніи Тавриза приступятъ къ разработкѣ новыхъ правилъ о выборахъ въ меджилисъ

и сенатъ, что первый меджилисъ оказался революціоннымъ и что будутъ выработаны условія для созыва второго меджилиса, который, какъ онъ надѣется, будетъ лучше перваго.

Теперь Махметъ-Али съ своими помощниками, посадивъ на колъ многихъ изъ главныхъ „переводчиковъ марсельезы", почти спокойно возьмется за государственное строительство—за подготовленіе истинно-персидскаго „дома справедливости". Почти навѣрное и Тавризъ скоро будетъ дремать „у жемчужнаго фонтана", но и въ дремотѣ онъ будетъ слышать музыку „aux armes, citoyens! formez vos bataillons".

Психическими волнами она будетъ передаваться въ Багешахъ, и неспокойно будетъ спать Махметъ-Али, ибо первый переводъ марсельезы на языкъ Фирдусси, Саади, Гафиза—уже сдѣланъ, а шахъ знаетъ французскій языкъ и знаетъ, что кромѣ марсельезы, созданной французскимъ народомъ, имъ-же еще запечатлѣна жизненная мудрость въ словахъ: rira bien, qui rira le dernier...

III.

А въ Турціи, кажется, „хорошо смѣются" „молодые" турки, потрясая въ воздухѣ передъ оторопѣвшими лицами „старыхъ" турокъ доморощенной „хартіей" свободы—конституціей 1876 года. Въ отоманской имперіи давно уже были попытки перевода марсельезы. Очень самобытныя и очень неудачныя попытки.

Еще султанъ Абдулъ-Меджидъ приступилъ къ реформамъ, опубликовалъ нѣсколько указовъ, знаменитый гатти-гумаюнъ 1856 г. и, стремясь преобразовать свое государство по западно-европейскому образцу, невольно дѣлалъ введеніе къ первому певоду „марсельезы" на турецкій языкъ. Всѣ реформы остались мертвой буквой и ограничились только одной, претворившейся въ жизнь: онъ первый началъ титуловаться „величествомъ". Всѣ путешественники и изслѣдователи единогласно признаютъ, что османы—добрый и благодарный народъ. Они оцѣнили эту реформу и молили Аллаха о долгомъ царствіи султана. Онъ благополучно скончался въ 1861 г. и ему наслѣдовалъ его братъ Абдулъ-Азисъ. Этотъ тоже очень любилъ реформы, подтвердилъ всѣ указы, гатти-шерифы и гатти-гумаюны скончавшагося величества и даже уменьшилъ нѣсколько свой цивильный листъ. Но есть въ этомъ что-то фатальное: его реформы тоже оставались на бумагѣ. По-прежнему взяточничество, насиліе, произволъ царили въ „реформированной" странѣ, а расходы на гаремъ, на путешествія, на охоту—все увеличивались. Финансы страны въ самомъ скверномъ состояніи, и въ это же время происходятъ возстанія на островѣ Критѣ,—Румынія, Сербія хотятъ получить полную независимость,—во всѣхъ дѣлахъ развалъ.

Въ 1875 году наступаетъ государственное банкротство. Мудрый

падишахъ теперь ясно видитъ, что его народъ еще не созрѣлъ для реформъ.

Въ сердечныхъ заботахъ о народѣ своемъ онъ назначаетъ великимъ визиремъ Махмуда-Недимъ-пашу. Но возстанія въ Босніи и Герцеговинѣ продолжаются, а въ 1876 году возлюбленный народъ Константинополя, не понявъ въ своей тупости сердечной заботы, возстаетъ противъ сильной власти Махмуда-Недима и требуетъ его отставки. Османы—медлительный народъ, это они все создаютъ введеніе къ первому переводу марсельезы. Послѣ отставки великаго визиря министры, сторонники искреннихъ реформъ—Гуссейнъ Авни, Сулейманъ и Мидхатъ—потребовали отреченія отъ престола мудраго падишаха. Это было 30-го мая 1876 г. и—потому-ли, что вѣрные османы перестали молиться Аллаху за него, или по чему-либо другому, но Абдулъ-Азисъ былъ 4-го іюля 1876 года убитъ въ своемъ замкѣ Чараганъ.

Необходимо было немедленно приступить къ „реформамъ", что и долженъ былъ поспѣшить сдѣлать сынъ Абдулъ-Меджида (племянникъ убитаго султана) Муратъ. Онъ, хотя и вступилъ на престолъ подъ именемъ Мурата V,—оказался душевно больнымъ, былъ отрѣшенъ отъ престола и ему наслѣдовалъ нынѣ царствующій повелитель правовѣрныхъ,—братъ его Абдулъ-Гамидъ. Этотъ падишахъ любилъ реформы больше всѣхъ другихъ и немедленно приступилъ къ нимъ. Мидхатъ-паша былъ назначенъ великимъ визиремъ и ему было поручено озаботиться введеніемъ конституціоннаго устройства въ государствѣ османовъ. Онъ озаботился и создалъ настоящую конституцію съ равноправіемъ сословій и національностей, съ неприкосновенностью личности, со свободой религій, печати, собраній, съ правомъ петицій, съ полнымъ равенствомъ всѣхъ передъ закономъ.

Конституція была хорошая, настоящая,—съ парламентомъ изъ двухъ палатъ, выбираемымъ населеніемъ тайнымъ голосованіемъ на 4 года; отъ каждыхъ ста тысячъ человѣкъ избирается одинъ депутатъ, которому гарантирована полная неприкосновенность. Какъ и полагается настоящей, не фальсифицированной конституціи, въ ней не были забыты несмѣняемость судей, гласное судопроизводство, право народныхъ представителей на точный контроль бюджета, который вотируется на одинъ годъ и безъ утвержденія котораго народными представителями не можетъ быть израсходованъ ни одинъ піастръ. Мѣстное самоуправленіе, провинціальные совѣты, полная реорганизація всей жизни—были положены въ основу этой конституціи

23 декабря 1876 года конституція была торжественно объявлена и падишахъ возвѣстилъ народу, что онъ „считаетъ неотложнымъ дѣломъ учрежденіе парламента". „Основной законъ, нами теперь утвержденный, обезпечиваетъ прерогативы монарха, гражданское и политическое равенство оттоманскихъ подданныхъ,

отвѣтственность и функціи министровъ и чиновниковъ, право парламента контролировать дѣйствія властей, полную независимость судей, фактическое равновѣсіе бюджета. Съ помощью Божіей повелѣваемъ немедленно ввести подписанную нами конституцію въ дѣйствіе во всѣхъ частяхъ имперіи". Это была хорошая конституція, но почему-то повелитель правовѣрныхъ хорошо запомнилъ только 113 статью этой конституціи, дававшую ему право ссылать лицъ, признанныхъ имъ опасными для государства и почему-то мудрый падишахъ захотѣлъ испробовать прочность созданной имъ конституціи на творцѣ ея: въ февралѣ 1877 года Мидхатъ-паша былъ сосланъ.

Конституція продолжала дѣйствовать, парламентъ былъ открытъ въ мартѣ 1877 года, разсмотрѣлъ бюджетъ и благополучно просуществовалъ первую сессію. Во второй сессіи выступила оппозиція съ рѣзкой критикой правительства и падишаху стало тогда ясно, что его возлюбленный народъ еще не созрѣлъ для парламентарнаго строя, что всѣ измышленія гяуровъ рѣзко расходятся съ истинно-турецкими началами. Члены турецкаго „дома справедливости" были мирно распущены по домамъ, а самъ „домъ" не былъ разрушенъ, какъ это дѣлаютъ въ Персіи, — а были забиты двери, заколочены ставни, — повѣшенъ замокъ, и ключъ положенъ подъ подушку великаго падишаха, повелителя правовѣрныхъ, мудраго Абдулъ-Гамида.

Хорошо смѣялись въ этотъ день—19 февраля 1878 года—въ Ильдизъ-Кіоскѣ. Какъ видно, реформа—титулованіе падишаха величествомъ—была наиболѣе жизненно необходима, ибо она одна только и осталась послѣ всѣхъ неустанныхъ трудовъ цѣлаго ряда падишаховъ. А затѣмъ въ великой странѣ оттомановъ все пошло нормально: подкупъ, грабежъ, насиліе безконечной своры чиновниковъ, — жалкое, доходящее до подлости терпѣніе массъ, глухія возстанія, жестокія усмиренія и время отъ времени рѣзня двухъ рабовъ на короткой цѣпи—магометанскаго и христіанскаго населенія. А затѣмъ корыстолюбивое и хищное вмѣшательство иностранныхъ державъ, цѣлый потопъ дипломатическихъ нотъ, коварная игра турецкихъ дипломатовъ, основанная на зависти ссорящихся между собою христіанскихъ державъ.

И на ближнемъ востокѣ „опять все тихо", въ Ильдизъ-Кіоскѣ смѣются, а великая имперія оттомановъ идетъ къ гибели. Тридцать лѣтъ тому назадъ забили наглухо двери и окна „дома справедливости" въ Константинополѣ, а всѣхъ мечтающихъ о переводѣ „марсельезы" сослали, перебили, сгноили по тюрьмамъ. Слава великаго падишаха—„кроваваго султана"—далеко разнеслась по землѣ.

IV.

Мидхатъ-паша былъ потомъ задушенъ въ ссылкѣ,—по истинно-турецкому обычаю,—безъ суда; но у него есть сынъ Али-Гайдаръ-Мидхатъ-бей. Несомнѣнно, въ этомъ есть главное проклятіе и угроза тирановъ всѣхъ странъ. Изъ крови отцовъ выростаютъ мстители-сыновья. Такъ было—такъ будетъ. Это залогъ жизни, оправданіе ея, вѣчность ея творческихъ силъ. Молодые должны придти, чтобы защитить дѣло отцовъ, углубить и повести его дальше, чтобы изъ пролитой крови выросъ не чертополохъ, а великія легенды творимой жизни. Молодые всюду приходятъ, пришли они и въ Турціи. Младотурецкое движеніе начало развиваться сразу же послѣ веселаго смѣха въ Ильдизъ-Кіоскѣ въ февралѣ 1878 года.

Каждый изъ насъ слышалъ, читалъ о младотуркахъ. Къ нимъ относились, какъ къ мечтателямъ, желающимъ привить свѣжій ростокъ къ мертвому дереву, сѣющимъ сѣмена на каменистой, мертвой почвѣ. Такъ относились къ нимъ и къ ихъ комитетамъ не только европейцы-обыватели, но и дипломаты всѣхъ странъ. Создавались безконечные планы реформъ въ той или другой турецкой провинціи, населенной христіанами, запутывались узлы, хитроумно разрѣшались конфликты и пр. и пр., а что въ Турціи нарождается новая сила, которая, быть можетъ, спасетъ „больного человѣка“ и не придется дѣлить никакого „наслѣдства“ — это ускользнуло отъ глазъ тонкихъ дипломатовъ, которые, правда, знали, что въ Парижѣ засѣдаетъ постоянный комитетъ младотурковъ, во главѣ котораго стоитъ племянникъ султана, принцъ Сабба-Эдинъ, Мамоміанъ, Ахмедъ-Риза, сынъ Мидхата и нѣкоторые другіе, но никакъ не думали, что эти мечтатели скоро будутъ диктовать свои условія великому падишаху.

Событія свѣжи у всѣхъ на памяти; мы не будемъ излагать, какъ неуклонно и стремительно они развивались, едва младотурки подняли знамя возстанія. Мы не будемъ излагать, какъ побѣдоносно шелъ майоръ Ніазамъ-бей съ своимъ отрядомъ, какъ города безъ боя ему сдавались, какъ полки повелителя правовѣрныхъ съ восторгомъ присоединялись къ Ніазамъ-бею; какъ офицеры всюду стоятъ во главѣ движенія, какъ они принимаютъ участіе въ митингахъ на площадяхъ, въ казармахъ; какъ народъ всюду горячо привѣтствуетъ освободителей, какъ самые важные города Македоніи—Монастырь, Ускюбъ, Гавгели, Копули присоединились къ младотуркамъ; какъ важнѣйшія роды албанцевъ, извѣстныхъ своимъ фанатизмомъ и преданностью повелителю правовѣрныхъ, подписали петицію султану съ требованіемъ конституціи.

Почти все войско падишаха перешло на сторону младотурковъ.

Извѣстно болѣе остроумное, чѣмъ фактически-вѣрное утвержденіе, что на штыкахъ сидѣть нельзя.

Въ общемъ это, конечно, вѣрно, но если штыкъ прочеиъ, то можно съ нѣкоторымъ удобствомъ устроиться на немъ и пробыть болѣе или менѣе продолжительное время. Въ кладовой старой бабушки-исторіи можно при желаніи найти такіе примѣры. Но несомнѣнно, что никакъ ужъ нельзя усидѣть на подламывающемся штыкѣ. „Домъ справедливости“ въ Константинополѣ стоялъ заколоченнымъ тридцать лѣтъ, въ Ильдизъ-Кіоскѣ устроились очень удобно на штыкахъ и смѣялись, пока... пока штыки не подломились. Тогда міровоззрѣнія и политическія вѣрованія великаго падишаха—знаменитаго „кроваваго султана“ рѣзко измѣнились. Онъ постигъ опять необходимость и „неотложность учрежденія парламента“ и онъ „съ Божьей помощью повелѣваетъ немедленно ввести подписанную нами конституцію въ дѣйствіе во всѣхъ частяхъ имперіи“.

Да, младотурки—сыны убитыхъ Мидхатовъ, кажется, „послѣдними“ смѣются,—кажется, имъ удалось перевести „марсельезу“ на турецкій языкъ,—кажется, сознательно и восторженно турецкій народъ принялъ конституцію,—кажется, христіане и магометане братски сольются, чтобы поддержать и укрѣпить новый строй.—Да, все это такъ, если бы...

„Если бы король былъ твердъ и разуменъ, если бы духовенство не было заинтересовано въ дѣлахъ мірскихъ, если бы аристократія была справедлива, народъ былъ умѣренъ, Мирабо неподкупенъ, Лафайетъ рѣшителенъ, Робеспьеръ человѣколюбивъ,—то революція явилась бы во Франціи, а потомъ и въ Европѣ, величественная и спокойная, подобно божественной мысли; она вошла бы, какъ философія, въ дѣла, въ законы, въ обряды“...

Такъ говоритъ Ламартинъ о великой французской революціи.—Это наивно и сантиментально. Объ одномъ „если бы“ должны были бы молиться властители Турціи: „если бы чаша народнаго терпѣнія была безъ дна“. Друзья народа могутъ сказать: „за насъ законы природы“ — чаша, наполненная черезъ край, переливается, герметически закупоренный сосудъ при продолжающемся давленіи—взрываетъ и, если невозможна *эволюція*, то приходитъ трагически страшная, *революція*.

Если бы повелитель правовѣрныхъ, великій падишахъ, не былъ коварнымъ и хитрымъ восточнымъ деспотомъ; если бы онъ искренно вынулъ изъ - подъ подушки ключъ отъ „дома справедливости“, куда онъ его запряталъ на цѣлыхъ тридцать лѣтъ; если бы своекорыстная и хищная свора приближенныхъ султана могла проникнуться любовью къ родинѣ и сознаніемъ необходимости спасенія ея; если бы муллы думали о служеніи аллаху, а не о своихъ интересахъ; если бы жадное, насильническое, привыкшее ко взяткамъ и произволу чиновничество страстно захо-

тѣло возродиться къ новой жизни; если бы христіане и магометане помнили, что они—братья и что только жадные волки—эффенди и муллы—натравливаютъ ихъ другъ на друга; если бы иностранныя державы не спѣшили еще при жизни дѣлить наслѣдство „больного человѣка“ и этимъ самымъ не толкали его къ могилѣ... то, быть можетъ, младотуркамъ удалась бы безкровная революція.

Это было бы величавое зрѣлище. Но относительно „безкровныхъ“ революцій съ пророчествами всегда слѣдуетъ подождать до завтрашняго дня... Несомнѣнно, младотурки способные и талантливые „переводчики“. Стройно, дисциплинировано проведены первые этапы и—они помнятъ уроки исторіи—не складываютъ оружія до конца. Конституція 1876 года возстановлена, но младотурки еще подъ ружьемъ, революція еще продолжается.

Великъ Аллахъ и его законы жизни.—Таково мнѣніе и персидскаго шаха. Въ отвѣтъ на извѣщеніе турецкаго посла о введеніи въ Турціи конституціи онъ сказалъ: „Великъ Аллахъ, возвращающій свои народы на правильный путь, на которомъ непремѣнно произойдетъ согласіе и миръ между разрозненными мусульманскими народами“.

Да, великъ Аллахъ, создающій вѣчную музыку жизни,—гибель однихъ формъ для творческой жизни другихъ,—преемственную жизнь поколѣній, заставляющую сына Мидхата-паши завершить дѣло отца своего.

Мы присутствуемъ при началѣ перевода „марсельезы“ на восточные языки. Это великій моментъ въ исторіи человѣчества.

Левъ Мовичъ.

Придворная камарилья въ Пруссіи.

(Дѣло кн. Эйленбурга).

„Подумайте только, нашъ Эдгаръ тоже такая свинья“.
Вильгельмъ II о графѣ Эдгарѣ Веделѣ.

I.

Весело и безмятежно протекала жизнь молодого князя въ замкѣ „Liebenberg“.

„Безумный“ сорокъ восьмой годъ, доставившій столько непріятныхъ минутъ людямъ его круга сталъ извѣстенъ ему лишь какъ скверное достояніе исторіи. Родившись въ 1847 г., за годъ до революціи 1848 г., онъ сталъ срывать розы германской жизни въ то время, когда онѣ все еще оставались безъ шиповъ для людей юнкерскаго происхожденія. „Новыя условія“, которыя плебсъ звалъ конституціей,—не стѣсняли славнаго потомка князей Эйленбурговъ. И позднѣе, съ объединеніемъ Германіи и наступленіемъ эпохи всеобщаго избирательнаго права—конституція все же не стояла на его жизненномъ пути. Ибо рядомъ съ конституціей продолжали жить бюрократическая независимость и безотвѣтственность...

Молодой князь однако сталъ на эволюціонную точку зрѣнія. И сообразивъ, что формальная конституція постепенно превращается въ реальную, онъ избралъ ту область государственной дѣятельности, гдѣ описанный эволюціонный процессъ во всякомъ случаѣ происходитъ не съ такой быстротой... „На нашъ вѣкъ хватитъ“...

Князь выбралъ дипломатическую карьеру, подтвердившую его разсчеты.

Кончивъ университетъ въ Лейпцигѣ, кн. Эйленбургъ послѣ войны 1870 г. поступилъ въ дипломатическій корпусъ, гдѣ онъ и продолжалъ двигаться впередъ по службѣ. Съ 1888 г. до 1894 г. онъ былъ посломъ при различныхъ нѣмецкихъ дворахъ. Затѣмъ назначенъ былъ посланникомъ въ Вѣну, гдѣ и пребывалъ послѣдніе годы. Ужъ въ это время князь пріобрѣлъ колос-

сальное вліяніе въ рядахъ германской дипломатіи въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Т. е. въ рядахъ дипломатовъ при чужихъ дворахъ и при собственномъ, гдѣ кн. Эйленбургъ сталъ играть видную роль, какъ ближайшній совѣтникъ императора. „Въ полѣдніе годы, какъ разсказываетъ самъ князь—я хотѣлъ отказаться отъ службы, но его величество не позволилъ мнѣ этого сдѣлать“. Вліяніе князя было огромно. Его „дипломатическая карьера достигла столь свѣтлой точки, что стала видна и въ конституціонныхъ низахъ. Съ этой минуты уже исчезнуть изъ поля зрѣнія конституціоннаго плебса для князя оказалось невозможнымъ. Но все же получивъ офиціальную отставку князь какъ бы снова исчезъ.

Однако не совсѣмъ. Исчезъ для того, чтобы еще съ большей энергіей проявить свои государственныя способности. Правда это не совершалось на виду у всѣхъ, но все же въ достаточной мѣрѣ, чтобы *всѣ* могли это почувствовать и если не знать то догадываться о наличности незримой силы, оказывающей весьма существенное вліяніе на жизнь мелкихъ людей и „среднихъ человѣковъ“.

Тогда то, т. е. года два тому назадъ изъ среды людей, приверженныхъ „новымъ условіямъ“, стали раздаваться указанія, что страна какъ бы вернулась къ доброму старому времени. И что истинными вершителями судебъ страны является не рейхстагъ и даже не императоръ, а небольшая кучка застольныхъ друзей послѣдняго, являющаяся въ дѣйствительности высшей властью германскаго государства.

На столбцахъ германской печати начались указанія на роль камарильи вообще, и германской въ частности.

Отголоски этой газетной кампаніи проявились и въ парламентѣ. Кн. Бюловъ однако въ одной изъ своихъ рѣчей весьма иронически отнесся къ „газетной-болтовнѣ“ о зависимости императора отъ кучки придворныхъ, а офиціальное „Nord-Deutsche Zeitung“ поспѣшило выступить съ рѣзкимъ опроверженіемъ. Но „болтуны“ въ тихомолку называли уже кой-какія имена, и среди нихъ въ первую голову упоминалось имя кн. Эйленбурга, какъ одного изъ наиболѣе видныхъ „творцовъ закулисной политики“.

Однако толки должны были прекратиться, ибо они продолжали вращаться по преимуществу въ области догадокъ и предположеній. О камарильи въ печати перестали говорить.

Неизвѣстно сколько времени длилось бы молчаніе о ней, если бы въ дѣло не вмѣшался основной законъ, двигающій испоконъ вѣковъ жизнью всякой камарильи. Имя этому закону—интригантство. Являясь основнымъ импульсомъ внутренней жизни указанной коллегіи, онъ имѣетъ однако то скверное свойство, что распространяется не только на объекты, стоящіе внѣ камарильи, но и на субъекты, входящіе въ составъ ея. И въ силу этого обстоятельства жертвой интриги неожиданно сдѣлался всемогущій кн.

Эйленбургъ. При чемъ жертвой въ самомъ серіезномъ, какъ мы знаемъ, смыслѣ этого слова.

Что же случилось?

Тайный совѣтникъ Гольштейнъ, сотрудникъ кн. Эйленбурга въ высшихъ сферахъ, старѣйшій и вліятельнѣйшій совѣтникъ въ области иностранной политики, возмечталъ воспользоваться марокскимъ инцидентомъ и втянуть Германію въ войну съ Франціей. Это была конечно, не единоличная мечта его. Гольштейнъ выразилъ лишь завѣтныя вожделѣнія близко стоящей ко двору части юнкерства, модернизовавшаго свой государственный идеалъ въ томъ смыслѣ, что реставрированная абсолютная германская монархія возродится подъ нераздѣльнымъ и единымъ управленіемъ Пруссіи...

Читатель, конечно, не забылъ рѣзваго бряцанія оружіемъ, раздавшагося въ то время для вящаго устрашенія „другой стороны Вогезъ". Но если вспомнить это бряцаніе, то нельзя не вспомнить и того бурнаго взрыва общественнаго негодованія „по ту и по эту сторону Вогезъ", который не только рѣзко осудилъ наступательную политику Германіи, но и фактически остановилъ ее. Бряцавшіе оружіемъ почувствовали себя въ весьма щекотливомъ положеніи. Довѣряя старой политической мудрости,— политику дѣлаютъ тайные совѣтники, а не—„толпа",—они не учли того элементарнаго факта, что Германія переживаетъ эпоху экономическаго расцвѣта и главенства на международномъ рынкѣ—условія, менѣе всего питающія въ купеческомъ обществѣ воинственныя настроенія, не говоря уже, конечно, о „малыхъ сихъ" современнаго строя, о „грубыхъ" и „грязныхъ" пролетаріяхъ, протестовавшихъ во всей странѣ на сотняхъ митинговъ противъ возможной войны. Общественное негодованіе оказалось столь выразительнымъ, что кн. Бюлову представилось даже страшнымъ пустить въ Берлинъ Жореса, собравшагося было въ Германію, чтобы съ трибуны народнаго собранія провозгласить идею мира и солидарности между націями обѣихъ странъ.

Игра сорвалась... Это конечно, немедленно отозвалось на судьбѣ Гольштейна, создавшаго столь громкій инцидентъ и при томъ со столь конфузнымъ финаломъ. Тайный совѣтникъ въ оффиціальномъ и дѣйствительномъ значеніи этого слова оказался въ опалѣ. И ее поспѣшилъ немедленно же использовать кн. Эйленбургъ, имѣвшій къ тому весьма основательныя побужденія въ виду претензіи Гольштейна стать руководителемъ камарильи и въ виду его усилившагося вліянія на императора. Нечего говорить, конечно, что въ силу этого обстоятельства, кн. Эйленбургъ именно потому все время былъ противъ войны съ Франціей, что за нее стоялъ Гольштейнъ. И когда послѣдній получилъ чистую отставку въ наказаніе за вовлеченіе въ невыгодную

сдѣлку, князь Эйленбургъ оказался, понятно, первымъ кандидатомъ на освободившееся мѣсто ближайшаго совѣтника.

Кн. Эйленбургъ сталъ первымъ „тайнымъ“ совѣтникомъ.

И снова весело и беззаботно протекала жизнь...

Законъ интригантства однако не дремалъ.

Новый фаворитъ казался неуязвимымъ въ сферѣ придворныхъ отношеній, но получившій отставку Гольштейнъ рѣшилъ напасть съ другой стороны.

Старый юнкеръ сразу оцѣнилъ пользу и благодѣянія свободнаго слова и свободнаго общественнаго мнѣнія, понявъ, что въ наше время они могутъ оказать весьма существенную услугу въ дѣлѣ борьбы съ всемогущимъ противникомъ. Memorabile dictu!—но конституція явилась весьма удобной и даже незамѣнимой вещью. Сила общественнаго негодованія оказалась предметомъ крупной политической цѣнности. Надо было только умѣло направить ее противъ счастливаго временщика и удачно воспользоваться однимъ изъ могучихъ орудій эпохи—повременной печатью, дѣйствующей при конституціонныхъ условіяхъ нерѣдко сильнѣе примитивнаго придворнаго навѣта. Нужно было найти подходящую руку. И она нашлась.

На сценѣ появляется „третій элементъ“, въ лицѣ талантливаго журналиста, Максимиліана Гардена, которому и суждено было сыграть роль свергателя „негласнаго министерства“.

Максимиліанъ Гарденъ и его журналъ „Zûkunft“—пользуются въ Германіи достаточно опредѣленной репутаціей. Радикалъ и въ то же время панегиристъ всѣхъ дѣяній Бисмарка, Гарденъ—типичный современный журналистъ, которыхъ хорошо знаютъ большіе города Европы. Имъ нерѣдко суждено создавать, такъ называемое, общественное мнѣніе, по преимуществу благодаря совмѣщенію въ себѣ исключительной хроникерской пронырливости и литературнаго таланта и умѣлому использованію, а еще болѣе созданію сенсаціонныхъ моментовъ.

Къ Максимиліану Гардену и обратился Гольштейнъ. И не ошибся въ своихъ разсчетахъ.

Талантливый Гарденъ прекрасно использовалъ доставленные ему матеріалы, обнаружившіе съ несомнѣнной вѣскостью, что ближайшіе совѣтники императора, та самая камарилья, о существованіи которой общество толкуетъ уже столько времени, *состоитъ по преимуществу изъ гомосексуалистовъ*, и во главѣ ихъ кн. Эйленбургъ и генералъ фонъ-Мольтке...

Послѣдовали извѣстныя разоблаченія...

Соотвѣтствующіе номера „Zûkunft'а“ были преподнесены кронпринцемъ императору и... для кн. Эйленбурга прекратились прекрасные дни Аранжуэца.

Конституція однако не переставала „подводить“...

Былое время административнаго запрета касаться темъ, за-

трагивающихъ „высшіе государственные интересы“ исчезло, и въ дѣло вмѣшалась прокуратура.

Наступаетъ первая фаза Эйленбургщины—процессъ Гардена. Кн. Эйленбургъ отрицалъ факты, приведенные Гарденомъ, и на судѣ подъ присягой показалъ, что Гарденъ лжетъ. Князь далъ выходъ своему возмущенному чувству и патетически воскликнулъ: „Пусть докажетъ!“

Неутомимый журналистъ, хотя и приговоренный къ нѣсколькимъ мѣсяцамъ тюрьмы „за клевету“, поднялъ однако перчатку, заявивъ: „докажу!“ И доказалъ...

Новые факты и новые свидѣтели не оставили сомнѣній въ томъ, что Гарденъ правъ. И составъ преступленій кн. Эйленбурга обогатился еще однимъ новымъ преступленіемъ — лжеприсягой.

Было-ли то результатомъ темперамента князя или проклятіемъ его мѣсторожденія, которое, какъ показываетъ названіе замка, съ ранней юности напѣвало князю пѣсни страсти нѣжной, но такъ или иначе сіятельный гомосексуализмъ оказался неопровержимымъ и оттого роковымъ для княжеской карьеры, закончившейся скамьей подсудимыхъ.

Начинается вторая фаза—процессъ кн. Эйленбурга.

II.

На этотъ разъ звѣзда князя закатилась безвозвратно. На лицо—сенсаціоннѣйшій процессъ. Сенсаціонный, ибо во-первыхъ кн. Эйленбургъ стоялъ во главѣ негласныхъ руководителей германской политики и ближайшихъ друзей императора. Во-вторыхъ глава негласнаго министерства оказался урнингомъ, апостоломъ любви, не санкціонированной законодательствомъ современнаго раціональнаго вѣка. И наконецъ, въ третьихъ—вождь камарильи оказался не только урнингомъ, но еще и клятвопреступниковъ.

Сенсація столь велика, что единственную мѣру, какую могли принять изъ уваженія къ происхожденію и соціальному положенію подсудимаго—это закрыть двери суда. Однако самые подробные отчеты о засѣданіяхъ появлялись въ печати, и публика прекрасно освѣдомлена о всѣхъ перипетіяхъ процесса, приковывающаго къ себѣ вниманіе всего міра. Виновность кн. Эйленбурга подтвердилась съ неопровержимой точностью по всѣмъ пунктамъ обвиненія.

Наиболѣе интересной является третья фаза всего этого дѣла—постепенное превращеніе процесса кн. Эйленбурга въ процессъ камарильи—въ процессъ Эйленбургщины, которому суждено войти большимъ сальнымъ пятномъ въ исторію берлинскихъ „верхнихъ десяти тысячъ“. Цѣлая вереница свидѣтелей, какъ потерпѣвшихъ—такъ и участниковъ„ содомскихъ развлеченій“, прошла передъ су-

домъ, преподнося почти ежедневно новые сюрпризы и новыя откровенія. И процессъ не только затягивался, но и затягивалъ все большее число лицъ изъ того веселаго круга, гдѣ такъ беззаботно жилъ князь Эйленбургъ. Не только сторожа, лакеи, лѣсничіе, рыбаки, лавочники, но и важные графы и гофраты оказались вовлеченными въ тотъ же грязный потокъ.

Князь, оказалось, не ограничивался практикой—и проявлялъ большой интересъ къ теоріи и литературѣ вопроса. Но князь не былъ остороженъ. „Когда совершенъ былъ обыскъ въ родовомъ замкѣ„ Libenberg'ѣ", прокуроръ нашелъ въ кабинетѣ князя большой пакетъ книгъ и брошюръ, относящихся къ гомосексуализму. На пакетѣ рукой кн. Эйленбурга написано было имя и фамилія графа Эдгара Веделя. Послѣдній былъ также подвергнутъ допросу. Графъ Эдгаръ Ведель поспѣшилъ выразить свое глубочайшее недоумѣніе насчетъ того, какъ пришло въ голову князю писать на пакетѣ его имя и показалъ *также подъ присягой*, что къ инкриминируемому пакету онъ никакого отношенія не имѣетъ. Однако, графъ Ведель признался, *что у него есть склонность къ гомосексуализму*, но рѣшительно отрицалъ, что онъ будто бы устраивалъ во дворцѣ принцессы чаи, на которые собирались гомосексуальные члены придворнаго общества. Это были просто музыкальные вечера, на которыхъ бывали многіе придворные дамы и композиторы, какъ напримѣръ, Леонковало, но гомосексуальныя оргіи, о которыхъ говорилось въ печати, графъ съ возмущеніемъ отрицаетъ" [1]).

Но насколько бы ни удовлетворилась прокуратура показаніями графа Веделя—во дворцѣ ими не удовлетворились, и когда о нихъ стало тамъ извѣстно, Вильгельмъ II приказалъ не пускать больше графа Веделя во дворецъ. А „на завтракѣ въ честь шведскаго короля императоръ, обращаясь къ групѣ окружавшихъ его придворныхъ замѣтилъ: „Denken Sie, únser Edgar ist aúch solches Schwein"—„Подумайте только, нашъ Эдгаръ тоже такая свинья" [2]).

Не успѣлъ однако втянуть кн. Эйленбургъ въ скверную исторію „нашего Эдгара", какъ въ ту же тину попала еще одна „тоже такая свинья", при чемъ столь неудачно, что немедленно возникло новое судебное преслѣдованіе. На этотъ разъ „недоразумѣніе" случилось съ гофратомъ Кистлеромъ,—бывшимъ секретаремъ князя.

Дѣло однако не кончается и на гофратѣ Кистлерѣ. Судебный процессъ обнаружилъ еще одну „такую же свинью".

...Такимъ образомъ, мало по малу обнаружилось цѣлое почтенное общество урнинговъ, клятвопреступниковъ и лжесвидѣтелей, которые являлись фактическими вершителями судебъ громадной

---

1) «Berliner Tageblatt» 349.

2) Ibid.

имперіи. Гомосексуальная камарилья предстала обнаженной предъ лицомъ націи и всего міра, чтобы продемонстрировать не только свое моральное банкротство, но—что гораздо важнѣе—маразмъ тѣхъ соціально-политическихъ условій, которыя создали столь благопріятную обстановку для Веделей и иныхъ Эйленбурговъ, играющихъ судьбою цѣлаго народа за бражнымъ столомъ или во время противуестественныхъ оргій. И достаточно было одному сѣсть на скамью подсудимыхъ, чтобы вслѣдъ за этимъ посыпались письма, свидѣтельства, документы, статьи и превратили бы постепенно процессъ одного изъ нихъ въ процессъ всѣхъ ихъ...

III.

Какъ же реагируетъ на всѣ эти обвиненія и свидѣтельскія показанія кн. Эйленбургъ?

Пока онъ либо молчитъ, либо отнѣкивается, либо отдѣлывается контръ-обвиненіями въ лжесвидѣтельствѣ своихъ противниковъ и вымогателей, якобы эксплуатирующихъ его нынѣшнее положеніе, либо, наконецъ, ссылается на свое болѣзненное состояніе и слабую память.

Надо однако полагать, что если столь видный потомокъ княжескаго рода не прибѣгъ до сихъ поръ къ пистолету, чтобы покончить счеты съ жизненной несправедливостью, то у него имѣются, должны быть, кое-какія надежды Кн. Эйленбургъ съ нашей точки зрѣнія не долженъ бы отказываться отъ слѣдующаго послѣдняго слова:

Гг. судьи!—могъ бы сказать князь Эйленбургъ.—Мнѣ предъявлено два тяжкихъ обвиненія. Въ лжеприсягѣ, во-первыхъ и въ приверженности къ уранизму, во-вторыхъ. Свидѣтельства и факты, представленные по вопросу о моихъ гомосексуальныхъ наклонностяхъ дали въ тоже время рядъ доказательствъ и тому, что я принесъ ложную присягу. Тяжесть этихъ обвиненій я готовъ признать, но съ весьма существенными оговорками.

Не забывайте, гг. судьи, что мой процессъ лишь потому сталъ столь сенсаціоннымъ и крупнымъ, что попутно съ нимъ возникъ вопросъ о наличности въ Германіи камарильи и о ея моральныхъ догматахъ. Вѣдь будь я не кн. Эйленбургомъ, а какимъ-нибудь Шульцемъ или Майеромъ,—отчеты о дѣлѣ печатались бы мелкимъ петитомъ на шестой страницѣ газетнаго листа, и врядъ ли нашелся бы хоть одинъ иностранный корреспондентъ, который затратилъ бы таллеръ на телеграфную передачу происходящихъ здѣсь преній. Шульцъ судился бы при открытыхъ дверяхъ, и его имя повторилось бы въ печати ровнымъ счетомъ два раза: въ началѣ процесса и въ концѣ его. Ужъ эта исключительная—во всѣхъ отношеніяхъ—обстановка, при которой протекаетъ мой процессъ, показываетъ, что вы имѣете дѣло не

столько съ индивидуальнымъ преступленіемъ, сколько со зломъ группового характера. За время этого процесса вы, гг. судьи‘ убѣдились, сколько новыхъ именъ, оказалось втянутыми со мною въ это грязное дѣло. Вы убѣдились, что вамъ придется имѣть дѣло не только съ кн. Эйленбургомъ, но и съ цѣлымъ рядомъ другихъ лицъ, которыя по весьма авторитетной оцѣнкѣ оказались „тоже такими свиньями“. Промелькнувшія предъ вами почтенныя имена выдвинули здѣсь вопросъ о существованіи въ Германіи камарильи. И, такимъ образомъ, мой процессъ расширился фактически до процесса указанной коллегіи. Правда—и я считаю долгомъ это подчеркнуть—вы учли сущность происходящаго суда и закрыли его двери. Но, увы, это наибольшее, что вы могли сдѣлать въ наше время, скверное—долженъ я сказать—время, ознаменованное у насъ въ Германіи существованіемъ свободной прессы, свободныхъ журналистовъ, всякихъ Гарденовъ и института суда присяжныхъ.

Но гг.,—могъ бы далѣе сказать обвиняемый,—если принять во вниманіе это обстоятельство, то окажется, что я главнымъ образомъ виновенъ въ томъ, что родился полувѣкомъ позже, чѣмъ то слѣдовало. Вѣдь камарилья существуетъ давно и съ тѣхъ поръ, какъ она существуетъ, она отличается той моральной устойчивостью, которая здѣсь демонстрировалась. Почему же именно теперь и именно я—являюсь козломъ отпущенія за всѣ грѣхи моихъ предковъ? Только потому, что существуетъ судъ присяжныхъ? Согласитесь, это несправедливо.

Позвольте мнѣ въ мою защиту сослаться также на исторію. Загляните въ прошлое страны, являющейся, такъ сказать, родоначальницей камарильи, страны давшей даже имя этой коллегіи. Вы, конечно, догадываетесь, что я говорю объ Испаніи.

Группа „пройдохъ авантюристовъ“—классификація сдѣланная великимъ знатокомъ людей Наполеономъ I—группа, окружавшая въ концѣ XVIII вѣка испанскихъ королей Карла IV и Фердинанда VII, имѣла обыкновеніе собираться въ королевской передней. Передняя по испански—Camarilia—отсюда и ихъ почтенное имя. Эта группа ближайшихъ совѣтчиковъ состояла изъ извѣстнаго доносчика каноника Остоласа; іезуита и изувѣра донъ-Хуана Эксоикиза, носильщика, сдѣлавшагося впослѣдствіи дономъ Угарте и шута, бывшаго до того водовозомъ, Педро Кальядо, извѣстнаго болѣе подъ кличкою „Чаморро“, т. е. „бритая голова“. И тѣмъ не менѣе, какъ эта группа ни была низка по своему происхожденію, какъ ни заполняла она самымъ усерднымъ и пестрымъ образомъ страницы скандальной хроники, никто изъ ея среды не попалъ на скамью подсудимыхъ. Вы, конечно, знаете, что всѣ они были клятвопреступниками. И неоднократно. Но не думайте также, что въ этой средѣ, хотя она была и мало-знатнаго происхожденія незнакомы были и тѣ дѣянія, на основаніи которыхъ построены

обвиненія противъ меня. Именно никто иной, какъ Остоласъ, бывшій духовникомъ инфанта донъ-Карлоса, попалъ въ заточеніе за много кратно совершаемый содомскій грѣхъ въ стѣнахъ сиротскаго дома, коимъ онъ управлялъ. Но все же Остоласъ вскорѣ былъ освобожденъ и снова очутился у руля правленія [1].

Вы видите, такимъ образомъ, что люди весьма незнатнаго происхожденія очень быстро усвоили взгляды, манеры и вкусы людей нашего круга. Но это именно и показываетъ, что не столько люди создаютъ нашъ кругъ, сколько послѣдній опредѣленнымъ образомъ выкраиваетъ людей, лишь только они удостаиваются попасть въ него. „Кругъ"—великое дѣло; и въ доказательство того, что виноватъ не я, а именно онъ, я приведу вамъ также достаточно убѣдительныя цифры и авторитетные имена и примѣры, подтверждающіе, что и мой гомосексуализмъ, не можетъ и не долженъ быть учитываемъ, какъ явленіе индивидуальнаго характера.

Позвольте мнѣ сослаться на весьма основательныя изслѣдованія проф. доктора мед. Магнуса Гиршфельда [2]. Статистическія данныя, которыя мы находимъ у него, говорятъ о слѣдующемъ:

Гомосексуалисты изъ высшаго дворянства составляютъ: 5,6%, офицеровъ арміи 2,5%, офицеровъ флота 5%, такъ называемыхъ „свободныхъ студентовъ" 2%, студентовъ корпорантовъ 5,7%, католическаго духовенства 3,15%, желѣзнодорожниковъ 1,0%, рабочихъ около 1,0%.

Изъ приведенныхъ цифръ, гг. судьи, вы видите, что наибольшій процентъ даютъ „люди нашего круга", куда, конечно, я отношу не только высшее дворянство и офицеровъ, но и нашихъ дѣтей,—вступающихъ въ студенческія корпораціи. Ибо вамъ вѣдь извѣстно, что наши сыновья ничего общаго не имѣютъ съ такъ называемыми „свободными студентами", изъ рядовъ которыхъ выходятъ развѣ только какіе-нибудь Гардены, но отнюдь не князья Эйленбурги.

Я привелъ цифры, но если онѣ не убѣдительны, то я могу для подтвержденія сослаться также на авторитныя имена въ наукѣ, на Крафтъ-Эбинга, на Фореля, на Яждвига Каспера—вполнѣ подтверждающихъ мою мысль, что инкриминируемый здѣсь уранизмъ отнюдь не является моимъ исключительнымъ достояніемъ. Надо ли мнѣ еще приводить историческіе примѣры—тревожить тѣнь Фридриха Великаго или Людовика Баварскаго, покончившаго свою жизнь въ томъ самомъ Штаркбергскомъ озерѣ, о которомъ здѣсь упоминалось? Прочтите—если вы этого еще не

---

[1] См. «Baumgarten, Geschichte Spaniens Zur Zeit der französischen Revolution» Berlin 1861 г. Также А. Трачевскій: „Испанія въ XIX вѣкѣ". Москва 1872 г

[2] „Dr. Magnus Hirschfeld. Das Ergebnis der Statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz der Homosexuellen. Leipzig, 1904 г. Стр. 23, 24, 25.

сдѣлали—яркія красочныя страницы „Исповѣди Ванды Захеръ-Мазохъ“, и вы убѣдитесь, какъ умѣлъ любить ея мужа покойный Людовикъ Баварскій и сколько возвышенныхъ моментовъ было въ этой чистой любви. Или, быть можетъ, мнѣ надо упомянуть также нашего заводчика Круппа, который умеръ въ 1903 г. такъ внезапно, послѣ разоблаченій, сдѣланныхъ соціалистической газетой: „Vorwärts“ о его времяпровожденіи на островѣ Кипрѣ въ обществѣ юныхъ отроковъ? Круппъ является лучшимъ доказательствомъ моей мысли, что человѣкъ, хотя бы и не голубой крови, пріобрѣтаетъ быстро всѣ привычки и вкусы истинныхъ ея представителей, лишь только такой человѣкъ въ силу ли несмѣтныхъ богатствъ или иныхъ достоинствъ пріобщился къ ихъ средѣ.

Я не буду болѣе занимать вашего вниманія, гг. судьи,—могъ бы закончить князь Эйленбургъ свою рѣчь, рѣчь достойную представителя придворной камарильи:—моя мысль ясна. Здѣсь всѣ обвиненія направлены были къ тому, чтобы доказать, что я „тоже такая свинья“. Я же сказалъ, что признаю эти обвиненія весьма тяжкими и вѣскими, но я призываю васъ во имя справедливости фиксировать въ своихъ сужденіяхъ по поводу даннаго процесса все стадо. И тогда вы придете къ тому несомнѣнному для меня заключенію, что здѣсь идетъ рѣчь не только о дѣяніяхъ кн. Эйленбурга, а объ Эйленбургщинѣ вообще, о тѣхъ, кого принято называть камарильей. Вы согласитесь со мною, что нельзя сурово карать одного за всѣхъ, разъ этотъ одинъ есть кровь отъ крови и плоть отъ плоти остальныхъ“.

Судьи еще совѣщаются...

Л. Герасимовъ.

Парламентъ и общественное мнѣніе.

(Борьба народа съ парламентомъ).

Статья **П. Берлина.**

Мирное и спокойное теченіе политической жизни Англіи, никогда не выходящее изъ береговъ строгой законности, у многихъ рождаетъ иллюзіи объ особенномъ мирномъ, „конституціонномъ“ характерѣ англійскаго народа. Но стоитъ подняться къ историческимъ истокамъ этой жизни, чтобы наткнуться на бурные потоки, постоянно выступавшіе изъ береговъ тогдашней „законности“ и сносившіе всѣ „легальныя“ плотины, которыя старательно воздвигали на ихъ пути и правительство и парламентъ. И только послѣ того, какъ эти бурные потоки неустаннымъ напоромъ сами проложили себѣ широкое политическое русло, только послѣ этого русло это было санкціонировано правительствомъ и парламентомъ и все теченіе политической жизни Англіи приняло свой теперешній спокойный и величавый характеръ.

Долгими годами тянулась упорная борьба англійскаго народа съ абсолютизмомъ за парламентскую форму правленія.

Эта борьба закончилась побѣдой парламентаризма надъ абсолютизмомъ. Но первые англійскіе парламенты были очень далеки отъ сколько-нибудь точнаго политическаго представительства англійскаго народа. Находясь всецѣло въ рукахъ привилегированной знати, они все болѣе пятились отъ напора народной массы и шли въ объятія правительственной власти. Изъ силы оппозиціонной англійскій парламентъ превратился въ силу охранительную. Избирательнымъ правомъ пользовалась лишь ничтожная часть англійскаго народа, посылавшая въ парламентъ привилегированную знать, брезгливо отворачивавшуюся отъ народа и смѣявшуюся надъ его политическими притязаніями.

Тогда около парламента закипѣла и все сильнѣе начинала разгораться новая борьба. Обездоленные слои населенія настойчиво стучались въ дверь парламента, требуя и для себя политическаго представительства. Ревниво охраняя свои политическія права, превратившіяся въ политическія привилегіи, депутаты

сурово и упорно отвергали всѣ политическія притязанія болѣе широкихъ слоевъ народа и, ища и находя поддержку въ королевской власти, обрушивались репрессіями на внѣпарламентскія политическія выступленія народа. Англійскій парламентъ эпохи властнаго царствованія Георга II-го стремился превратиться въ монопольное политическое учрежденіе, подъ прикрытіемъ королевскаго патента сосредоточившее въ себѣ всю политическую власть. Всякое политическое выступленіе народныхъ массъ разсматривалось и каралось какъ самовольство, какъ самозванство, какъ вторженіе въ чужую область.

Парламентъ въ эту эпоху разсматривался какъ политическая вотчина аристократіи, огражденная золоченною рѣшеткою высокаго ценза отъ народной массы.

Но разливавшееся по все болѣе широкимъ слоямъ народа политическое недовольство и нароставшая политическая зрѣлость искали себѣ выхода, добивались представительства. Доступъ въ парламентъ былъ закрытъ для сколько-нибудь широкихъ слоевъ народа и имъ приходилось прибѣгнуть къ внѣпарламентскимъ формамъ политическихъ организацій и манифестацій. Здѣсь-то и выступаетъ на политическую сцену Англіи такъ называемая „платформа", т. е. многообразная форма политическихъ митинговъ и манифестацій.

Платформа начинаетъ усиленно развиваться во времена Георга II-аго, когда англійскій парламентъ являлъ собою ужасающую картину съ одной стороны помѣщичьяго презрѣнія къ народу, а съ другой — сплошного подкупа. Тогда-то политически сознательные слои англійскаго народа и прибѣгли къ платформѣ, какъ къ могущественному оружію борьбы съ парламентомъ и какъ къ надежному орудію подчиненія парламента волѣ народной. Англійскій парламентъ сразу почувствовалъ въ публичныхъ митингахъ и манифестаціяхъ могущественнаго врага. Король и парламентъ дружно объединились для борьбы съ народившеюся новою политическою властью—внѣпарламентскою политическою организаціею народа. Депутаты запальчиво доказывали, что вся политическая дѣятельность должна быть сосредоточена исключительно въ ихъ рукахъ и что избиратели—не говоря уже объ остальномъ народѣ — не имѣютъ права вмѣшиваться въ дѣятельность парламента, ибо они самымъ актомъ выборовъ совершили отчужденіе депутатамъ своей политической воли.

Но широкая народная масса разсуждала иначе. Прежде всего, при тогдашнихъ избирательныхъ законахъ лишь горсть англійскихъ гражданъ располагала избирательнымъ правомъ, подавляющая же масса была этого права лишена. Но и избиратели нимало не были расположены видѣть въ депутатахъ какихъ-то монополистовъ всей политической власти, какихъ-то аккумуля-

торовъ всей политической энергіи. Посылая въ парламентъ депутатовъ, избиратели не отчуждали имъ своей политической воли, а дѣлали ихъ лишь своими политическими представителями, сохраняя за собою право контроля и энергичнаго воздѣйствія. И когда при Георгѣ II-мъ ясно обнаружилось, что парламентъ не только не пойдетъ въ авангардѣ политическаго развитія страны, но сдѣлается сильнѣйшимъ тормазомъ, что онъ попытается насильственно задержать политическій ростъ народа съ помощью тѣсныхъ и изжитыхъ формъ соціально-политической жизни, тогда по всей Англіи прошла волна политическаго возбужденія и повсюду стали устраиваться политическіе митинги съ призывомъ къ борьбѣ съ парламентомъ. Общественное мнѣніе въ тогдашней Англіи сильно опередило парламентъ и, въ видѣ митинговъ, оно создавало на ряду съ парламентомъ новую политическую каѳедру, новую политическую силу.

Эта новая политическая сила становилась во все болѣе враждебное и обостренное отношеніе къ парламенту. На митингахъ все чаще и настойчивѣе раздавались заявленія, что необходимо во что бы то ни стало открыть широкой народной массѣ доступъ къ избирательной урнѣ, а вмѣстѣ съ этимъ открыть представителямъ этого народа двери парламента. Но депутаты раздраженно, судорожно хватались за свои привилегіи и движимые мотивами соціальнаго корыстолюбія упорно отказывались отъ всякой идеи о расширеніи избирательнаго права. Тогда „платформа“ поставила вопросъ о расширеніи избирательнаго права на первую очередь политическаго дня, признала его неотложность и развернула широкій планъ внѣпарламентскаго воздѣйствія на парламентъ.

Печать, брошюры и главнымъ образомъ митинги были пущены въ ходъ. Они будоражили еще не пришедшіе въ движеніе широкіе слои народа и стремились втянуть ихъ въ политическую жизнь и тѣмъ самымъ страдательный залогъ реакціи превратить въ дѣйствительный залогъ поступательнаго движенія. Превосходнымъ горючимъ матеріаломъ для этой растущей агитаціи послужило матеріальное обнищаніе англійскаго народа. Когда на митингахъ народу доказывалось, что правительство, опирающееся на парламентъ, находящійся въ рукахъ кучки богачей, раззоряетъ страну, принижаетъ ее духовно и матеріально, то эти слова стократнымъ эхомъ разносились по всей странѣ и политически организовывали повсюду бродившее соціальное недовольство. И чѣмъ упорнѣе и озлобленнѣе парламентъ отказывался отъ реформъ, тѣмъ громче и рѣзче звучали рѣчи ораторовъ и тѣмъ шире становилась у нихъ аудиторія. До какого обостренія дошла тогда борьба народа съ парламентомъ показываетъ хотя бы любопытное, воззваніе, принятое на огромномъ митингѣ, собравшимся около Ислингтона 26 октября 1795 года:

„Что за жестокое и ненавистное чудовище, которое терзаетъ и пожираетъ насъ? Почему среди кажущагося благосостоянія обречены мы умирать голодною смертью? Почему неустанно трудясь и работая, должны мы гибнуть отъ всевозможныхъ бѣдствій и нищеты? Что это за страшный и глубоко проникающій ядъ, который отравляетъ все наше благополучіе и разрушаетъ наше общественное благоденствіе? Это продажный парламентъ, который, какъ пѣнящійся водоворотъ, поглощаетъ плоды всѣхъ нашихъ трудовъ и оставляетъ на нашу долю осадокъ горечи и разочарованія.

„Тѣ, на обязанности которыхъ лежитъ охрана интересовъ страны, оказались либо равнодушными къ ея положенію, либо безсильными бороться противъ гнета этихъ нестерпимыхъ бѣдствій. Но пусть они образумятся пока есть время. Пусть они подумаютъ о роковыхъ послѣдствіяхъ, которыя могутъ произойти. Мы—искренніе друзья мира. Мы желаемъ только реформы, такъ какъ мы твердо и безусловно убѣждены, что коренное преобразованіе парламента будетъ дѣйствительнымъ средствомъ для исправленія зла: но мы не можемъ не отвѣчать за то, что можетъ быть вызвано всесокрушающею силою необходимости, ни удержать порывовъ оскорбленныхъ чувствъ. Если когда либо британскій народъ громко потребуетъ сильныхъ и рѣшительныхъ мѣръ, то мы смѣло отвѣтимъ: „Мы обладаемъ только жизнью и готовы, какъ каждый изъ насъ отдѣльно, такъ и всѣ вмѣстѣ, отдать эту жизнь ради спасенія нашей страны“.

Страстный и мужественный языкъ этихъ воззваній приводилъ парламентъ и королевскую власть въ крайне нервное и тревожное настроеніе. Сначала были испробованы всѣ мѣры увѣщанія, а когда это не помогло, были пущены въ ходъ скорпіоны репрессій. Митинги разростались, языкъ ораторовъ становился все болѣе страстнымъ и рѣшительнымъ и ему вторило народное эхо. Правительство пріостановило дѣйствіе Habeas Corpus. Всякіе митинги были запрещены. И они на время исчезаютъ.

Съ поверхности политической жизни, недовольство уходитъ внутрь народнаго организма и тамъ все болѣе и все болѣзненнѣе скопляется.

Парламентъ поспѣшилъ выработать законопроектъ, который яко бы не отмѣняя конституціонныхъ гарантій вмѣстѣ съ этимъ стремился политически обезвредить митинги.

Основная часть этого билля гласила: „Никакое собраніе лицъ свыше 50 человѣкъ, какого бы ни было характера, не можетъ быть созываемо съ цѣлью или подъ предлогомъ обсужденія или составленія какихъ-либо петицій, жалобъ, демонстративныхъ или иныхъ заявленій королю или парламенту касательно измѣненій установленнаго въ церкви и государствѣ порядка, или же съ цѣлью или подъ предлогомъ обсужденія какого-либо недовольства, касающагося церкви или государства, иначе какъ съ тѣмъ,—чтобы

заявленіе о намѣреніи созвать подобный митингъ, о времени и мѣстѣ его собранія и о цѣляхъ, съ которыми онъ созывается, было напечатано отъ имени по крайней мѣрѣ семи домохозяевъ въ какой-нибудь газетѣ за пять дней до назначеннаго для митинга срока и послано мировому клерку, который обязанъ послать копію съ него по крайней мѣрѣ тремъ мѣстнымъ судьямъ".

На случай нарушенія этихъ правилъ законопроектъ пріуготовилъ драконовскія мѣры. Если черезъ часъ послѣ распущенія митинга полиціею на этомъ же мѣстѣ останется болѣе 12 человѣкъ, то это будетъ считаться тяжкимъ уголовнымъ преступленіемъ, за которое виновные могутъ быть приговорены къ смертной казни.

Тогда потянулась полоса упорной борьбы правительства и парламента съ публичными митингами, надъ которыми были занесены скорпіоны репрессіи. Даже просвѣщенные члены парламента упорно настаивали на той мысли, что политическая жизнь страны всецѣло сосредоточивается въ парламентѣ и, выбравъ депутатовъ, народъ теряетъ всякое дальнѣйшее право на вмѣшательство въ политику, на политическую самодѣятельность. А между тѣмъ при тогдашнихъ политическихъ условіяхъ нечего было и думать о томъ, что парламентъ осуществитъ назрѣвшія политическія и соціальныя реформы. Англійскій парламентъ былъ тогда наполненъ депутатами, выбранными лишь незначительною кучкою людей, очень часто подкупленныхъ. Девяносто членовъ парламента посылались 46-ью мѣстечками, причемъ число избирателей въ каждомъ изъ этихъ мѣстечекъ не превышало пятидесяти человѣкъ. Восемьдесятъ четыре крупныхъ собственниковъ имѣли рѣшающее значеніе при выборѣ 157 членовъ парламента.

Въ виду этого, нечего было и думать, что такой парламентъ можетъ такъ сказать самочинно приняться за реформы и прежде всего за избирательную реформу. Гнѣвнымъ языкомъ говорили тогдашніе органы печати и петиціи о составѣ парламента: „Горсть нищихъ, писалъ Бургъ, либо соблазненныхъ подкупомъ, либо запуганныхъ угрозами лица, имѣющаго власть, избираетъ и переизбираетъ тѣхъ, кого имъ прикажутъ. И такимъ образомъ палата наполняется послушными орудіями того или другого министра".

„Большинство палаты, гласила одна изъ многочисленныхъ петицій, избирается менѣе чѣмъ 15.000 избирателями, которые—если даже предположить число взрослаго мужескаго населенія не превышающимъ 300.000—составляютъ не болѣе одной двухсотой части всего подлежащаго представительству народа".

Парламентъ старался огородить себя высокою китайскою стѣною отъ всякаго воздѣйствія со стороны народа; газетамъ было запрещено печатать отчеты о парламентскихъ преніяхъ. Но никто не могъ запретить газетамъ опубликовать вопіющіе факты о подкупности тогдашняго парламента, никто не могъ помѣшать газе-

тамъ обнаружить, что многія рѣшенія парламента были куплены.

Когда парламентъ энергично поддержалъ правительство въ его борьбѣ съ публичными митингами, пропасть между парламентомъ и общественнымъ мнѣніемъ еще шире разверзлась въ исторіи Англіи; создалось чудовищное положеніе, что общественное мнѣніе есть мнѣніе противополагающееся парламентскому мнѣнію. „Мало-по малу, говоритъ проф. Гольцендорфъ, со словомъ общественное мнѣніе, начало соединяться представленіе о выражаемыхъ прессою воззрѣніяхъ избирателей и массы публики, противополагавшихся негласнымъ преніямъ въ парламентѣ... Англійская публицистика прежняго времени видѣла въ общественномъ мнѣніи противовѣсъ тайно подкупленному парламентскому большинству“ [1]).

Въ борьбѣ съ парламентомъ общественное мнѣніе, какъ мы видѣли, прибѣгло къ публичнымъ митингамъ, а когда жестокія репрессіи повели къ прекращенію митинговъ, по всей Англіи стали возникать политическія ассоціаціи. Англійскіе политическіе дѣятели, работая на почвѣ уже пробудившагося въ народѣ политическаго движенія основывали по всей странѣ политическіе союзы.

Первой крупной политическою ассоціаціей была „католическая ассоціація“. Неутомимо организуя народъ политически, соединяя разрозненые элементы въ мощную организацію, католическая ассоціація сумѣла создать мощную и организованную политическую силу, огромное значеніе которой парламентъ почувствовалъ при первомъ же серьезномъ столкновеніи.

Уайзъ, историкъ и вмѣстѣ съ тѣмъ современникъ этой эпохи, пишетъ о католической ассоціаціи: „Сила ея оставалась неизвѣстною вплоть до перваго ея непосредственнаго столкновенія съ правительствомъ; она не сознавалась въ полной мѣрѣ даже и тѣми, кто стоялъ во главѣ ея, пока она не была вызвана на свѣтъ вражескимъ нападеніемъ. Тогда сразу обнаружилось, что внѣ и помимо конституціи незамѣтно образовалось цѣлое учрежденіе, за которымъ стоитъ громадное большинство населенія, которое воплощаетъ въ себѣ всю силу народныхъ стремленій и которое во всякую минуту можетъ разрушить до основанія самую конституцію“.

Политическія ассоціаціи росли и крѣпли, встревоженное правительство и парламентъ чувствовали, что около нихъ рождается и организуется новая мощная политическая сила и что борьба съ организованнымъ и дисциплинированнымъ общественнымъ мнѣніемъ имъ будетъ не подъ силу. Къ тридцатымъ годамъ девятнадцатаго вѣка въ непрекращающееся политическое броженіе горячею лавою влилось соціальное недовольство, рожденное

---

[1]) См. Ф. Гольцендорфъ. Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Спб. 1881, стр. 43.

острымъ экономическимъ кризисомъ. Ужасающая нужда, свирѣпствовавшая въ рабочихъ кварталахъ, создавала горючій матеріалъ, готовый вспыхнуть революціоннымъ пожаромъ. Политическія ассоціаціи не только не разжигали и не раздували этотъ пожаръ, но наоборотъ употребляли всѣ усилія, чтобы его предотвратить и влить народное броженіе въ русло широкой политической борьбы мирными средствами. Опять народъ валомъ валилъ на публичные митинги и цѣлый рядъ блестящихъ ораторовъ, предостерегая народъ отъ безпорядковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ призывалъ ихъ создать организованную политическую силу, которая заставила бы парламентъ провести избирательную реформу.

Начинали, показываться и красные языки революціоннаго пожара. Во многихъ деревняхъ и помѣстьяхъ крестьяне поджигали сѣно и разрушали машины помѣщиковъ „Начались систематическіе ночные поджоги, производимые шайками поджигателей, горѣли скирды, амбары, фермы и живой инвентарь; сельско-хозяйственныя машины подвергались разрушенію; дерзкія шайки нападали на бумагопрядильни, разрушали ихъ и брали денежныя контрибуціи. Полуголодные, обнищавшіе землевладѣльцы нѣсколько разъ собирались и пытались обсудить свое положеніе, но при своемъ невѣжествѣ и безпомощности не могли прійти къ другому выходу, какъ только къ насилію. Такимъ образомъ, въ силу тѣхъ или другихъ причинъ, настроеніе умовъ во всѣхъ слояхъ населенія было крайне тревожно“ [1]).

Только теперь, когда на сотняхъ митингахъ при огромномъ стеченіи народа открыто заявлялось, что народъ заставитъ парламентъ расширить избирательное право, только теперь, когда по всей Англіи вспыхивали красные огни революціоннаго настроенія, только теперь, когда сложились внѣ парламента могущественныя политическія организаціи, парламентъ наконецъ понялъ, что его долгая историческая тяжба съ общественнымъ мнѣніемъ проиграна и что дальнѣйшее упорство грозитъ революціоннымъ взрывомъ. Вліятельные депутаты и министры поняли тогда, что необходимо прежде и раньше всего реформировать парламентъ, который тогда только сумѣетъ самъ провести нужныя реформы. Вліятельный политическій органъ того времени „Quarterly Review“ писалъ: „Какой можетъ быть мотивъ всѣхъ этихъ внезапныхъ поворотовъ въ пользу парламентской реформы?.. Отвѣтъ нашъ будетъ кратокъ и долженъ быть одинаковъ у всѣхъ, кто не боится глядѣть правдѣ въ глаза. Мотивъ этотъ заключается въ страхѣ передъ физическою силою; іюльскія событія въ Парижѣ придали этому фактору такое значеніе, какимъ онъ раньше никогда не пользовался въ исторіи человѣчества“.

---

[1]) Генри Джевсонъ. Платформа. Ея возникновеніе и развитіе. Спб. 1901. стр. т. II стр. 66.

Министерство настаивало на необходимости сильно расширить избирательное право. Министръ Грей писалъ сэру Тейлору, личному секретарю короля: „По моему убѣжденію, общественное мнѣніе высказалось по этому вопросу съ такою силою и такимъ единодушіемъ, что пойти противъ него было бы невозможно безъ огромнаго риска поставить правительство въ положеніе, при которомъ оно будетъ лишено всякой силы и авторитета. Попытка отложить рѣшеніе вопроса будетъ имѣть самыя гибельныя послѣдствія для правительства".

Король послѣ долгихъ колебаній въ концѣ концовъ согласился съ доводами министра Грея о необходимости избирательной реформы. Теперь надо было эту реформу провести черезъ палаты. Англійскіе лорды, понимая что дѣло идетъ о лишеніи ихъ вѣковыхъ политическихъ привилегій, еще продолжали упрямиться. Языкъ народныхъ митинговъ становился все болѣе рѣшительнымъ и рѣзкимъ. На одномъ изъ митинговъ ораторъ привелъ любопытный примѣръ абсурдности существовавшаго тогда избирательнаго права. Въ графствѣ Бьютѣ всего на всего одинъ избиратель удовлетворялъ избирательному цензу. Но несмотря на это выборы производились съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей. Этотъ единственный избиратель торжественно являлся на собраніе, выбиралъ самого себя предсѣдателемъ, устраивалъ самъ себѣ перекличку, предлагалъ самого себя въ кандитаты, усердно поддерживалъ свою кандидатуру и затѣмъ единогласно избиралъ самого себя въ депутаты.

Этотъ курьезный фактъ отлично иллюстрировалъ всю уродливость тогдашняго парламентскаго представительства.

Каково было настроеніе народной массы показываютъ рѣчи на митингахъ. На многолюдномъ лондонскомъ митингѣ, предсѣдателемъ на которомъ былъ лордъ-мэръ, одинъ изъ ораторовъ закончилъ свою рѣчь словами:

„Если билль объ избирательной реформѣ провалится, готовы ли его противники взять на себя всю отвѣтственность за дальнѣйшее существованіе торговли и преуспѣяніе страны? Неужели они льстятъ себя надеждою, что можно будетъ убѣдить народъ платить подати по повелѣнію тѣхъ пресмыкающихся, которые живутъ въ бургахъ, обозначенныхъ подъ литерою А и по приказанію полумертвыхъ мѣстечекъ литера В, только одна половина которыхъ еще сохранила признаки жизни, а другая совершенно мертва? Не можетъ быть, чтобы пэры королевства всѣ потеряли разсудокъ, и поэтому я полагаю, что они примутъ билль и не захотятъ поставить на карту свое существованіе, защищая такое несправедливое положеніе, которое столь же опасно для нихъ, сколь и ненавистно народу".

Движеніе разрсталось. Не было сколько-нибудь значительнаго мѣстечка въ Англіи, гдѣ не происходили бы бурные и мно-

голюдные митинги. Теперь уже раздавались не только расплывчатыя и платоническія угрозы упрямствующимъ лордомъ, теперь уже все дружнѣе заявлялось о рѣшеніи прекратить уплату податей. Лозунгъ—No bill, no taxes (нѣтъ билля, нѣтъ податей) получилъ огромную популярность.

Побѣда осталась на сторонѣ внѣпарламентской организованной политической силы. Правительство и парламентъ вынуждены были уступить все разраставшемуся давленію и билль о реформѣ избирательнаго права сдѣлался закономъ. На время внѣпарламентская политическая дѣятельность стихаетъ. Ждутъ отъ новаго парламента, избраннаго на основаніи новаго избирательнаго закона, крупныхъ политическихъ и соціальныхъ реформъ. Надѣются, что новый парламентъ, сумѣетъ вмѣстить въ себѣ новые соціально-политическіе запросы народа и ждутъ отъ него широкой реформаторской дѣятельности. Но по мѣрѣ того, какъ одно засѣданіе парламента смѣняетъ другое, народная масса убѣждается, что и отъ этого парламента она немного дождется. Избирательная реформа 1832 года значительно демократизировала составъ англійскаго парламента—на ряду съ представителями знати въ немъ появились и представители богатыхъ слоевъ народа. Но параллельно съ этимъ сопротивленіе парламента по отношенію къ назрѣвшимъ, соціальнымъ реформамъ не только не уменьшилось, но даже, пожалуй возросло. Опираясь теперь на болѣе широкую соціальную основу, удовлетворивъ политическія стремленія зажиточнаго слоя населенія, парламентъ почувствовалъ подъ собою болѣе надежную почву, болѣе твердую точку опоры и отвѣтилъ рѣшительнымъ отказомъ на всѣ требованія глубокихъ реформъ. Разочарованіе и негодованіе вновь стали широко разливаться по всей странѣ. Опять наступила полоса борьбы съ существующимъ парламентомъ не ради уничтоженія всякаго парламента, а во имя новаго парламента, который бы чутко отвѣчалъ на запросы и нужды широкой народной массы. Рабочія массы Англіи задыхались тогда въ духовной и матеріальной нищетѣ. По горло обложенные всяческими пошлинами и налогами, жестоко эксплуатирумые и государствомъ и фабрикантами, рабочіе всѣ свои надежды возлагали на парламентъ. Они долгими годами лелѣяли надежду, что послѣ избирательной реформы парламентъ вплотную займется соціальнымъ вопросомъ и „разрѣшитъ“ его. И убѣдившись, что и новый парламентъ не обнаруживаетъ ни малѣйшаго желанія радикально заняться соціальнымъ вопросомъ, широкіе слои народа рѣшили во чтобы то ни стало самимъ овладѣть парламентомъ, войти въ него съ помощью всеобщаго избирательнаго права. Старый сословный парламентъ побѣжденъ, теперь надо объявить войну новому классовому парламенту. И эту войну объявило чартистское движеніе. Со всѣхъ концовъ Англіи вновь стали стягиваться въ

центры на многолюдные митинги. И на этихъ митингахъ вновь вспыхивали яркія и рѣзкія рѣчи и отъ нихъ все ширящимися концентрическими кругами расплывалось возбужденіе и недовольство по всей странѣ.

На первыхъ порахъ рабочія ассоціаціи надѣялись убѣдить парламентъ и королеву въ необходимости дать всеобщее избирательное право. И вотъ со всѣхъ концовъ потянулись въ парламентъ и къ королевѣ петиціи. Но эти петиціи никакого успѣха не имѣли. Петиція къ королевѣ была возвращена Рабочей Ассоціаціи на томъ формальномъ основаніи, что она могла бы быть подана лишь лично петиціонерами, которые для этого должны явиться въ парадной формѣ на высочайшій выходъ. Рабочіе отвѣтили раздраженною резолюціей: „При всемъ уваженіи къ тѣмъ внѣшнимъ формамъ, которыя предписываютъ являться въ присутствіи ея величества въ изящномъ видѣ и съ соблюденіемъ требованій почтительности—рабочіе не имѣютъ однако ни средствъ, ни охоты подчиняться такимъ нелѣпостямъ, какъ одѣваніе въ парадные костюмы, съ шпагами и париками“.

Парламентъ не обращалъ на петиціи никакого вниманія, до королевы петиція такъ и не добралась. Тогда народная масса вновь широкимъ и бурнымъ потокомъ наполнила всѣ каналы внѣпарламентской политической борьбы.

О'Брайнъ выступилъ тогда съ любопытнымъ проектомъ созданія народнаго парламента такъ сказать явочнымъ порядкомъ. Онъ предлагалъ, чтобы были произведены выборы на основѣ всеобщаго избирательнаго права и чтобы выбранныя лица подъ эскортомъ многочисленной толпы направились въ зданіе парламента и потребовали признанія и себя депутатами.

Конечно, изъ этой затѣи ровно ничего не вышло, но она характерна для тогдашняго политическаго настроеніи Англіи. Убѣдившись, что ни правительство, ни парламентъ не пойдутъ ни на какія уступки, вожди англійской демократіи заговорили еще неслыханнымъ въ Англіи по своей рѣзкости языкомъ. Нынѣшній англійскій гражданинъ, перечитывая рѣчи тогдашнихъ англійскихъ ораторовъ „платформы“, не повѣритъ, что такимъ языкомъ могли говорить его благородные предки. Одинъ ораторъ заявлялъ, что онъ стоитъ „за революцію огнемъ, за революцію кровью, до ножа, до смерти... Каждый мужчина долженъ имѣтъ при себѣ свое ружье, тесакъ, пару пистолетовъ или пику“. Д-ръ Тайлоръ на одномъ торжественномъ обѣдѣ воскликнулъ: „Давно пора положить лопату и взять въ руки мечъ“.

Вслѣдъ за Тайлоромъ поднялся Бомонъ и еще болѣе рѣзко заявилъ: „Я стою за употребленіе физической силы. Не разговорами можно что-нибудь сдѣлать, а надо взять въ руки молоты и вышибать мозги у сборщиковъ налоговъ“.

На многолюдномъ митингѣ въ Манчестерѣ Стифенсъ произнесъ горячую рѣчь, переполненную угрозами:

„Пора высказаться откровенно, говорилъ онъ. Министры уже слишкомъ далеко зашли въ своихъ низкихъ, грязныхъ, темныхъ и насильственныхъ дѣйствіяхъ и если они полагаютъ, что жители этихъ холмовъ и долинъ безмолвно подчинятся тому, чтобы у нихъ вопреки всѣмъ законамъ, отняли ихъ права, то они могутъ ожидать себѣ немедленной смерти, которая, онъ увѣренъ въ этомъ, непремѣнно постигнетъ ихъ. Ему очень непріятно говорить такія вещи; на него смотрятъ, какъ на кровожаднаго разжигателя, а между тѣмъ онъ лишь высказываетъ откровенно правду съ тѣмъ, чтобы предупредить то, что неминуемо должно случиться“ [1]).

Но всѣ эти ораторы безконечно преувеличивали свои силы. Одинъ изъ нихъ на митингѣ въ Норвичѣ увѣрялъ, что „Англія стоитъ на вулканѣ, подъ нею заложена мина. Можно плясать на поверхности, можно рвать цвѣты, но спокойствіе это временное: фитиль подложенъ, спичка зажженна и если только добрыя чувства не возьмутъ верхъ и не произведутъ немедленнаго облегченія народнаго бѣдствія и горя, то никто не можетъ сказать что будетъ черезъ день, черезъ часъ“...

Повторяемъ, тогдашніе ораторы Англіи сильно обманывались насчетъ стоящихъ за ними силъ. Эти силы во всякомъ случаѣ не были, какъ это и показалъ дальнѣйшій ходъ событій, настолько велики, чтобы насильственнымъ путемъ заставить правительство и парламентъ ввести всеобщее избирательное право. Все, что оставалось въ распоряженіи народа—это внѣпарламентское давленіе на политическій курсъ съ цѣлью направленія его въ демократическую сторону. И этотъ путь былъ широко использованъ. Непосредственныхъ успѣховъ на этотъ разъ народное движеніе не добилось, но огромнымъ его завоеваніемъ явилось пріученіе народа къ политической дѣятельности и политической организаціи и пріученіе депутатовъ къ мысли, что и помимо парламента существуетъ организованная политическая жизнь. На этотъ разъ парламентъ не уступилъ бурному напору общественнаго мнѣнія и не раскрылъ своихъ дверей для представителей новыхъ общественныхъ слоевъ, но онъ былъ вынужденъ признать, что въ процессѣ борьбы успѣла сложиться могущественная внѣпарламентская политическая сила, которая несомнѣнно будетъ расти и крѣпнуть.

И эта сила дѣйствительно росла и крѣпла. Черезъ двадцать лѣтъ она вновь объявила парламенту войну и на этотъ разъ добилась расширенія избирательнаго права. Въ восьмидесятыхъ годахъ новая борьба съ парламентомъ и правительствомъ повела

[1]) Генри Джевсонъ. 221 стр.

къ новому дальнѣйшему расширенію избирательнаго права. Въ процессѣ этой—то стихавшей, то обострявшейся—борьбы организованнаго общественнаго мнѣнія съ парламентомъ радикально измѣнялось, перестраивалось соотношеніе политическихъ силъ въ странѣ, соотношеніе между парламентскою и внѣпарламентскою политическою жизнью. Вначалѣ недовольство парламентомъ концентрируется лишь въ небольшой свѣтящейся точкѣ англійской интеллигенціи. Огромная масса народа политически безмолвствуетъ. Но эта свѣтящаяся точка все ширится и растетъ. Парламентъ, состоявшій изъ привилегированныхъ депутатовъ отъ кучки избирателей, тревожно глядитъ на это свѣтлѣющее и ширящееся пятно на политическомъ горизонтѣ, справедливо угадывая, что это приближается политическая буря. Нарождающіяся молодыя силы и просыпающееся сознаніе все болѣе и болѣе не удовлетворяются сословнымъ парламентомъ и ищутъ внѣ парламента выхода для своей политической энергіи и формъ для ея организаціи. Въ этихъ поискахъ съ одной стороны стремятся побудить парламентъ приняться за созданіе болѣе просторныхъ формъ политической и соціальной жизни, а съ другой стороны сами создаютъ эти новыя формы безъ парламентскаго содѣйствія.

Разростаніе и укрѣпленіе этихъ внѣпарламентскихъ формъ политической дѣятельности представляетъ самый крупный фактъ новѣйшей исторіи Англіи, фактъ, безъ котораго невозможно понять не только общественной жизни страны, но и парламентской дѣятельности. Парламентская дѣятельность въ Англіи все тѣснѣе, все неразрывнѣе сплетается со внѣпарламентскою, парламентъ все болѣе чутко и быстро начинаетъ отражать и выражать внѣпарламентскія политическія теченія и настроенія. И это сближеніе парламента съ общественнымъ мнѣніемъ было достигнуто долгими годами упорной борьбы организованной народной массы съ привилегированнымъ парламентомъ. Еще въ тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія англійскій парламентъ упорно отстаивалъ идею о предоставленной ему и королевской власти полной монополіи всей политической власти. Всякая политическая самодѣятельность населенія, всякая внѣпарламентская политическая организація разсматривалась и сурово преслѣдовалась парламентомъ какъ незаконное вторженіе въ сферу его власти. Тревожно прислушивался онъ къ шуму и ропоту народнаго моря. Волны растущаго народнаго недовольства вначалѣ бились у стѣнъ парламента, но парламентъ остался глухъ и нѣмъ. Онъ строилъ около себя высокія плотины, окружалъ себя толстыми стѣнами, надѣясь заглушить этимъ глухой ропотъ народнаго недовольства. Тогда разростающее народное движеніе обогнуло парламентъ и проложило себѣ широкое внѣпарламентское русло. Оно покрыло всю страну отъ края и до края могущественными политическими ассоціаціями, она создала тысячи политическихъ каѳедръ, съ ко-

торыхъ на публичныхъ митингахъ раздавалось свободное политическое слово, оно толкнуло англійскій народъ на путь политической самоорганизаціи. Подъ воздѣйствіемъ этихъ факторовъ внѣпарламентской политической жизни совершенно измѣнился и характеръ англійскаго парламента. Если въ началѣ тридцатыхъ годовъ парламентъ еще могъ считать себя какъ бы единственнымъ аккумуляторомъ всей политической энергіи англійскаго народа, то въ началѣ двадцатаго вѣка онъ превратился въ простое выраженіе и воплощеніе общественнаго мнѣнія, въ фокусъ, концентрирующій лучи проснувшагося политическаго сознанія, разсѣяннаго во всемъ народѣ. Только упорною борьбою съ парламентомъ съ помощью внѣпарламентскихъ политическихъ организацій, англійскій народъ превратилъ въ „обычное право“ главенствующую политическую власть народа надъ парламентомъ. Только цѣною огромныхъ матеріальныхъ жертвъ, только путемъ митинговъ, манифестацій и союзовъ, подвергавшихся суровымъ гоненіямъ, англійскій народъ добился положенія высшей политической инстанціи, воздѣйствующей на парламентъ. Какъ мы видѣли, въ теченіе очень долгаго времени англійскій парламентъ упорно отвергалъ всѣ требованія общественнаго мнѣнія, но этимъ самымъ толкнулъ англійскій народъ въ сторону политической самодѣятельности, политической самоорганизаціи, онъ пріучилъ англійскій народъ держать въ своихъ рукахъ политическую жизнь страны и, не надѣясь на парламентъ, самому не плошать. Только цѣною упорной и долгой внѣпарламентской борьбы, завершившейся побѣдой, англійскій народъ завоевалъ право неподчиненія парламенту, если постановленія послѣдняго идутъ въ разрѣзъ съ общественнымъ мнѣніемъ. Обычное право Англіи признаетъ въ такихъ случаяхъ вполнѣ конституціоннымъ средствомъ пассивное сопротивленіе народа, т. е. отказъ отъ платежа налоговъ. Еще недавно консервативное министерство Бальфура внесло въ парламентъ реакціонный школьный законопроектъ. Во всей странѣ поднялась буря. На митингахъ, въ прессѣ, въ петиціяхъ заявлялся рѣзкій протестъ противъ этого закона. Но несмотря на все это, школьный законопроектъ прошелъ черезъ парламентъ. Тогда на ближайшихъ же выборахъ (1906 года) консервативное министерство было забаллотировано и къ власти призвано радикальное министерство, которое тотчасъ же внесло новый школьный законопроектъ. Но такъ какъ до проведенія этого новаго школьнаго билля черезъ всѣ инстанціи въ силѣ оставался принятый парламентомъ реакціонный билль Бальфура, то англійскіе граждане отказались отъ уплаты школьнаго налога. Дѣло дошло до суда. Внимательно обсудивъ дѣло, судъ пришелъ къ заключенію, что англійскіе граждане были въ своемъ правѣ, ибо въ случаѣ конфликта между парламентомъ и общественнымъ мнѣніемъ пассивное сопротивленіе является вполнѣ конституціоннымъ средствомъ.

Какою бы страшною, революціонною ересью это постановленіе суда показалось въ эпоху англійскаго парламента „гнилыхъ мѣстечекъ", въ эпоху тридцатыхъ годовъ! И если англійскіе суды за подобную революціонную ересь полвѣка тому назадъ жестоко карали, а теперь признаютъ ее обычнымъ конституціоннымъ правомъ, то этою перемѣною англійскій народъ обязанъ упорной и энергичной борьбѣ внѣпарламентскихъ организацій съ парламентомъ.

П. Берлинъ.

Рабочая драма и рабочій вопросъ.

Статья **Ст. Ивановича.**

„Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что только на этомъ черномъ минералѣ можно основать Великую Россію“.

Это писалъ Петръ Струве о донецкомъ каменоугольномъ раіонѣ. Черезъ 6 мѣсяцевъ жизнь жестоко посмѣялась надъ прекраснодушіемъ націоналистическаго утопизма. „На этомъ черномъ минералѣ“ разыгралась жестокая драма и обнаружила она не Великую Россію, а Россію бѣдную, забитую и безправную.

О юзовской катастрофѣ сообщали очень много ужаснаго, невыносимо много страшныхъ фактовъ. Тяжело все это вновь передавать, да и не нужно... Ибо въ концѣ то концовъ ужасъ не въ этихъ душераздирающихъ картинахъ изорванныхъ въ клочья шахтеровъ, или спасшихся, но обезумѣвшихъ въ недодушившихъ объятіяхъ смерти,—ужасъ не въ фотографіяхъ съ лентами бѣлыхъ гробовъ, не въ замертво падающихъ съ горя вдовъ и сиротъ—нѣтъ, центръ тяжести именно въ томъ, что вновь сказалась не Великая а бѣдная Россія. Ея драма разыгралась „на этомъ черномъ минералѣ“, ея горе озарилось яркимъ пламенемъ взрыва.

И въ этомъ огромное общественное значеніе юзовской катастрофы.

Подобно многообразнымъ нашимъ Цусимамъ, послѣдняя Цусима промышленная—обнаружила еще одну гнойную язву нашего соціально-политическаго уклада. И весьма знаментально: послѣ катастрофы первыми, запустившими въ этотъ укладъ тяжелые критическіе булыжники, были какъ разъ тѣ элементы, поддержкой которыхъ въ обычное время и крѣпки его созидатели и охранители. Такъ оно всегда бываетъ. Вліятельныя крысы вообще, а публицистическія въ особенности, бѣгутъ съ корабля, чуть только замѣчаютъ течь и маленькій кренъ. Послѣ, впрочемъ, они спокойно возвращаются въ черту своей политической осѣдлости.

Первымъ съ прямымъ обвиненіемъ правительства выступило „Нов. Время“. Катастрофа естественно обратила взоры всѣхъ на горное вѣдомство. Что оно дѣлаетъ для охраны жизни и безопасности сотенъ тысячъ рудокоповъ, что сдѣлало главное горное

управленіе въ предупрежденіе катастрофъ подобныхъ юзовской? Отвѣтъ получился ошеломляющій. Понадобилось раньше всего установить, что такое само горное управленіе. Въ результатѣ оказалось слѣдующее.

„Представьте себѣ,—писало „Нов. Вр.“,—если бы владѣльцамъ табачныхъ и мелочныхъ лавокъ или приказчикамъ галантерейныхъ магазиновъ были присвоены права государственной службы, не только присвоены, но они бы и числились чиновниками, получая чины, ордена и прочія отличія со всѣми возникающими отсюда привилегіями, вплоть до ношенія мундира въ отставкѣ,—не было ли бы это черезчуръ для самаго бюрократическаго государства? А у насъ такихъ чиновниковъ тысяча человѣкъ, но только это не лавочники, а горные инженеры. Достаточно окончить курсъ горнаго института и получить мѣсто на любомъ частномъ заводѣ или рудникѣ, и вы, причислившись къ главному горному управленію, становитесь чиновникомъ горнаго вѣдомства, производитесь въ опредѣленные сроки въ чины вплоть до коллежскаго совѣтника (а если вамъ бабушка ворожитъ, дойдете и до дѣйствительнаго статскаго), получаете, если пользуетесь соотвѣтственнымъ покровительствомъ, ордена и медали и черезъ 25 лѣтъ службы награждаетесь эмеритальною пенсіею“.

Таковы права чиновъ горнаго вѣдомства. А обязанности? Никакихъ.

„Правительство полагаетъ, очевидно, что горные инженеры дѣлаютъ ему большую честь, соглашаясь служить у Демидовыхъ, Ратьковыхъ-Рожновыхъ, Манташевыхъ, Нобелей, въ различныхъ акціонерныхъ обществахъ и товариществахъ и получать отъ промышленниковъ жалованье, которое, конечно, и сравнивать нечего съ обычнымъ чиновничьимъ, и старается вознаградить ихъ жертву на алтарь отечества своего рода почетомъ“.

Мало того:

„Горное начальство „откомандировываетъ“ инженеровъ на тотъ либо иной заводъ или рудникъ. Для сохраненія апарансовъ совершается цѣлая комедія. Горный инженеръ подаетъ прошеніе о своемъ откомандированіи, промышленникъ тоже какъ бы проситъ командировать къ нему такого-то инженера, пишется надлежащій докладъ со справками и законами, подносится министру, министръ пишетъ „согласенъ“, горный инженеръ получаетъ предписаніе, а промышленникъ соотвѣтственное объявленіе“.

Этотъ „веселенькій пейзажикъ“ имѣетъ еще свои особенно пикантные укромные уголки. Здѣсь инженеры „командируются“ въ распоряженіе женъ, чадъ и домочадцевъ, тамъ они „командируются“ *на собственные заводы*, а если это нужно какъ-нибудь прикрыть, то всегда найдется другой „командированный“ заводчикъ, который охотно вступитъ во взаимный обмѣнъ „службами“. При этомъ оба пріятеля, равно какъ и командированные въ лоно

семьи получаютъ въ награду за семейныя и наживательскія добродѣтели чины, ордена, пенсіи и т. д.

Удивительно ли при подобномъ положеніи дѣлъ, что въ горномъ департаментѣ директоромъ состоялъ всемірно-извѣстный оберъ-балетоманъ К. А. Скальковскій, — тайный совѣтникъ всю жизнь страстно изучавшій всевозможныя pá всевозможныхъ балеринъ и ни разу вѣроятно не видавшій, такъ безбожно не похожихъ на балеринъ, шахтеровъ.

Фельдфебеля въ Вольтеры, а К. А. Скальковскаго въ директоры горнаго департамента—какая тутъ разница!

Вотъ этимъ-то чинамъ балетнаго вѣдомства и вручена жизнь рудокоповъ. Удивительно ли, что къ ней относятся съ чисто балетной легкостью.

Есть, правда, окружный горный инженеръ, который является уже болѣе дѣйствительнымъ агентомъ правительства. Ему надлежитъ вѣдать неукоснительно надзоръ за рудниками. Но какъ его осуществить, когда во главѣ предпріятій—собственныхъ и чужихъ—стоятъ сослуживцы окружного инженера, когда всѣ они вмѣстѣ члены одной касты, когда одной и той же ложкой они хлебаютъ изъ одной и той же чашки однѣ и тѣ же казенныя щи? Главною цѣлью при такомъ „надзорѣ" является въ этомъ случаѣ во что бы ни стало „постоять за своего" и излишнимъ усердіемъ не внести раздора въ дружную семью горнаго вѣдомства, не компрометировать ее.

Можно себѣ представить какъ эта „сплоченная каста—этотъ конгломератъ изъ покрывающихъ другъ друга агентовъ правительства, промышленниковъ и ихъ служащихъ", какъ клеймитъ ее „Нов. Вр.", охраняетъ безопасность рабочихъ.

Тутъ въ столицѣ горная бюрократія совершенно спокойна. Но, если бы даже она волновалась по поводу тѣхъ или иныхъ недостатковъ надзора, то изъ этого тоже ничего не вышло бы. Ибо мѣстныя горныя окружныя управленія, — помимо „семейныхъ" соображеній,—состоятъ изъ чиновниковъ—далекихъ отъ дѣла, лишенныхъ техническихъ знаній, не могущихъ и не хотящихъ осуществлять хотя бы минимальный, но дѣйствительный надзоръ. „Нов. Вр." и заявляетъ рѣшительно: „окружное управленіе понимаетъ въ дѣлѣ провѣтриванія рудниковъ, столько же, сколько, напримѣръ, въ дѣлѣ культуры шелковичныхъ червей". Этотъ спеціалистъ въ области табели о рангахъ, когда стрясется большая бѣда, помчится, пожалуй, верстъ за 400—500 на мѣсто событія; можетъ быть изъ еще болѣе далекихъ мѣстъ прибудетъ „самъ" начальникъ горнаго округа, но, справившись по завѣдомо неправильно составленнымъ книгамъ на лету объ обстоятельствахъ „дѣла" за № такимъ-то, они подмахнутъ свои подписи подъ соотвѣтствующей бумагой и уѣдутъ назадъ, выразивши кому слѣдуетъ офиціальную благодарность.

Связь между горнымъ балетомъ и феерическимъ апофеозомъ въ Юзовкѣ становится все болѣе различимой.

Въ балетѣ принимаютъ участіе предприниматели. Какія роли имъ отведены? Вопросъ также чрезвычайно важный.

Отвѣтъ намъ даетъ одинъ весьма интересный документъ.

Въ декабрьской выѣздной сессіи петроковскаго окружного суда въ г. Бендинѣ, гдѣ разбиралось дѣло по обвиненію завѣдующаго копью „Мортимеръ" горнаго инженера Д. въ непринятіи надлежащихъ мѣръ предосторожности, послѣдствіемъ чего была смерть рабочаго, выступилъ окружной инженеръ и повѣдалъ суду слѣдующее:

„Въ данномъ случаѣ,—сказалъ онъ,—суду подлежитъ не одно какое-либо опредѣленное лицо, а вся система организаціи управленія въ крупныхъ предпріятіяхъ бассейна... Система эта вырабатывалась путемъ долголѣтнихъ усилій и практики, прежде чѣмъ превратиться въ нѣчто, почти неуязвимое и въ значительной степени обезоруживающее фабричную инспекцію. За этой системой главные фактическіе распорядители дѣла чувствуютъ себя какъ за нерушимой каменной стѣной вполнѣ спокойными и свободными отъ всякой отвѣтственности, а слѣдовательно совершенно безнаказанными.

Главною и вполнѣ сознаваемой цѣлью системы является у обществъ установленіе возможности располагать услугами такихъ лицъ, которыя, не вліяя вовсе на ходъ самого дѣла, готовы были бы въ случаѣ надобности претерпѣть, заслоняя и укрывая собою другихъ фактическихъ распорядителей дѣла. Достигается это такимъ образомъ. Во главѣ предпріятія ставится представитель иностранныхъ акціонеровъ, иностранецъ, въ рукахъ котораго сходятся всѣ пружины дѣла и безъ санкціи котораго предпринять что-либо никто изъ служащихъ не имѣетъ права. Такой представитель остается полнѣйшимъ миѳомъ для лицъ правительственнаго надзора, и ни въ какихъ офиціальныхъ документахъ не значится. На ряду съ нимъ назначается такъ называемый главный директоръ-распорядитель, снабжаемый самыми обширными полномочіями. Этотъ офиціальный распорядитель судебъ предпріятія обыкновенно даже не живетъ на мѣстѣ расположенія предпріятія, а обрѣтается въ какомъ-нибудь культурномъ центрѣ, гдѣ и является представителемъ предпріятія при различныхъ административныхъ учрежденіяхъ. Онъ передовѣряетъ на бумагѣ значительную часть своихъ полномочій другому директору, такъ сказать, директору № 2, которому уже поручается офиціально олицетворять на мѣстѣ все предпріятіе и вмѣняется въ обязанность представлять собою нѣчто вліятельное. На самомъ дѣлѣ это только докладчикъ и attaché при представителѣ акціонеровъ, чаще всего не обладающій никакимъ непосредственнымъ вліяніемъ на ходъ дѣла. Система идетъ дальше. Этотъ фактивный представитель

передовѣряетъ въ свою очередь наиболѣе существенную часть своихъ полномочій по безопасному веденію работъ отдѣльнымъ завѣдующимъ-инженерамъ на копяхъ и заводахъ и устраняетъ себя совершенно отъ технической стороны дѣла не только на бумагѣ, но и на дѣлѣ. Завѣдующіе выдаютъ правительственному надзору подписки въ принятіи на себя отвѣтственности за веденіе дѣла и за безопасность ввѣренныхъ ихъ попеченію людей, съ полною готовностью претерпѣть за свой проступокъ передъ закономъ. Однако и эти послѣдніе господа, пропитанные, такъ сказать, насквозь самою непріятною отвѣтственностью, являются только слѣпыми орудіями въ рукахъ выше стоящихъ, и пассивными исполнителями ихъ распоряженій. Они также не остаются въ долгу у послѣднихъ и перелагаютъ путемъ подписокъ часть своей отвѣтственности на плечи штейгерамъ, досмотрщикамъ и даже десятникамъ. И вотъ въ результатѣ такой системы является то, что скамья подсудимыхъ занимается лишь традиціонными стрѣлочниками. И въ данномъ случаѣ скамья занята жертвой системы, тѣмъ же стрѣлочникомъ, только рангомъ повыше. Не прими эта жертва на себя отвѣтственности, и она была бы выброшена на улицу безъ куска хлѣба со всей своей семьей, а на ея мѣсто явились бы десятки другихъ голодныхъ, также съ полной готовностью претерпѣть“.

Въ этой замѣчательной рѣчи главнымъ образомъ анализированы отношенія нисходящей линіи попеченія о судьбѣ рудокопа. Однако не менѣе яркіе результаты даютъ анализъ и по линіи восходящей. Въ самомъ дѣлѣ: „стрѣлочникъ“ самаго ничтожнаго ранга *не можетъ быть* добросовѣстнымъ, потому что онъ отвѣчаетъ передъ штейгеромъ, штейгеръ передъ инженеромъ, инженеръ передъ директоромъ № 2-й, № 2-й передъ директоромъ № 1-й, № 1-й передъ главнымъ представителемъ, главный представитель передъ самимъ хозяиномъ, хозяинъ же ни передъ кѣмъ не отвѣчаетъ, никого не спрашиваетъ и давитъ всѣмъ своимъ тяжелымъ вѣсомъ хозяйскаго всевластія внизъ до самаго послѣдняго звена въ цѣляхъ выжиманія наибольшей прибыли. Такъ замыкается система и въ ней, какъ въ заколдованномъ кругу, крушится жизнь и здоровье сотенъ тысячъ людей.

Мы видѣли двѣ системы, опредѣляющія жизнь труда въ каменноугольной промышленности: одну правительственную, другую капиталистическую. Видѣли мы также отчасти и ихъ соотношенія на мѣстахъ. Во главѣ первой стоятъ различныя министерства, управленія, департаменты, во главѣ второй—совѣтъ съѣздовъ горнопромышлениковъ. Каковы ихъ взаимоотношенія? Судя по поощрительной политикѣ правительства, мы можемъ a priori сказать, что и здѣсь все полно мира, любви и взаимной признательности. Такъ оно на самомъ дѣлѣ по существу обстоитъ. Именно—*по существу*, а не по формѣ. Ибо по формѣ вышло нѣкоторое не-

пріятное столкновеніе. Столкновеніе произошло на почвѣ вопроса объ устройствѣ въ донецкомъ раіонѣ станціи для испытанія рудничныхъ газовъ.

Юзовская катастрофа какъ разъ совпала съ десятилѣтнимъ юбилеемъ... не станціи, конечно, а вопроса объ ея устройствѣ. Сейчасъ послѣ катастрофы „Торг. Пром. Газета" писала по этому поводу:

„Будемъ, надѣяться, что хотя бы цѣною двухсотъ жизней рѣшеніе вопроса объ устройствѣ испытательной станціи въ Донецкомъ бассейнѣ будетъ ускорено и уже въ самомъ близкомъ будущемъ увидимъ донецкихъ углепромышленниковъ во всеоружіи борьбы со страшнымъ врагомъ углекопа—рудничнымъ газомъ".

Это послѣ десяти то лѣтъ, послѣ того, какъ были исписаны горы бумаги, послѣ того, какъ пролиты были моря слезъ и жертвы рудниковъ насчитываются тысячами! Читатель можетъ подумать, что, если вопросъ о станціи волочится уже 10 лѣтъ, если для разрѣшенія его требуются аргументы крови и гибели 300 жертвъ, то это станція вещь совершенно недоступная для угнетенной и бѣдной русской промышленности, должно быть, она стоитъ милліоны, десятки милліоновъ. Мы тоже такъ вначалѣ думали, но, раскрывши № 10 горнозаводскаго листка—органъ южныхъ горнопромышленниковъ, мы къ не малому удивленію убѣдились, что роковое препятствіе для „всеоружія" въ борьбѣ съ рудничными газами это полторы десятины земли при Прасковіевской шахтѣ. Сколько же онѣ стоятъ? Пятьсотъ рублей въ годъ аренды.

При этомъ оказалось, что 43,485 рублей, необходимые для оборудованія станціи, уже даны правительствомъ, и углепромышленники должны будутъ нести расходъ по содержанію станціи не болѣе чѣмъ $11^1/_2$ тысячъ руб. въ годъ.

Что же однако сдѣлали для ускоренія дѣла власти? Ассигновали деньги. А еще? Были командированы комиссіи, изъѣздившіе, вѣроятно, большія деньги и исписавшіе, навѣрно, много бумаги. Затѣмъ „г. министръ земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ приказалъ благодарить съѣздъ (горнопромышлен.) за пожертвованіе въ 13 тысячъ руб.", которое однако горнопромышленники послѣ взяли обратно.

Джентльменскія отношенія къ горнопромышленникамъ не позволяли правительству опираться и примѣнить „всю полноту власти" и государственнаго авторитета тамъ, гдѣ это было наиболѣе необходимо.

Изъ „представленія" горнаго департамента въ Госуд. Думу отъ 22 ноября 1907 г. по вопросу объ устройствѣ испытательной станціи мы узнаемъ, что горнопромышленники „въ виду предстоящаго имъ крупнаго расхода по устройству спасательной станціи затрудняются нынѣ принять участіе въ расходахъ по соору-

женію испытательной станціи; забота же о жизни и здоровьи горнорабочихъ не допускаетъ медлить съ устройствомъ послѣдней".

Однако правительство весьма медлило. И въ вопросѣ, затрагивающемъ интересы огромной массы рабочаго населенія оно оказалось безсильнымъ противъ мелочной экономіи нѣсколькихъ магнатовъ капитала. „А возъ и нынѣ тамъ". Испытательной станціи нѣтъ, но за то на почвѣ взаимнаго благожелательнаго нейтралитета между правительствомъ и горнопромышленниками царствуютъ миръ и согласіе.

Здѣсь наверху благодать мира и взаимной любви принимаетъ формы весьма тонкія и изысканныя, тамъ внизу на низшихъ ступеняхъ бюрократической и промышленной іерархіи изысканность отбрасывается и замѣняется голымъ, ни чѣмъ не прикрытымъ принципомъ: „рука руку моетъ".

„На рудникахъ—пишетъ „Голосъ Москвы"—свѣта и гласности не любятъ. Тамъ господствуютъ свои нравы, свои обычаи, я сказалъ бы, свои законы, которыхъ не въ силахъ отмѣнить ни далекій отъ рудничной жизни горный надзоръ, ни благодушно настроенная рудничная полиція. На рудникахъ девизъ: „шитокрыто". Придавитъ ли обвалъ двухъ-трехъ рабочихъ, убьютъ ли кого-нибудь въ обычной здѣсь пьяной дракѣ, просто найдутъ ли „мертвое тѣло отъ неизвѣстныхъ причинъ", спѣшатъ покончить дѣло по-семейному—и концы въ воду. Если и составятъ протоколъ, то въ немъ неизбѣжно фигурируютъ либо „собственная неосторожность", либо „неизвѣстныя причины".

Понятно, что при такихъ патріархальныхъ условіяхъ промышленникамъ надо быть святыми, чтобы тратиться хотя бы на минимальныя средства обезпеченія безопасности рудничной работы. Но святыхъ въ наше время на землѣ очень мало и самыя возмутительныя злоупотребленія свирѣпствуютъ на рудникахъ безъ всякихъ послѣдствій для предпринимателей. Мы не въ состояніи привести здѣсь всѣ относящіеся сюда факты. Ограничимся поэтому только немногими. Вотъ разговоръ сотрудника „Приднѣпровскаго Края" г. Глаголя съ десятникомъ рыковскаго рудника, приставленнымъ спеціально для измѣренія скопленія газовъ.

— Отъ какой причины, по вашему, произошелъ „выпалъ"?

— Обязательно долженъ былъ произойти. Объ этомъ не только у насъ, но и въ Юзовкѣ знали. А о насъ и говорить нечего. Я, по своей должности, поставленъ затѣмъ, чтобы записывать, сколько процентовъ газа въ шахтѣ находится. И вотъ двѣ недѣли уже въ книгу 4 или 5 процентовъ записывалъ.

— А при сколькихъ процентахъ возможно работать?

— Если больше двухъ, то законъ воспрещаетъ.

— Но какимъ же образомъ работали?

Съ удивленіемъ на меня посмотрѣлъ...

— А вотъ вы попробуйте, не полѣзьте въ шахту. Такъ васъ черезъ полчаса къ разсчету представятъ. Сами штейгера нѣсколько разъ въ моей книгѣ переправляли! Напишешь пять, а онъ возьметъ и поставитъ $^1/_2$ проц. Да еще оштрафуетъ за такую запись. А вы знаете, баринъ, что въ шахтѣ столько было газу, что электричество гасло.

— Но, вѣдь, это же преступленіе, разъ штейгера въ книгахъ переправляютъ?

— Эхъ, то ли у насъ дѣлается! А мы что: мы — люди маленькіе! Вонъ надъ нашими рудниками еще казенный человѣкъ поставленъ, который за процентомъ газа смотритъ.

— Почему же онъ не запретилъ работать?

— Да онъ почти никогда у насъ не бываетъ. А онъ бы могъ, конечно.

Въ шахтѣ существуетъ вентиляція. Но не вездѣ она работаетъ исправно. Не работала она исправно и въ день взрыва.

— Почему?

— А кто ее знаетъ. Очень безпорядочно къ этому относятся. Работаетъ—хорошо. Не работаетъ, и то ладно.

Передъ нами письмо человѣка, довольно долго работавшаго въ рудникахъ Донецкаго района. Онъ пишетъ: „пройдитесь по любому руднику и вы всегда найдете обрабатываемые уголки съ 3—4% гремучаго газа. Мнѣ самому случалось смотрѣть работы при 5 и болѣе % газа. Голова страшно тяжела; дышать трудно. Лампочки тухнутъ при малѣйшемъ рѣзкомъ движеніи. А десятникъ записываетъ свои неизмѣнные 2% — иначе инженеръ и штейгеръ будутъ сердиться. Спросите любого рабочаго шахтера— онъ вамъ разскажетъ частые случаи, когда работать приходилось при 6—7 и больше % гремучаго газа. Немного прикручиваешь огонекъ въ лампочкѣ и продолжаешь долбить“.

Надо долбить, ибо смерть отъ взрыва можетъ быть наступитъ только завтра, а голодъ въ случаѣ протеста наступитъ сегодня же. И вотъ рабочіе въ самый день взрыва чувствуютъ чрезвычайное скопленіе газовъ, видятъ неисправность работы вентиляторовъ, видятъ неисправность электрическихъ проводовъ, робко, съ затаеннымъ страхомъ разсчета, докладываютъ объ этомъ администраціи, но администрація и пальцемъ не шевелитъ—и въ тотъ же день вечеромъ страшная катастрофа производитъ вѣчный, абсолютный и непоправимый разсчетъ 300 рудокоповъ.

Рыковскій рудникъ считается однимъ изъ самыхъ опасныхъ по количеству выдѣляемыхъ газовъ, по глубинѣ шахтъ и по составу и расположенію пластовъ угля. И если на *такомъ* рудникѣ *такъ* относятся къ вопросу о безопасности рудокоповъ, то легко можно себѣ представить, что дѣлается на другихъ менѣе опасныхъ. „Нов. Время“ разсказываетъ случай, ярко характеризующій постановку дѣла безопасности на рудникахъ.

„Дѣло происходило на югѣ Россіи послѣ взрыва газа въ шахтѣ.

Слѣдственная комиссія запрашиваетъ служащихъ, почему они не принимали мѣръ противъ рудничнаго газа. Оправдываясь, инженеры ссылаются на то, что хозяева рудника не давали имъ необходимыхъ для ислѣдованія приборовъ и, между прочимъ, лампъ системы Шено.

Когда допросъ кончился и лицо, которое передавало этотъ случай, осталось наединѣ съ допрашивавшимися инженерами, то въ частномъ разговорѣ выяснилось, что на рудникѣ были лампы Шено, но что инженеры не знали, что это за лампы и что съ ними надо дѣлать".

Такъ поставлено дѣло охраны жизни рабочихъ. Въ 1898—99 году оффиціальное изслѣдованіе рудниковъ Донецкаго раіона установило, что инструкціи по надзору за рудниками не исполняются на 88% общаго числа частныхъ предпріятій. А между тѣмъ эти предпріятія принадлежатъ иностранцамъ, которые у себя на родинѣ достаточно знакомы съ самыми новѣйшими рудничными приспособленіями. Въ чемъ же дѣло? Неужели они все это забываютъ здѣсь въ Россіи? Нѣтъ—отвѣтъ простъ и въ этой простотѣ своей таитъ огромную трагедію: Россія—это страна, гдѣ можно въ цѣляхъ копеечной экономіи ставить на карту жизнь и здоровье сотенъ и тысячъ людей, не подвергаясь за это никакой отвѣтственности. И если воинствующая реакція теперь усиленно спекулируетъ на негодованіи противъ иностранцевъ, преступно бросающихъ русскихъ людей въ объятія смерти, то въ этомъ сознательно или безсознательно сказывается стремленіе затушевать одинъ неоспоримый фактъ: иностранцы собираютъ жатву съ поля, засѣяннаго безправіемъ, произволомъ, тьмой и невѣжествомъ самой реакціей. Тамъ у себя на родинѣ бельгіецъ, англичанинъ входитъ составной частью въ одну систему соціально-политическихъ отношеній, здѣсь, на чужбинѣ, онъ входитъ въ другую. И если тутъ онъ дѣйствуетъ совсѣмъ иначе, чѣмъ тамъ, то это объясняется просто: тамъ, слава Богу, есть парламентъ, тутъ, слава Богу, парламента нѣтъ. Завтра этотъ англичанинъ или бельгіецъ попадетъ въ африканскія колоніи и тамъ поведетъ себя „по африкански". Интернаціональный капиталъ приспособляется къ общественнымъ условіямъ эксплоатируемыхъ имъ странъ. Въ „Великой Россіи" онъ несомнѣнно будетъ вести себя иначе, чѣмъ въ Россіи, въ которой, слава Богу, есть Думбадзе.

Пока же онъ совмѣстно съ русскимъ собратомъ не только не испытываетъ надобности въ мѣрахъ предупрежденія катастрофъ, но не видитъ никакой необходимости предпринять что-либо на случай, когда катастрофа уже разразится. Оффиціальный отчетъ 98—99 гг. констатируетъ, что на случай пожара или взрыва *нигдѣ никакихъ средствъ не приготовлено*. Вотъ въ Ры-

ковскомъ рудникѣ черезъ *полтора часа* послѣ катастрофы прибылъ *на лошадяхъ* за 12 верстъ отрядъ спасательной станціи изъ Макѣевки. Опускается отрядъ въ шахту и бродитъ въ слѣпую, потому что *нѣтъ плана шахты.* Трудное ли это дѣло составить планъ и имѣть его про запасъ на спасательной станціи? Только черезъ часъ выносятъ на поверхность инженера Левинскаго. Онъ въ тяжеломъ обморокѣ. Обморокъ проходитъ и только теперь, когда уже погибли сотни, когда изъ рудника доносятся страшныя вопли молящихъ о спасеніи, инженеръ набрасываетъ планъ главныхъ развѣтвленій шахты. Теперь работаютъ уже съ планомъ, но черезъ нѣкоторое время артель выбивается изъ силъ, результатъ ея работы ничтоженъ, но дальше работать она не въ состояніи. Измученныхъ людей выносятъ наверхъ и спасательныя работы прекращаются на два часа, такъ какъ некому ихъ замѣнять. На огромный районъ въ 30 кв. верстъ имѣется всего одна станція. Итакъ, черезъ $1^1/_2$ часа на лошадяхъ прибываетъ артель, болѣе часа у нея нѣтъ плана, на два часа она вынуждена прекратить работу. А въ эти минуты и часы гибнутъ люди одинъ за другимъ, задыхаются въ борьбѣ съ ядовитыми газами и вопятъ о помощи предсмертными дикими криками, вылетающими наверхъ къ живымъ товарищамъ, слушающимъ и цѣпенѣющимъ...

Мы не останавливаемся на деталяхъ—одна возмутительнѣе другой, относящихся къ постановкѣ спасательнаго дѣла въ Донецкомъ раіонѣ. Думается, что общая картина спасенія при рыковской катастрофѣ говоритъ довольно много.

И вотъ раздаются возгласы:

„Могильщики должны быть найдены!..“

„Виновники должны быть строго наказаны!..“

„Надо разъ навсегда искоренить это преступное отношеніе къ жизни рабочаго люда“. — Ищутъ кругомъ виноватыхъ и съ надеждой взираютъ на Ѳемиду: не чешутся ли у нея руки, правильно ли стоитъ стрѣлка ея вѣсовъ. Чрезвычайно старательно и добросовѣстно работаютъ публицистическіе пинцетики, колбочки, ретортики, правильно смачиваются лакмусовыя бумажечки, всѣ съ безграничной самоотверженностью отдаютъ себя охотно въ жертву принципу, который и пишутъ по-латыни: auditor et altera pars—а въ результатѣ—или виноватыхъ вовсе нѣтъ, или всѣ виноваты, начиная отъ покойнаго уже тайнаго совѣтника и оберъ-балетомана Скальковскаго и кончая рудокопомъ Нечипоренко, закурившимъ въ шахтѣ, припрятанный съ дороги въ рудникъ, замусленный окурокъ и насладившійся имъ въ послѣдній разъ въ жизни.

Эти поиски опредѣленнаго виновника: a, b, c глубоко вредны съ общественной точки зрѣнія, т. к., отвлекая вниманіе общества въ глухой переулокъ слѣдственной эквилибристики, они тѣмъ самымъ затушевываютъ то огромное соціально-политическое содер-

жаніе, какое таитъ въ себѣ юзовская драма. Между тѣмъ катастрофа въ Юзовѣ—это именно глубокая соціальная драма, а не простое накопленіе уголовно-наказуемыхъ дѣяній. И, стоя на этой точкѣ зрѣнія, мы легко допускаемъ, что непосредственнымъ виновникомъ катастрофы былъ именно рудокопъ Нечипоренко, закурившій тайно папироску и поплатившійся за это жизнью вмѣстѣ со своими товарищами. Но помимо собственной гибели, для Нечипоренки есть другія, крайне важныя, смягчающія „вину" обстоятельства.

Сотруднику „Русск. Вѣд." французъ-инженеръ разсказывалъ:

— Русскій шахтеръ до того невѣжествененъ, что не сознаетъ опасности, которая подстерегаетъ каждый его шагъ. Мало того, зная опасность, онъ смѣется надъ ней, любитъ дразнить судьбу или же настолько равнодушенъ къ смерти, что не желаетъ лишить себя малѣйшаго удовольстія для того, чтобы избѣгнуть ея!..

И дальше сотрудникъ выслушалъ отъ разныхъ лицъ администраціи цѣлую серію разсказовъ, рисующихъ поразительную изобрѣтательность рудокоповъ въ дѣлѣ тайнаго проноса въ рудники спичекъ и табаку. Большинство катастрофъ по утвержденію инженеровъ и администраціи происходитъ отъ зажиганія огня въ шахтахъ. Итакъ 6 пунктовъ обвиненія. Русскій шахтеръ: 1) невѣжественъ, 2) не сознаетъ опасности, 3) смѣется надъ ней, 4) дразнитъ судьбу, 5) равнодушенъ къ смерти и 6) не можетъ отказаться отъ малѣйшаго удовольствія.

Мы всецѣло присоединяемся къ этимъ 6-и обвинительнымъ пунктамъ высокообразованнаго француза-инженера. Несомнѣнно русскій шахтеръ это темный и невѣжественный человѣкъ. Голодъ гонитъ его изъ деревни на самую тяжелую, во-истину каторжную работу. Здѣсь за 70—100 коп. въ день онъ спускается на 10—11 часовъ въ подземный адъ и долбитъ, долбитъ. Въ низкихъ галереяхъ онъ часами лежитъ животомъ на сырой землѣ, покрытой черной угольной грязью. Этой грязью онъ дышитъ, эта грязь слѣпитъ ему глаза, забирается во все тѣло. Черезъ недолгое время онъ тяжелый ревматикъ, болѣзнь мучительно сводитъ суставы, все тѣло ноетъ нестерпимо. А вдобавокъ десятки мелкихъ ушибовъ отъ падающихъ породъ, ушибовъ, не оставляющихъ внѣшнихъ знаковъ, не регистрируемыхъ, но изводящихъ больное тѣло хуже припадка тяжелой болѣзни. Еще черезъ нѣкоторое время шахтера поражаетъ туберкулезъ—и инвалидомъ, если его не похоронила шахта, тащится онъ помирать назадъ въ деревню.

Послѣ тяжелаго рабочаго дня шахтеръ возвращается „домой" въ казарму или въ жалкія наскоро отстроенныя мазанки-лачужки. Усталый, разбитый, онъ валится грязнымъ на постель и засыпаетъ. Казармы это „жалкія, ветхія, грязныя и низкія помѣщенія, до крайности тѣсныя, въ которыя набивается отъ 20 до 40 челов. въ одномъ помѣщеніи... Иногда эта же самая комната служитъ

кухней... Земляной полъ, грязныя нары, тѣснота помѣщенія и скученность обитателей дѣлаютъ атмосферу комнаты прямо невозможной“ (Брандтъ, Иностран. капиталы т. II. Цитир. по Дену „Каменноугольная и желѣзодѣлательная промышленность“). Вотъ при изобиліи такихъ огромныхъ удовольствій шахтеръ „не желаетъ лишать себя „малѣйшаго удовольствія“ и... куритъ и... пьетъ, много, много пьетъ. Понятно ли почему? Трудно ли понять, что глотающему цѣлый день угольную пыль шахтеру, недѣлями не видящему солнца, больному, истощенному—затянуться глубоко крѣпкой махоркой въ газетной бумагѣ—это такое „малѣйшее удовольствіе“, отъ котораго дѣйствительно трудно отказаться. Вѣдь это „малѣйшее удовольствіе“ можетъ быть его *единственное* удовольствіе! Это конечно трудно понять высокообразованному французу-инженеру, но вѣдь это фактъ. Вѣдь въ этомъ и весь ужасъ положенія рудокопа, что тяжелая, неносимая жизнь, полная каторжныхъ лишеній парализуетъ у него совершенно чувство опасности и онъ дѣйствительно готовъ умереть ради одной краденой, крѣпкой и глубокой „затяжки“.

Рудокопъ „смѣется надъ опасностью“.

Но вѣдь раньше всего и прежде всего надъ нею смѣется сама администрація рудниковъ. При этомъ возмутительномъ пренебреженіи къ жизни и безопасности шахтеровъ, которое открыто и безнаказанно проявляетъ администрація, какъ съ годами не исчезнуть чувству осторожности и у шахтеровъ? Вѣдь нельзя же годы работать въ состояніи предсмертнаго напряженія чувства опасности, когда мракъ, грязь, пустота и тяжелыя физическія муки нищенской жизни и тяжелаго труда глушатъ всѣ чувства человѣка, дѣлаютъ его рабочей скотиной—тупой, жалкой.

„Рудокопъ равнодушенъ къ смерти“.

Да, конечно равнодушенъ, ибо равнодушіе къ ней—почва, на которой только и можетъ базироваться, достаточно нами уже очерченная система горной эксплоатаціи. Исчезни это равнодушіе и *русскій шахтеръ, при русскихъ условіяхъ* не сможетъ работать; онъ ни за что не захочетъ опуститься въ шахту. Онъ вѣдь сплошь и рядомъ не смѣетъ не быть равнодушнымъ къ ней, ибо иначе, при активномъ отношеніи къ вопросу о своей безопасности, онъ немедленно будетъ выкинутъ на улицу въ жертву голодной смерти. Если въ немъ страхъ смерти будетъ сильнѣе страха голода, то какъ же найти ему работу на русскомъ руднике? Рыковскіе рудокопы знали, что въ шахтѣ № 4-ый не ладно, они объ этомъ заявляли робко, но они вѣдь *не посмѣли* настойчиво и громко отстоять передъ администраціей свое право на жизнь, право на смерть въ родномъ углу, а не подъ глыбами угля.

„Русскій шахтеръ невѣжественъ“.

Откуда же ему взять просвѣщеніе? Въ деревнѣ его ничему не учили, а на рудникахъ... вотъ чему его учатъ иностранные инженеры:

„Воспрещается въѣздъ въ заводъ, а кто въѣдетъ—на три дня въ кордегардію“. Или еще:

„Воспрещается прикасаться къ этому столбу подъ угрозой смертной казни“. Это значитъ, что по столбу идетъ сильный электрическій токъ, опасный для жизни. И еще учитъ тамъ администрація возмутительнѣйшей брани, артистически усвоенной иностранцами, не умѣющими толково передать по-русски самое пустяшное распоряженіе по работѣ И нерѣдко эти уроки основаны на экспериментальномъ методѣ толчковъ, затрещинъ и т. п.

Совершеннѣйшую правду сказалъ высоко-образованный французъ-инженеръ и нестерпимо правиленъ его приговоръ. Шахтеръ — „пьяница“, шахтеръ — „жуликъ“ и вотъ еще доказательство:

„Помню я такой случай.

Я, штейгеръ и нѣсколько рабочихъ стоимъ въ главномъ корридорѣ шахты на рельсахъ, по которымъ паровая машина спускаетъ сверху вагонетки для вывоза наверхъ угля...

Издали слышится шумъ летящей вагонетки... Ближе и ближе. . Мы отодвигаемся въ сторону и прижимаемся къ стѣнамъ корридора.

Одинъ рабочій почему-то замѣшкался на рельсахъ.

— „Мерзавецъ...—оретъ во все горло штейгеръ, разражается цѣлымъ лексикономъ непечатныхъ словъ, схватываетъ шахтера буквально за шиворотъ и прижимаетъ его къ стѣнкѣ.

— Сукинъ сынъ... другой разъ всю морду искровяню...

— Что вы это? За что?—спрашиваю я.

— А, вы еще не знаете ихъ?.. Оторветъ себѣ какой-нибудь палецъ, а потомъ шахтовладѣлецъ плати ему цѣлую жизнь. Жулье—народъ...

И вотъ, я видѣлъ въ больницѣ рудника одного изъ такого „жулья“. Ему оторвало нѣсколько пальцевъ руки.

— Правда ли—спросилъ его я, что вы это сдѣлали нарочно?

Онъ насмѣшливо посмотрѣлъ на меня.

— Баринъ... а, если бы и нарочно...

Мы замолчали. Онъ тихо вздохнулъ.

— Если бы и нарочно... Вѣдь измаялся весь... Всѣ кости болятъ... На грудь точно вся шахта навалилась...

И опять замолчалъ...

— А дома вѣдь лебеду ѣдятъ...“

Это разсказываетъ человѣкъ, близко стоявшій къ рудничной жизни.

Такова моральная, матеріальная и общественнная обстановка, въ которой прозябаетъ армія „черныхъ богатырей“. Можетъ быть мы теперь сумѣемъ простить Нечипоренкѣ грѣхъ „малѣйшаго удовольствія“.

Въ массѣ шахтеровъ несомнѣнно идетъ броженіе. Послѣдніе годы знаютъ много попытокъ сознательной планомѣрной профессіо-

нальной организаціи. Идетъ пробужденіе отъ вѣковой забитости и рабства. Но какія только не ставятся этому препятствія! Указываютъ на такіе факты, когда шахтеровъ арестовывали за нахожденіе у нихъ закона 10 іюля 1903 г. о старостахъ. При такихъ условіяхъ, всѣ усилія сознательныхъ элементовъ Юзовскихъ, Карповскихъ, Петровскихъ и др. шахтеровъ организовать профессіональный союзъ неизмѣнно разбиваются о цѣлую систему полицейскихъ преградъ. Если бы хоть десятая доля той энергіи, которая тратится на отысканіе и борьбу съ крамолой пошла на дѣло надзора за соблюденіемъ весьма жалкихъ постановленій закона объ организаціи безопасности на рудникахъ, много большихъ и малыхъ катастрофъ не могли бы имѣть мѣста. И въ результатѣ такая картина: администрація рудниковъ самымъ возмутительнымъ образомъ явно и нагло игнорируетъ жизнь и здоровье шахтеровъ, мѣстные органы горнаго надзора попустительствуютъ и все это прикрываютъ, центральные органы мирно почиваютъ въ устланныхъ золотомъ бюрократическихъ люлькахъ, рабочимъ же не даютъ возможность самимъ постоять за себя и дружной организованной борьбой обуздывать жестокій разгулъ хозяйскихъ вожделѣній. Связанный по рукамъ и ногамъ, шахтеръ долженъ безропотно подчиниться всему, что только можетъ повести къ временной „экономіи", хотя бы она покупалась цѣною жизни десятковъ людей.

Отсутствіе профессіональной организаціи шахтеровъ — вотъ базисъ, на которомъ пышно расцвѣтаетъ вся очерченная нами сторона „соціальной политики" донецкаго капитала. Будь у рабочихъ сильная организація—шахтеръ не сталъ бы работать при возмутительно небрежныхъ крѣпленіяхъ, при испорченной вентиляціи, при 5% гремучаго газа. Организація сумѣла бы оказать давленіе на предпринимателя, болѣе дѣйствительное, чѣмъ льстивые визиты чиновъ горнаго надзора. Организація сумѣла бы подтянуть и самый этотъ надзоръ, такъ какъ контроль сознательныхъ рабочихъ систематически вырывалъ бы почву изъ подъ ногъ бюрократическаго „вѣрую": „все обстоитъ благополучно". Профессіональная организація рудокоповъ несомнѣнно сумѣла бы нарушить миръ между надзоромъ и администраціей рудниковъ, вбившись между ними клиномъ, тревожащимъ неустанно и ту и другую сторону.

И еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Широкое развитіе профессіональной и всякой иной самодѣятельности подняло бы и обострило у шахтера чувство уваженія къ своей личности. Онъ почувствовалъ бы себя человѣкомъ, а не рабочей скотиной, подлежащей удушенію въ подземномъ пеклѣ. Исчезло бы у шахтера то фаталистическое отношеніе къ жизни и смерти, которое такъ характерно для темной рабочей массы въ Россіи вообще и для шахтеровъ въ особенности. И не подлежитъ ника-

кому сомнѣнію, что при такихъ условіяхъ та доля осторожности, которая требуется отъ самого шахтера во время работы, была бы соблюдена въ гораздо большей мѣрѣ и „малѣйшее удовольствіе“ Нечипоренки единичнаго не вело бы къ величайшимъ несчастьямъ Нечипоренки коллективнаго. Раньше всякаго надзора осуществлялся бы надзоръ самого рабочаго, знающаго, что за нимъ стоитъ коллективная сила организаціи, которая за него при нуждѣ постоитъ и его защититъ.

Владыки донецкаго бассейна хорошо понимаютъ всю опасность самодѣятельности шахтеровъ для упрочившейся въ бассейнѣ „конституціи“ и бдятъ и пускаютъ въ ходъ всю силу своего огромнаго вліянія, чтобы не допустить никакихъ видовъ шахтерской крамолы.

И подходя съ этой стороны къ юзовской катастрофѣ мы вновь наталкиваемся невольно на тотъ же основной выводъ: юзовская драма это не случайное сцѣпленіе административныхъ предпринимательскихъ и рабочихъ злоупотребленій, подлежащихъ пристрастной или безпристрастной судебной ликвидаціи. Нѣтъ— это огромная соціальная драма русскаго рабочаго класса, скованнаго историческими цѣпями безправія и мрака, драма пролетаріата дезорганизованнаго, распыленнаго, молчащаго предъ лицомъ смерти, даже передъ ея лицомъ не могущаго и не смѣющаго протестовать. Юзовская драма не скопленіе уголовно-наказуемыхъ проступковъ, а результатъ огромнаго историческаго напластованія, ликвидировать которое не дано русскимъ прокурорамъ, ибо до сихъ поръ не справился еще съ этой задачей весь русскій народъ.

И потому именно, что не справился—онъ платитъ самую крупную дань молоху капитализма. Россіи принадлежитъ честь занимать первое мѣсто по числу жертвъ въ каменноугольной промышленности.

На 10.000 рабочихъ число убитыхъ въ годъ составляло.

Россія	24,7	(1885—1896)
Бельгія	17,1	(1886—1895)
Англія	16,7	
Франція	15,7	

За періодъ 1893—1904 было въ среднемъ убито при несчастныхъ случаяхъ.

Россія	2,38
Пруссія	2,24
Англія	1,33
Франція	1,13
Бельгія	1,16
Австрія	1,08

Страны мѣняются мѣстами, но Россія своего перваго мѣста по числу несчастныхъ случаевъ со смертельнымъ исходомъ уступить не хочетъ.

Стоитъ сравнить цифры несчастныхъ случаевъ въ Россіи съ соотвѣтствующими цифрами Франціи, чтобы получить достаточно ясное представленіе о вліяніи всѣхъ тѣхъ условій соціально-политическаго прогресса, которыхъ у насъ „слава Богу нѣтъ".

Въ Донецкомъ районѣ на 834 тысячи горно-рабочихъ приходилось въ 1905 г. 31,4 тыс. несчастныхъ случаевъ, т. е. изъ каждыхъ 1000 рабочихъ жертвой „мирнаго" труда стало 376 челов. во Франціи на 175 тыс. горно рабочихъ пострадавшихъ было только 25,6 тысячъ или на 1000 рабочихъ только 146 жертвъ, т. е. почти въ $2^1/_2$ раза меньше!

Что эта разница объясняется не какими-либо техническими условіями разработки, родомъ горныхъ пластовъ и т. п., а главнымъ образомъ разницей всего соціально-политическаго уклада, мы можемъ видѣть на сравнительныхъ данныхъ сосѣднихъ домбровскаго и верхне-силезскаго бассейновъ, которые по условіямъ разработки и вообще въ техническомъ отношеніи совершенно однородны. И вотъ на 1000 рабочихъ было убитыхъ:

	1902	*1904*	*1906*
Въ Домбровскомъ бассейнѣ	3,27	3,54	4,26
„ Горной Силезіи . . .	1,899	1,852	2,227

Мы видимъ ясно: въ домбровскомъ районѣ гибнетъ вдвое больше людей, чѣмъ въ сосѣдней Горной Силезіи, находящейся по ту сторону границы. А вѣдь Горная Силезія занимаетъ въ Пруссіи одно изъ худшихъ мѣстъ по количеству несчастныхъ случаевъ. Болѣе детальныя цифры даютъ еще болѣе ясное представленіе объ этой разницѣ общественныхъ условій въ ихъ вліяніи на число несчастныхъ случаевъ.

О размѣрѣ той дани кровью, которую платитъ русскій рабочій шахтеръ, между прочимъ и за то, что у насъ, слава Богу, нѣтъ парламента, можно судить по слѣдующей таблицѣ, относящейся къ донецкому району и составленной на основаніи данныхъ самихъ промышленниковъ юга.

Годъ.	Общее число рабочихъ	Пострадало отъ несчастныхъ случаевъ.							
					Инвалидовъ.			Временно потеряли трудоспособность.	
		Всего.	На 1000	Убитыхъ и умершихъ отъ ранъ.	Полныхъ	Частичныхъ.	На 1000	Всего	На 1000
1904	141,882	51,182	347	251	17	2,420	16,33	47,831	324
1905	146,345	57,172	391	264	39	3,538	24,19	50,810	347
1906	157,959	61,919	382	283	110	4,104	25,80	55,631	344

Вся эта таблица говоритъ объ ужасающемъ ростѣ числа жертвъ каменноугольной промышленности. Растетъ число умершихъ и убитыхъ, со страшной быстротой подымается цифра полныхъ инвалидовъ—и всѣ рубрики говорятъ одно: *опасность работъ въ донецкомъ бассейнѣ увеличивается.*

Очень часто приходится слышать голоса возмущенія и изумленія. „Помилуйте—говорятъ, обращаясь къ промышленникамъ—вы тратите огромныя деньги, милліоны по выдачѣ вознагражденій увѣчнымъ, пенсій вдовамъ и сиротамъ. Не лучше ли было бы своевременнымъ принятіемъ мѣръ безопасности избавить себя отъ этихъ расходовъ". Весьма радикальный „инженеръ С." въ „Торг.-Промышлен. Газетѣ" проповѣдуетъ: „Русскіе горнопромышленники должны помнить, что, при болѣе правильной постановкѣ вопроса объ охранѣ труда рабочихъ и принятіи мѣръ предосторожностей, они не только дѣйствуютъ въ интересахъ рабочаго, не только въ интересахъ страны, которая лишается, благодаря постояннымъ несчастіямъ, массы производительнаго труда, но и въ своихъ собственныхъ интересахъ. Принятіемъ соотвѣтственныхъ мѣръ предосторожности промышленники уменьшаютъ свои расходы по обезпеченію рабочихъ въ гораздо большей степени, чѣмъ увеличиваютъ расходы по введенію этихъ мѣръ".

Дѣйствительно одна рыковская катастрофа обойдется южнымъ горнопромышленникамъ въ милліонъ рублей. Въ 1906 году имъ пришлось потратить свыше $3^1/_2$ мил. рублей на лѣченіе рабочихъ обезпеченіе семействъ пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ Въ огромной массѣ случаевъ эти несчастья вполнѣ предотвратимы и несомнѣнно средства ихъ предотвращенія стоятъ въ общемъ гораздо дешевле, чѣмъ ликвидація ихъ послѣдствій. И все-таки... И все-таки промышленниками ничего почти не дѣлается для охраны жизни и здоровья рабочихъ. Неужели же они своей выгоды не понимаютъ? И если они столь жестокосерды къ своему карману, то неужели они нечувствительны къ гибели людей, страданіямъ близкихъ и т. д.?

Все это—надо сказать прямо—вопросы вздорные и ни къ чему не ведущіе. Не отъ непониманія и не отъ жестокосердія къ своему карману и чужой жизни катится у насъ и растетъ лавина несчастныхъ случаевъ. И если все-таки остается непонятнымъ почему русскій горнопромышленникъ платитъ, правда охая и кряхтя, пенсіи и вознагражденія за увѣчья и не хочетъ потратиться на мѣры безопасности, то это потому, что пытаются разрѣшить этотъ вопросъ на почвѣ индивидуальныхъ, психологическихъ спекуляцій. А это дѣло безнадежное. Вотъ предъ нами другое поразительное противорѣчіе тоже изъ области горнопромышленности, выраженное уже точно въ цифрахъ.

	Годовая выработка на одного рабочаго въ пудахъ	Годовая заработная плата въ рубляхъ	Стоимость труда на 1 пудъ въ копейкахъ	Среднее число смертныхъ случаевъ на 1000 горнораб. *)
Домбровскій бассейнъ	13.874	318 р. 34 к.	2,28	3,69
Верхняя Силезія . . .	20.802	360 р — к.	1,8	1,992

Эта таблица чрезвычайно поучительна. Взято два сосѣднихъ раіона съ совершенно сходными природными условіями. И вотъ въ одномъ изъ нихъ стоимость труда на единицу продукта обходится предпринимателю больше на 25,4%, чѣмъ въ другой въ то время, какъ заработная плата въ ней ниже на 21,5%. Мы видимъ, что эти величины обратно пропорціальны. Если же посмотрѣть графу убитыхъ, то мы опять наталкиваемся на прямую пропорцію. Очевидно *выгодно* платить болѣе высокую заработную плату: она стоитъ въ прямой связи съ удешевленіемъ продукта, она стоитъ въ прямой связи съ сокращеніемъ расходовъ по вознагражденію за несчастные случаи. И, если несмотря на несомнѣнныя выгоды примѣненія мѣръ безопасности, несмотря на теоретически и практически доказанную выгоду улучшенія положенія труда, наши рудники являются самыми прожорливыми въ мірѣ, а нашъ шахтеръ самымъ нищимъ, безправнымъ и жалкимъ рабомъ капитала, то причина всего этого не въ непониманіи русскихъ капиталистовъ, не въ жестокосердіи и вообще не въ ихъ личныхъ качествахъ, *а въ хищническомъ характерѣ всей русской экономической и соціальной жизни.* Хищничество производительныхъ силъ, хищничество въ области эксплоатаціи живого человѣческаго труда, хищничество во всѣхъ областяхъ народной жизни, сдавленной между мучительными жерновами недоразвившагося капитализма и гипертрофированной бюрократіи—вотъ что одержало побѣду въ дыму и пламени рыковской катастрофы. Мучительныя нелѣпости русской жизни вновь сказались здѣсь съ нестерпимой ясностью и убѣдительностью и великая Бѣдная Россія вновь обнаружила свое ветхое историческое рубище.

Мы отмѣтили наиболѣе выдающіяся стороны юзовской катастрофы, поскольку она является соціальнымъ выводомъ всего нашего общественно политическаго уклада. Мы видѣли, что не техническія упущенія, а безправное, морально подавленное и матеріально приниженное положеніе рабочаго класса играютъ въ этой и въ десяткахъ другихъ катастрофахъ главную роль. И вотъ, оставляя въ сторонѣ вопросъ объ общей политической урожайности нашего „реформированнаго строя“, естественно спро-

*) Первыя три рубрики взяты изъ книги Дена „Каменноугольная и желѣзодѣлательная промышленность“.

сить: что даетъ намъ этотъ реформированный строй въ дѣлѣ матеріальнаго, правового и моральнаго подъема рабочаго класса? Отвѣтъ извѣстенъ: рабочіе законопроекты. Бѣдные рабочіе законопроекты три года кочующіе по разнымъ комиссіямъ и совѣщаніямъ, неумолимо сохнущіе и тающіе въ накаленной атмосферѣ бюрократическаго и капиталистическаго рвенія. Изъ этихъ законопроектовъ, два, сильно измятые въ дорогѣ, попали наконецъ въ канцелярію государственной Думы и здѣсь вѣроятно имъ дадутъ спокойно отлежаться не малое время. Эти два проекта касаются страхованія отъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ. Мы оставимъ въ сторонѣ законопроектъ о рабочемъ времени и о договорѣ найма, ибо они во многихъ отношеніяхъ рѣшительно ухудшаютъ существующее положеніе. Законопроекты же о страхованіи вносятъ новыя начала въ русское соціальное законодательство. Особенно важное значеніе для Россіи имѣетъ страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ. Въ то время, какъ въ Западной Европѣ капитализмъ со всѣми его разрушительными силами вросталъ въ народную жизнь планомѣрно, попутно съ общимъ культурнымъ и гражданскимъ подъемомъ населенія, попутно съ ростомъ самодѣятельности рабочихъ и всего общества, у насъ онъ явился въ страну со страшно низкимъ культурнымъ уровнемъ, въ страну темную забитую, истощенную и больную,—явился и вошелъ быстро, рѣшительно, угрожающе. Ясно, что въ такой обстановкѣ жертвы неумолимыхъ орудій промышленной техники должны были вызываться въ огромныхъ размѣрахъ.

Чрезвычайно большой рабочій день, безудержное примѣненіе сверхурочныхъ работъ, широкое, почти не регулируемое вовлеченіе въ горнило капиталистической эксплоатаціи женщинъ и дѣтей—все это при скудномъ питаніи русскаго рабочаго, при отсутствіи, какъ на Западѣ, десятилѣтіями выработанной технической ловкости и осмотрительности должно было вызвать и вызываетъ огромную массу несчастныхъ случаевъ.

Сказанное въ общемъ можно отнести и къ страхованію отъ болѣзни.

Законопроекты со всѣми этими обстоятельствами почти совершенно не считаются и страшно ограничиваютъ кругъ страхуемыхъ лицъ. Согласно послѣдней передѣлкѣ законопроектовъ въ совѣтѣ министровъ блага двухъ видовъ страхованія распространяются только на предпріятія, въ которыхъ при примѣненіи машинъ и паровыхъ котловъ занято не менѣе 20 человѣкъ, а при отсутствіи ихъ не менѣе 30 челов. Такимъ образомъ огромная масса рабочихъ въ мелкой промышленности выбрасывается изъ круга застрахованныхъ лицъ. Затѣмъ внѣ предѣловъ досягаемости страховыхъ законовъ остаются стотысячные кадры рабочихъ въ торговлѣ, въ строительной промышленности въ нѣкоторыхъ распространенныхъ видахъ транспорта и извоза, домашняя при-

слуга, рабочіе въ краткосрочныхъ сезонныхъ работахъ и т. д. и т. д.

Далѣе освобождены отъ законовъ о страхованіи казенныя предпріятія, фабрики и заводы, принадлежащія земствамъ и городамъ. Къ этому перечню надо еще присоединить освобожденный отъ страхованія Кавказъ, Сибирь и т. д Сильно исковеркана и организація страхованія и объемъ его. Такъ законопроектъ совершенно не обезпечиваетъ рабочимъ опредѣленный минимумъ медицинской помощи. На вопросъ объ объемѣ помощи онъ отвѣчаетъ приблизительно такъ: работодатель обязанъ обезпечить лѣченіе рабочихъ minimum'омъ въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ медицинской помощью пользуется все населеніе данной мѣстности. При этомъ законопроектъ представляетъ право предпринимателямъ содержать собственныя больницы или входитъ въ соглашеніе съ органами мѣстныхъ самоуправленій о содержаніи рабочихъ въ общихъ больницахъ.

„Предоставляется право"—это, конечно, очень мило. Но кому же неизвѣстно, что „тѣ размѣры, въ какихъ медицинской помощью пользуется все населеніе данной мѣстности"—это сплошь и рядомъ самые жалкіе размѣры, иногда даже абсолютно нулевого выраженія!

Наконецъ обращаетъ на себя вниманіе и организація дѣла страхованія.

По законопроекту послѣднее распадается на 2 части. Лѣченіе въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ падаетъ въ извѣстныхъ уже намъ „размѣрахъ" всецѣло на предпринимателей. Для матеріальной же помощи больнымъ и ихъ семействамъ во время болѣзней учреждаются на фабрикахъ съ числомъ рабочихъ не менѣе 400, особыя страковыя кассы. $^2/_3$ ихъ капиталовъ составляется путемъ отчисленія 1—3% съ средняго заработка рабочихъ, а $^1/_3$ вносится предпринимателемъ. Огромное ограниченіе круга предпріятій включеніемъ въ него только предпріятій, занимающихъ не менѣе 400 рабочихъ, сразу бросается въ глаза. Вѣдь по отчетамъ фабричной инспекціи въ 1905 г. изъ числа подвѣдомственныхъ ей предпріятій цѣлыхъ 67% не имѣли болѣе 50 рабочихъ. Сколько же остается предпріятій съ 400 рабочими. Ясно, что самое ничтожное число.

Но оставимъ это въ сторонѣ. Изъявши изъ вѣдѣнія заводскихъ кассъ, управляемыхъ отчасти рабочими, все дѣло лѣченія рабочихъ, законопроектъ вырываетъ изъ ихъ рукъ важнѣйшую отрасль самодѣятельности. А до чего цѣнна она въ этомъ дѣлѣ, можно судить хотя бы по тому, что въ Германіи до 92 г. рабочіе предпочитали участвовать въ такъ называемыхъ „вольныхъ" кассахъ страхованія, куда имъ приходилось вносить сполна всю страховую сумму, безъ участія предпринимателей, но зато пользоваться полными правами самоуправленія, чѣмъ вноситъ $^2/_3$ стра-

ховой суммы въ заводскія кассы и быть ограниченными въ этомъ правѣ.

И еще одна деталь. По законопроекту заводскія кассы управляются общимъ собраніемъ участниковъ, причемъ $^2/_3$ ея правленія назначается работодателемъ. Итакъ, $^1/_3$ взносовъ и $^2/_3$ права завѣдыванія. А вѣдь и безъ того при заводскихъ кассахъ, тамъ, гдѣ работодатель „хозяинъ своего дѣла", степень его самовластія достаточно велика.

Такъ или иначе, но несомнѣнно одно: весь опытъ новаго соціальнаго законодательства построенъ на прямомъ недовѣріи къ профессіональной и политической самодѣятельности рабочаго класса. А въ такомъ случаѣ всѣ законопроекты, какъ явно ухудшающіе положеніе рабочихъ, такъ и мнимо улучшающіе его являются не болѣе какъ жалкимъ созданіемъ полицейскаго соціализма, новой попыткой овладѣть рабочимъ классомъ. Въ Германіи эти попытки потерпѣли крахъ и соціальное страхованіе, вопреки волѣ его создателей, только расширило базисъ профессіональной самодѣятельности рабочихъ, только усилило политическое вліяніе партіи рабочаго класса. У насъ въ Россіи нѣтъ благопріятнаго политическаго условія для такой общественной модуляціи и законопроекты о страхованіи, введенные въ среду дезорганизованнаго пролетаріата и все усиливающаго свои боевыя позиціи капитала, дадутъ самый жалкій результатъ.

И приходится признать, что если даже законопроекты пройдутъ, они очень мало измѣнятъ картину соціально-экономическихъ отношеній Россіи, вызывающихъ катастрофы юзовскія и всякія иныя. Заплатанное гнилыми соціально-политическими лоскутками историческое рубище не защититъ народное тѣло отъ невзгодъ и несчастья.

И юзовскія катастрофы и всякія иныя каждый разъ вновь будутъ намъ напоминать, что нѣтъ у насъ еще Великой Россіи, а есть Россія бѣдная, безправная темная, что у насъ еще нѣтъ слава Богу парламента, а есть слава Богу Дума 3-го іюня. И историческая задача русскаго народа вновь будетъ поставлена.

Ст. Ивановичъ.

ХРИСТІАНСТВО И ГОСУДАРСТВО.

(Отвѣтъ кн. Е. Трубецкому).

Статья **Д. С. Мережковскаго.**

„Если быть русскимъ значитъ быть рабомъ,—то я не хочу быть русскимъ“.

На эти слова кн. Е. Трубецкой возражаетъ: „Если мой народъ—рабъ, то изъ этого для меня вытекаетъ обязанность самому надѣть цѣпи, ради него, самому стать рабомъ, чтобы онъ сталъ свободнымъ... Пусть Мережковскій подумаетъ объ этомъ, и онъ будетъ вынужденъ признать, что въ приведенныхъ словахъ его выразилась просто-на-просто трупная психологія“.

Назвать живого человѣка трупомъ есть мысленное человѣкоубійство. И не меня одного убиваетъ мой критикъ но и бóльшую часть русскаго общества, которая, по его собственному признанію, раздѣляетъ мою „психологію“. За что? Откуда такая жестокость въ человѣкѣ добромъ, умномъ, считающемъ себя христіаниномъ, вплоть до несенія „рабьяго зрака“?

Охотно беру вину на себя: я должно быть, неумѣло выразилъ мою мысль или вѣрнѣе, мою боль, которая дѣйствительно легко можетъ сдѣлать изъ живого человѣка трупъ. Но вѣдь если я кричу отъ боли, значитъ я еще не трупъ.

„Чортъ меня дернулъ родиться въ Россіи!“—это крикъ той же боли. А неужели и у Пушкина „трупная психологія“, неужели и онъ Россіи не любилъ? Не болѣлъ бы такъ, если бы не любилъ.

Противорѣчій полно сердце человѣческое: любитъ, ревнуя и ненавидя; чѣмъ больше ненавидитъ, тѣмъ больше любитъ; черезъ отрицанье идетъ къ утвержденію — черезъ ледяное „нѣтъ“ къ огненному „да“.

Корделія любила отца больше, чѣмъ сестры; но, когда тѣ говорили, она молчала. Та часть русскаго общества, которую кн. Трубецкой подозрѣваетъ въ нелюбви къ Россіи,—вѣчная Корделія. Вообще стыдно говорить о любви къ родинѣ; но теперь среди патріотическаго безстыдства стыднѣе, чѣмъ когда либо.

Именемъ Божьимъ освящаетъ мой критикъ тотъ „рабій зракъ“, который всѣ мы носимъ, увы, не столько изъ святости,

сколько изъ трусости. „Могъ ли бы сказать Христосъ: если быть человѣкомъ значитъ быть рабомъ, то я не хочу быть человѣкомъ“?— спрашиваетъ кн. Е. Трубецкой. Да, могъ. Если бы человѣкъ былъ рабомъ, то Богъ, — абсолютная свобода, — не сталъ бы человѣкомъ. Но, по эмпирическому виду, рабъ, по метафизическому существу своему, человѣкъ свободенъ. Для того и пришелъ Христосъ, чтобы принявъ на Себя „рабій зракъ“, разрушить его, истребить до конца, освободить человѣка послѣдней свободою: *если Сынъ освободитъ васъ, то истинно свободны будете.*

Но христіанство, принявъ свободу Христову въ области личной, освятило рабство „рабьимъ зракомъ Христа“ въ области общественной. „Господь терпѣлъ и намъ велѣлъ“. Старая пѣсенка, подъ которую совершалось второе распятіе въ христіанствѣ. Старая заклепка, которою всѣ тысячелѣтніе кандалы заклепаны наглухо.

Старую пѣсенку эту поетъ и кн. Е. Трубецкой, когда смѣшиваетъ два понятія: имѣть видъ раба и быть рабомъ. Да вѣдь въ томъ то весь и вопросъ: какъ въ настоящее время въ Россіи, имѣя видъ раба, не быть рабомъ? какъ подъ „рабьимъ зракомъ“ утвердить свободу? Пока еще никто не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, а кн. Е. Трубецкой, кажется, его и не слышитъ.

Но черезчуръ легко отвѣтить на другой вопросъ моего критика: „не рискуетъ ли идеалъ всечеловѣчества превратиться въ пустой звукъ“ внѣ государственности? Кн. Е. Трубецкой спѣшитъ за меня отвѣтить: „Мережковскій долженъ знать, что безъ государственности всечеловѣчество осуществиться не можетъ“.

Я бы это, конечно, зналъ и ничего на это не возразилъ, если-бы имѣлъ дѣло не съ христіаниномъ, а съ язычникомъ или невѣрующимъ, для котораго церковь—„пустой звукъ“. Въ самомъ дѣлѣ, на той плоскости, на которой движется вся метафизика языческой общественности, неопровержимо совпаденіе государства и народа, государства и общества, государства и человѣчества Человѣкъ весь въ государствѣ; человѣкъ есть гражданинъ и больше ничего. Государство, Городъ, Полисъ съѣдаютъ человѣка безъ остатка, съ душой и съ тѣломъ, какъ улей—пчелу, полипнякъ—полипа. Если бы пчела или полипъ могли разсуждать, то они, конечно бы, сдѣлали тотъ самый выводъ, который дѣлаетъ кн. Е. Трубецкой: никакое реальное соединеніе полиповъ и пчелъ, внѣ полипняка и улья, немыслимо. Идеальный древній Градъ, Республика Платона и есть ничто иное, какъ идеальный человѣческій полипнякъ и улей.

Римъ осуществилъ, насколько это возможно въ условіяхъ человѣческой природы, языческій идеалъ государственнаго всечеловѣчества. „Римъ есть міръ“, Urbs—Orbs; всемірное тѣло Рима стремится поглотить всѣ остальные народы и государства, даруя „миръ всему міру“ силою меча, той государственною мощью,

которая казалась уже и тогда единственно реальнымъ условіемъ „всечеловѣчества“.

Но опытъ не удался: позорное въ древности орудіе казни—*крестъ*—вотъ единственный отвѣтъ совершеннѣйшаго государства на жизнь совершеннѣйшаго Человѣка. Римскій законникъ умываетъ руки въ величайшемъ беззаконіи, которое когда либо совершалось на землѣ;—римскій мудрецъ, предъ лицомъ воплощенной Истины, спрашиваетъ; *что такое истина?*—римскій гражданинъ, указывая на поруганный образъ Бога въ человѣкѣ, говоритъ съ презрѣніемъ; *се—Человѣкъ.*

Такъ совершился судъ вѣчной Истины надъ государствомъ, какъ надъ истиной временной.

Въ государство не вмѣстилось человѣчество; за предѣлами человѣчества открылось Богочеловѣчество.—*Нынѣ царство Мое не отъ міра сего*,—не отъ міра, не отъ Рима, не отъ государства. Такъ—*нынѣ*; но наступитъ время, когда царство не отъ міра придетъ въ міръ, войдетъ въ міръ, какъ входитъ въ тѣло мечъ разсѣкающій. *Не міръ, но мечъ пришелъ Я принести на землю.* Древнее государственное всечеловѣческое единство раскололось пополамъ, дало трещину, изъ которой вырвалось подземное пламя—начало всѣхъ грядущихъ религіозныхъ и общественныхъ революцій. Образовалось два царства—государство и церковь.

Главный смыслъ всей дальнѣйшей исторіи христіанскаго человѣчества и заключается въ непримиримой борьбѣ, изъ которой возникла вся міровая культура, внѣнаціональная и внѣгосударственная всечеловѣчность.

Христіанство не преодолѣло государства; но и государство въ христіанствѣ утратило тотъ *абсолютный* смыслъ, который имѣло въ язычествѣ—перестало быть религіозною *цѣлью* и сдѣлалось эмпирическимъ *средствомъ*. Именно это пока еще религіозно-смутное, но неугасимое сознаніе, что государство не цѣль, а средство для какой-то цѣли, которую нельзя осуществить ни въ какомъ бытіи государственномъ, именно это сознаніе и есть, по преимуществу, революціонное сознаніе, новаго, и въ самомъ отступленіи отъ христіанства, христіанскаго человѣчества.

О церкви не даромъ и не случайно кн. Е. Трубецкой, забылъ, предлагая мнѣ вопросъ: не рискуетъ ли внѣ государства идеалъ всечеловѣчества превратиться въ пустой звукъ? Въ этомъ вопросѣ ужасъ первосвященниковъ: „Придутъ римляне и овладѣютъ и мѣстомъ нашимъ, и народомъ“. Осудившіе Христа, осудили Его изъ любви къ отечеству: „лучше намъ, чтобъ одинъ Человѣкъ умеръ за людей, нежели чтобы весь народъ погибъ“. И распявшіе Христа распяли Его за то, что Онъ „возмущалъ народъ“ противъ той государственной мощи, безъ которой всечеловѣчество казалось имъ „пустымъ звукомъ“.

Да, не даромъ и не случайно у моего критика это забвеніе

церкви, какъ реальнаго пути къ всечеловѣчеству. Вѣдь главная сущность всего стараго порядка въ Россіи и есть поглощеніе церкви государствомъ, превращеніе церкви въ „департаментъ дѣлъ духовныхъ". Петръ, основатель русскаго абсолютизма и основалъ его на этомъ именно смѣшеніи „Кесарева съ Божьимъ". Достоевскій видѣлъ, что „русская церковь въ параличѣ съ Петра Великаго"; но откуда параличъ, не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть.

И напрасно, возражая мнѣ, кн. Е. Трубецкой ссылается на Достоевскаго, какъ будто я его не знаю: знаю и отрицаю именно здѣсь, въ отношеніи къ церкви.

То превращеніе государства въ церковь, въ которомъ Достоевскій видитъ спасительное, будто бы, отличіе „богоносной" Россіи отъ „безбожной" Европы—еще большій соблазнъ, чѣмъ превращеніе церкви въ государство, папы въ кесаря, которое, по мнѣнію Достоевскаго, происходитъ въ католическомъ Римѣ. Пока нельзя соединить, лучше отдѣлить, чѣмъ смѣшивать. Отдѣленіе церкви отъ государства — вотъ если не послѣдняя, то первая, если не богочеловѣческая, то человѣческая, но все-таки святая правда современной европейской культуры. А Россія не только не прошла черезъ нее, но и не дошла до нея. Просвѣщенному христіанину Запада, принявшему эту святую правду показался бы кощунственнымъ „истинно-русскій" вопросъ кн. Е. Трубецкого: возможно ли всечеловѣчество внѣ національной государственности? Если оно невозможно, то церковь—„пустой звукъ", христіанство—„пустой звукъ", Евангеліе, благая вѣсть о царствѣ Божіемъ на землѣ, какъ на небѣ,—„пустой звукъ"?

Понятно и правдиво подобное утвержденіе въ устахъ откровеннаго язычника. Но удивительная необдуманность со стороны христіанина — это исповѣданіе Христа на словахъ, и „князя міра сего" на дѣлѣ. „Если падши поклонишься мнѣ, я дамъ тебѣ всѣ царства міра". Такъ называемая „христіанская государственность" или „государственное христіанство" есть ничто иное, какъ поклоненіе Христа „князю міра сего".

Всѣ эти возраженія мои кн. Е. Трубецкому я могъ бы соединить въ такую формулу: государственность постольку реализована въ исторіи христіанства, поскольку само христіанство не реализуемо: между государствомъ и христіанствомъ существуетъ противорѣчіе, неразрѣшимое, по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ самаго христіанства. Но только этимъ противорѣчіемъ оно и живо и дѣйственно; вынуть его изъ христіанства, значитъ умертвить его, превратить въ „пустой звукъ".

А на вопросъ моего критика я могъ бы отвѣтить другимъ вопросомъ: возможно ли всечеловѣчество для національной государственности?

Стоитъ вглядѣться въ „образъ міра сего", въ современное развитіе милитаризма, въ едва ли не болѣе тягостный, чѣмъ

прежнія войны, „вооруженный миръ“ великихъ государствъ, гдѣ народъ народу волкъ,—чтобы усомниться въ этой возможности. „Слабый добыча сильнаго“, „большая рыба глотаетъ малыхъ рыбъ“—какъ перейти отъ этого всемірнаго звѣрства ко всемірному братству? Алкоголь и сифилисъ, которыми сопровождается,—дальнобойныя орудія и броненосцы, которыми распространяется „христіанская цивилизація“ — это ли путь къ всечеловѣчеству? Попробуйте заставить просвѣщеннѣйшихъ англійскихъ, американскихъ или нѣмецкихъ имперіалистовъ отказаться хоть отъ одной пяди колоніальной земли во имя всечеловѣчества, — они только посмѣются, потому что думаютъ о немъ столько же, какъ о прошлогоднемъ снѣгѣ,—и хорошо дѣлаютъ, ибо всякая подобная мысль, при реальныхъ условіяхъ современной національной государственности, гнуснѣйшее лицемѣріе или кощунство.

Достоевскій утверждаетъ неразрывную связь стараго церковнаго и государственнаго порядка въ Россіи; въ этомъ „новомъ Исламѣ“ мечемъ и огнемъ распространяется коранъ „всечеловѣчества“. Можно спорить съ Достоевскимъ, но не трудно понять, чего онъ хочетъ. Чего же собственно хочетъ кн. Е. Трубецкой, понять нельзя. Ссылаясь на идею всечеловѣчества у Достоевскаго, не принимаетъ онъ главной сущности этой идеи. Вообще старыхъ историческихъ путей русской государственности и церковности не хочетъ; но никакихъ новыхъ національныхъ путей не указываетъ; а единственный общій путь европейской культуры—отдѣленія церкви отъ государства—отрицаетъ, потому что неизбѣжно отрицаетъ этотъ путь тотъ, кто, подобно кн. Е. Трубецкому, сливаетъ идеалъ государственности съ идеаломъ всечеловѣчества — религіознымъ, „вселенски-церковнымъ“, въ высшемъ смыслѣ этого слова.

Дѣйствительное отдѣленіе церкви отъ государства неизмѣримо значительнѣе и глубже того, которое донынѣ происходило въ исторіи христіанства.

Церковь только до тѣхъ поръ жива и дѣйственна, пока борется съ государствомъ, утверждая свою особую, внѣгосударственную и внѣнаціональную, всечеловѣческую правду, „царство Божье на землѣ, какъ на небѣ“. Если же, отрекшись отъ этой правды, все равно сознательно или безсознательно, церковь съ государствомъ окончательно примиряется, подчиняется государству, „воздаетъ Божье кесарю“, то въ самомъ христіанствѣ происходитъ второе предательство, второе распятіе, второе погребеніе Христа; тогда сама царковь становится тѣмъ камнемъ, которымъ заваленъ гробъ Христа, охраняемый римскою стражею—„государственной мощью“. Но тогда же на мѣсто церкви, не исполнившей своего назначенія, становится иная сила, какъ будто только человѣческая, а на самомъ дѣлѣ, богочеловѣческая, какъ будто антихристіанская, а на самомъ дѣлѣ подлинно, хотя и безсознательно, Христова,—освободительная общественность.

Всякое „освободительное движеніе“ достойное этого имени, утверждаетъ—пусть на одно мгновеніе, на одной высшей точкѣ своего подъема, но все-таки неизмѣнно и неотразимо утверждаетъ внѣнаціональный и внѣгосударственный идеалъ, не менѣе, а можетъ быть и болѣе, чѣмъ историческія церкви, вселенскій, всечеловѣческій,—тотъ идеалъ „свободы, равенства и братства“, который ни въ какомъ народѣ и ни въ какомъ государствѣ осуществиться не можетъ, т. е., въ послѣднемъ счетѣ, утверждаетъ „царство Божіе на землѣ, какъ на небѣ“.

Государственность—эмпирически-необходимое средство, но не религіозно-свободная цѣль человѣчества. Не человѣкъ для государства, а государство для человѣка. Когда же въ относительной и преходящей правдѣ національной государственности утверждается, какъ дѣлаетъ кн. Е. Трубецкой, безусловная и вѣчная правда всечеловѣчества, тогда изъ эмпирическаго средства государство становится мистическою цѣлью, изъ добраго, домашняго животнаго, коня или вола—въ хищнаго „Звѣря“, въ „самое холодное изъ чудовищъ“, по слову Нитче, въ того „Левіаѳана“, который уже не человѣку служитъ, а человѣка пожираетъ. Религія государственности и есть ничто иное, какъ поклоненіе „Звѣрю“. А безсознательное возмущеніе противъ этой религіи которая всегда была и нынѣ остается метафизической сущностью стараго церковно-государственнаго порядка, есть подлинная, хотя пока еще безсознательная религіозная святыня „освободительнаго движенія“.

Нельзя увидѣть новой церкви, не выйдя изъ старой. Кн. Е. Трубецкой, подобно учителямъ своимъ, В. Соловьеву и Достоевскому, не вышелъ изъ старой церкви и потому не видитъ новой, не видитъ религіозной правды русской освободительной общественности, ибо, какъ я уже разъ говорилъ [1]) и теперь повторяю—объ этомъ нужно твердить безъ конца—въ настоящее время въ Россіи освободительное движеніе и религія не два, а одно: освободительное движеніе и есть религія, религія и есть освободительное движеніе.

„Сей споръ не о вѣрѣ, а о мѣрѣ“, говорилъ Петръ Великій о спорѣ православія съ расколомъ. Кажется, нашъ споръ съ кн. Е. Трубецкимъ тоже „не о вѣрѣ, а о мѣрѣ“. Въ свободную Россію мы одинаково вѣримъ, но не одинаково мѣримъ наше приближеніе къ ней.

Мой критикъ полагаетъ, что русское освобожденіе совершилось окончательно и что безъ дальнѣйшихъ потрясеній, „потихоньку да полегоньку“ можно перейти отъ стараго порядка къ новому. Я думаю, что это невозможно. Тотъ „враждебный государству духъ“, который кн. Трубецкой усматриваетъ въ русской общественности — есть отрицаніе *не государства вообще, а лишь*

---

[1]) „Рус. Мысль“, янв. 1908.—„Въ обезьяньихъ лапахъ“ (О Леонидѣ Андреевѣ).

стараго порядка въ Россіи. Не даромъ же наши самыя крайнія партіи — соціалисты-революціонеры—совершенно искренніе и послѣдовательные государственники. Если же первая революція становилась иногда дѣйствительно „анархичною", то это—слѣдствіе не ея самой, а того трупнаго зараженія, которое вносилъ въ нее старый порядокъ.

Чтобы надѣть новое платье, надо снять старое и на мигъ обнажиться. Кажущаяся „анархичность" нашего „освободительнаго движенія" и есть такой мигъ обнаженія. Ежели ветхая государственность — гнилое дерево, то не все ли равно, сгоритъ оно или сгніетъ окончательно, а если она — желѣзо, то огня бояться нечего: только на огнѣ куются новыя государственныя формы.

Кн. Е. Трубецкаго пугаетъ внезапная анархія... Но почему же не пугаетъ его медленное разложеніе стараго порядка? Не страшнѣе ли всѣхъ разрушеній такое состояніе, при которомъ и разрушать уже нечего? Россія вторая Византія или Турція, „потихоньку да полегоньку" отданная на откупъ иностранцамъ,— вотъ что страшнѣе всего. А вѣдь если въ русскомъ обществѣ „освободительная" стихія замретъ окончательно, какъ желаетъ кн. Е. Трубецкой, то судьба эта неотвратима...

Нѣтъ, не всякій „духъ враждебный государству" есть духъ враждебный народу, потому что не всякое государство—народъ: злѣйшимъ врагомъ народа, внутреннимъ нашествіемъ можетъ быть иное государство. И не въ духѣ вражды къ такому государству, а въ духѣ примиренія сказывается подлинный „духъ небытія", та „рабья и трупная психологія", въ которой обличаетъ мой критикъ русскую „освободительную" общественность, сваливая съ больной головы на здоровую. Бѣда русскихъ лучшихъ людей не въ томъ, что они Россію не любятъ, а въ томъ, что эта любовь такъ долго вѣнчалась терновымъ вѣнцомъ, такъ долго ненавидѣла, что порою хочется сказать:

„То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидѣть."

И въ томъ еще бѣда любящихъ Россію, что они въ родной землѣ, какъ въ чужой. И когда притѣснители требуютъ отъ нихъ выраженія патріотическихъ чувствъ: „пропойте намъ изъ пѣсней Сіонскихъ", то они могли бы отвѣтить имъ, подобно плѣнникамъ, сидящимъ и плачущимъ при рѣкахъ Вавилона: „Какъ намъ пѣть пѣснь Господню на землѣ чужой? Дочь Вавилона, опустошительница! блаженъ, кто воздастъ тебѣ за то, что ты сдѣлала намъ. . . . .

Кто не ненавидѣлъ такъ, тотъ еще не любилъ родины.

Д. Мережковскій.

ПОЛИТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ.

Ник. Ашешова.

Итоги.—„Племя соціальнаго перепуга".—Октябристы=партія подкрашеннаго покойника.—Вульгарный радикализмъ А. И. Гучкова.—Подозрительная независимость.—Планы П. А. Столыпина.—А. И. Гучковъ=валикъ граммофона.—Кадеты въ Думѣ.—Бѣлая тактика.—Рѣчь Родичева.—„Неизгладимые штрихи".—Правое устремленіе.—Безотвѣтственная оппозиція или просто конституціонное партія?—Лѣвый центръ.—Кадетамъ нужно идти направо.

I.

Оффиціозная печать, усердно расточая похвалы большинству третьей Думы, между прочимъ, неоднократно выражала неудовольствіе по поводу того, что въ представленіи населенія Государственная Дума является „помѣщичьей, господской, аристократической". И эти жалобы раздались какъ разъ въ тотъ моментъ, когда Государственный Совѣтъ обсуждалъ законопроектъ о назначеніи депутатамъ, вмѣсто суточнаго вознагражденія—постояннаго жалованья. И во время обсужденія этого проекта со стороны противниковъ его было пущено въ ходъ крылатое словечко: „народные представители на жалованьѣ—это тѣ же чиновники". Къ тѣмъ эпитетамъ, которые приведены оффиціозной газетой, слѣдуетъ такимъ образомъ прибавить еще одинъ—„чиновничья Дума".

Такимъ образомъ, казенная печать совершила недурной трудъ—собрала мнѣнія и отзывы о третьей Думѣ и сконцентрировала ихъ въ немногихъ, но выразительныхъ народныхъ терминахъ, всегда отличающихся мѣткостью и наблюдательностью. Остается только благодарить за это и признать, что народная наблюдательность очень близка къ истинѣ. Другими терминами и нельзя было бы лучше и полнѣе охарактеризовать третью Думу, явившуюся на смѣну двумъ первымъ демократическимъ парламентамъ. И такая классификація Думы какъ нельзя болѣе умѣстна въ моментъ, когда за прекращеніемъ сессіи и роспу-

скомъ парламента на лѣтнія каникулы, подводятся итоги и выводится балансъ по главной политической книгѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что же сдѣлала третья Дума, чтобы данные народомъ эпитеты не соотвѣтствовали дѣйствительности? Ничего.

Физіономія, характеръ и сущность третьей Думы опредѣляются ея большинствомъ. Это большинство составили октябристы и тѣ умѣренно-правые, которые откололись отъ монархистовъ-реакціонеровъ. Это громадная,—экономически плотно, но политически хрупко связанная группа, представляетъ собою конгломератъ. Это—партія пикулей, среди которыхъ есть всѣ цвѣта и оттѣнки, не смотря на то, что они помѣщаются въ одной политической банкѣ. Очень интересную характеристику этимъ политическимъ дѣятелямъ даютъ—совершенно неожиданно, конечно,—„С.-Петербургскія Вѣдомости", которыя и сами, по своему направленію и способу веденія, представляютъ также пикули...

Газета обрушивается на всѣ наши избирательныя правила. Она негодуетъ на то, что „почти всеобщее избирательное право" было дано тогда, когда пролетаріатъ былъ въ силѣ и когда онъ бушевалъ. Когда же „опасность миновала и революція была побѣждена", это право было отнято. И „вопреки здравому смыслу", оно было передано помѣщичьему классу. Что же сдѣлалъ съ этимъ правомъ помѣщичій классъ?

По сложившимся еще со времени учрежденія земства бытовымъ особенностямъ провинціи, въ уѣздной помѣщичьей средѣ происходилъ, такъ сказать, политическій подборъ. На одной сторонѣ стояли люди, болѣе или менѣе дѣловые, на плечахъ которыхъ лежало все дѣло уѣзда. Эти работники въ земствѣ знали жизнь и поэтому были сторонниками реформъ. „На другой сторонѣ были люди безъ навыка и охоты къ труду. Ихъ понятія, не оживленныя притокомъ новыхъ силъ, давно подверглись процессу умственной кристаллизаціи. Они не были способны не только понять новыя народившіяся потребности, но даже систематически проводить старыя идеи. Въ нихъ олицетворялась отживающая сторона дворянства". И они-то проводились въ Думу и они составили въ ней большинство.

Мы нарочно воспользовались характеристикой, данной „С.-Петербургскими Вѣдомостями", газетою правой, принадлежащей къ „союзу правой печати", а потому весьма далеко стоящей отъ тѣхъ мятежныхъ „лѣвыхъ листковъ", на которыя негодуетъ постоянно оффиціозная печать. Газета, какъ видите, безпощаднѣе „лѣвыхъ листковъ". Третья Дума для нея — Дума отживающаго дворянства, съ окаменѣвшими идеями, неспособная къ государственной работѣ уже потому, что она не способна понимать нарождающіяся потребности. Согласитесь, что даже крайне лѣвая газета не дала бы опредѣленія въ такихъ терминахъ, съ точки зрѣнія „Россіи", абсолютно революціонныхъ. И несомнѣнно, га-

зета права. Она вѣрно представила картину провинціи во время выборовъ. На губернскія избирательныя собранія посылались именно такіе дикіе помѣщики, въ головахъ которыхъ все „окристаллизовалось". И если въ самомъ парламентѣ мы не видимъ особенно рѣзкихъ и особенно бьющихъ въ глаза эффектовъ такой кристаллизаціи, то это происходитъ отъ условій парламентской дѣятельности.

Объясняя побужденія, заставлявшія избирателей, большинство которыхъ по акту третьяго іюня принадлежало къ тѣмъ же помѣщикамъ, избирать депутатовъ, руководствуясь лишь степенью мозговой кристаллизаціи, газета называетъ думское большинство оригинальнымъ и вѣрнымъ терминомъ — „племя соціальнаго перепуга".

Конечно, въ изложеніи газеты, все перепутано. Газета не понимаетъ, что „почти всеобщее избирательное право" было дано именно потому, что революція была въ силѣ и отнято именно потому, что она была разбита. Нарушенія здраваго смысла тутъ не было никакого. Была послѣдовательность и логика. Было то, что называется соотношеніемъ силъ. И тоже соотношеніе силъ диктовало и призванному актомъ третьяго іюня большинству избирателей руководствоваться „соціальнымъ перепугомъ" при выборахъ депутатовъ въ Думу. И послѣдніе намѣчались поэтому изъ числа тѣхъ, кто могъ гарантировать соціальное спокойствіе.

„Племя соціальнаго перепуга" было призвано на авансцену жизни подъ вліяніемъ политическаго перепуга. И этотъ перепугъ естественно родился, когда обѣ первыя Думы обнаружили склонность совершить коренную ломку соціальныхъ отношеній, которыя грозили въ основѣ своей потрясти феодально-бюрократическій строй. Вся мощная сила экономическихъ интересовъ и вытекающихъ изъ нихъ прерогативъ должна была возстать противъ покушенія на вѣковой укладъ, съ которымъ связаны и интересы, и все міросозерцаніе стараго строя. И когда эта сила не встрѣтила контръ-силы движенія, уже разложившагося въ то время,—на сцену явился актъ третьяго іюня.

Большинство третьей Думы реально и психологически воспроизводитъ въ себѣ и въ своей дѣятельности тотъ сложный комплексъ идей и расчетовъ, на которыхъ и былъ построенъ актъ третьяго іюня. Въ нихъ была одна руководящая линія, одинъ опредѣленный курсъ—сохранить соціальный укладъ и связанные съ нимъ прерогативы. Все остальное представлялось сравнительно неважнымъ. Все остальное казалось легко устранимымъ. Да избирательный актъ по своему существу и не могъ предусмотрѣть всевозможныя комбинаціи и обезопасить себя отъ всевозможныхъ случайныхъ осложненій.

II.

Поэтому то партія центра—октябристы—и представляются такимъ конгломератомъ. Но было бы ошибочно не признавать ея поэтому, за партію. Г. Кизеветтеръ въ „Рѣчи" отрицаетъ за октябристами право на наименованіе партіей. По мнѣнію представителя конституціонно-демократической партіи, союзъ 17-го октября—„формальная этикетка, прикрывающая собою нѣчто неуловимо-безформенное и неопредѣленное". „Въ третьей Думѣ не было *партіи* 17-го октября". „Октябристскія разногласія въ третьей Думѣ не разъ развертывали передъ нами... картину неожиданной разноголосицы"—„естественный плодъ младенчествующаго, неоформленнаго состоянія октябристскаго союза, какъ партіи". И если октябристы имѣли успѣхъ на выборахъ, то помимо вліянія акта 3-го іюня, этотъ успѣхъ не ихъ, а „превозобладавшаго среди цензовиковъ обывательскаго настроенія, стремящагося освободиться отъ всякихъ опредѣленныхъ партійныхъ задачъ и обязательствъ". Однако, г. Кизеветтеръ признаетъ большое значеніе за „зловѣщимъ призракомъ" принудительнаго отчужденія. А уже признаніе этого фактора менѣе всего позволяетъ упрощать дѣло до степени обывательщины. Во всякомъ случаѣ за этой обывательщиной стояла колосальная сумма экономическихъ интересовъ, а это значительно усложняетъ вопросъ. Съ обывательщиной борьба была бы легка, хотя бы путемъ кадетской пропаганды, но послѣдняя безсильна сломить упорство землевладѣльческихъ интересовъ, заставляющихъ дорожить шкурой... И гораздо болѣе права „Россія", когда защищая октябристовъ, она прямо говоритъ, что они „твердо стоятъ на правѣ собственности и не желаютъ сойти съ этого устоя", что они представляютъ собою „партію прочныхъ интересовъ". Въ этомъ отношеніи между нею и правительствомъ полнѣйшій алльянсъ, полнѣйшая солидарность, абсолютная гармонія интересовъ. А когда основная база есть,—есть и дальнѣйшая возможность соглашенія по всѣмъ вопросамъ второго порядка.

„Соціальный" и „соціально-политическій перепугъ" заключили, такимъ образомъ, прочный союзъ и изъ него проистекли всѣ явленія парламентской жизни истекшей сессіи. Въ основу этого союза, между прочимъ, былъ положенъ принципъ, испоконъ вѣка присущій каждой реакціи: „сначала успокоеніе, а потомъ реформы". Дѣло основныхъ реформъ было поэтому отложено. Дума должна была приняться за ту работу, которая обычно совершалась правительствомъ, но которую оно не могло теперь исполнить въ силу положенія о Государственной Думѣ. Сотни мелкихъ законопроектовъ заняли вмѣстѣ съ бюджетомъ все время Думы и въ этомъ былъ осмысленный планъ. Какъ бы ни была скроена по правительственной выкройкѣ Дума, тѣмъ не менѣе, не было никакой

нужды немедленно же приступать къ реформамъ, обѣщаннымъ къ тому же второй Думѣ, слѣдовательно, подъ впечатлѣніемъ еще неулегшихся броженій и навѣяннымъ политикой частичныхъ уступокъ. И эти реформы отнюдь не брались назадъ: это произвело бы неблагопріятное впечатлѣніе. И безъ этого могли онѣ спокойно лежать въ канцеляріи Думы, такъ какъ повѣстки засѣданій составлялись всегда по соглашенію съ министерствомъ, по крайней мѣрѣ, по вопросамъ, представлявшимъ опредѣленный интересъ. Думское большинство явилось, такимъ образомъ, сознательнымъ проводникомъ правительственной политики въ Думѣ, чего оно и не скрывало никогда. Между нимъ и правительствомъ сильное и яркое соціально-политическое сродство,—и поэтому задача выполненія парламентской партіей плановъ правительства значительно облегчена. А у правительства—партійная программа вполнѣ опредѣленная...

И конецъ сессіи болѣе, чѣмъ что-либо другое убѣждаетъ насъ, что только подобной конъюнктурой и можно объяснить полное бездѣйствіе Думы.

Въ самомъ дѣлѣ, какой переворотъ совершился у насъ? Старый феодально-полицейскій строй формально замѣненъ представительнымъ образомъ правленія съ сильной центральной властью, оставшейся непоколебимой. Строй стараго типа — это основа. И представительный образъ правленія признается лишь постольку, поскольку онъ не вступаетъ въ непримиримое противорѣчіе съ основой, поскольку между ними можетъ существовать согласіе. Первыя двѣ Думы сошли со сцены, потому что онѣ были именно въ непримиримомъ противорѣчіи съ основой, которая оказалась владѣющей несокрушимой силой. Третья Дума, актомъ третьяго іюня, обезврежена для старой основы. Представительный образъ правленія послѣ этого акта остался формально прежній, но матеріально онъ придвинутъ къ феодально-бюрократическому строю, болѣе пропитанъ и проникнутъ имъ. Актъ третьяго іюня скрасилъ и подкрасилъ старый строй.

У нѣмцевъ есть обычай подкрашивать мертвыхъ. Непріятно все-таки видѣть лицо покойника. И чтобы избавить отъ этого зрѣлища, покойника нѣсколько поддѣлываютъ. Для этой цѣли создалась и цѣлая профессія подкрашивателей покойниковъ. Такой подкрашиватель пускаетъ въ ходъ румяна и бѣлила и прочія средства грима и накладываетъ его на лицо мертвеца. Мертвецъ получаетъ не столь непріятный для глаза видъ.

Не такое ли подкрашиванье совершено третьяго іюня надъ строемъ, умершимъ 17-го октября, по крайней мѣрѣ, формально? И главными подкрашивателями были авторы акта третьяго іюня— гг. Крыжановскіе, Гурлянды и К°...

Вотъ простое объясненіе бездѣйствію Думы. Она только красивый, т. е. подкрашенный фасадъ стараго строя. И было бы непро-

тивоестественно и несообразно ни съ чѣмъ, если бы она проявила энергію и принялась бы за строительство земли русской на ново, на новыхъ началахъ, въ послѣдовательно-конституціонномъ духѣ...

Оставимъ въ сторонѣ пока вопросъ о томъ, на сколько могутъ оправдаться надежды правительства на то, что подобное сочетаніе и ему дастъ силу, и народное представительство удовлетворитъ, и страну успокоитъ. Оставимъ пока въ сторонѣ вопросъ объ органической, неизбывной силѣ народнаго представительства самого по себѣ, какъ творческой силы и творческой возможности, разворачивающейся, порой неожиданно, въ силу матеріальныхъ и моральныхъ историческихъ причинъ. Теперь слѣдуетъ все-таки отмѣтить, что намъ предстоитъ долгій и затяжной періодъ медленнаго строительства и что во всякомъ случаѣ раскрытіе противорѣчій между старымъ основаніемъ и новымъ правовымъ фасадомъ находится въ зависимости отъ цѣлаго ряда условій, наличность которыхъ требуетъ для своего образованія большого и долгаго процесса.

III.

При охарактеризованныхъ выше условіяхъ линія октябристскаго поведенія и не могла быть иной, чѣмъ она была въ истекшую сессію. Спору нѣтъ, октябристы представляли изъ себя зрѣлище весьма непривлекательное. Но какъ же можно было ждать привлекательности отъ картины вѣчнаго услуженія и припаданія „до ногъ“? Бюрократическій строй въ моральномъ отношеніи изжилъ себя и всѣ его черты отталкиваютъ насъ. И когда отъ его имени и для защиты его интересовъ являются добровольцы-услужающіе, когда они только и знаютъ ясли господина своего, когда они должны фарисействовать и вѣчно ходить въ маскѣ, когда подъ мнимо-конституціоннымъ платьемъ видишь не то городового, не то іезуита,—зрѣлище получается отвратительное. Но все это—прекрасная пища для памфлета, хорошій матеріалъ для партійныхъ выпадовъ, для скрещиванія политическихъ мечей на полѣ избирательной борьбы или на аренѣ публичныхъ состязаній въ собраніяхъ. Разсматривая же племя перепуга, племя баръ-чиновниковъ—объективно, анализируя его, какъ элементъ нашего политическаго бытія, и какъ агента, творящаго нѣчто надъ современной жизнью,—слѣдуетъ оставить въ сторонѣ отталкивающую моральную картину и остановиться на сущности явленія. И тогда приходится придти въ выводу, очень быть можетъ, прискорбному и очень рѣзко противорѣчащему нашимъ недавнимъ иллюзіямъ. Объективно октябристы—необходимый въ правительственномъ механизмѣ придатокъ. Существованіе ихъ не законъ третьяго іюня оправдываетъ, какъ они сами про себя говорятъ, а оправдываетъ расчеты правительства и его

политику. Нужна была общественная сила для опоры власти, потерявшей всѣ старыя устои, и она была найдена и пошла въ услуженіе. Это была необходимость и она оправдана октябристами, оправдавшими планы бюрократіи.

Какъ, однако, октябристи исполняли свою задачу? Мы ставимъ вопросъ именно о *формахъ* исполненія октябристами своихъ задачъ. Съ перваго раза можетъ показаться, что въ ихъ дѣятельности нѣтъ планомѣрности, что она лишена всякой послѣдовательности и представляетъ собою сплошь да рядомъ, какъ утверждаетъ г. Кизеветтеръ,—„неожиданную разноголосицу, безтолково вспыхивающую среди людей“.

Октябристы въ политическомъ отношеніи—мало воспитанные люди. Зубры, попавшіе въ гущу законодательной работы, требующей широты взглядовъ и извѣстнаго политическаго размаха, конечно, представляли изъ себя порой весьма жалкое зрѣлище. Но вѣдь публичное выступленіе въ парламентѣ—дѣло весьма трудное и мы знаемъ по первымъ двумъ Думамъ, что и тамъ не все въ этомъ отношеніи обстояло благополучно. А если зубры еще болѣе проявили свою неспособность, то это объясняется тѣмъ свойствомъ „кристаллизаціи мозга“, о которомъ столь краснорѣчиво говорили „С.-Петербургскія Вѣдомости“. Что касается того разногласія, которое замѣчается среди октябристовъ, то нужно вообще замѣтить, что единогласія въ парламентской фракціи достичь весьма затруднительно. И мы знаемъ, напримѣръ, что въ первой Думѣ кадетъ проф. Петражицкій рѣзко съ трибуны засвидѣтельствовалъ о своемъ принципіальномъ разногласіи съ партіей к.-д. по аграрному вопросу. Даже въ наиболѣе выдержанной и слѣдящей за этимъ фракціи с.-д. бывали нерѣдко случаи распада взглядовъ. Припомнимъ хотя бы рѣчи во второй Думѣ депутата с.-д., бывшаго вице-губернатора Наливкина. Припомнимъ рѣчь с.-д. Бѣлоусова, рѣзко разошедшагося въ третьей Думѣ со своей фракціей по вопросу объ амурской желѣзной дорогѣ; рѣчи В. Маклакова и Аджемова по вопросу о центральной и мѣстныхъ властяхъ,—другъ другу противоположныя; двойственную и колеблющуюся линію кадетъ по вопросу объ учрежденіи въ законодательномъ порядкѣ комиссіи по изслѣдованію желѣзнодорожнаго хозяйства.

Если же мы примемъ во вниманіе, что центръ тяжести воззрѣній думскаго большинства лежитъ все-таки въ соціальной плоскости, то весьма понятно его нѣсколько индифферентное отношеніе къ политической выдержкѣ и стройности, какихъ нѣтъ и ни въ одной партіи. Октябристы въ этомъ отношеніи ужъ всецѣло полагаются на помощь правительства и слѣдуютъ за нимъ, стараясь сохранить лишь аппарансы независимости.

Но какъ же помирить съ этимъ рѣчи Гучкова по поводу морского министерства, по поводу безотвѣтственныхъ лицъ? До сихъ

поръ правая печать не можетъ придти въ себя отъ гучковскаго радикализма, и „Русское Знамя“ чуть ли не требуетъ смертной казни лидеру октябристовъ.

Но развѣ А. И. Гучковъ—зубръ? Вѣдь это только въ силу неожиданностей акта третьяго іюня, не смогшаго, какъ мы говорили, охватить всѣ возможности и создать всѣ выгодныя для себя конъюнктуры въ парламентѣ, торговопромышленный классъ не получилъ достаточнаго представительства. Онъ не вполнѣ во власти соціальнаго перепуга,—быть можетъ, въ этомъ и была причина отстраненія этого элемента изъ Думы. И теперь правительству не разъ приходится и придется пожалѣть объ этомъ промахѣ. А пока аграріи и промышленники,—не всегда естественно,—заключили союзъ. И г. Гучковъ является не столько выразителемъ интересовъ зубровъ, съ которыми, правда, у него есть общее, сколько интересовъ городского промышленнаго класса, крупнаго капитала. Съ другой стороны, г. Гучковъ—человѣкъ индивидуальной складки. Не Богъ вѣсть, какой цѣны эта складка. Поистинѣ, г. Гучковъ можетъ сказать, что не боги теперь у насъ парламентскіе горшки обжигаютъ... У г. Гучкова индивидуальность авантюриста безъ риска. Смѣлая душа съ оглядкой. Храбрость съ поддержкой начальства. Жажда приключеній съ Тартареновскою опасливостью.

Проанализируйте внимательно оппозиціонныя рѣчи, г. Гучкова. Какая самая яркая черта въ нихъ? Самый примитивный, самый вульгарный радикализмъ. Тотъ радикализмъ, съ котораго начинаютъ въ аудиторіи невысокаго политическаго уровня, чтобы ошеломить ее безспорностью и элементарностью всѣмъ извѣстныхъ положеній и фактовъ. Напримѣръ, бить по струнамъ самаго простого и несложнаго патріотизма. Насъ побили на войнѣ,—это, конечно позоръ. И этотъ позоръ понимаетъ и чувствуетъ даже жандармъ. Вѣдь это исторически воспитанное чувство, чувство свойственное дикарю, и оно столь примитивно, что играть на немъ весьма легко. Недаромъ война такъ объединила въ оппозиціонномъ чувствѣ самыя разнородные элементы. И г. Гучковъ только продолжалъ старую игру. Онъ повторялъ то, что дѣлали и агитаторы предъ 17 октября, когда они предъ немудреными слушателями пользовались войной, какъ лучшимъ аргументомъ противъ правительства. Теперь этотъ аргументъ получилъ право на существованіе, какъ бы правительству непріятенъ онъ ни былъ. Ничего новаго, однако, лидеръ октябристовъ въ эту область не привнесъ. Никакихъ открытій не сдѣлалъ. Прочиталъ старыя брошюры и выступилъ на трибуну, размахивая картоннымъ мечомъ конституціонализма. Когда оппозиція ставила на очередь тѣже вопросы, когда она обрушивалась на правительство за Мукденъ и Цусиму,—она преслѣдовала чисто парламентскія цѣли. За рѣчами оппозиціи была программа

и тактика. За душой г. Гучкова,—что было за ней? Бравада, что бы ею подчеркнуть свою фальсифицированную независимость. Оппозиціонный тонъ, чтобы имъ легче въ концѣ концовъ прикрыть безудержное стремленіе бюрократовъ бросать безъ расчета народныя средства въ пасть прожорливаго бога войны. Вѣдь Гучковъ съ головы до ногъ—милитаристъ въ самомъ грубомъ смыслѣ этого слова и, конечно, ему менѣе всего пристало выступать въ роли благороднаго спасителя отечества отъ милитаристовъ бюрократическаго вѣдомства.

Такимъ же вульгарнымъ тономъ звучала его оппозиція и по другимъ вопросамъ. На фонѣ безгласной и послушной Думы его рѣчи прозвучали, дѣйствительно, рѣзко. Точно свершилось нѣчто неожиданное и непонятное. Рабское послушаніе и рѣчи едва ли не мятежника. Правительственная партія и нападеніе на самое прочное и сурово защищенное мѣсто стараго режима. Почтительность и полное неуваженіе къ мѣстамъ и лицамъ. Все это было чрезвычайно эффектно и чрезвычайно красиво. Но опять таки, какія цѣли преслѣдовалъ г. Гучковъ? Желалъ ли онъ коренной ломки строя, какъ того хочетъ оппозиція? Стремился ли онъ къ его радикальному измѣненію? Нисколько. Но, быть можетъ, онъ развивалъ программу своей партіи? Нѣтъ.

Весь этотъ выпадъ, съ одной стороны, былъ актомъ большого, болѣзненнаго самолюбія, большого политическаго честолюбія, а не глубокаго и послѣдовательнаго убѣжденія. Если бы всѣ слова г. Гучкова вытекали изъ одного источника—опредѣленнаго политическаго міровоззрѣнія, то г. Гучкову оставалось бы объявить себя непреклоннымъ сторонникомъ парламентаризма, отъ котораго онъ бѣжитъ, однако, какъ отъ чумы. Но эффектные выпады для авантюриста—смыслъ и оправданіе жизни, единственный волнующій мотивъ. Г. Гучковъ прекрасно сознавалъ, что его рѣчь произведетъ громадное впечатлѣніе и по существу, и по тому, что она произнесена въ третьей Думѣ, репутація которой уже сложилась въ опредѣленномъ смыслѣ. Сдѣлать красиво-внушительный ударъ и попытаться бросить лучъ славы на партію, окруженную полнымъ недовѣріемъ, поднять ея авторитетъ и украсить ее опять-таки иллюзіей независимости это—задача весьма почтенная...

Съ другой стороны, большой вопросъ, дѣйствовалъ ли вполнѣ самостоятельно г. Гучковъ. Князь Е. Трубецкой въ своемъ „Московскомъ Еженедѣльникѣ“ рѣшаетъ этотъ вопросъ вполнѣ утвердительно. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что лидеръ октябристовъ дѣйствовалъ вполнѣ независимо. Вѣдь онъ высказался противъ ассигновокъ на флотъ, а между тѣмъ предсѣдатель совѣта министровъ П. А. Столыпинъ въ засѣданіи Государственнаго Совѣта, горячо ратуя за ассигновку, обвинялъ ея противниковъ чуть не въ посягательствѣ на установленіе у

насъ парламентаризма. Такого разнорѣчія между нимъ и А. И. Гучковымъ не могло бы быть, если бы между ними было соглашеніе.

Здѣсь мы вступаемъ въ область, въ которой далеко не все ясно, въ которой закулисныя силы съ ихъ махинаціями и неожиданными вольтами дѣйствуютъ невиднымъ для политическаго зрителя образомъ. Но все же есть данныя утверждать, что мятежныя рѣчи А. И. Гучкова отнюдь не стоятъ въ такомъ непримиримомъ противорѣчіи съ его несомнѣннымъ соглашеніемъ съ правительствомъ.

Здѣсь происходитъ игра, но игра тонкая, кружевная, паутинная. Какую политику ведетъ П. А. Столыпинъ—сказать трудно. Видны ея общія очертанія, видны ея контуры и абрисы. Но, несомнѣнно, можно сказать одно: для г. Столыпина какъ властной натуры, съ одной стороны, и какъ политика, преслѣдующаго созданіе единства крѣпкой центральной власти, съ другой—весьма важно постоянно и неуклонно проводить извѣстную линію поведенія, направленную на подчиненіе совѣту министровъ всѣхъ отраслей управленія. Имѣя съ одной стороны Думу, съ которой неизбѣжно приходится объясняться и считаться, а съ другой стороны,—объединенное правительство, въ которомъ должна царить гармонія и единство, и которое далеко не удовлетворяетъ этому требованію, хотя бы въ виду назависимости военно морского вѣдомства [1]), предсѣдатель совѣта министровъ неизбѣжно поставленъ на путь борьбы съ разновластіемъ за сосредоченіе всей полноты власти въ объединенномъ правительствѣ, — въ совѣтѣ министровъ. Примите во вниманіе этотъ центральный пунктъ стремленій П. А. Столыпина. Осуществленіе его для него лично, безъ опоры, весьма и весьма трудно, почти невозможно. Онъ долженъ медлительно-долго вести тонкую политику, потому что дѣло касается сложившихся прочно традицій, застарѣлыхъ привычекъ, съ которыми соединены большіе интересы не одного матеріальнаго порядка, и наконецъ, щекотливыхъ отношеній, съ которыми необходимо считаться въ весьма осторожной формѣ. Все это въ высокой степени затрудняетъ достиженіе цѣли и осуществленіе его плана. Понятно, что его приходится растянуть на время и дѣйствовать исподволь, нащупывать почву и создавать прецеденты. Одинъ, два, три прецедента и вниманіе при-

---

[1]) Припомнимъ то необычное положеніе, въ которомъ оказался, въ виду своего малаго вліянія на это вѣдомство, П. А. Столыпинъ, когда онъ заявилъ въ Думѣ, что „морская реформа—вопросъ недѣль". Прошли мѣсяцы, а реформы нѣтъ—какъ нѣтъ. Подобной контраверзы не могло бы быть при дѣйствительно объединенномъ правительствѣ. Не говоримъ уже о генералъ-губернаторахъ, прямо подчиненныхъ военному министерству и лишь косвенно министерству внутреннихъ дѣлъ.

выкаетъ, протестъ дѣлаетъ мягче и—глядишь—мало-по-малу привыкнутъ къ тому, что ранѣе казалось порожденіемъ ада.

Съ такой точки зрѣнія, образъ дѣйствій г. Гучкова кажется вполнѣ понятнымъ и логичнымъ. Лидеръ октябристовъ является пластинкой, на которой уже написаны всѣ нужныя слова. Пластинка вставляется въ парламентскій грамофонъ и начинается подготовка не общественнаго мнѣніи, а мнѣнія тѣхъ круговъ, которыя надо побѣдить, чтобы провести идею единства исполнительной власти. Понятно, что проводя такую идею, удобнѣе всего опираться на мнѣнія въ высокой степени благонамѣренныхъ людей, тѣхъ людей, которые сильно и послѣдовательно поддерживаютъ теперь правительство и которые дѣлаютъ Думу послушнымъ правительству органомъ.

А то, что предсѣдатель совѣта министровъ оппонировалъ А. И. Гучкову въ Государственномъ Совѣтѣ и, какъ казалось, даже нападалъ на него, это рѣшительно не опровергаетъ мнѣнія о пѣніи г. Гучковымъ пѣсенъ съ чужого голоса. Министры неотвѣтственны у насъ предъ палатою. Они исполняютъ волю главы государства. И исполняя такую волю, предсѣдатель совѣта министровъ и выступилъ съ извѣстной рѣчью. Онъ, конечно, твердый исполнитель закона и пока законъ не измѣненъ, онъ обязанъ только съ нимъ соразмѣрять свои поступки. А линія его поведенія и его планы, — это другое дѣло, т. е. вѣрнѣе—дѣло будущаго, которое только намѣчено.

IV.

Еще недавно конституціоналистовъ-демократовъ сравнивали съ рѣдькой: снаружи красная, внутри бѣлая. Теперь уже нельзя повторить и этого сравненія. Кадеты сдѣлались окончательно бѣлыми и снаружи. И побѣлѣли они въ сущности въ концѣ засѣданій первой Думы, когда они такъ круто перемѣнили фронтъ по вопросу объ обращеніи къ народу... Правда, тогда былъ весьма рѣшительный для нихъ моментъ. Рѣчь шла о сформированіи министерства изъ кадетъ. Та партія безумна, которая не стремилась бы къ власти. И кадеты обязаны были принять всѣ мѣры, чтобы достичь желанныхъ портфелей. И для этой цѣли можно было и нужно было идти на компромиссъ. И наблюдая теперь за тѣми же кадетами, за ихъ оппортунизмомъ и примиренствомъ, за ихъ способностью быть весьма гибкими, болѣе чѣмъ когда-либо жалѣешь, почему они столь не во время обнаружили упорство и устойчивость и столь несвоевременно оказываютъ такую приспособляемость? Стоитъ ли теперь, при избранномъ ими половинчатомъ курсѣ, при отсутствіи большихъ цѣлей, идти такъ далеко на компромиссы, когда выцвѣли всѣ краски, пропали—и надолго—красивыя возможности, и впереди предстоитъ только скуч-

ная и нудная непогодь? Кадеты были близки къ власти,—жаль, что они до сихъ поръ не опубликовали интереснѣйшихъ подробностей ихъ переговоровъ съ правительствомъ, въ которыхъ принималъ столь дѣятельное участіе Д. Ф. Треповъ, за это впослѣдствіи и впавшій въ немилость. Повторяемъ, что въ общегосударственномъ смыслѣ, именно тогда слѣдовало бы проявить больше уступчивости, а теперь больше устойчивости, если к.-д. хотятъ быть теперь послѣдовательной оппозиціей.

Конституціоналисты-демократы отказались взять на себя въ третьей думѣ, гдѣ они обладаютъ всего 54-мя голосами, роль безотвѣтственной оппозиціи. По этому поводу во фракціи были интересные и ожесточенные дебаты, сущность которыхъ, однако, неизвѣстна: она—секретъ фракціи. Но какъ бы то ни было, фракція рѣшила войти въ существо органической работы третьей Думы. Она поставила своею цѣлью, какъ говоритъ отчетъ фракціи, бороться за существованіе и права народнаго представительства и принимать участіе въ законодательной работѣ. Это участіе должно выражаться во внесеніи законопроектовъ по собственной инициативѣ, поддержкѣ проектовъ, заслуживающихъ того, и въ борьбѣ съ проектами, противорѣчащими программѣ партіи. Наконецъ, борьба съ произволомъ—путемъ запросовъ и вообще парламентскихъ выступленій.

Но съ первыхъ же шаговъ партія почувствовала свое безсиліе. Нѣкоторыя надежды она возлагала на возможность компромисса съ октябристами. Но октябристы, какъ ни старались кадеты, невѣжливо повернули предъ ними спину и пошли въ союзѣ съ умѣренно-правыми и просто съ правыми, т. е. реакціонерами Это былъ первый горькій опытъ кадетовъ, который имъ обидно ясно показалъ, что не съ октябристами имъ сойтись для совмѣстной работы. Но съ кѣмъ же тогда? Крайніе лѣвые очень немногочисленны и не имѣютъ никакого вліянія. Центръ ушелъ на право. Но кадеты не желаютъ роли неотвѣтственной оппозиціи и пытаются найти исходъ своей жаждѣ работы. И они начинаютъ работать, а когда окончилась сессія и пришлось подвести итоги, партіи волей-неволей остается признать наличность самыхъ микроскопическихъ результатовъ. Партія, втянувшись въ мелкую работу, отведенную Думѣ, втянулась и вообще въ мелочность. Несомнѣнно, партія помогала большинству въ его законодательной работѣ. Несомнѣнно, что кое въ чемъ она привносила и положительныя начала. Но, кажется, эти положительныя начала болѣе всего касаются пресловутыхъ пожеланій, которыми сопровождалось обсужденіе бюджета и которыя, кромѣ отвлеченнаго и необязательнаго для власти характера, не носили въ себѣ никакихъ другихъ чертъ. Но эти пожеланія въ то же время были исключительно умѣреннаго типа и ужъ совершенно не соотвѣтствовали программѣ партіи народной свободы. Болѣе или менѣе

радикализма или либерализма проявила бы Дума въ своихъ пожеланіяхъ,—для дѣла это безразлично. Правительство, по газетнымъ слухамъ, рѣшило принять во вниманіе всѣ эти пожеланія. Но, конечно, оно отмететъ тѣ изъ нихъ, которыя для него непріемлемы, и возъ останется на старомъ мѣстѣ.

Оппозиція была поставлена силою вещей въ такое положеніе, что ея выступленія на трибунѣ могли имѣть гораздо большую цѣну, чѣмъ ея работа въ комиссіяхъ. Но и относительно выступленій кадетской партіи надо замѣтить, что они не носили того характера, которыя должны были бы имѣть. По многимъ вопросамъ эти выступленія были столь умѣренно-аккуратны, столь примирительны, а иногда и столь казенны, что отъ кадетской программы не оставалось и слѣда... Возьмемъ, напримѣръ, вопросы, связанные съ внутренней политикой. Казалось бы, что въ этой области просторъ полный, чтобы развернуть цѣликомъ программу. Но первый ораторъ кадетской партіи ставитъ вопросъ столь узко и въ такую невѣрную плоскость, что его товарищамъ приходится спасать положеніе и вносить такія поправки, которыя рѣчь перваго оратора съ принципіальной стороны сводятъ на „нѣтъ". Фикція неповинности центральной власти въ томъ, что творится на мѣстахъ — была весьма далека отъ правды, но за то весьма близка къ октябристской точкѣ зрѣнія. И октябристы были рады приблизить къ себѣ кадетовъ и болѣе чѣмъ когда-либо чувствовали себя правыми въ томъ, что не пошли на встрѣчу кадетскому флирту въ первые дни третьей Думы. Кадеты вѣдь сами идутъ къ нимъ на встрѣчу...

Другой фактъ, о которомъ въ отчетѣ фракціи читаемъ:

„Воздержаніе отъ полемики въ тонѣ нѣкоторыхъ правыхъ и право-октябристскихъ ораторовъ, однако, не помѣшало фракціи рѣшительно выступать всякій разъ, какъ вопросы внутренней политики прямо ставились на обсужденіе Государственной Думы. Одно изъ этихъ выступленій пріобрѣло даже всемірную извѣстность въ связи съ тѣми послѣдствіями, которыми сопровождалось. Мы говоримъ о всѣмъ памятной рѣчи Ф. И. Родичева, неизгладимыми штрихами осудившаго внутреннюю политику правительства, по поводу деклараціи П. А. Столыпина".

Да, это вѣрно. Ф. И Родичевъ произнесъ блестящую рѣчь. Это была рѣчь,—по силѣ своей и убѣжденности, напоминавшая лучшія рѣчи первой Думы. Это было настоящее парламентское выступленіе, полное огня, блеска и громадной внутренней силы. Можно было соглашаться и не соглашаться съ ораторомъ въ исходной точкѣ зрѣнія, но нельзя было не признавать, что эта рѣчь била прямо въ цѣль, попадала не въ бровь, а въ глазъ. Не даромъ правое осиное гнѣздо такъ заскандальничало, не даромъ гучковисты такъ переполошились и такъ взволновались этою рѣчью. Она пріобрѣла всемірную извѣстность, но... лучше бы конститу-

ціонно-демократической партіи не вспоминать этой извѣстности. Лишнихъ лавровъ не прибавитъ партіи ея поведеніе въ приключившемся тогда инцидентѣ. Г. Родичевъ принужденъ былъ извиниться. Принужденъ фракціей. Мало того—фракція еще до извиненія оратора сама извинилась предъ премьеръ-министромъ, пославъ по его адресу и свои аплодисменты, на ряду съ аплодисментами правыхъ и центра. Вообще поведеніе фракціи въ этотъ моментъ было такимъ, что оно „неизгладимыми чертами" войдетъ въ исторію и не къ чести партіи. Имъ было сведено на „нѣтъ" значеніе самой рѣчи. И благодаря ему, потухъ весь блескъ выступленія г. Родичева такъ какъ извиненіе можно было истолковать и какъ „взятіе назадъ" всей рѣчи. Но во всякомъ случаѣ вмѣсто нравственной побѣды по всей линіи, какъ можно было тогда ожидать, получилось пораженіе, осложненное весьма непріятной окраской...

Этотъ инцидентъ, какъ, быть можетъ, ни жалѣютъ искренно кадеты, что онъ произошелъ,—имѣетъ значеніе въ оцѣнкѣ общей линіи поведенія кадетъ. Несомнѣнно, что они смирились, что у нихъ нѣтъ теперь и тѣни былого настроенія. Нѣтъ былого настроенія и нигдѣ, но этотъ наклонъ къ существующей власти, это правое устремленіе, эта ярко-выраженная готовность довольствоваться малымъ и слишкомъ считаться съ „княгиней Марьей Алексѣвной", все это вмѣстѣ взятое измѣняетъ вглубь тактику и программу партіи. И если такъ велико ея правое устремленіе, то отчего не быть искренней, не отдать себѣ отчета въ положеніи, не стѣсняться второй частью въ своемъ наименованіи, поставить себѣ болѣе реальныя и практическія цѣли и пойти смѣло по новому пути?

Мы это говоримъ, отнюдь не злорадствуя надъ партіей. И книги, и партіи имѣютъ свою судьбу. К.-д. партія выражаетъ собою болѣе политическіе интересы, чѣмъ соціальные. Составъ ея смѣшанный. Характеръ она носитъ интеллигентскій, а потому неустойчивый. Теперь усиліями правительства оппозиція сбита въ одну плоскость, и мы поэтому не будемъ говорить о буржуазности или небуржуазности партій. Не въ этомъ въ данный моментъ и дѣло. Дѣло въ томъ, что изъ всѣхъ оппозиціонныхъ партій только к.-д. обладаютъ свойствами гибкости и приспособляемости. Дѣвственность можно потерять только одинъ разъ. И разъ партія способна идти на большіе компромиссы, то, если они выгодны странѣ, отчего же и не идти на нихъ?

Кстати, быть можетъ, осенняя сессія принесетъ и новыя возможности для партійныхъ комбинацій. Крестьяне получили нѣсколько горькихъ уроковъ и настроеніе ихъ, колеблющееся и неустойчивое, можетъ быть использовано кадетами. Принимая во вниманіе, что и въ партіи октябристовъ есть много элементовъ лѣваго устремленія, которые охотно пошли бы за кадетами, если

бы тѣ пересмотрѣли свою программу; имѣя въ виду, что національныя и прогрессивныя группы также къ нимъ тяготѣютъ,— можно съ большимъ основаніемъ утверждать, что мыслимо образовать лѣвый конституціонный центръ [1]. Если онъ и не будетъ располагать абсолютнымъ количествомъ голосовъ, то все же его качественная и количественная сила будетъ такова, что безъ нея нынѣшнее, а тогда уже ослабленное большинство не сдѣлаетъ ни шагу. Оно будетъ парализовано, если не пойдетъ на соглашеніе, т. ѳ. на лѣвый для него компромиссъ.

Надо смотрѣть на положеніе вещей простыми глазами. Забудемъ лозунги и иллюзіи прошлаго революціоннаго времени. Кто ими живетъ и ими дышетъ, тотъ обреченъ теперь на бездѣйствіе. Оставимъ поэтому всѣ разговоры объ измѣнѣ демократіи, предательствѣ и т. п. К.-д. никому клятвы не приносили и никакими присяжными листами не связаны. Свободная и гибкая партія, она можетъ идти путями компромисса гораздо дальше, чѣмъ истинная демократическая партія, непримиримая по существу съ настоящимъ политическимъ и соціальнымъ строемъ.

Итакъ, глядя на положеніе простыми глазами и освобождаясь отъ иллюзій и гипноза прошлаго, нужно придти къ заключенію, что для кадетовъ есть еще путь настоящей практической работы, разъ они обнаруживаютъ такую нетерпѣливую жажду къ ней.

Предъ ними было два пути. Путь безотвѣтственной оппозиціи, когда партія уже имѣетъ дѣло только со страной, когда практическія цѣли отходятъ на второй планъ и когда на авансцену выдвигается элементъ борьбы во что бы то ни стало. Партія тогда

---

[1] *Прим.* Въ настоящее время партійное распредѣленіе депутатовъ представляется въ слѣдующемъ видѣ. Правыхъ—50, націоналистовъ—26 умѣренно-правыхъ — 70, октябристовъ — 149, поляковъ — 18, прогресси стовъ — 25, мусульманъ — 8, кадетъ — 54, трудовиковъ — 13, с.-демократовъ—19. Итого—432 депутата. Октябристы съ умѣренно-правыми располагаютъ абсолютнымъ большинствомъ въ 219 голосовъ (149+70). Если кадеты объединятъ прогрессистовъ, національныя группы и лѣвыхъ и если сумѣютъ привлечь на свою сторону, предположимъ 33 октябриста, то лѣвый центръ получитъ 170 голосовъ. У октябристовъ будетъ (съ умѣренно-правыми) только 186, т. е. не абсолютное большинство. Если къ нимъ присоединятся націоналисты (русскіе), то все же абсолютнаго большинства не будетъ (202). Октябристамъ останется или идти въ союзъ съ правыми реакціонерами, что невозможно и съ точки зрѣнія существующаго кабинета, или вступить въ компромиссные переговоры съ лѣвымъ центромъ. Если отпадутъ с.-д., положеніе мало измѣнится, потому что у новой партіи будетъ все же 151 голосъ. Всѣ эти расчеты покоятся на томъ, что объединенный центръ будетъ дѣйствовать сообща по политическимъ вопросамъ, наименѣе раздѣляющимъ группы. Во всякомъ случаѣ такая комбинація сожметъ въ кулакъ октябристовъ и изображаемому ими мосту между Думой и правительствомъ придется передвинуться налѣво. Если удастся привлечь крестьянъ, комбинація будетъ еще болѣе сильной.

не ведетъ мелкой любительской политико-шахматной игры, не учитываетъ ходовъ и настроеній октябристовъ и ихъ союзниковъ справа, ходовъ и настроеній правительства сверху. Она дѣлаетъ свое оппозиціонное дѣло, борется и борьбою своей выясняетъ странѣ положеніе дѣлъ. Талантовъ и силъ для такой тактики у к.-д., вѣроятно, хватило бы. А матеріалъ нашъ парламентъ даетъ въ изобиліи. И какая благодарная задача была бы—въ роли грозныхъ обличителей и критиковъ, въ роли политическихъ Іеремій, не дающихъ покою барской Думѣ—выводить, на свѣжую воду эти превосходныя парламентскія партіи въ ихъ постоянныхъ комбинаціяхъ съ правительствомъ, въ ихъ постоянно мѣняющейся игрѣ физіономій. Политическіе Фреголи буквально дрожали бы отъ страха изъ-за постоянныхъ разоблаченій ихъ политической игры...

Этотъ путь кадеты отвергли. Не по силамъ онъ имъ? Возможно. Но тогда нужно быть послѣдовательными. Тогда нельзя останавливаться на полдорогѣ. Или направо, или налѣво. Или безотвѣтственная оппозиція, или реальная тактика съ опредѣленными реальными задачами, возможными для практическаго достиженія. Тотъ путь, который избрала себѣ кадетская партія—путь половинчатый, двуликій, съ готовностью идти на компромиссы по пустякамъ. Вмѣсто парламентской работы—какая то полулѣвая парламентская экспертиза. Думское большинство охотно выслушиваетъ опытныхъ экспертовъ, интересуется мнѣніемъ образованныхъ людей, кое-что заимствуетъ у нихъ, но относится къ нимъ свысока. Оно ихъ не боится, потому что не видитъ въ нихъ силы. Надо слѣдовательно почерпнуть себѣ силы. А ее можно взять только изъ одного источника—пріобрѣсти въ самой Думѣ крѣпкую, реальную опору и заставить правящее большинство ее уважать. Другого исхода нѣтъ. А теперешнее существованіе партіи въ Думѣ положительно никого удовлетворить не можетъ, и мы думаемъ, что если дѣло такъ пойдетъ и дальше, то партія можетъ понемногу растерять свои еще недавно, несомнѣнно, большія симпатіи.

Такимъ образомъ, для к.-д. предстояли только эти двѣ возможности. Первую они отвергли. А вторая возможность гораздо болѣе соотвѣтствуетъ темпераменту и политическому естеству кадетовъ. Нѣтъ никакихъ основаній думать, что третья Дума можетъ быть распущена. Наоборотъ, есть всѣ основанія полагать, что она будетъ благополучно работать весь предустановленный срокъ и никакихъ особыхъ конфликтовъ не предвидится. Тѣмъ болѣе должны измѣнить свою тактику кадеты. Пусть создадутъ они партію конституціоналистовъ, безъ всякихъ придаточныхъ наименованій, и пріобрѣтутъ, такимъ образомъ, себѣ силу въ парламентѣ. Нужно къ тому же замѣтить, что к.-д. созданы, какъ сила, только революціоннымъ временемъ. Они благодаря ему и выдвинулись. Но какъ интеллигентскій продуктъ, они массъ за собой

не поведутъ и слѣдовательно опоры не имѣютъ. Они не стоятъ, какъ октябристы, на базѣ „прочныхъ интересовъ". Висѣть въ безвоздушномъ пространствѣ имъ тоже не приходится. Слѣдовательно, само положеніе требуетъ, чтобы они сдвинулись съ мѣста и поискали бы новаго пути. И этотъ путь — образованіе новой чисто конституціонной партіи.

А правительство?—спросятъ. Но правительство—всегда сторона въ парламентской борьбѣ. Если образуется лѣвый центръ, съ отказомъ отъ щекочущихъ пунктовъ к.-д. программы, если онъ будетъ носить чисто конституціонный характеръ, то для правительства не будетъ никакого расчета вести съ нимъ непримиримую борьбу и признавать ихъ, попрежнему, органическими врагами. Силою вещей правительство обязано къ парламенту. Нужно же использовать это положеніе для того, чтобы умѣлой политикой втянуть въ углубленіе и расширеніе думской работы и самое власть, которая постепенно, какъ и все, „отравляется" институтомъ народнаго представительства. Процессъ это, правда, медленный, но кто же разсчитываетъ теперь на какія-либо катаклизмы? Кажется, въ длительности и затяжномъ характерѣ предстоящаго перемалыванія конституціонной муки ни одна изъ существующихъ въ Россіи партій не сомнѣвается...

Ник. Ашешовъ.

на
до
по
цен
вые
ляющ
котор
универ
занятія
интенсив

г.
по-
ныя
ьши.
ость.
итель-
овный
аваемые
польское
тельнымъ

чувствомъ. Профессоръ Погодинъ оказался по нынѣшнимъ временамъ неподходящимъ и нарушающимъ воскресающіе планы министерства о возобновленіи прежней политики просвѣщенія въ краѣ. И вотъ при автономіи университетовъ, министерство находитъ возможнымъ сдѣлать попытку удалить неугоднаго профессора. Г. Шварцъ телеграфируетъ г ну Погодину и предлагаетъ перейти въ харьковскій университетъ. Представьте себѣ положеніе профессора. Съ одной стороны автономія, а съ другой переводъ властью министра. Но министръ, такъ заботливо относящійся къ охраненію поляковъ отъ зловредной дѣятельности профессора Погодина, весьма беззаботно отнесся къ наукѣ и предложилъ г. Погодину кафедру не по его спеціальности. Вѣроятно, въ министерствѣ живы традиціи николаевскихъ временъ, когда гг. Кукольники откровенно говорили: „прикажутъ, завтра буду акушеромъ". И вѣроятно, профессоръ Погодинъ не больше бы изумился, если бы ему - филологу была предложена кафедра акушерства и женскихъ болѣзней. Конечно, г. Погодинъ отказался отъ столь лестной для него чести и министръ пока не достигъ ничего. Но. конечно, отставка для г. Погодина неминуема... Теперь вѣдь не шутятъ...

Таковы признаки разрушенія автономіи. Конечно, формально ее можно было бы отмѣнить въ порядкѣ законодательномъ. Но зачѣмъ этотъ тяжелый и длинный путь, когда есть короткій и болѣе удобный—путь циркуляра?.. Постепенно и понемногу права университетовъ будутъ урѣзываться чисто фактическимъ путемъ, и автономія обратится въ одно прекрасное воспоминаніе...

Таковы мѣры, принимаемыя сверху. Отсюда надо ожидать большихъ и широкихъ мѣропріятій въ весьма опредѣленномъ духѣ. Но не ждите оригинальности. Русская бюрократія никогда талантомъ изобрѣтательности не обладала. Наши архивы служили постояннымъ источникомъ ея творчества въ области реакціи. Когда нужно придумать какую-либо мѣру обузданія, тотчасъ подавалась изъ архива соотвѣтствующая справка и по старому рецепту создавалась новая мѣра. Такъ одна изъ самыхъ рѣшительныхъ мѣръ противъ бунтующихъ студентовъ—отдача ихъ въ солдаты—была заимствована изъ николаевскихъ временъ Теперь времена Толстого—Делянова служатъ учителемъ министерства народнаго просвѣщенія, и справки изъ архивовъ тѣхъ временъ являются настольной книгой для мѣропріятій по обузданію и укрощенію высшихъ школъ. Уставъ 1884 года служитъ руководящей звѣздой для министерства, и мы должны ожидать на практикѣ его реабилитаціи. Вѣдь это тотъ уставъ, который изгналъ изъ университета самоуправленіе, весьма, впрочемъ, ограниченнаго типа, изгналъ и рядъ профессоровъ—красу и гордость русской науки, уставъ, поощрявшій научное невѣжество (достаточно припомнить изгнаніе изъ программъ юридическихъ факультетовъ

курса государственнаго права западно-европейскихъ державъ) и который, въ конечномъ результатѣ, значительно понизивъ уровень науки вообще, образовательный уровень студенчества въ частности, привелъ университеты въ состояніе хаоса и къ непрерывнымъ безпорядкамъ.

Вотъ юридическій актъ, рожденный реакціей восьмидесятыхъ годовъ и создавшій изъ университетовъ жалкую ихъ пародію. И вотъ этотъ-то актъ и служитъ теперь образцомъ, которому подражаетъ министерство народнаго просвѣщенія.

А снизу еще меньше стѣсняются съ наукой. Высылка изъ Томска всесильнымъ генералъ-губернаторомъ профессоровъ блѣднѣетъ предъ тѣмъ, что совершено въ Одессѣ не менѣе всесильнымъ генералъ-губернаторомъ Толмачевымъ. На основаніи военнаго положенія, дающаго право на отстраненіе отъ должности, генералъ Толмачевъ постановилъ: „бывшаго ректора университета и профессоровъ Васьковскаго, Косинскаго и Ярошенко устранить отъ присутствованія въ совѣтахъ университета и факультетовъ и кромѣ того послѣднихъ трехъ устранить отъ преподаванія въ университетѣ“.

Коротко и ясно. Съ юридической стороны это распоряженіе не имѣетъ никакой силы Если законъ разрѣшаетъ отстраненіе отъ должности. то это не значитъ, что генералъ-губернаторъ можетъ отстранять данное лицо отъ исполненія части его служебныхъ функцій. „Присутствованіе въ совѣтѣ“ не есть должность, а только функція должности. И было бы нелѣпо, напримѣръ, если бы генералъ-губернаторъ запретилъ бы непонравившемуся ему прокурору писать обвинительные акты, оставивъ за нимъ всѣ прочія обязанности службы, или если бы запретилъ учителю гимназіи разсматривать тетради учениковъ. Но юридическая грамотность не удѣлъ кавалеристовъ, а съ законами, по безсмертному выраженію Думбадзе, они „миндальничать“ не привыкли...

И въ какомъ безпомощномъ положеніи окажутся у насъ университеты и профессора,—вѣдь на защиту г. Шварца полагаться имъ не приходится,—видно изъ тѣхъ подробностей, какими сопровождалась исторія одесскихъ профессоровъ. Оказывается. какъ сообщаетъ „Слово“, изгнаніе профессоровъ изъ университета дѣло рукъ союза русскаго народа. Что онъ представляетъ изъ себя, видно хотя бы изъ отзыва соперничающаго съ нимъ въ Одессѣ же союза архистратига Михаила. Органъ этой послѣдней организаціи называетъ союзъ русскаго народа „сбродомъ разной сволочи“.

И вотъ этотъ-то сбродъ оказывается въ большой силѣ въ Одессѣ. Одинъ изъ вождей сброда, нѣкій г. Родзевичъ, состоитъ при особѣ генералъ-губернатора какъ persona gratissima. Онъ повелъ кампанію противъ профессуры въ черносотенномъ листкѣ, и это обстоятельство указывало уже одесситамъ, что соотвѣт-

ственныя мѣры будутъ приняты. И мѣры были приняты. Неужели судьями профессоровъ оказался „сбродъ всякой сволочи“?

„Весь урокъ этого факта усуглубляется, если принять во вниманіе еще слѣдующую подкладку дѣла: послѣ устраненія отъ должности б. ректора проф. Занчевскаго, и затѣмъ его временнаго замѣстителя проф. Петріева въ и. д. ректора вступилъ архичерносотенный проф. Левашовъ. Въ маѣ с. г. министерство предложило совѣту въ теченіе мая избрать новаго ректора. Однако, г. Левашовъ откладывалъ выборы со дня на день, выжидая, не отлучатся ли изъ Одессы 2—3 члена совѣта прогрессивнаго лагеря, имѣвшаго въ совѣтѣ большинство въ 2—3 голоса. Всѣ напоминанія не помогали, ибо г. Левашову непремѣнно хотѣлось попасть въ ректоры, а прогрессивные профессора никуда не уѣзжали. Наконецъ, настало 31 мая и уже до 20-го августа выборы не могутъ быть произведены. Но такъ какъ ни г. Левашовъ, ни поддерживающія его реакціонеры не думаютъ, что прогрессивные профессора не явятся въ полномъ комплектѣ къ выборамъ послѣ 20-го августа, а въ такомъ случаѣ г. Левашову на избраніе нельзя расчитывать, то необходимо было какъ-нибудь изъять изъ совѣта университета 3—4 прогрессивныхъ профессоровъ“.

И изъяли...

Такъ была проведена интрига черной сотни. Удивительно ли, что хозяиномъ университета является теперь эта сотня. И можно себѣ представить, во что обратится университетъ послѣ хозяйничанья такого сброда.

Не осуществляется ли идеалъ министерства народнаго просвѣщенія въ Одессѣ?..

II.

Лѣто—сезонъ возобновленія исключительныхъ законовъ. Вотъ уже около четырехъ лѣтъ, какъ оффиціально было заявлено, что всѣ эти усиленныя и чрезвычайныя охраны будутъ замѣнены нормальными законами. Но эти обѣщанія, какъ и всѣ прочіе либеральные акты, не привели ни къ какому положительному результату. И это вполнѣ понятно. Власть, пережившая революцію, власть, испытавшая громадный натискъ разбушевавшейся народной волны, которая, какъ временами казалось, была уже побѣдительницей, власть, живущая подъ свѣжими впечатлѣніями прошлаго и все еще находящаяся подъ вліяніемъ призраковъ революціи, не можетъ теперь не опираться на физическую силу.

Что такое наши исключительные законы? Это аппаратъ для примѣненія самой простой первобытной физической силы. Это боевой аппаратъ, созданный для боевого времени. Онъ аппаратъ къ тому же грубой, топорной работы, отнюдь не расчитанной на закономѣрность. Это тяжелая машина, которая давитъ все на

своемъ ходу. Это таранъ контръ-революціи. Поэтому бьетъ онъ больно и неразборчиво...

Настоящее политическое положеніе, несмотря на всѣ побѣды правительства, все же внушаетъ ему опасенія. Революціи, правда, искусственно не дѣлаются, но проникновеніе этими мыслями удѣлъ историка, а не боевого политика. Объективно положеніе ясно. Никакого народнаго движенія теперь нѣтъ. Оно надолго прекратилось и нѣтъ никакихъ основаній думать, что оно воскреснетъ внезапно съ новой силой. Сколько лѣтъ подготовлялось движеніе 1905 года? Оно не родилось внезапно, и если власть не могла учесть и предвидѣть всѣхъ его размѣровъ, то это судьба всякой власти, какъ судьба всякой власти оперировать на базѣ реакціи, пока новое соотношеніе силъ не сдвинетъ ея съ окаменѣлой позиціи.

У власти нѣтъ теперь никакихъ основаній измѣнять свою политику и режимъ. То, что даютъ ей исключительные законы, весьма цѣнно для нея: это щитъ, за которымъ спокойнѣе спится. Опредѣленный правый курсъ правительства требуетъ во всякомъ случаѣ, чтобы подъ рукой всегда находился—прекрасный въ сознаніи власти—аппаратъ для управленія, такъ какъ при помощи него можно не бояться никакихъ осложненій, никакихъ неожиданностей.

Но объективно признавая большую логику за отношеніемъ власти къ тѣмъ орудіямъ ея проявленія, какимъ она располагаетъ, нужно все же имѣть въ виду, что эти проявленія власти имѣютъ и свою антитезу. Гипертрофія власти неизбѣжна тамъ, гдѣ нѣтъ прочной законной базы для нея. Проявленія власти вырождаются. Мощный громоздкій аппратъ создаетъ самъ въ себѣ такія колоссальныя противорѣчія, вызываетъ такой правовой распадъ, который неизбѣжно потребуетъ обновленія методовъ управленія.

Процесъ это, конечно, долгій... А пока администрація на мѣстахъ проходитъ понемногу всѣ ступени вырожденія старой системы. И не думайте, что мы достигли въ этомъ отношеніи какого нибудь крайняго предѣла. Нѣтъ, мы только въ полосѣ развитія, а она безконечно велика.

Харьковъ удостоился нѣкотораго облегченія. Съ военнаго положенія онъ переведенъ „черезъ классъ“ сразу на положеніе усиленной охраны. Казалось бы, что при такомъ условіи, можно было бы привѣтствовать новую мѣру и даже проявить нѣкоторую зависть по отношенію къ харьковцамъ, которымъ не грозятъ теперь неожиданныя и внушительныя кары и всѣ тѣ внезапности, которыми такъ полна жизнь обывателя, находящагося подъ опекой исключительныхъ законовъ. Однако, въ жизни обывателей города Харькова не произошло никакихъ перемѣнъ. Губернаторъ Пѣшковъ кодифицировалъ всѣ законы, изданные на основаніи

военнаго положенія, приложилъ къ нимъ штемпель усиленной охраны и вновь издалъ на страхъ внутреннимъ врагамъ. Такимъ образомъ перемѣнился только титулъ, подъ которымъ были изданы губернаторскіе законы, а сами законы преблагополучно существуютъ, и въ правовомъ отношеніи Харьковъ остался тѣмъ же пѣшковскимъ удѣломъ, какимъ былъ и раньше. Вотъ яркій примѣръ того, что никакія „смягченія“ существующаго режима не могутъ достичь своей цѣли, потому что мѣстная власть уже не въ силахъ „сломать свою натуру“, не въ силахъ сойти съ проторенной дороги. Какъ понимается мѣстною властью усиленая охрана и что можно сдѣлать и при ней, показываетъ приказъ борзненскаго исправника Парадѣлова, написанный совсѣмъ въ персидскомъ стилѣ. Мѣсто дѣйствія—черниговская губернія, гдѣ тоже только усиленная охрана. И однако борнзенскій исправникъ расклеилъ по улицамъ тихаго и смирнаго городка грозное распоряженіе, которое заставляетъ обывателя дрожать отъ страха. Диктаторъ приказалъ городовымъ и коннымъ разъѣздамъ въ ночное время опрашивать фамиліи и мѣстожительство *всѣхъ проходящихъ по городу лицъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ опрашиваемыхъ близко къ себѣ не подпускать. При отказѣ отвѣчать приказано стрѣлять.*

Не подпуская близко къ себѣ опрашиваемыхъ лицъ, полицейскіе чины должны и сами обладать и прекраснымъ зрѣніемъ, и прекраснымъ слухомъ—и во всякомъ случаѣ не сомнѣваться, что предъ ними глухой прохожій или иностранецъ, не понимающій русскаго языка. Беремъ вопросъ нарочно съ простой житейской стороны, не касаясь прочихъ сторонъ. Во всякомъ случаѣ, борзненскій исправникъ въ отмѣну всѣхъ существующихъ законовъ издалъ новый, въ силу котораго подвергаются смертной казни всѣ глухіе обыватели города, а также и всѣ непонимающіе русскаго языка. Тому же наказанію подвергаются также и всѣ обыватели, если опрашивающій полицейскій чинъ самъ глухъ. Таково законодательство борзненскаго Калигулы. А вотъ и его послѣдствія. 12 го іюля вечеромъ въ Борзнѣ возвращался къ себѣ домой священникъ Смирновъ. Услышавъ окрикъ стражника „кто идетъ“, священникъ отвѣтилъ. Но стражникъ оказался глухъ, не разслышалъ отвѣта и согласно строгому приказу своего начальства, выстрѣлилъ изъ револьвера. Къ счастью, пуля пролетѣла мимо. Смертной казни не послѣдовало.

Въ Лодзи при аналогичныхъ обстоятельствахъ смертная казнь послѣдовала, и жертвою лодзинскаго законодательства палъ австрійскій подданный Эдмундъ Мали. Онъ пріѣхалъ въ Лодзь въ качествѣ представителя одной германской фирмы. Русскаго языка онъ не зналъ когда городовой опросилъ его и потребовалъ поднять руки вверхъ; ничего не понимавшій по-русски иностранецъ не исполнилъ его требованія, городовой его застрѣлилъ. Теперь производится слѣдствіе. Вѣдь дѣло идетъ объ иностранномъ поддан-

номъ, а при такихъ условіяхъ нельзя ссылаться на повелѣнія диктаторовъ. Городовой будетъ преданъ, какъ сообщаютъ газеты, суду. Борзненскій стражникъ, конечно, никакому суду не предается. Да и причемъ тутъ, по справедливости, лодзинскій городовой? Убилъ онъ человѣка по приказанію тѣхъ, кто могъ бы предвидѣть, что въ Лодзи могутъ оказаться и незнающіе русскаго языка. Но тѣ, кто могъ бы предвидѣть, конечно, на скамью подсудимыхъ не попадутъ: они вѣдь поступали тоже по закону.. И институтъ смертной казни, устанавливаемый то исправникомъ, то лодзинскимъ диктаторомъ (въ дополненіе и разъясненіе существующихъ законовъ о смертной казни) продолжаетъ мирно существовать.

Ниже—по поводу статьи Толстого о смертной казни—мы приводимъ рядъ фактовъ изъ дѣятельности администраціи, насаждающей у насъ географическую юстицію. А пока не можемъ не привести великолѣпнаго афоризма органа харьковскаго губернатора того же знаменитаго Пѣшкова. Афоризмъ относится къ области философіи права, чисто національнаго, впрочемъ. Онъ гласитъ:

„Административная ссылка есть единственная поддержка сильной власти въ Россіи“.

Напечатанъ этотъ афоризмъ въ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“. Удивляемся, какъ г. Пѣшковъ при всей его бурной стремительности щедринскаго помпадура терпитъ присутствіе въ Харьковѣ университета. Выѣхалъ бы онъ черезъ „горку“ на бѣломъ конѣ въ университетъ и упразднилъ бы всѣ науки. Вотъ вы, г. Пѣшковъ, и не подозрѣваете, быть можетъ, а мы вамъ можемъ сообщить, что на юридическомъ факультетѣ преподаются науки права. А въ этихъ презрѣнныхъ наукахъ, между прочимъ, говорится и объ административной ссылкѣ и весьма неодобрительно. И о поддержкѣ власти тамъ излагаются мысли совсѣмъ революціонныя. Тамъ говорится, напримѣръ, что администраторы должны не только по части кавалеріи быть сильны, но и понимать хоть что нибудь въ области права. Тамъ говорится также, что беззаконіе и произволъ расшатываютъ въ корнѣ власть. Тамъ говорится... Многое тамъ говорится, г. Пѣшковъ,—всего не перечтешь... Не упразднить ли, и вправду, всѣ науки, г. Пѣшковъ? Тогда, пожалуй, обыватель легче бы повѣрилъ, что тотъ вздоръ и абсурдъ, который печатается въ вашей газетѣ, есть дѣйствительная наука...

III.

Въ другое время и при другихъ условіяхъ какой грандіозный шумъ надѣлало бы у насъ письмо гр. Л. Н. Толстого—„Не могу молчать!“

Только всеобщая придавленность провинціи заставляетъ хранить молчаніе по вопросу, который наболѣлъ у нея давно и которымъ она страдала гораздо болѣе столицъ. Когда въ началѣ

1906 года началось у насъ сильное движеніе противъ смертной казни, провинція откликалась на него гораздо сильнѣе и энергичнѣе столицъ. Тогда газеты пестрѣли сотнями и тысячами подписей протеста. Тогда начала было развиваться Лига борьбы противъ смертной казни. Несомнѣнно, провинція шла въ этомъ отношеніи во главѣ дѣла, и редакціи столичныхъ и провинціальныхъ газетъ хорошо знаютъ, какъ тогда нервно и болѣзненно реагировали всѣ противъ этого остатка средневѣковья.

Теперь провинція молчитъ. Но извольте, поговорите-ка при такихъ условіяхъ, въ которыя она поставлена. Какъ извѣстно, статья Толстого была первоначально помѣщена въ петербургскихъ газетахъ. И, конечно, не цѣликомъ, а въ выдержкахъ.

Собственно, говоря, надъ Толстымъ сдѣлано было насиліе. Его мысли были въ сущности изуродованы. И получили одностороннее освѣщеніе. Ограничимся однимъ примѣромъ. Газета „Рѣчь" суровѣе процензуровала статью Толстого, чѣмъ газета „Слово". Что можно сдѣлать съ текстомъ, подвергая его изъ цензурныхъ соображеній прокрустовымъ операціямъ, видно изъ слѣдующаго. Осуждая всякаго рода убійства и насилія, Толстой во второй главѣ своей статьи говоритъ между прочимъ:

„Перебить крупныхъ землевладѣльцевъ для того, чтобы завладѣть ихъ землями, представляется теперь многимъ людямъ самымъ вѣрнымъ разрѣшеніемъ земельнаго вопроса".

И дальше въ третьей главѣ:

„Если бы и никто не зналъ, что нужно дѣлать для того, что бы успокоить народъ, весь народъ (многіе же очень хорошо знаютъ, что нужнѣе всего для успокоенія народа русскаго: нужно освобожденіе земли отъ собственности, какъ было нужно 50 лѣтъ тому назадъ освобожденіе отъ крѣпостного права), — если бы никто и не зналъ"... и т. д.

„Рѣчь" привела первый абзацъ, а изъ второго исключила то, что взято въ скобки. А по первому и ничѣмъ непоясненному абзацу можно вывести совершенно ложное для Толстого заключеніе, что онъ является сторонникомъ частной собственности.

Или еще примѣръ.

Въ „Словѣ" читаемъ:

„Вообще благодаря дѣятельности правительства, допускающаго возможность убійства для достиженія своихъ цѣлей, всякое преступленіе: грабежъ, воровство, ложь, мучительство, убійство считаются несчастными людьми... дѣлами самыми естественными, свойственными человѣку"...

А въ „Рѣчи" взята только вторая половина фразы, начинающаяся словами—„грабежъ, воровство" и т. д.

При такой цензурѣ, конечно, искажается и мысль писателя. Но... ничего не подѣлаешь. Газеты находятся подъ угрозой кары за дѣянія, даже непридвидимыя человѣческимъ разумомъ. Поне-

волѣ начнешь оперировать надъ нестѣсняющимся въ выраженіяхъ Толстымъ и обезображивать его мысли вообще, лишь бы только дать обществу хоть крохи его мыслей въ частности.

И вотъ въ Петербургѣ газеты спокойно напечатали выдержки изъ статьи Толстого. Въ Москвѣ тоже самое сдѣлали „Русскія Вѣдомости“ и октябристскій „Голосъ Москвы“. Но московскій генералъ губернаторъ, знаменитый Гершельманъ наложилъ на первую газету штрафъ въ 3000 рублей. Въ Саратовѣ губернаторъ былъ сдержаннѣе и сумму штрафа за перепечатку той же статьи опредѣлилъ лишь въ 200 р. „Южныя Вѣдомости“ за то же преступленіе подверглись лишь конфискаціи номера. „Херсонскій Вѣстникъ“ оказался оштрафованнымъ на 500 р. и вслѣдствіе неуплаты штрафа газета закрыта. Въ Севастополѣ кара была еще сильнѣе. Редакторъ арестованъ. Типографія закрыта. И газета, такимъ образомъ, фактически прекращена. Редакція „Одесскихъ Извѣстій“ оштрафована за тоже „дѣяніе“ въ 1000 р., „Одесскихъ Новостей“ въ 1500 р. и т. д.

Пока мы пишемъ эти строки—различные губернаторы, весьма возможно, пишутъ также различныя предписанія о наложеніи взысканій за толстовскую статью. И такимъ образомъ, губернаторскія фантазіи имѣютъ возможность проявить себя во всемъ блескѣ разнообразія и находчивости, и показать міру самую совершенную россійскую административную юстицію во всѣхъ ея градаціяхъ... Во всякомъ случаѣ, русскимъ губернаторамъ принадлежитъ честь открытія юстиціи, зависящей отъ географіи. Въ зависимости отъ широты и долготы мѣста—мѣняется и юстиція, и классификація преступленій, и мѣра наказаній за нихъ. Личный нравъ, характеръ, капризъ, состояніе здоровья администратора, климатъ данной мѣстности, ея географическое положеніе,—все это, оказывается, имѣетъ вліяніе на отправленіе правосудія. И волей-неволей русскимъ юристамъ изъ „Россіи“ придется современемъ создавать новыя теоріи преступленія и наказанія; и въ пику невѣжественному Западу доказывать, что правосудіе не есть нѣчто неизмѣнное и къ каждому гражданину даннаго государства одинаково и равно приложимое, а просто субъективное умозрѣніе губернаторовъ, отъ ихъ воли и города, въ коемъ они пребываютъ, зависящее. И оппозиція должна перестать нападать на г. Щегловитова въ Думѣ. Можно ли говорить о правосудіи и его нарушеніяхъ, объ единствѣ судебной власти и ея независимости, если у насъ все зависитъ отъ географіи, которую министръ юстиціи не создавалъ, а потому за нее отвѣта держать не можетъ. Тогда только и останется, что упразднить за ненадобностью министерство юстиціи, всѣ суды и, пожалуй, всѣ законы, относящіеся къ суду, и передать всѣ функціи на мѣста, губернаторамъ—въ награду за ихъ превосходное пониманіе правосудія, сдѣлавшее излишними суды...

Мыслимо ли при такихъ условіяхъ обвинять провинцію за ея спячку, за ея апатію. Если губернаторы приняли статью Толстого за личную обиду и обрушились за это на редакторовъ, то можно себѣ представить, что они сдѣлали бы съ обывателемъ, который осмѣлился бы предпринять что-либо для того, чтобы откликнуться на статью Толстого?!.

Что можно сказать по существу статьи Толстого? Вопросъ этотъ, несмотря на весь ужасъ, въ немъ заключающійся, до нельзя простъ и до нельзя элементаренъ. Говорить о немъ и доказывать съ разныхъ точекъ зрѣнія кричащій къ небу ужасъ легальнаго убійства, — значило бы повторять истины избитыя, азбуку общественности всѣмъ извѣстную, положенія права — наивныя, религіозныя заповѣди — первобытныя... Но не въ нихъ теперь дѣло. Если бы вопросъ стоялъ только въ плоскости спора научнаго или религіознаго, то рѣшеніе его было бы просто. Но споръ стоитъ въ области политики, при чемъ моментъ, избранный для спора, весьма неблагопріятенъ для его исхода. Теперь происходитъ ликвидація революціи и для тѣхъ, кого ликвидируютъ, нѣтъ пощады. Ликвидація ярко окрашена въ краску мести. И политика настоящаго момента есть политика слѣпая, какъ слѣпой, была и революція Страстное стремленіе разъ на всегда покончить со всѣми призраками революціи, вырвать съ корнемъ ея жало и безъ остатка—воспоминанія о ней, обнаружить всю силу власти и доказать невозможность повторенія прошлаго, когда эта власть казалась парализованной,—все это приводитъ къ упорству и настойчивости, съ какими репрессіи дѣйствуютъ до конца, не смущаясь никакой жестокостью.

Репрессіи идутъ теперь уже по инерціи. Въ самомъ дѣлѣ, смертная казнь уже рѣдко примѣняется къ политическимъ преступникамъ. Только что кончившійся процессъ 44-хъ прошелъ уже въ не въ военномъ судѣ. хотя часть обвиняемыхъ была замѣшана въ извѣстномъ покушеніи на Аптекарскомъ островѣ. Теперь военному суду предаются уже простые обыкновенные преступники, которые къ политикѣ не имѣютъ никакого отношенія. Но такъ какъ грабежъ входилъ недавно въ боевую программу нѣкоторыхъ революціонныхъ группъ, то по отношенію къ грабителямъ установленъ непреклонный обычай предавать ихъ военному суду.

Смертная казнь дѣйствуетъ уже по инерціи и въ этомъ ужасъ. Перестали уже разбирать родъ, характеръ и свойство преступленія. И это извращеніе правосудія не замыкается только въ предѣлахъ смертной казни,—оно расходится концентрическими кругами по всей правовой области вообще. Этотъ постоянный навыкъ въ пренебреженіи къ человѣческой жизни, это хладнокровное и спокойное отношеніе къ крови поселяетъ тупое равнодушіе къ человѣку вообще, къ его правамъ, къ нему, какъ къ

личности. И тотъ историческій произволъ, который былъ такимъ незмѣннымъ спутникомъ стараго строя, этотъ произволъ осложнился теперь особой психикой анархическаго взгляда на человѣка, какъ на ничтожество, не заслуживающее никакой защиты со стороны права и законности. И мы видимъ, что повсюду у насъ практикуются пріемы, пропитанные этой каменной психологіей и этимъ отрицаніемъ человѣка...

Прочтите, напримѣръ, статью „Россіи“, которая отвѣтила на письмо Толстого обширнымъ фельетономъ М. Горячковской, сначала революціонерки, потомъ продавщицы какого-то императорскаго варенья въ Америкѣ, и потомъ вдругъ знаменитой реакціонной писательницы, принятой съ распростертыми объятіями „Россіей“, „Русскимъ Знаменемъ“ и „Колоколомъ“.

Фельетонъ этой дамы пропитанъ весь какимъ-то оголтѣлымъ цинизмомъ. Положительно въ русской печати никогда не проявлялось ничего болѣе отталкивающаго и болѣе кровожаднаго. Съ алчностью садистки, сладострастно взирающей на кровь, пріѣзжая гастролерша изъ Америки описываетъ казни по суду и по расправѣ Линча въ Америкѣ. Съ восторгомъ, захлебываясь, сладострастно смакуя, разсказываетъ фельетонистка, какъ мучатъ преданныхъ смертной казни на электрическомъ креслѣ, какъ заживо сгораютъ они и какъ безпощадны американцы къ преступникамъ.

„Для американца,—наставительно поучаетъ фельетонистка русскихъ сердобольныхъ людей,—преступникъ не человѣкъ и потому недостоинъ никакого человѣческаго состраданія. Они такъ строго относятся къ тѣмъ, которые запятнали свои руки въ человѣческой братской крови, что не даютъ снисхожденія ни старикамъ, ни женщинамъ“.

И воспѣвая на всѣ лады американскую жестокость, всячески преувеличивая ее и рекомендуя ее нашему вниманію, эта госпожа въ концѣ концовъ въ порывѣ изступленнаго безумія впадаетъ въ какое-то психопатическое кощунство и начинаетъ утверждать, что „Богъ не имѣетъ права прощать за чужія страданія“. Откуда почерпнутъ „Россіей“ догматъ ограниченности божеской власти, - мы не знаемъ. Но во всякомъ случаѣ это безцеремонное притягиваніе всуе имени Бога для защиты жестокаго дѣла не столько характерно для автора, сколько для газеты, постоянно кричащей о православіи и религіи вообще... И это же показываетъ, какъ невеликъ защитительный арсеналъ у сторонниковъ смертной казни.

Мы знаемъ судьбу статьи Толстого. Никакихъ практическихъ послѣдствій имѣть она не будетъ. Она войдетъ въ общественное сознаніе, какъ еще одинъ яркій и сильный доводъ противъ кровавой эпохи. Общественное сознаніе копитъ въ глубинахъ своей совѣсти всѣ факты и доводы разума, всѣ настроенія и движенія чувства. Мы знаемъ, что не приспѣло еще время

для отмѣны смертной казни. „Племя соціальнаго перепуга“ бредитъ еще красными тѣнями революціи, ими же бредятъ и болѣе сильные элементы... А общество безсильное молчитъ.. А если говоритъ, то мы слышимъ не тѣ рѣчи, которыхъ могли бы ожидать...

Извѣстный художникъ И. Рѣпинъ, въ отвѣтъ на статью Толстого, помѣстилъ въ „Словѣ“ свое письмо, весьма характерное для насъ, славянъ... Русскій художникъ отмѣчаетъ, что Л. Н. Толстой въ своей статьѣ высказалъ то, что „у всѣхъ насъ накипѣло на душѣ и что мы, по малодушію или неумѣнію, не высказывали до сихъ поръ“. „Правъ Толстой,—пишетъ авторъ письма, — лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать объ ужасныхъ казняхъ, позорящихъ нашу родину и этимъ молчаніемъ какъ бы сочувствовать имъ“. И г. Рѣпинъ предлагаетъ подписываться подъ письмомъ Толстого.

Какая характерная, какая яркая черта славянина вскрывается за этимъ письмомъ художника. Въ самомъ дѣлѣ Толстой писалъ свою статью въ тѣхъ субъективныхъ тонахъ, которые такъ естественны при его взглядахъ, при его міросозерцаніи. Его мучительно вырвавшійся крикъ о томъ, что онъ самъ предпочелъ-бы пойти на висѣлицу, такъ гармонируетъ со всѣмъ ученіемъ философа. Его теорія непротивленія злу получаетъ здѣсь свое сильное истолкованіе и иллюстрацію. Толстой, чтобы не впадать въ противорѣчіе, и не могъ написать другой статьи съ другими выводами.

Мы прекрасно понимаемъ все благородство побужденій г. Рѣпина. Мы чувствуемъ громадную искренность, побудившую его выступить съ такимъ письмомъ въ отвѣтъ на душевный вопль Толстого. Но намъ хотѣлось бы оттѣнить чистославянскую особенность, окрашивающую отвѣтъ г. Рѣпина.

Что сдѣлали бы на западѣ въ аналогичныхъ случаяхъ при выступленіи какого-нибудь знаменитаго писателя? [1]) Тамъ, несомнѣнно, поднялась бы энергичная агитація. Широкой волной хлынули бы собранія, митинги, брошюры, книги. Петиціи безконечной длины потянулись бы въ парламентъ. Общественное мнѣніе высказалось бы всесторонне и за и противъ.

Словомъ, коллективная мысль работала бы усиленно и активно, и не могло бы быть сомнѣній, какъ настроено общественное мнѣніе по дебатируемому вопросу.

Мы не говоримъ о правовыхъ условіяхъ, насъ окружающихъ. Намъ понятно молчаніе страны, когда даже перепечатки статьи Толстого вызываютъ острую реакцію администраціи. Но откликъ Рѣпина интересенъ тѣмъ, что онъ пропитанъ чисто славянской

---

[1]) Вспомнимъ, какія послѣдствія имѣло знаменитое письмо Э. Зола „J'accuse“.

чертой—пассивной готовностью претерпѣть... И эту готовность выражаютъ отнюдь не поклонники теоріи непротивленія злу насиліемъ. Кажется и сама-то теорія непротивленія злу могла возникнуть только у насъ, у которыхъ пассивное претерпѣніе сдѣлалось исторической привычкой. Былъ моментъ, когда съ этой пассивностью нація распростилась. Теперь съ возвращеніемъ лютыхъ временъ прошлаго возвращается и ея безмѣрная пассивность...

Нашелся откликъ на статью Толстого и заграницей. Мы говоримъ не объ иностранной прессѣ, которая съ величайшимъ уваженіемъ къ писателю воспроизвела статью Толстого. Мы говоримъ о нашемъ соотечественникѣ, князѣ Кочубеѣ, который письмомъ въ газету „Matin" счелъ нужнымъ, какъ октябристъ, протестовать противъ идей Толстого. Почему именно октябристъ долженъ выступить въ позорной роли выливателя помоевъ на національную красу и гордость—мы не знаемъ. Такія черносотенныя письма, какъ письмо кн. Кочубея, не дѣлаютъ, конечно, чести партіи, къ которой онъ принадлежитъ. Но независимо отъ партійной принадлежности, то, что вышло изъ-подъ пера князя Кочубея, является инсинуаціей самаго низкопробнаго разряда. Князь обвиняетъ графа Толстого въ развращеніи цѣлаго поколѣнія и называетъ его виновникомъ революціоннаго движенія, лжепророкомъ, научившимъ молодежь презирать свое отечество. Князь Кочубей признается, что онъ привыкъ владѣть только оружіемъ. Это видно по его письму. Но зачѣмъ же въ такомъ случаѣ онъ вооружился перомъ — не для него созданнымъ орудіемъ мысли? Для того, чтобы пристегнуть свое, никому неизвѣстное имя къ великому и ничѣмъ не запятнанному имени Толстого? Для того, чтобы доказать культурному Западу, что ни громкое имя, ни принадлежность къ высшей аристократіи не свидѣтельствуютъ еще о культурности и умѣньи цѣнить національныя духовныя богатства? Что дикая выходка на кіевскомъ собраніи членовъ русскаго народа, гдѣ нѣкій Айвазовъ провозгласилъ анафему великому писателю, нашла себѣ откликъ въ сердцѣ просвѣщеннаго октябриста?

Какъ бы то ни было, но князь Кочубей удостоился большой чести: его письмо европейская культурная печать обошла полнымъ молчаніемъ. Это была высшая мѣра презрительно-изумленнаго отношенія культурной печати къ некультурному представителю россійскихъ гражданъ. Но почему „Matin" помѣстило письмо кн. Кочубея?

Недавно,— если не ошибаемся съ годъ тому назадъ,—въ одномъ изъ городовъ Германіи разбиралось дѣло одного высокопоставленнаго русскаго, обвинявшагося въ избіеніи прислуги. Судья приговорилъ виновнаго къ уплатѣ денежнаго вознагражденія и къ небольшому наказанію. Объявивъ приговоръ, судья счелъ нужнымъ и мотивировать его. Слабую мѣру наказанія, наложенную

имъ, онъ объяснилъ тѣмъ, что поступокъ обвиняемаго нуждается въ снисхожденіи „въ виду дикихъ нравовъ русскихъ“.

Фамилія этого обвиняемаго была... Кочубей.

Мы не знаемъ тотъ-ли это Кочубей, который написалъ письмо Толстому. Весьма возможно, что и другой. Но не по тѣмъ же ли мотивамъ „Matin“ напечатало письмо, по какимъ нѣмецкій судья уменьшилъ наказаніе?...

VI.

Въ Кіевѣ торжественно открылся и засѣдаетъ миссіонерскій съѣздъ. Онъ именуется „всероссійскимъ“. И, дѣйствительно, онъ представляетъ собою зрѣлище весьма внушительное, какъ собраніе всероссійскаго духовенства, начиная отъ высшихъ іерарховъ. Присутствуетъ на немъ около пятисотъ священниковъ. Настоящій церковный соборъ, о которомъ въ свое время такъ много говорили. Но, какъ извѣстно, созывъ собора отложенъ на неопредѣленное время... Въ этомъ рѣшеніи въ свое время была мудрость. Дѣйствительно, собрать духовенство въ тотъ моментъ, когда вся страна была взбудоражена и когда среди священниковъ нарождалось новое реформаторское теченіе, грозившее создать новый и еще болѣе глубокій расколъ,—было неблагоразумно. И такъ какъ была возможность—пока что—противостать этому реформаторскому теченію и оттягивать созывъ собора на неопредѣленное время, то правительство и положило вопросъ о немъ подъ сукно. И для бюрократіи было важно сохранить хотя бы некрѣпкую („вѣдь говорятъ, разбитая посуда два вѣка живетъ“), но все же исторически сложившуюся, а потому по инерціи живучую организацію, которая, въ силу однихъ матеріальныхъ причинъ и интересовъ, останется приверженной старому строю.

Но въ тоже время миссіонерскій съѣздъ былъ хорошей репетиціей собора. Можно сказать, главной репетиціей, въ которую невидимые режиссеры вложили все свое искусство инсценировки. И по репетиціи мы видимъ, что пьеса можетъ быть поставлена превосходно. Она, правда,—обстановочная пьеса, но тутъ-то и нуженъ талантъ режиссера, такъ какъ въ обстановочной пьесѣ внѣшній блескъ, срепетовка и „гладкость“ исполненія составляютъ все...

Репетиція удалась блестяще. Опытные и талантливые режиссеры изъ школы В. М. Скворцова, выученика Побѣдоносцева, умѣвшаго пускать пыль въ глаза и не такими постановками, употребили всѣ усилія, чтобы пьеса прошла благополучно безъ всякаго либеральнаго сучка и прогресивной задоринки. И дѣйствительно, оппозиція на съѣздѣ отсутствовала. Даже актъ третьяго іюня не могъ устранить ее изъ парламента. А духовенство безъ всякаго подобнаго акта при помощи своей избирательной системы

доморощеннаго производства достигло въ этомъ отношеніи самыхъ блестящихъ результатовъ. Наши Игнатіи Лойолы, повидимому, талантливѣе чиновниковъ общихъ канцелярій.

Итакъ, съѣздъ проходитъ вполнѣ благополучно. И теперь можно сказать, что настоящему церковному собору не бывать. Или потому, что миссіонерскимъ съѣздомъ удовлетворятся. Или потому, что собравъ по той же системѣ церковный съѣздъ, бюрократія получитъ лишь нѣкоторое подобіе его, для нея совсѣмъ нестрашное.

Надъ вопросомъ о церковномъ соборѣ надо поставить окончательно крестъ. Никакого реформаторскаго движенія въ духовенствѣ нѣтъ и быть не можетъ: такова воля синода. Старая церковь возстановляетъ свою силу, и государство опирается на своего стараго и испытаннаго слугу. Въ союзѣ, ничѣмъ неомраченномъ, имъ легче идти по теперешней реакціонной дорогѣ. Духовенство всегда было дѣятельнымъ помощникомъ на этомъ пути.

Миссіонерскій съѣздъ съ перваго же момента принялъ явно политическую окраску. И наши канонисты, отрицающіе за церковью ея каноническій характеръ, нашли бы въ этомъ новое подтвержденіе своимъ мыслямъ. Весь церковный строй, установленный государствомъ, глубоко противорѣчитъ каноническимъ законамъ. Поэтому епископы, напримѣръ, назначенные свѣтскою властью, не могутъ быть, въ силу постановленій Лаодикійскаго собора, признаны епископами. И въ сущности, если послушать нашихъ канонистовъ, церковь является какимъ-то сплошнымъ недоразумѣніемъ... Вся ея организація есть рѣзкое и намѣренное нарушеніе каноническихъ законовъ. Выходитъ, что церковь существуетъ у насъ явочнымъ порядкомъ, при чемъ иниціатива явочности исходила отъ государства...

Мы не касаемся этихъ споровъ — да намъ и неинтересны они,—важно лишь то, что зависимое и служебное положеніе нашей церкви, ея характеръ, какъ орудія свѣтской власти и внутренней политики даннаго момента, проявились на миссіонерскомъ съѣздѣ въ полной силѣ. Но служа, очень трудно сохранить гордость достоинства, извѣстную выдержку и тактъ. Не удѣлъ зависимыхъ людей оставаться на высотѣ уваженія. И понятно, что служебное усердіе идетъ сплошь и рядомъ дальше хозяйскихъ разсчетовъ. Извѣстной категоріи людей расшибить лобъ при молитвѣ—нетрудно.

Вотъ почему съѣздъ принялъ съ первыхъ же моментовъ тонъ въ высокой степени вызывающій. Рѣчи оффиціальныхъ представителей власти носили сравнительно умѣренный характеръ. Митрополитъ Антоній и оберъ-прокуроръ синода Извольскій говорили много о мирѣ и любви и о мирномъ служеніи дѣлу церкви. Съѣздъ по существу ничего не отвѣтилъ. Онъ отнесся къ этимъ заявленіямъ, какъ къ формальнымъ деклараціямъ власти, умѣю-

щей говорить одно, а дѣлать по иному. А вечеромъ въ тотъ же день съѣздъ уже въ полномъ составѣ присутствовалъ на торжественномъ собраніи союза русскаго народа и здѣсь, не стѣсняясь, далъ волю своимъ чувствамъ. Гг. Дубровины и Юзефовичи не напрасно обращались со своими революціонными рѣчами къ духовенству и миссіонерамъ, не напрасно они обращались къ нимъ съ призывомъ къ перевороту. Они знали, что въ этой средѣ они найдутъ откликъ и сочувствіе.

Миссіонеры въ такомъ положеніи пошли нѣсколько вправо,—больше, чѣмъ это нужно правительству. Но идти правѣе не считается у насъ преступленіемъ. Болѣе правые, чѣмъ правительство, элементы считаются все-таки его лагеремъ. И если „Россія" недавно окрысилась на правыхъ, то это объясняется тѣмъ, что услужливость не всегда синонимъ ума и тактичности.

Работы миссіонерскаго съѣзда далеко не закончены, когда мы пишемъ эти строки. Но каковы бы ни были его дальнѣйшія постановленія и резолюціи,—его тенденціи и его нравственный обликъ опредѣлились вполнѣ. Онъ осуществляетъ крайне правую программу рѣшительно въ томъ духѣ, которую проводятъ и члены синода въ послѣднее время. Эта программа сводится вкратцѣ къ возстановленію того порядка, какой существовалъ до актовъ вѣротерпимости, особенно до манифеста 17 апрѣля. Господствующая и воинствующая церковь потерпѣла, благодаря этимъ актамъ, весьма существенный ущербъ и понятно, что, служа реакціи, она должна озаботиться возстановленіемъ своихъ старыхъ прерогативъ въ ихъ прежней полнотѣ.

Какъ извѣстно, въ настоящее время замѣчается большое религіозное броженіе. Если благодаря успѣхамъ развитія демократическихъ идей, матеріалистическое отношеніе къ религіи сдѣлало громадныя завоеванія, то, съ другой стороны, усилилось и чисто-религіозное броженіе. Относительная свобода вѣроисповѣданія дала большой толчекъ и безъ того большому движенію въ массахъ, въ которыхъ сектантство, несмотря на всѣ боевыя усилія церкви, все же дѣлало громадныя завоеванія. Переходъ въ католицизмъ, лютеранство, штунду и вообще въ раціоналистическія секты сдѣлался теперь самымъ обычнымъ явленіемъ, весьма грознымъ все-таки для представителей нашей церкви.

Они очутились въ новомъ положеніи и оказались совершенно безпомощной. Вдобавокъ, они ясно сознали свое внутреннее безсиліе. Духовнаго перерожденія совершить они не могли, состоя на службѣ у государства. Найти въ себѣ самой элементы для здороваго развитія, почерпнуть въ борьбѣ новый стимулъ возрожденія и получить въ ней закалъ,—все это было не по силамъ церкви. Отъ нея отпали, какъ отпали отъ стараго режима, себя изжившаго. И какъ старый режимъ не можетъ жить безъ старыхъ средствъ и употребляетъ ихъ теперь даже въ усиленной дозѣ, такъ и

церковь нуждается въ нихъ и нуждается гораздо больше государства. Вѣдь въ то время какъ у правительства остались въ рукахъ всѣ старыя средства борьбы, остались всѣ исключительные законы, всѣ охраны и вся старая администрація,—церковь оказалась въ другомъ положеніи. Актъ 17 апрѣля отнялъ у нея изъ рукъ всѣ орудія административнаго воздѣйствія и церковь осталась беззащитной въ старомъ смыслѣ этого слова, потому что новыхъ, чисто-духовныхъ средствъ борьбы, церковь не признаетъ, а администрація теперь для нея не слуга. Не обладая ни культурной силой, какъ католицизмъ, не имѣя подъ собой прочной базы, хотя бы въ образованныхъ классахъ, видя предъ собою только тающую для нея массу народа, убѣгающаго безостановочно изъ лона церкви, послѣдняя естественно должна была прежде всего позаботиться о возстановленіи своего боевого арсенала, отнятаго революціей 1905 года.

И съѣздъ повелъ борьбу за возстановленіе стараго режима. Онъ, правда, не говоритъ объ этомъ прямо. Но косвенно, обходными путями, тихой стопой, онъ стремится настойчиво къ этой цѣли. И цѣлый рядъ постановленій съѣзда свидѣтельствуетъ, что курсъ взятъ твердый и что правое устремленіе—несокрушимо.

Безотчетно зарываясь въ реакцію, миссіонерскій съѣздъ не могъ, конечно, пройти мимо политическихъ партій, особенно его волнующихъ. Если союзу русскаго народа онъ посылалъ свои благословенія, то понятны тѣ проклятія, какія вызываютъ въ немъ партіи демократическія. Особенною ненавистью съѣздъ воспылалъ къ соціалъ-демократіи. И неистовый Роландъ святѣйшаго синода, маленькій Торквемада и большой іезуитъ В. М. Скворцовъ посвятилъ этой партіи даже цѣлый докладъ. Почему такъ безпокоятъ миссіонеровъ именно соціалъ-демократы? Это осталось неизвѣстнымъ, но съѣздъ увѣковѣчилъ себя нелѣпымъ постановленіемъ учредить какіе-то опровергательные курсы на предметъ уничтоженія, какъ соціалъ-демократіи, такъ и всѣхъ ея вождей и учителей.

До сихъ поръ немудренный и глубоко невѣжественный союзъ русскаго народа въ своихъ органахъ прямо заявлялъ, что Марксъ былъ жидъ и „этимъ все сказано". Разъ жидъ, то о немъ и говорить-то не стоитъ, а тѣмъ болѣе опровергать. Миссіонерскій съѣздъ полонъ учености и полагаетъ, что съ Марксомъ такимъ путемъ не справишься. Онъ думаетъ, что его надо опровергать по существу, что ученѣйшіе и образованѣйшіе россійскіе миссіонеры должны взять на себя эту миссію—ниспровергнуть Маркса съ его научной высоты и объявить его невѣждой, неучемъ и, по крайней мѣрѣ, глупымъ человѣкомъ.

Представьте себѣ теперь фигуру главнаго опровергателя Маркса того же В. М. Скворцова. Хорошо знающій его В. В. Розановъ рисуетъ въ „Новомъ Времени" его портретъ и гово-

ритъ между прочимъ, что этотъ прыткій чиновникъ, неизмѣнно носящій красный галстукъ, понимаетъ православіе просто: „это, чтобы въ мои именины пироги у меня ѣли“.

И вотъ этакій-то господинъ выступаетъ въ роли опровергателя Маркса и заставляетъ несчастныхъ семинаристовъ зубрить тѣ благоглупости, которыя благоугодно будетъ сочинить путающему религію съ пирогомъ ученому. Это уже моментъ съѣзда чисто комическій. Но комизмъ пропадаетъ, когда тотъ же съѣздъ совершенно серьезно постановляетъ помогать администраціи въ борьбѣ съ крамолой.

Впрочемъ, кажется, съѣздъ, чтобы оттѣнить свое невѣжество вынесъ это постановленіе одновременно съ рѣшеніемъ повести и борьбу съ іоаннитами, послѣдователями о. Іоанна Кронштадтскаго, представляющими собою просто шайку мошенниковъ, обирающихъ на почвѣ религіознаго невѣжества народъ, и предающихся на собранныя такимъ путемъ средства самымъ простецкимъ кутежамъ со всѣми эксцессами in Baccho et Venere.

Съѣздъ рѣшилъ, что это секта хлыстовская и что съ ней бороться надо весьма энергично. И постановилъ просить Іоанна кронштадтскаго осудить эту секту. Конечно, было бы правильнѣе съѣзду немного больше вникнуть въ суть дѣла. Вѣдь секта іоаннитовъ существуетъ не первый годъ. Она возникла на почвѣ обоготворенія о. Іоанна, который и самъ не остался въ сторонѣ отъ всего создававшегося вокругъ него. Нужно припомнить всѣ разоблаченія печати конца 1905 года о дѣятельности кронштадтскаго священника. Не будемъ ихъ повторять, но суть ихъ достаточно извѣстна. Въ интересахъ самого о. Іоанна было возникновеніе всѣхъ сектъ, связанныхъ съ его именемъ, и приносившихъ большой доходъ.

И онъ имъ покровительствовалъ самымъ усерднымъ образомъ. Извѣстно, что большую роль въ этомъ играли іоанниты близкіе къ отцу Іоанну. И извѣстно также, что эти чудеса благополучно продѣлывались до 1905 года. А послѣ прекратились... Когда возобновились времена реакціи, опытные газетчики провозгласили, что теперь начнутся опять чудеса, и они, дѣйствительно, начались...

Вотъ, если бы съѣздъ былъ хоть немного чуткимъ, онъ даже при всемъ своемъ поверхностномъ отношеніи къ дѣлу, не могъ бы пройти мимо дѣятельности служителей церкви, плодящихъ и секты, и самыя грубыя суевѣрія, а самое главное—собирающихъ за это дань, размѣрамъ которой позавидовалъ бы и самъ министръ, все еще не могущій взять „послѣднюю копѣйку“ съ мужика...

Такимъ образомъ, миссіонерскій съѣздъ слишкомъ перегнулъ лукъ. Но для политическихъ цѣлей это иногда необходимо, чѣмъ правѣе передвинется сторона въ борьбѣ, тѣмъ правѣе передви-

нется и средняя линія разрѣшенія вопроса. Святѣйшій синодъ нашелъ въ съѣздѣ самаго дѣятельнаго помощника своимъ замысламъ и планамъ. Его политика опредѣлилась уже давно. Въ вѣроисповѣдной и православной комиссіяхъ Думы—тенденція синода была проведена и епископомъ Евлогіемъ, и представителемъ синода г. Исполатовымъ. Эта тенденція въ общемъ сходится съ постановленіями съѣзда. Только тогда представитель синода дѣйствовалъ одиноко и изолированно. Теперь у синода во всѣхъ его новыхъ законопроектахъ и планахъ будетъ прочная база, и миссіонерскій съѣздъ явится самымъ сильнымъ аргументомъ для защиты реакціонныхъ проектовъ. „Требованіе церкви", „требованіе духовенства", „голосъ самого православія"—вотъ, чѣмъ будутъ подкрѣплены новѣйшіе реакціонные проекты и требованія святѣйшаго синода.

Такимъ образомъ, реакція въ религіозной области запасается заранѣе хорошимъ оружіемъ для борьбы съ либеральными уступками, сдѣланными въ освободительную эпоху. Она готовится къ настоящему воинственному походу и пуститъ въ дѣло всѣ средства для того, чтобы одержать побѣду. Теперь или никогда—таковъ его лозунгъ. Дѣйствительно, надо ковать желѣзо, пока горячо. Теперь для религіозной реакціи приспѣло настоящее время. Почемъ знать, какъ повернется дальше колесо исторіи? Духовенство имѣетъ у насъ опору только въ реакціи. Ни народъ, ни общество базы ему не создаютъ. Пока оно въ союзѣ съ правительствомъ, до тѣхъ поръ оно можетъ имѣть какую-либо силу. Представленная самой себѣ, оно чахнетъ и падаетъ.

Но все же эта изолированность дѣлаетъ и трудной, и, во всякомъ случаѣ, въ полнотѣ недостижимой — задачу реакціонеровъ церкви. Не имѣя базы, она могла бы расчитывать въ Государственной Думѣ лишь на поддержку крайнихъ правыхъ, весьма немногочисленныхъ. Центръ ея не поддержитъ. Миссіонерскій съѣздъ, вначалѣ привлекшій было симпатіи октябристской прессы, очень быстро растерялъ ихъ и „Голосъ Москвы", нападавшій сначала на оппозиціонную печать за ея отношеніе къ съѣзду, теперь заявляетъ:

„Христосъ-ли отвернулся отъ миссіонеровъ кіевскаго съѣзда или они забыли Христа,—но на всей ихъ дѣятельности лежитъ печать той черной мысли, которая можетъ родиться только въ душѣ, лишенной свѣта и тепла Христова ученія".

И третья Дума будетъ, какъ надо ожидать, весьма плохой защитницей воинствующаго духовенства. Не даромъ же большинство съѣзда по симпатіямъ склонно къ союзу русскаго народа,—единственной организаціи, стремящейся къ государственному перевороту съ цѣлью возстановленія абсолютизма. Въ другихъ партіяхъ средневѣковое изувѣрство не могло бы встрѣтить сочувствія и поддержки. Но и съ союзомъ русскаго народа духовенство

не получитъ той силы, которая нужна для проведенія всѣхъ замысловъ и всѣхъ новыхъ покушеній на крошечную русскую свободу, рожденную въ мукахъ и все еще страдающую асфиксіей, т. е. говоря по-русски,—удушеніемъ...

Но миссіонерскій съѣздъ силою вещей принужденъ играть va banque, и, конечно, онъ вѣритъ въ успѣхъ своей игры...

Мы думаемъ, что онъ проиграетъ. И мы больше еще думаемъ. Послѣ миссіонерскаго съѣзда число отпаденій отъ православія увеличится. Всѣ инославныя исповѣданія и всѣ секты получатъ, благодаря съѣзду, превосходные аргументы и въ концѣ концовъ, пожалуй, поблагодарятъ судьбу за то, что она внушила собрать съѣздъ такого типа. Дѣло освобожденія религіи только выиграетъ отъ этого безумнаго натиска на свободу въ самыхъ сокровенныхъ, самыхъ неуступчивыхъ сторонахъ человѣческаго бытія...

V.

Умеръ Петръ Исаевичъ Вейнбергъ...

Славные вѣнки положило русское общество на могилу этого молодого старца. И легкимъ пухомъ ляжетъ русская земля надъ этимъ евреемъ, всю свою жизнь отдавшимъ служенію христіанскимъ началамъ...

Біографія покойнаго велика и крошечна. Онъ былъ литераторъ. Семьдесятъ восемь лѣтъ жилъ онъ на землѣ и всѣ его долгіе зрѣлые годы связаны неразрывно съ русской литературой. Мы не будемъ излагать перипетій его богатой содержаніемъ жизни и литературной дѣятельности. Коснемся только того періода, когда проснулась настоящая душа Петра Исаевича и когда его нравственный обликъ проявился во всей своей красивой силѣ.

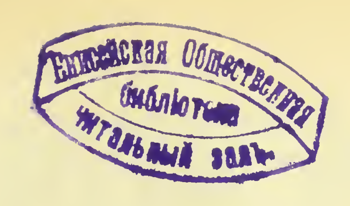
Это былъ періодъ рѣшительной борьбы за освобожденіе родины. И когда только-только подымались волны послѣдняго движенія, когда только-только открывались какія-то неясныя еще зори, и въ воздухѣ чувствовались новые электрическіе токи свободы, въ покойномъ проснулся старый прекрасный шестидесятникъ, и вся душа его запылала юношески-свѣжимъ огнемъ. Съ 1901 года онъ уже принимаетъ участіе въ политическомъ движеніи интеллигенціи. Съ радостью далъ онъ свою подпись на томъ знаменитомъ протестѣ, который былъ предъявленъ правительству, — можно сказать, впервые послѣ реакціоннаго затишья восьмидесятыхъ годовъ,— по поводу избіенія молодежи, манифестировавшей на Казанской площади противъ отдачи студентовъ въ солдаты. Это былъ протестъ литераторовъ, изъ которыхъ многіе сами были избиты... Всѣ подписавшіе протестъ были высланы изъ Петербурга. Остался лишь одинъ Вейнбергъ. Начальство было въ недоумѣніи: дѣйствительный статскій совѣтникъ — и

вдругъ крамольникъ... Не повѣрило крамолѣ почтеннаго генерала и оставило его въ покоѣ. А генералъ принадлежалъ уже безусловно новому теченію...

Съ тѣхъ поръ Вейнбергъ, можно сказать, горѣлъ въ пламени поднявшагося тогда движенія. Либералъ и во всякомъ случаѣ умѣренный человѣкъ, онъ какъ-то свѣтло и свѣжо идетъ на всѣ оппозиціонныя начинанія. Всегда больной и быстро утомляющійся, онъ не знаетъ ни болѣзни, ни утомленія, когда нужно дѣлать дѣло... Помимо хлопотливой, тягостной и безпокойной должности предсѣдателя Литературнаго фонда, онъ беретъ на себя обязанности милаго, добраго, хотя немножко ворчливаго, опекуна и радѣтеля всего, что имѣетъ соприкосновеніе съ литературой. Онъ— постоянный, неизмѣнный ходатай за литературную братію, нуждается ли она въ матеріальной или моральной помощи. И онъ— формальный устроитель и отвѣтственное лицо тѣхъ тоже знаменитыхъ „писательскихъ ужиновъ“, на которыхъ питался огонь оппозиціи, разгорѣвшійся затѣмъ въ союзномъ интеллигентскомъ движеніи, которое помянетъ, во всякомъ случаѣ, добромъ историкъ русскаго движенія.

Славный, милый, добрый старикъ... Славное, милое, доброе лицо патріарха... Сѣдая юность, никогда не умиравшая. Постоянная бодрость и крѣпкая устойчивая вѣра въ торжество свѣта. Какъ это было прекрасно у Вейнберга и какъ жаль разставаться съ нимъ въ этой жизни, гдѣ такъ мало искреннихъ людей и гдѣ такъ много юнаго предательства и старческаго скудоумія...

Ал. Ожиговъ.



Русскій человѣкъ на духу.

(Новыя произведенія Максима Горькаго).

Статья **А. Измайлова.**

I.

Русскій писатель, съ которымъ я путешествовалъ за границей, встрѣтилъ нѣмецкаго писателя, извѣстнаго и у насъ Петера Альтенберга, и случайно заговорилъ съ нимъ о Горькомъ.

— Какъ вы счастливы, что его видѣли!—горячо сказалъ нѣмецкій беллетристъ.—Горькій это мой Богъ. Я бы хотѣлъ писать такъ, какъ онъ, но я не могу. Я восемь разъ смотрѣлъ его „На днѣ" въ вѣнскомъ театрѣ, и ни одна пьеса не производила на меня такого огромнаго впечатлѣнія. Это уже не пьеса. Это сама жизнь. Чего бы я не далъ, чтобы такъ писать и заставлять людей такъ глубоко задумываться.

Вотъ голосъ одного изъ высшихъ интеллигентовъ заграницы, котораго нельзя заподозрить въ желаніи сказать простую любезность чужестранцу, польстивъ его національному самолюбію. Высшіе умы заграницы замѣтили, поняли, оцѣнили то, что есть самое дорогое въ русскомъ писательствѣ. Вся заграница далеко не доросла до этого пониманія.

— Ваша литература,—говорилъ мнѣ средній интеллигентъ заграницы,—въ сущности органически чужда душѣ иностранца. Не только французъ, англичанинъ и итальянецъ,—но и нѣмецъ прежде всего идутъ на приманку внѣшней занимательности. Франція создала бульварный романъ. Англичане дали апоѳеозъ похожденій сыщика и Шерлокомъ Хольмсомъ заразили весь міръ. Итальянцевъ занимаетъ д'Аннунціо, машущій передъ ихъ глазами тряпками самыхъ яркихъ цвѣтовъ. Вы, сѣверные, вѣроятно, презираете все это, или это васъ нисколько не занимаетъ. Вашъ Толстой знаменитъ всемірно, но увѣряю васъ, что средняя заграничная интеллигенція знаетъ его главнымъ образомъ по его протестамъ, письмамъ, газетнымъ интервью и въ незначительномъ процентѣ читала его „Войну и миръ" и „Анну Каренину". Это требуетъ такого напряженія. Это такъ серьезно и глубоко! Заграница легче смотритъ на чтеніе. Большинство ищетъ здѣсь только развлеченія, отдыха нервамъ. Вашъ писатель всегда исповѣдуется, и выберетесь за книгу—точно идете на исповѣдь. Послѣ нѣкоторыхъ вашихъ

книгъ, вродѣ „Преступленія и наказанія“ или „Крейцеровой сонаты“, человѣка ломаетъ и выворачиваетъ по швамъ. Чтеніе, очевидно, даетъ вамъ то же наслажденіе, какъ баня. Вы изнемогаете отъ пару, но вамъ пріятно. Намъ не понять этого наслажденія. Отъ Достоевскаго до Андреева ваши писатели—какіе-то эпилептики. Мучаютъ и сами мучаются...

Два мнѣнія діаметрально противоположныхъ. Такъ всегда разная температура на вершинахъ и въ долинѣ. Двѣ появившіяся на интернаціональномъ рынкѣ книги Горькаго „Исповѣдь“ и „Жизнь ненужнаго человѣка“ способны вызвать именно такую двойственность отношенія въ иноземномъ читателѣ.

Немногіе, изысканные умы эти книги еще разъ заставятъ задуматься надъ свойствами русскаго творческаго духа. Огромное большинство будетъ ими разочаровано. „Никакихъ приключеній! Такой сюжетъ, какъ жизнь сыщика и—почти никакой внѣшней фабулы! Ни подставныхъ лѣстницъ, ни приклеенныхъ бородъ, ни переодѣваній, ни предупрежденныхъ заговоровъ!.. Чего-то ищетъ, чѣмъ-то мучится человѣкъ на протяженіи 15-ти—17-ти печатныхъ листовъ! Какъ странно пишутъ русскіе писатели!..“

II.

Больше, чѣмъ когда-либо въ двухъ послѣднихъ большихъ повѣстахъ,—которыя можно было бы назвать и романами, если-бы въ нихъ былъ ярче выдвинутъ элементъ романтическаго,—Горькій подходитъ къ типу чисто русскаго писательства. Это сплошь исповѣди, сплошь „исканіе“, сплошь та „философія“, во имя которой столь много перетерпѣлъ нашъ пѣвецъ „бывшихъ людей“.

Рѣшительный поворотъ въ эту сторону почувствовался въ Горькомъ, кажется, съ „Ѳомы Гордѣева“. Человѣкъ, силящійся разобраться въ „смыслѣ жизни“ и найти ея „правду“,—съ этихъ поръ сталъ исключительно занимать писателя. Совершенно ясно, что такимъ человѣкомъ былъ самъ Горькій, и что каждый новый герой его былъ разновидностью его самого. Такъ Толстой отражался въ Оленинѣ, Нехлюдовѣ, Безуховѣ, Позднышовѣ. Такъ Достоевскій преломился въ своихъ герояхъ. Что писатель всюду отражаетъ себя—это еще не порокъ писательства. Это особенность психики.

„Исповѣдь“ вышла въ русскомъ изданіи. Читатель съ нею уже познакомился. Новыя для Горькаго ноты творчества прозвучали въ ней. Мы знали Горькаго бытописателя, Горькаго политика. Можно было только предполагать, что никогда увидимъ его въ роли богослова. Въ то время, когда мы слѣдили за исторіей метаній и исканій Ѳомы Гордѣева, какъ-то въ газетахъ мелькнулъ слухъ, что, по первоначальному плану, Гордѣевъ долженъ былъ кончить монастыремъ. Это было правдоподобно. Не одинъ подлинный Ѳома Гордѣевъ въ дѣйствительности кончалъ монастыремъ или проходилъ его, какъ стадію.

Эта подробность оказалась фактически невѣрною. Горькій на самомъ дѣлѣ не имѣлъ въ виду такой участи Гордѣева. Вѣроятно, по его собственной догадкѣ, здѣсь сыграла роль смѣшеніе героя его повѣсти съ однимъ подлиннымъ поволжскимъ купцомъ-милліонщикомъ, въ которомъ нѣкоторые видѣли прототипъ Ѳомы и который дѣйствительно кончилъ чернымъ клобукомъ. Но догадка была психологически настолько мѣтка, что она предугадала, предсказала сюжетъ новой повѣсти. Тронувшій типъ русскаго *ищущаго* человѣка, Горькій *долженъ былъ*, не могъ не коснуться и тѣхъ его исканій, которыя влекутъ его въ монастырь.

Здѣсь на помощь ему приходилъ и его большой бытовой опытъ. Прошлое Горькаго должно было не разъ ставить его лицомъ къ лицу съ монастыремъ, пристанищемъ того полуголоднаго, полухолоднаго люда, въ рядахъ котораго онъ проходилъ свою первую школу жизни. И монастырь не повертывался къ нему своей нарядной и прикрашенной стороной, которую онъ блюдетъ для „благодѣтеля“ или „чистой публики“. Въ качествѣ „прохожаго человѣка“ Горькій могъ воспринимать впечатлѣнія монастыря во всемъ его неподкрашенномъ естествѣ. Могъ во всей полнотѣ и яркости видѣть, обо что долженъ былъ разбиваться порывъ тѣхъ, кто шелъ сюда, ища пристани, защищающей отъ бури.

III.

Въ Горькомъ давно намѣчается тотъ поворотъ къ глубокому, серьезному постиженію бытія, какой, очевидно, въ извѣстную пору жизни неизбѣженъ для русскаго писателя. Такой переломъ пережилъ Чеховъ, вдругъ изъ веселаго созерцателя жизни превратившійся въ писателя жуткихъ драматическихъ настроеній. Такъ спокойный анекдотистъ-разсказчикъ Лѣсковъ въ одинъ день сталъ искателемъ „праведниковъ“ на русской землѣ. Вдругъ осмыслился весь писательскій трудъ. Созналась основная мысль работы. Все стало нанизываться, какъ бусы на нитку. Не одна болѣзнь не позволяла Чехову смахнуть съ себя его безысходную тоску. Кого уязвила подобная идейная тоска, тотъ уже не можетъ любоваться жизнью съ улыбкой.

Герой „Исповѣди“ Горькаго—тотъ же Ѳома Гордѣевъ, тотъ же Илья Луневъ изъ „Троихъ“,—тотъ же Горькій, пытающійся доискаться до смысла въ жизни простого человѣка. Переставьте многія реплики Гордѣева въ „Исповѣдь“,—самый внимательный глазъ не замѣтитъ диссонанса и мистификаціи. Наоборотъ, много изъ рѣчей героя „Исповѣди“—могутъ усилить характеристику душевной тоски Гордѣева. Это, разумѣется, не достоинство новой работы. Но вспомнимъ, какъ часто переплетаются думы и чувства хотя бы у героевъ Толстого.

По идеѣ своей „Исповѣдь“ очень современна, хотя только на самыхъ послѣднихъ страницахъ улавливаются фактическія указанія на недавнія

день. Самое настроеніе „богоисканія“ могло особенно обостриться послѣ того, какъ политическій бурунъ пробѣжалъ по всему огромному морю русской дѣйствительности, всколыхнулъ его мертвую зыбь и переставилъ всѣ точки и линіи по новому. „Исповѣдь“ Горькаго современна не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ „Письмо“ священника Петрова, чѣмъ бесѣды въ религіозно-философскомъ собраніи, чѣмъ статьи на темы вѣры и церкви Розанова, Мережковскаго или Бердяева.

Какъ всегда, Горькій имѣетъ дѣло съ душой русскаго простеца. Это та область, гдѣ онъ можетъ чувствовать себя хозяиномъ. Его герой, неудачникъ изъ подкидышей, ищетъ Бога и вѣры. Онъ летитъ на огоньки, которые мерещатся ему въ мутныхъ сумеркахъ жизни. Но точно огромная осьмиугольная башня поворачивается передъ нимъ, и каждый разъ, когда ему кажется, что онъ пришелъ къ двери,—передъ нимъ оказывается глухая, безобразно-полинялая каменная стѣна. Вотъ передъ нимъ казенное оффиціальное православіе въ лицѣ сѣдого протопопа. Для него сомнѣніе въ милосердіи Божьемъ есть преступленіе, на которое онъ готовъ отвѣтить призывомъ полицейскаго. Протопопъ кричитъ и шумитъ на усомнившагося, и отойдя, долго пугаетъ его гнѣвомъ Божьимъ. „Не то!“—думаетъ обманувшійся въ своихъ надеждахъ искатель.

— Ясно, что коли человѣкъ полицію зоветъ Бога своего поддержать,— стало быть, ни самъ онъ, ни Богъ его никакой силы не имѣютъ, а тѣмъ паче—красоты!..

Вотъ передъ искателемъ—божья коровка, старица Февронія, съ младенческою проповѣдью добренькаго Бога, котораго надо только не обижать, почтительно принимая отъ него и добро и зло.

— „Понимаю, что Богъ для нея бариномъ стоитъ,—добренькій да миленькій, а закона у старушки нѣтъ для него... Вотъ, думаю, разобрали люди Бога по частямъ, каждый по нуждѣ своей, у одного—добренькій, у другого страшный...

Не хочетъ простецъ-искатель и такого Бога. Какъ онъ ни простъ,— онъ уже переросъ эти понятія. Еще менѣе можетъ его удовлетворить вѣра монаха Михи, для котораго весь міръ—дьяволовъ соблазнъ, и первопричина всѣхъ золъ—женщина. Напрасно смиряетъ онъ себя и насильственно подчиняетъ свою волю Михѣ. Въ итогѣ—ненависть и презрѣніе къ нему, проклинающему женщину и въ то же время горящему нестерпимой жаждой ея.

Стоитъ простецъ передъ сырой и темной ямой, гдѣ „спасается“ много лѣтъ схимонахъ Мардарій, въ голодѣ, холодѣ, съ годами, съ своею болью, и изможденною, но все неумирающею плотью,—и все то же недоумѣніе грызетъ его душу. Не то! Человѣкъ уполъ отъ міра, какъ червякъ подъ землю, высохъ, заплесневѣлъ, какъ кирпичъ его норы,—а не нашелъ радости и такъ же страдаетъ, какъ страдаетъ земля.

„Не то“—и красавецъ монахъ Антоній съ своей философіей эпику-

рейства, виномъ, любимой женщиной и загулами. „Не то“—и божій странничекъ, встрѣчный дѣдъ-бродяжка, изнемогающій отъ трепета смерти и мучительно цѣпляющійся за послѣдніе свои деньки на землѣ.

— Господи! Хоть бы комарикомъ пожить на землѣ! Хоть бы клопикомъ или малымъ паучкомъ!..

Религіи трусовъ и рабовъ, деспотовъ и маньяковъ чуждается живая душа и мечется въ тоскѣ, не находя утоленія.

IV.

Въ „Исповѣди“ есть свой Лука,—и то же странникъ, и тоже философъ, и тоже наружно мягкій, потому что его „много мяли“, и тоже создавшій себѣ желѣзное убѣжденіе насчетъ пониманія міра и живущій безъ тоски и неудовлетворенности.

Это странникъ Іона, попъ разстрига, нашедшій свою вѣру уже послѣ поповства. Полузагадками, полунамеками онъ совершаетъ переворотъ въ душѣ простеца. Отъ мелкопробной эгоистической религіи запуганныхъ и мелкихъ людей онъ зоветъ его къ религіи другихъ идеаловъ, не внѣшней, но наполняющей всего человѣка Богомъ.

— Не внѣ насъ живетъ Богъ, но внутри... Люди дѣлятся на два племени: одни—вѣчные богостроители, другіе—навсегда рабы плѣннаго стремленія ко власти надъ первыми и надо всей землей. Захватили они эту власть и ею утверждаютъ бытіе Бога внѣ человѣка, Бога—врага людей, судіи и господина земли. Богостроитель—это народушко. Неисчислимый, міровой народъ. Великомученикъ велій, чѣмъ всѣ церковью прославленные!.. Просыпается воля народа, соединяется великое, насильно разобщенное, уже многіе ищутъ возможности, какъ слить всѣ силы земныя въ единую, изъ нея же образуется свѣтелъ и прекрасенъ, всеобъемлющій Богъ земли!..

Іона говоритъ черезъ чуръ цвѣтисто-книжно. Можетъ быть, ни патетическій захватъ его, ни былое семинарство въ достаточной мѣрѣ не могутъ оправдать этой „публицистики“ въ устахъ, а не на столбцахъ страстнаго фельетона. Но мысли Іоны совершенно ясны. Горькій, какъ будто долго сдерживалъ себя, чтобы не дать такъ открыто en toutes lettres, символъ вѣры обновившей его искателя. Онъ долго подводилъ къ нему читателя обиняками, долго требовалъ догадокъ. Но онъ слишкомъ честенъ, чтобы отдѣлаться намеками и разстаться съ читателемъ, напустивъ мистическаго тумана, который всегда выгоденъ и который еще выгоднѣе сумѣютъ повернуть глубокомысленные критики.

Горькій не только прямо сказалъ credo своего „богоискателя“, успокоившее его душу, но и рѣшительно подчеркнулъ полноту этого успокоенія въ послѣднихъ страницахъ книги. Онъ подтвердилъ, что за этой „новой религіей“ онъ готовъ признать и истинно-мистическое начало. Эта

вѣра даже творитъ чудеса. Гипнозъ народной вѣры исцѣляетъ больную на глазахъ героя „Исповѣди". И, потрясенный, онъ кончаетъ свою исповѣдь настоящимъ гимномъ своей новой вѣрѣ. Горькій не маскируется, не прячется за неясными эластичными словами, подъ которыя можно подставить любой смыслъ, не пускается въ тотъ мистическій серпантинъ, которымъ съ серьезнымъ видомъ занимаются наши модные говоруны изъ „мистическихъ анархистовъ" и проповѣдниковъ „непріятія міра".

Онъ ставитъ всѣ точки надъ і и говоритъ:

— Тако вѣрую и исповѣдую!

V.

Неожиданный поворотъ въ міровоззрѣніи Горькаго можетъ удивить и даже разогорчить многихъ изъ былыхъ его сторонниковъ. Писатель, конечно, не отвѣтственъ за складъ воззрѣній своего героя, но та страстность тона, какая отличаетъ „Исповѣдь", даже фанатизмъ этого тона, особенно выступающій на послѣднихъ страницахъ,—говорятъ о томъ, что эти воззрѣнія не могутъ быть ужъ вовсе ему чуждыми.

Его проповѣдь не есть проповѣдь холодной и умной религіи соціализма. Здѣсь экстазъ, зной, волненіе, трепетъ, какихъ не знаетъ та религія. Здѣсь совершенно явный и нескрываемый элементъ мистики, хотя быть можетъ и утонченной, профильтрованной черезъ научныя положенія, черезъ ученія о гипнозѣ.

Оставимъ мистику. Но не менѣе неожиданъ поворотъ Горькаго лицомъ къ чистому народничеству. Еще совсѣмъ недавно было время, когда Горькаго выдвигали именно, какъ столпъ марксизма. Съ помощью его полемизировали съ народниками, съ идеализаціей и апоѳеозомъ народа. И вотъ перемѣнились времена. Левъ Толстой съ восторгомъ прочиталъ бы нѣкоторыя страницы „Исповѣди", изъ которыхъ явствуетъ, что „правда"—въ народѣ, и высшая мудрость—поклониться этой правдѣ.

И этого, наконецъ, мало—Горькій зачисляется въ пантеонъ литературы, какъ пѣвецъ „личности", какъ индивидуалистъ изъ категоріи крайнихъ. „Исповѣдь" есть апоѳеозъ коллективизма, толпы, народа. Личность должна слиться съ цѣлымъ, отрѣшиться отъ эгоистическаго, сознать себя, какъ маленькій винтъ колоссальной машины. Это—совсѣмъ не изъ катехизиса индивидуалистовъ.

Я знаю, что розыскъ о томъ, какъ вѣруетъ писатель, почти неприличенъ тогда, когда онъ идетъ далѣе его прямыхъ писательскихъ показаній въ его книгахъ. Ибсенъ упрямо говорилъ вопрошавшимъ его о смыслѣ его пьесъ, что и самъ Господь Богъ едва ли ихъ понимаетъ. Не всякій авторъ охочъ самъ себя комментировать. И еще есть книги настолько ясной писательской задушевности, что было бы почти обидой спрашивать, насколько выраженныя здѣсь мысли—его собственныя мысли.

Книга Горькаго по страстности тона почти принадлежитъ къ такому жанру. Но міровоззрѣніе, проведенное здѣсь, настолько не близко къ знакомому намъ до сихъ поръ міровоззрѣнію Горькаго, что вопросъ подобнаго рода не былъ бы непозволителенъ.

VI.

— Я подъ многимъ подписался бы въ этой исповѣди, сказалъ мнѣ на мой вопросъ Горькій.—Это не мои исканія. Это не я. Конечно, подобное въ свое время переживаетъ всякій. Но здѣсь я имѣлъ въ виду одну опредѣленную натуру, знакомаго мнѣ человѣка, который все это переживалъ особенно бурно и страстно. Здѣсь, конечно, много моего личнаго опыта. Я зналъ такого монаха-красавца изъ офицеровъ, видалъ схимника, заживо похоронившаго себя. Всѣ эти ношенія иконъ, крестные ходы и т. п. я не могъ не видѣть у себя, въ нижегородскихъ мѣстахъ. Вы спрашиваете, не чувствую ли я самъ, что воззрѣнія, проведенныя въ „Исповѣди"—не то, что я говорилъ своей беллетристикой раньше. Если хотите назвать это противорѣчіемъ, — назовите. Да, я не совсѣмъ такъ смотрю на вещи теперь, какъ смотрѣлъ тогда. Можетъ быть, это даже не эволюція взглядовъ, потому что эволюція предполагаетъ путь безъ скачковъ и пробѣловъ, а здѣсь найдется и это. Но что дѣлать,—мы живемъ. И теперь я такъ смотрю на народъ. Въ частности, на нашъ народъ. Именно народъ скажетъ нужное слово. Вѣрю, что ему назначена великая міровая миссія. Вижу залоги этой миссіи въ нашей творческой мысли. Что она уже успѣла дать и въ такихъ враждебныхъ условіяхъ, въ какихъ ей приходилось творить! Въ такой ничтожный срокъ литература, охватывающая всѣхъ нашихъ писателей отъ Достоевскаго до Короленко! А какія фигуры, даже изъ тѣхъ, что мы и не думаемъ считать первоклассными. Возьмите, напримѣръ, Глѣба Успенскаго. Въ иностранной литературѣ берешь писателя и видишь, изъ кого онъ вышелъ. Такъ прямо одинъ и выходитъ изъ другого. А у насъ! Откуда-то вдругъ взялся этотъ человѣкъ и пролетѣлъ надо всей русской землей, какъ какая-то трепетная, раненая птица. Мнѣ кажется, что будетъ время, когда умственная гегемонія, духовное командованіе міромъ перейдетъ именно къ Россіи. Посмотрите, великіе наши писатели уже начинаютъ захватывать и Европу. Уже появляются книги на темы, волновавшія Достоевскаго. И сейчасъ, несмотря на всѣ уродства въ нашей молодой литературѣ, какое въ ней кипѣніе, какія интересныя намѣчанія, какая богатая жизнь! Только отстранившись заграницу—и надолго,—видишь это во всей ясности. Вотъ одинъ изъ факторовъ, подготовившихъ мой взглядъ на народъ. Я былъ близокъ къ этому взгляду и тогда. Но многое не удается выразить такъ, какъ хочешь. И можетъ быть, это моя вина, результатъ моего несовершенства, что написанное теперь кажется стоящимъ въ про-

тиворѣчіи съ прежнимъ. Для меня здѣсь противорѣчія нѣтъ, по крайней мѣрѣ, такого, какое отмѣчаете вы.

VII.

Новое, вышедшее пока только заграницей произведеніе М. Горькаго— „Жизнь ненужнаго человѣка“—почти такая же исповѣдь русской простецкой души, какъ и повѣсть, о которой только что кончена рѣчь.

Что-то исключительно близкое, родственное, общее,—не только въ томъ смыслѣ, какъ всегда бываетъ общее въ двухъ вещахъ одного писателя,— есть въ двухъ этихъ книгахъ, что-то какъ бы переплетающееся, тожественное, словно бы вещи писались одновременно, или, перейдя къ другой, писатель еще былъ весь во власти образовъ, думъ и неразрѣшенныхъ умомъ вопросовъ первой.

„Ненужный человѣкъ“ — русскій простецъ Евсѣй Климовъ, ранній сирота, такой же неудачникъ, какъ герой „Исповѣди“. Жизнь мечетъ его туда и сюда, какъ мечетъ Илью Лунева изъ „Троихъ“, Ѳому Гордѣева, героя „Исповѣди“. Нелѣпый, безсмысленный капризъ судьбы загоняетъ его въ сыщики. Почему? Климовъ вовсе не человѣкъ сыщической пытливости, вовсе не фанатикъ-патріотъ, не Іуда по природѣ и призванію.

Онъ оказывается въ своей странной и гнусной роли такъ же нелѣпо и фатально, какъ иногда русская дѣвушка вдругъ просыпается проституткой. Евсѣй случайно попалъ въ услуженіе къ букинисту, прикосновенному къ дѣлу сыска. Послѣ его смерти случайно „добрый человѣкъ“ устроилъ его по сыскному дѣлу. Человѣкъ инерціи покатился по наклонной плоскости. Профессія требовала отъ него предательства. Климовъ предавалъ. Предалъ родственника, предалъ дѣвушку, которая нравилась ему, но прошла мимо него, предалъ въ какомъ-то туманѣ, точно полусознательно. Душа Климова все время не здѣсь, въ этомъ гнусномъ ремеслѣ. У него здѣсь нѣтъ ни тщеславія, ни мечтаній о карьерѣ, это типичный русскій человѣкъ „на должности“. Какъ сыщикъ, онъ поэтому почти бездаренъ. Непреодолимое самоосужденіе живетъ въ немъ и казнитъ его. Настроеніе этого презрѣнія къ себѣ сгущается, наконецъ, до предѣла. И Евсѣй налагаетъ на себя руки, чтобы только уйти изъ среды окружающихъ его сознательныхъ и полусознательныхъ негодяевъ.

Горькій назвалъ свою повѣсть „Жизнью ненужнаго человѣка“. Можетъ быть, названіе „слѣпого“, „безвольнаго“, „пропащаго“—больше шло бы Климову. Высшій трагизмъ философіи Горькаго, скрытой въ повѣсти, именно въ томъ, что ея герой, приставленный судьбой къ ролямъ Іуды и продающій человѣка „за три съ полтиной“, на самомъ дѣлѣ совершенно чуждъ іудина темперамента. Страшный складъ русской жизни неожиданно и трагично повернулъ характеръ въ ту сторону, гдѣ для него было наименѣе природныхъ предрасположеній.

Органически существенное въ характерѣ Климова — то, что отличаетъ всѣхъ героевъ Горькаго изъ протестующаго мѣщанства—это задумчивость надъ основными вопросами жизни, жажда поймать ея смыслъ и правду. Такъ томились Ѳома Гордѣевъ, Илья Луневъ, герой „Исповѣди". Повидимому, рѣшительно ничто не препятствовало бы Климову удариться въ богоискательство послѣдняго. „Можетъ быть, лучше мнѣ въ монастырь поступить",—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ.

Писатель какъ бы перекидываетъ явный мостикъ къ своей другой работѣ. Съ слѣдующей главы онъ могъ бы подставить сюда страницы „Исповѣди", и это не было бы диссонансомъ.

VIII.

Ужасъ паденія безъ органической предрасположенности къ паденію, истинное негодяйство дѣлъ безъ прирожденнаго негодяйства души, іудина работа безъ смердяковскаго темперамента—вотъ что центрально для Горькаго въ психологіи его типа. Писателю нужно было очевидно преодолѣніе себя, чтобы въ дни современнаго политическаго разброда, въ дни разгара ненависти къ тому типу, какой олицетворяетъ Климовъ, попытаться взглянуть на него безъ ослѣпляющей ненависти и увидѣть въ немъ нестолько злодѣя, сколько просто человѣка, не вѣдающаго, что онъ творитъ.

Климовъ—это воскъ, изъ котораго нелѣпая русская жизнь лѣпитъ гнусныхъ чертей и склизкихъ головастиковъ. Такова философія Горькаго, безспорно примѣнимая къ значительной части печальныхъ героевъ той категоріи, какую онъ трогаетъ въ повѣсти. О, конечно, здѣсь преобладаютъ тѣ, кто хорошо знаетъ, что онъ дѣлаетъ и къ чему стремится, тѣ гнусные карьеристы сыска, одного изъ которыхъ Горькій клеймитъ въ образѣ Саши. Но судьба загоняетъ сюда и темную, растерянную, слѣпую силу, которая могла бы найти и діаметрально противоположное, героическое примѣненіе въ жизни.

Въ фатальности засасыванія Климова жуткимъ болотомъ пропащаго мірка есть что-то глубоко вѣрное психологически даже не относительно однихъ простецовъ. Исторія нашего революціоннаго движенія подсказываетъ имена Гольденберговъ, Дегаевыхъ, Гапоновъ, предлагая задуматься надъ двойственностью ихъ настроеній.

Черты предательства выступали въ нихъ нестолько въ силу органическихъ предрасположеній, сколько въ силу трагически складывающейся дѣйствительности. Какая-то искорка честности тлѣла въ ихъ душахъ подъ страшнымъ, неизвинимымъ и преступнымъ налетомъ измѣнничества.

По ней угадывается, что они могли быть созданы не для той роли, какую взяли. Если это было возможно въ душахъ, вкусившихъ интеллигентности,—тѣмъ возможнѣе это въ душѣ простеца.

Грустная страна, гдѣ Сони Мармеладовы идутъ въ проститутки, и отъ юродиваго до сыщика одинъ шагъ! Надъ страшной драмой этой страны, надъ рознью двухъ поколѣній,—старой и новой Руси предлагаетъ задуматься Горькій, и каково бы ни было выполненіе его задачи,—идейное значеніе и смыслъ этой попытки неотрицаемы.

IX.

Въ „Жизни ненужнаго человѣка“ есть страницы, на которыхъ разсказывается о сыщикѣ, приходящемъ къ писателю и исповѣдующемся передъ нимъ. На протяженіи повѣсти не разъ одинъ герой исповѣдуется другому. Печать страстности, интимной раскрытости, отличаетъ эту повѣсть въ той же мѣрѣ, какъ „Исповѣдь“.

Возможно, что самъ авторъ не чувствуетъ, какъ и въ этой чертѣ типично-русское сквозитъ въ немъ. Какой-то фельетонистъ-французъ уже давно пустилъ о русской жизни ходячую фразу, что сущность ея исчерпывается двумя понятіями: „самоваръ“ и „раскаяніе“. Мимолетныя замѣчанія иногда правдивѣе цѣлыхъ изслѣдованій. Оставляя самоваръ на долю игривой шутливости чужеземца-наблюдателя, надо признать потребность изліяній, исповѣди, публичнаго покаянія—существеннѣйшей чертой русской души.

Кающійся герой „Горькой судьбины“, „Власти тьмы“, всѣ герои Толстого, выкладывающіе свою душу на страницахъ его романовъ, весь Достоевскій съ его исповѣдями въ „Карамазовыхъ“, „Идіотахъ“ и „Бѣсахъ“—все это дѣды и отцы Гордѣевыхъ и Луневыхъ, исповѣдующихся въ книгахъ Горькаго.

Исповѣдь ищущаго, протестующаго и кающагося мѣщанства послѣдней, современной формаціи, можетъ быть, никто не повѣдалъ откровеннѣе и и яснѣе, чѣмъ Горькій, плоть отъ плоти русскаго народа. Не прислушаться къ ней было бы грѣхомъ.

Эта исповѣдь льется у него часто торопливо, многословно, съ естественною безпорядочностью волненія. Обѣ послѣднія повѣсти Горькаго съ чисто художественной стороны страдаютъ растянутостью ничуть не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ „Ѳома Гордѣевъ“. Какъ тамъ порою положительно раздражаетъ протестантское философствованіе Ѳомы, такъ здѣсь утомляетъ хожденіе героя „Исповѣди“ по разнымъ религіознымъ этапамъ и надоѣдливыя думы Климова о томъ, какъ ему избыть свое ремесло.

Съ чисто сѣвернымъ равнодушіемъ къ сюжету Горькій совершенно пренебрегъ занимательностью внѣшняго дѣйствія.

Обѣ повѣсти однородно незамысловаты, въ обѣихъ сюжетъ положительно укладывается въ десятокъ строкъ. Исторія воспитанія полуброшеннаго ребенка, предоставленнаго самому себѣ, природѣ и раннимъ думамъ о жизни—съ

разными варіаціями повторяется Горькимъ вотъ уже который разъ. Можно почти безошибочно предсказать слабый успѣхъ „Жизни ненужнаго человѣка“ у широкой публики. Только серьезность темы можетъ повысить этотъ успѣхъ для „Исповѣди“.

Но и въ той и въ другой повѣсти есть страницы, которыя могъ написать только Горькій, есть образы, афоризмы и подмѣчанія, которые могъ родить его только великолѣпный и самородный талантъ. Если въ „Исповѣди“ иногда чувствуется нѣсколько искусственная, книжная, какъ бы семинарская пѣвучесть языка, то въ ней есть тирады и страницы, по красивому лирическому подъему напоминающія чудесный языкъ стилизованныхъ Лѣсковскихъ вещей въ евангелическомъ духѣ. Нѣкоторыя фигуры, какъ эпикурейца-монаха, схимника Іоны въ „Исповѣди“, букиниста Распопова въ „Жизни ненужнаго человѣка“,—исполнены живописности, въ которой узнается рука прежняго Горькаго.

И надъ обѣими повѣстями вѣетъ благородной тоской по живомъ Богѣ, мягкою жалостью къ ищущимъ и ненаходящимъ, свѣжимъ воздухомъ ясно сознанныхъ и честно исповѣдуемыхъ идеаловъ,—тѣмъ, что всегда было плѣнительно въ русскомъ писателѣ...

А. Измайловъ.

ДОБРЫЙ ХАОСЪ.

Статья **Антона Крайняго** [1]).

I.

„Въ наши дни общаго разложенія и распада"...

Только эти слова и читаешь во всѣхъ газетахъ, журналахъ, сборникахъ. Только и слышишь ноющіе и брюжжащіе голоса всякаго сорта интеллигенціи. Обывателя мы меньше слышимъ, но, конечно, и онъ ноетъ. Ноютъ партійники. Такіе самоувѣренные люди, какъ авторы сборника „Литературный распадъ"—и тѣ ноютъ, скрывая, впрочемъ, нытье за бранчивостью. Бранятъ они всѣхъ и все, кромѣ себя и своего, но брань эта, увы не „звучитъ гордо". Трещинка чуется. О „всеобщей растерянности" пишетъ и Невѣдомскій. Проговаривается, что даже такой „вѣчный и всеміріный художникъ-дубъ" (странное сравненіе!) какъ Л. Андреевъ—являетъ признаки несомнѣнной растерянности. Луначарскій—и говорить нечего,—недоволенъ. Литературой—сплошь; и мистикой ея, и декадентствомъ, и безобщественностью, и—чѣмъ еще? Да рѣшительно всѣмъ. Л. Андреева онъ прямо хватаетъ дерзновенной рукой за вѣнецъ. Конечно, не въ одной литературѣ, а вездѣ, по мнѣнію недовольныхъ,—„тьма". Большинство откровенно ноющихъ „писателей" довольствуются тѣмъ, что разрисовываютъ эту „тьму" длинно, усердно,—и на томъ кончаютъ. Читателю остается или не внять, passer outre, или поникнуть въ отчаяніи и замереть. Пессимисты скрытые совершенно такъ-же расписываютъ тьму; развѣ лишь съ большей смѣлостью ругаются, всѣхъ безъ разбора кидая въ одну темную кучу... но потомъ они вспоминаютъ, что надо быть бодрыми, нельзя же все отрицать; вѣдь есть же, молъ, у насъ положительный идеалъ, которому мы не измѣнили. И вотъ, въ послѣднюю минуту, уже совсѣмъ кончая, такой писатель непремѣнно прибавитъ строчку: „но есть свѣтъ истинный; идеологія рабочаго класса—вотъ свѣтъ истинный, и тьма не объемлетъ его". Слѣдуетъ подпись. Дѣло сдѣлано.

Я совсѣмъ не собираюсь обсуждать, тьма или свѣтъ „идеологія ра-

---

[1]) Охотно давая мѣсто ярко индивидуальной статьѣ г. Антона Крайняго—Редакція даетъ отвѣтъ на нѣкоторые изъ возбужденныхъ авторомъ вопросы въ помѣщаемой ниже статьѣ г. В. Львова.

бочаго класса“. Но позвольте, если эта идеологія даже и самая свѣтлая точка, то куда же этой точкѣ сію минуту справиться съ океаномъ тьмы, наполняющей, по мнѣнію того же писателя, всю жизнь сплошь? И ужъ если Л. Толстой до сихъ поръ не могъ добиться, чтобы всѣ люди „сговорились“ и приняли его идеологію, его истину, которая, какъ никакъ, а пошире всякой классовой истины,—то неужели искренна эта наивная надежда, что всѣ люди вдругъ сговорятся и просвѣтятся „идеологіей рабочаго класса?“ Да еще такіе сплошь скверные, глупые, преисполненные тьмы и почти идіотизма люди (за малымъ исключеніемъ), какими ихъ только что показалъ критикъ?

Нѣтъ, конечно, наивной надежды тутъ нѣтъ. Знаетъ пишущій, что ничего изъ его заявленія не выйдетъ. Написалъ для себя, чтобы показать, что онъ то свое помнитъ, и не во „тьмѣ“. Какъ-то г. Португаловъ въ покойной „Нашей газетѣ“ упрекалъ одного изъ подобныхъ критиковъ, г. Іорданскаго, за пустоту, ветхость и банальность „положительныхъ“ фразъ. Это правда, онѣ и стары, и общеизвѣстны, и коротки. Но что-же дѣлать, если другихъ нѣтъ? А надо-же чѣмъ нибудь, говоря о растерянности, прикрыть свою собственную?

Думается мнѣ, если захватить кого-нибудь изъ увѣренныхъ соц.-демократовъ,—вродѣ Луначарскаго хотя бы,—врасплохъ и сразу спросить его: „а ну-ка, покажите, гдѣ и какой у васъ твердый камень, на которомъ вы стоите среди зыбкаго болота во тьмѣ?“—спрошенный растеряется и отвѣтитъ... какъ Гапонъ, котораго въ упоръ спросили: „а вы, батюшка, въ Бога вѣруете?“ „Я... я ищу его...“—растерянно пробормоталъ онъ.

И Гапонъ этого бы конечно не написалъ; и сказалъ-то лишь застигнутый врасплохъ. Вотъ такъ же и увѣренный критикъ „Распада“, обладай онъ хотя бы Гапоновской искренностью, непремѣнно отвѣтилъ бы сегодня на внезапный вопросъ о „твердомъ его камнѣ“ не заученной давно фразой, а лишь сердечнымъ и растеряннымъ:

— Я... я его ищу...

По мнѣ всѣ равны, и ноющіе скрытно, и ноющіе явно, пессимисты злобные, и пессимисты горькіе. Всѣ смѣшноваты и—безполезны. Не отдѣляю я и нытиковъ „покаянныхъ“; это лишь façon de parler; вѣдь никто рѣшительно себя ни въ чемъ не винитъ, а лишь другихъ. Начинаютъ торжественно: „мы виноваты, мы!“ А при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что „мы“ виноваты лишь въ томъ, что вѣрили честно въ Россію, или въ людей, которые оказались нестоющими... Вотъ и все покаянье.

Нѣтъ, если нытики дѣйствительно недовольны „нашими днями“, дѣйствительно чувствуютъ ихъ, какъ „дни тьмы“—то они должны прежде всего сознать, что въ этой тьмѣ виноваты они сами. Главнымъ образомъ они,—мы сами,—я это подчеркиваю. Ужъ если на то пошло,—такъ одно это сознаніе теперь и можетъ „прозвучать гордо“. Потому что, какъ хо-

тите, а нѣтъ никакого блеска въ утвержденіи, что, вотъ, молъ, и отличные мы, и прекрасно, и умно, и сильно дѣйствовали—да какъ же быть то, мы ужъ невиноваты, пришла мама, заперла насъ въ чуланъ; и оказались мы „во тьмѣ". Такая сильная мама, „такой большой-большой великанъ", выражаясь словами Андреева.

Не очень вѣрится въ абсолютную силу этого „большого большого великана"... И въ данномъ случаѣ совсѣмъ не „гордо" твердить на всѣ лады „мы жертвою пали". Пали во тьму всяческую, литературно-порнографическую, внѣобщественную, застойную — неужели пали бы, еслибъ ужъ такъ хороши и безупречны сами были? Нѣтъ-ли у самихъ какой-нибудь нехватки?

Всякій журналистъ и не журналистъ изъ ноющихъ, только что онъ серьезно поставитъ себѣ этотъ вопросъ—прежде всего перестанетъ выть. А это чрезвычайно важно для начала. Онъ не приметея, конечно, обманывать себя, что тьмы нѣтъ. Есть то она есть, но надо видѣть, что это такое, тьма-ли надвинувшейся Божьей грозы, или темнота мамашинаго чулана, изъ котораго только глупымъ дѣтямъ не выбраться. Дѣтямъ—стоитъ плакать, жаловаться, просить мамашу, чтобъ отворила... Но намъ—почему бы не начать разсуждать, какъ разумные и взрослые люди?

Тьма, не тьма внѣшняя чулана, конечно (это—лишь одно изъ многочисленныхъ послѣдствій нашихъ ошибокъ), но темное смятеніе, растерянность и разбросанность всего русскаго общества во всѣхъ проявленіяхъ жизни,—эта темнота достойна не однихъ плаксивыхъ на нее жалобъ. И проклятій сплошныхъ она не заслуживаетъ. Да хаосъ повсюду, литература кидается въ дикую порнографію, мечется, не знающая, куда приткнуться, молодежь, обыватель берется въ отчаяніи за голову, ибо ужъ давно не понимаетъ, кто кому врагъ и кто другъ, создаются такіе абсурды, какъ „общества одинокихъ", старые вожаки политическихъ партій не знаютъ подчасъ, что дѣлать съ молодыми членами, исключать-ли изъ партіи, или прижать къ груди,—но пусть онъ разростается, благодѣтельный хаосъ! Въ немъ есть зерна истиннаго сознанія, въ немъ рождается новая мысль, новое ощущеніе себя, людей и міра, надежда на иное искусство, иное дѣйствіе. Вотъ, если бы ни хаоса, ни растерянности, ни поисковъ чего-то, пусть еще робкихъ, не было,—вотъ тогда, дѣйствительно, стоило бы плакать и выть. Да и то не знаю; тогда, пожалуй, просто надо бы ложиться и умирать.

Тѣмъ изъ скрытыхъ нытиковъ, которые повторяютъ зады, фразы о „положительныхъ" своихъ идеалахъ, не изъ упрямства и приличія, а еще вѣря въ нихъ,—тѣмъ, конечно, наступившая пестрая полоса новыхъ поисковъ и метаній не принесетъ ничего. Они просто останутся за флагомъ,—за жизнью. Что бы жизнь завтра изъ этого сегодняшняго хаоса ни выработала, что бы, наконецъ, ни всплыло наверхъ,—оно имъ будетъ чуждо,

ибо они стояли, пока другіе двигались. Но думаю, что не много ихъ такихъ, стоячихъ. Пусть говорятъ, что хотятъ. Но и они растеряны, и они не увѣрены.

— Гдѣ вашъ твердый камень? Вѣрите въ него?

— Я... я ищу его...

II.

Не книги, не сборники, не газеты даютъ самое яркое ощущеніе благодѣтельной растерянности нашей,—но живое соприкосновенье съ живыми людьми. Книги и газеты лишь вѣрно отражаютъ ее, подтверждаютъ. Они приносили намъ изъ Россіи слова, рожденныя тѣмъ-же духомъ, которому мы были близки и въ Парижѣ. Да, да, и тьма, и плохо, только ныть не надо! Вѣдь плохо-то потому, что мы были плохи. Объ этомъ словъ еще нѣтъ (написанныхъ)—но, право, не было-бы и духа смятенія, еслибъ подсознательно уже не шевелилось это въ глубинѣ.

Живые люди ищутъ... И слава Богу. Ужъ какъ надоѣла порнографическая да мистическая литература, ужъ какъ противны устарѣвшія „богоборчества“ да „сверхчеловѣческія“ грезы, да всякія путанныя „метафизики“ и т. д.,—однако, чѣмъ больше вглядываешься въ крутое теченіе жизни, тѣмъ яснѣе видишь, что безъ этого не обойдешься. Въ Парижѣ теперь около 80 тысячъ русскихъ. Говорю лишь о русской колоніи, конечно; о русскихъ „общественникахъ“, стоящихъ приблизительно въ одинаковомъ отношеніи къ Россіи. Всѣ они „свѣжіе“, т. е. русскіе люди двухъ послѣднихъ лѣтъ. И русскіе „растерянность и хаосъ“ на нихъ отражаются точно и вѣрно, только ярче выступаютъ, виднѣе: въ Россіи, въ жизни общества, они заслонены отъ наблюденія обывательщиной, механизмомъ внѣшняго порядка,—мало-ли чѣмъ! Въ эмиграціи все обнажено. Люди внѣ опредѣленнаго, своего, быта, внѣ извѣстной среды, положенія, класса. Люди со всѣхъ концовъ широкой Россіи,—разнородные и разномысленные „работники“ одной и той-же нивы. Именно *люди* прежде всего, но одинаково связанные съ родиной прошлымъ своимъ какими-то мечтами своими, и такъ, что связь эту, пожалуй, и не разорвать никогда. Петербургскому журналисту можно брюжжать, ныть и совершенно отчаяваться каждую недѣлю, въ этомъ проводить время. Онъ лишь „обозрѣваетъ“, констатируетъ. Здѣшнимъ *людямъ* отчаяваться нельзя. Можно отчаяться,—но тогда разочарованный долженъ пустить себѣ пулю въ лобъ. Такъ и дѣлаютъ. Можно еще — и должно иногда — сказать себѣ, что *ты* былъ плохъ, плохо дѣлалъ хорошее дѣло; но если рѣшить, что отдавалъ всю жизнь скверному или безнадежному дѣлу, которое непоправимо провалилось—нельзя, или провалишься тотчасъ самъ.

Люди выкинутые за рубежъ искреннѣе, ибо линіи здѣсь проще, поле

уже, время короче; а если не короче, то видно яснѣе, какъ время коротко.

За два года перемѣна внутренняго строя здѣшней эмиграціи—громадная. Какая перемѣна? Разочарованіе ли въ революціи, которая не удалась? Озлобленіе ли на внѣшнюю силу? Или уныніе? Или просто уклонъ къ эротизму и литературщинѣ, какъ слѣдствіе разочарованія? Во всякомъ случаѣ — наростаніе общей путаницы и смятенія. Разобраться окончательно еще нельзя ни въ чемъ. Попробую лишь привести нѣсколько примѣровъ.

Я помню: годъ-полтора тому назадъ была здѣсь лекція Андрея Бѣлаго. Извѣстно, что этотъ махровый поэтъ, яркій мистикъ и даже больше — человѣкъ религіозный — имѣетъ пристрастіе къ соціалъ-демократіи. Этого философа, соединяющаго въ себѣ научность и... заоблачность, плѣняютъ научные аттрибуты марксизма. Не то, что плѣняютъ, а какъ-то тревожатъ, и съ марксизмомъ онъ вѣчно возится. Лекція его называлась „Соціалъ-демократія и религія".

Въ громадной толпѣ мы были съ нимъ вдвоемъ тогда: онъ на эстрадѣ, я въ публикѣ. Такъ ощущалось. Пока онъ читалъ о соціалъ-демократіи—проводилъ свою точку зрѣнія,—было такое чувство, что никто ничего не понимаетъ и не нужна никому его тяжелая артиллерія; когда же дѣло дошло до „религіи" — то аудиторія стала презрительно враждебна: вотъ-вотъ разсмѣются, крикнутъ и уйдутъ. Послѣдующія пренія ярко подтвердили это. Серьезные „партійные" люди, конечно, и возражать не стали. Говорили самые немудреные „товарищи", и всѣ одинаково: съ презрительнымъ негодованіемъ противъ лектора, и даже не касались лекціи. Лекторъ, пытаясь защищаться, поневолѣ впалъ въ отвлеченности. Его уже не слушали.

Мы вернулись домой съ грустнымъ чувствомъ. Ни одной мысли, никакого хода къ этимъ людямъ! „Это — дѣятели", утѣшаю я Бѣлаго. Но онъ какъ-то и не унывалъ: „Ну что-жъ, оттого что дѣятели, оттого и должны понять. Поймутъ".

Мережковскій читалъ затѣмъ „О насиліи". Народу была масса. Оппоненты, оффиціальные и болѣе серьезные, говорили, однако, то же самое: общественность—дѣло наше и мы ужъ его знаемъ, а небо надо оставить воробьямъ и галкамъ. На болѣе позднемъ чтеніи Мережковскаго „Что такое абсолютизмъ" — возражалъ уже Мартовъ... но съ какой небрежностью! Болѣе обращалъ вниманіе на двухъ какихъ-то робкихъ оппонентовъ, которые, къ его удивленію, не особенно разругивали лектора. Хоть это были и „товарищи" изъ чужой партіи, а все-таки, по мнѣнію Мартова, не надо болтать снисходительныхъ пустяковъ.

Прошелъ годъ... Картина незамѣтно, неуловимо измѣнилась. Вотъ Мартовъ... (я вѣдь не противъ Мартова, лично я его и не знаю, беру какъ

живой значокъ) — на той же самой эстрадѣ Мартовъ защищаетъ свой „твердый камень-адамантъ“ отъ слова „религія“; и уже не презрительно, а яростно, съ волненіемъ и злостью, и уже не противъ декадентовъ-литераторовъ какихъ-то, или снисходительныхъ товарищей-враговъ, — но противъ молодыхъ товарищей-друзей, сидѣвшихъ, казалось, на томъ же адамантовомъ камнѣ и вдругъ тоже заговорившихъ о „религіи“...

Меня особенно удивило, что случилось это по поводу лекціи Н. Бердяева, лекціи въ извѣстномъ смыслѣ неудачной, догматической и отвлеченной, про которую самъ авторъ, шутя, говорилъ, что ее скорѣе слѣдуетъ читать сомнѣвающимся попамъ, чѣмъ парижскимъ эмигрантамъ... Перваго, застарѣлаго оппонента, забормотавшаго, было, о прошлогоднихъ „галкахъ и воробьяхъ“,—никто уже не слушалъ. Но слѣдующіе за нимъ и вызвали гнѣвъ Мартова. Они ни соглашались, ни не соглашались съ Бердяевымъ. Они говорили свое, еще смутное, еще недодуманное, можетъ быть, но уже властное, признавали вопросъ тамъ, гдѣ, по мнѣнію Мартовыхъ, не должно быть вопроса... И слово „религія“ говорили они такъ просто и твердо, что ясно было—оно имъ свое, а не смѣшное, чуждое слово, услышанное отъ случайнаго лектора.

Много разъ и подолгу приходилось намъ разговаривать и съ этими молодыми „дѣятелями“, и съ другими, съ привычно между собою враждующими „товарищами“—но въ глубинѣ чѣмъ-то странно уже объединенными. Привычно-раздѣльные — они охотно сходились вмѣстѣ на „нейтральной“ площади нашей комнаты. Чувствовалось, что разговоры идутъ не о пустякахъ, а о самомъ сейчасъ для каждаго важномъ, и это важное само собой оказывалось... между прочимъ—внѣпартійнымъ.

Спѣшу оговориться: отнюдь не внѣобщественномъ, отнюдь! Я знаю, что́ мнѣ поспѣшатъ возразить на всѣ мои разсужденія: вотъ, скажутъ, невидаль! Выброшенные революціей люди отъ нечего дѣлать стали заниматься „вопросами“, почувствовали, можетъ быть, влеченіе къ современной литературщинѣ... Исключать ихъ изъ партіи, вотъ и все. Потери мало. Да и не то-же самое, en grand, происходитъ въ Россіи? Все это явленіе „хаоса“, вся растерянность, всѣ эти нездоровые вкусы къ „вопросамъ“, и „безобщественность“—все потому, что сбиты люди съ позиціи, ну иные и замалодушествовали... А вотъ разсѣется тьма, оправятся болѣе сильные, вернутся...

Куда? На старыя позиціи? Позволю себѣ привести тутъ слова С. Булгакова изъ его „Рѣчи“. (Русск. Мысль). Булгаковъ для меня не авторитетъ, онъ не мой единомышленникъ, но я очень цѣню скромную и сдержанную увѣренность его тона, несомнѣнную наглядность многихъ его положеній. „Нѣтъ,—говоритъ Булгаковъ, — вернуться на старыя духовныя позиціи нельзя, мы отдѣлены пропастью, полной мертвецовъ, мы выросли и исторически поумнѣли... Надо начать что-то новое, учесть историческій

опытъ, познать въ немъ самихъ себя и свои ошибки, ибо иначе, если мы будемъ видѣть ихъ только у другихъ... то мы останемся загипнотизированные своей враждой и ничему не научимся"...

Вотъ это лишь и хотѣлось мнѣ сказать; съ той прибавкой, впрочемъ, что, думается, „новое", которое „нужно начать",—уже началось, и скользятъ его искры одинаково вездѣ, во всей однообразной тьмѣ нашего чулана. Въ тошной на первый взглядъ и противной нео-литературѣ нашей, въ овечьемъ киданьи „общества" не то на „развлеченья", не то на „культурную работу", въ мѣшанинѣ, наполняющей низы газетныхъ листовъ, въ глупомъ, подчасъ, удальствѣ молодежи, даже въ чрезмѣрномъ превознесеніи Андреева... вездѣ онѣ, эти искры, есть, надо умѣть видѣть и... не только ждать, но умѣть освобождать ихъ изъ-подъ мусора. Уже будни жизни начинаютъ ими переливаться. Глубоко прячутъ отъ чужого взора г.г. Мартовы съ Невѣдомскими свою „растерянность", свой „хаосъ"... а *только* изъ него и можетъ родиться новое. Прячутъ, пытаются увѣрить насъ, что у нихъ все еще свѣтятъ ихъ сальные огарки... Но не скроютъ, не обманутъ... Святая, благодѣтельная „растерянность" есть и у самыхъ „твердыхъ" проповѣдниковъ стараго, закралась и въ ихъ укрѣпленный лагерь... ну, значитъ, и тутъ есть надежда на что то иное, нужное, дѣйственное.

Можетъ быть „хаосъ" этотъ и „тьма"—шире охватили насъ, чѣмъ это думаютъ. Можетъ быть есть они даже и тамъ, откуда вѣяло на насъ всегда лишь „вѣковой тишиной"... Дай Богъ. Не дѣти же мы, въ самомъ дѣлѣ, которыхъ взяли да и заперли въ чуланъ! Если знать, что совершилось съ нами что-то поважнѣе чулана, что не одна „мама", а и мы сами кое въ чемъ виноваты, если вѣрить Чехову, восклицающему: „сколько хорошихъ людей на свѣтѣ"! и вѣрить въ несомнѣнную силу жизни,—то нельзя не привѣтствовать нашъ сегодняшній „хаосъ", нашу смятенность; это лишь необходимая оглядка на себя и на привычное „свое", на тотъ „твердый" камень, который вдругъ осѣлъ, какъ болотная кочка...

Право, довольно стонать, ныть, браниться и „все отвергать". Это капризы и ребячество. Будемъ искать добраго, а худое само отпадетъ. Тьму, сколько ни размахивай руками, не разгонишь; а затеплиться огонь—она сама отступитъ.

Антонъ Крайній.

НОВАЯ ВѢРА.

(По поводу „Исповѣди“ М. Горькаго).

Пепелъ. Куда теперь?

Лука. Въ хохлы... Слыхалъ я открыли тамъ *новую вѣру*... Поглядѣть надо... да!.. Все ищутъ люди, все хотятъ, — какъ лучше... дай имъ, Господи, терпѣнья.

. . . .

Наташа. Кабы нашли *что-нибудь. Придумали-бы* получше что!.

М. Горькій „На днѣ“, т. VI, стр. 247.

Глава I.

Двѣ исповѣди.

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ графъ Л. Н. Толстой разсказалъ всему міру повѣсть своихъ исканій. Разсказалъ о томъ, какъ за исключеніемъ дѣтства, 35 лѣтъ прожилъ „нигилистомъ, въ смыслѣ отсутствія вѣры“, какъ затѣмъ стали на него находить минуты „недоумѣнія и остановки жизни“, какъ не находя смысла жизни, не зная, что дѣлать, онъ началъ впадать въ уныніе и не разъ былъ готовъ покончить съ собой, потому что прежній „обманъ радостей житейскихъ, заглушавшій *ужасъ смерти*“, уже не обманывалъ его и онъ „не видѣлъ *никакого выхода кромѣ смерти*“...

Но выходъ нашелся. „Пять лѣтъ тому назадъ,— писалъ Л. Н. Толстой въ „Исповѣди“ на пятьдесятъ шестомъ году своей жизни,—я повѣрилъ въ ученіе Христа и жизнь моя *вдругъ* перемѣнилась“.

Не у людей своего круга почерпнулъ великій писатель земли русской свое знаніе вѣры, а сближаясь съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками...

Въ чемъ-же заключалась эта *настоящая* вѣра необходимая для народа, творящаго жизнь, вѣра дающая смыслъ и возможность жизни тому самому *мужику*, надъ которымъ тяготѣла „власть земли“?

Эти люди „принимали болѣзни и горести *безъ всякаго недоумѣнія и противленія* и со спокойною твердою увѣренностью въ томъ, что это должно быть и не можетъ быть иначе, что все это — добро“ — таковъ былъ отвѣтъ „Исповѣди“ на поставленный вопросъ.

Въ своей новой жизни, въ своихъ новыхъ произведеніяхъ Л. Н. Толстой сталъ воплощать эту „настоящую вѣру“ рабочаго народа, сталъ весь міръ учить какъ жить, что дѣлать, противопоставивъ божеское человѣческому, ученье Христово мірскому ученью, противопоставивъ идеаламъ политическаго и соціальнаго переустройства свою истину, казавшуюся ему „простой, понятной и неопровержимой“, истину, которая сводилась къ немногому:

„Для того чтобы была добрая жизнь между людьми—нужно, чтобы люди были добрые“.

Какъ ни проста, ни понятна была эта мысль, но люди добрѣй не становились, и какъ разъ теперь, когда весь міръ привѣтствуетъ восьмидесятилѣтняго старца, повсюду клокочетъ злоба и точно огненная лава, широкимъ потокомъ льется кровь человѣческая.

Проповѣдникъ непротивленія, зовущій стать добрыми—и міръ, обагренный кровью вражды,—*одинъ* и *всѣ* стоятъ теперь лицомъ къ лицу, чтобы страшнѣй подчеркнуть ту бездну, которая легла между ними. *Онъ* не пойдетъ за міромъ, потому что не хочетъ, *міръ* не пойдетъ за нимъ, потому что не можетъ. Геніальный художникъ и выдающійся человѣкъ, нашелъ для себя выходъ, разрѣшилъ вопросъ что дѣлать, какъ жить, но разрѣшилъ *только для себя.* Человѣчество пойдетъ иной дорогой къ иному рѣшенію.

Только что появившаяся въ XXIII Сборникѣ Знанія „Исповѣдь“ М. Горькаго представляетъ огромный интересъ, какъ своего рода отвѣтъ на „Исповѣдь“ Л. Толстого, какъ попытка дать иное рѣшеніе и указать выходъ не для себя, а для всѣхъ, какъ новая вѣха, поставленная черезъ четверть вѣка, художникомъ, вышедшимъ изъ среды того самаго „рабочаго народа“ „настоящую вѣру“, котораго возвѣстилъ графъ Л. Н. Толстой.

Это произведеніе М. Горькаго заслуживаетъ огромнаго и серьезнаго вниманія. Не *ужасъ смерти,* а радостное опьяненіе человѣчностью диктуетъ М. Горькому лучшія страницы его книги. „Никогда я о смерти не думалъ, да и теперь мнѣ некогда“—эти слова Матвѣя изъ „Исповѣди“ М. Горькаго могъ-бы взять художникъ эпиграфомъ ко всему своему творчеству.

Графъ Толстой отвернулся отъ людей своего круга, чтобы найти настоящую вѣру у мужика, бывшій „мастеровой“ М. Горькій стремится найти себя въ рабочей массѣ, духовно закрѣпивъ свою кровную связь.

Первое слово „Исповѣди“ Толстого это „я“, это *внутреннее* просвѣтлѣніе, это отъединеніе... Первое слово „Исповѣди“ М. Горькаго это

„мы“: отъ обособленности къ общности, отъ одиночества къ единенію, „къ всеобщему сліянію ради великаго дѣла“. Черезъ это сліяніе ведетъ художникъ своего героя „въ добрую жизнь“.

Еще считая себя „особеннымъ“ человѣкомъ, героемъ, еще отдѣляя себя отъ другихъ, Матвѣй полагаетъ, что сначала человѣкъ долженъ найти свою „духовную родину“, тогда онъ увидитъ и мѣсто свое на землѣ, тогда найдетъ свободу; но уже въ концѣ своихъ странствованій по мукамъ. онъ убѣдился, что невольники окованные тяжкими цѣпями повседневнаго труда прежде всего должны избариться отъ „вещественныхъ тюремъ“, чтобы освободиться „изъ плѣна жадности“, должны прежде всего узнать силу ближайшаго врага, изучить его хитрости, для чего необходимо людямъ „найти другъ друга, открыть въ каждомъ единое со всѣми“. Въ этомъ единеніи видитъ художникъ огромную творческую силу.

Борцами за освобожденіе изъ плѣна у Горькаго являются не толстовскіе странники и мужики, которые принимали горести „безъ всякаго недоумѣнья и противленья“, не эти кроткіе и „добрые“ люди, не „праведники“. Въ темной и сырой ямѣ безъ воздуха и свѣта погасаетъ схимникъ Мардарій, этотъ типичный непротивленецъ, который живымъ во гробъ положенъ и отказался отъ борьбы со зломъ.

Нѣтъ, герой повѣсти безстрашенъ и дерзокъ. Ведетъ онъ споръ и съ человѣкомъ и съ Богомъ, не боится грѣха, и не хочетъ „ямы“.

Глаза на законы жизни открываетъ ему безсмертно-веселый человѣкъ, ведущій свою родословную отъ шутовъ божіихъ, отъ историческихъ скомороховъ.

Этотъ безсмертно-веселый человѣкъ, свободный и грѣшный проходитъ черезъ всю повѣсть въ разныхъ лицахъ, но съ единымъ сердцемъ, преисполненнымъ буйной радости, сердцемъ пьянымъ отъ любви къ землѣ. Это родство цѣлаго ряда радостно настроенныхъ людей подчеркиваетъ и самъ художникъ.

„Ты нѣсколько похожъ на Савелку“, — говоритъ Матвѣй страннику Іегудіилу,—который пьянъ и буенъ радостью и въ народѣ видитъ Бога“.

„Вижу я у этого человѣка Савелкинъ строй души“ — характеризуетъ тотъ-же Матвѣй Серафима, этого молодого монаха со свѣтлой разсѣянной улыбкой.

Савелка—пьяница, пѣвецъ и разсказчикъ сказокъ, дьячекъ Ларіонъ—любимецъ и любитель птицъ, Петръ Ягихъ—слесарь съ дѣтскими глазами, который вѣчно хохочетъ, Власъ—мнящій себя богомъ, потомкомъ, скотскаго бога Велеса, этотъ церковный сторожъ, котораго вѣчно тянетъ изъ церкви въ поле, наконецъ Степа—тривадцатилѣтній веселый паренекъ собирающійся изъ завода идти по всей землѣ—все это *„русской земли цвѣты“*, по выраженію Іегудіила.

Даже православная церковь, церковь-кладбище, не убила ихъ веселую

грѣшную душу и этой душой они сливаются со всѣмъ міромъ и человѣчествомъ.

Рабочая масса и весь народъ—по духу подходятъ къ дерзкому и безсмертно веселому человѣку.

Это не тѣ, о которыхъ говоритъ Л. Н. Толстой и не тѣ, чьи схемы даетъ намъ „Царь Голодъ“ Леонида Андреева.

Въ адскомъ шумѣ и featureнѣ машинъ „*побѣдоносно* и беззаботно вспыхиваетъ *веселая* пѣсня“ и улыбается герой „Исповѣди“, вспоминая Иванушку дурачка на китѣ по дорогѣ въ небеса за чудесной Жаръптицей.

„Всѣ эти рѣзкіе люди, смѣлые, хотя и матерщинники, похабники и часто пьяницы, *свободный, безстрашный народъ*. Не похожъ онъ на странниковъ и холоповъ земли, которые обижали Матвѣя своей робостью, растерянной душой, безнадежной печалью, мелкой жульковатостью въ дѣлахъ съ Богомъ и промежъ себя. Эти люди въ мысляхъ дерзкіе и хотя озлоблены каторжнымъ трудомъ, ссорятся, даже дерутся другъ съ другомъ,—но ежели начальство нарушаетъ справедливость, *всѣ* они встаютъ противъ него, почти *какъ одинъ*“.

Весь народъ молчитъ, но „въ огнѣ своихъ безмолвныхъ думъ уже готовится въ пепелъ превратить старый законъ“. Лицо народа „немощно на словахъ, но въ тайныхъ мысляхъ *дерзко*“, не даромъ-же этотъ молчаливый народъ не разъ скрывалъ Матвѣя отъ преслѣдованія, когда послѣдній дерзко, безстрашно говорилъ передъ нимъ, собирая народъ во едино, освѣщая передъ нимъ „*тайное лицо его*“.

Это тайное лицо едва, едва намѣчаетъ въ своей повѣсти М. Горькій, но какъ не похоже оно на то явное рабски-покорное лицо, лицо-маску, которое возмущаетъ и приводитъ въ отчаяніе однихъ, оправдываетъ, освящаетъ непротивленье другихъ, внушаетъ безсмысленныя мечтанія третьимъ.

Здѣсь въ этой оцѣнкѣ, въ этомъ освѣщеніи тайнаго лица народа нѣтъ мѣста фаталистической формулѣ навязанной толстовствомъ народу: „*должно быть и не можетъ быть иначе*“. „Край родной *долготерпѣнья*“, „*въ рабскомъ видѣ* Царь небесный“ отошли въ область преданья. Л. Н. Толстой и М. Горькій характеризуютъ *одинъ* и тотъ-же народъ, но два лица его и здѣсь сказывается огромное различіе въ переживаніяхъ и настроеніяхъ обоихъ художниковъ, двѣ точки зрѣнія.

Но не только это: двѣ исповѣди написаны не даромъ на разстояніи четверти вѣка, а за это время много воды утекло, да и крови народной... Народъ съ пережитками крѣпостничества, народъ подъ „властью тьмы“ и властью стихійныхъ силъ природы, попадаетъ подъ власть стихійныхъ силъ міроваго рынка, народъ съ его *зоологической* правдой, съ его идеалами натурально-общиннаго хозяйства уступаетъ мѣсто обездоленному народу, готовому сознать свою политическую и соціальную обездоленность, „увидѣть свое мѣсто на землѣ“ и поспорить за это мѣсто.

Не о долготерпѣньи и не о рабскомъ видѣ Царя небеснаго говорятъ тысячи фактовъ, а о грядущемъ страшномъ судѣ. И не даромъ-же въ российской тюрьмѣ прежде политическимъ заключеннымъ былъ исключительно *баринъ*, кающійся дворянинъ или интеллигентъ разночинецъ, а теперь въ „политикѣ“ подавляюще преобладаютъ мужики и рабочіе, когда-то заполнявшіе уголовные корридоры, или ссылаемые въ дальніе монастыри за свои раскольничьи ученія, за *старую* вѣру. Пока Л. Н. Толстой обращался со своей проповѣдью къ *каждому* отдѣльному человѣку *общія условія* жизни измѣнились и все сильнѣе и рѣшительнѣе опровергаютъ простую неопровержимую истину—„надо чтобы всѣ люди стали добрыми“—замѣняя ее другой, которая гласитъ: „для того, чтобы жизнь стала доброю—нужно, чтобы всѣ обездоленные *перестали* быть „добрыми“.

Поскольку повѣсть М. Горькаго служитъ торжеству этой истины—она имѣетъ огромное воспитательное значеніе.

Двѣ исповѣди — это земля и небо: одна мечтаетъ о времени, когда восторжествуетъ *божеское*, другая возвѣщаетъ эпоху, когда побѣдитъ *человѣческое*.

Своей „Исповѣдью“ М. Горькій отвергъ *настоящую вѣру* и съ этимъ отвѣтомъ художника согласится поколѣнье девяностыхъ и первой половины девятисотыхъ годовъ, согласится, потому что къ такому отвѣту приводитъ историческая необходимость, о такомъ отвѣтѣ все болѣе явно говоритъ тайное лицо народа.

Но отрицаніе М. Горькаго гораздо шире. Онъ не только всѣмъ содержаніемъ книги отвергаетъ „*настоящую* вѣру“ толстовства, онъ возстаетъ противъ *невѣрующей* вѣры, противъ современной положительной религіи съ ея атеизмомъ, который притворяется теизмомъ, съ ея антихристіанствомъ, вопіющимъ о христіанствѣ, съ ея сатаной отвѣтственнымъ за все злое. Онъ доказываетъ, что истинный атеистъ тотъ, кто божественную любовь, истину, справедливость ставитъ ни во что, а не рабочій Петръ Ягихъ, который весь свой пылъ отдаетъ великому дѣлу, а не Богу.

„Каковъ, кто есть—таковъ и Богъ его“—говорилъ когда-то Гете. Герой повѣсти также приходитъ постепенно къ выводу, что „у каждаго свой Богъ и каждый Богъ немного красивѣе и выше слуги и носителя своего“.

Въ своихъ многолѣтнихъ скитаніяхъ Матвѣй видитъ „хаосъ разобщенія всѣхъ со всѣми“, видитъ, какъ „грязная пыль человѣческая носится по землѣ и сметаетъ ее разными вѣтрами къ папертямъ разныхъ церквей“, видитъ, какъ „разрушенный человѣкъ“ или „раздробленный“, употребляя терминологію Богданова, создаетъ и разрушеннаго, раздробленнаго Бога. И чѣмъ ближе человѣкъ стоитъ къ своему личному Богу, тѣмъ дальше онъ уходитъ отъ людей. Вся жизнь Матвѣя, его огромный опытъ, его перерожденіе это медленный переходъ отъ разобщенности, отъ личнаго Бога

къ единенію съ людьми и собиранію себя, какъ человѣка и собиранію Бога, какъ сына народнаго духа.

Подкидышъ, всѣмъ чужой, Матвѣй уходитъ въ церковное; съ дѣтства уже двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ его „потянуло въ сторону отъ людей". Онъ уходитъ въ молитву отъ жизни и молится до самозабвенья, до того, что „исчезаетъ изъ памяти своей, перестаетъ быть". Съ высокихъ облаковъ *религіознаго* экстаза „всѣ люди незамѣтны становились для него и человѣческое невидимымъ".

Богъ для Матвѣя—это свѣтъ, это красота, человѣкъ для него—совокупность всего ничтожнаго и грѣховнаго. Его Богъ требуетъ жертвъ себѣ, онъ беретъ всю душу, и людямъ бросаетъ обглоданное сердце. Подобно тому, какъ прежде приносилъ человѣкъ своему Богу жертвы *кровью*, такъ теперь на алтарь своего владыки этотъ вѣрноподданный несетъ свои внутреннія помышленія, свои лучшіе порывы, все то, что считается нынѣ высшимъ благомъ. И тутъ и тамъ вѣрный сынъ религіи жертвуетъ своими обязанностями и человѣческими отношеніями. Вмѣсто любви къ человѣку, въ сердцѣ „святого" Матвѣя пылаетъ любовь къ Богу и не хочетъ онъ видѣть, какъ барская контора обираетъ крестьянъ, и не хочетъ онъ слушать ѣдкихъ насмѣшекъ Савелки-скомороха.

Но годы идутъ. Жизнь, какъ спрутъ присасывается къ Матвѣю. Онъ начинаетъ сталкиваться съ людьми въ борьбѣ за личную судьбу, онъ начинаетъ копить опытъ. Любовь къ тихой Ольгѣ, дочери вора Титова также требуетъ отъ Матвѣя жертвы. Матвѣй изъ любви къ другому человѣку долженъ перестать быть святымъ. Эта любовь къ Ольгѣ пробила брешь изъ того міра въ этотъ міръ. Отъ любви къ Ольгѣ онъ перешелъ къ иной любви. Постепенно лице Бога тускнѣетъ, и Матвѣй медленно опускается съ неба на землю.

Весь этотъ періодъ любви, брака, постройки собственнаго дома, новыхъ грѣховъ противъ народа, пожара, новой постройки, рожденія перваго ребенка, новой беременности, смерти жены отъ родовъ, смерти перваго ребенка, отравившагося случайно мышьякомъ,—художникъ изображаетъ по Андреевски, быстро расправившись со всѣмъ прошлымъ. Ему нужно, чтобы Матвѣй снова остался одинокимъ и чужимъ для всѣхъ, но уже съ душей растравленной грѣхомъ и страданьемъ.

— Куда же теперь? Въ церковь? Къ Богу? или въ петлю?—Но петля не разрѣшаетъ жизни, а Богъ все болѣе становится Матвѣю чужимъ и враждебнымъ. Уже давно спрашивалъ Матвѣй Ларіона, отчего Богъ не помогаетъ людямъ. При постройкѣ дома, растравивъ грѣхомъ свою душу, Матвѣй подобно Ильѣ, питомцу дѣдушки Еремея, вступаетъ въ споръ съ Богомъ. Этотъ споръ приводитъ къ вопросу объ оправданіи Бога: гдѣ-же божеское? откуда злое?

Первое время священное писаніе указываетъ на сатану: „на бѣднаго

Макара всѣ шишки валятся". Всѣ ужасы жизни, все безобразное земли, все приписываетъ Матвѣй ему—злому духу. Но ужъ мелькаетъ въ его умѣ „одна догадка", наростаетъ сомнѣніе, но не мертвое, какъ у Антонія, а могучее и творческое. Бесѣда съ протопопомъ, хранителемъ чернаго Бога, съ его откровеніемъ и карою, встрѣча съ „гулящей дѣвкой", этой чуткой отзывчивой душой, полной не *„тьмы"*, а свѣта и радости, два года монастырской жизни и шестилѣтнія странствованія очеловѣчиваютъ Матвѣя и помогаютъ ему познать и найти себя.

Прежде глухой къ человѣческимъ стонамъ, теперъ убѣждается онъ, что *„всякое горе нынѣ его горе"*. Минуты самозабвенія онъ переживаетъ не отъ молитвы, а отъ единенія съ народомъ. Прежній Богъ — ничто, народъ—это все и ему то Матвѣй отдаетъ все свое пламенное чувство.

Въ душѣ Матвѣя умерла старая вѣра въ сатану и личнаго Бога. Онъ знаетъ кто врагъ всего справедливаго, разумнаго и прекраснаго, онъ увѣровалъ въ новаго Бога. Онъ жизнь превратилъ въ „богостроительство".

Онъ пойдетъ, пойдетъ по всей землѣ исповѣдовать новую вѣру.

„Богъ умеръ, да здравствуетъ Богъ"—могъ бы воскликнуть Матвѣй... Умерла старая религія,—да здравствуетъ новая—религія человѣческая". „Populus homini deus est".

Такимъ образомъ, Матвѣй отъ богоборчества и отрицанія приходитъ къ богостроительству и утвержденію.

Глава II.

Они придумали.

Если отрицаніе М. Горькаго имѣетъ положительный характеръ, то утвержденіе его можетъ привести къ результатамъ отрицательнымъ. Попытаемся доказать это положеніе.

Оставимъ пока въ сторонѣ Матвѣя, который самъ говоритъ о себѣ: „я не хозяинъ и не рабочій". Перейдемъ къ основанію новой вѣры, пророками которой являются учитель Михаилъ и бывшій священникъ Іегудіилъ.

Новый Богъ М. Горькаго, разумѣется, ничего общаго не имѣетъ съ личнымъ Богомъ раздробленнаго человѣка, съ разными богами разныхъ людей. Это Богъ красоты и разума, справедливости и любви, это Богъ человѣчества, Богъ всѣхъ объединившихся въ одно цѣлое.

Михаилъ за свою книжность прозванный „Начетчикомъ", не только исповѣдуетъ этого Бога, онъ его пытается научно обосновать. Оказывается, что новый Богъ Михаила уже *былъ*, „когда люди творили его изъ веществъ своей мысли, дабы освѣтить тьму бытія, а когда народъ разбился на рабовъ и владыкъ, на части и куски, когда онъ разорвалъ свою мысль и волю—этотъ богъ погибъ, богъ разрушился". Всѣ бѣды, недо-

стойныя разума человѣческой жизни, начались по словамъ Михаила „съ того дня, какъ первая человѣческая личность оторвалась отъ чудотворной силы народа, отъ массы матери своей и сжалась отъ страха передъ одиночествомъ и безсиліемъ своимъ въ ничтожный и злой комокъ мелкихъ желаній, комокъ, который нареченъ былъ „я".

Михаилъ однако съ упованіемъ смотритъ на будущее, онъ предвѣщаетъ время, когда—„вся воля народа вновь сольется въ одной точкѣ", и тогда „въ ней должна возникнуть необозримая чудесная сила и воскреснетъ Богъ".

Какъ ни великъ авторитетъ начетчика Михаила въ глазахъ заводскихъ ребятъ, мы позволимъ себѣ отнестись съ большой осторожностью къ такой исторіи человѣчества, разсказанной какимъ то сантиментально-приторнымъ языкомъ. Эта исторія *придумана*, взята изъ головы, а не изъ были многовѣковой. Такая наивная романтика, такая идеализація старины глубокой противорѣчитъ серьезнымъ научнымъ изслѣдованіямъ, если не говорить о нѣкоторыхъ неудачныхъ популярныхъ брошюркахъ Лафарга. Въ тѣ отдаленныя времена, когда существовалъ первобытный коммунизмъ—не было бога разума и красоты, справедливости и любви и самъ родъ мало походилъ на всемогущаго Бога, „творящаго чудеса". Рабство передъ стихійной природой, жизнь безъ познанія стихійной власти ея, господство привычки, бѣдность содержанія этой жизни, мѣшавшая развитію творчества—вотъ этотъ золотой вѣкъ!

Правда, люди цѣльны, но они стереотипны; въ племени — одинъ за всѣхъ и всѣ за каждаго, но зато само племя въ цѣломъ противъ всѣхъ племенъ, зато одно племя истребляетъ другое съ невиданной теперь враждой. Хорошъ богъ любви и справедливости, красоты и разума! Повторяемъ, такого бога не зналъ никакой золотой вѣкъ.

Когда Михаилъ говоритъ о личности, разрушившей бога, о ея прегрѣшеньяхъ, причитанія этого начетчика также возмущаютъ, какъ нападки монаха Михаила съ его бунтующей плотью на женщину. Право, можно подумать, что для Михаила человѣческія „я"—какіе то бѣсы, отъ которыхъ онъ съ ужасомъ открещивается. Ужъ не увлекался ли онъ прежде первыми томами разсказовъ М. Горькаго и теперь замаливаетъ грѣхи. Нельзя умышленно закрывать глаза и забывать, что у оторвавшейся отъ рода личности были въ исторіи кой какія заслуги—и никто такъ не приблизилъ человѣчество къ разуму и красотѣ, какъ это самое „я". Развѣ не оно во время великой французской революціи возстало противъ авторитетовъ и свергало ихъ

К. Марксъ никогда не забывалъ великихъ преступленій прошлаго, онъ указывалъ на долины Индіи, усѣянныя человѣческими костями по волѣ этого „я", но развѣ онъ же въ своемъ манифестѣ не говорилъ, что буржуазія была „въ высшей степени революціонна", не нарисовалъ величественную

картину одержанныхъ ею величайшихъ былыхъ побѣдъ. Нынѣ „я“ возстало противъ будущаго, потому что оно, это будущее несетъ соціализмъ, но, развѣ богъ Михаила—его, это „я“ побѣдилъ?

„Богъ будетъ созданъ“—обѣщаетъ Михаилъ. „Богъ будетъ разрушенъ и не воскреснетъ“—восклицаетъ исторія.

Красота и разумъ, справедливость и любовь придутъ во всей своей силѣ и славѣ, но не облекутся они въ обноски съ поповскаго плеча. Недаромъ же слесарь Петръ Ягихъ говоритъ своему племяннику: „ты Мишка нахватался церковныхъ мыслей, какъ огурцовъ съ чужого огорода наворовалъ и *слушаешь* людей! Коли говоришь, что рабочій народъ долженъ жизнь обновлять—обновляй, а не подбирай того, что попами до дыръ заношено, да и брошено“.

На это Михаилъ ничего не отвѣтилъ.

За бунтъ противъ начетчика слесарь наказанъ. Онъ фразы не склеитъ безъ Бога, котораго отрицаетъ, но это обстоятельство только доказываетъ, какъ трудно отдѣлаться отъ унаслѣдованной терминологіи, которую Михаилъ поддерживаетъ сознательно, внося въ нее собственное содержаніе. Въ этомъ отношеніи начетчикъ Михаилъ слѣдуетъ по стопамъ Людвига Фейербаха.

Блестящая критика этого философа противъ положительной религіи, написанная 60 лѣтъ тому назадъ, дала не мало цѣнныхъ указаній автору „Исповѣди“, но та же философія подарила ему вмѣстѣ съ тѣмъ своего абстрактнаго человѣка, свое „общее человѣчье“, и главное, свою терминологію, унаслѣдованную отъ стараго.

По Фейербаху выходило, что половая любовь, дружба, состраданіе, самоотверженіе и всѣ, основанныя на взаимной склонности отношенія людей получаютъ полное свое значеніе только тогда, когда ихъ освѣтитъ *словомъ религія*. „Для Фейербаха, главное дѣло—пишетъ Ф. Энгельсъ—не въ томъ, чтобы существовали такія, чисто человѣческія отношенія, а въ томъ, чтобы на нихъ смотрѣли, какъ на новую истинную религію. Существительная религія происходитъ отъ глагола „religuere“ и означало первоначально *связь*, т. е. всякая взаимная связь людей есть религія. Подобные этимологическіе фокусы представляютъ собою лазейку идеалистической философіи. *Словамъ* приписывается не то значеніе, какое они получили путемъ долгаго историческаго употребленія, а то, какое они должны были-бы имѣть въ силу своей этимологической родословной.

На томъ, чтобы отбросить самое слово „религія“ настаиваетъ и Дицгенъ, хотя самъ, какъ Петръ Ягихъ никакъ не можетъ отъ него отдѣлаться. Дицгенъ предлагаетъ это сдѣлать, чтобы „разорвать не только по внѣшности, но и по внутреннему содержанію,—не только по имени, но и на дѣлѣ съ объектомъ, опошленнымъ попами“.

Мы не сомнѣваемся, что связь человѣчества, его братство родятся въ

будущемъ изъ огня вѣковыхъ страданій во всей неописуемой нынѣ красотѣ, но когда восторжествуетъ „всечеловѣческое сотрудничество“, тогда умретъ окончательно придуманная связь и ея этимологическая родословная.

Если отбросить этимологическое толкованіе *слова* религія и перейти къ его *значенію*, полученному путемъ долгаго историческаго примѣненія, перейти отъ грамматики къ соціологіи, то самое опредѣленіе религіи станетъ инымъ, станетъ ясно, что всечеловѣческая связь это не религія, а религія не всечеловѣческая связь. Тутъ приходится вспомнить, что религія возникла въ самыя первобытныя времена изъ самыхъ неясныхъ первобытныхъ представленій людей о своей собственной и внѣшней природѣ.

„*Религія* явилась какъ *фантастическое отраженіе* въ головахъ людей тѣхъ внѣшнихъ силъ,—говоритъ Энгельсъ,—которыя опредѣляютъ ихъ повседневное существованіе; отраженіе, въ которомъ земныя силы принимаютъ форму силъ сверхъестественныхъ“.

Принимая такое толкованіе религіи, *можемъ* ли мы ее предполагать въ томъ строѣ, когда общество завладѣетъ всѣми средствами производства и станетъ планомѣрно распоряжаться ими, когда люди будутъ не только мыслить, но и управлять?

„Тогда исчезнутъ,—отвѣчаетъ Энгельсъ,—послѣдніе остатки *чуждой* силы, въ настоящее время отражающейся въ религіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ самое религіозное отраженіе по той простой причинѣ, что нечего будетъ больше отражать“.

Давно уже отошли въ область преданія лѣсные и рѣчные боги; огромный ударъ нанесенъ фетишизму товарнаго производства, давно уже религія и мистика стали достояніемъ погибающей буржуазіи. И вотъ теперь начетчикъ Михаилъ приходитъ къ намъ со своимъ богомъ, со своей новой вѣрой? Развѣ у насъ въ Россіи уже ликвидировано прошлое и въ октябрьскіе дни отошли въ область преданія привидѣнія старой религіи, какъ отошли во Франціи въ 1789 году, или въ Германіи въ 40-хъ годахъ? Развѣ эти привидѣнія не стоятъ на дорогѣ пролетаріата и народа? А если да, то не гораздо ли послѣдовательнѣе и раціональнѣе разорвать съ ними не только по внѣшности, но и по внутреннему содержанію, сознавая, что мертвый хватаетъ живого.

Обязанность соц.-демократіи сдѣлать то, чего не совершила у насъ буржуазія, покончить съ фантастикой и отраженіями, а не создавать почвы для новыхъ *религіозныхъ иллюзій*, для смѣшенія стараго съ новымъ. Или насъ пугаютъ только „конституціонныя иллюзіи“? Исповѣдь краснорѣчиво доказываетъ, что такая почва создается. Въ этомъ отношеніи „Исповѣдь“ М. Горькаго, появившаяся одновременно съ книгой А. Луначарскаго „Религія и соціализмъ“—является очень цѣннымъ дополненіемъ и указаніемъ.

Въ сборникѣ „Театръ“ А. В. Луначарскій писалъ о новой религіи

слѣдующее: „Соціализмъ, какъ доктрина есть истинная религія человѣчества, обнаженная отъ мистическихъ покрововъ, въ какія одѣвали ее недоразвитость ума и чувства нашихъ отцовъ. Все человѣческое сотрудничество ставитъ передъ собою задачу: долженъ быть богъ живой и всемогущій, *мы* — строители его. Научный соціализмъ абстрактно раскрываетъ въ основныхъ чертахъ *процессъ богостроительства*, иначе называемый *хозяйственнымъ процессомъ*“ (стр. 27).

Термины богъ, богостроительство пущены въ „Исповѣди“ въ обращеніе. Но богъ—метафора А. Луначарскаго не совсѣмъ то же, что богъ—народъ М. Горькаго, а богостроительство М. Горькаго плохо вяжется съ „Хозяйственнымъ Процессомъ“ А. Луначарскаго.

Во время крестнаго хода и чуда, при совершенно неожиданной обстановкѣ получили крещеніе всѣ эти термины въ „Исповѣди“. Тогда, какъ помнитъ читатель Матвѣй получилъ послѣдній ударъ въ сердце. У стѣнъ монастыря завершилось строеніе новаго храма. Тогда скажемъ мы, художникъ нанесъ своими образами послѣдній ударъ въ сердце „Хозяйственнаго Процесса“ въ сердце ученія о новой вѣрѣ.

Самая картина крестнаго хода написана вдохновенно, кажется самыя слова пламенѣютъ.

Этотъ крестный ходъ и чудо оставляютъ гдѣ-то далеко за собой безотрадныя мертвыя строки, заканчивающія „Савву“ Леонида Андреева. Эти два крестныхъ хода, два чуда, если хотите—похороны и апоѳеозъ народа.

Съ одной стороны: чудо-обманъ. Толпа валитъ, заполняя все. Раскрытые рты, округлившіеся, расширенные глаза... Пронзительно кричатъ кликуши, порченныя, бѣсноватыя... Мгновенный крикъ: Задавили... Замирающій откуда-то смѣхъ Тюхи (и быть можетъ, смѣхъ самого Л. Андреева)... Побѣдное пѣніе ширится, растетъ, переходитъ въ дикій ревъ... Сестра убитаго Саввы, истеричка Липа бросаясь въ толпу поетъ „Христосъ Воскресе“... А тутъ-же въ нѣсколькихъ шагахъ трупъ убитаго анархиста Саввы, захотѣвшаго разсѣять тьму и расшатать у народа вѣру.

Съ другой стороны чудо— какъ дѣйствіе огромной коллективной энергіи, страницы полныя непередаваемой красоты и необъятной радости. Сила народа, сосредоточенная въ одной точкѣ—заставляетъ встать и пойти „разслабленнаго“ ту самую недвижимую дѣвушку, вся жизнь которой въ тихомъ трепетѣ длинныхъ рѣсницъ. Но еще прежде совершается другое чудо, исцѣленіе болѣе удивительное: возстала душа Матвѣя и собралъ себя раздробленный человѣкъ, получивъ *послѣдній* ударъ въ сердце. Изъ одинокаго и сомнѣвающагося онъ сталъ раскаленнымъ углемъ пламенной вѣры, его не было, его я слилось съ душой народа.

Какъ просто картина, взятая отдѣльно отъ цѣлаго, картина-возрожденія, написанная по контрасту съ концомъ Саввы, какъ свидѣтельство ожи-

данія интеллигенціей (а не только расслабленной дѣвушкой) чуда отъ народа—эти послѣднія страницы великолѣпны. Такъ написать могъ художникъ, своими глазами и не только глазами видѣвшій силу народа. Въ полной возможности и естественности коллективнаго внушенія и самовнушенія мы нисколько не сомнѣваемся и такихъ „чудесъ“ сколько угодно найдетъ читатель въ „Лурдѣ“ Э. Золя, но не въ этомъ дѣло. Указанный крестный ходъ вызываетъ огромное недоразумѣніе, какъ резюмэ, какъ завершеніе храма: новый-то храмъ строится изъ старыхъ камней изъ камней „преткновенія“, на шаткой почвѣ прошлаго съ его „сверхъ-естественными чудесами“, съ его старой религіей.

„Вы камень, на которомъ созидается церковь будущаго“—говоритъ Фердинандъ Лассаль *рабочимъ*; „Ты богъ“—говоритъ М. Горькій *смѣшанной*, *разнородной* массѣ, участвующей въ крестномъ ходѣ. Съ одной стороны—слова А. В. Луначарскаго о процессѣ богостроительства „*иначе называемомъ хозяйственномъ процессомъ*“, а съ другой стороны „богостроитель народъ“ и... крестный ходъ, новая вѣра и Заступница, какъ хотите тутъ совершенно другое „иначе“ и другія перспективы.

Намъ скажутъ: художникъ хотѣлъ лишь показать какую огромную силу можетъ представить народъ въ будущемъ, его народъ—это пророчество. Прекрасно, но зачѣмъ эту силу облекать въ ветхозавѣтныя одежды: наши богостроители ужъ больно напоминаютъ намъ первыхъ христіанъ, которые въ своей стѣнной катакомбной живописи никакъ не могли найти своего жеста и рисовали ангела, слетѣвшаго съ христіанскихъ небесъ по образу и подобію языческаго Гермеса. Не кажется-ли вамъ страннымъ, что художникъ не могъ найти *иного* момента единенія, сліянія многихъ тысячъ въ одно огромное пламенное чувство энтузіазма, иного свидѣтельства могучей силы массъ. А такихъ моментовъ было не мало, хотя бы въ 1905 году, когда „не было я“, когда была радость, необъятная какъ небеса.

Велика заслуга М. Горькаго, что онъ художественно поставилъ вопросъ о сліяніи раздробленнаго я съ классомъ, но самъ-же онъ велъ къ отрицательнымъ результатамъ свое рѣшеніе, смѣшавъ классъ съ народомъ.

Правда, еще до крестнаго хода старикъ Іегудіилъ открываетъ глаза Матвѣю на прошлое и будущее народа, и посылаетъ Матвѣя на заводъ, и о себѣ говоритъ, что у заводскихъ ребятъ учился. Читатель съ тревогой подходитъ къ заводу. Вѣдь здѣсь художникъ покажетъ условія, подготовляющія съ необходимостью переходъ или хаосъ разобщенія къ всечеловѣческому сотрудничеству, подготовляющія величественное сліяніе всѣхъ воедино. Это огромная, трудная задача. Онъ требуетъ всего художника, нуженъ живой заводъ, нужна живая рабочая масса.

Но что-же сдѣлалъ художникъ? Онъ нарисовалъ заводъ и рабочихъ какъ-то мимоходомъ, блѣдно и случайно, послѣдній и самый сильный

ударъ своей кисти посвятилъ крестному ходу, куда такъ и тянетъ новую вѣру.

Заводъ—этотъ собиратель земли русской, собиратель разсыпанной жизни многихъ тысячъ, милліоновъ не во имя Заступницы, а во имя новаго строя, заводъ подъ кровлей своей большимъ молотомъ разрушающій стѣну непониманія и кующій великій порывъ благороднѣйшихъ человѣческихъ чувствъ, у М. Горькаго явился какой-то отпиской по долгу службы; отпиской являются и занятія по политической экономіи. Не использовалъ М. Горькій заводскихъ типовъ, заводской жизни и въ особенности быстро прошелъ мимо фигуры веселаго паренька Степы, а этотъ образъ въ высшей степени знаменателенъ, ибо въ немъ разрѣшеніе поставленной задачи.

На первомъ планѣ огромнаго полотна мы видимъ бродячую Русь, а завершителями храма являются люди, связанные съ религіей. Іегудіилъ бывшій *священникъ*. Михаилъ учитель съ волосами, какъ у дьякона—начетчикъ, мать котораго была *„женщиной по божественной части“* и Матвѣй этотъ *„не хозяинъ и не рабочій“*—питомецъ дьячка Ларіона. Ихъ опытъ, ихъ жизненныя переживанія создавали иную психику, особенную фигуру съ характернымъ жестомъ прошлаго.

Въ то время, какъ подходитъ Матвѣй, не любившій городовъ,—этотъ деревенскій житель съ 13 лѣтъ уходитъ отъ людей въ церковь, позднѣе бьется въ сомнѣніяхъ, къ 22 годамъ у него сѣдые волосы, къ 34 годамъ онъ только выбирается на дорогу,—Степа этотъ „ничей человѣкъ“, выросшій въ огромной товарищеской семьѣ рабочихъ, уже рвется пойти по всей землѣ и онъ уже знаетъ врага и говоритъ онъ такъ, какъ будто грозитъ кому-то: „я приду“ (Авторъ „Исповѣди“ эту цѣльность, эту способность усвоить и использовать накопленный другими опытъ, объясняетъ тѣмъ, что Степа „ничей человѣкъ“, не связанный никакими узами, свободный сынъ женщины. Но вѣдь и Матвѣй тоже ничей человѣкъ, но родился онъ въ цѣпяхъ прошлаго).

Главное тутъ въ томъ, что одинъ жилъ въ хаосѣ разобщенія, а другой уже работалъ на заводѣ и впитывалъ въ себя атмосферу борьбы и единенія. Интересно, что заводъ уже отталкиваетъ Степу, ему „скучно здѣсь“, онъ и самъ не знаетъ почему: „Жидковато люди живутъ! Работа да забота! Скорѣе научиться мнѣ—отчалилъ-бы я отсюда прочь!“

Матвѣя художникъ привелъ къ заводу, но что Матвѣй тамъ сдѣлаетъ? Бесѣдуетъ съ Михаиломъ о Богѣ въ прежнія времена, занимается со слесаремъ Петромъ Ягихъ политической экономіей, да произноситъ рѣчь въ рабочей массѣ на тему; „гдѣ нашъ справедливый и мудрый Богъ?...“ Рѣчь производитъ переполохъ. Матвѣй спѣшитъ по настоянію сознательныхъ рабочихъ, уйти во время, подобно Лукѣ со „Дна“, а среди рабочихъ происходятъ аресты. Большой придуманностью пахнетъ отъ этого завода и всего происходившаго тамъ.

Этотъ заводъ вызвалъ новыя мысли у Матвѣя и Матвѣй ихъ *пойдетъ провѣрять*. Кстати замѣтимъ, М. Горькій даетъ очень хорошій совѣтъ своему герою.

Идти отъ новыхъ мыслей, взятыхъ изъ книгъ—къ новой жизни, идти чтобы потомъ *не учить, а разсказывать*—это лучшее, что можно посовѣтовать не только Матвѣю, но и художникамъ!

Матвѣй поставилъ вопросъ заводу—гдѣ Богъ?—но заводъ промолчалъ на этотъ вопросъ. За то отвѣтилъ крестный ходъ;—„народъ это Богъ и творецъ всѣхъ боговъ".

Для такой „провѣрки" не стоило уходить съ завода. „А вы погодите! Вы—не мѣшайте!—говоритъ намъ Лука изъ драмы „На днѣ"—уважьте человѣку... не въ словѣ дѣло, а—почему слово говорится". Уважимъ и потребуемъ отвѣта на вопросъ *почему* слово „религія" пошло теперь въ ходъ. Пророкъ побѣды и буревѣстникъ становится теперь пророкомъ новой вѣры, вѣстникомъ религіознаго чувства, потому что на него упалъ отблескъ переживаемаго момента, момента растерянности интеллигенціи.

Никогда не писалъ Горькій такихъ восторженныхъ страницъ, мѣстами переходящихъ въ буйную радость, въ *опьяненіе* человѣчностью, въ псалмы радости, въ молитву передъ народомъ-богостроителемъ, но странно за этимъ опьяненіемъ, за этою пьяною радостью я слышу съ тревогой иныя ноты; это ноты не восторженной увѣренности, а вопрошающей вѣры это ноты какого-то *послѣдняго*—восторга. Тайное лицо новой вѣры—это нѣкоторая доза пессимизма.

За послѣднее время у нѣкоторыхъ с.-д.—историческая необходимость, создающая увѣренность—не въ особенной чести. Опять вспоминаютъ о субъективизмѣ, ополчаются противъ автоматизма и формализма. То, что говорили романтики народничества, то, что говорило эсерство, всегда преисполненное самыхъ пламенныхъ чувствъ, говорило клеймя соціалъ-демократическую разсудочность, клеймя мертвую догму марксизма и его фатализмъ,—то теперь пришла намъ сказать и новая вѣра, сливающая не столько личность съ классомъ, сколько классъ съ народомъ, тоже по традиціи эсерства.

Здѣсь къ этой проповѣди новой вѣры присоединяется горячее стремленіе предупредить отливъ, вырвать почву у всевозможныхъ религіозныхъ пророковъ буржуазныхъ обществъ, присоединяется надежда на то, что удастся задержать и вернуть колеблющуюся часть интеллигенціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ использовать религіозныя исканія народа.

Вопросы религіи и личной морали несомнѣнно захватили теперь широкіе слои интеллигенціи, это—фактъ, но у этого факта существуютъ историческіе предтечи, сотни подобныхъ фактовъ и мы сошлемся хотя-бы на одинъ изъ нихъ.

Въ 17 столѣтіи въ Англіи процвѣла секта квакеровъ („дрожащихъ").

Это было уже послѣ казни короля и послѣ смерти Кромвеля, когда началась реставрація. „Друзья *внутренняго* свѣта“ прежде всего усомнились въ правильности избраннаго раньше пути, въ зрѣлости народа, въ цѣлесообразности политической борьбы, въ успѣшности насильственныхъ средствъ. Революціонныя секты, анабаптисты-коммунисты, для которыхъ революція была „страшнымъ судомъ“, теперь массами переходили въ квакерство и постепенно изъ опасныхъ коммунистовъ, становились мирными буржуа. Даже непреклонный борецъ и кумиръ народа Лильбурнъ, двадцать пять лѣтъ боровшійся за право и звавшій къ оружію, даже этотъ „безпокойный Джонъ“, не выходившій изъ тюремъ, теперь, послѣ крушенія всѣхъ своихъ стремленій, послѣ революціи, перешелъ въ квакерство.

Что же произошло со всѣми этими борцами?

„Они пришли къ тому выводу [1])—пишетъ объ этомъ Э. Бернштейнъ—къ которому *при подобныхъ пораженіяхъ приходятъ всѣ: политика не есть подходящее средство для того, чтобы увлечь* массы, поэтому надо начинать съ морали, надо проповѣдывать новую мораль“.

Отъ этого обобщенія вполнѣ понятенъ переходъ къ нашему времени, времени „*подобныхъ* пораженій“. Россія пережила за послѣдніе годы величайшія побѣды и невиданныя кровавыя репрессіи, пережила за нѣсколько лѣтъ столько, сколько переживаютъ столѣтіями.

„Мы исторически постарѣли“, какъ удачно выразился пр. Булгаковъ.

Наступилъ моментъ „недоумѣнія и остановки“, какъ и въ восьмидесятые годы, послѣ 1-го марта, когда разбитыя сердца потянулись къ толстовскому россійскому квакерству. И *теперь* страшно повысился интересъ къ религіи и морали. Строятся разные храмы и звонятъ колокола и съ праздничнымъ звономъ надъ могилой былыхъ увлеченій. Тутъ и „новое религіозное сознаніе“ бывшаго марксиста Н. Бердяева, тутъ и „храмъ воздыханій, храмъ печали“, тоже бывшаго марксиста пр. Булгакова, тутъ и „Меоны“ Минскаго, одного изъ бывшихъ редакторовъ соціал-демократической газеты, тутъ и жажда личнаго безсмертія, тутъ и христіанскій соціализмъ и мистическій анархизмъ. „Сколько ихъ! Куда ихъ гонятъ!“

Всюду толкуютъ объ Эросѣ и Христѣ. Въ Парижѣ эмигрантская публика валомъ валитъ на рефераты по религіознымъ вопросамъ. Къ религіи въ интеллигентской душѣ появилось „влеченье—родъ недуга“. Къ пророчествующему Д. С. Мережковскому въ бытность его въ Парижѣ являются Никодимы изъ революціонныхъ партій.

Эти Никодимы—показатели упадка настроенія среди нѣкоторыхъ группъ интеллигенціи, которыя къ политикѣ охладѣли, а въ перманентной рево-

[1]) Исторія соціализма въ монографіяхъ. Предшественники новѣйшаго соціализма. Коммунистическія и демократо-соціалистическія теченія Англійской революціи. Э. Бернштейнъ. Стр. 188.

люціи разувѣрились. У многихъ интеллигентовъ единая революціонная душа распалась на двѣ души, у соціалистическаго сознанія оказалось мѣщанское сердце, сердце еще недавно бившееся въ унисонъ съ милліонами сердецъ. Началось *то „линяніе"*, *то „выдыбай Боже"*, о которомъ упоминаетъ въ своей глубоко пережитой повѣсти „Старая лавра", впервые появившійся въ печати молодой, интересный художникъ А. Золотаревъ. (повѣсть „Старая лавра" напечатана рядомъ съ "Исповѣдью"). За этимъ *„выдыбай Боже"* чувствуется, что произошелъ революціонный отливъ, дно обнажилось и „На днѣ" заметались Наташи и Насти.

Загляните туда: растерявшаяся, отчаявшаяся Наташа, погибающая „На днѣ" *выдумываетъ* и ждетъ: „завтра... пріѣдетъ... кто то... кто-нибудь... особенный... Или случится что нибудь тоже небывалое"... Она по долгу ждетъ, всегда ждетъ... „А такъ *на самомъ дѣлѣ*—чего можно ждать".

Настя, влюбленная въ несуществующаго незабвеннаго друга, котораго то Руалемъ, то Гастошей зоветъ.

Лука уходитъ со „Дна" въ хохлы, потому что слыхалъ *„открыли* тамъ новую вѣру". Его провожаетъ Наташа словами „кабы нашли что-нибудь, придумали-бы что получше!"

Лука отвѣчаетъ „они придумаютъ" и Лука не ошибся—„они придумали"!

Развѣ вы не видите, какъ недавній буревѣстникъ превращается въ революціоннаго Луку и приходитъ со своимъ романтическимъ наркозомъ, приходитъ теперь къ той самой интеллигенціи, которую столько разъ, и по заслугамъ клеймитъ. Что-же скажетъ проповѣдникъ новой вѣры всѣмъ этимъ Настямъ и Наташамъ, которыя уже протягиваютъ свои дрожащія руки съ политическаго дна къ новому богу, уже готовы положить усталую голову подъ крыло новой вѣры. „Вамъ надо полѣчиться, уходите отъ насъ". Они не послушаютъ. Они войдутъ въ вашъ новый храмъ и назовутъ новую вѣру своей вѣрой. Они торжественно признаютъ себя „вашими учениками". Такъ уже было и такъ еще будетъ.

Когда въ Парижѣ Вольтера, Парижѣ Конта и Робеспьера—А. В. Луначарскій читалъ свой рефератъ о религіи и соціализмѣ на эстраду одинъ за другимъ, какъ привидѣнія, поднимались *„почти согласные"* и спѣшили возложить на свои раны одежды новаго бога.

Они—отчаявшіеся—говорили, что новая религія должна вдохнуть энтузіазмъ въ массы, точно безъ религіи массы не поразили весь міръ своимъ энтузіазмомъ, и точно энтузіазмъ можно вспрыснуть, если часъ народнаго подъема еще не пришелъ.

Они—оторванные отъ цѣлаго, отъ массы, отъ безсмертнаго творчества ея коллективнаго опыта—вымаливали у новаго бога личнаго безсмертія, точно нищіе подаянія...

Они—затерянные въ хаосѣ разобщенія—связывали съ новой вѣрой свои мистическія переживанія.

Начетчикъ Михаилъ открещивается отъ нихъ онъ призываетъ другихъ. Но *другіе* въ тотъ храмъ *не пойдутъ*, какъ-бы они ни назывались Ленинъ и Плехановъ, Богдановъ и Мартовъ — вожди обѣихъ фракцій чужды этому новому храму изъ старыхъ камней, они отвергаютъ его. Въ этомъ отрицаніи новой вѣры непримиримые члены обѣихъ фракцій объединяются Но развѣ такого единенія хочетъ „Исповѣдь"? Пожалуй найдутся оптимисты, которые въ „послѣднемъ" восторгѣ возопіютъ: нѣту больше меньшевиковъ и большевиковъ, а существуютъ только автоматисты и „богостроители"—двѣ новыя фракціи—смѣемъ надѣяться, что до этого дѣло не дойдетъ и что терминъ „богостроительство" быстро сойдетъ со сцены.

А рабочая масса? Развѣ ей не нужна новая вѣра. Вы посмотрите— говорятъ намъ нѣкоторые изъ товарищей—развѣ не видите вы, какъ среди пролетаріата идетъ разбродъ. Необходимо, чтобы революціонное чувство, *идеализмъ*, новая *вѣра* пришли на помощь сознанію *экономическихъ* интересовъ. Никакого распада нѣтъ въ пролетарской средѣ. Правда, нѣкоторые рабочіе отходятъ отъ массы: вчерашніе боевики увлекаются иногда, очень рѣдко, „эксами", а нѣкоторые изъ рабочихъ готовы уйти даже въ іоаннитство, но развѣ въ нихъ дѣло и развѣ такое отпаденіе не является отчасти въ результатѣ разочарованія. „Боевикъ" *уже былъ* оторванъ отъ массы и отъ *дѣйствительности*...

Но рабочая масса въ цѣломъ, уже пережившая „крестный ходъ"—не знаетъ интеллигентской раздвоенности, ея пролетарское сердце бьется за одно съ революціонной мыслію, ей не нужно каяться или уходить „отъ людей своего круга", ея энтузіазмъ не нуждается въ наркозѣ, въ религіозныхъ этикеткахъ, и этотъ энтузіазмъ выдвигаетъ борцовъ, не уступающихъ по красотѣ великомученикамъ религіи.

Смѣшно говорить все о рабочей, да рабочей массѣ, объ этой горсточкѣ въ пять милліоновъ, вы забываете о народѣ—по эсеровски перебиваютъ сторонники новой вѣры. Посмотрите какія исканья идутъ въ народѣ.

На минуту я припоминаю ту широкую картину „прохожденія земли насквозь", которую широкими мазками нарисовалъ художникъ и нарисовалъ такъ, какъ никто еще до него не сдѣлалъ. Вы видите, какъ охваченная „тревогой богоисканія" идетъ бродячая Русь. „Идутъ старые и молодые, женщины и дѣти, словно всѣхъ одинъ голосъ позвалъ". Широка, грандіозна, если хотите, картина этого прохожденія земли съ котомками за плечами, и говоритъ она, что въ народѣ не убита душа и работаетъ мысль. Но нашей гораздо болѣе обѣщаетъ картина иного прохожденія, иныхъ, болѣе опредѣленныхъ странниковъ. Сотни тысячъ крестьянъ, бѣжавшихъ изъ ссылки, отъ преслѣдованій, какъ апостолы идутъ „изъ веси въ весь", тутъ уже нѣтъ „смятенія одинокихъ душъ", тутъ уже новый этапъ, новыя лица, которыя ждутъ своего новаго художника.

Возможно, что „Исповѣдь" возлагаетъ надежду на сектантовъ-иска-

телей, на тѣ 22 милліона, о которыхъ такъ любили помечтать народники. Не мѣшаетъ замѣтить, что художникъ въ своей критикѣ разныхъ боговъ,—сектантовъ совершенно обходитъ, хотя Матвѣю, искателю Бога, было бы весьма и весьма по дорогѣ завернуть въ сектантскіе скиты, не даромъ же онъ, какъ сектантъ, бѣжалъ изъ Церкви-кладбища, но художникъ вопросъ о сектантахъ, вопросъ щекотливый, оставляетъ открытымъ, можетъ быть, изъ тактическихъ соображеній.

Не разъ уже наша интеллигенція вздыхала по революціонному сектантству. Посылала своихъ дѣятелей, своихъ свѣдущихъ людей и ссылалась на реформацію.

Несомнѣнно, въ эпоху реформаціи сектантство играло огромную роль, это было... нѣсколько вѣковъ тому назадъ, когда „чистое слово Божіе" освѣщало самыя революціонныя, коммунистическія ученія угнетенныхъ, когда страшный судъ былъ синонимомъ революціи, когда книга завѣта была единственной революціонной книгой, когда обездоленнымъ наука сулила торжество господствующихъ классовъ и была ненавистна, а мистицизмъ сулилъ чудесное избавленіе изъ египетскаго плѣна. Въ то время господствовала религіозно-богословская идеологія, и экономическія требованія облекались въ одежды этой идеологіи. Крестьянскія войны миновали давно и, кстати сказать, не задержали торжества молодой буржуазіи, и давно уже экономическіе интересы перестали искать аргументовъ въ библіи или евангеліи. Нынѣ классовое разграниченіе разъединяетъ людей одной націи, единой вѣры и въ то же время единство экономическихъ интересовъ объединяетъ людей разныхъ націй и разныхъ религій. Тутъ не „общее человѣчье", по терминологіи М. Горькаго, а общая нужда, общіе интересы, общіе идеалы угнетенныхъ и обездоленныхъ.

Что касается россійскаго сектантства, то и его 22 милліона составлены изъ самыхъ противоположныхъ по экономическимъ интересамъ группъ. До поры до времени ихъ могла объединять борьба за свободу совѣсти, за свободу религіознаго культа, но не болѣе. Въ Думѣ мы имѣемъ удовольствіе наблюдать самыхъ горячихъ монархистовъ, причисляющихъ себя въ то же время къ этимъ 22 милліонамъ.

Если сектантъ милліонеръ—купецъ и—его приказчикъ, тоже сектантъ, не выступаютъ другъ противъ друга, какъ непримиримые враги, то этому *мѣшаетъ* только ихъ принадлежность къ опредѣленной сектѣ—вѣдь они же—„братья во Христѣ". Но поскольку они выступаютъ, какъ борцы за экономическіе интересы, они примыкаютъ къ тому или иному классу, и одинъ становится правымъ, чтобы защищать капиталъ, другой крайнимъ лѣвымъ, чтобы уничтожить господство этого капитала. Люди единой вѣры разъединяются и покуда задача соціалиста помогать этому разъединенію.

Разъединеніе теперь—во имя единенія въ будущемъ, *классъ*,—а не

„общее человѣчье“, не „всѣ люди“—вотъ старый соціалистическій лозунгъ, котораго не хочетъ знать „Исповѣдь“.

Въ повѣсти М. Горькаго не даромъ одинъ парень крестьянинъ Федюкъ объясняетъ свое участіе въ борьбѣ тѣмъ, что *общее человѣчье началось*, а онъ, человѣкъ, и потому присоединился къ общему человѣчьему. Народъ-Богостроитель и общее человѣчье имѣютъ мало общаго съ ученіемъ соціалъ-демократіи.

Намъ скажутъ: мы не хотимъ только повторять зады, мы хотимъ „отсюда идти далѣе“.

Но развѣ идти *далѣе*—это возвращаетъ къ эпохѣ до Маркса, къ Людвигу Фейербаху съ его сущностью человѣка съ его „родомъ“?

И затѣмъ, не поражаетъ-ли васъ, господа, эта вѣчная погоня нашей интеллигенціи за *новой* вѣрой, за „далѣе“. Эта черта крайняго импрессіонизма заставляетъ ее порхать съ цвѣтка на цвѣтокъ, и въ этой измѣнчивости безъ оглядки, въ самые короткіе сроки—ея неизмѣнная черта. Съ нею „хлопотуньей“ заговорившей теперь о Богѣ, Богостроительствѣ случилось тоже, что когда-то давно съ Евгеніемъ Онѣгинымъ, съ этимъ „Москвичемъ въ гарольдовомъ *плащѣ*“.

Наскуча... Мельмотомъ
Иль *маской щеголять иной*,
Проснулся разъ онъ патріотомъ
Въ Hôtel de Londres, что на Морской.
Россія!.. Русь!.. Мгновенно,
Ему понравилось отмѣнно,
И рѣшено, что онъ влюбленъ!
Россіей только бредитъ онъ
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея *логической* душой
Съ ея *разумной* суетой.

Не разъ уже такимъ образомъ просыпалась и россійская интеллигенція, то въ новомъ плащѣ вольтерьянца, то Гарольда, патріота или западника, нигилиста или... богостроителя.

А тѣмъ временемъ, классъ-освободитель дѣлаетъ свое дѣло, разрушая въ жизни практической остатки фантастическаго, остатки „отраженій“, въ своей сегодняшней дѣйствительности, борясь за *дѣйствительность завтрашняго дня*, и все болѣе отрѣшаясь отъ религіознаго чувства, ибо оно само „общественный продуктъ“.

Это перерожденіе дѣлается не такъ скоро, какъ смѣна плащей и настроеній, въ которые переряжаются наши Рауль и Гастоны... да не такъ скоро, это правда! Но вѣдь скоро только *романтическая сказка* сказывается, да не скоро *историческое дѣло* дѣлается.

Моя статья покажется рѣзкой и, пожалуй, нѣкоторые соціалъ-демократы упрекнутъ въ томъ, что я обрушился на произведеніе художника въ тотъ самый моментъ, когда мѣщанско-буржуазная критика его хоронитъ, даже не выслушивая его.

Я думаю, что талантъ М. Горькаго такъ огроменъ, что дружественная „снисходительная критика“ только оскорбитъ его. Пусть мѣщане послѣ каждаго произведенія Горькаго восклицаютъ: „онъ умеръ... онъ умеръ... не слушайте его...“ Пусть „друзья“ встрѣчаютъ каждую строку его колокольнымъ звономъ, пожалуй, умѣстнымъ при встрѣчѣ архіерея, но неизбѣжно вызывающимъ улыбку, когда дѣло идетъ о художникѣ-соціалистѣ. Мы полагаемъ, что художникъ, пришедшій къ пролетаріату, хочетъ разрѣшенія вопросовъ огромной важности, а не славы.

„Исповѣдь“ поставила передъ пролетаріатомъ и его идеологами „вѣчно тревожный и новый вопросъ“ и мы всѣ, *вмѣстѣ съ художникомъ*, принимаемъ участіе въ исканіи отвѣта необходимаго и важнаго для побѣды милліоновъ.

Въ моей статьѣ—художественная сторона „Исповѣди“ отошла пока въ сторону, хотя матеріалъ для критики—тутъ огромный.

Исповѣдь *больше учитъ, чѣмъ разсказываетъ*, и я въ своей статьѣ попытался разобраться въ томъ, чему она насъ учитъ.

В. Львовъ.

Среди братьевъ-писателей.

Статья **Мих. Оленова.**

Это было такъ недавно, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ давно. Въ просторномъ залѣ вольно-экономическаго общества шумѣла толпа работниковъ пера. На съѣздъ журналистовъ съѣхались со всѣхъ концовъ Россіи,—и суровые напудренные старики на екатерининскихъ портретахъ зала—глядѣли еще суровѣе и скучнѣе отъ тайной обиды. Ни одно изъ собраній 1905 года, смѣнявшихъ одно другое, не говорило такъ обидно прямо о совершившемся фактѣ потрясенія основъ.

Повидимому, нигдѣ старому порядку не удалось связать интеллигенцію столь прочными путами, какъ въ области печатнаго слова. И вотъ эти путы порваны. Въ „разбойникахъ пера“, вскормленныхъ подъ недреманнымъ окомъ столичной и провинціальной цензуры, остался немалый запасъ безначалія и прямо бунта. Несмотря на неукоснительное дѣйствіе всѣхъ мѣръ пресѣченія, участники съѣзда какъ-то сразу и безъ трепета ухватились за обсужденіе самыхъ рискованныхъ и компрометирующихъ темъ. На первую очередь были поставлены самоновѣйшія радикальныя политическія формы, и дѣло дошло даже до мечты объ „учредительныхъ функціяхъ“.

Всеобщее избирательное право, политическія права женщинъ—всѣ эти чреватыя анархіей вещи прошли сразу и безъ споровъ. Принимались резолюціи одна смѣлѣе другой. И по мѣрѣ того, какъ росла эта масса политическихъ формулъ, все безнадежнѣе казалось дѣло стараго порядка.

Приверженцы его и поклонники были здѣсь не только на портретахъ но стеченіе обстоятельствъ было таково, что никто изъ участниковъ съѣзда не дерзалъ скорбѣть о недавнемъ прошломъ и презирать настоящее. Политическій размахъ съѣзда грозилъ не оставить камня на камнѣ изъ всей храмины исключительныхъ мѣръ, въ которой взлелѣяна была охранительная печать. И не до героическихъ позъ было въ то время, когда рѣчь шла о безповоротномъ уничтоженіи субсидій и казенныхъ объявленій.

И вдругъ случилось чудо-чудное. Какъ только братья писатели установили политическія рамки новой Россіи и подошли вплотную къ задачѣ соціальнаго строительства, произошло смѣшеніе языковъ. Ихъ дѣло проклялъ богъ классовой усобицы, которая назрѣвала еще подъ сѣнью стараго по-

рядка, и которая должна была разъединить, разбить всѣ внѣклассовыя начинанія и организаціи, обнажить всю тщету всякихъ усилій стать „внѣ и выше классовъ".

Какъ и слѣдовало ожидать, нашлось не мало тружениковъ печатнаго слова, которымъ нелегко было разстаться съ мыслью установить всеобщій миръ и благоволеніе съ помощью и чрезъ посредство резолюцій, гдѣ примирялись самые различные и часто непримиримые интересы. Это было, повторяю, весною 1905 года. Съ особою рѣзкостью выдвигалась тогда политическая сторона русскаго кризиса.

Нужно было лишь повѣрить, что разрѣшеніе всяческихъ соціальныхъ загадокъ на Руси возможно, и всѣ онѣ становились чѣмъ-то до нельзя простымъ, второстепеннымъ. Огромную жизнь Россіи разбили на нѣсколько кусковъ и втиснули ее въ разныя отдѣленія и пункты соціальной программы, которой недоставало малаго: цѣльности и ясности, вѣрной путеводной нити въ лабиринтѣ готовой развернуться общественной борьбы.

Было на съѣздѣ 1905 года теченіе, которое сразу намѣтило вѣрный планъ работъ. Лозунгомъ его было сознаніе необходимости и неизбѣжности классового разслоенія русскаго общества, а потому и дифференціаціи печати, отражающей идею отдѣльныхъ классовъ его. Поскольку предъ печатью стояла общая задача, ни о какомъ разбродѣ не могло быть и рѣчи. Но если эта задача спаяла въ одно цѣлое русскую прессу въ прошломъ, для будущаго планы вмѣстѣ всегда идти были немыслимы.

Напрасно сторонники реалистическаго теченія доказывали, что служеніе „всему обществу" есть фикція, что если искать точекъ соприкосновенія интересовъ пишущей братіи,—а въ этомъ и былъ главный смыслъ съѣзда,—то искать ихъ нужно въ иной плоскости, въ области профессіональныхъ интересовъ. Они остались въ меньшинствѣ. Съѣздъ журналистовъ принялъ программу, насквозь пропитанную соціальными иллюзіями о „внѣ-классовой" и „надклассовой" природѣ новой эпохи, въ которую вступала обновленная Русь.

Программа эта раздѣлила участь всѣхъ своихъ сверстницъ и сестеръ безчисленнаго множества программъ, сочиненныхъ въ дни свободы. Она была попросту забыта. И, можетъ быть, къ лучшему.

Можно спросить: почему же къ лучшему? Не потому ли, что и здѣсь, въ первыхъ робкихъ шагахъ чисто-интеллигентской иниціативы на аренѣ соціально-политическаго реформаторства, сохраняетъ силу правило: „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше"? Или же потому, что наряду съ неудачей болѣе смѣлыхъ выступленій и въ пылу классовой борьбы пропаганда идей внѣклассовой организаціи тружениковъ пера весьма смахивала на ребяческій лепетъ?

Оцѣнка итоговъ перваго съѣзда журналистовъ есть въ концѣ концовъ дѣло вкуса.

На общемъ фонѣ грандіозныхъ массовыхъ картинъ движенія, перевернувшаго всю жизнь старой Россіи, самый удачный съѣздъ журналистовъ явился бы не важнымъ инцидентомъ, и, во всякомъ случаѣ, онъ потонулъ бы въ громадной волнѣ общаго соціально-политическаго подъема.

Тѣмъ не менѣе, съѣздъ имѣлъ свое значеніе,—но только, какъ симптомъ. И съ такой точки зрѣнія, интересна не судьба съѣзда въ видѣ болѣе или менѣе законченной программы и ея успѣха на дѣлѣ. Важенъ самый фактъ съѣзда, какъ показатель идейнаго и матеріальнаго кризиса пишущей братіи. Въ 1905 году этотъ кризисъ далъ о себѣ знать лишь въ рѣчахъ журналистовъ. Но очень скоро онъ сталъ злобой дня для русской прессы.

II.

Какъ ни трудно было русской интеллигенціи отказаться отъ „традицій", отъ роли руководительницы „всего общества" и „общественнаго мнѣнія", съ грѣхомъ пополамъ она продѣлала это. Правда, далеко не цѣликомъ. Нерѣдко интеллигентское міросозерцаніе, какъ и въ былое время, исчерпывалось двумя словами: „народъ" и „общество". Но червякъ партійнаго и классоваго разслоенія подтачивалъ послѣдніе скрѣпы устарѣвшаго интеллигентскаго фундамента. А нарожденіе партійной прессы и выходъ „крайнихъ" партій изъ подполья грозили скоро смести прочь всѣ идейные пережитки дореволюціоннаго періода.

Служить „разумному, доброму, вѣчному"—такова была задача русской печати въ прежнія времена. И нужно признать, что въ общемъ—русской прессѣ выпалъ счастливый жребій чистой и непорочной службы. Органы реакціонной печати должны были ограничиться малозавидной ролью ужей на привязи. Казенныя объявленія и субсидіи, несмотря на весь свой непомѣрный ростъ, не могли помочь охранительнымъ перьямъ, и, за рѣдкими исключеніями, на всѣхъ ихъ писаньяхъ лежалъ отпечатокъ рѣдкой бездарности и безжизненности. До самаго послѣдняго времени на Руси не было желтой печати. А бульварная пресса въ погонѣ за сенсаціей никакъ не могла подняться до европейскихъ образцовъ, созданныхъ мѣщанскими вкусами и соціальными условіями западной буржуазіи.

Разумѣется, чистота литературныхъ нравовъ на Руси не вытекала изъ какихъ-нибудь исключительныхъ сторонъ и качествъ русскаго интеллекта. Скорѣе здѣсь сказалось дѣйствіе политическихъ условій, житья-бытья россійскаго обывателя, которое заставляло журналистовъ всѣ свои силы затрачивать на крупные и больные вопросы современности. И въ этомъ смыслѣ всѣ цензурные скорпіоны дѣйствовали какъ разъ обратно тѣмъ цѣлямъ, для которыхъ эти скорпіоны были придуманы. Штемпель „не дозволено" стѣснялъ размахъ литературной темы. Но онъ же заставлялъ литературнаго работника вложить въ свое творчество весь запасъ ли-

тературныхъ силъ и всю силу своего общественнаго инстинкта. Вотъ почему литературная работа разсматривалась у насъ всегда, какъ своего рода подвигъ.

И она, дѣйствительно, была подвигомъ. Не даромъ же въ представленіи одного изъ могиканъ русской литературы правда оцѣнивалась всегда двояко, какъ „правда-истина“ и „правда-справедливость“. Вся русская жизнь для литературы преломлялась чрезъ особую призму, которая оставалась въ рукахъ виднѣйшихъ представителей литературы того или иного періода. И ужъ отъ этихъ представителей зависѣло сохранить во всей чистотѣ призму писательской идеологіи, на которой были начертаны высокіе лозунги „разумнаго, добраго, вѣчнаго“.

Что же могло помѣшать красотѣ и яркости завѣтовъ и традицій, посвященныхъ защитѣ правды-истины и правды-справедливости? Ничто, разумѣется. Пока знамя литературы не выпало изъ надежныхъ рукъ вождей литературы, вся армія литературныхъ работниковъ твердо знала свои мѣста и цѣль своей работы. Во главѣ литературы стояли общепризнанные „учители жизни“. Ихъ примѣръ опредѣлялъ линію творчества для всѣхъ послѣдователей и товарищей по работѣ. Этимъ учителямъ жизни русская литература и обязана главнымъ образомъ тѣмъ, что ея исторія осталась незапятнанной и чистой отъ вліянія рептильной прессы.

Но какъ ни велика сила вліянія героевъ литературнаго поприща, самое дѣленіе литературнаго міра на героевъ и толпу—свидѣтельствовало не только о могуществѣ русской прессы, но и о ея слабыхъ сторонахъ. И эти слабыя стороны не замедлили проявиться, какъ только надъ литературой пронесся разрушительный вихрь соціально-политической смуты.

Смута была тѣмъ оселкомъ, который долженъ былъ опредѣлить прочность и устойчивость всѣхъ слоевъ стараго періода, а среди нихъ и прочность интеллигентской идеологической призмы съ ея лозунгами о „добромъ“ и „вѣчномъ“. Старые лозунги не выдержали испытанія. Во всякомъ случаѣ они потеряли самое цѣнное свое качество перестали считаться общепризнанными. А вслѣдъ за этимъ оказалось, что литературная армія не идетъ подъ старыя знамена, что ее зовутъ къ себѣ новые лозунги, и что призванная къ новому служенію пресса не имѣетъ и не хочетъ имѣть новыхъ учителей жизни. Оказалось, что не пресса теперь будетъ поднимать къ себѣ и возвышать до себя жизнь. Въ той жизни, которая считалась простой аморфной массой, выкристаллизовался цѣлый рядъ центровъ, и вокругъ нихъ идетъ вся общественная борьба. И прежнимъ учителямъ жизни не остается иного выхода, какъ учиться у самой жизни, войти въ самую гущу ея, чтобы затѣмъ въ своемъ творчествѣ возвести ее въ перлъ соціальнаго и политическаго созданія.

И подобно тому, какъ въ злобахъ повседневности каждый новый этапъ освободительнаго движенія создавалъ все новыя соціальныя и политиче-

скія ситуаціи, такъ и въ развитіи классовой и партійной идеологіи сегодня не походило на вчера, а завтра опровергало то, что считалось незыблемымъ наканунѣ. Найти опору въ бурной смѣнѣ крупныхъ событій и мелочныхъ фактовъ движенія работнику печати легче всего было въ партійныхъ организаціяхъ, въ идеологіи наиболѣе устойчиваго образованія новой эпохи, въ идеологіи какого-нибудь общественнаго класса.

Само собой разумѣется, что процессъ нарожденія и развитія партійной литературы и классовой идеологіи не могъ пройти безболѣзненно. Для этого онъ слишкомъ задѣвалъ кровные интересы тѣхъ внѣклассовыхъ и надклассовыхъ теченій, которыя кое-какъ перебивались, а иногда и благоденствовали при старомъ режимѣ. И благодаря этому въ литературной братіи стараго типа всѣ старались найти свой корень.

Каждый искалъ по своему. Въ радикальной печати культивировалась старая идея о служеніи обществу и народу. Нужно было во что бы то ни стало найти оправданіе „внѣклассовой" любви къ народу, искони одолѣвающей русскаго интеллигента. Естественно, что лучшимъ оправданіемъ для него служили старыя традиціи. И хранители радикальныхъ завѣтовъ прошлаго безбоязненно шли подъ сѣнь традицій, яростно воюя противъ служенія партійной и классовой идеологіи.

Назадъ шла и реакціонная печать. Считаясь, однако, съ духомъ времени, публицисты охранительнаго типа шли на уступки, признавъ допустимымъ писать о политикѣ. Но и у охранительныхъ публицистовъ были свои традиціи, перенятыя у ancien regime'а. Будемъ заниматься политикой, — ничего не подѣлаешь. Но нельзя ли эту политику обезвредить, установивъ наряду съ купеческимъ, мѣщанскимъ и прочими сословіями еще особое „политическое сословіе". Такимъ путемъ и интеллигенты будутъ сыты, и устои цѣлы.

Блестящая идея правыхъ публицистовъ о политическомъ сословіи, не получила осуществленія. По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ. Вѣроятно, въ ней не оказалось особой надобности. Независящія обстоятельства съ такимъ успѣхомъ и такъ быстро оттѣснили крайнія партіи назадъ въ подполье, что образованіе политическаго сословія принесло бы только лишнія хлопоты. Но странное дѣло! Кризисъ періодической печати отъ этого не только не сталъ меньше. Наоборотъ, онъ росъ съ каждымъ днемъ и теперь онъ чувствуется еще острѣе, чѣмъ въ первые „дни свободы".

Подъ давленіемъ и въ силу независящихъ обстоятельствъ, о съѣздѣ журналистовъ, вродѣ съѣзда 1905 года и думать нечего. Но гони природу въ дверь, она войдетъ въ окно. Стоило работникамъ пера собраться по такому спеціальному поводу, какъ съѣздъ для чествованія Л. Н. Толстого, и изъ Леты политическаго забвенія появились тѣ призраки, которые волновали журналистовъ въ далекіе отъ насъ апрѣльскіе дни 1905 года.

III.

Не говоря уже о цѣли, и обстановка, и атмосфера второго [1]) съѣзда журналистовъ въ Петербургѣ теперь были не тѣ, что три года назадъ. Собранія его происходили въ клубѣ общественныхъ дѣятелей и въ городской думѣ. Не было той игры страстей, которыми такъ чревать былъ 1905 годъ. Стѣны чопорнаго октябристскаго клуба и городской думы, видимо, расхолаживали пишущую братію, и холодъ рѣчей еще рѣзче подчеркивалъ взаимную отчужденность участниковъ съѣзда. Собралось ихъ немного, а пріѣхавшихъ изъ провинціи было совсѣмъ мало. И—кто знаетъ—собрался ли бы съѣздъ вообще, если бы не цѣль его—участіе прессы въ чествованіи Толстого.

Были разумѣется и свои внутреннія причины, которыя содѣйствовали объединенію журналистовъ во имя чествованія Толстого. Это самый характеръ его творчества и ученія, ихъ аполитизмъ и асоціальность. И, думается, именно аполитизму Толстого русская пресса обязана тѣмъ, что съѣздъ былъ доведенъ до благополучнаго конца.

Сказать правду, на съѣздѣ было не слишкомъ весело и оживленно. Вѣроятно, здѣсь сказалась духовная реакція послѣдняго времени, наложившая на все свою руку. Вліяло, должно быть, и то, что у всѣхъ было сознаніе, какъ мало юбилейныя торжества могутъ прибавить къ тому, что сдѣлалъ художественный геній Толстого. И любопытно, что съѣздъ жилъ настоящей жизнью коллектива какъ разъ въ тѣ минуты, когда пренія оставляли рамки юбилея.

Открылся съѣздъ рѣчью о томъ, что русская печать не является „одностороннимъ глашатаемъ“ имущественныхъ классовъ. Цитировался при этомъ Карлъ Марксъ. Марксъ говорилъ, что неподкупность русской прессы объясняется ея слабымъ вліяніемъ. Теперь вліяніе русской прессы безспорно. А между тѣмъ она остается все той же „безсеребренной служительницей интересамъ родины“ [2]).

Въ качествѣ такой безсеребренницы русская пресса и послала своихъ представителей. Но тѣхъ, кому пришлось быть на съѣздѣ, не могло не поразить то напряженное вниманіе, которое удѣлялось въ преніяхъ матеріальнымъ вопросамъ самой прессы.

Напрасно нѣкоторые участники съѣзда протестовали противъ преній, не связанныхъ прямо съ юбилейными торжествами. Интересы печати до самаго конца съѣзда остались лейтмотивомъ всѣхъ общихъ засѣданій. И это вполнѣ естественно. Ибо даже праздникъ въ честь художественнаго

---

[1]) Устроители съѣзда почему-то упорно называли этотъ съѣздъ „первымъ“.

[2]) См. рѣчь М. М. Ковалевскаго 20 іюня 1908 г., приведенную въ „Рѣчи“, въ № 149, за 1908 г.

генія Толстого не заставитъ работниковъ пера забыть о будняхъ литературной работы на Руси.

Пусть на съѣздѣ много говорилось не на тему. Виной тому прежде всего независящія обстоятельства. Но не только они.

За огромнымъ противорѣчіемъ между независящими обстоятельствами и насущными, неотложными запросами жизни, скрытъ цѣлый рядъ другихъ, не столь крупныхъ, но неотложныхъ, какъ самая жизнь. Да, давно миновала пора, когда русская пресса была quantite négligeable. Да, теперь русская пресса признанная сила. И хотя она остается безсеребренницей, предъ ней выростаютъ громадныя матеріальныя задачи, и среди нихъ главная—планомѣрная организація своихъ профессіональныхъ силъ.

Вотъ эта-то задача и встала съ перваго дня второго съѣзда журналистовъ. Она явиласъ какъ-то нечаянно, внѣ прямой связи съ вопросомъ о чествованіи Толстого. Но, разъ поставленная, она осталась сфинксомъ, который прикуетъ къ себѣ вниманіе работниковъ пера на долго послѣ съѣзда.

Можетъ показаться, что второй съѣздъ журналистовъ съ первымъ (1905 г.) и сравнивать не стоитъ. Тамъ затѣвали большое дѣло коренной ломки стараго уклада, здѣсь образовали первую небольшую ячейку для профессіональной организаціи литературнаго міра. А между тѣмъ эта ячейка отнюдь не является однимъ изъ тѣхъ малыхъ дѣлъ, которыя пришли на смѣну крупнымъ дѣламъ дней свободы. Уже въ дни свободы профессіональные интересы отстаивались, какъ нѣчто самодовлѣющее, какъ прочная и единственная связь, которая должна спаять всѣхъ пишущихъ. И если мысль о ней осталась неосуществленной, то это какъ бы для того, чтобы воочію показать, что̀ по плечу союзу тружениковъ печати. Профессіональная организація и есть то большое дѣло, которое имѣетъ подъ собою почву и годину революціи, и въ эпоху общественнаго упадка.

Нѣтъ еще трехъ лѣтъ, какъ русская печать вышла на большую дорогу свободнаго слова. Уродливы были политическія рамки, въ которыхъ раздалось первое слово независимой прессы. Но уже съ перваго свободнаго слова началась метаморфоза самой прессы, какъ слѣдствіе новыхъ общественныхъ условій. Кризисъ, переживаемый печатью, есть только часть общаго политическаго кризиса. Можно задержать его, но остановить его никто не въ силахъ. И потому ничто не остановитъ диференціаціи, которую переживала и переживаетъ пресса.

Что можно и должно сдѣлать,—такъ это использовать возможно планомѣрнѣе стихійный процессъ. И путь для этого — въ профессіональной организаціи журналистовъ.

Мих. Оленовъ.

Соната призраковъ.

Новая драма Стриндберга.

— Есть яды, которые убиваютъ зрѣніе, и яды, отъ которыхъ разверзаются глаза. Навѣрное, я родился съ этимъ послѣднимъ ядомъ.

Такъ говоритъ про себя, въ глубокой тоскѣ, странный студентъ Архенхольцъ, герой новой драмы Стриндберга „Соната призраковъ“.

Въ полной мѣрѣ относятся эти слова и къ самому автору „Сонаты“. И самъ Стриндбергъ отравленъ такимъ ядомъ. Широко, болѣзненно-широко раскрыты у него глаза, и видятъ они вездѣ, въ человѣкѣ, въ жизни, въ мірѣ, на всѣхъ путяхъ бытія лишь тьму, лишь ложь.

— На всемъ мірозданіи и на всей жизни лежитъ великое проклятіе,— кричитъ въ экстазѣ отчаянія тотъ-же странный студентъ Архенхольцъ.— Мы больны въ самомъ родникѣ жизни... Іисусъ Христосъ опустился въ преисподнюю,—то было Его земное скитаніе,—опустился въ дома безумія, въ тюрьмы, мертвецкія. И глупцы убили Его за то, что Онъ хотѣлъ ихъ освободить. А разбойникъ былъ отпущенъ на свободу. Разбойнику всегда принадлежатъ симпатіи! Горе, горе! Спаситель міра, спаси насъ, мы гибнемъ!..

„Мы гибнемъ“—это лейтмотивъ „Сонаты“.

Черная туча опускается на душу этого писателя,—прожившаго такую сложную внѣшнюю и внутреннюю жизнь, узнавшаго милліоны терзаній,—все гуще заволакиваетъ мысль и чувства и родитъ въ его воспаленной фантазіи образы тьмы. Вся душа стала какъ одна сплошная, сочащаяся и никогда не затягивающаяся рана.

Точно въ старомодной оперѣ, заканчиваетъ Странбергъ свою послѣднюю драму апоѳеозомъ. И въ качествѣ этого апоѳеоза—„Островъ смерти“ Беклина. Вся жизнь для него—лишь островъ смерти, и царитъ на немъ лишь одинъ великій законъ—ложь. „Міръ-бы рухнулъ, если бы стать дѣйствительно откровеннымъ“.

Яростью отрицанія, жесткимъ человѣконенавистничествомъ пропитана вся „Соната призраковъ“. Жутко отъ ея кладбищенской музыки. И не разгоняетъ этой жути введенный, словно для утѣшенія, образъ „бѣлаго, кроткаго Будды, который садитъ и ждетъ, что выраститъ изъ земли небо“.

Трудно хотя съ нѣкоторою отчетливостью разобраться въ этомъ послѣднемъ произведеніи знаменитаго шведскаго писателя, сколько-нибудь ясно дешифрировать эти загадочныя письмена, эту затѣйливую игру взбудораженной и злой фантазіи. При первомъ чтеніи „Соната призраковъ" оставляетъ впечатлѣніе совершеннаго кошмара, больного бреда. Кажется, что наступилъ полный закатъ мысли. Только кое-гдѣ прорѣзываютъ темноту остро-отточенные афоризмы безнадежнаго отрицателя. И лишь постепенно, при напряженно-внимательномъ вглядываніи, начинаютъ обозначаться нѣкоторые смутные контуры. Безформенный хаосъ звуковъ какъ-будто строится въ какія-то, еле уловимыя гармоніи. Въ этомъ безуміи есть разумъ. Клубокъ разматывается. Но и при самомъ изощренномъ вниманіи, при покорной готовности итти слѣдомъ за авторомъ по всѣмъ путаннымъ тропамъ его воображенія и его парадоксальности,—многое остается все - таки въ непроницаемой неясности, запечатаннымъ семью печатями.

Разсказать „Сонату призраковъ" сколько-нибудь стройно—задача болѣе чѣмъ трудная. Такъ и разсыпаются еле собранные концы. Большой тутъ, среди этихъ загадокъ, просторъ любителямъ символической и аллегорической головоломки. Почитался въ свое время чрезвычайно запутаннымъ „эпилогъ" другого сѣвернаго богатыря,—„Когда мы, мертвые, пробуждаемся". Онъ кажется произведеніемъ кристальной ясности и идеальной отчетливости рядомъ съ темными туманами „Сонаты призраковъ".

„Соната" начинается на улицѣ, почему-то—подъ далекій перезвонъ въ нѣсколькихъ церквахъ, въ который иногда вливается своими басами органъ. Можетъ быть, это—въ интересахъ лишь сценическаго эффекта, чтобы дать звуковой фонъ драмѣ; можетъ быть—чтобы дать съ самаго начала предчувствіе той религіозно-мистической ноты, которой разрѣшится „Соната"... У столба съ театральными афишами, въ креслѣ на колесахъ сидитъ старикъ и читаетъ газету, въ которой напечатанъ отчетъ о вчерашней катастрофѣ: рухнулъ домъ и какой-то храбрый студентъ спасалъ погибающихъ. Въ двухъ шагахъ, у бассейна, стоитъ и этотъ студентъ. Старикъ и студентъ—два главныхъ персонажа „Сонаты", и скоро устанавливается между ними странное отношеніе. Не случайность, что приходится такъ часто прибѣгать къ этому прилагательному. Все странно въ „Сонатѣ", умышленно странно. Старательно прядетъ авторъ свою пряжу странностей, чтобы окутать ею свою драму. Старикъ по портрету въ газетѣ узнаетъ въ студентѣ героя вчерашняго происшествія, а по голосу—сына человѣка, съ которымъ нѣкогда былъ связанъ странными связями. Самъ старикъ считаетъ, что онъ былъ благодѣтелемъ отца студента, но отецъ считалъ его своимъ раззорителемъ и научилъ дѣтей проклинать его имя. И теперь старикъ хочетъ быть благодѣтелемъ и сына, хочетъ сдѣлать его счастливымъ, богатымъ, уважаемымъ. И накидываетъ на него этими обѣщаніями свою сѣть, порабощаетъ своимъ желаніемъ. Потому что старикъ—

ловецъ людей, „конокрадъ на людской ярмаркѣ“, какъ опредѣляетъ его его лакей, котораго старикъ спасъ отъ рукъ правосудія и тѣмъ сдѣлалъ своимъ покорнымъ рабомъ. Старикъ—мрачная, демоническая сила, воплощенная жажда власти надъ людьми. Чего онъ хочетъ,—непремѣнно достигаетъ. „Онъ вламывается въ дома, влѣзаетъ въ окна,—характеризуетъ его лакей,—играетъ людскими судьбами“. Онъ знаетъ, что всѣ люди ходятъ подъ масками, и не знаетъ лучшей радости, какъ срывать эти маски, обнажать подъ приличными личинами негодяевъ и разбойниковъ. Онъ какъбудто слуга правды; но онъ самъ—высшая ложь. Подъ его маскою—самое отвратительное лицо.

— Можно вѣрить этому человѣку?—спрашиваетъ студентъ, на котораго старикъ уже накинулъ свою сѣть.

— Можно всему повѣрить о немъ,—отвѣчаетъ лакей.

Ничего ему не страшно на землѣ и на небѣ. И все-таки онъ боится одного существа—маленькой молочницы. Потому что эта маленькая молочница—не молочница, а призракъ. Призракъ дѣвушки, которую старикъ утопилъ въ Гамбургѣ, гдѣ былъ когда-то ростовщикомъ, за то, что она знала про какое-то его преступленіе. Она—вродѣ казнящей совѣсти. И оттого, всякій разъ, когда встрѣчаетъ старикъ повозочку съ молокомъ, онъ торопливо, испуганно сворачиваетъ въ сторону.

Жизнь старика тѣсно и таинственно переплетена съ жизнью богатаго дома, который стоитъ на углу улицы. Самый этотъ домъ полонъ странностей и тайнъ, обманчивыхъ видимостей благопристойной жизни, подъ масками которой всѣ пороки, преступленія, загнивающая стоячая вода человѣческаго существованія, живая смерть. Въ этотъ домъ хочетъ старикъ ввести студента, на котораго накинулъ сѣть своихъ жуткихъ благодѣяній, а слѣдомъ за нимъ и самому пробраться, потому что въ этомъ домѣ ожидаетъ особенно богатую жатву своей жестокости, особенно широкій просторъ срыванію масокъ.

Старикъ мелькомъ знакомитъ студента съ обитателями дома, съ этою „сонатою призраковъ“. И самъ не разъ прибавляетъ:

— Все это очень запутанно! Страшно запутанно.

Такъ запутанно, что приходится при чтеніи драмы, то и дѣло переворачивать назадъ страницы, читать опять и опять, чтобы какъ-нибудь усвоить эту сложную, неровную ткань, различить узловатыя нити, изъ которыхъ выткана она взбудораженной фантазіей мрачнаго автора.

Впрочемъ, нѣкоторыя нити—совсѣмъ лишнія въ драмѣ, никакъ не связываются съ цѣлымъ, какое-бы распространительное и мистическое толкованіе ему не придавать. Это—просто разрозненные сатирическіе выпады противъ человѣка, котораго такъ ненавидитъ Стринбергъ, хотя какъ-будто и печалуется о гниломъ разложеніи человѣческой души и призываетъ, устами студента, Спасителя, придти и спасти гибнущій міръ, и молитъ Будду „дать

намъ терпѣніе въ испытаніяхъ, дать чистую волю, чтобы упованіе не стало стыдомъ".

Такъ, въ домѣ живетъ, между прочимъ, умершій консулъ. Не удивляйтесь этому сочетанію „живетъ" и „умершій". Вѣдь предъ нами соната призраковъ. Умершій консулъ—олицетвореніе высшаго тщеславія. Его тщеславіе перебрасывается и по сію сторону жизни, черезъ могилу. Онъ выходитъ на балконъ въ салонѣ, чтобы полюбоваться флагомъ, который поднятъ по случаю его смерти, любуется своимъ гербомъ.

— Сейчасъ, разсказываетъ старикъ, онъ будетъ считать и перечитывать визитныя карточки, присланныя послѣ его смерти, для выраженія соболѣзнованія. О, горе тѣмъ, которые забыли прислать визитную карточку!

Потомъ консулъ въ саванѣ пойдетъ считать нищихъ у чернаго хода. Нищіе даютъ тонкую хорошую декорацію для похоронъ! Чѣмъ больше нищихъ, тѣмъ богаче пища тщеславію: „благословенія столькихъ бѣдняковъ провожаютъ его". А тщеславный консулъ всегда мечталъ о красивыхъ похоронахъ, о „благословеніи".

— Это, впрочемъ не помѣшало ему, — вставляетъ въ свой разсказъ срыватель масокъ — когда онъ уже почувствовалъ, что близится конецъ, поторопиться ограбить казну еще на 50 тысячъ кронъ.

Только кладбищенская фантазія и пламенное человѣконенавистничество Стринберга могли дать такой образъ, перекинуть такъ тщеславіе по ту сторону гроба, прикрѣпить его къ суетѣ похоронъ.

Второй актъ „Сонаты" вводитъ въ самый домъ, въ круглую залу, гдѣ живетъ полковникъ, и гдѣ готовится „ужинъ призраковъ". Старикъ добился своего—ввелъ сюда студента, пустивъ въ ходъ хитрость. Студентъ не только прошелъ въ домъ, но скоро будетъ женихомъ прекрасной дѣвушки съ гіацинтами, которая считается всѣми дочерью Полковника, но которая—дочь Старика. Это—одна изъ лжей этого дома, которыми весь онъ пропитанъ, весь отравленъ и оттого похожъ на кучу червей.

Въ центрѣ залы—мраморная, залитая свѣтомъ статуя прекрасной молодой женщины. Это—статуя хозяйки, жены Полковника и матери дѣвушки съ гіацинтами. Но такой она была очень давно. Теперь она стала муміей. Всегда сидитъ въ шкафу, чтобы не видѣть свѣта и людей. Только иногда выходитъ и безумными глазами любуется собой въ мраморѣ. Потому что она—безумная и кричитъ попугаемъ: Куррре!

— Видите ли, разсказываетъ лакей Полковника лакею Старика,—когда домъ дѣлается старымъ, онъ покрывается плѣсенью, и когда люди долго сидятъ вмѣстѣ и мучаютъ другъ друга,—они глупѣютъ.

Когда то теперешняя Мумія обманула мужа со Старикомъ, и родилась дочь. Старикъ увлекъ его жену не изъ любви, но чтобы отомстить, потому что когда-то Полковникъ отнялъ у Старика невѣсту. А Старикъ „такъ

зозданъ, что не умѣетъ простить, не покаравъ раньше". Однажды Мумія, разозлившись на мужа, все разсказала ему, но онъ не повѣрилъ.

Такъ говорятъ всѣ женщины, когда хотятъ убить мужа,—отпарировалъ онъ признаніе. И ложь стала вить вокругъ этихъ гробовъ свою паутину, покрывать ихъ плѣсенью. Все больше загнивала стоячая вода. И эта ложь была не одна. Вѣдь вся вообще жизнь человѣческая, въ болѣзненно прозорливыхъ глазахъ Стринберга, выткана изъ лжи. Полковникъ богатъ, но онъ—нищій, потому что Старикомъ скуплены его векселя и держитъ Старикъ его въ своихъ цѣпкихъ лапахъ. Полковникъ—аристократъ, но гербъ его—фальшивый, тотъ родъ, чье имя онъ носитъ, вымеръ уже сто лѣтъ назадъ, и все его родословное древо источено червями лжи и фальсификаціи. Полковникъ—вовсе и не полковникъ, потому что давно уничтожены всѣ титулы послѣ преобразованія американской милиціи, въ которой онъ служилъ. Полковникъ—просто лакей.

— Снимите свои волосы,—говоритъ ему Старикъ, пробравшейся таки въ его домъ,—и поглядите въ зеркало. Да выньте кстати и зубы, сбрейте усы, расшнуруйте желѣзный корсетъ. И тогда мы увидимъ, не узнаемъ ли мы снова лакея Ксидза, который блюдолизничалъ въ извѣстной кухнѣ.

И Полковникъ не протестуетъ. Онъ только силится узнать, кто же тотъ, кто все знаетъ и все умѣетъ разоблачить. Но не успѣваетъ узнать, потому что уже собираются гости на „ужинъ призраковъ", гдѣ всѣхъ объединяетъ круговая порука лжи, гдѣ двадцать лѣтъ все тѣ же люди и говорятъ все тоже самое или молчатъ, чтобы не застыдиться, и грызутъ всѣ заразъ хлѣбцы, и такой отъ этого звукъ, точно крысы на чердакѣ. Да и стоитъ ли разговаривать призракамъ на ужинѣ? „Имъ нечего сказать другъ другу, потому что одинъ не вѣритъ тому, что говоритъ другой.

— Къ чему говорить? Вѣдь мы не можемъ обмануть другъ друга,—объяснилъ какъ-то Полковникъ дочери, почему они такъ всегда молчатъ.

Слова даны человѣку лишь для того, чтобы скрывать правду.

— Я на дняхъ читалъ, говоритъ Старикъ,—что различіе языковъ возникло у дикихъ народовъ для того, чтобы скрывать тайны одного племени отъ другого.

Высшее орудіе единенія людей—лишь могучее средство ихъ разъединенія...

Но тотъ ужинъ призраковъ, на который приводитъ Стринбергъ своихъ читателей,—исключительный. На немъ молчаніе сломано. Старикъ говоритъ пространный монологъ. И въ немъ облачаетъ ложь, это захлестнуло мертвой петлей домъ.

— Всѣ мы, сидящіе здѣсь, конечно, знаемъ, кто мы. Не правда ли? Мнѣ нечего говорить вамъ... И вы меня знаете, хотя и держите себя такъ, точно не знаете. А тамъ въ комнатѣ сидитъ моя дочь, *моя*, и это вы знаете... Она потеряла вкусъ къ жизни, не зная почему... Но она увядала

въ этомъ воздухѣ, пропитанномъ преступленіемъ, ложью и всяческимъ обманомъ... Моею миссіею въ этомъ домѣ было: вырвать плевелы, вскрыть преступленія, подвести итоги, чтобы юность могла начать въ этомъ домѣ новую жизнь, которую я приношу ей въ даръ.

Но разоблачающій ложь и приносящій даръ новой жизни,—самъ весь во лжи, самъ нищій правдою. И скверны его дары.

И въ свой чередъ Старикъ разоблаченъ. И съ него сорвана маска. Сорвана Муміей, которая вдругъ смѣнила попугайный крикъ „Куррра!“ на рѣчь великой отчетливости.

— Мы—жалкіе люди, знаемъ. Мы грѣшили, мы ошибались, всѣ, всѣ. Мы—не тѣ, какими кажемся... Но то, что ты, съ фальшивымъ именемъ, хочешь быть судьею, доказываетъ, что ты—хуже, чѣмъ мы, жалкіе! И ты—не тотъ, чѣмъ кажешься. Ты—воръ людей. Ты похитилъ меня обѣщаніями. Ты убилъ консула, котораго сегодня похоронятъ, ты задушилъ его векселями; ты похитилъ студента, опутавъ его вымышленными долгами его отца, который никогда не былъ тебѣ долженъ ни гроша.

И съ помощью лакея Полковника Мумія разоблачаетъ послѣднюю тайну Старика-вампира, пившаго чужую кровь, — его гамбургское преступленіе, когда заманилъ онъ на ледъ маленькую молочницу, чтобы утопить.

— Теперь часы пробили,—грозно говоритъ Старику Мумія,—вставай, иди въ гардеробъ, гдѣ я просидѣла двадцать лѣтъ и оплакивала наше преступленіе... Тамъ виситъ шнурокъ, которымъ ты задушилъ консула и которымъ хотѣлъ задушить своего благодѣтеля. Ступай!..

И лакей приноситъ „ширмы смерти“—черныя японскія ширмы; ихъ здѣсь всегда ставятъ, когда кто-нибудь умираетъ, въ этомъ зачумленномъ ложью домѣ, должно быть для того, чтобы скрыть отъ глазъ единственно несомнѣнный по правдѣ фактъ жизни...

Высшей неразборчивости, хотя моментами и очень сильной, жуткой красоты достигаетъ „Соната призраковъ“ въ третьей и послѣдней картинѣ, которая вся—діалогъ между Студентомъ и Дѣвушкою въ комнатѣ, полной разноцвѣтныхъ гіацинтовъ, съ изображеніемъ Будды на каминѣ.

Начинается діалогъ, какъ страстный, восторженный любовный дуэтъ, какъ гимнъ цвѣтамъ. Но не можетъ долго пламенѣть восторгъ, потому что всѣ мы „отравлены въ самомъ родникѣ жизни“, а въ нѣжной силѣ аромата цвѣтовъ есть смертельный ядъ.

Скоро въ уста влюбленныхъ, обрученныхъ, но обреченныхъ, авторъ вкладываетъ всю свою ненависть къ мелочамъ жизни, которыя выпиваютъ изъ нея всѣ ея соки, держатъ въ рабствѣ душу. Власть пошлыхъ мелочей, обыденнаго обихода которую, казалось бы, такъ легко каждому съ себя сбросить, но которая оказывается всемогущей олицетворяется въ образѣ кухарки,—Кухарки-вампира.

— Она съѣдаетъ насъ,—стонетъ дѣвушка.

— Почему-же вы ей не откажете?

— Она не уходитъ! У насъ нѣтъ надъ нею власти, она досталась намъ за наши грѣхи... Развѣ вы не видите, что мы чахнемъ, что мы истощены...

— Такъ прогоните-же ее.

— Мы не можемъ.

— Почему?

— Не знаемъ? Она не уходитъ. Ни у кого нѣтъ надъ нею власти. Она отняла у насъ силу.

— Хотите, я ее выгоню?

— Нѣтъ, пусть будетъ такъ, какъ есть... Она спрашиваетъ, чего мы хотимъ къ обѣду; я отвѣчаю: то-то и то-то. Она возражаетъ. И дѣлается такъ, какъ она хочетъ.

— Такъ пусть-же она сама рѣшаетъ.

— Она не хочетъ.

— Какой странный домъ! Заколдованный! — резюмируетъ Студентъ эту часть діалога.

И опять, черезъ нѣсколько фразъ,—начинается кошмаръ будничныхъ мелочей, обихода, возведеннаго авторомъ въ какого-то фантастическаго, апокалипсическаго звѣря.

Студентъ. Здѣсь холодно. Почему вы не топите?

Дѣвушка. Потому-что тогда идетъ дымъ.

Студентъ. Развѣ нельзя вычистить трубу?

Дѣвушка. Не помогаетъ... Посмотрите на письменный столъ.

Студентъ. Замѣчательно красивый.

Дѣвушка. Но онъ качается! Каждый день я подкладываю подъ ножку пробку, а горничная, когда мететъ, вынимаетъ, и я должна вырѣзывать новую пробку. Ручка и перья каждый день измазаны чернилами, чернильница тоже. И каждое утро, на восходѣ солнца я должна ихъ мыть... Что, по вашему, самое отвратительное?

Студентъ. Считать бѣлье.

Дѣвушка. Я это дѣлала.

Студентъ. А еще?

Дѣвушка. Когда только мѣшаютъ спать, и надо вставать и запирать верхнюю задвижку у окна, про которую забыла горничная.

Студентъ. Еще?

Дѣвушка. Лѣзть на лѣстницу и привязывать въ сотый разъ къ отдушнику шнурокъ, оборванный горничной.

Студентъ. Еще?

Дѣвушка. Подметать за нею, вытирать за нее пыль, разводить за нее огонь въ печи. Слѣдить за отдушниками, вытирать стаканы, накрывать на столъ, откупоривать бутылки, открывать окна и провѣтривать

комнату, оправлять постель, мыть графинъ, когда онъ дѣлается зеленымъ отъ порослей, покупать спички и мыло, которыхъ никогда не хватаетъ, вытирать ламповое стекло и обрѣзать фитиль, чтобъ не коптѣли лампы.

— Пѣсню! Пѣсню!—кричитъ студентъ,—будучи не въ силахъ выдерживать далѣе этотъ мартирологъ обыденщины, эту Голгоѳу изъ непріятныхъ пустяковъ, которая есть жизнь, эту изнанку того, что будто-бы — семья... А поверхъ этой гнили—оболочка лжи. И „міръ рухнулъ-бы, если бы стать дѣйствительно откровенными".

— А я думалъ, что здѣсь—рай,—говоритъ Студентъ—когда увидалъ въ первый разъ, какъ вы вошли сюда... Однимъ воскреснымъ утромъ стоялъ я тамъ, на перекресткѣ улицы и смотрѣлъ сюда. Я увидѣлъ Полковника, который не былъ полковникомъ; у меня былъ благородный благодѣтель, который былъ бандитомъ и повѣсился; я видѣлъ Мумію, которая была не мумія, а дѣвушка съ унаслѣдованною или пріобрѣтенною болѣзнью...

И когда хочетъ студентъ исторгнуть изъ струнъ арфы „огонь и пурпуръ",—арфа молчитъ. Струны нѣмы и глухи.

И Студентъ говоритъ тотъ монологъ отчаянія, который уже были цитированъ въ началѣ этой замѣтки, и который, какъ-будто даетъ нѣкоторый ключъ къ запутаннымъ загадкамъ „Сонаты призраковъ", даетъ хотя какую-нибудь нить, чтобы пройти по извилистому лабиринту: „На всемъ мірозданіи и на всей жизни лежитъ проклятіе... Теперь чувствую я, какъ вампиръ изъ кухни начинаетъ пить и мою кровь". И слѣдуетъ признаніе, въ которомъ врядъ ли не звучатъ ноты автобіографическія. Стриндбергъ объясняетъ источникъ мрака его творчества, той озлобленности, которою оно запечатлѣно, и далеко не въ одной „Сонатѣ", лишь вмѣщающей все зданіе:

— Есть яды, которые убиваютъ зрѣніе, и яды, отъ которыхъ разверзаются глаза. Навѣрное, я родился съ этимъ послѣднимъ ядомъ. Потому-что не могу я видѣть въ безобразномъ красивое или называть дурное хорошимъ. Не могу.

— И слѣпцы убили Спасителя за то, что хотѣлъ Онъ ихъ освободить. А разбойникъ былъ отпущенъ на свободу. Разбойнику принадлежатъ всегда симпатіи.

Въ этомъ—не только проклятіе міра и причина, это „соната" звучитъ, какъ danse macuabre. Въ этомъ, для самого Стриндберга, и гордое объясненіе его тяжелой судьбы, его непризнанности, той вражды къ нему, которую онъ всегда и вездѣ подозрѣвалъ, доходя до маніи преслѣдованія. Люди не выносятъ силы его зрѣнія и его откровенности...

— Ширмы!—скорѣе... умираю,—прерываетъ дѣвушка призывы студента, обращенные къ Спасителю міра.

И ее скрываютъ за черными ширмами смерти.

Но въ темныхъ, отравленныхъ нѣдрахъ души Стриндберга, проклявшаго жизнь, живетъ какая-то вѣра въ избавленіе, мистическое ожиданіе прихода. Изъ земли еще выраститъ небо.

— Грядетъ избавитель! Привѣтъ тебѣ, блѣдный, кроткій! Спи, прекрасная! Несчастная, чистая, невиноватая въ страданіяхъ своихъ. Спи безъ сновидѣній. И когда снова проснешься,—пусть привѣтствуетъ тебя солнце, которое не жжетъ, въ пріютѣ, гдѣ нѣтъ пыли. Пусть привѣтствуютъ тебя близкіе, чистые отъ позора, и любовь, чистая отъ порока...

А пока, вмѣсто апоѳеоза жизни—островъ смерти. И „самые прекрасные цвѣты на немъ ядовиты“.

Таковъ скорбный мотивъ этой „сонаты призраковъ“, насколько можно вообще уловить мотивъ въ хаосѣ звуковъ анаѳемствующаго автора.

Н. Эфросъ

Журнальныя впечатлѣнія.

Объ ансамблѣ журнала и пятнистыхъ авторахъ. — Индивидуальность и индивидуализмъ.—О ста альковахъ и одной казни.—Культурная усадьба и о томъ, что половины дуракамъ не показываютъ.—„Хочешь не хочешь“.—„Вѣсы“ и “гири“.— Какъ „Вѣсы“ недоумѣваютъ, и какъ „Вѣсы“ сердятся.

1.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ нудный день, сѣрый отъ дыма, тумана и дождя, въ большой квадратной редакціонной комнатѣ журнала сидѣлъ начинающій беллетристъ. Слѣдилъ за огромными шагами редактора и слушалъ, какъ тотъ, тоже огромный, объяснялъ ему:

— Да! Разсказъ вашъ я не приму. Штуку вы написали очень хорошую. Любопытную, смѣлую и молодую. Но я ее не приму, эту вашу талантливую штуку. А вы не обижайтесь!

Начинающій беллетристъ поднялъ глаза и увидѣлъ:—редакторъ стоитъ къ нему спиной, съ поднятой къ потолку головой, трясетъ ею и, вѣроятно, сердится.

„На кого же?“—подумалъ беллетристъ.—„Если на меня, то за что?“

А редакторъ въ это время быстро обернулся къ нему и, глядя въ упоръ, и, будто угадавъ его мысль, продолжалъ:

— Потому не приму вашей штуки, что она мнѣ ненужна и испортитъ... ансамбль номера. Среднюю вещь приму, и десять, и двадцать среднихъ вещей приму. А вотъ, такую, какъ ваша, пятнистую,—значитъ, неровную,— мнѣ некуда дѣвать. Она будетъ въ номерѣ, какъ клякса. И почему вы всѣ думаете, что въ труппѣ артистовъ ансамбль и ровная игра нужна, а въ труппѣ сотрудниковъ, составляющихъ данный журналъ, не нужно ни ансамбля, ни ровной игры?

И вдругъ крикнулъ:

— Глубокая ошибка съ!

Спускаясь по лѣстницѣ, надѣвая пальто, и потомъ долго идя подъ зонтикомъ по четырехугольнымъ мокрымъ плитамъ тротуара, начинающій беллетристъ все время не могъ разрѣшить одного вопроса:

„Какъ же будетъ теперь съ пятнистыми?“

И потомъ и годъ и два все такъ и стоялъ передъ нимъ этотъ вопросъ безъ отвѣта. Но въ одинъ прекрасный день беллетристъ проснулся и вдругъ

понялъ, что всѣ пятнистые давно исчезли, и остались только ровные, равные, и насталъ моментъ для самаго идеальнаго ансамбля.

Беллетристъ хотѣлъ было послать редактору поздравительную телеграмму, но вмѣсто этого сѣлъ и написалъ разсказъ, отнесъ его въ ту же редакцію и черезъ какихъ-нибудь два дня не только узналъ, что разсказъ принятъ, но еще и получилъ авансъ.

2.

А пятнистые за это время и въ самомъ дѣлѣ вывелись. Говорю, конечно, не объ Андреевыхъ и Брюсовыхъ,—которые всегда были на короткомъ и радостномъ счету,—а о тѣхъ вторыхъ и третьихъ, которыми держится книжный рынокъ, и на которыхъ обычно стоитъ журналъ. Въ былое, и еще очень недавнее время даже у такихъ, какъ И. Саловъ, какъ А. И. Эртель, какъ М. В. Крестовская, или Н. Е. Коронинъ-Петропавловловскій, или даже Г. А. Мачтетъ легко разглядывались ихъ собственныя, имъ однимъ принадлежащія, личныя, безраздѣльно-присущія, типическія черты литературнаго лица. Но теперь у современныхъ авторовъ стирается индивидуальность и, къ радости немногихъ, литература становится дѣйствительно какимъ-то однимъ большимъ „ансамблемъ“.

И потому, что всѣ Ивановы стали похожи на Петровыхъ, а всѣ Петровы на Ивановыхъ; потому что стерлись послѣднія натуральныя краски,—вошла въ моду татуировка, т. е. литературная косметика.

„Всѣ довольны своимъ умомъ, и никто не доволенъ своимъ карманомъ“.

Но нынѣшніе „художники слова“, за самымъ малымъ исключеніемъ, достаточно удовлетворены своимъ гонораромъ и никто изъ нихъ, повидимому, не доволенъ своимъ литературнымъ лицомъ и во всякій часъ и въ каждую минуту готовъ взять напрокатъ лицо своего сосѣда.

Появилось великое множество маскированныхъ.

Происходитъ какой-то общій распадъ душъ. Вытравляется личное и царитъ общее. Имена существительныя собственныя скоро будутъ писаться съ маленькой буквы, какъ имена нарицательныя, ибо разница между ними исчезаетъ.

Литература уперлась въ тупикъ. Никогда еще „художественное“ слово не лгало такъ воровски и мелко, какъ сейчасъ.

Изъ книгъ этихъ многотысячныхъ „Разсказовъ“ и „Очерковъ“ ушла наблюдательность, а фантазія никогда не была ихъ гостемъ. Конечно, распалась и сама жизнь, т. е. развалился прежній бытъ, а новаго пока нѣтъ, выпали старые элементы изъ душъ, но новые не пришли. Все же вѣрно, что у насъ стали только сочинять и только выдумывать, отучились всматриваться въ жизнь, ее наблюдать и изучать.

А это—единственный источникъ, откуда можно было бы почерпнуть новую силу и новую душу и найти свое собственное, нечужое, живое и опредѣленное лицо.

И всѣ эти выдумки, всѣ эти нарочито-невозможные сюжеты, это умираніе простоты и ясности, исчезновеніе искренности и опредѣленности—все это результатъ страстнаго и безсильнаго желанія подняться на высоту безъ крыльевъ. Только подумать, какіе сюжеты за одинъ послѣдній годъ! При изумительномъ однообразіи по существу, этотъ половой годъ смѣнилъ сотню альковныхъ обстановокъ. Намъ разсказывали сначала о радостяхъ земной любви, между мужемъ и женой. Потомъ жену смѣнила свояченица. Потомъ знакомая, полузнакомая, наконецъ, совсѣмъ незнакомая.

А дальше пошло и пошло. Двоюродная сестра. Родная сестра. Собственная дочь. Тетка. Дядя. И теперь, приговоренная къ постылымъ радостямъ, на очереди дежуритъ бабушка.

Неправда ли, какое разнообразіе, какой полетъ фантазіи, какая мощь и беззапретность творческой мысли?

И, вотъ, при такомъ шаблонѣ, безъ собственной индивидуальности беллетристовъ вдругъ потянуло къ индивидуалистическому пересмотру всѣхъ „цѣнностей". И изъ этого опять, конечно, ничего не могло выйти путнаго. Воюя съ буржуазіей, ей же и служили.

Будто бы проповѣдуя мораль иммрализма, проповѣдывали, на самомъ дѣлѣ, новый и еще худшій морализмъ. Обособляясь отъ прошлаго, къ прошлому возвращались и воспѣвая будущее, его окарикатурили и оклеветали.

И современному журналу было бы до отчаянія трудно строить свое будущее на зыбкомъ фантастическомъ фундаментѣ литературнаго отдѣла, непрочномъ, хрупкомъ и ненадежномъ.

3.

„Разсказъ о семи повѣшенныхъ" Леонида Андреева—единственная въ своемъ родѣ, потрясающая, громадная, исполинская вещь. Но, чтобы написать такой разсказъ, нужно имѣть исполинскую андреевскую силу. А гдѣ они, эти Андреевы? Андреевъ—разъ, а гдѣ второй? Послѣ набившихъ оскомину, прискучившихъ уху и сердцу „половыхъ" экстравагантныхъ, сверхмыслимыхъ, сверхвозможныхъ, сверхлитературныхъ темъ вдругъ вспомнили о томъ, что есть потрясающая дѣйствительность, что счастье и огни, ужасъ и трагедіи намъ несетъ сама жизнь, что есть палачи и убиваемые, убійцы и казни. И, вотъ, неизвѣстный авторъ, несовсѣмъ въ беллетристической формѣ, явно и рабски подражая въ слогѣ и въ языкѣ Льву Толстому, вдругъ написалъ, властное въ своей безхитростности и важное въ своей протокольной точности повѣствованіе, назвалъ его

„Казнь Якова Стеблянскаго“ и скромно пріютилъ этой огромной силы и важности разсказъ гдѣ-то въ публицистическомъ отдѣлѣ „Русской Мысли“. А подписался: „Владиміръ Анучинъ“.

Единственное достоинство „Казни Якова Стеблянскаго“—ея добросовѣстность. Единственная ея прелесть—страдающая искренняя душа очевидца-автора. И, вотъ, при всѣхъ этихъ нехитрыхъ, безыскусственныхъ, немногихъ плюсахъ „Казнь“ произвела впечатлѣніе не меньшее, чѣмъ „Разсказъ“ Леонида Андреева и „Не могу молчать“ того Льва Толстого, въ ясномъ и неоспоримомъ литературномъ рабствѣ у котораго находится новичекъ-полубеллетристъ Влад. Анучинъ. Именно *полу*беллетристъ, потому что въ конечномъ счетѣ это всего только очень душевный репортажъ. Въ этомъ репортерски-корреспондентскомъ тонѣ написана вся „Казнь“. И оттого ея авторъ иногда такъ ненужно точенъ, описывая и самую казнь, разсказывая и о томъ, что было до нея, вспоминая и о томъ, что произошло и происходило послѣ. И несмотря на всю неоспоримую неопытность автора, эта „Казнь“—едва ли не лучшее, что мы читали за послѣднее время на темы о революціи, объ ея отсвѣтахъ и отблескахъ. Здѣсь есть страницы неповторимой яркости, строки небывалой искренности, слова почти неосуществимой наблюдательности. Послѣ многихъ страницъ, посвященныхъ разсказу о судѣ, предыдущихъ дняхъ и ночахъ, случайныхъ разговорахъ, авторъ, наконецъ, приводитъ насъ къ мѣсту казни.

Вотъ уже приступаютъ къ ней. Всѣ въ напряженномъ волненіи ждутъ, любопытствуютъ и мучаются, но Стеблянскій, все такъ же неизмѣнно спокойно стоялъ, отставивъ лѣвую ногу и придерживая, насколько позволяли ручныя оковы, ремень у пояса съ цѣпями ножныхъ кандаловъ.

Вдругъ онъ заговорилъ и всѣ замерли отъ вниманія.

— Ваше благородіе, это какъ же? всѣхъ приговорили на висѣльницу, меня удавлять будутъ, а другихъ нѣтъ?!.. Всѣ были, всѣмъ и висѣть.— Но мертвое молчаніе и движеніе въ немъ струящагося, весенняго, пахучаго воздуха былъ ему отвѣтомъ. — Это что вы сейчасъ читали, что такое? Это все одно, что ажемякинъ судъ сказать, и болѣ ничего!.. А мнѣ и такъ и этакъ пропадать—одинъ конецъ, готовъ я!

Въ сущности, удивительно простыя слова, несомнѣнно записанныя, слова, которыхъ не придумаешь, и изъ которыхъ художникъ изъ нынѣшнихъ сдѣлалъ бы ни вѣсть что, онъ оправилъ ихъ въ ужасъ, кровь, протесты, богоборчество, борьбу за индивидуальность, и именно всѣмъ этимъ лишилъ бы ихъ той милой, давно нами невиданной, давно нами неслыханной искренней простоты, сердца, которое никогда не искало спасенія въ много бы глаголаніи.

4.

Трудно,—просто невозможно излагать этотъ кинематографическій снимокъ, немыслимо передать, какъ „твердо зная, что ему нужно дѣлать, и

нисколько не смущаясь, точно онъ дѣлалъ самое обыкновенное дѣло, одѣтый по праздничному палачъ, въ теплой шапкѣ и въ валенкахъ, набралъ гремящій накрахмаленнымъ коленкоромъ бѣлый саванъ на правую руку и приготовился уже вскинуть его Стеблянскому на голову, но остановился, потому что кто то подсказалъ:

— Перва руки надо завязать...

— Дивствительно руки то лучше завязать, а то кто его знаетъ...

И подошли завязывать ему руки, которые онъ, сложивъ назади, отдалъ въ ихъ распоряженіе.

Онъ смотрѣлъ на палача, избѣгавшаго этого взгляда, будто онъ вовсе не замѣчаетъ его, и вдругъ взоры ихъ встрѣтились.

Стеблянскій своимъ хрипяще сиплымъ голосомъ съ замѣтнымъ раздраженіемъ въ немъ проговорилъ:

— Такъ это ты-то хочешь меня удавить, свинья такая?

Но палачъ молчалъ, стоя все такъ-же въ выжидательной позѣ съ саваномъ въ рукѣ.

— Что-жъ молчишь?—снова черезъ секунду спросилъ Стеблянскій,— за что меня хочешь удавить? ну, чего не сказываешь!?. а? Встрѣлся бы ты мнѣ... гдѣ-нибудь, а не издѣся, я бы тебѣ показалъ! Вѣдь ты, свинья паршивая, больше моего, можетъ, душъ то загубилъ... Чѣмъ же ты лучше меня, что я помереть должонъ, а ты жить будешь и еще людей душить?.. Вѣдь ты душегубъ... вотъ ты кто!..

Все это, приправляя отборными ругательствами, онъ произнесъ равнымъ голосомъ, не спѣша и ясно.

— Чего ты ругаешься! — обиженно и съ властнымъ задоромъ произнесъ палачъ.—Развѣ я тебя трогаю? Приказано мнѣ, вотъ и весь сказъ.

— Приказано—насмѣшливо передразнилъ палача Стеблянскій,—вонъ какъ! Ты сколько за мою разбойничью душу взялъ, сказывай!..

— Перестань, — съ сердцемъ воскликнулъ палачъ, — а то я брошу! Ваше благородіе,—обратился онъ къ смотрителю:—чего онъ ругатца—не буду я!

— Ну, надѣвай, стерва,—не будешь!—съ презрѣніемъ въ голосѣ, подчиняясь необходимости сдержать кипящую злобу,—медленно просипѣлъ Стеблянскій и нагнулъ голову.

Палачъ, казалось, только этого и ожидалъ. Онъ неловко, но быстро накинулъ на голову Стеблянскаго саванъ, а тотъ, накрытый, задвигалъ плечами, расправляя его. Шуршащій накрахмаленнымъ коленкоромъ и цѣпляющійся за сукно куртки его, онъ спадалъ, опускаясь съ плечъ, къ ногамъ, закрывая фигуру человѣка, а палачъ его оддергивалъ неловко и отрывисто. Когда голова Стеблянскаго пролѣзла въ прорѣху, палачъ нашелъ тесемки у краевъ ея разрѣза и сталъ ихъ завязывать у горла.

Едва ли какому-нибудь изъ современныхъ беллетристовъ приходило въ голову, что казнь цинична въ своей элементарности, что циничны и просты въ этотъ моментъ и палачъ, и самъ казнимый.

— Подожди, душегубъ, дай проститься. Порядка не знаешь, за дѣло взялся. Человѣкъ помирать идетъ, понимаешь-ли ты это, глупая свинья?.. Въ послѣдній разъ людямъ хочетъ слово сказать! Успѣешь удавить.

— Ну, говори, я тебѣ не мѣшаю,—грубо, но уступчиво отвѣтилъ тотъ.

Стеблянскій повернулся лицомъ къ солдатамъ, и проговорилъ все тѣмъ же своимъ хрипяще-сиплымъ голосомъ просто, но искренно: „прощайте, братцы!"

Наконецъ, началась самая казнь, т. е. превративъ Стеблянскаго въ какое-то бѣлое чучело, похожее на воронье пугало, палачъ подвелъ его, отдавшагося ему въ распоряженіе, къ лѣсенкѣ.

— Ну, пусти!—неожиданно сказало чучело, въ которомъ по голосу скрывался Стеблянскій;—самъ поднимусь.

Осторожно, одной ногой подтягивая другую, поднимался онъ по ступенькамъ легкой, неустойчивой лѣсенки, а палачъ—ниже ступенькой рядомъ съ нимъ.

Какъ только онъ всталъ на верхнюю ступеньку, палачъ поймалъ веревку и что-то долго оправлялъ на ней петлю, прикидывая ее къ головѣ Стеблянскаго. Но сколько онъ ни старался, ничего не выходило. Всѣ напряженно слѣдили за нимъ зоркимъ взглядомъ.

И вдругъ точно проснулись.

— Коротка удавка... Ишь, веревка не хвататъ...—сдержанно, вполголоса заговорили среди насъ, зрителей:—отпустить петлю то надо...

— О, Боже мой, Боже мой! да что же это за истязаніе такое...—съ молящимъ отчаяніемъ въ голосѣ тихонько воскликнулъ товарищъ прокурора и отвернулся. На поверхности его неморгающихъ глазъ я украдкой замѣтилъ влажность, и мнѣ стало жаль этого страдающаго по необходимости, добраго молодого человѣка.

Но палачъ самъ зналъ, что ему дѣлать. Онъ уже сошелъ наземь—и потребовалъ лѣстницу. Бѣлое чучело, какъ изваяніе неподвижное и ослѣпительно бѣлое на солнечномъ яркомъ свѣтѣ стояло въ ожиданіи. Но вдругъ оттуда мы услышали знакомый сиплый голосъ его:

— Ну ты, душегубъ, скорѣе!

. . . .

Сильно? Ярко? Незабываемо? И, вѣдь, все это—только репортажъ, стенограмма и фотографія, корреспондентская статья,—полубеллетристика—небольше.

Не все здѣсь ровно, не все „ансамблисто", есть пятна, — иногда кляксы, иногда цвѣта; найдутся коробящія подробности, встрѣтятся несчастливыя сравненія и даже горькія неудачи, но вездѣ тутъ подлинность и жизнь,—настоящая трагедія, настоящія слезы, настоящая боль,—вездѣ и всюду тутъ настоящій и живой поруганный человѣкъ, истерзанный и ожесточенный духъ человѣческій. И этого достаточно для самихъ строгихъ требованій отъ „психологическаго репортажа".

И хоть бы имѣть вотъ такую *полу*беллетристику! Хоть бы, вотъ такой „душевный" репортажъ, ибо, — будемъ искренни—то, что слыветъ у насъ всѣхъ подъ именемъ „беллетристики", въ большинствѣ и скучнѣй,

и тоскливѣй, и неуклюжѣй, чѣмъ этотъ набросокъ, напечатанный въ публицистическомъ отдѣлѣ. И не говорю ужъ о такихъ рѣдкихъ вещахъ, какъ „Казнь“, хоть бы было что-нибудь приближающееся къ ней, подобная ей „*полу*беллетристика“. Но нѣтъ и ея—и большинству журналовъ приходится печатать заправскую, всамдѣлишную „беллетристику“; гдѣ выдумываютъ безъ выдумки, фантазируютъ безъ фантазіи, татуируются, не имѣя цвѣтовъ и красокъ.

5.

И въ этомъ отношеніи лучшую хату съ краю судьба отвела „Вѣстнику Европы“.

Ему незачѣмъ съ болью искать въ своихъ портфеляхъ ни новыхъ талантовъ, ни новыхъ темъ. Для него давно прошла тяжкая и сладкая пора редакціонныхъ сомнѣній и колебаній.

У него есть то, чего нѣтъ ни у кого изъ другихъ журналовъ: есть традиціи.

„Вѣстникъ Европы“ въ русской журналистикѣ — культурная усадьба. Въ ней и около нея есть крѣпкое прошлое.

Добродѣтель его аудиторіи—постоянство. Цѣнность этой аудиторіи въ ея долговѣчности.

„Вѣстникъ Европы“ можетъ старѣть, терять въ вѣсѣ, пухнуть, или худѣть, хоронить своихъ сотрудниковъ и читателей, но смерть ему самому не угрожаетъ. Во всѣхъ его движеніяхъ и поступкахъ, въ мысляхъ и словахъ есть нѣчто строго-надежное, обдуманно-серьезное, неторопливо-спокойное, достойное и увѣренное въ своихъ силахъ, въ самомъ себѣ, и въ своей аудиторіи, какъ увѣрены въ урожаѣ заботливые культурные усадебники.

„Вѣстнику Европы“ некуда спѣшить, потому что ему не отъ чего отставать.

Удивлять и поражать ему тоже некого, ибо его уравновѣшенная аудиторія видѣла всякіе культурные виды и давно уже ничѣмъ не поражается.

Нѣтъ основаній ему хлопотать и о новыхъ дарованіяхъ: помилуйте! Кого найдешь теперь на смѣну былыхъ belle lettre'истовъ, украшавшихъ страницы „Вѣстника“, кто замѣститъ Тургенева, или Гончарова, Жемчужникова, или А. Толстого, этихъ сыновъ старинныхъ дворянскихъ гнѣздъ?

„Вѣстникъ Европы“ не знаетъ и боязни за имена, одинаково готовый сейчасъ открыть столбцы и сотруднику „Новаго Времени“ С. Васюкову и писателю изъ „Русскаго Листка“ г. Сѣверцову-Полилову, какъ онъ открывалъ ихъ когда-то для В. Буренина и кн. Эспера Ухтомскаго.

Лишь бы было „серьезно“!

Культурный усадебникъ не прочь прочесть послѣ обѣда Бальмонта—и „Вѣстникъ Европы“ помѣститъ и Бальмонта. Но либеральный усадебникъ чтитъ великія тѣни и „Вѣстникъ Европы“ радъ В. Вѣтринскому, разсказывающему про „Ранніе годы Н. Г. Чернышевскаго“.

Нѣмцы говорятъ, будто „половину работы дуракамъ не показываютъ". Но „Вѣстникъ Европы" не страшится печатать каждогодно десятокъ романовъ въ двѣнадцати книжкахъ, конецъ которыхъ читаютъ тогда, когда о началѣ умерли всякія воспоминанія. Вѣдь, усадебникъ всегда найдетъ время, не торопясь, справиться въ январскомъ номерѣ о тѣхъ герояхъ, которые дѣйствуютъ въ декабрѣ... И въ послѣдней книжкѣ онъ съ достойнымъ спокойствіемъ печатаетъ тетрадки дневника одного изъ предковъ... беллетриста Полилова: „Вѣстникъ Европы"—журналъ не только литературный, но и историческій!

6.

Но на долю всѣхъ другихъ досталось не прошлое, а настоящее, не право традицій, а обязанность исканій. Отъ ихъ оглавленій ждутъ новаго воздуха, и новыхъ темъ, и новыхъ силъ.

А гдѣ же они, эти новые авторы? Гдѣ цвѣтутъ махровымъ цвѣтомъ эти таланты? Гдѣ эта прекрасная оранжерея? Кто скажетъ и кто найдетъ? Наконецъ, просто мыслимо ли это?

Маленькій разсчетъ.

Въ Россіи издается до десяти журналовъ, помѣщающихъ у себя беллетристику, т. е. не менѣе двухъ произведеній въ мѣсяцъ:

$2 \times 12 = 24$; $24 \times 10 = 240$.

По совѣсти: гдѣ когда кто-нибудь видѣлъ такую уйму, талантливыхъ беллетристическихъ вещей?

А вѣдь это кромѣ 1) еженедѣльниковъ, 2) еженедѣльныхъ приложеній къ газетамъ, 3) альманаховъ и 4) отдѣльныхъ изданій!

Если-бъ стала писать вся талантливая Европа, и тогда такой спросъ не былъ бы удовлетворенъ, а у насъ и всѣхъ то пишущихъ—до пожарныхъ репортеровъ включительно—нѣсколько тысячъ.

И разъ нельзя дать талантливыхъ *произведеній*, даютъ талантливыхъ *авторовъ*, т. е. тѣхъ, которыхъ годъ тому назадъ (а быть можетъ десять лѣтъ тому назадъ) Богъ однажды сподобилъ разрѣшиться удачной вещью.

Ну, какъ же сердиться на журналъ, если онъ въ годъ помѣщаетъ двѣ удачныхъ вещи, три читаемыхъ, пять терпимыхъ, или полу-читаемыхъ (начало и конецъ) и два десятка неудобочитаемыхъ,—неразрѣзаемыхъ, непонятныхъ, страшныхъ и немыслимыхъ? Какъ упрекнуть сейчасъ „Современный Міръ" за то, что разсказъ М. Первухина посредственный, а С. Гусева-Оренбургскаго, ставшаго на скользкій путь грубой символики,—прямо неудачный.

Или „Русскую Мысль" за ея г.г. Крашенинниковыхъ и Андрѣевскихъ, которые могли бы съ одинаковымъ успѣхомъ быть военачальниками, воздухоплавателями, машинистами и натуралистами, какъ и беллетристами.

Всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ было легко вести журналъ безъ беллетристики и безъ стиховъ. Такъ именно начался, велся и ведется „Вѣстникъ Знанія“. Такъ пробовали выходить московскіе „Вѣсы“. Но уже въ прошломъ году имъ пришлось отказаться отъ этой рѣшимости и въ журналѣ появился литературный отдѣлъ.

Послѣ революціи спросъ на искусство созрѣлъ и выросъ до нежданности быстро и интенсивно. Даже средніе альманахи имѣютъ успѣхъ, какого никогда не знала прежде книга той же художественной цѣнности. И спросъ этотъ установился прочно. Теперь уже не обойтись безъ стиховъ, а книжка журналовъ безъ разсказовъ кажется приговоренной.

Конечно, ни одинъ журналъ никогда не пренебрегалъ беллетристикой. Широко поставленный художественный отдѣлъ имѣли „Отечественныя Записки“, „Русское Слово“ и „Современникъ“, „Дѣло и Слово“, „Русскій Вѣстникъ“ и „Библіотека для чтенія“, „Бесѣда“ и „Недѣля“, „Устои“ и даже „Наблюдатель“.

Конечно, никогда на всѣхъ не хватало Тургеневыхъ и Щедриныхъ, Гончаровыхъ и Успенскихъ, большинству приходилось пробавляться второстепенными именами, посредственными произведеніями, блѣдными и бѣдными.

Но, конечно, никогда не было такого опредѣленнаго разграниченія публицистическихъ очерковъ отъ художественной литературы, какъ теперь.

7.

Вотъ, въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ „Вѣсовъ“ г. В. Бакулинъ недоумѣваетъ: какъ такъ Бальмонту

„не мѣшаетъ его принадлежность къ декадентамъ участвовать въ „Сборникахъ знанія“, а Валерію Брюсову—„въ Современномъ Мірѣ“, гдѣ всѣхъ обычныхъ сотоварищей его г. Невѣдомскій обзываетъ „послѣдними словами“, и, наоборотъ, тѣмъ же „Современнымъ Мірамъ“ и „Образованіямъ“ въ критическомъ отдѣлѣ отрицать то самое, что они печатаютъ въ первомъ отдѣлѣ?

Не мѣшала „Перевалу“ его программа: „радикализмъ въ политикѣ, морали и литературѣ“ — печатать на своихъ страницахъ Н. Телешова и П. Кожевникова, у которыхъ, если и есть что за душой, то только ужъ не радикализмъ.

Наконецъ, послѣднія сомнѣнія можетъ разсѣять такой высокій образецъ, какъ Ю. И. Айхенвальдъ, критикъ „Русской Мысли“, который ко всѣмъ школамъ и направленіямъ и ко всѣмъ писателямъ относится съ одинаковой нѣжностью и всѣхъ равно обливаетъ патокой своего умиленія, такъ что подъ ея корой каждый превращается въ сладкій столбъ, и уже не различишь, кто это — Витя Стражевъ или К. Бальмонтъ, Вячеславъ Ивановъ, или только Иванъ Новиковъ“.

Воля ваша, это любопытно—и во многихъ отношеніяхъ. И прежде всего потому, что это напечатано въ „Вѣсахъ“.

Гдѣ: Антонъ Крайній бранитъ Кузмина, А. Бѣлый воюетъ съ Блокомъ, Эллисъ съ Гиппіусъ, а всѣ съ Бальмонтомъ и Вяч. Ивановымъ, — какая то перессорившаяся семья, не умѣющая ладить и не имѣющая силъ разъѣхаться; гдѣ Эллисъ, по его собственному признанію, „ничего не понимаетъ", въ происходящемъ вокругъ него, а паче всего въ томъ, „какъ одинъ и тотъ же писатель, въ одно и тоже время, подъ фамиліей З. Гиппіусъ проповѣдуетъ: соборность и христіанство, а подъ фамиліей А. Крайній—діаметрально противоположное (?), ожесточенно и непристойно браня своихъ собственныхъ адептовъ (Г. Чулкова, В. Иванова, М. Гофмана), выражая сочувствіе школѣ эстетическаго индивидуализма и высказываясь за свободу творчества". („Вѣсы", № 4. Стр. 85).

Гдѣ сама редакція предупреждаетъ читателя, что онъ можетъ здѣсь ждать „сужденій, рѣзко противорѣчивыхъ", такъ какъ „она не считаетъ возможнымъ стѣснять своихъ постоянныхъ сотрудниковъ въ высказываніи своихъ мнѣній".

Но любопытно наблюденіе В. Бакулина и въ другомъ отношеніи, само по себѣ, ибо заключаетъ несомнѣнную долю истины.

Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, не одни „Вѣсы" „ничего не понимаютъ" въ томъ, что у нихъ дѣлается.

Вѣдь, и, въ самомъ дѣлѣ, не только покойный, очень добросовѣстный и очень упрямый въ своихъ вкусахъ А. И. Богдановичъ (А. Б.) бранилъ тѣхъ самыхъ авторовъ, которыхъ ему, одному изъ редакторовъ „Міра Божія", приходилось помѣщать на страницахъ журнала, т. е. спокойно корректировать ихъ наборъ тѣмъ самымъ перомъ, которое за нѣсколько минутъ до этого горѣло грознымъ пламенемъ войны и ненависти къ этимъ самымъ страницамъ и къ этимъ самымъ строкамъ.

Не могу отвѣтствовать за остальныя „Образованія",—о которыхъ почему то во множественномъ числѣ пишутъ „Вѣсы"—но то, въ которомъ я сейчасъ имѣю честь и удовольствіе сотрудничать, могло бы отвѣтить г. Бакулину только одно: ничего другого намъ не остается, какъ широта эстетическихъ допущеній, ибо если не будетъ этого, будетъ нѣчто гораздо болѣе печальное, т. е. односторонняя и однобокая приверженность или къ такъ называемой „областной беллетристикѣ", по которой такъ страстно и искренно тоскуетъ „Русское Богатство", или эстетическое направленство, недопустимое въ данный моментъ борьбы школъ, въ кануный моментъ художественнаго синтеза.

Невозможно, легкомысленно и въ высшей степени самонадѣянно было-бы со стороны журнала исключить и оставить за своимъ порогомъ цѣлое литературное направленіе.

Неумно и странно было-бы отказаться отъ творчества авторовъ только потому, что то, или иное произведеніе разссорило отдѣльные вкусы.

Но еще большій деспотизмъ заключался бы въ насильной печати мол-

чанія, положенной при этихъ условіяхъ на уста журнальнаго критика. Когда-то Н. К. Михайловскій, говоря о Гл. Успенскомъ, предупреждалъ упрекъ въ томъ, что онъ хвалитъ „своего"—сотрудника „Отечественныхъ Записокъ": но было бы странно, еслибъ въ журналѣ помѣщались лишь тѣ авторы, о которыхъ не стоитъ писать. Но и наоборотъ: журналъ помѣщаетъ не *идеальныхъ*, не *безукоризненно-прекрасныхъ*, а только... помѣщаемыхъ. И нѣтъ никакихъ основаній ждать отъ критика хвалы потому, что это—добрый сосѣдъ по журналу и съ нимъ живутъ подъ общей кровлей одной обложки: у насъ общія цѣли, общія обязанности, но разные вкусы.

И поэтому же сейчасъ всѣ журналы безъ „ансамбля".

И еслибъ тотъ начинающій, который сидѣлъ сначала въ квадратной редакціонной комнатѣ предъ огромнымъ редакторомъ, ходившимъ огромными шагами, и потомъ долго шелъ подъ круглымъ чернымъ зонтикомъ по мокрымъ плитамъ мостовой, пришелъ теперь въ редакцію, ему, быть можетъ, даже обрадовались бы: современная редакція возвращаетъ власть артистамъ и отнимаетъ ее у режиссеровъ, ибо она хочетъ не ансамбля труппъ, а цвѣтныхъ и пятнистыхъ, красочныхъ, индивидуальныхъ авторовъ. И я думаю, что она права.

8.

А въ „Вѣсахъ" все сердятся. И больше всѣхъ г. Эллисъ.

И сердится по пустому. На то, что всѣ признали, наконецъ, „новую школу" искусства! Но не говоря о томъ, что свѣтъ и блескъ его гнѣва заимствованы у Зинаиды Гиппіусъ (ст. „Мы и они"), еще годъ тому назадъ тревожно писавшей о грозныхъ симптомахъ популярности „школы", — нельзя не видѣть нѣкоторой преувеличенности такихъ опасеній, ибо для нихъ нѣтъ самаго главнаго: причины. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ же, о популярности „новой школы" не говоритъ ни успѣхъ самихъ „Вѣсовъ", ни распространенность книгъ тѣхъ авторовъ, которые сотрудничаютъ въ этомъ журналѣ.

Исключеніе—Валерій Брюсовъ. Но его извѣстность есть его извѣстность,— не болѣе и не менѣе. Извѣстность, конечно, заслуженная, безспорно справедливая, но не дающая никакихъ правъ на то распространительное толкованіе, которое ей хотятъ придать брюсовскіе оруженосцы, присяжные хвалители, придворные новаго искусства, келари храма мечты,—редакціонные привратники „Вѣсовъ".

Увы! извѣстность не такъ заразительна и не такъ прилипчива, какъ объ этомъ, быть можетъ, хочется думать г.г. Эллисамъ. И они могутъ быть покойны: она не пристанетъ къ нимъ отъ одной близости къ Брюсову и волноваться имъ въ данномъ случаѣ нѣтъ основаній.

Однако,еслибъ даже такъ и было? Еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, и на всю „новую школу“, и на г.г. Эллисовъ вдругъ легъ свѣтъ извѣстности, а надъ ихъ головами взошло и стало солнце славы? Такъ ли ужъ это было бы плохо?

И будто бы расширеніе своей церкви, т. е. собранія одинаково-вѣрующихъ было бы такъ печально, или вредно, или мѣшало бы чистотѣ догмата, или цѣльности исповѣданія?

И потомъ: зачѣмъ въ такомъ случаѣ создавать журналъ, очевидно, ставящій единственной цѣлью разработку и распространеніе идей и произведеній „новой школы“?

Для кого?

„Братьямъ соблазненнымъ“ онъ ненуженъ. Ибо эти братья сами его дѣлаютъ.

Непосвященныхъ же диллетантовъ и профановъ вы не хотите сами пріобщать къ сокровищницѣ своихъ тайнъ и даже, вотъ, гнѣваетесь, что они заглядываютъ въ вашъ храмъ и потомъ мурлыкаютъ на мотивъ вашихъ пѣснопѣній. Такъ не проще ли, не лучше ли, не дешевле и не логичнѣй ли замѣнить „Вѣсы“ рукописнымъ журналомъ—по типу тѣхъ, что издаются способными юношами въ среднеучебныхъ заведеніяхъ?

Одно изъ двухъ: или эта боязнь неискреняя, т. е. это просто смѣшное кокетство, или это искренне—и тогда это фанатизированное жречество.

Напрасна боязнь и шаблона, въ долину котораго можетъ сползти вашъ горній храмъ.

Не будьте только сами шаблонными, только не перепѣвайте самихъ себя, не начинайте подражать самимъ себѣ и своимъ сосѣдямъ.

А то обстоятельство, что вслѣдъ за мучениками пойдутъ вторые и третьи апостолы, вслѣдъ за искателями придутъ подражатели и модники,—это обстоятельство неизбѣжно, какъ всякій диллетантизмъ.

М.м. Г.г.! кто не знаетъ, что мы живемъ въ раздольнѣйшей странѣ общаго диллетантства, гдѣ все такъ хорошо устроено, что люди „берутъ ничѣмъ невооруженными руками свои собственные глаза, чтобъ ихъ вынуть,—и смотрѣть глазами сосѣдей“?

Л. Фортунатовъ.

НАШЪ ДОЛГЪ.

Къ восьмидесятилѣтію со дня рожденія графа Л. Н. Толстого.

Близится большой, свѣтлый и крупный праздникъ русской литературы, русской культуры и русской общественности. Этотъ праздникъ будетъ нашимъ національнымъ и въ тоже время міровымъ. И мы думаемъ, что никогда національное и міровое не сливалось въ такое трогательное единство, въ такую идеальную гармонію, никогда принципы общечеловѣчества не получали такого яркаго и мощнаго выраженія, какъ въ этомъ заявленномъ отовсюду,—въ Россіи и во всемъ мірѣ,—желаніи почтить великаго старца и великаго писателя-мыслителя въ день, знаменующій прекрасную грань его дѣятельности, въ томъ преклонномъ возрастѣ, который является для нашего времени столь изумительнымъ.

Какъ почтить великаго писателя, художника, мыслителя, философа, моралиста, учителя, вѣчнаго искателя вѣчной правды—справедливости?

Нѣтъ и не можетъ быть мѣры благодарности творцу прекраснаго и мудраго. Неоцѣнимы сокровища, созидаемыя геніемъ. Не имѣютъ человѣческой мѣрки дары духа, исходящія отъ великихъ апостоловъ. Нельзя переводить на языкъ простой жизни и учитывать то, что рождается изъ высшихъ источниковъ, изъ тайниковъ, въ которыхъ геніальная мысль претворяется въ геніальное слово.

Великій философъ къ тому же и не желаетъ ничего для себя лично. Онъ уклоняется, совершенно согласно со своимъ ученіемъ, отъ всякаго „чествованія“, отъ всего того, что носитъ или носило бы личный характеръ. Его желаніе должно быть для насъ закономъ. Это первое, что мы обязаны сдѣлать...

Но за этимъ остается еще обширное поле культуры, которое воздѣлывалъ всю свою жизнь Толстой и на которомъ есть еще безконечное дѣло всѣмъ работникамъ культуры. И по завѣтамъ Толстого, нужно идти слѣдомъ нимъ въ такой культурной работѣ.

Что созидалъ Толстой?

Красоту и мудрость.

Какъ художникъ, онъ творилъ. Какъ философъ и мудрецъ, онъ искалъ истину.

Толстой-художникъ признанъ всѣми. Толстой-философъ остался почти одинокимъ. Но отъ этого ни величіе, ни слава Толстого не меркнутъ. Мы цѣнимъ въ дѣятелѣ не только то, *что* онъ дѣлаетъ, но и то, *какъ* онъ дѣлаетъ. А Толстой всю свою жизнь пытливо и мучительно искалъ. Его мысль не знала ни секунды отдыха. Безпощадный аналитическій мозгъ постоянно и упорно работалъ и отыскивалъ новые пути для пересмотра человѣческихъ взглядовъ, къ какой бы области они ни относились. Какихъ только вопросовъ ни касался Толстой въ своихъ произведеніяхъ! Можно сказать, что онъ—величайшій энциклопедистъ нашего времени и что мимо него не прошелъ ни одинъ абстрактный или жизненный вопросъ.

И также смѣло можно сказать, что Толстой далеко не оцѣненъ, быть можетъ, потому, что колоссально богатство, имъ созданное, неизмѣримъ океанъ его мудрыхъ исканій, безпредѣльна смѣлость полета его духа.

Пройдутъ годы и десятилѣтія и тѣмъ мощнѣе и величественнѣе будетъ вставать предъ будущими его изслѣдователями образъ гиганта-художника и гиганта-философа. И завидуя поколѣнію современниковъ, имѣвшихъ счастье жить вмѣстѣ съ нимъ, они вынесутъ свой приговоръ и намъ, недостаточно оцѣнившимъ великаго писателя, и самому писателю, признавъ его величайшимъ свѣточемъ человѣчества.

И такъ, чѣмъ же почтить его? Что достойное его жизни и ученія сдѣлать, что бы принести ему слабую дань уваженія и восторга за всѣ его безсмертныя заслуги?

Великій Толстой служилъ культурѣ, хотя теоретически отрицалъ ее, и мы должны дѣлать только то, что связано съ культурой. Но Толстой со всѣми своими произведеніями это,—да позволено будетъ такъ выразиться!—глыба русской культуры. Громадная, необъятная глыба, не изученная, не изслѣдованная, еще непонятая. Ее надо проанализировать, охватить ее всестороннимъ изслѣдованіемъ, измѣрить ея глубину. Толстого надо изучать и изучать, какъ колоссальный памятникъ культуры, требующій колоссальнаго же по времени и энергіи труда...

И вотъ первый всероссійскій съѣздъ писателей, происходившій въ Петербургѣ въ іюнѣ мѣсяцѣ, остановился на прекрасной мысли ознаменовать восьмидесятилѣтіе со дня рожденія великаго писателя устройствомъ дома—музея имени Л. Н. Толстого.

Именно съ той точки зрѣнія, которую мы только что указали, учрежденіе музея Толстого необходимо.

Какъ правильно указалъ иниціаторъ этого предложенія на съѣздѣ и авторъ доклада по тому же вопросу В. Я. Богучарскій, „на нашемъ обществѣ лежитъ обязанность увѣковѣчить за поколѣніями настоящими и грядущими тѣ духовныя богатства, которыя далъ міру геній Толстого".

Увѣковѣчить же ихъ—значитъ прежде всего „централизовать ихъ и систематизировать, создать учрежденіе, въ которомъ было бы собрано не только все написанное Толстымъ, но и все написанное о немъ“. Здѣсь же должны быть сосредоточены также портреты и бюсты Толстого, рукописи его произведеній, письма, словомъ, все служащее къ познанію жизни и дѣятельности этого великаго человѣка.

Толстовскій домъ-музей долженъ явиться центральнымъ пунктомъ для изученія великаго писателя. Онъ долженъ быть громаднымъ хранилищемъ всего, что связано съ Толстымъ, что имѣетъ къ нему отношеніе, что служитъ къ прямой или косвенной его характеристикѣ. Все, связанное съ именемъ великаго писателя,—драгоцѣнно. Все до мелочей должно быть свято сохранено и сбережено. Потому что все это имѣетъ громадную цѣну для изученія Толстого. Копить эту сокровищницу — нашъ долгъ и обязанность. И это не только дань уваженія, но и необходимость именно въ цѣляхъ изученія произведеній Толстого. Домъ-музей долженъ быть настоящимъ университетомъ, въ которомъ всѣ желающіе могли бы изучать Толстого во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ долженъ дать универсальное знаніе Толстого. Онъ долженъ быть хранилищемъ колоссальной міровой литературы.

Такое учрежденіе можетъ быть и должно быть только національнымъ въ томъ смыслѣ, что оно явится созданнымъ не на средства одного лица, а всей націи. Весь русскій народъ долженъ принять участіе въ созданіи дворца славы своему генію и славѣ Россіи Поэтому не важны размѣры жертвуемыхъ суммъ. Пусть текутъ въ кассу рубли, гривенники, пятачки и копейки. Важно только, чтобы вся Россія приняла участіе въ чествованіи своего генія, чтобы изъ грошей и мелочей создался бы грандіозный памятникъ и русскому писателю, и русской культурѣ.

И домъ-музей будетъ народнымъ. Спеціалисты, занимающіеся литературой, интересующіеся Толстымъ, найдутъ въ немъ все, что для нихъ необходимо. Но и народная масса въ такомъ домѣ найдетъ учрежденіе, въ кототоромъ путемъ лекцій, чтеній, бесѣдъ, руководящихъ указаній имя Толстого будетъ широко популяризироваться во всѣхъ слояхъ населенія.

Итакъ, домъ-музей имѣетъ своею задачей содѣйствовать дальнѣйшему изученію Толстого, сохранять и беречь все, имѣющее отношеніе къ жизни и литературной дѣятельности великаго писателя, и, наконецъ, служить народнымъ университетомъ для популяризаціи въ массахъ произведеній Толстого.

Мы вполнѣ учитываемъ всю ту неблагопріятную обстановку, какая окружаетъ теперь всякое культурное начинаніе. Небосклонъ русской жизни покрытъ тучами удушливой реакціи. Въ атмосферѣ, ею создаваемой, разливается тоска и апатія Тусклые, безрадостные дни наступили опять у насъ послѣ небольшого радостнаго просвѣта.

И имя Толстого уже сдѣлалось предметомъ хулы. Изъ нѣдръ союза

русскаго народа уже раздались не только проклятія по адресу великаго старца, но и угрозы помѣшать какимъ бы то ни было культурнымъ празднествамъ въ его честь. Если раньше всесильные министры, какъ гр. Дм. А. Толстой, пытались заточить великаго художника-мыслителя въ монастырь, если потомъ синодъ отлучилъ его отъ церкви, чтобы скомпрометировать его въ глазахъ невѣжественной толпы, то теперь аналогичная тенденція проводится черезъ черносотенныя организаціи, которыя не прочь пустить въ ходъ и свои погромныя силы. Черное невѣжество ползетъ съ низовъ русской земли. И все, что есть на Руси культурнаго, грамотнаго, честнаго, все это должно противостать разбойничьему походу на дорогое имя великаго Толстого и удвоить свою энергію, чтобы достойнымъ образомъ отпраздновать его юбилей.

И пусть сборы на домъ-музей имени Толстого, сборы хотя бы самыми ничтожными суммами, пусть послужатъ они лучшимъ отвѣтомъ на эту черную попытку омрачить праздникъ въ честь Толстого. Ничто, конечно, не можетъ омрачить имени генія. Но все же честь и достоинство наши требуютъ, чтобы эти черныя попытки потонули бы среди всеобщаго поклоненія великому старцу русской земли.

Мы думаемъ, что читатели горячо откликнутся на этотъ призывъ. Мы убѣждены, что откликъ ихъ будетъ горячимъ и энергичнымъ. Прошло то время на Руси, когда мы принуждены были наше уваженіе и наше благоговѣніе предъ великими дѣятелями литературы тщательно скрывать и дѣйствовать исподтишка. Наступила теперь полная возможность дѣйствовать въ этомъ отношеніи болѣе или менѣе открыто. И было бы недостойно ни русской интеллигенціи, ни русскаго народа не воспользоваться этимъ поистинѣ первымъ случаемъ чествованія писателя внѣ оффиціальныхъ рамокъ и разрѣшеній.

Мы надѣемся, что наши читатели не только сами личными своими взносами примутъ участіе въ этой вольной всероссійской подпискѣ, но и приложатъ энергичныя усилія къ тому, чтобы такая подписка приняла возможно болѣе широкіе размѣры и въ ихъ кругу. Каждый сочувствующій славному дѣлу чествованія Толстого долженъ приложить и свои личныя усилія, дабы сборъ пожертвованій захватилъ бы самые широкіе круги населенія.

Наша печать назвала „экзаменомъ культурной зрѣлости“ то предложеніе, съ какимъ обратился съѣздъ писателей къ русскому обществу. Выдержитъ-ли общество этотъ экзаменъ? Мы вѣримъ, что—да. Русское общество всегда чтило и почитало Толстого. И было бы странно, если бы теперь, когда звѣзда великаго писателя горитъ ярче, чѣмъ когда бы то ни было, если бы теперь общество отвернулось отъ своего учителя и прошло бы холоднымъ молчаніемъ праздникъ русской литературы и русской культуры...

Имя Толстого популярно уже и въ широкихъ массахъ. Съ восьмидесятыхъ годовъ это имя становится уже извѣстнымъ народу и милліоны книжекъ съ его именемъ разошлись среди массъ. Пусть же интеллигенція перебросить теперь мостъ между народомъ и писателемъ, для него писавшимъ, и постарается, чтобы и народъ получилъ возможность доставить свою лепту во имя того писателя, котораго онъ знаетъ и любитъ...

Мы обращаемся ко всѣмъ просвѣщеннымъ, культурнымъ, грамотнымъ людямъ принять участіе въ празднованіи юбилея Толстого. Мы приглашаемъ ихъ вносить свои лепты, не стѣсняясь ихъ размѣромъ, для созданія дома-музея имени великаго писателя и художника земли русской!

Пожертвованія принимаются въ редакціи „Образованія“.

Въ составъ комитета, избраннаго съѣздомъ писателей для приведенія своихъ постановленій въ исполненіе, избраны слѣдующія лица: Н. Ф. Анненскій, В. Я. Богучарскій, В. В. Водовозовъ, Г. К. Градовскій, М. М. Ковалевскій, В. Г. Короленко, П. Н. Милюковъ, М. А. Стаховичъ и М. М. Федоровъ. Кромѣ того комитетъ долженъ быть пополненъ еще тремя лицами, избранными Литературнымъ фондомъ, Кассою взаимопомощи литераторовъ и ученыхъ и Петербургскимъ Литературнымъ Обществомъ—по одному отъ каждаго изъ этихъ учрежденій. Кандидатами въ комитетъ избраны: К. В. Аркадакскій, Ф. Д. Батюшковъ, І. В. Гессенъ, С. Н. Прокоповичъ, А. В. Пѣшехоновъ, А. А. Столыпинъ и В. Г. Танъ.

КРИТИКА и БИБЛІОГРАФІЯ.

Θедоръ Сологубъ. *Пламенный Кругъ*. Стихи. Книга 8-я. Изд. журнала „Золотое Руно“. Ц. 1 р. 25 к.

Сокровищница русской поэзіи обогатилась еще однимъ безцѣннымъ камнемъ на диво чистой воды и рѣдкой красоты. Стихотворенія Θедора Сологуба еще въ „Книжкахъ Недѣли“ поражали своей крайней простотой и въ то же время особымъ ароматомъ, надолго оставляющимъ въ душѣ острый слѣдъ. Съ годами оба эти качества достигли высшаго своего выраженія и создали „стихъ Сологуба“, поставивъ его рядомъ съ чувственнымъ стихомъ Бальмонта, отвлеченнымъ—Вал. Брюсова, молитвеннымъ—Вяч. Иванова и смутнымъ—Блока.

„Книга стиховъ допустима, если въ ней есть десятокъ хорошихъ стихотвореній“ — сказалъ однажды Θедоръ Сологубъ. Этотъ „десятокъ“ въ „Пламенномъ Кругѣ“ удесятеренъ. Многое изъ этой книги уже давно стало всеобщимъ достояніемъ, разнесенное восхищенной молвой далеко за предѣлы „декадентскихъ“ кружковъ и журналовъ. Такіе шедевры нѣжности и грусти, какъ „Тихая Колыбельная“, „Степь моя, ширь моя“, смѣняются въ книгѣ сильнѣйшими выраженіями ужаса и тоски: „Высока луна Господня“, „Чертовы Качели“. Въ ней не рѣдкость такія прелестныя строки, какъ слѣдующія, усваивающія русскому языку мелодичность Верлэна:

Камышъ качается,
И шелеститъ,
И улыбается,
И говоритъ
Молвой незвонкою,
Глухой, сухой,
Съ дремою тонкою
Въ полдневный зной.

Побѣды и пріобрѣтенія въ техникѣ, отъ едва уловимыхъ тонкостей до ясныхъ всякому, радуютъ глазъ изслѣдователя. Взять хотя бы эту небывалую *цезуру риѳмы*, если теорія словесности позволитъ такъ выразиться:

Одинъ взойду на *помостъ*
Росистымъ утромъ я,
Пока спокоенъ *дома*
Строгій судія

—гдѣ риѳма къ первой строкѣ дается сочетаніемъ конца третьей съ началомъ четвертой.

Все это создаетъ впечатлѣніе отъ „Пламеннаго Круга", какъ отъ необычайно цѣльнаго и цѣннаго камня, гдѣ каждая грань совершенна.

Но говоря о данной книгѣ, одной эстетикой всего не исчерпаешь. Есть еще другая сторона. Это то, что обойдено В. Брюсовымъ въ его по обычаю только формальной рецензіи, гдѣ онъ пишетъ: „Совершенно чужды намъ стихи, въ которыхъ Сологубъ излагаетъ свою философію крайнаго солепсизма, мало оригинальную и мало убѣдительную" („Вѣсы", № 6, 08). Это то, что образуетъ жизнь и смыслъ твореній Сологуба. Это то, что дѣлаетъ его ликъ въ сонмѣ другихъ поэтовъ и на фонѣ современности такимъ трагическимъ и одинокимъ.

Это его религія.

„... все и во всемъ—Я, и только Я, и нѣтъ иного, и не было, и не будетъ".

Solus ipse sum.

Эта мысль опровергнута, какъ философскій тезисъ; неопровержима, какъ религіозный догматъ. Умерла, какъ предметъ знанія; живетъ, какъ предметъ вѣры. Эта мысль—кругъ, но пламенный кругъ.

И когда въ поэтѣ говоритъ Я, его голосъ достигаетъ высоты пророческой и власти божественной.

И на такихъ высотахъ создаются единственныя по силѣ творенія, переступающія предѣлъ человѣческаго творчества, дающія „послѣднее утѣшеніе", созывающія вѣрныхъ, какъ гулъ колокола. Таково послѣднее стихотвореніе „Пламеннаго Круга":

Настало время чудесамъ.
Великій трудъ опять подъемлю.
Я создалъ небеса и землю,
И снова ясный міръ создамъ.
Настало творческое время.
Земное бремя тлѣетъ вновь.
Моя мечта, моя любовь
Возставитъ вновь иное племя.
Подруга-смерть, не замедляй,
Разрушь порочную природу,
И мнѣ опять мою свободу
Для созиданія отдай.

Вопросъ объ искусствѣ, какъ религіи, слишкомъ сложенъ для страницъ рецензіи. Но нельзя не увидѣть, что вся наша молодая поэзія, за единичными исключеніями, въ своихъ глубинахъ соприкасается съ религіей. Религіи, какъ таковой, у насъ нѣтъ. Мы еще не христіане, какъ хочетъ Мережковскій, и—увы!—уже не язычники. Потому религіозное творчество въ наши дни такъ сильно пробивается въ смежныхъ съ религіей областяхъ искусства.

И религія „Я“ въ поэзіи Өедора Сологуба имѣетъ глубокій смыслъ, какъ противовѣсъ съ одной стороны объективному пантеизму поэзіи Бальмонта, и съ другой—пантеизму субъективному поэзіи Вяч. Иванова.

Книга издана съ подобающимъ ей изяществомъ и простотой. Обложка работы Н. Шинскаго и портретъ—автора работы—Б. Кустодіева—прекрасное къ ней дополненіе.

Сергѣй Городецкій.

Эмиль Верхарнъ. *Монастырь*. Переводъ съ французскаго Эллиса. Предисловіе Андрея Бѣлаго. К-во „Польза“. „Универсальная библіотека“ № 60.

Объ Эмилѣ Верхарнѣ заговорили въ Россіи всего четыре года назадъ. Тогда же стали появляться и переводы его, если не считать двухъ стихотвореній, вошедшихъ въ третью книгу стиховъ Валерія Брюсова (Tertia Vigilia, 1900 г.). Съ тѣхъ поръ переведено много стиховъ поэта (иные по нѣскольку разъ), двѣ драмы (обѣ—дважды), и даже—нѣкоторыя статьи Верхарна. Нельзя сказать, чтобы объ этомъ поэтѣ мало говорили; можетъ быть, даже слишкомъ много для Россіи, которая такъ бѣдна переводами. Вѣдь многіе классики или совсѣмъ не переведены, или переведены изъ рукъ вонъ плохо. Цѣлый рядъ возникающихъ въ послѣдніе годы литературныхъ предпріятій хочетъ заполнить этотъ пробѣлъ, но всѣ они еще очень молоды и не сдѣлали почти ничего. Будемъ надѣяться, что иныя изъ нихъ будутъ покультурнѣе московской „Универсальной Библіотеки“, которая далеко не всегда можетъ похвалиться качествомъ своихъ переводчиковъ и выборомъ произведеній.

Въ частности, о переводѣ драмы Верхарна, лежащемъ передъ нами, не стоило бы говорить, если бы одно обстоятельство не заставляло насъ заступиться за бѣдную литературу и за бѣднаго читателя. Это обстоятельство—предисловіе къ переводу, написанное А. Бѣлымъ, писателемъ, замѣчательнымъ и занимающимъ въ литературѣ опредѣленное положеніе. Правда, положеніе это совсѣмъ другое, чѣмъ то, которое навязываетъ себѣ А. Бѣлый, но—не о немъ рѣчь. Намъ желательно только, чтобы этотъ писатель, взявъ на себя роль „защитника литературныхъ цѣнностей“, не впадалъ въ ошибки слишкомъ прискорбныя и слишкомъ недостойныя *писательскаго* званія.

Мы далеки отъ согласія съ А. Бѣлымъ, когда онъ называетъ Верхарна геніемъ и сопоставляетъ его съ Шекспиромъ и Дантомъ. Геній прежде всего—народенъ, чего никакъ нельзя сказать о Верхарнѣ. Къ сожалѣнію, А. Бѣлый все чаще упускаетъ изъ виду существенные признаки въ угоду своимъ теоріямъ. Впрочемъ—назвать Верхарна геніемъ безобидно: все равно,

никто не повѣритъ; другое дѣло—назвать переводъ Эллиса *художественнымъ*; этому, того и гляди, могутъ повѣрить.

Г-на Эллиса мы знаемъ только одного: это—посредственный поэтъ и плохой переводчикъ, попавшій почему-то въ послѣдній годъ въ присяжные критики „Вѣсовъ“; здѣсь превратился онъ въ развязнаго и яростнаго брезгливца, мечущаго громы и молніи на современную литературу; современная литература не нравится г-ну Эллису, что дѣлать? Но вѣдь и г-нъ Эллисъ не нравится ей, а потому — бѣда не велика; и разойтись бы въ разныя стороны этой неладной парѣ! Но г-нъ Эллисъ непрестанно посягаетъ на имъ же отвергнутую невѣсту, создавая и переводя цѣлые томы стиховъ и прозы. А. Бѣлый поощряетъ его. А невѣстѣ, хоть и ко многому она привыкла,—и неловко, и неприлично.

Теперь г-нъ Эллисъ перевелъ „Монастырь“. Перевелъ его въ общемъ вяло, блѣдно. Стихи кой-гдѣ замѣнилъ прозой. Ритма верхарновскаго стиха не сохранилъ. Все это было бы незамѣтно, если бы А. Бѣлый не снабдилъ перевода эпитетомъ „художественный“. Но этого мало. Въ переводѣ Эллиса есть ошибки, неточности, безвкусица, несовершенное знаніе грамматики и, наконецъ, выраженія, которыя смѣло можно рекомендовать почтовому ящику юмористическаго журнала.

„О, милое дитя! Святой Францискъ Ассизскій
Подобенъ былъ тебѣ, тебѣ душою близкій,
И какъ гирлянды розъ, какъ сладкій ѳиміамъ,
Ты именемъ своимъ благословляешь храмъ“.

По-французски:

Enfant, François d'Assise
Etait pareil et son nom embaume et fleurdelise
Toute l'eglise—, т. е.:

„Дитя, Францискъ Ассизскій былъ подобенъ тебѣ, но имя его украшаетъ и наполняетъ благоуханіемъ весь храмъ“.

Такихъ примѣровъ много.—На стр. 73 Эллисъ смѣшиваетъ слово Hanche (бедро) со словомъ Hache (топоръ), и получается ремарка: „слышны удары *ногъ* о дерево“; постоянно попадаются прозаизмы: „пускай мнѣ бокъ сверлитъ копье“ (стр. 29), „пусть весь мой духъ зажжется вдругъ“ (стр. 31); рискованныя или несовсѣмъ русскія выраженія: „дно алькова“ (стр. 46), „жить отчужденнымъ отъ алтаря“ (стр. 53); невѣрныя ударенія: „опдѐнъ“, „тдрги“, „грдзнѣй“; въ стихахъ употребляются сплошь и рядомъ слова: экстазъ, энергія, культъ, монотонно, авторитетъ; и, наконецъ, неужели *художественны* слѣдующіе стихи:

„Я жажду ранъ, я жажду, чтобъ
Ногами мнѣ сквернили лобъ“,

или:

„Изъ за тебя мы пали въ бездну мукъ,
Мы всѣ повѣшены теперь на черный крюкъ
Твоей судьбы...“

или:

„Я своего отца убилъ,
Мой мозгъ виномъ опоенъ былъ;
Безумный, какъ закваска въ тѣстѣ,
Укрытая въ секретномъ мѣстѣ...“

и еще:

„Я мертвъ, и тлѣніемъ моимъ
Мой носъ уже давно томимъ“.

Мы привели далеко не всѣ „погрѣшности“ „художественнаго“ перевода. Ахъ, оставаться бы ему въ „секретномъ мѣстѣ“, въ „Универсальной библіотекѣ“ (которую мы благодаримъ за дешевизну изданій, а не за качество переводовъ) безъ предисловій г. Бѣлаго, стоящаго на стражѣ русской литературы!

Александръ Блокъ.

Владимиръ Гординъ. *Звѣздный Путь.* Изд. журнала „Всемірный Вѣстникъ“. Ц. 80 к.

Психологія русской литературы и русскихъ литературныхъ круговъ включаетъ свойственное всему молодому—цѣломудріе, иной разъ близкое къ попустительству. Благодаря этому, вѣроятно, нигдѣ нѣтъ такого количества паразитовъ, какъ на могучемъ тѣлѣ русской литературы. Только въ послѣднее время замѣчаются какіе то жесты, направленные къ тому, чтобы сбросить паразитовъ. Сюда относятся пламенныя филиппики Андрея Бѣлаго въ „Вѣсахъ“, къ сожалѣнію направленныя въ пространство. Намъ кажется болѣе полезнымъ безпристрастный разборъ каждаго даннаго случая, когда паразитъ показываетъ свою физіономію. Для блага всѣхъ можно поступиться благомъ читателя, на время привлекая его вниманіе къ ничтожному.

Передъ нами наборъ словъ на 125 страницахъ, красивымъ шрифтомъ, раздѣленный на отрывки, къ которымъ безъ всякой связи присоединены въ видѣ заглавій еще слова крупнымъ шрифтомъ; иногда заглавіе одно, иногда, три—очевидно, на выборъ, какъ на стр. 6. Назвать „это“ иначе, чѣмъ наборъ словъ, мы не рѣшаемся. Разсказы? — Нѣтъ! Повѣсти?— Конечно, нѣтъ. Этюды, новеллы, стихи въ прозѣ?—Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Во всемъ перечисленномъ необходимо мыслится содержаніе, фактическое, психологическое, музыкальное—все равно какое, но содержаніе, оправдывающее порядокъ предлагаемыхъ вашему вниманію словъ и фразъ. Въ данномъ случаѣ, какъ разъ этого нѣтъ. Ибо что значитъ: „Низкіе темные своды съ тѣнью и свѣтомъ сдавили толстыя каменныя стѣны“? Или: „Сумерки наполняли большой, съ затерявшимся гдѣ-то высоко потолкомъ залъ, тончайшими узорами грусти и волненіями религіознаго экстаза“? Или: „Но тайна для жизни—мертвымъ - запоздавшая иронія. Молодое, еле расцвѣтшее тѣло жило всѣми муками жизни, но дѣвушка была мертва“? Ибо что значитъ: камень, „на которомъ сидѣлъ я съ вечерней зарей“? Или: „женщина вся заткалась“? Или: „Неминуемость рока неизбѣжна“?

Если всѣ приведенныя цитаты соединить вмѣстѣ и сверху прибавить что-нибудь крупнымъ шрифтомъ вродѣ „Когда мы, мертвые просыпаемся“, или: „О чемъ щебетала ласточка“, или „Къ звѣздамъ“, т. е. просто взять заглавіе съ первой книги на полкѣ, у Ибсена, Шпильгагена или Андреева,— вы получите типичную вещь изъ „книги“ разбираемаго „автора“. Впрочемъ, для полноты еще надо прибавить „дѣвушку“, „обтянутую кожаннымъ ремнемъ“ и „юношу“, около котораго бы „все запрыгало вокругъ въ сильномъ волненіи“. И, конечно, долженъ присутствовать „кто-то мрачный“, или „кто-то старый“, или „кто-то невидимый“, или даже „кто-то скрытый“.

„Авторъ“ вообще склоненъ къ передѣлкамъ. Такъ строчка извѣстнаго стихотворенія Вяч. Иванова: „Ночь слѣпая, ночь нѣмая“ фигурируетъ въ такомъ видѣ: „Ночь—мать слѣпая— ... Ночь—мать нѣмая“—съ дальнѣйшими добавленіями. „Призраки“ Ибсена тоже обработаны. И даже Освальдъ остался героемъ, только къ нему прибавлено еще слово Негг. Очевидно, для сохраненія мѣстнаго колорита. Заглавіе измѣнено въ „Природа“, и діалогъ плохо списанъ. Напримѣръ:

„Сынъ (послѣ продолжительной паузы снова вздыхаетъ). Мама!

Мать (не оборачиваясь и не отрываясь отъ работы) Что?

Сынъ. Мама, мама!

Мать. Что ты хочешь, сынъ мой?!

Сынъ. Ничего!

Мать. Тогда что же?

Сынъ. Такъ... (вздыхаетъ).

(Пауза).

Сынъ. Почему это, скажи, пожалуйста, у насъ почти каждый день мѣняютъ лампы; вотъ вчера, напримѣръ, горѣла съ розовымъ абажуромъ, а сегодня съ голубымъ“...

Пора и намъ „перемѣнить лампу“ и погасить эту безцвѣтную коптѣлку съ громкимъ заглавіемъ. Но, кончая, мы не можемъ не послать, хотя бы мягкаго упрека по адресу уважаемаго и талантливаго художника В. Я. Чемберса, дающаго свои работы безъ разбора. Неужели можетъ рука, украшавшая „Жизнь человѣка“ и „Разсказъ о семи повѣшенныхъ“ рисовать обложку тому, что называется Владимиромъ Гордынымъ? Лучше, если-бъ цѣломудріе не становилось попустительствомъ.

Сергѣй Городецкій.

Борисъ Журавлевъ. *Зыбь.* Разсказъ. СПБ. Цѣна 28 к.

Здѣсь все есть. Ученикъ 6-го класса гимназіи—привычный онанистъ, неврастеникъ и разъ навсегда глупый юноша. Отецъ его—казнокрадъ, продающій дочь нелюбимому ею старику. Революціонеры, экспропріаторы, рабочіе, сыщики, хитрый „союзникъ“—попъ, вороватый церковный ста-

роста, хорошая старуха нянька и скверная молодая барыня-мать... Словомъ, все, кромѣ художественнаго произведенія, какое хотѣлъ и по многимъ даннымъ могъ-бы написать Б. Журавлевъ. Могъ-бы въ томъ случаѣ, если-бы не увлекая недоступной ему слишкомъ большой и широкой темой, а писалъ бы для начала маленькіе наброски изъ близкой, хорошо извѣстной ему жизни. Онъ обладаетъ легкимъ, яснымъ, простымъ слогомъ, умѣетъ сжато и выпукло передавать настроеніе. Но страдаетъ психологія, искренность и жизненность героевъ. Да и какъ не страдать имъ, если авторъ захотѣлъ на 50 страницахъ нарисовать и растрату, и приготовленія къ погрому и экспропріацію и еще многое, многое, чуть-ли не все, что мы только что пережили.

Вполнѣ естественно, что изъ всей этой скороспѣлой лѣпки ровно ничего не вышло. Разсказъ оказался никчемнымъ, ненужнымъ. А жаль! Ибо, повторяю, у г. Журавлева есть извѣстныя данныя.

А. Г.

Н. Гумилевъ. *Романтическіе цвѣты.* Стихи. Парижъ. 1908. Ц. 50 к. (1 fr. 25 c.). 62 стр.

За послѣднее время мы встрѣтили нѣсколько стихотвореній и библіографическихъ замѣтокъ, подписанныхъ этимъ именемъ и обличающихъ въ авторѣ хорошій художественный вкусъ и серьезную эстетическую воспитанность.

И на его стихахъ, и на его маленькихъ критическихъ замѣткахъ лежитъ печать явной культурности. Но и тѣ и другіе, особенно стихи, выдаютъ не только литературную молодость, но и неопытность.

Это сказывается въ ненужной, запоздавшей приверженности къ вычурамъ декадентства, къ сгущенію романтической атмосферы, къ излишней изукрашенности. Это слышится въ однообразіи напѣва и даже темъ. Глаза молодыхъ поэтовъ всегда видятъ немного.

Всѣ стихи г. Гумилева фантастичны. И его образы надѣлены случайными чертами. Какъ поэтъ, Н. Гумилевъ очень неровенъ и часто умѣетъ хорошее цѣлое ловко испортить двумя-тремя мелочами. Второй отрывокъ „Императора Каракалла“ очень стильный и живописный, совершенно испорченъ восьмой строфой (*Тамъ въ твоихъ садахъ безгрѣшность неба*“), слѣдующей тотчасъ же за двумя ярко-красивыми:

„Но къ чему побѣды въ часъ вечерній,
„Если тѣни упадаютъ ницъ,
„Если, точно золото на черни,
„Видны ноги стройныхъ танцовщицъ“ и т. д.

Въ плохой третій отрывокъ „Каракаллы“ залетѣли двѣ цѣнныя и звучныя строки:

„Въ золотомъ невинномъ горѣ
„Солнце въ море уходило“,—

И ихъ жаль здѣсь, какъ просыпанный жемчугъ.

Красочное „*Помпей у пиратовъ*“, одно изъ лучшихъ въ книжкѣ, подарило насъ прелестной строфой, сдѣлавшей Помпея живымъ:

„И надъ моремъ, сѣдымъ и пустыннымъ,
„Приподнявшись лѣниво на локтѣ,
„Посыпаетъ толченымъ рубиномъ
„Розоватые длинные ногти.

Если упомянуть о дѣлающей честь вкусу поэта „*Смерти*“ съ сдержанно восторженной второй строфой („*Ты казалась золотисто-пьяной, обнаживъ сверкающую грудь*“); о зловѣще-спокойномъ, въ манерѣ Поэ, („*Я долго шелъ по корридорамъ*“); объ интересной принцессѣ у рабочаго („*Въ темныхъ покрывалахъ лѣтней ночи заблудилась, какъ принцесса*“), о суднѣ въ Каирѣ, о перчаткѣ, о стихотвореніи: „*Насъ было пять... мы были капитаны*“, придется вздохнуть о напрасно погибшемъ прекрасномъ концѣ „*Отца Чада*“, потому что только этотъ конецъ и хорошъ, — это самыя цѣнныя строфы маленькой книги Н. Гумилева:

„А теперь, какъ мертвая смоковница,
„У которой листья облетѣли,
„Я, ненужно-скучная любовница,
„Точно вещь, я брошена въ Марселѣ.
„Чтобъ питаться жалкими отбросами,
„Чтобы жить вечернею порою—
„Я пляшу предъ пьяными матросами,
„И они, смѣясь, владѣютъ мною.
„Робкій умъ мой обезсиленъ бѣдами,
„Взоръ мой съ каждымъ часомъ угасаетъ...
„Умереть? Но тамъ, въ поляхъ невѣдомыхъ,
„Тамъ мой мужъ: онъ ждетъ и не прощаетъ“.

Большой и иногда серьезно утомляющій недостатокъ стиховъ г. Гумилева въ ихъ напрасной отягощенности красками, эпитетами, словами. Г. Гумилевъ напрасно такъ щедрится, ибо его расточительность разоряетъ его стихи и не приноситъ никакой радости намъ. Эта расточительность, кромѣ того, приводитъ его къ банальности, самому злому и самому страшному врагу красоты.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ поэзія эти строки:

„И какой-то сказкой чудной,
„Нарушителемъ гармоній,
„Крокодилъ сверкалъ у судна
„Чешуею изумрудной
„На серебряномъ понтонѣ“...

Еще хуже бываетъ съ г. Гумилевымъ, когда онъ не воздерживается отъ несообразности:

„А царица, наклоняясь съ ложа,
„Радостно играла крутизной“ (?!)

И даже отъ вульгарности:

„Задыхаясь въ несказанномъ (?) блудѣ (?!),
„Юный магъ забылъ про все вокругъ“.

Есть вульгарности, вызывающія не краску стыда, а холодъ удивленія, и это—самое опасное.

Такія строки особенно непростительны автору, душѣ котораго открыты тайны пѣсенъ и сказокъ.

Что еще сказать?

Книжка опрятная и недурная, но мы не хотимъ скрыть, что знаки препинанія во многихъ цитированныхъ здѣсь стихахъ составляютъ честь нашу, а не автора.

Л. Ф.

Библіотека „Свѣточа“:

С. М. Степнякъ-Кравчинскій. Собр. Сочиненій. *ч. V. Эскизы и силуэты.* Спб. 1908. ц. 1 р. 204 стр. **Его-же** *ч. VI. Публицистика и критика.* Спб. 1908 ц. 1 р. 236 стр.

Невольная эмиграція Степняка у Россіи украла не только крупнаго народнаго дѣятеля, но и крупную литературную силу. Въ этомъ человѣкѣ жилъ большой талантъ наблюдательности и той художественной памятливой хватки, которая обѣщала намъ въ немъ дѣйствительно талантливаго беллетриста.

При глубокой природной нѣжности, прекрасномъ, прозрачномъ и легкомъ языкѣ страницы Степняка овѣяны настоящей поэзіей, литературная память о немъ повита цвѣтами восхищенія и благодарности. Надо жалѣть, что ему пришлось написать такъ, мало но приходится удивляться, какъ ему, оторванному отъ почвы родины, отъ Россіи, русскаго языка, русскаго быта и русскихъ людей, удалось съ такой кристальной, отчетливой и ласковой ясностью воспроизвести фигуры героевъ этой жизни, и ея духъ, и ея атмосферу, и ея тоску.

Все это невольно приходитъ на умъ при чтеніи „Андрея Кожухова“, „Штундиста Павла Руденка“, „Домика на Волгѣ“, объ этомъ вспоминаешь со скорбью и злобой, когда читаешь въ предисловіи къ „Эскизамъ и силуэтамъ“ о томъ, что они „появляются на русскомъ языкѣ впервые“, что изъ нихъ „часть лишь найдена въ бумагахъ автора“, и что „часть печаталась только на англійскомъ языкѣ и даже написана по англійски“, что такіе очерки *русскаго* писателя, какъ „Ольга Любатовичъ“ „Степанъ Халтуринъ“, „Жизнь въ городишкѣ“ для насъ, русскихъ, *переведены!*

Во всѣхъ характеристикахъ Степняка какъ-то невольно улавливается

красивая и спокойная ласковость, съ которой этотъ хмурый человѣкъ съ желѣзной волей умѣлъ смотрѣть изъ подъ своихъ нависшихъ бровей на людей,—на юношей, женщинъ, на міръ, на жизнь.

Въ его воспоминаніяхъ, „Николай Морозовъ—молодой поэтъ, красивый собой очаровательный, какъ его поэтическія мечты".

При видѣ Ольги Любатовичъ,—„этой простой, скромной, молодой дѣвушки, которая краснѣла, закрывала лицо руками и убѣгала, когда читали посвященное ей стихотвореніе, трудно было повѣрить, что она судилась, перебывала въ разныхъ тюрьмахъ и со многими приключеніями бѣжала изъ ссылки".

Романы Любатовичъ и Морозова—нѣжная весенняя картина молодой, преданной и горячей, самоотверженной любви.

Въ томъ же тонѣ ласки, любви и мягкости написаны и всѣ остальныя характеристики, а маленькое „стихотвореніе въ прозѣ",—„Волшебнику", посвященное тогда еще юному піанисту Гамбургу—сама женственность.

И такого-то писателя Россія не смѣла читать, а теперь читаетъ на половину въ переводахъ.

Но... „У всѣхъ народовъ переходъ отъ абсолютизма къ современному правленію сопровождается потрясеніями и тяжелой борьбой. Но никому кажется этотъ переломъ не доставался такъ трудно, какъ намъ, русскимъ".

Это начало его статьи „Чего намъ нужно", первой статьи въ книгѣ „Публицистика и критика".

Большая часть тома занята, конечно, публицистикой: кромѣ „Чего намъ нужно", тутъ статья „Органическіе и случайные элементы въ политическихъ программахъ русскихъ демократовъ", два „Приложенія" чрезвычайнаго интереса (1—проэктъ русской конституціи и 2—Воззваніе партіи народнаго права).

Критическихъ статей двѣ и обѣ о Тургеневѣ,—о „Рудинѣ" и о „Дворянскомъ гнѣздѣ".

Тутъ много любопытныхъ замѣчаній, есть хорошо подмѣченныя мелочи и частности, но въ общемъ онѣ уже не удовлетворяютъ современнаго пониманія Тургенева, кажутся поверхностными и производятъ впечатлѣніе популяризаціи, написанной для иностранцевъ, или слушателей, знакомящихся съ русской литературой. Но и тутъ опять нельзя не чувствовать живого очарованія этимъ яснымъ, легкимъ, точнымъ, мягкимъ русскимъ языкомъ, этимъ слогомъ, этой точностью словъ. Въ Степнякѣ, кромѣ всего другого, мы потеряли еще и рѣдкаго стилиста, которыхъ у насъ такъ мало, которыми мы до такой жалости бѣдны.

Трудно не привести чрезвычайно мѣткихъ и любопытныхъ, заключительныхъ строкъ о „Дворянскомъ гнѣздѣ":

„Дворянское гнѣздо"—юношеская поэма русской демократіи, зарожденіе которой Тургеневъ раскрылъ и съ восторгомъ привѣтствовалъ въ этомъ романѣ, полномъ свѣжести и патетизма".

Изданіе снабжено рядомъ портретовъ Степняка: предъ нами человѣкъ съ мягкой суровостью общаго выраженія, густыми волосами, сердитыми бровями и большимъ, прекраснымъ лбомъ. На немъ опочила глубокая и упорная, давняя, какая-то затаенная и въ то же время страстно-напряженная мысль. Ниже—ласковые дѣтскіе глаза. Портретъ Степняка—характеристика его книгъ.

Л. Ф.

Энрико Ферри. *Уголовная соціологія.* Переводъ подъ редакціей профессора Московскаго университета С. В. Познышева съ предисловіями къ русскому изданію Э. Ферри и редактора перевода. Изд. Саблина. 1908 г. Ц. 3 р.

Нельзя не привѣтствовать появленія на русскомъ языкѣ одного изъ главнѣйшихъ трудовъ Э. Ферри въ области уголовнаго права... Касаясь основныхъ вопросовъ науки, трудъ извѣстнаго ученаго представляетъ выдающійся интересъ не только для всякаго занимающагося уголовнымъ правомъ, но и для болѣе широкаго круга лицъ, интересующихся вопросами уголовной политики... По своимъ научнымъ воззрѣніямъ Ферри принадлежитъ къ „новой итальянской школѣ“ уголовнаго права, болѣе извѣстной подъ именемъ антропологической школы, и вмѣстѣ съ Ломброзо раздѣляетъ честь быть однимъ изъ ея вождей и основателей... Самъ Ферри, критикуя „классиковъ“, въ слѣдующихъ словахъ устанавливаетъ задачи и стремленія антропологической школы:

„Новая школа ставитъ себѣ двойной и плодотворный идеалъ. Въ практической области она ставитъ себѣ цѣлью уменьшеніе преступленій повсюду все возрастающихъ въ числѣ, въ области же теоріи она имѣетъ въ виду, для достиженія своей практической цѣли, всесторонне изучить преступленіе, не какъ обстрактное юродическое явленіе, а какъ дѣйствіе человѣческое, какъ естественное и соціальное явленіе“.

Имѣя передъ собой такой идеалъ антропологическая или, какъ любитъ выражаться самъ Ферри, позитивная школа, въ противоположность классической, изучавшей главнымъ образомъ технико-юридическую сторону преступленія, обратилось къ изученію преступника и факторовъ преступленія. Постановка, а отчасти и рѣшеніе вопросовъ, вызванныхъ этимъ изученіемъ, составляютъ главную заслугу школы. Однако, какъ всегда, въ новомъ ученьи не обошлось безъ сильныхъ преувеличеній. Такъ, несмотря на неоднократно заявляемое признаніе заслугъ старой классической школы и необходимость считаться съ результатами, добытыми этой школой въ области изученія преступленія, Ферри на самомъ дѣлѣ игнорируетъ эти результаты и не находитъ въ концѣ концовъ у классиковъ ничего кромѣ схоластики. Склонность къ преувеличеніямъ и далеко непровѣреннымъ обобщеніямъ въ особенности сказалось въ ученьи о преступникѣ,—ученьи, составляющемъ наиболѣе характерную особенность антропологической школы. Какъ извѣстно это ученье сводится къ признанію въ преступникѣ особаго антропологи-

ческаго типа, отличающагося отъ нормальнаго человѣка анатомическими и психическими аномаліями. Ферри, напр., дѣлитъ всѣхъ преступниковъ на пять классовъ: „преступники душевно-больные, преступники прирожденные, преступники, привычные или по пріобрѣтенной привычкѣ, преступники случайные, преступники по страсти“ (стр. 136), причемъ по его мнѣнію наибольшій контингентъ преступниковъ составляютъ два класса: прирожденные и привычные преступники, число которыхъ составляетъ приблизительно 40—50% всѣхъ преступниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ для первыхъ трехъ классовъ Ферри считаетъ возможнымъ утверждать существованіе различныхъ аномалій, существованіе этихъ аномалій онъ признаетъ впрочемъ и для остальныхъ классовъ, утверждая, что „различіе между этими пятью классами преступниковъ лишь въ степени“. Давая эту классификацію преступниковъ и особенно настаивая на существованіи „прирожденнаго преступника“, особаго *антропологическаго типа* преступника, Ферри дѣлаетъ попытку опровергнуть своихъ многочисленныхъ критиковъ... Однако послѣ трудовъ Принса, Листа, Тарда и многихъ другихъ врядъ-ли можно говорить объ антропологическомъ типѣ преступника и всѣ приводимыя Ферри данныя врядъ-ли свидѣтельствуютъ о чемъ-нибудь другомъ, какъ только о существованіи особаго профессіональнаго типа, чего не отвергаютъ и вышеназванные криминалисты. Да и тѣ отличительные признаки преступника, на которые указываетъ Ферри, не свидѣтельствуютъ въ его пользу, въ нихъ нѣтъ ничего, что могло бы, въ томъ или иномъ конкретномъ случаѣ, дѣйствительно имѣть объективное значеніе, по большей части это выраженіе лица, которому Ферри склоненъ придавать огромное значеніе, и т. п. Вотъ почему, несмотря на массу цѣнныхъ и крайне интересныхъ мыслей вся первая часть его книги, содержащая въ себѣ очеркъ уголовной антропологіи, представляетъ наиболѣе слабое мѣсто всего труда. Гораздо болѣе интересна третья глава, въ которой Ферри излагаетъ свою теорію уголовной отвѣтственности. Наряду съ ошибками, указанными между прочимъ въ предисловіи проф. Познышевымъ, какъ-то приписываніи всей классической школѣ индетерминистической точки зрѣнія и утвержденія, что классическая школа соизмѣряетъ уголовную отвѣтственность съ нравственной, Ферри развиваетъ въ высшей степени интересную теорію соціальной обороны и соціальной отвѣтственности. Не имѣя возможности подробно изложить эту теорію, и отсылая интересующихся къ самому автору, я позволю себѣ привести только основной принципъ, тѣмъ болѣе интересный, что основываясь на немъ Ферри рѣзко отрицательно относится къ современному ученью уголовнаго права о вмѣняемости. Вотъ этотъ принципъ, формированный самимъ Ферри: „*всякій человѣкъ является всегда отвѣтственнымъ за всякое совершенное имъ дѣяніе, нарушающее право исключительно потому и поскольку онъ живетъ въ обществѣ*“.

Въ той же III главѣ развито и ученье объ атавистической и эволютивной преступности — одно изъ наиболѣе оригинальныхъ и интересныхъ ученій Ферри. Различіе между этими двумя категоріями преступности покоится, по Ферри, на характерѣ опредѣляющихъ мотивовъ. Первая проявляется либо въ формѣ физичезкаго воздѣйствія, либо въ формѣ обмана, вторая— политико-соціальная-преступность въ одной изъ этихъ формъ стремится ускорить грядущія фазы политико-соціальной жизни. Съ этимъ различіемъ связано различіе классовой и соціальной обороны. Съ этимъ же различіемъ связаны взгляды Ферри на судъ присяжныхъ,—относясь отрицательно къ институту присяжныхъ засѣдателей и, рекомендуя уничтоженіе его для преступленій общаго характера, онъ настаиваетъ на сохраненіе этого института для преступленій политико-соціальныхъ, при условіи предостанленіе широкаго участія въ составѣ присяжныхъ „соціальному классу рабочихъ"

Критикая института присяжныхъ далеко отъ обычныхъ нападокъ на этотъ судъ, и если нельзя съ ней согласиться, то все же она является чрезвычайно остроумной. Отдѣльныя же замѣчанія, какъ напримѣръ, указаніе, что при современной организаціи этого института, онъ является въ рукахъ буржуазіи орудіемъ угнетенія и борьбы съ рабочими врядъ-ли могутъ быть оспариваемы непредубѣжденнымъ читателемъ. Наша рецензія была бы неполна, если бы мы не указали отношеніе Ферри къ факторамъ преступности. Въ этой части своей книги Ферри наименѣе оригиналенъ— онъ примыкаетъ къ принятому большинствомъ криминалистовъ дѣленію на: факторы индивидуальные, физическіе или космическіе и соціальные. Да и вообще въ смыслѣ разработки вопросовъ, относящихся къ факторамъ преступности въ особенности соціальнымъ факторамъ, гораздо больше, чѣмъ въ трудахъ антропологовъ, можно найти въ трудахъ представителей такъ наз. соціологической школы Листа, Фойницкаго, Принса, Тарда и др.

Ставя цѣлью уголовной соціологіи въ практической области—уменьшеніе преступленій, Ферри естественно долженъ былъ остановиться на мѣрахъ борьбы съ преступностью. И послѣдняя глава книги, а также V отдѣлъ II главы посвящены этому вопросу. Реформы, предлагаемыя Ферри, относятся главнымъ образомъ къ области процесса и наказанія. Не останавливаясь на реформахъ въ области процесса (одну изъ нихъ касающуюся суда присяжныхъ мы ужъ указывали), перейдемъ къ взглядамъ Ферри на наказаніе. Разсматривая наказаніе какъ одни изъ способовъ соціальной обороны, Ферри въ своемъ отношеніи къ нему проявляетъ странную двойственность. Съ одной стороны многія страницы его книги посвящены доказательствамъ несостоятельности карательной системы, недостиженія наказаніямъ и своей цѣли, съ другой Ферри не только не отрицаетъ института наказанія, но во многихъ случаяхъ требуетъ увеличенія существующихъ наказаній, протестуя противъ излишней мягкости совершенныхъ

наказаній и стремленія классической школы къ ихъ дальнѣйшему смягченію... Черезмѣрной мягкости наказаній Ферри иногда даже склоненъ приписывать ихъ недѣйствительность въ дѣлѣ соціальной обороны, забывая, что самъ же доказывая невозможность бороться съ преступленіемъ усиленіемъ репрессивныхъ мѣръ. Что касается до системы наказаній, то рѣзко критикуя современную карательную систему, антропологи не даютъ въ сущности ничего новаго. Ферри, напримѣръ, усиленно рекомендуетъ пониженное и неопредѣленное по сроку заключеніе. Больше интереса вызываетъ ученье объ „эквивалентахъ наказанія". Подъ этимъ именемъ разумѣются превентивныя мѣры. Заслугу антропологической школы, вообще, а въ частности Ферри, особенно подробно разработавшаго вопросъ о превентивныхъ мѣрахъ, составляетъ настойчиво выдвигаемая, и послѣ уже никѣмъ не оспариваемая мысль, что преимущественное значеніе въ борьбѣ съ преступностью имѣютъ именно превентивныя мѣры, какъ направленныя противъ самыхъ причинъ преступленія.

Размѣры замѣтки не позволяютъ коснуться многихъ изъ положеній Ферри, которые заслуживали бы быть отмѣченными. Во всякомъ случаѣ книга Ферри даетъ чрезвычайно много, не только для знакомства съ основными положеніями антропологической школы, но и для ученія и уясненія важнѣйшихъ вопросовъ науки уголовнаго права.

В. С—евъ.

Е. В. Тарле. *Паденіе абсолютизма въ Западной Европѣ.* Историческіе очерки. Изданіе М. О. Вольфъ. Спб. 1908. Ц. 1 р. 50 к.

Паденіе абсолютизма на Западѣ — тема огромная и для насъ — огромнаго интереса. Тутъ все одинаково для насъ интересно и важно: и самая постановка вопроса, и чисто фактическое изложеніе, и освѣщеніе матеріала. И едва-ли найдется другой вопросъ западно-европейской исторіи, который былъ-бы для насъ столь злободневнымъ, какъ проблема о смѣнахъ абсолютистской формы государственнаго порядка.

Не трудно разсказать, какъ палъ старый порядокъ во Франціи. Достаточно вскрыты и освѣщены причины безумныхъ дней 48-го года въ Берлинѣ и Вѣнѣ. И пока дѣло историка ограничивается пересказомъ того, что было прежде, вся человѣческая исторія превращается въ какой-то калейдоскопъ. И ужъ отъ занимательности историческаго разсказа зависитъ много ли останется отъ обозрѣнія козявокъ, мушекъ и таракашекъ человѣческой исторіи. Словъ при этомъ остается обыкновенно незамѣченнымъ.

Е. В. Тарле сдѣлалъ смѣлую для историка попытку по новому разсмотрѣть судьбы ancien regime'a. Его интересовала прежде всего не фактическая исторія стараго порядка, а абсолютизмъ, какъ опредѣленный соціологическій феноменъ. И тутъ предъ нимъ открывался другой соблазнъ.

Разбирая общественную подоплеку паденія абсолютизма, легко было запутаться въ лабиринтѣ историческихъ и соціологическихъ аналогій.

Вѣдь все достоинство соціологическихъ изысканій въ томъ, именно, и состоитъ, что безпорядочная груда фактовъ при свѣтѣ научной обработки теряетъ свой хаотическій видъ и развертывается въ длинную цѣпь соціологическихъ построеній. И въ этомъ смыслѣ очень нетрудно было подогнать событія Франціи 89 года къ полному смуты 48-му году и установить не только извѣстное ихъ сходство, а полное совпаденіе и тождество. Получилась бы историческая схема, безплотная и безкровная, и по ней можно было бы судить, какъ и почему падаетъ абсолютизмъ вообще.

Е. В. Тарле сумѣлъ обойти и подводныя груды чисто фактическаго матеріала, и подводныя мели сухихъ, безвкусныхъ аналогій. Въ „вводныхъ замѣчаніяхъ" развертывается общій абрисъ его смѣлаго изслѣдованія, и тутъже въ его спутникахъ-читателяхъ встаетъ твердая увѣренность, что они достигнутъ счастливой цѣли. Работа Е. В. Тарле держится на положеніи: „психическая и физическая лига общественныхъ массъ и управляется, и направляется царящими въ каждый данный моментъ условіями производства и распредѣленія экономическихъ благъ". Правда, этотъ научный принципъ, который находится въ загонѣ у историковъ pur sang, принимается Е. В. Тарле какъ-бы условно: онъ является „наименѣе произвольнымъ и наиболѣе обусловленнымъ". Но это скорѣе извѣстнаго рода профессіональный скептицизмъ („да бывало, всякое бывало!"), чѣмъ ограниченіе въ правахъ монистическаго пониманія исторіи.

Мы не станемъ здѣсь передавать содержанія трехъ основныхъ главъ „Паденія абсолютизма". Въ нихъ все закончено красиво. Отмѣтимъ лишь бѣгло наиболѣе интересные моменты той части изслѣдованія, гдѣ разсматривается „абсолютизмъ и классовая борьба" и средства „самозащиты абсолютизма".

Что поддерживало такъ долго абсолютизмъ на Западѣ и спасало его отъ гибели? Это—отсутствіе всякой организаціи угнетенныхъ классовъ и разобщенность между отдѣльными соціальными группами. И главнымъ средствомъ для поддержанія соціальнаго развитія въ эту эпоху служитъ—пауперизмъ, нищета. „Нищета есть неизбѣжное условіе въ общемъ планѣ провидѣнія" (слова Тьера).

Но вотъ мало-по-малу классовый инстинктъ пробуждается въ народной массѣ Франціи, Германіи, Англіи. Начинается борьба за политическую свободу, эту первую гарантію классового освобожденія духовно и матеріально нищенствующей массы. И тутъ съ непреложностью закона природы повторяется слѣдующій соціальный феноменъ. „Имущій классъ всегда и всюду кончалъ борьбою противъ политическихъ формъ, а классъ неимущій либо начиналъ такою борьбою свою самостоятельную историческую карьеру, либо уже очень скоро послѣ пробужденія классового сознанія къ этой борьбѣ

переходилъ... Для класса буржуазнаго по преимуществу всегда характерна первоначальная тенденція не только разрушать данный политическій аппаратъ, не только всячески пытаться отдѣлить и спасти его, разрушая въ то же время главныя основы всего соціально-юридическаго строя, но по возможности, именно, имъ, этимъ политическимъ аппаратомъ, воспользоваться какъ орудіемъ для разрушенія и правовыхъ, и соціальныхъ, и традиціонныхъ нормъ, вредящихъ капиталистическимъ интересамъ".

Не правда-ли, какъ все это вѣрно подмѣчено, исторически правдиво. Да, исторія безспорно повторяется. Исторія востока есть лишь новое и, пожалуй, худшее, болѣе дешевое изданіе западныхъ революцій, положившихъ конецъ старому порядку Англіи, Франціи, Германіи.

Особенно цѣнной въ этомъ отношеніи намъ кажется среди прекрасныхъ этюдовъ соціально-революціонной психологіи Е. В. Тарле картина той политической купли-продажи, которая поднимается въ душѣ буржуа, когда волна политическаго кризиса достигаетъ своего кульминаціоннаго пункта.

Первая стадія—буржуазія вѣритъ въ жизнеспособность стараго порядка и боится его. Стадія вторая—терпѣніе буржуазіи истощается, и она начинаетъ поговаривать о томъ, что дальше такъ жить нельзя, что старый режимъ есть экономическое бѣдствіе. Въ третьей стадіи своего политическаго выступленія буржуа мечтаетъ даже о политическихъ перемѣнахъ и лелѣетъ мечту о захватѣ власти. Но уже въ четвертый этапъ революція заставляетъ буржуазію умѣрить пылъ политическихъ вожделѣній: на сцену является безпокойный элементъ, „третьи лица"—рабочія руки.

Мѣняется общая обстановка, противъ абсолютизма идетъ борьба то буржуазнаго землевладѣнія (Англія); то лавочническаго и промышленнаго капитала (Франція); то городской и сельской буржуазіи вмѣстѣ (Германія). Абсолютизмъ западный то уступаетъ сразу свои позиціи (1649 г.), то воскресаетъ снова послѣ перваго пораженія (1789—1815 гг.), то оказывается особенно живучимъ и приспособляется къ буржуазному строю, (1848—1851). Но перманентны и неизмѣнны законы классовой борьбы, которая подчиняетъ своей волѣ политическую стихію и ведетъ за собой имущіе классы.

Блестящую работу Е. В. Тарле долженъ прочесть всякій, кто интересуется судьбами народныхъ движеній.

Мих. О—въ.

Д-ръ В. Амантъ. *Душа ребенка.* Съ иллюстраціями въ текстѣ. Переводъ съ 3-го нѣмец. изд. Я. Траурингъ. Изданіе В. Л. Богушевскаго. СПБ. 1908 г. Цѣна 1 р.

Книга д-ра Аманта ни въ научномъ, ни въ практическомъ смыслѣ не является особенно цѣннымъ вкладомъ въ спеціальную литературу. На протяженіи 115 стран. она слѣдитъ шагъ за шагомъ, какъ и когда заро-

ждается первая воля у человѣческаго зародыша и когда она впервые начинаетъ проявляться, когда и какъ оказываются у дѣтей внѣшнія проявленія удовольствія, недовольства и страданія, какъ научается ребенокъ говорить, писать, играть; когда наступаетъ половая зрѣлость и т. д. Но всѣ эти этапы эволюціи дѣтской души очерчены слишкомъ поверхностно, значеніе ихъ для воспитанія и выработки будущаго „я" совсѣмъ не отмѣчено, совершенно не указано, какъ можно использовать то или иное естественное стремленіе ребенка въ воспитательныхъ цѣляхъ и т. д. Отдѣльные моменты духовнаго и физическаго роста ребенка не связаны межъ собою, не обусловлены причинною зависимостью. Благодаря этимъ недостаткамъ, отъ книги остается впечатлѣніе синематографической ленты изъ наиболѣе популярныхъ и безхитростныхъ, не претендующихъ на какое-либо значеніе.

А. Г.

Н. Н. Бекетовъ, ординарный академикъ С.-Петербургской академіи наукъ. *Рѣчи химика.* Общедоступныя лекціи, статьи, рѣчи и доклады—изъ области химіи и физики 1862—1903. Цѣна 60 к. Спб. 1908. Изд. тов. „Знаніе".

Пропасть, залегающая между университетской наукой и народными массами, понемногу заполняется. Главнымъ средствомъ для этого являются народные университеты. Но народные университеты продуктъ новѣйшаго времени. До ихъ распространенія—сблизить университетъ и широкіе слои населенія могутъ публичныя лекціи. И на западѣ все выдающееся въ дѣлѣ популяризаціи университетскихъ знаній стараются сохранить, издавая наиболѣе удачныя лекціи въ видѣ сборниковъ, отдѣльныхъ выпусковъ и т. д.

У насъ до самаго послѣдняго времени такого обычая не было. Съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ мы привѣтствуемъ появленіе популярныхъ лекцій и статей Н. Н. Бекетова. Читанныя на протяженіи почти полувѣка (1862—1903 гг.) его лекціи являются интересной страницей популяризаціи естествознанія на Руси. И на ихъ циклѣ можно прослѣдить, какъ развивалась не только наука о природѣ, но и искусство посвященія въ тайны ея всѣхъ непосвященныхъ.

Но лекціи Н. Н. Бекетова имѣютъ не далеко только историческій интересъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, впервые прочитанныя болѣе двадцати лѣтъ назадъ („О желѣзѣ"—1886 году), еще и теперь вполнѣ удовлетворятъ массового читателя изящной живостью изложенія, удачной постановкой темы и яркими иллюстраціями.

Въ „Рѣчахъ химика" отразилась не только внѣшняя объективная исторія химіи и физики, но и ихъ внутренняя повѣсть, повѣсть развитія ихъ научнаго метода.

19-й вѣкъ былъ революціонной эпохой въ исторіи всѣхъ областей и отраслей точнаго знанія. А химія вмѣстѣ съ родной сестрой своей физикой вступили на путь революціи раньше другихъ. Законъ Лавоазье о сущности окисленія въ неограничеcкой (окисленіе металовъ) и ограническoй (горѣніе) природѣ, систематизація химическихъ явленій (законы Кекуле, Купера и Кольбе), законы Кирхгофа и Девгилля, связующіе химію и физику, и наконецъ періодическая система элементовъ Д. И. Менделѣева—все это въ изложеніи Н. Н. Бекетова развертывается въ стройныхъ этюдахъ, гдѣ торжество химической науки идетъ рука объ руку съ успѣхомъ общечеловѣческаго прогресса.

Эта связь между отдѣльными дисциплинами знанія, ихъ тѣсное родство и зависимость отъ прогресивныхъ завоеваній человѣчества всегда тщательно оттѣняется въ этюдахъ Н. Н. Бекетова. Отъ этого общедоступныя лекціи его, конечно, только выигрываютъ. Сказанное, особенно относится къ послѣдней лекціи сборника „Наука и нравственность". (1903).

Лекція посвящена защитѣ свободы научнаго изслѣдованія. Служеніе высшимъ потребностямъ человѣческой личности—вотъ въ чемъ заключается главная задача науки. И въ этомъ смыслѣ наука о природѣ, какъ справедливо указываетъ Н. Н. Бекетовъ, дала очень и очень много. Начиная съ принципа сохраненія энергіи и кончая ученіемъ Дарвина, естествознаніе преодолѣло въ концѣ концовъ всѣ препоны, которыя пытались создать на пути его суевѣріе и схоластическая реакція. И видный служитель натуралистической науки бодро зоветъ всѣхъ впередъ, развертывая предъ слушателями широкія перспективы прогресса науки.

Вѣра въ торжество науки въ „Рѣчахъ химика" такъ велика, что она ведетъ изрѣдка къ забавнымъ недоразумѣніямъ. И вытекаютъ они изъ того, что въ „Рѣчахъ химика", ради красоты научнаго метода и во славу прогресса, забываются кой-какія непригдядныя стороны нашей сѣренькой и убогой общественности.

Вотъ особенно яркій примѣръ такого недоразумѣнія. Въ лекціи „Наука и нравственность" прославляется законъ сохраненія энергіи и высказывается розовая надежда, что недалеко ужъ время полнаго торжества элекрическаго двигателя. Электрическій же двигатель замѣнитъ паровой; а это въ свою очередь „въ значительной мѣрѣ ослабитъ вредъ фабричнаго производства, разбивъ его на семейныя мастерскія, что несомнѣнно можетъ оказать нравственное вліяніе на рабочаго, не лишая его домашняго очага".

Конечно, это такъ. Электрическіе двигатели вещь хорошая, а замѣна пара электричествомъ есть несомнѣнный шагъ впередъ. Но на практикѣ введеніе мелкихъ двигателей наряду съ замѣной крупнаго сконцентрированнаго фабричнаго производства—разсѣяннымъ кустарнымъ мелкимъ—увы!—не оправдало недеждъ насчетъ „благотворнаго вліянія" на рабочаго и не создало для него „домашняго очага". Введеніе мелкихъ двигателей, напро-

тивъ, превратило жилье рабочаго въ адъ мелочной и безконечной эксплоатаціи, гдѣ прочно осѣдаетъ потогонная система.

Слѣдуетъ-ли изъ этого, что мелкіе двигатели не нужны, и ихъ изобрѣтеніе не есть прогрессивная побѣда науки? Конечно, нѣтъ. Наука идетъ своимъ путемъ, а человѣческое общество своимъ. И если ихъ пути не совпадаютъ, то тѣмъ хуже для того общественнаго строя, въ которомъ завоеванія науки обращаются противъ человѣка.

Мих. О—въ.

Л. Б. Грановскій. *Общественное здравоохраненіе и капитализмъ.* Изданіе общества русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова. Москва. 1908 г.

Работа г. Грановскаго знаменуетъ новое теченіе въ общественно-медицинской русской литературѣ: онъ пытается освѣтить задачу общественнаго здравоохраненія съ точки зрѣнія того класса, который—при условіяхъ современнаго способа производства—наименѣе защищенъ и въ физическомъ отношеніи. Предвидя день, когда съѣздъ русскихъ врачей закончится при кликахъ „долой капитализмъ", онъ пытается показать, насколько въ борьбѣ съ вырожденіемъ широкихъ трудящихся массъ задачи общественнаго здравоохраненія тождественны съ задачами рабочаго движенія, точнѣе—составляютъ одну изъ главнѣйшихъ цѣлей этого движенія.

Нельзя не согласиться, что работа столь же интересна по своей основной тенденціи, проникающей ее, сколько по богатству матеріаловъ, использованныхъ авторомъ.

Онъ не касается всѣхъ вопросовъ здравоохраненія, напр. дѣтской смертности, роста близорукости и т. п. Онъ имѣетъ дѣло лишь съ четырьмя пандеміями—туберкулезомъ, алкоголизмомъ, венеризмомъ и нервностью, четырьмя злѣйшими бичами современнаго человѣка, но зато какъ основательно, шагъ за шагомъ, онъ прослѣживаетъ тотъ первноисточникъ, который ихъ и питаетъ и расширяетъ—экономическій строй, тотъ соціальный классъ, который даетъ наибольшій коэффиціентъ смертности, заболѣваемости, вырожденія, наконецъ, тотъ основной итогъ, какой получается изъ всего этого съ неизбѣжностью естественнаго процесса. Авторъ начинаетъ свой анализъ съ туберкулеза. Съ цифрами въ рукахъ онъ прослѣживаетъ прежде всего, насколько коэффиціентъ заболѣваемости и смертности отъ туберкулеза измѣняется въ различныхъ классахъ общества, быстро увеличиваясь отъ вершины соціальной пирамиды по направленію къ ея основанію, насколько туберкулезъ по всей справедливости считается именно пролетарской болѣзью. Онъ объясняетъ это условіями жизни и обстановкой работы на фабрикѣ, которыя, обусловливая истощеніе и ослабленіе конституціи организма, предрасполагаютъ къ туберкулезу нищенской оплатой труда, при которой больной не въ состояніи, какъ слѣдуетъ, воспользо-

ваться даже даровымъ леченіемъ. Соціальная часть борьбы съ туберкулезомъ является для автора необходимой предпосылкой къ первой—спеціально-медицинской ея части. Съ этой же принципіальной высоты онъ подходитъ ко второй, не менѣе распространенной и пагубно отражающейся болѣзни—алкоголизму. Гдѣ важнѣйшая причина современнаго развитія алкоголизма?—спрашиваетъ онъ. Современное экономическое положеніе рабочаго класса,—отвѣчаютъ цифры. Чрезмѣрная работа, требующая наивысшаго напряженія силъ, преждевременно старящая, ежедневная затрата огромнаго количества нервной энергіи, постоянная потребность въ такомъ средствѣ, которое бы подбадривало усталый организмъ, однообразіе, монотонность работы при фабричномъ раздѣленіи труда, наконецъ, крайняя непрочность, необезпеченность тѣхъ благъ, которыя уже завоеваны въ этихъ душныхъ полутемныхъ помѣщеніяхъ—все это объясняетъ колоссальные размѣры потребленія спиртныхъ напитковъ въ рабочей средѣ. А тутъ еще самый капиталъ, вложенный въ алкогольное производство, въ особенности, когда онъ—орудіе въ рукахъ государства, какъ у насъ въ Россіи. Конечно, и имущіе классы не отстаютъ въ употребленіи алкоголя, но тамъ это происходитъ не отъ бѣдности, а отъ праздности да и опять-таки объясняется экономическимъ моментомъ. Переходя къ венеризму, авторъ опять-таки ищетъ причинъ его въ экономикѣ странъ, вступившихъ на путь капиталистическаго развитія. Въ тѣхъ слояхъ общества, гдѣ содержать семью относительно легче, тамъ браки заключаются раньше, тамъ и венерическихъ болѣзней меньше и наоборотъ. Такъ думаетъ авторъ и приводитъ соотвѣтствующія данныя. Экономическій же моментъ является основной причиной развитія проституціи, необходимой стороны внѣбрачныхъ отношеній. Куда ни глянь, вырисовываются типы капиталистическаго общества. Всѣ классы общества—и прежде всего, конечно, пролетаріатъ—должны жить въ величайшемъ напряженіи *нервныхъ* силъ при современной безпрерывной борьбѣ, современной конкуренціи. .

Что же при такихъ условіяхъ получается? Отдѣльные врачи, конечно, лечатъ отдѣльныхъ больныхъ, но это чисто симптоматическая, „мелкая, партизанская“ борьба. Массовое же выступленіе противъ этихъ золъ, если и возможно отчасти (какъ, напримѣръ, въ области туберкулеза), то все же и оно, въ концѣ концовъ, оказывается палліативомъ, такъ какъ общество безсильно остановить распространеніе заболѣваній, для развитія которыхъ оно само всѣмъ строемъ необходимо создаетъ благопріятную почву. Только то, что уничтожаетъ капиталистическую эксплоатацію со всѣми ея противорѣчіями, несетъ съ собой спасеніе отъ этихъ золъ... Таковы цифры и выводы автора.

Нельзя не пожелать книжкѣ г. Грановскаго самаго широкаго распространенія.

Л. Клейнбортъ.

Поль Луи. *Рабочій и государство*. Сравнительная исторія законодательства о трудѣ въ обѣихъ частяхъ свѣта. Изд. „Общ. Польза". Спб., 1907 г. Ц. 1 р. 50 к.

Естественные и необходимые спутники капитализма — пауперизмъ народныхъ массъ съ одной стороны и развивающаяся классовая борьба пролетаріата съ другой—поставили передъ государствомъ проблему законодательной охраны труда, какъ средство спасенія націи отъ вырожденія и какъ способъ борьбы съ гидрой соціальной революціи. Государственная власть устами желѣзнаго канцлера громко заявила, что „если бы не было соціалъ-демократовъ и если бы многіе не испытывали передъ ними страха, не существовало бы и тѣхъ умѣренныхъ успѣховъ, которыхъ достигли мы въ области соціальныхъ реформъ". Теоретики буржуазія школы манчестерцевъ оставили свои научныя позиціи и уступили мѣсто катедеръ-соціалистамъ. Принципъ laissez faire, laissez passer смѣнился идеаломъ государственнаго вмѣшательства въ сферу взаимоотношеній капитала и труда, предпринимателей и рабочихъ.

Капитализмъ, поступательно развиваясь въ странахъ Стараго и Новаго свѣта, устранилъ и нивеллировалъ различія рабочихъ не только въ полѣ и возрастѣ, но также въ расѣ, національности, языкѣ, бытѣ, исторіи и традиціяхъ. Законы капиталистическаго производства и эксплоатаціи дѣлаютъ повсюду одинаковыми и однообразными условія человѣческаго труда, а, слѣдовательно, и задачи рабочаго законодательства требуютъ аналогичныхъ и тождественныхъ рѣшеній. Берлинская конференція по рабочему вопросу, созванная по инипіативѣ императора Вильгельма II въ 1890 году, санкціонировала интернаціональный характеръ интересовъ законодательной охраны труда и подняла рабочій вопросъ на степень дипломатическаго дѣла. Сравнительное изученіе рабочаго законодательства государствъ цивилизованнаго міра стало практической необходимостью.

Книга извѣстнаго французскаго соціалиста Поль Луи „Рабочій и Государство" имѣетъ въ виду отвѣтить на эту потребность соціальной политики. Авторъ задался въ ней цѣлью провести параллель между интернаціональными актами законодательной охраны труда, прослѣдить исторію ихъ возникновенія и развитія, отмѣтить мотивы изданія и принципы, положенные въ основу, и дать, такимъ образомъ, — если можно такъ выразиться — сравнительную анатомію и физіологію рабочаго законодательства цивилизованныхъ государствъ. Въ основу своего солиднаго описательно-историческаго изслѣдованія Поль Луи положилъ детальный анализъ и сравнительное изученіе слѣдующихъ пунктовъ рабочаго законодательства: оффиціальныя правительственныя, офиціозныя и частныя учрежденія (министерство труда, бюро, высшій совѣтъ и совѣты труда, какъ совѣщательные органы), вѣдающія интересы труда и производящія анкеты и статистическія изслѣдо-

ванія; рабочій договоръ (договоръ индивидуальный и коллективный, продолжительность обязательствъ, прекращеніе ихъ, увольненіе и пр.); способы уплаты заработной платы и установленныя для нея гарантіи (truck system, законныя привилегіи, наложенія ареста, права жены); опредѣленіе постоянной величины заработной платы (минимальная заработная плата, міровое движеніе заработной платы, ея колебанія); рабочая ассоціація (исторія синдикальной организаціи, распространеніе синдикальныхъ группировокъ въ различныхъ странахъ, роль синдикатовъ) и корпорація; коалиція и стачка (законодательство, статистика, результаты); регламентація труда (общіе принципы, исторія рабочаго права въ различныхъ странахъ, допущеніе къ работѣ дѣтей, рабочій день, ночная работа, еженедѣльный отдыхъ); соціальная гигіена (общія правила, опасныя отрасли производства); работа на дому и Sweating system; особыя отрасли промышленности (рудники и желѣзныя дороги); правила внутренняго распорядка въ мастерскихъ; условія труда въ казенныхъ и общественныхъ предпріятіяхъ; несчастные случаи съ рабочими; борьба съ болѣзнями (взаимопомощь, общественная благотворительность, страхованіе); страхованіе отъ старости и инвалидности; страхованіе отъ безработицы; справочныя конторы для рабочихъ; третейскіе профессіональные суды и примирительныя камеры.

Книга Поль Луи богата статистическими данными и фактическимъ матеріаломъ, которыми авторъ умѣло иллюстрируетъ перечисленные пункты сравнительнаго изученія рабочаго законодательства. Разсматривая одну за другой всѣ главы его интереснаго изслѣдованія, нельзя не согласиться съ авторомъ, что классовые интересы предпринимателей часто побѣждали государственные запросы соціальной политики. Отсюда принципіальная невыдержанность рабочаго законодательства, которое во всѣхъ государствахъ представляетъ груду разрозненныхъ актовъ: ни одна страна не обладаетъ еще полнымъ кодексомъ рабочаго законодательства; ни одно правительство, несмотря на различныя формы парламентской иниціативы, не собрало еще воедино вотированныхъ текстовъ, чтобы согласовать ихъ между собой и отмѣтить ихъ пробѣлы.

Рельефно отмѣчая и характеризуя послѣдніе, Поль Луи рисуетъ широкія перспективы рабочаго законодательства. Но онъ не преувеличиваетъ, однако, роли и значенія соціальнаго реформизма для устраненія классовой пропасти между трудомъ и капиталомъ. Не нарушая основъ капиталистическаго строя, государственная власть принципіально можетъ опредѣлять минимумъ заработной платы, свести норму рабочаго дня до 8 часовъ, подавлять Sweating system, предписать пересмотръ регламентовъ въ мастерскихъ, допустить полную свободу стачекъ, присоединить профессіональныя болѣзни къ несчастнымъ случаямъ отъ работы, организовать страхованіе отъ болѣзни, престарѣлости, инвалидности и безработицы и разрѣшить прочія, выдвинутыя жизнью, задачи законодательной охраны труда. Рано или поздно

капиталистическое общество, подъ опасеніемъ преждевременнаго крушенія логическаго хода его эволюціи, принуждено будетъ разрѣшить эти проблемы рабочаго законодательства, но—по мнѣнію Поль Луи—„подобно тому, какъ Римская имперія пала подъ напоромъ тѣхъ варваровъ, которыхъ она призвала для своей защиты, современное общество падетъ подъ напоромъ рабочихъ массъ, которыхъ она считала обезоруженными законодательствомъ".

Практическій интересъ темы, широта и принципіальная выдержанность взглядовъ автора, солидность и богатство аргументацій—все это дѣлаетъ книгу Поль Луи цѣннымъ вкладомъ въ русскую литературу по рабочему вопросу. Переводъ сдѣланъ литературно. Внѣшность изданія очень прилична.

Д. Зайцевъ.

Эд. Бернштейнъ. *Исторія рабочаго движенія въ Берлинѣ.* Пер. съ нѣм. I. Постмана. 465 стр. Спб. 1908 г. Ц. 2 руб.

Книга Эд. Бернштейна написана по порученію берлинской соціалъ-демократической организаціи. Организованные рабочіе города Берлина пожелали имѣть полную и достовѣрную исторію рабочаго движенія прусской столицы и возложили задачу ея созданія на Эд. Бернштейна.

Работа задумана очень широко, она займетъ три объемистыхъ тома и даетъ до деталей подробную и документальную исторію берлинскаго рабочаго движенія.

Въ своей работѣ Эд. Бернштейнъ использовалъ богатый неопубликованный еще матеріалъ листковъ, воззваній, личныхъ воспоминаній и т. д. Въ итогѣ Бернштейну удалось нарисовать очень подробную картину рабочаго движенія въ Берлинѣ, начиная отъ революціи 1848-го года и кончая нашими днями. Пока на русскомъ языкѣ появился только первый томъ (на нѣмец. яз. вышелъ уже и второй), охватывающій эпоху съ 1848 по 1878 г.г.

Авторъ очень подробно останавливается на рабочемъ движеніи Берлина въ эпоху „сумасшедшаго года", вовсоздавая во всѣхъ—порою очень утомительныхъ мелочахъ—всю картину рабочаго движенія сороковыхъ годовъ.

Надо замѣтить, что для русскаго читателя эти утомительныя детали не представляютъ особенно большого интереса, такъ какъ берлинское рабочее движеніе развилось значительно позже, чѣмъ, напримѣръ, движеніе среди рейнскихъ рабочихъ. Въ сороковыхъ годахъ берлинскій округъ по своему промышленному развитію сильно отсталъ отъ прирейнскихъ округовъ и соотвѣтственно съ этимъ и рабочее движеніе въ Берлинѣ сильно отставало тогда отъ рабочаго движенія въ прирейнскихъ странахъ. Въ виду этого по картинѣ рабочаго движенія въ Берлинѣ еще нельзя судить объ историческомъ авангардѣ нѣмецкаго рабочаго движенія. На это указываетъ и самъ Бернштейнъ въ предисловіи къ своей книгѣ.

„Было время, когда оно (рабочее движеніе Берлина) стояло далеко позади рабочаго движенія другихъ нѣмецкихъ городовъ и иностранныхъ центровъ. Ему не способствовалъ ни легко воспламеняющійся темпераментъ нервнаго населенія, какъ въ Парижѣ или Вѣнѣ, ни особо благопріятныя экономическія условія, въ которыхъ находились крупные торговые центры, расположенные у рѣчныхъ истоковъ. То, что здѣсь было сдѣлано, пришлось сначала отвоевывать у неблагодарной почвы тяжелымъ, подчасъ казавшимся безнадежнымъ, трудомъ! Поэтому ушло не мало времени, пока могли быть использованы для соціалистическаго рабочаго движенія крупныя, искупающія отсутствіе темперамента, достоинства берлинскаго рабочаго“ (2 стр.).

Для нѣмецкихъ и въ особенности берлинскихъ рабочихъ представляетъ, конечно, большой интересъ выясненіе во всѣхъ подробностяхъ этого тыла нѣмецкаго рабочаго движенія сороковыхъ годовъ, но на русскаго читателя эти сухія подробности, эти подробные адреса рабочихъ союзовъ Берлина дѣйствуютъ крайне утомляюще, тѣмъ болѣе, что книга Бернштейна написана суховато и чужда широкихъ и яркихъ обобщеній.

Все это, конечно, не умаляетъ большихъ достоинствъ книги Бернштейна. Читатель найдетъ въ ней богатѣйшій запасъ фактовъ, хорошо провѣренныхъ и стройно сгруппированныхъ. Онъ узнаетъ многія подробности нѣмецкаго рабочаго движенія, которыхъ онъ не найдетъ въ другихъ сочиненіяхъ на ту же тему.

Переводъ сдѣланъ въ общемъ удовлетворительно, хотя мѣстами попадаются нерусскія выраженія и обороты.

Цѣна книги немного высока. Издана книга чисто и красиво.

П. Б.

Я. Лещинскій. *Марксъ и Каутскій о еврейскомъ вопросѣ.* Москва 1907. 63 стр. Цѣна 15 коп. Книгоиздательство „Перевалъ“.

Въ 1844 г. въ знаменитыхъ „Нѣмецко-Французскихъ Ежегодникахъ“ Карлъ Марксъ напечаталъ статью о еврейскомъ вопросѣ. Статья эта носила крайне рѣзкій характеръ и бросала въ лицо еврейству самыя тяжкія обвиненія. „Въ освобожденіи отъ торгашества и денегъ,—писалъ Марксъ,—слѣдовательно, и отъ практическаго, реальнаго еврейства, лежитъ залогъ самоосвобожденія нашего времени“. И далѣе: „Эмансипація евреевъ въ конечномъ счетѣ является эмансипаціей человѣчества отъ еврейства“. „Деньги—вотъ ревностное божество Израиля“. „Богъ евреевъ сталъ міровымъ Богомъ, распространивъ свое вліяніе — сталъ Богомъ вселенной. Обмѣнъ — вотъ истинный богъ еврея; его богъ — только призрачный обмѣнъ“. „Химическая національность еврея есть національность купца, вообще капиталиста“.

Прошло шестьдесятъ лѣтъ, и самый крупный изъ учениковъ Маркса,

Карлъ Каутскій, рисуетъ духовную физіономію и историческую миссію еврейства совершенно другими красками. Если Марксъ не находилъ достаточно рѣзкихъ словъ, чтобы заклеймить ихъ, то Каутскій находитъ прекрасныя слова, чтобы возвеличить ихъ. „Духовная физіономія еврейства,— говоритъ Каутскій,—существуетъ и проявляется въ выдающейся силѣ абстракціи и рѣзко-выраженномъ складѣ ума. Благодаря этому, съ тѣхъ поръ какъ оно пріобщилось къ европейской цивилизаціи, еврейство дало ей, быть можетъ, больше великихъ мыслителей, чѣмъ какой-бы то ни было другой народъ". „Такъ какъ евреи, переставъ быть самостоятельной націей, принадлежатъ съ тѣхъ поръ въ своей совокупности къ угнетеннымъ классамъ, они и отдали свою силу абстракціи, свои критическія способности преимущественно на службу революціонной мысли".

Трудно придумать болѣе рѣзкую, болѣе кричащую разноголосицу въ оцѣнкѣ еврейства, чѣмъ сдѣланныя, съ одной стороны, Карломъ Марксомъ, а съ другой, талантливѣйшимъ его ученикомъ—Карломъ Каутскимъ. И г. Лещинскій выбралъ очень интересную тему, когда онъ вздумалъ противопоставить и критически разобрать діаметрально противоположныя мнѣнія по еврейскому вопросу Маркса и Каутскаго и вскрыть причину ихъ разнорѣчія. Однако, съ этой интересной темой г. Лещинскій справился не совсѣмъ удачно. Разбираясь прежде всего въ причинахъ столь рѣзкой оцѣнки еврейства, сдѣланной Марксомъ, г. Лещинскій сводитъ эти причины къ тому, что Марксъ имѣлъ передъ глазами лишь нѣмецкое еврейство, а нѣмецкое еврейство было насквозь проникнуто буржуазностью, въ полную противоположность восточному еврейству. Конечно, та причина, что нѣмецкое еврейство по преимуществу состояло изъ буржуазіи, а восточное еврейство Марксу не было знакомо, — сыграла свою роль въ презрительномъ отзывѣ Маркса о еврействѣ. Но указать на эту причину еще мало для того, чтобы вполнѣ понять, какимъ образомъ подъ перомъ Маркса могла вырасти такая чудовищная хула на еврейство. Прежде всего, конечно, и нѣмецкое еврейство все-таки не сплошь же состояло изъ буржуазіи, и во Франкфуртѣ на Майнѣ никогда не переводилась еврейская нищета. Кромѣ того, именно тогда, въ сороковыхъ годахъ, нѣмецкое еврейство выдвинуло такихъ титановъ, какъ Берне, какъ Гейне. Среди друзей Маркса находился, наконецъ, соціалистъ Мозессъ Гессъ, идеалистъ чистѣйшей воды, глубоко чтившій еврейство и отожествлявшій „вѣрно понятый" юдаизмъ съ соціализмомъ. Стало быть, нельзя сваливать все на ту причину, что Марксъ зналъ лишь нѣмецкое зажиточное еврейство и не зналъ бѣднаго восточнаго еврейства. Понять статью Маркса можно лишь на фонѣ общественной жизни и мысли Германіи сороковыхъ годовъ, и познакомившись съ тѣмъ, что писалъ о христіанствѣ и еврействѣ хотя бы Бруно Бауеръ, съ которымъ полемизировалъ Карлъ Марксъ. Обо всемъ этомъ мы не находимъ въ книгѣ г. Лещинскаго ни

ежемѣсячно, книгами въ 25 листовъ.

Ос... ...ние обращено на развитіе литературнаго и публицистическаго о... ...освѣщеніе важнѣйшихъ вопросовъ текущей литературной и общественной жизни.

Въ журналѣ печатались произведенія слѣдующихъ авторовъ:

Въ художественномъ отдѣлѣ: Н. Абрамовичъ, Л. Андрусонъ, М. Арцыбашевъ, К. Баль-... С. Башкинъ, А. Блокъ, Валерій Брюсовъ, И. Бунинъ, Л. Василевскій, А. Вербицк... В. ...ресаевъ, Г. Галича, А. Гольдебаевъ, С. Гусевъ-Оренбургскій, В. Дмитріева, П. Дмитріевъ, Б. Лазаревскій, О. Дымовъ, ... Зайцевъ, А. Каменскій, А. Крандіевская, Маркъ Криницкій, А. Купринъ, О. Миртовъ, С. ..., И. Наживинъ, А. Рославлевъ, И. Рукавишниковъ, А. Серафимовичъ, Скиталецъ, Н. ...инъ, Е. Тарасовъ, Н. Тимковскій, Е. Чириковъ, С. Юшк...въ и др.

Въ научномъ отдѣлѣ: С. Ашевскій, В. Базаровъ, П. Берлинъ, М. Бернацкій, Богдановъ, М. Богольповъ, Б. Веселовскій, ... Величкина, Н. Воробьевъ, Г. Гроссманъ, А. Зайцевъ, П. Звѣздичъ, А. Ершовъ, А. ...скій, И. Жилкинъ, Л. Клейнбортъ, В. Коганъ, А. Коллонтай, ... Колтоновская, А. Лосинскій, І. Любарскій, А. Луначарскій, В. Львовъ, Л. Мартовъ, ... Мани...скій, П. Масловъ, П. Мижуевъ, В. Мукосѣевъ, А. Налимовъ, М. Оленовъ, М. Ольминскій, В. Ольховскій, Е. Орловъ, П. Орловскій, Г. Румянцевъ, Е. Смирновъ, И. Степановъ, П. Стр...ъ, В. Сторожевъ, В. Тотоміанцъ, А. Чеботаревская, А. Яблоновскій и др.

Надѣясь на цѣнное участіе въ журналѣ сотрудниковъ прежняго состава, Редакція, кромѣ того, получила согласіе на постоянное сотрудничество отъ слѣдующихъ лицъ: Леонида Андреева, Ѳедора Сологуба, Д. С. Мережковскаго, З. Н. Гиппіусъ, Н. П. Ашешова, Д. В. Философова, К. И. Чуковскаго, А. Мович... Владиміра Беренштама, Вл. Жаботинскаго, А. А. Измайлов... А. В. Амфитеатрова и мн. др. Подробный списокъ сотруднико... будетъ объявленъ особо.

Цѣна на годъ 7 рублей съ пересылкой, на полгода—3 руб 50 к., при подпискѣ на иные сроки просятъ присылать деньги по разсчету 60 коп. за мѣсяцъ, заграницу за годъ—9 руб.

Подписка принимается въ главной конторѣ журнала: СПБ. Б. Московская, 15.

Издатель *И. М. Василевскій.*

Тип. В. М. Вольфа. СПБ., Невскій, 126